БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

Руководитель проекта
А. Б. Усманов

Редакционный совет:
Л. А. Опёнкин, *доктор исторических наук, профессор*
(председатель);
И. Н. Данилевский, *доктор исторических наук, профессор*;
А. Б. Каменский, *доктор исторических наук, профессор*;
Н. И. Канищева, *кандидат исторических наук,*
лауреат Государственной премии РФ
(ответственный секретарь);
А. Н. Медушевский, *доктор философских наук, профессор*;
Ю. С. Пивоваров, *академик РАН*;
А. К. Сорокин, *кандидат исторических наук,*
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель);
В. В. Шелохаев, *доктор исторических наук, профессор,*
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель)

МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Николай Иванович КАРЕЕВ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

СОСТАВИТЕЛЬ,
АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:

К. А. Соловьев,
кандидат исторических наук

МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010

УДК 94(47)(082.1)
ББК 66.1(0)
К22

Долгосрочная благотворительная программа
осуществлена при финансовой поддержке
НП «Благотворительная организация «Искусство и спорт»

К22 **Кареев Н. И. Избранные труды** / Н. И. Кареев; [сост., автор вступ. ст. и коммент. К. А. Соловьев]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 600 с. — (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).

ISBN 978-5-8243-1182-2

УДК 94(47)(082.1)
ББК 66.1(0)

ISBN 978-5-8243-1182-2

© Соловьев К. А., составление тома, вступительная статья, комментарии, 2010
© Институт общественной мысли, 2010
© Российская политическая энциклопедия, 2010

Николай Иванович Кареев

Николай Иванович Кареев родился в Москве 24 ноября 1850 г. в дворянской семье с крепкими устоями, со своим «гнездом» и традиционным домашним образованием. Детство в воспоминаниях Кареева ассоциировалось с имением деда О. И. Герасимова в Муравишниках Сычевского уезда Смоленской губернии, с многочисленной прислугой из крепостных крестьян, размеренным бытом русской деревни[1]. С 6 до 10 лет Николай провел в Гжатске, где его отец служил городничим[2]. Здесь он впервые столкнулся с бюрократическим миром России. «Я быстро постиг всю чиновную иерархию, — вспоминал он много лет спустя, — и убедил себя и брата, что важнее папы — только губернатор, а важнее губернатора — только государь. Это льстило моему детскому тщеславию и приводило к тому сословно-чиновному "классовому самосознанию", от которого я впоследствии освободился и которое было мне много позднее столь несимпатичным в воспитанниках Александровского лицея, где довелось довольно долго профессорствовать»[3].

В 1861 г. отец Кареева был переведен в Сычевку, вместе с ним переехала и семья[4]. Спустя два года, в 1863 г., он вышел в отставку и перебрался в имение Аносово Смоленской губернии[5]. С весны по осень 1864 г. Кареев учился в недорогом пансионе в имении Лошадкино[6]. Это было вскоре после освобождения крестьян, когда семейство помещиков Кареевых оказалось в бедственном положении и не могло собрать деньги, чтобы устроить сыновей в столичные гимназии. «После 1861 г. количество пахотной земли было сокращено, а когда в 1863 г. отец совсем поселился в деревне, то начал

---

[1] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — Л., 1990. — С. 48–51.

[2] Там же. — С. 70–71.

[3] Там же. — С. 71.

[4] Там же. — С. 79.

[5] Там же. — С. 85.

[6] Там же. — С. 87–93.

разные сельскохозяйственные эксперименты по "рациональным рецептам", в которых более опытные соседи усматривали (и не без основания, по-видимому) верный путь к разорению. Немудрено поэтому, что более года отец добывал деньги, необходимые для помещения своих сыновей в школу, продавал рощу, драгоценные вещи и опять занимал»[7].

Наконец, в январе 1865 г. Кареев поступил в 1-ю Московскую гимназию у Пречистенских ворот[8]. Биографам часто приходится оправдываться за нерадивость их героев в детстве и юности, угадывая в этом признаки вольнолюбия, свободомыслия и, следовательно, неординарности. Однако это не относится к Карееву. В учебе он был, безусловно, лучшим. При этом уже в гимназические годы он активно занимался репетиторством. Имя первого ученика Николая Кареева было записано на «Золотой доске». Когда в 1868 г. директор гимназии М. А. Малиновский, рассердившись на Кареева, приказал стереть его имя, то на «Золотой доске» исчезли все записи — остались лишь следы желтой краски. «Кто это сделал?» — спросил гимназистов учитель Е. В. Белявский. Поднялся высокий молодой человек: «Это я сделал». «Зачем вы это сделали?» — последовал вопрос учителя. «Если Кареева стерли с золотой доски, то мы никто не желаем быть на этой доске». Звали же этого молодого человека Владимир Сергеевич Соловьев[9]. Это был сын историка С. М. Соловьева, сам в скором будущем известный русский философ.

С В. С. Соловьевым Кареева связывала тесная дружба. На квартире С. М. Соловьева, в здании университета, устраивались «рыцарские ристалища»: Н. И. Кареев и будущий экономист А. А. Коротнев сажали на свои плечи В. С. Соловьева и Н. А. Писемского (сына писателя), и последние фехтовали, демонстрируя свою рыцарскую доблесть[10]. Кареев часто приходил к В. С. Соловьеву. Их встречи «проходили большей частью в разговорах... о том, кто что читал, и вообще о серьезных материях. Позднее стала затраги-

---

[7] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — Л., 1990. — С. 95.

[8] Там же. — С. 94.

[9] *Белявский Е. В.* Педагогические воспоминания, 1861–1902. — М., 1905. — С. 57.

[10] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 101.

ваться и религия». Кареев впоследствии писал: «Как-то Соловьев, дождавшись ухода бабушки из комнаты, поспешил сообщить мне по секрету, что перестал верить в мощи. Позднее мы сообща занимались вольнодумством, так что трудно решить, кто из нас кого "совращал"»[11]. По собственным воспоминаниям, в эти годы Кареев стремительно эволюционировал от детской религиозности через популярный в то время материализм к позитивизму О. Конта и Г. Спенсера[12].

На кафедре Московского университета Кареев (с 1869 г. — студент историко-филологического факультета Московского университета) встретил отца своего школьного друга С. М. Соловьева. Кроме известного историка, лекции читали В. И. Герье, Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, М. С. Куторга, П. Д. Юркевич[13]. На четвертом курсе Кареев окончательно определился с предметом своих научных изысканий. Им стало французское крестьянство эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. По данной теме он подготовил кандидатское сочинение и впоследствии магистерскую диссертацию. В 1873 г. после окончания университета В. И. Герье предложил Карееву остаться на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию в качестве так называемого «стороннего преподавателя»[14]. Герье поручил ему прочитать лекции для студентов-выпускников по Новейшей истории Западной Европы. П. Н. Милюков уже в эмиграции вспоминал: «Помню наше удивление, когда он (Н. И. Кареев — *К. С.*) объявил в Московском университете курс истории XIX века. Слушателям московских профессоров это казалось с непривычки непростительной дерзостью: как можно *научно* излагать события столь близкие»[15]. Первую лекцию Кареева посетил декан факультета Н. А. Попов. Он остался чрезвычайно довольным услышанным: «Я, было, отвел вам маленькую аудиторию, потому что у вас обязательных студентов только

---

[11] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 102.

[12] Там же. — С. 106–107.

[13] Там же. — С. 118–120.

[14] Там же. С. 132.

[15] Цит. по: *Филимонов В. А.* Н. И. Кареев и В. И. Герье: Опыт реконструкции межличностных коммуникаций // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье. — М., 2008. — С. 178.

7 человек, но теперь нужно будет переменить аудиторию, потому что к вам будут ходить и другие студенты»[16].

Впереди было шесть лет нелегкого учительского труда в 3-й Московской гимназии, который Кареев совмещал с интенсивной подготовкой к магистерским экзаменам[17]. И это далеко не все: он неизменно посещал кружки и журфиксы, становясь «своим» в академической среде. Бывал он на журфиксах В. И. Герье, Н. А. Попова и др. Приходил на собрания кружка М. М. Ковалевского, который посещали И. И. Иванюков, А. И. Чупров, И. И. Янжул, С. А. Муромцев, В. А. Гольцев и др. «Политическое их направление более либеральное, чем у старой профессуры, конституционализм, дополненный социальным реформаторством, более соответствовали моему общественному настроению и моим политическим идеям, не бывшим, впрочем, особенно отчетливыми», — вспоминал Кареев[18].

В 1876 г. Кареев успешно сдал экзамены, а в сентябре 1877 г. выехал в Париж для работы над магистерской диссертацией. Огромную помощь в организации этой поездки оказал его учитель — В. И. Герье. В Париже Кареев общался со многими знаменитостями русской эмиграции — П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным, П. А. Кропоткиным, М. П. Драгомановым. Познакомился и с известным французским историком Н. Д. Фюстелем де Куланжем. Через год, в июне 1878 г., Кареев вернулся в Москву. Архивный материал был собран, проработан, оставалось лишь переписать набело диссертацию, что историк и сделал в родном имении Аносово. Уже зимой была издана его книга «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». 21 марта 1879 г. состоялась защита. Она прошла необычайно бурно: в ходе диспута сам Герье высказывался весьма резко по поводу диссертации. Публика же была целиком и полностью на стороне автора, сопровождая аплодисментами все его резкие выпады в адрес учителя. В защиту диссертанта выступил и молодой доцент М. М. Ковалевский[19].

---

[16] Цит. по: *Золотарев В. П.* В. И. Герье и Н. И. Кареев: К истории взаимоотношений // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье. — М., 2008. — С. 157.

[17] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — М., 2008. — С. 135.

[18] Там же. С. 141–142.

[19] Там же. С. 139.

Спустя некоторое время В. И. Герье предложил уже магистру Карееву место экстраординарного профессора Варшавского университета. Московские коллеги расценили это как ссылку молодого ученого[20]. С августа 1879 г. Кареев живет в Варшаве. Варшавский период жизни поставил перед историком сложную задачу — преподавать в русскоязычном университете польского города с польскими студентами и множеством польских профессоров. И все же он стал одним из любимейших профессоров местного студенчества[21]. Кареев был яркой, привлекающей личностью. Впоследствии Н. П. Анциферов вспоминал: «Высокий рост, торжественная поступь, закинутая голова, огромный лоб, окаймленный седыми, но еще густыми, длинными волосами, ниспадающими на его широкие плечи (настоящая львиная грива), размеренный спокойный голос, бесстрастный (sine ira et studio) — все это внешнее так подчеркнуто характеризовало "жреца науки". И тем не менее в нем не было никакой позы. Он был вполне естествен, он не мог быть другим. Прямой и искренний, безукоризненно честный, он верил в науку как в высшее, что создано культурой»[22].

Помимо чтения лекций по всему курсу всеобщей истории и активной публицистической деятельности Кареев пишет докторскую диссертацию «Основные вопросы философии истории». В 1882–1883 гг. он вновь оказался в Западной Европе, жил в Париже и Берлине, где большую часть времени проводил в библиотеках. К концу мая 1883 г. диссертация была написана[23].

В варшавский период жизни Кареева произошло важное событие: в ноябре 1881 г. он женился на дочери московского преподавателя географии Софье Андреевне Линберг[24].

24 марта 1884 г. диссертация была защищена в стенах Московского университета. В ноябре 1884 г. Кареев подал просьбу декану историко-филологического факультета С.-Петербургского университета В. И. Ламанскому о занятии освободившейся долж-

---

[20] *Золотарев В. П.* В. И. Герье и Н. И. Кареев: К истории взаимоотношений. — С. 163.

[21] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 158.

[22] *Анциферов Н. П.* Из дум о былом. — М., 1992. — С. 164.

[23] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 165.

[24] Там же. — С. 172–173.

ности профессора всеобщей истории. Университет медлил с приглашением, а Кареев спешил покинуть Варшаву[25]. С января 1885 г. он уже преподавал в Александровском лицее в С.-Петербурге[26], а с 23 августа 1885 г. Кареев — приват-доцент столичного университета. С осени 1886 г. он также читал лекции на Высших женских курсах (Бестужевских)[27]. В конце 1886 г. он был назначен экстраординарным профессором, а через четыре года, в 1890 г., — ординарным[28].

Как и другие либеральные профессора, Кареев включился в активную общественную деятельность: он был участником Литературного фонда, Исторического общества, Отдела для содействия образования, посещал различные кружки. Кроме того, Кареев редактировал «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, работал в комитетах и обществах пособия студентов, писал монографии, учебники, публицистические статьи... В 1899 г. после студенческих волнений Кареев был уволен из университета. Скорее всего, причиной стала его позиция, занятая в период выступлений учащихся[29]. На Совете университета историк настаивал на смягчение полицейских мер по отношению к студентам, открыто выступил с требованием отставки ректора В. И. Сергеевича[30]. Кареев также не скрывал своего неприятия политики министра народного просвещения Н. П. Боголепова[31]. Вплоть до начала 1906 г. он был отлучен от университета, преподавая лишь в Александровском лицее, с 1902 г. — в Политехническом институте[32], а летом 1901, 1902 гг. — в Вольной Русской школе общественных наук в Париже[33].

---

[25] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 176–177.

[26] Там же. — С. 175–176.

[27] Там же. — С. 179.

[28] *Золотарев В. П.* Историк Николай Иванович Кареев // Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. — С. 29–16.

[29] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 189–190.

[30] Там же. — С. 205–206.

[31] Там же. — 206.

[32] Там же. — С. 209, 223.

[33] *Гутнов Д. А.* Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1902). — М., 2004. — С. 120–121.

Репутация оппозиционера вынесла Кареева на гребень волны Первой русской революции 1905–1907 гг. Он вошел в составе делегации, ходатайствовавшей о недопущении кровопролития 9 января 1905 г.[34] 12–22 января 1905 г. Кареев находился в заключении в Петропавловской крепости. «Помню, как меня привезли в крепость, как долго не отворялись ворота в Трубецкой бастион, как меня записали, обыскали, отобрали у меня все вещи, одели во все казенное (в арестантский халат) и заперли в камеру, в которой было так жарко, что я запросился в другую, грозя, что со мной здесь случится удар»[35]. В 1905 г. в аристократических салонах поползли слухи, что профессор входит в тайное революционное правительство[36]. Правдой же было то, что Кареев вел активную общественную жизнь, участвовал в организации Академического союза, объединившего оппозиционно настроенных преподавателей. Волей-неволей Кареев оказался в эпицентре политической борьбы, так как Академический союз входил в состав чрезвычайно влиятельного Союза союзов[37].

То, что он стал членом конституционно-демократической партии, сам историк относил к разряду случайности. Если бы партия народных социалистов (энесов) образовалась ранее кадетов и не призывала к бойкоту выборов, рассуждал Кареев в воспоминаниях, то он непременно вступил бы в нее. Впоследствии свою роль в партии кадетов Кареев всячески преуменьшал: «Я участвовал в организационных собраниях партии и выступал в устраивавшихся ею митингах, но не был за все время ее существования членом Центрального комитета, и если очутился председателем городского ее комитета, то в нем больше следил за внешним порядком прений, чем играл сколько-нибудь руководящую роль»[38] (Кареев руководил Санкт-Петербургским комитетом партии вплоть до октября 1906 г., когда его сменил В. Д. Набоков[39]). Свое участие в политической и партийной работе он объяснял исключительно чувством граждан-

---

[34] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 226–227.

[35] Там же. — С. 228–229.

[36] ОР РГБ. Ф. 126. К. 14. Л. 7.

[37] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 231–232.

[38] Там же. — С. 233.

[39] Вестник партии народной свободы. — 1906. — № 31–33. — Стб. 1678.

ского долга: никакой склонности к этому роду деятельности он не ощущал. Поэтому с роспуском I Думы он с удовольствием отказался от продолжения «политической карьеры».

Однако на какое-то время историк стал политиком, обратив свои необъятные знания на пользу избирательной кампании.

Так, в марте 1906 г. в «Вестнике партии Народной свободы» Кареев опубликовал статью о месте Учредительного собрания в программных положениях партии кадетов. Сравнивая Учредительное собрание во Франции 1789 г. и в Пруссии 1848 г., он обосновывал необходимость для России его прусского варианта, который предусматривает формирование этого института для разработки и принятия конституции, а не для представления суверенной воли нации в условиях крушения прежнего режима. Однако уже через месяц правительство явственно докажет отвлеченный характер подобной дискуссии: 23 апреля 1906 г. Основные законы будут приняты и без участия Учредительного Собрания. Но и это событие не могло смутить кадетов, уверенных в своей исторической правоте. В той же статье Кареев писал: «Конституционно-демократическая партия верит в то, что установление в России той конституции, главные лозунги которой партия пишет на своем знамени, властно диктуются самой историей и потому должны рано или поздно осуществиться: ни больше, ни меньше, по ее глубокому убеждению, не может успокоить потрясенную страну от новых напрасных и опасных потрясений»[40].

Выборы по Петербургу в Государственную думу были двухступенчатые. 20 марта 1906 г. избирали выборщиков. Весь этот день Кареев провел в актовом зале университета, где голосовали избиратели по Васильевскому острову. «Этот зал, носивший еще на себе некоторые следы только что пронесшегося шквала, имел необычный вид, перегороженный направо и налево от остававшегося посередине свободным прохода барьерами, за которыми стояли большие картонные коробки, на урны совершенно не похожие, и находились члены подкомиссий, проверявших документы избирателей, отмечавших их в списках, бравших из их рук и опускавших в урны их избирательные документы. Я был в числе членов одной

[40] *Кареев Н. И.* К вопросу об учредительных функциях Государственной думы // Вестник партии народной свободы. — 1906. — № 3. — Стб. 148.

комиссии и впоследствии исполнял не раз такую же должность, так что бывшее тогда и бывшее после слились в моей памяти в одну общую картину», — вспоминал Н. И. Кареев. Единственное, что принципиально отличало тот мартовский день, — отмечал историк, — это необычайное воодушевление и надежды на лучшее[41]. В итоге депутатами от Петербурга стали кадеты: В. Д. Набоков, Л. И. Петражицкий и сам Н. И. Кареев[42].

Дума еще не собралась, а депутаты уже обсуждали вероятность ее скорого роспуска. 21 апреля 1906 г. в газете «Речь» вышла статья Кареева, посвященная этому вопросу. Он писал, что «тихо» разогнать можно только парламент, не соответствующий настроению страны. По его мнению, политическое возбуждение, царившее в России, свидетельствовало прямо об обратном. Поэтому Кареев предостерегал сторонников скорого роспуска народных представителей, предлагая вспомнить неудачный опыт их коллег времен английской и французской революций[43].

27 апреля 1906 г. — день открытия I Государственной думы — был удивительно теплым, солнечным. Кареев доехал на извозчике до Адмиралтейской набережной, зашел к В. Д. Набокову, и они вместе пошли пешком к Зимнему дворцу. А потом случилось то, что надолго запомнили все «перводумцы»: речь императора, кораблики, перевозившие депутатов из Зимнего в Таврический дворец, белые платочки арестантов из «Крестов», умолявших об амнистии. Как только кораблики пристали к берегу, толпа подхватила Кареева и понесла его на руках к Таврическому дворцу. А потом темпераментная речь И. И. Петрункевича об амнистии, гордая осанка первого председателя Думы С. А. Муромцева. Примечательно, что впоследствии при распределении мест между фракциями в зале Таврического дворца Кареев сидел вместе с социалистами. Однако это объяснялось не политическими пристрастиями. Просто Кареев плохо слышал правым ухом и предпочитал сидеть слева от выступавшего[44].

---

[41] *Кареев Н. И.* Выборы в Петербурге в I Государственную думу // К 10-летию I Государственной думы. — Пг., 1916. — С. 2.

[42] Вестник партии народной свободы. — 1906. — № 6. — Стб. 380.

[43] *Кареев Н. И.* К вопросу о разгоне Думы // Речь. — 1906. 21 апреля.

[44] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 237–239.

Выступал Кареев в Государственной думе всего четыре раза. Два его выступления пришлись на 3 мая 1906 г., и оба имели программный характер. По словам Кареева, «не человек существует для субботы, а суббота для человека. Человеческая личность существует сама для себя, она не может быть употребляема ни для какой другой цели, а между тем на основании основных принципов, которые имели силу в России до сих пор, были некоторые субботы, в жертву которым приносилась человеческая личность, и таких суббот в России было громадное количество. Все эти субботы соединились в одну громадную субботу, которая называется Россией». Иными словами, уважение к человеческой личности не было базовым началом внутренней политики Российской империи, поэтому «мы теперь должны основать новую Россию, которую точно так же должны будем любить, но Россию, которая будет существовать не сама для себя и не для охраны каких-либо исторических традиций, а будет существовать для своих граждан». Следовательно, рассуждал Кареев, в России должен установиться принцип равноправия народов, ее населяющих, и государство должно основываться на их братстве и взаимовыгодном партнерстве. Целью этого выступления было убедить депутатов исключить выражения «русская земля» и «русский народ» из ответного адреса Думы императору: по мнению Кареева, народное представительство не должно забывать, что Россия — многонациональная держава[45].

В тот же день Кареев выступил с защитой принципа парламентаризма, отстаивая необходимость правительства, ответственного перед Государственной Думой правительства. Он сравнивал Россию с Францией 1789 г. По его мнению, революционный накал 1790-х гг. был связан с тем, что тогда не удалось выработать модель парламентской монархии, прийти к идее ответственного правительства. «Мы переживаем такой момент, когда только полное единение монарха и нации может вывести страну из того исторического тупика, в который она попала»[46]. 6 июня, выступая по поводу проекта о гражданском равноправии, Кареев обосновывал принципиальную важность снятия всех юридических огра-

[45] Государственная дума. Первый созыв. Сессия первая. Стенографические отчеты. — СПб., 1906. — С. 121–123.

[46] Там же. — С. 156–157.

ничений, сковывавших гражданскую и политическую инициативу женщин[47].

Однако бы скромная роль, которую играл Кареев в Думе, не должна вводить в заблуждение. В «партии профессоров» авторитет видного ученого был значительным. Не случайно, на предвыборном заседании петербургской группы кадетов Кареев оказался на втором месте после В. Д. Набокова по числу голосов, отданных за него как за партийного кандидата в депутаты Думы. Не случайно, что кадеты, как об этом в воспоминаниях писал М. М. Ковалевский, серьезно рассматривали кандидатуру Кареева на должность министра народного просвещения в проектируемом правительстве, ответственном перед народным представительством[48].

9 июля 1906 г. историк проснулся очень поздно — накануне, устав после трудного дня, он просил не будить его. Пройдет еще время, пока он выйдет на улицу, купит газету и узнает, что Дума распущена. Первым делом Кареев направился в клуб партии кадетов. Он ждал новостей из Выборга, куда еще ранним утром поехало большинство членов фракции. Кареев вспоминал, что вскоре кто-то привез текст воззвания, составленного депутатами, и присутствовавшие в клубе члены Государственной думы, недолго думая, послали телеграммы в Выборг с просьбой присоединить их подписи к документу. (Скорее всего, Кареев запамятовал: текст воззвания был составлен лишь на следующий день.) Он участвовал и в одном из партийных собраний в Териоках, где обсуждалась дальнейшая тактика кадетов[49].

На этом политическая деятельность Кареева закончилась: историк вернулся на университетскую кафедру, совмещая ее с преподаванием на Высших женских курсах[50], курсах П. Ф. Лесгафта, в Психоневрологическом институте[51]. Кареев был одним из организаторов Педагогического института. Все это сочеталось с продолжавшейся общественной деятельностью в Отделе самообра-

---

[47] Государственная дума. Первый созыв. Сессия первая. Стенографические отчеты. — СПб., 1906. — С. 1071–1072.

[48] *Ковалевский М. М.* Моя жизнь. — М., 2005. — С. 372.

[49] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 240.

[50] Там же. — С. 243.

[51] Там же. — С. 253.

зования и в Литературном фонде[52]. В отличие от многих коллег по I Государственной Думе Кареев не был осужден за подписание Выборгского воззвания: были приговорены к заключению лишь те, кто непосредственно в Выборге поставили свою подпись под этим «крамольным» документом.

На фоне всех этих событий шла напряженная научная работа. С 1892 по 1917 г. вышел семитомный труд Кареева «История Западной Европы в новое время». Издавались его учебники и учебные пособия, историографические очерки, разнообразные исследования, посвященные самому широкому кругу вопросов[53]. В том числе «Государство-город античного мира»[54] и «Монархия Древнего Востока и греко-римского мира»[55], «Западноевропейская абсолютная монархия XVI–XVIII вв.»[56], «Происхождение современного народно-правового государства»[57] и т. д. Помимо этого, в 1913–1914 гг. Кареев издавал «Научный исторический журнал».

Однако политика все же напоминала о себе. В 1914 г. Кареев оказался в немецком плену[58]. Начало войны он застал в Карлсбаде. Проезжая через Дрезден, Кареев был задержан и пять недель оставался под арестом.

События февраля 1917 г. как-то незаметно для Кареева переросли в революцию. Кареев всячески уклонялся от политической работы: не принял предложения баллотироваться депутатом Петербургской городской думы, не участвовал в работе партийных комитетов. Вся его «революционная активность» заключалась в написании публи-

---

[52] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 254.

[53] Там же. — С. 245–246.

[54] *Кареев Н. И.* Государство-город античного мира: Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античной гражданской общины. — СПб., 1903.

[55] *Кареев Н. И.* Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий. — СПб., 1904.

[56] *Кареев Н. И.* Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII вв. Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества «Старого порядка». — СПб., 1908.

[57] *Кареев Н. И.* Происхождение современного народно-правового государства. Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. — СПб., 1908.

[58] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — Л., 1990. — С. 261.

цистических статей о судьбах Учредительных собраний на Западе и работой в комиссии, принимавшей бюллетени на выборах. 27 апреля 1917 г. Н. И. Кареев участвовал в совместном заседании депутатов всех четырех созывов Думы, посвященном открытию представительного учреждения в России[59]. Кареев продолжал работать и в Академическом союзе. И все же летом 1917 г. он поспешил уехать из Петрограда в Зайцево, в имение своего родственника О. П. Герасимова. В августе он заехал в Москву, где присутствовал на заседаниях Государственного совещания — и снова в Зайцево[60]. Лишь в октябре вместе с семьей историк вернулся в Петроград, «чтобы провести одну из самых тяжелых зим в жизни»[61].

Приход большевиков к власти выбил Кареева из привычного ритма. В 1917–1919 гг. он продолжал преподавать в университете, однако его аудитории опустели[62]. Знакомых в Петрограде становилось все меньше. Все меньше возможностей для публикации трудов. Однако Кареев не прекращал научную работу. Так, в 1918 г. вышла его монография «Великая Французская революция»[63]. Летом 1920 г. Кареев выехал в Аносово. Там он прожил более года, читая лекции крестьянам и работая над книгами по истории и социологии. Прочел ряд лекций и в Сычевке в обмен на бесплатную доставку семьи в Аносово. Это время было сравнительно спокойным и благоустроенным[64].

По возвращении в Петроград Кареев оказался в бедственном положении: профессорское жалованье было явно недостаточным, литературная деятельность была ограничена невозможностью публиковать свои сочинения. 1920-й и 1921-й гг. Кареев описывал так: «Вспоминаются холод, тьма, недоедание, безденежье и невозможность многое достать и за деньги»[65]. Кареев с семьей поселился в двух сырых комнатах, так как свою квартиру еще прежде уступил художнику М. В. Добужинскому. Это было время постоянного поиска

[59] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — Л., 1990. — С. 269.
[60] Там же. — С. 269–270.
[61] Там же. — С. 271.
[62] Там же. — С. 274.
[63] Там же. — С. 275.
[64] Там же. — С. 279–281.
[65] Там же. — С. 272.

еды и поленьев, голодных обмороков и дырявых туфель[66]. Кареев подрабатывал случайными лекциями, жена занималась шитьем[67]. Литературная деятельность вновь стала приносить доходы лишь в 1922 г. Однако тяжелая рука новой власти всячески напоминала о себе. После 1924 г. Кареев был фактически отстранен от преподавания, прекратилась и публикация его научных трудов. В 1926 г. — новое несчастье: смерть жены. В декабре 1928 г. был арестован сын Константин, правда, уже 4 февраля 1929 г. его освободили. Вероятно, определенную роль сыграло избрание Кареева (примерно в это же время) почетным членом АН СССР[68]. Теперь Кареев получал персональную пенсию, читал лекции в Академии наук. После реквизиции Аносово Кареев любил проводить летние месяцы в санатории Центральной Комиссии по улучшению быта ученых в селении Узком, в бывшей усадьбе Трубецких, где в 1900 г. скончался его школьный друг — В. С. Соловьев[69]. Казалось бы, жизнь почти восьмидесятилетнего старика входит в «привычную колею». Однако 18 декабря 1930 г. на заседании методологической секции Общества историков-марксистов академик Н. М. Лукин обвинил Кареева в «антимарксистских выкриках», фактически связав его деятельность с недавним процессом Промпартии. В сущности, это был донос, отравивший жизнь историка в последний ее месяц. Кареев писал письма, оправдывался, ждал новых выпадов со стороны «истинных» представителей марксистского учения[70].

18 февраля 1931 г. Кареев скончался. По воспоминаниям дочери, перед смертью он произнес слова из «Вакхической песни» А. С. Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»[71]

* * *

Кареев всегда подчеркивал свою принадлежность к позитивизму. И, действительно, в первом приближении его историософская концепция кажется логичным продолжением теоретических постро-

---

[66] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — Л., 1990. — С. 273, 283.

[67] Там же. — С. 284.

[68] *Золотарев В. П.* Историк Николай Иванович Кареев. — С. 29–30.

[69] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 297.

[70] *Золотарев В. П.* Историк Николай Иванович Кареев. — С. 31.

[71] *Анциферов Н. П.* Указ. соч. — С. 165.

ний О. Конта и Г. Спенсера. Кареев верит в поступательное развитие человечества, когда каждая новая эпоха, цивилизация делает еще один шаг по пути к прогрессу. Он утверждает, что прогресс состоит в постепенной рационализации жизни: в переходе от суеверий и религиозных верований к научному пониманию мира. Причем, эти изменения происходят синхронно с культурными и социальными преобразованиями в обществе. «Ранее всего подмечено было существование умственного прогресса в развитии знаний, в увеличении понимания, в усилении власти над природой, и только позднее стали находить, что прогресс совершается еще как в нравственной, так и в общественной жизни человечества». (С. 525. Здесь и далее в круглых скобках указаны страницы наст. изд.)

Этот прогресс в полной мере проявляется в правовом статусе личности. С точки зрения Кареева, в освобождении личности от опеки государства, религии, господствующих социальных групп и заключается смысл исторического процесса. Исходя из этих представлений, он исследовал раннее Новое время, когда «личному развитию, встречавшему помеху в средневековых культурно-социальных формах феодализма и католицизма..., пришлось встретиться и с рядом препятствий со стороны государства, не хотевшего знать никакого иного права, кроме своего права. Личность и тут вступала в борьбу за свои права, имея нередко против себя соединенные силы государственной власти, церковной организации и господствующих классов обществ». (С. 203.) И при оценке Реформации XVI в. подход Кареева остается незыблемым: «Это и была первая борьба личности против всепоглощающей государственности нового времени, и в этом, между прочим, заключалась весьма важная политическая сторона реформации. Между личною свободою и государственным принуждением начиналась таким образом длинная историческая тяжба, и впервые личность защищала тут свои права под знаменем религиозной идеи, той самой идеи свободы совести, которую защищали и христианские мученики, когда не хотели подчиняться велениям языческих императоров в их качестве верховных жрецов». (С. 252.)

В преодолении диктата религиозной догматики и бюрократического произвола Кареев видел путь к созданию современного общества. Речь шла о формировании правового государства, в котором свобода человека была бы гарантирована конституционной

формой правления. «Чем ближе государство к конституционному идеалу и чем свободнее и правомернее в нем партийная организация общественных сил, тем меньше в нем возможны произвольные и насильственные действия тех, кому в данный момент соотношение общественных сил вручает обладание властью, и тем менее может рождаться в отдельных партиях стремление к действиям, противным идеалам права и свободы»[72].

Идея прогресса позволяла утверждать единство мировой истории. При этом, по мнению Кареева, нельзя отрицать и самодостаточности каждой эпохи и того «национального типа», который она представляет. Любая цивилизация проходит собственные циклы развития, и конечная точка ее существования — неизбежная гибель. Однако, утрачивая контекст, легко не заметить историческое значение изучаемой эпохи. Ведь ее неминуемый печальный конец обеспечивает поступательное развитие человечества. «В известной степени более поздние народы лишь продолжают то, что было начато народами более ранними. Так ведь и отдельные люди совершают, каждый в отдельности, один и тот же цикл жизни от рождения до смерти, и в этом отношении дети только повторяют своих родителей, что не мешает, однако, детям в то же время и продолжать дела, начатые отцами, брать на себя их предприятия и вести их дальше. То же, в сущности, мы наблюдаем и в жизни народов, а между тем очень многие писатели выстраивали всемирную историю так, как будто отдельные народы были в ней лишь отдельными моментами, не имеющими самостоятельного значения и соответствующими лишь разным возрастам некоторого отвлеченного целого, называемого человечеством». (С. 40–41.)

Причем, любая цивилизация, «национальный тип», полагал Кареев, развивается в соответствии с общими закономерностями, обусловленными универсальностью человеческой природы, которая схожим образом проявляет себя вне зависимости от исторического, географического, религиозного контекста. «Культурное и социальное развитие совершается закономерно, и... одинаковые причины и условия порождают одинаковые же следствия и явления. Идея закономерности развития общества и его культуры игра-

[72] *Кареев Н. И.* Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. — СПб., 1902. — С. 465–466.

ет первенствующую роль в современной исторической науке при объяснении частных явлений и в понимании хода развития отдельных народов...». (С. 39–40.)

В этой, казалось бы, стройной концепции скрыто внутреннее противоречие. Такое теоретическое построение должно всякий раз подтверждаться фактами, и в то же время оно стремится подчинить себе эмпирические данные. Историк Кареев убежден в необходимости идти от события к интерпретации, при этом он осознает неизбежность обращения к умозрительным гипотезам, которые позволяют связывать воедино разрозненные события человеческой жизни.

Одна из таких гипотез — идея прогресса. По словам Кареева, ее нельзя математически вычислить и обосновать. Ее интерпретация — предмет поиска каждого конкретного историка, который приходит к определенному пониманию в силу своего опыта, знаний, культурной традиции, к которой принадлежит. Кареев связывает идею прогресса с правовым статусом личности, однако он признает, что это его частный вывод, который не может претендовать на универсальность. Вместе с тем, без какого-либо априорного суждения единая картина мировой истории рассыплется, как мозаика. «A priori можно... поставить этому развитию (человечества — *К. С.*) цель и исследовать, как это развитие могло бы осуществлять указанную цель, нисколько не предрешая того, что вообще на самом деле производит это развитие. Вполне априорны... те принципы, которые мы кладем в основу наших идеалов, они одни — продукты наиболее чистого творчества»[73].

В отличие от О. Конта, положившего в основу своей философии веру в социальную науку с признаваемыми ею объективными законами, наподобие естествознания, Кареев видел в подобном подходе не решение задачи, а научную проблему, вызов современному исследователю общественных процессов. Он невольно ставил вопрос об устойчивости оснований современной ему методологии. Этот «внутренний диалог» смущал многих его коллег. В. П. Бузескул обвинял Кареева в неразработанности теоретических построений, которые, по его мнению, были изложены «недостаточно отчетли-

[73] *Кареев Н. И.* Философия, история и теория прогресса // Очерк русской философии истории: Антология. — М., 1996. — С. 218.

во, не совсем ясно и удобопонятно»[74]. «Он был последовательный эклектик (насколько эклектик может быть последовательным)», — писал о Карееве Н. П. Анциферов[75].

Вместе с тем, сам Кареев во многом снимал противоречия, предлагая четко различать научные дисциплины: историософию, историю, социологию. Несмотря на то, что они тесно взаимосвязаны, у каждой из них своя методология, свой объект исследования. «Это все разные задачи, а именно задача социологическая, заключающаяся в изучении "движения человеческого общества" вообще, потом задача частно-историческая в исследовании того, "какие силы возникали и работали" внутри отдельных народов, и, наконец, всемирно-историческая, историко-философская по преимуществу, — в изображении общего хода истории человечества, постепенно объединяющегося и прогрессирующего». (С. 44.)

Еще до немецких неокантианцев Кареев ввел в научный оборот понятия «феноменологические» науки и «номологические науки». Первые изучают единичные явления, вторые — повторяющиеся с определенной закономерностью. Впоследствии Кареев согласился вслед за немецкими коллегами именовать феноменологические науки идиографическими. (С. 367.) Именно к ним история и относится: она изучает единичное, уникальное, что чаще всего не подлежит какой-либо систематизации. Соответственно, не может быть и речи о каких-либо законах исторического процесса. «Я всегда отрицал и продолжаю также теперь отрицать существование исторических законов в смысле законов, действие которых предрешало бы само течение исторических событий, и за это по поводу своих "Основных вопросов философии и истории" подвергался нападкам со стороны критиков, не хотевших понять, что своим отрицанием исторических законов я отнюдь не исключал признания психологической и социологической закономерности», — писал Н. И. Кареев[76].

Иными словами, есть внутренняя логика исторического процесса, которая и является предметом исследования историка. Ее

---

[74] *Бузескул В. П.* Всеобщая история и ее представители в России. — М., 2008. — С. 133.

[75] *Анциферов Н. П.* Указ. соч. — С. 164.

[76] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 289.

проследить тем проще, что исследователь, в отличие от очевидца, знает прямые и отдаленные последствия изучаемого события. Это во многом освобождает его от мифологем рассматриваемой им эпохи. «Некритическое отношение ко всякому историческому баснословию, к "народным" преданиям, к официальной фразеологии, к настроениям патриотических грамотеев и начетчиков предшествует настоящей научной работе, которая не может не разрушать традиционную историко-догматическую конструкцию, к великой обиде всех, кто искренне верил в непреложную истину предания, и к великому негодованию тех, для кого было выгодно поддерживать такую веру. Можно даже сказать, что научная работа историков по самому своему существу находится в постоянном конфликте с националистической традицией. С проверки источников последней, с анализа ее генезиса, с критики ее выводов и должно начинаться настоящее научное исследование действительно бывшего прошлого». (С. 494.)

По мнению Кареева, это преимущество историка перед очевидцем событий лишь подчеркивает его беспомощность в прогнозировании будущего. В отличие от своих современников, историк знает лишь то, что предсказать ничего нельзя. «Да, слишком много требуют от истории, когда хотят, чтобы она предсказывала события так же, как астрономия предсказывает солнечные и лунные затмения. Исторические события очень часто бывают такими же неожиданными, каким бывает появление в небесном пространстве какой-нибудь бывшей совсем неизвестной дотоле кометы»[77].

Признавая своеобразие истории как идиографической науки, Кареев считал невозможным для историка игнорировать достижения номологических дисциплин. Они позволяют исследователю выбрать верную точку отсчета, а не теряться в собственных догадках. «Настаивая на идиографическом характере исторического знания и на праве такого знания называться научным, нельзя здесь же не отметить еще, что всякое идиографическое знание только тогда, действительно, имеет научный характер, когда какое-либо изучаемое нами явление рассматривается с точки зрения некоторых общих идей, входящих в состав теорий данного разряда явлений, отвлеченно взятого. Астроном изучает явления, проис-

[77] *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. — С. 291.

ходящие на центральном светиле нашей планетной системы, но он пользуется при этом данными и выводами механики, физики и химии. Без этих наук, равным образом, не может обойтись и геолог, изучающий строение земной коры. Идиографическое знание научно лишь тогда, когда оно, так сказать, получает номологическое освещение». (С. 375.)

Соответственно, человечество не может удовлетвориться собиранием фактов. Оно нуждается в обобщении своего социального опыта. В силу этой естественной необходимости возникает социология, которая представляет собой номологическую науку (т. е., в отличие от истории, она исследует как раз законы общественного развития). Социология должна «изучать общество, как реальность, без всяких метафизических предпосылок о чем-либо внеопытном и сверхчувственном, искать в представляемых им явлениях законосообразности, как это делают естественные науки, и пользоваться при этом методами, устраняющими всякий произвол исследователя». (С. 479.)

Кареев отвергает органицистический и дарвинистский подходы в социологии, так как они уподобляют человека животному, что, по его мнению, в корне не верно. Кареев убежден: социологические исследования должны иметь исключительно «антропологический» характер. Соответственно, в центре их внимания должен быть человек как в социальном, так и в психологическом измерении[78]. Если же в социологии точкой отсчета является личность, то и метод в этой науке имеет сугубо личностный, т. е. субъективный характер. «Отсюда неизбежна оценка... (общественных — *К. С.*) форм со стороны ученого, для которого единственным ее критерием может быть благо человеческих личностей. Наука должна быть объективной в смысле беспристрастия, но не может быть бесстрастной, индифферентной в делах общественных. Есть субъективизм и субъективизм, один произвольный, незаконный, другой законный, но долженствующий иметь принципиальный критерий и быть поставленным в строгие рамки»[79]. Иными словами, в любом социологическом исследовании неизбежно присутствует общественный

[78] *Кареев Н. И.* Основные направления социологии и ее современное состояние. — С. 21.

[79] *Кареев Н. И.* Основы русской социологии. — СПб., 1996. — С. 76–77.

идеал ученого, который всякий раз стоит перед необходимостью выбрать надлежащий угол зрения при оценке той или иной научной проблемы.

С точки зрения Кареева, личность — это, прежде всего, психология, а общество — сложноорганизованное «психическое взаимодействие» индивидуумов, его составляющих[80]. Психология человека не может быть сведена к отдельной функции. В ней уживаются сознательное и бессознательное, политические идеалы и биологические рефлексы, правовое мышление и экономические интересы. Это давало основание Карееву отвергать какой-либо монизм, заметно обедняющий действительность. Объяснение любого социального явления должно строиться на многофакторном подходе, учитывающем все разнообразие мотивов человеческого поведения. Кареев проводил мысль о неизбежном «плюралистическом характере социальных явлений, поскольку общественная жизнь "возникла в порядке удовлетворения разных потребностей и инстинктов человеческой природы, поскольку это дало начало разным сторонам общественного бытия и поскольку все это вступило в сложные между собой взаимодействия к еще большей плюралистичности социальных явлений"»[81].

Кареев считал, что в этом утверждении и заключается особое значение социологии для истории. Историк с «социологическим мышлением» видит «механику» события прошлого, в котором сопрягаются разнонаправленные силы. «Лишь при помощи социологического мышления историк может разобраться в теоретическом вопросе об относительном значении в жизни факторов экономических, политических, умственных, эмоциональных, волевых, причем будет хорошо понимать, что в данном случае личное предрасположение выдвигать вперед тот или другой фактор или разные посторонние чистому знанию соображения должно уступать место логическим обобщениям фактических данных. Социологическое же мышление поможет историку провидеть законосообразность совершающегося и выделять существенное и необходимое в каждом процессе из массы осложняющих его подробностей и случайностей». (С. 480.)

---

[80] *Кареев Н. И.* Введение в изучение социологии. — СПб., 1897. — С. 113.

[81] *Кареев Н. И.* Основы русской социологии. — С. 279.

Благодаря синтезу истории и социологии Кареев рассчитывал достигнуть принципиально новых научных результатов. Привлекая значительный по объему комплекс источников и новейшие разработки в области социальных наук, он невольно приковывал к себе взоры студенчества. Вокруг Кареева сложилась историческая школа, яркими представителями которой были Э. Д. Гримм, А. С. Лаппо-Данилевский, В. А. Мякотин, А. М. Ону, П. П. Щеголев и др.[82] Это были очень непохожие друг на друга исследователи, которых объединяло понимание метода как научной проблемы. Не случайно, известный французский ученый А. Матьез назвал Кареева «старшиной русских историков». А в одной из немецких рецензий Кареев сравнивался с самим Нестором[83].

К. А. Соловьев,
кандидат исторических наук

[82] *Анциферов Н. П.* Указ. соч. — С. 428.

[83] *Бузескул В. П.* Указ. соч. — С. 137; *Волкова Ю. С.* Преемственность исторического знания учителя и учеников («школа Герье» и «школа Кареева») // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье. — М., 2008. — С. 193.

Н. И. КАРЕЕВ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ОБЩИЙ ХОД ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
Очерки главнейших исторических эпох

Очерк первый
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Постепенное объединение судеб отдельных стран и народов

Всемирная история не есть только сумма частных историй, т. е. историй отдельных стран и народов. Смотреть на историю человечества таким образом мы имели бы право только в том случае, если бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов. Всякому известно, что в настоящее время нет ни одного почти уголка заселенной земли, который так или иначе, в той или другой мере не испытывал бы на себе влияния со стороны того, что происходит в других местах, и что сближение между наиболее отдаленными одна от другой странами, один от другого народами делается все более и более тесным. Политические интересы современных государств и наций в разных частях света до такой степени переплелись между собою, что мы имеем полное право говорить о существовании мировой политики как сложной системы взаимоотношений между всеми цивилизованными и варварскими народами всех пяти частей света, от каковых взаимоотношений зависят судьбы и диких племен, населяющих еще значительные пространства суши. Мы можем также говорить о существовании мировой торговли, т. е. об экономическом взаимодействии между всеми частями света или составляющими их отдельными странами. Наконец, быстрое распространение по всему земному шару всего того, что входит в понятие высшей культуры, свидетельствует равным образом, что история движется в объединительном направлении.

Конечно, движение это началось не со вчерашнего дня. В начале человеческой истории была полная разрозненность отдельных групп, на которые делились все племена земного шара: люди жили небольшими ордами и родами, большею частью враждовавшими со своими ближайшими соседями, да и впоследствии, когда в нескольких пунк-

тах Старого Света возникли первые государственные организации, они отделялись одна от другой обширными пространствами без путей сообщения, без культурного населения, без исторической жизни. Только постепенно началось сближение между отдельными культурными оазисами, но началось оно все-таки очень давно, и имеет оно весьма длинную историю, измеряющуюся целыми тысячелетиями. С этой точки зрения всемирная история и является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населениями отдельных стран, т. е. процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, т. е. жизнью своею собственною, местною и особою, и жизнью общею, универсальною, состоящею, с одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а с другой — в испытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества, конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она получает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются между собою, один народ оказывает на другой то или иное влияние, между народами устанавливается известная историческая преемственность, и таким образом над суммою частных историй возникает история общая, универсальная, всемирная.

Беглый взгляд на целое всемирной истории

Бросим теперь же самый беглый взгляд на целое всемирной истории, чтобы, охватив это целое сразу, найти в нем фактическое подтверждение высказанной только что общей мысли.

Известно, что развитая культурная жизнь зародилась первоначально лишь на немногих пунктах земного шара и только постепенно распространялась и на другие страны, причем самостоятельно она зарождалась лишь в известных географических условиях — топографических, климатических и почвенных. Такими колыбелями цивилизации были речные долины Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга и Янцзы-цзяна южнее 40° с. ш. и с весьма плодородною по-

чвою. Можно поэтому сказать, что первыми цивилизациями были цивилизации речные*: в древнейшую эпоху культурные страны были в буквальном смысле оазисами среди громадной пустыни, и всемирная история началась лишь тогда, когда началось сближение между такими изолированными странами. В то самое время, как Китай и Индия, отделенные от других древних культурных стран громадными и трудно проходимыми пространствами, жили в общем обособленно от остальных нам известных народов древности, самые старые исторические страны мира, Египет и Месопотамия, весьма рано вошли в соприкосновение между собою, когда один из первых египетских фараонов XVIII династии, воцарение которой относят за 17 веков до Р. Х., предпринял завоевание Сирии и дошел до Тигра и Евфрата. За периодом речных цивилизаций последовал период цивилизаций морских. Его открывает история финикийцев, которые своей колонизацией превратили Средиземное море в финикийское озеро. Этот предприимчивый народ явился и первым распространителем цивилизации, возникшей в речных долинах Нила, Тигра и Евфрата, по берегам моря, которое, действительно, сделалось «средиземным» для культурных стран древности. Финикийцев сменили греки, развившие свою колонизацию по берегам этого моря, с прибавкою к нему и морей Мраморного, Черного и Азовского. Затем это же море сделалось внутренним озером Римской империи, объединившей под своею властью чуть не весь древний мир (за исключением Индии и Китая). Впоследствии, с расширением исторической сцены, к старому «средиземному» морю прибавились другие «средиземные» же моря (Немецкое и Балтийское), игравшие такую же роль в средние века и в новое время. По отношению к морям в наиболее благоприятные условия поставлена Европа, и с переходом власти над Средиземным морем к грекам, этому первому европейскому историческому народу, и первенство в истории цивилизации перешло к Европе. В настоящее время мы живем в период океанической цивилизации, начало которому было положено великими географическими открытиями конца XV и начала XVI в., а именно морского пути в Индию, Америки, первым кругосветным плаванием и т. п. В связь с этим постепенным расширением исторической сцены нужно поставить еще два общих факта: смену господства от-

* См. ниже, в конце главы.

дельных человеческих рас и объединение истории отдельных стран в историю человечества.

Известно, что человечество распадается на несколько рас, между которыми существуют не только физические, но и психические особенности. Не все расы одинаково одарены в духовном отношении, и потому они могут быть разделены на высшие и низшие. Народы, принадлежащие к последним, и до сих пор находятся в диком состоянии или едва перешли на стадию варварства. Исторические народы принадлежат, напротив, к высшим, более одаренным расам. По-видимому, древнейшие цивилизации принадлежали монгольской расе (это, впрочем, — вопрос довольно темный и спорный), но настоящее развитие цивилизации происходило, главным образом, в пределах расы белой. В ней первенство в хронологическом отношении принадлежит семитам, игравшим главнейшую роль в древнейшей истории Востока от Месопотамии до Египта. Позднее, с выступлением в Азии персов и в Европе греков, господство перешло к арийской расе, за которою оно остается и поныне. К благоприятным географическим условиям европейской истории нужно присоединить и это важное условие антропологическое: громадное большинство населения нашей части света, т. е. все народы романские, германские и славянские (с литовцами), принадлежит к арийской расе, и они же колонизовали в новое время Америку, Австралию, северную Азию (Сибирь), не говоря об южноазиатских и африканских поселениях и владениях европейцев среди сплошного туземного населения, иногда дикого или полудикого (в Африке) или уже ранее жившего историческою жизнью (в Египте, в Индии).

Из всего этого видна и вся историческая преемственность. История Китая и Индии стоит особняком (равно как и история Мексики и Перу в Америке до прихода европейцев). Главною сценою всемирной истории, на которой в древнейшие времена происходили военные и мирные столкновения народов, была передняя Азия с Египтом. За полторы тысячи лет до Р. Х. египтяне предприняли завоевание Сирии и в первый раз пришли в соприкосновение с Ассирией. Сирия после этого на долгое время делается ареною борьбы между Египтом и Ассирией, и как раз в это время финикийцы сделались распространителями египетской и ассиро-вавилонской цивилизации. К этому же времени относится политическая история

евреев, которым постоянно пришлось испытывать на себе ведшуюся с переменным счастьем войну между Египтом и Ассирией. В конце концов, в этой борьбе Ассирия одержала верх, но только для того, чтобы пасть (VII в. до Р. Х.) и расчистить путь для завоевания всех этих стран (в VI в.), т. е. Вавилонии, Ассирии, Сирии, Египта, Малой Азии, царством Персидским, войска которого заходили уже и в такие страны, где не появлялись ни египтяне, ни ассирийцы. Особенно важное значение имело то обстоятельство, что это громадное царство, включившее в себя разнородные нации и племена на разных ступенях цивилизации, около 500 г. до Р. Х. вступило в борьбу с греками, которая окончилась завоеванием самой Персии греками при Александре Македонском[1] и основанием в отдельных ее провинциях новых «эллинистических» государств. Затем и сама Греция, и эллинистические царства на Востоке были постепенно завоеваны Римом, который, победив соперничавший с ним в западной половине Средиземного моря Карфаген и подчинив себе берега всей этой части названного моря, образовал громадную всемирную монархию.

Все эти политические события и перемены, начиная с первого похода египетских фараонов на Сирию и кончая образованием Римской империи, не могли, конечно, не отразиться на культурном взаимодействии между отдельными странами и народами, образовавшими главный исторический мир. Результатом взаимодействия было объединение большей части древнего мира на почве греческой образованности, римской гражданственности и христианской религии, возникшей среди еврейского народа. Эта общая цивилизация, благодаря завоеванию римлянами стран, ранее не живших культурною жизнью (Испании, Галлии, части Германии и Британии, северной части Балканского полуострова), и благодаря совершившемуся позднее принятию христианства из Рима или Византии народами северной и восточной Европы, расширила историческую сцену, включив в нее всю Европу, а впоследствии и все страны, где только селились европейцы. Но одновременно с христианским объединением европейских народов стало с VII в. по Р. Х. совершаться объединение мусульманское в Азии и в Африке, между тем как сам христианский мир в Европе распался (IX–XI вв.) на западный (католический) и восточный (православный). Вековая борьба между христианством и магометанством, в которой последнее одерживало

победы над первым*, окончилась все-таки победою первого. Прибавим, что в средние века мусульмане развили у себя на старогреческой основе блестящую цивилизацию, которая хотя скоро пала, но не осталась без влияния на успехи образованности у европейских народов. В общем наиболее влиятельною преемницею, продолжательницею и распространительницею по всему миру цивилизации греко-римского происхождения сделалась, благодаря более выгодным географическим и историческим условиям, Западная Европа, откуда главнейшие приобретения цивилизации стали распространяться в новое время и на страны Восточной Европы, и на вновь открытые земли Америки, Австралии, Африки, и на древние культурные народы Востока.

Необходимость изучения общего хода истории и задача философии истории

Вот эти-то взаимоотношения и преемственность народов и цивилизации и составляют единство всемирной истории, в которой, конечно, отдельные народы играли и играют далеко не одинаковую роль. Благодаря этой же преемственности и тем заимствованиям, какие один народ делает у другого, возможно установить историческую последовательность отдельных сторон нашей цивилизации, многими началами которой мы обязаны древним культурным странам Востока. Нельзя здесь не отметить в этой истории множества случаев гибели целых цивилизаций и долговременного культурного застоя. Так, погибли многие древневосточные цивилизации отчасти вследствие внутренней своей непрочности, отчасти вследствие внешних катастроф, вроде варварских вторжений. Главною причиною внутренней непрочности древних цивилизаций было, как мы увидим, то обстоятельство, что они представляли из себя лишь цивилизации незначительного большинства, тогда как угнетенная народная масса пребывала в самом жалком невежестве. С другой стороны, цивилизованные страны представляли из себя сначала, как только что было сказано,

* Завоевание азиатских и африканских областей Римской империи в VII в., завоевание Испании маврами в VIII в., завоевание Руси монголами, принявшими вскоре затем ислам, в XIII в., завоевание славянских государств на Балканском полуострове в XIV в. и завоевание Византийской империи в XV в. турками, которые в XVI и XVII вв. представляли собою весьма опасную для Европы силу.

лишь оазисы среди громадных пространств, населенных дикими и полудикими народами, со стороны которых всегда этим странам грозили опустошительные нашествия. Последние нередко сопровождались настоящими катастрофами, в лучшем случае задерживавшими только дальнейшее развитие цивилизации, но иногда и прямо уничтожавшими большую часть сделанных успехов. Уже древнему Египту приходилось постоянно обороняться от соседних кочевников. Также известны скифские нашествия на Азию. Не менее варваров губили цивилизацию и международные войны с завоевательными целями. В истории падения античной цивилизации весьма важную роль играли также нашествия варварских народов, часть которых даже разрушила Римскую империю. Одним из неблагоприятных условий для истории цивилизации на востоке Европы были постоянные нашествия на нее азиатских кочевых народов (напр., завоевание Руси монголами и Балканского полуострова — турками). Западная Европа была в этом отношении счастливее Восточной, так как была лучше ограждена от подобного рода нашествий. Чем далее, однако, подвигается история, тем все более и более усиливаются условия прочности цивилизации. В настоящее время образованные страны уже не представляют из себя немногие оазисы среди культурной пустыни, и варварство все более и более отступает перед цивилизацией. С другой стороны, с улучшением политического, юридического и экономического положения народных масс, с распространением между ними образования, цивилизация является более обеспеченной и от внутренних катастроф.

Этому упрочению внешних и внутренних условий цивилизации в истории самого прогресса соответствует и большее совершенство новой цивилизации сравнительно с прежними. Не говоря уже об успехе знаний и технических изобретений, сказывающихся на всей нашей духовной и материальной жизни, главное различие заключается в большем развитии и большей самостоятельности человеческой личности. В древних восточных царствах — как и теперь еще на Востоке — человек был порабощен всецело религиозным догматизмом и политическим деспотизмом, вообще являющимися главными причинами исторического застоя. Впервые в Европе у греков возникли самостоятельная философия и свободное государство, заключающие в себе принципы культурного развития и лучшего социального положения человеческой личности. Как ни различны были в разные вре-

мена и в разных местах судьбы прогресса, скольким бы случайностям он ни подвергался, как бы односторонне он ни совершался, сколько бы, наконец, ни было в его истории возвращений вспять, — в общем ход всемирной цивилизации был прогрессивный, хотя в самой Европе, где жизнь создала для него наиболее благоприятные условия, история прогресса шла в высшей степени неравномерно, и за временами более быстрого движения вперед следовали периоды застоя и реакции, прерывавшие это поступательное движение.

Еще за полтора века до Р. Х. греческий историк Полибий[2] в своей «Всеобщей истории» указывал на то, что к его времени «судьба свела вместе все происшествия вселенной и заставила их действовать в одном направлении», вследствие чего, по его словам, «частные истории, как члены, отделенные от тела, не могут дать представления о целом». Через восемнадцать столетий после него известный французский писатель, епископ г. Мо, Боссюэт[3], в своем «Рассуждении о всемирной истории», точно так же говорил о необходимости выработки общего взгляда на историю, который по отношению к отдельным странам и эпохам был бы тем же самым, что представляет из себя общая географическая карта по отношению к картам отдельных стран. Еще более, чем во II в. до Р. Х. или в XVII в. по Р. Х., должна чувствоваться потребность в объединенном представлении хода всемирной истории в наше время, когда сама история сделалась действительно мировою и когда, с другой стороны, мы имеем за собою целый ряд историко-философских попыток охватить все прошлое человечества как великий всемирно-исторический процесс, в который все более и более втягиваются отдельные страны и народы для участия в общем культурном движении к лучшему будущему всего человечества.

Я не стану здесь распространяться о том, что такое философия истории, как она возникла и развивалась, какие в ней существуют школы и направления, в чем заключаются положительные и отрицательные стороны разных ее концепций и систем, но это не мешает мне упомянуть, что именно изображение всемирно-исторического процесса с некоторой общей точки зрения и есть основная задача философии истории. Было бы долго рассматривать все способы, употреблявшиеся для разрешения указанной задачи, и только в виде примеров я приведу две концепции, стоящие в связи с стремлением к объединенному изображению общего хода истории.

Два способа философского построения всемирно-исторического процесса

В конце XVIII в. Кондорсе[4], желая начертать «историческую картину успехов человеческого ума»*, придумал для этого такую форму: «Необходимо, — говорит он, — выбрать факты из истории разных народов, сблизить между собою и соединить эти факты, дабы извлечь из них гипотетическую историю одного народа (l'histoire hypothetique d'un peuple unique) и составить картину его успехов». Совсем иная идея была положена немецким философом Гегелем[5] в основу его «Философии истории»: с точки зрения его системы, «всемирный дух», развивающийся в истории, переселяется от одного народа к другому, из которых каждый в известное время есть носитель «всемирного духа» на данной ступени его развития, да и народы лишь тогда имеют историю, когда в них обитает этот «дух», никогда, по представлениям Гегеля, не бывающий дважды в одном месте или в двух местах одновременно. Обе концепции — результат стремления подняться выше механического соединения частных историй, выше установления одной только простой связи между многим, — подняться до единства, до «гипотетической истории одного народа», до изображения единого процесса во многих народах. Взгляд Кондорсе, однако, не соответствует действительности, да и сам этот мыслитель называет свое представление гипотетическим: исторические факты, знаменующие успехи человеческого ума, относятся не к одному народу, а ко многим, и в этом смысле концепция Гегеля вернее. Но если взгляд Кондорсе заведомо гипотетический, то представление немецкого философа не менее явно фантастическое; тем более, что, подметив преемственность наций и включив в нее особняком стоявшие Китай и Индию, Гегель при этом вытянул всю историю по прямой линии, упустив из виду, что народы не только сменяют друг друга, но и находятся во взаимодействии. Из этого-то взаимодействия и происходит движение многих народов в одном направлении, позволяющее выбирать факты из жизни разных наций для отнесения их к единому гипотетическому народу. Если при концепции Кондорсе исчезает целая сторона истории, т. е. разнообразие ее национальных факторов и происходящее между ними взаимодействие, то ничто

* Condorcet, «Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain».

не мешает нам представить многие члены, находящиеся во взаимодействии, как одно целое, и выдвинуть на первый план то, что относится не к одной части этого целого, а более или менее ко всем. Как области одного государства, живя местною жизнью, участвуют и в жизни общей, так и несколько народов могут составить высшую единицу, особый исторический мир, вроде греко-римского, христианского, мусульманского и т. п. Тут уже не гипотетически мы можем смотреть на совокупность многих наций как на один народ, и не фантастически говорить о постоянном переходе культурного развития от одной нации к другой. Как национальный тип есть результат слияния племенных особенностей, или как один национальный тип может иметь несколько местных видоизменений, так и несколько народов, связанных взаимодействием и обоюдными культурными влияниями, способны создать до некоторой степени и общий тип, видоизменениями которого и будут отдельные народы. Подобный тип, — это, признаюсь, все-таки отвлечение, рассматриваемое, однако, в реальных экземплярах отдельных народов, — заключает в себе более реального, чем «единичный народ» Кондорсе и объединяющий историю человечества «всемирный дух» Гегеля. Каждый народ придает общему для многих явлению своеобразную окраску, и каждый народ создает нечто свое, что усвояется потом другими народами и, таким образом, делается общим им всем.

Такой общий тип в наиболее развитой степени представляет из себя, напр., Западная Европа, народы которой, как мы увидим, обособившись от остального исторического мира в тесном взаимодействии между собою, оказывали постоянно один на другой культурные влияния весьма разнородного характера: феодализм, католицизм, романтизм, гуманизм, протестантизм, абсолютизм, «просвещение» и т. д., — все это общие разным народам явления, которые или только выступают более рельефным образом, или раньше и сильнее развиваются в одной какой-либо отдельной стране, вследствие чего и возможна некоторая общая история западноевропейских народов, как бы история «единичного народа», как бы история некоторого «духа», переходящего от одного народа к другому, — с гуманизмом из Италии в Германию, с протестантизмом из Германии в другие страны и т. д. Было бы, конечно, слишком смело применять то же самое, напр., к культурным нациям древнего Востока: здесь не было такой тесной и общей жизни, как в романо-германской Европе в средние века и новое

время. Но, с другой стороны, эта оговорка касается, собственно говоря, не существа дела, а лишь меньшей развитости одного и того же явления в древности сравнительно с новым временем: народы древнего Востока, за полтора с лишком тысячелетия до Р. Х., тоже ведь начали сближаться между собою, испытывать общую судьбу, меняться друг с другом идеями, знаниями, искусствами и т. п. Притом ранние цивилизации имеют весьма много общего между собою, и это дозволяет нам говорить не только об особом мире древнего Востока, но и об особом древневосточном культурном типе, видоизменения которого мы наблюдаем во всех великих и малых царствах Египта и Передней Азии. Возникновение, развитие, видоизменения этого типа в области религии, философии и науки, в области государства и общественных отношений, в зависимости от того, что возникало в одной стране и переходило в другие, от взаимодействия между отдельными нациями, от приобщения к совместной исторической жизни и иных еще народов, — таковы рамки, в которых может быть уложена и общая история Востока, хотя, конечно, вне этих рамок останется еще очень много такого, что имеет значение лишь для истории одной какой-либо страны. Но такова, в конце концов, сущность всякой общей истории в смысле не простой только суммы историй частных. С точки зрения общего культурного типа позволительно притом объединять рассмотрение таких стран, которые и не находились в общении между собою: здесь возможно историческое построение по сравнительному методу, имеющему в настоящее время такое широкое применение в науке. Этот метод уже не стесняется ни временем, ни пространством, и применение его к истории древнего Востока может еще более способствовать единству ее построения, поскольку разные страны представляли в своей истории сходные черты, позволяющие находить в них нечто такое, что присуще всем этим странам.

Применение идеи закономерности к пониманию всемирно-исторического процесса

Объединяя в одно целое частные истории отдельных народов, философия истории должна не только иметь в виду то общее, которое возникает на почве их взаимодействия, но и те общие черты, которые наблюдаются в истории отдельных народов благодаря тому, что культурное и социальное развитие совершается закономерно,

и что одинаковые причины и условия порождают одинаковые же следствия и явления. Идея закономерности развития общества и его культуры играет первенствующую роль в современной исторической науке при объяснении частных явлений или в понимании хода развития отдельных народов, но эта же идея закономерности должна быть, конечно, прилагаема и к построению всемирно-исторического процесса, взятого в целом. Но здесь возможно одно недоразумение, которое я считаю нужным теперь же устранить, чтобы с самого же начала стать на правильную, по моему мнению, и единственно возможную в научном отношении точку зрения.

Допустим, что мы находимся в полном обладании знанием тех законов, по которым совершается культурное и социальное развитие, и нас только спрашивают, в чем мы должны видеть, так сказать, осуществление формул, заключающих в себе наше знание этих законов, во всем ли именно всемирно-историческом процессе, взятом в целом, или в истории отдельных народов, взятых особняком. В первом случае в каждой эпохе мы будем видеть только дальнейший момент развития, т. е. продолжение процесса, начавшегося раньше, а во втором — явления многих последующих эпох будут представляться нам лишь видоизмененными повторениями уже и раньше встречавшихся нам явлений. С одной точки зрения все человечество, как единое целое, будет переживать на наших глазах возрасты младенчества, отрочества, юности, зрелости и т. д., и отдельные народы будут целиком попадать всей своей историей в тот или другой из этих возрастов, но со второй точки зрения каждый отдельный народ должен проходить все эти возрасты, и греческая история, напр., будет рассматриваться не как — ну там юность человечества, что ли, а как нечто, заключающее в себе разные возрасты. Ввиду того, что человечество в прошлом никогда не было единым целым, и что отдельные народы в разное время проходили приблизительно одинаковые фазисы развития, мы должны в этом вопросе стать на вторую точку зрения, хотя и не можем отрицать того, что в известной степени более поздние народы лишь продолжают то, что было начато народами более ранними. Так ведь и отдельные люди совершают, каждый в отдельности, один и тот же цикл жизни от рождения до смерти, и в этом отношении дети только повторяют своих родителей, что не мешает, однако, детям в то же время и продолжать дела, начатые отцами, брать на себя их предприятия и вести их дальше.

То же, в сущности, мы наблюдаем и в жизни народов, а между тем очень многие писатели выстраивали всемирную историю так, как будто отдельные народы были в ней лишь отдельными моментами, не имеющими самостоятельного значения и соответствующими лишь разным возрастам некоторого отвлеченного целого, называемого человечеством.

Разбор некоторых возражений против всемирно-исторической точки зрения

Такова была, напр., и точка зрения Гегеля, который прямо распределил периоды всемирной истории по возрастам детства, молодости, зрелости и старости человечества. С какими затруднениями мы встречаемся, становясь на такую точку зрения, об этом можно судить хотя бы по следующему примеру.

Весьма влиятельный французский мыслитель первой половины XIX в. Огюст Конт[6], родоначальник позитивной философии и социологии, видел основной закон истории в созданной им формуле умственного развития человечества. По этой формуле человеческий ум сначала объясняет себе явления природы непосредственным действием в них особых сверхъестественных деятелей, потом заменяет представления об этих деятелях отвлеченными понятиями о некоторых общих сущностях, лежащих в основе явлений, и только впоследствии, оставляя оба эти способа объяснять явления природы, приходит к познанию действительных ее законов, т. е. постоянной фактической связи между наблюдаемыми явлениями. Этим трем способам, имеющим значение трех стадий или фазисов в развитии миросозерцания, Конт дает, как известно, названия теологического, метафизического и позитивного, в свою очередь, подразделяя теологическую стадию на стадии фетишизма, политеизма и монотеизма: фетишизм заключался в признании всех предметов одушевленными, в политеизме мы имеем дело уже с определенным количеством богов, заправляющих известными категориями явлений, а монотеизм устраняет, наконец, это множество богов для подчинения мира единому Богу. Здесь не место входить в общее обсуждение этой формулы, и весь вопрос заключается в том, в каком смысле это обобщение Конта должно быть прилагаемо к действительной истории миросозерцания. Сам Конт применил его к всемирно-историческому развитию, взятому в

целом, записав, так сказать, всю древность в теологический и притом специально политеистический фазис развития, как будто в древности не было метафизики (да и какой еще метафизики!), и как будто не древние же положили начало чисто научному знанию. Вот и возникает вопрос, не следовало ли бы прилагать эту формулу Конта не к целому всемирно-исторического процесса, а к истории отдельных народов? Тогда мы и увидели бы, что проследить переходы от теологического миросозерцания к метафизическому и от этого последнего к позитивному есть полная возможность в одной древности, целиком занесенной Контом в политеистический фазис, и что в средние века и новое время этот процесс движения человеческой мысли по трем стадиям опять повторился в наиболее существенных своих чертах. Конечно, в средние века и в новое время мысль европейских народов развивалась на основах, созданных греками и римлянами, и в этом отношении была как бы только продолжением начатого уже раньше, но, в сущности, на заре своей истории новые народы стояли на той же ступени развития, на какой были и древние в начале своего развития, и новым народам поэтому, в самом деле, приходилось повторить то, что древними в свое время было уже проделано, хотя бы это повторение, разумеется, и совершалось уже при новых, более сложных условиях.

То же самое рассуждение мы имеем право применить и к экономическому развитию и спросить, продолжает ли только средневековая и новая Европа экономическое развитие древнего мира, или последний прошел все те стадии, которые потом повторял, — конечно, в больших размерах и с более глубокими результатами, — мир средневековой и новой Европы.

К этому последнему вопросу мы еще вернемся, когда будем рассматривать взаимные отношения классического мира, с одной стороны, и средневековой и новой Европы, с другой: собственно говоря, это уже вопрос более специальный, касающийся сущности того, что называется переходом от древности к средним векам, тогда как здесь нас интересует вопрос более общий, в чем именно должна состоять всемирно-историческая точка зрения. Дело в том, что в последнее время против этой точки зрения стали восставать некоторые историки, находя ее ненаучною, видя в ней, главным образом, остаток «гегельянства» с его совершенно произвольным построением всемирной истории по некоторой логической схеме.

Этот взгляд, говорят противники всемирно-исторической точки зрения, сводится к тому, что существует одно великое, непрерывно-связанное органическое целое, «человечество», которое всегда «шло по одной линии, развивалось по одному плану или закону, направлялось к одной цели и осуществляло необходимо вытекавшие из этого плана или закона частные задачи, приближавшие его к общей цели». При таком взгляде «история того или другого отдельного народа представляется не самостоятельным кругом явлений, а лишь необходимой промежуточной ступенью» в процессе всемирной истории, и «хронологическая последовательность должна казаться и логической». Я отнюдь не стану защищать такую историко-философскую точку зрения, тем более, что в своих «Основных вопросах философии истории» посвятил несколько страниц разбору такого именно взгляда, по которому человечество в своей истории представляет из себя будто бы единое органическое целое, а самая эта история будто бы совершается по единому плану или закону. Но понятие всемирной истории возникло вовсе не так, как представляется это его противникам, видящим в нем порождение «гегельянства» или, вообще, «метафизики». На самом деле оно вовсе не было обязано своим происхождением философии истории второй половины XVIII в. и первой половины XIX в., и даже вообще какой бы там ни было философии. Мы уже упомянули, что о всемирной истории заговорил еще две тысячи лет тому назад греческий историк Полибий, и заговорил потому, что налицо перед ним был факт взаимодействия частных историй. До меня, так приблизительно сам он заявлял, никто не писал всеобщей истории, но теперь в силу обстоятельств дела Италии и Африки так перепутались с делами Азии и Греции, что все происшествия вселенной соединились воедино. Вот эта-то точка зрения и есть, как мы видели, всемирно-историческая, и потому, по существу дела, она является лишь констатированием общего факта, существующего в истории действительно.

Всемирно-историческую точку зрения критикуют и с другой стороны. По мнению ее противников, «существенной задачей исторического изображения» должно быть «установление взаимодействия тех сил, которые возникали и работали внутри определенной народной или общественной среды», т. е. изучение «не движения человечества в целом, потому что человечество есть в значительной мере цепь случайно связанных групп, а движения человеческого

общества» вообще. Я согласен, конечно, с таким взглядом на «человечество» в его прошлом, хотя и с оговорками, и согласен с тем, что из занятий историей нужно выносить общее представление о том, в чем заключается «движение человеческого общества» и «какие силы возникали и работали» внутри отдельных исторических обществ, но совершенно непонятно, почему одна задача исключается другою. Я даже думаю, наоборот, что удовлетворительное решение одной задачи немыслимо без решения другой. Отдельные общества одни с другими сталкиваются, одни на другие влияют, сливаются между собою в более крупные единицы и пр., и пр., и в этих процессах всегда происходит взаимодействие внешних и внутренних отношений. Конечно, искусственно можно выделить для рассмотрения внутренние процессы каждой отдельной страны, но если это делать систематически, т. е. совсем не касаясь внешних отношений и влияний, результатом будет полное незнание общего хода всемирной истории — с судьбами сменявшихся в ней народов, с преемственностью цивилизаций, с прогрессом культурных идей и социальных форм, выходящим за пределы истории отдельных народностей. Это все разные задачи, а именно: задача социологическая, заключающаяся в изучении «движения человеческого общества» вообще, потом задача частно-историческая в исследовании того, «какие силы возникали и работали» внутри отдельных народов, и, наконец, всемирно-историческая, историко-философская по преимуществу, — в изображении общего хода истории человечества, постепенно объединяющегося и прогрессирующего.

Впрочем, сами противники всемирно-исторической точки зрения идут иногда на уступки, хотя и суживая при этом сферу ее применения. Они готовы, пожалуй, допустить употребление термина «всемирная история» в смысле «простой всеобщности исторического обзора», но урезывая значение этого термина. Именно, отвергнув концепцию историко-философскую, они сводят иногда дело лишь к вопросу о педагогическом удобстве, которое, быть может, представляется группировкою материала по культурным влияниям одних народов на другие в случаях разного рода заимствований (азбуки, сказаний, литературных образов и форм, церковных учреждений и религиозных понятий и т. д.). Современному историку, оговариваются при этом они, теперь уже трудно решиться на то, чтобы основною задачею в изображении исторических судеб сменявшихся народов по-

ставить наследственную передачу идей от одного к другому и чтобы за руководящую линию принять общую преемственность культурных понятий и форм в пределах человечества, ибо связующая нить нередко оказывалась бы слишком слабою, и даже одна нить, прерываясь, должна была бы заменяться другою. Да, все это совершенно верно, но ведь международные отношения не исчерпываются же одними заимствованиями культурных понятий и форм. Есть ведь и другие отношения — войн, союзов, завоеваний, присоединений и т. п., которые влияют и на внутреннюю жизнь народов и из более мелких обществ создают более крупные политические тела. Чего стоит, например, в древней истории одно греко-македонское завоевание Востока или образование Римской империи! Возражая далее против возможности группировать всю историю около культурных заимствований, критики, между прочим, замечают, что и в вопросе о заимствованиях все-таки на первом плане будет стоять вопрос о том, какие же внутренние основания в жизни нового народа сделали такое восприятие возможным и необходимым? Всемирно-историческая точка зрения и не требует такой исключительной группировки, и отнюдь не устраняет действительно имеющего большую важность вопроса о внутренних условиях, делающих возможным то или другое культурное восприятие; сводя же международные отношения лишь к одним культурным заимствованиям, критики упускают из виду другую сторону дела, связанную с вопросом о заимствованиях. Внутренние условия, конечно, играют в этих случаях громадную роль, но важную роль в истории заимствований играли всегда и внешние отношения между отдельными обществами (т. е. народами и государствами), т. е. именно те самые отношения, о которых говорит уже Полибий и которые были тоже построены в целую систему, изображающую их общий исторический ход. Кроме культурной передачи идей и форм от народа к народу, есть еще в действительности и то, что мы называем историческими судьбами народов. Только имея общее представление об этих судьбах, легко уяснить себе, почему и каким образом возможно было восприятие тем или другим народом в такое-то именно время и именно таких-то и таких-то, а не иных культурных влияний, и, вместе с тем, понять вообще историческую судьбу самого этого народа. Сами критики, заявляя, что они, конечно, «охотно признают преемственность некоторых идей, перешедших в новую Европу из древнего греко-римского мира», находят нужным отметить при этом,

что ни одна из этих идей не могла бы привиться среди народностей Западной Европы, «если бы не было известной взаимной связи, тяготения и сношений между ними», т. е. как между самими этими народностями, так и между ними и Римом в качестве средоточия упомянутых идей. Самое образование такого Рима, самое тяготение к нему других народностей, самые эти их сношения между собою, все это — факты, выходящие за пределы истории одного народа, т. е. как раз факты значения всемирно-исторического, универсального. И потому соответственную точку зрения дает нам вовсе не призрачная философия истории вроде гегельянской, а сама действительная история. С другой стороны, говоря о культурных заимствованиях, к которым будто бы сводятся все взаимоотношения отдельных обществ, противники всемирно-исторической точки зрения берут эти культурные отношения большею частью лишь в смысле исторической преемственности последовательных цивилизаций, тогда как существует в истории еще и культурное взаимодействие одновременно живущих и различным образом влияющих друг на друга народов. «Гегельянство» как раз было злоупотреблением идеей одной преемственности: недаром же у Гегеля исторический процесс начинается в Китае, откуда переходит в Индию, чтобы затем совершаться в Персии, как будто и Китай, и Индия, и Персия не существовали одновременно, а одна другую сменяли в общем течении истории. Нет, дело здесь не в одной преемственности разновременно живущих наций, но и во взаимодействии наций, одна другой современных и очень нередко одна на другую влияющих.

Обычное деление всемирной истории и его ненаучность

Не будем долго останавливаться на обычном делении всемирной истории на древнюю, среднюю и новую. Господствуя до сих пор в школах и в исторической литературе, оно не имеет ни малейшего научного основания. Уже одно происхождение термина «средние века», «средневековье» весьма характерно. Именно филологи XVII в., следя за судьбами латинского языка, разделили его историю на три больших периода: золотым его веком они считали классический период до Антонинов[7], временем наибольшего упадка (infima latinitas) последнюю эпоху перед началом знаменитого возрождения наук и искусств, а все промежуточное время они называли среднею эпохою

латинского языка (media latinitas). Весьма скоро это понятие «среднего века» (medium aevum) было перенесено и на общую историю для обозначения тысячелетия, протекшего между падением Западной Римской империи и падением Константинополя (или открытием Америки). Когда происхождение термина было позабыто, ему дано было новое истолкование: видя в истории классического мира древнюю историю Европы, новая история которой начинается с эпохи Возрождения, ученые обозначили весь промежуточный период между древней и новой историей как средние века. Таким образом, этот термин имеет условно хронологический смысл, обозначая в общем VI–XV вв. по Р. Х. прежде всего для Западной Европы, и лишь позднее этот термин стал употребляться и для обозначения тех же столетий в истории, например, азиатских народов (мусульманский Восток в средние века, средневековый Китай и т. п.). За самое последнее время слова: «средние века», «средневековье», «средневековый» начали получать совсем особое и уже не хронологическое значение, когда говорят, например, о «средневековом социальном или политическом строе», о «средневековом миросозерцании», имея в виду наиболее характерные черты средних веков на Западе и аналогичные им явления в другие времена и у других народов. В этом смысле известный немецкий историк Эдуард Мейер[8] говорит о древнегреческом средневековье, под которым он разумеет быт, напоминающий своими основными чертами главные экономические и политические явления феодальной эпохи на Западе. Таким образом, выделение средних веков в совершенно обособленный отдел всемирной истории имеет совершенно искусственное и условное значение. Во всяком случае, если, как мы увидим, между древностью и средними веками и можно положить известную грань вследствие полного преобразования жизни европейских народов на рубеже древних и средних веков, то такой грани между средневековьем и новым временем уже не существует: средние века, новое и, как принято еще обозначать XIX век, новейшее время, это, в сущности, — один большой отдел всемирной истории, так сказать, равносильный другому такому же большому отделу — древнему миру, для которого притом установление разницы между историей азиатско-африканского Востока и европейского греко-римского мира имеет гораздо больший смысл, чем разрывание на две, как бы совершенно отдельные одна от другой части — мира новых европейских народов.

Схема, предложенная Л. Мечниковым

Ненаучность деления всемирной истории на древнюю, среднюю и новую, не мешающая, однако, пользоваться этим делением по укоренившейся уже привычке и в силу чисто внешнего его удобства, заставляла многих искать иных оснований для расчленения всемирной истории на крупные отделы. Одна из таких попыток сделана была известным географом Львом Мечниковым[9] в его книге «Цивилизация и великие исторические реки»*. В его построении всемирная история является разделенною на три больших периода цивилизаций речной, морской и океанической. К первому автор относит древнейшие восточные цивилизации; с финикийцами история вступает в свой морской период, в который Мечниковым включается вся классическая древность и все средние века до открытия Америки и морского пути в Индию; наконец, новое время составляет океанический период всемирной истории, охватывающий весь земной шар. Эта схема, которою мы уже и воспользовались в самом начале этого очерка, имеет свое научное значение, и мы к ней еще вернемся.

Теория культурно-исторических типов

Заменяя традиционное деление всемирной истории на древнюю, среднюю и новую другим, более рациональным, на речной, морской и океанический периоды, Мечников остается на всемирно-исторической точке зрения, которая в его построении даже получает новое подтверждение. Наоборот, некоторые писатели, предлагая заменить старое деление новым, совершенно разрушают при этом всемирно-историческую точку зрения. В русской литературе особенно настаивал на необходимости перестройки общей схемы всемирной истории Н. Я. Данилевский[10] в своей книге «Россия и Европа», имея в виду, впрочем, не столько отвлеченный интерес исторического знания, сколько практическую цель обоснования своего славянофильского учения. В критической разработке вопроса о шаблонном делении всемирной истории и о том призрачном единстве, которое было внесено в прошлые судьбы человечества гегельянством, автор этой книги совершенно прав, но, так сказать,

* Вышла в свет по-французски в Париже в 1889 г.; есть русский перевод.

желая выпрямить сломанную палку, он слишком перегибает ее в другую сторону, и даваемое им решение интересующего нас вопроса не выдерживает строгой критики*. Именно Данилевский, правильно указывая на то, что нет никакой возможности вытянуть в одну непрерывную линию историю, одновременно совершающуюся в разных местах, сделал отсюда тот вывод, что и вообще никакой всемирной истории, собственно говоря, нет, а есть только отдельные, совершенно друг от друга обособленные «культурно-исторические типы», которых он насчитывает больше десяти: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический или аравийский, 10) романо-германский и 11) греко-славянский (с прибавкою к ним, пожалуй, еще типов мексиканского и перувианского). Данилевскому ужасно хочется видеть в каждом таком типе нечто изначала обособленное, вполне самобытное, и он даже утверждает, будто «начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа». Мы не станем останавливаться на тех странных выводах, к которым могло бы привести логическое развитие этой мысли, но дело как раз в том, что вообще Данилевский был не в состоянии доводить каждое свое утверждение до конца, и в его теории поэтому масса противоречий. Он сам до известной степени — и притом в пользу оспариваемой им самим всемирно-исторической точки зрения — различает между перечисленными им типами типы, уединенные от типов или цивилизаций преемственных, «плоды деятельности которых передавались от одного другому». Типами второй категории он считает египетский, ассирийско-вавилоно-финикийский, греческий, римский, еврейский и романо-германский или европейский. «Результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую, должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, хотя бы эти последние одни равнялись всем им продолжительностью жизни». Но это — уже прямая защита именно той самой всемирно-исторической точки зрения, которая в принципе отрицается теорией культурно-исторических типов.

---

* См. нашу статью «Теория культурно-исторических типов» (во втором издании «Историко-философских и социологических этюдов»).

Очерк второй
ДРЕВНЕЙШИЕ ВОСТОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Три отдельных исторических мира в древности

Перед эпохой полного расцвета греческой культуры, родоначальницы современной европейской цивилизации, в Азии — к которой древние относили и Египет — существовало три отдельных исторических мира. Один из этих миров составлял Китай на крайнем востоке Азии, другой образовался на юге, Индия; третий мир представляла собой Юго-Западная Азия с Египтом. Последний и есть древний Восток в более тесном смысле, где возникли самые ранние цивилизации и началась всемирная история. Древность китайской и индийской культур, сама по себе очень почтенная, не может, однако, идти в сравнение с тою незапамятною стариною, которая была свидетельницею зарождения исторической жизни в долине Нила и в области Тигра и Евфрата. С другой стороны, Китай и Индия составили два совершенно обособленных мира, стоявшие как бы в стороне от «большой дороги» исторического движения, тогда как третий мир именно и был главным путем, по которому пошло это движение. Китай и Индия не вышли из замкнутых границ, и в их пределах развились и установились две цивилизации, из которых каждая была продуктом, главным образом, одной расы. Совсем иное дело — ближайший к нам Восток: здесь происходили смешение и, так сказать, наслоение многих рас, оставлявших разные следы на истории этого мира; здесь, более чем за полторы тысячи лет до нашей эры, произошло соприкосновение двух древнейших исторических народов, египтян и вавилоно-ассирийцев, между которыми лежала Сирия, имевшая в числе своих жителей финикийцев, которые разносили цивилизацию по своим отдаленным колониям, — и евреев, столь важных в истории религиозного сознания передовой части человечества; здесь жили и другие народы, поочередно приобщавшиеся к международному историческому движению, причем постепенно расширялись и географические пределы этого мира; наконец, в зависимости как от событий, происходивших в этом мире, так и от его культурной жизни, началась историческая жизнь первого европейского народа — греков. Позднее, в эпоху Александра Македонского, и еще позднее, во времена Римской империи, европейский Запад и азиатский Восток

составляют уже как бы один исторический мир, поражающий нас крайнею пестротою своего состава, при сравнении с которою культуры китайская и индийская производят впечатление каждая чего-то в высшей степени простого и однородного. История Китая есть, в сущности, история одного народа, расширившего свою власть и наложившего печать своего влияния на соседние племена. То же имеем мы право сказать и об Индии, хотя бы в ней самой и образовались черты различия между частями единой нации, раскинутой на обширной территории. Только в позднейшие времена Китай и Индия были втянуты в историю передовой части человечества, которая именно и зародилась во взаимодействии народов сначала Египта, Сирии и Месопотамии, потом Ирана и Малой Азии, наконец, Южной Европы. История Китая и история Индии, с этой точки зрения, т. е. безотносительно к пространству этих двух стран и количеству их жителей, суть только побочные течения всемирной истории, выбравшей себе другое главное русло. Современная Европа, идущая во главе всего человечества, возникла на основах греко-римского мира, который, в свою очередь, явился во многих отношениях продолжателем дел, начатых Востоком в более тесном смысле. Вот почему мыслители, пытавшиеся придать всемирно-историческому процессу единство плана, либо совсем игнорировали Китай и Индию, как будто бы их никогда не существовало, либо затруднялись, какое место им отвести в общей схеме истории, либо, наконец, ставили Китай и Индию в чисто фантастическую связь с остальной историей древности*.

Особенное значение ближайшего Востока

Итак, тот исторический мир, который можно назвать Востоком в более тесном смысле, отличается от двух других современных ему исторических миров и большею древностью, и большим разнообразием своего состава, и более тесной связью своею с тем, что принято называть всемирной историей. История есть жизнь и движение, и именно ближайший к нам Восток был в древности свидетелем

* По Гегелю, всемирная история есть процесс выработки «всемирным духом» сознания своей свободы, и, по его схеме, этот дух, так сказать, движется с Востока на Запад, причем в Китае он еще спит, в Индии уже грезит, в Персии просыпается, хотя еще и не познает своей сущности, и т. д. Ср. выше.

наибольшего количества крупных перемен, имевших влияние на судьбу многих народов, тогда как Китай с давнейших пор сделался воплощением неподвижности в характере и быте народа, а перемены, происходившие в Индии, бледнеют в сравнении с появлениями и исчезновениями народов, с возвышениями и падениями царств, с распространениями и уничтоженьями целых культур на ближайшем Востоке. Всемирная история заключается во взаимодействии и преемственности наций, а тут мы как раз имеем и то, и другое. Особенно важно то, что в этом взаимодействии участвовали народы, успевшие в предыдущие периоды своей истории выработать своеобразные культуры, одновременное существование которых и сообщает такое разнообразие исторической жизни этого Востока. Этим и было положено начало объединению многих народов, которому предстояло сделаться одною из наиболее существенных сторон всемирно-исторического процесса.

Этот важный факт должен быть нам памятен с самого начала нашего обучения истории. Именно все мы начинаем учиться этому предмету по так называемой священной истории Ветхого Завета, заключающей в себе, главным образом, повествование о судьбах еврейского народа, но тут же мы впервые знакомимся и с другими странами древнего Востока, начиная с Египта и кончая Персией. Это происходит не только потому, что история еврейского народа переплетается с историей и египтян, и ассирийцев, и вавилонян, и персов, и более незначительных соседей Израиля, финикийцев и филистимлян, но и потому, что сами еврейские книги, по которым составляются «руководства к священной истории», говорят обо всех этих народах. Еврейские бытописатели, повествуя о судьбах своего народа, были не только национальными историографами, но и общими историками своего времени, потому что они не могли говорить об еврейских делах, не касаясь истории других наций, игравших ту или другую роль в судьбах самих евреев. Уже они, пожалуй, могли бы формулировать необходимость общей истории, так как во II в. до Р. Х. доказывал эту необходимость Полибий, говоря, что «судьба свела вместе все происшествия вселенной»*. Такое же значение имеет и то, что Геродот[11], «отец истории», живший в эпоху греко-персидских войн, соединил в одном труде все, что узнал о тог-

* См. выше.

дашнем культурном Востоке: последний уже составлял особый мир, заключавший в себе много народов, а политически бывший даже объединенным в могущественную державу под властью «великого царя». Напомню, наконец, что у христианских писателей средневековья общею схемою всемирной истории была грандиозная картина пророка Даниила[12] — смены четырех монархий, представляющая из себя формулу, которая возникла при зрелище судеб древнего Востока. Уже в XIX веке познакомились мы еще и с содержанием имеющих исторический характер записей царей египетских, ассирийских, персидских: они говорят нам об отдаленных походах, об обширных завоеваниях, о чуждых народах, т. е. опять-таки касаются истории не одной страны.

Начало всемирной истории

В настоящее время мы в состоянии даже определить эпоху и назвать факт, когда положено было первое начало более широкому политическому взаимодействию народов, хотя бы оно выражалось сначала, главным образом, в военных предприятиях и опустошительных нашествиях. Один из первых египетских фараонов XVIII династии, вступление которой относят за семнадцать веков до Р. Х., а именно Тутмес I[13], предпринял завоевание Сирии и дошел до Месопотамии, где, равным образом, давно уже существовали развитая историческая жизнь и высокая культура. «Со вступлением египтян в Сирию, — говорит Масперо[14], — открывается новая эпоха в судьбах древних наций: кончается история обособленных народов, начинается история мира». «Таким образом, — замечает по поводу того же факта Георг Вебер[15], — Египет выступает из своей замкнутости и — становится государством, участвующим в общем ходе человеческой истории». Это же появление египтян в Месопотамии Ван-дер-Берг называет «первым важным событием в истории Ассирии», зависевшей сначала от Халдеи, а потом сделавшейся одною из великих монархий Востока. Завоевание Сирии Тутмесом I повлекло за собою подчинение Египту финикийских городов, а именно, пользуясь покровительством фараонов, Сидон своею колонизацией превращает Средиземное море в финикийское озеро, на островах и берегах которого он основывает, по выражению Масперо, «настоящую колониальную империю». В этих странах финикийцы явились и пионерами цивилизации, по-

средниками в распространении искусств Египта, Ассирии и Вавилона. Таково было начало той всемирно-исторической драмы, которая с тех пор без перерыва, хотя меняя сцену и актеров, равно как свое содержание и свой характер, разыгрывается уже около тридцати пяти веков.

Главные периоды общей истории Востока

Завоевательные походы фараонов XVIII династии в Азию открывают первый период общей истории народов Востока. Сирия делается с этого момента на долгое время страной, которую стремятся завоевать и упрочить за собою сначала египтяне, потом ассирийцы, но которая постоянно делает попытки сбросить с себя чуждое иго; вместе с тем, сирийские походы и приводят в соприкосновение фараонов и царей ассирийских. Первоначально роль господина этой части Азии выпадает на долю более древнего Египта, распространяющего свое владычество до Тигра и Евфрата и на время ставящего в зависимость от себя страну Ассура; это эпоха финикийской колонизации, миграции народов Малой Азии и их нападений на Египет, «исхода» Израиля из страны фараонов, появления филистимлян в Сирии. За периодом египетского преобладания следует период преобладания ассирийского. Овладев за 1300 лет до Р. Х. Вавилоном, раньше господствовавшим над Ассирией, цари последней устремляются на Сирию, которая теперь большею частью, хотя и с перерывами, находится от нее в политической зависимости. В один из таких перерывов возникает между Египтом и Ассирией Еврейское царство, но оно скоро разделилось, от него отпали покоренные племена, гегемония в Сирии от Иерусалима перешла к Дамаску, и эта страна снова сделалась ареной вражеских нашествий, кончившихся новым ассирийским завоеванием. Особенно велико было могущество Ассирии между 722 и 625 гг. до Р. Х., когда самый Египет подпадал под власть ее царей-завоевателей. Таким образом, на первые два периода общей истории Востока приходится около тысячи лет, в течение которых происходят завоевания Сирии Египтом и Ассирией, причем в начале первого периода фараоны доходят до Месопотамии, а в конце второго, наоборот, ассирийские цари повелевают в самом Египте, в Сирии же за это время появляются новые народы, возникают и падают царства.

В 625 г. до Р. Х. падением Ассирии открывается новый период. История Ассирии стоит в тесной связи с историей Халдеи (Вавилонии), более древней и давшей ей самую культуру, — и соседнего с нею Элама. На север от последней страны вплоть до Каспия с востока подвинулись мидяне, которые в конце VIII века были завоеваны ассирийскими царями. Около середины следующего столетия произошло политическое объединение Мидии, скоро затем в союзе с Вавилоном и разрушившей Ассирийское царство. Предоставив Сирию Вавилону, новое государство двигается в это время в Малую Азию, где его успехам кладет предел царство Лидийское, до того времени еще не участвовавшее в общей истории. Падение Ассирии сопровождается, таким образом, выступлением на сцену истории новых народов и соответственным расширением самой этой сцены. К двум старым политическим силам — Египту и Вавилонии, и теперь оспаривающим друг у друга обладание Сирией, прибавляются две новые — Мидия и Лидия. В VI веке всем этим государствам суждено было сделаться добычею Персии: для Мидии восшествие на престол Кира было, однако, скорее переменой династии, чем иноземным завоеванием, а подчинение этим царем и его преемником Лидии, Вавилонии и Египта персидскому владычеству — только продолжением дела, начатого Мидией. Поэтому третий период можно назвать мидо-персидским. Персидские цари производят завоевания уже в более отдаленных странах, куда не заходили ни египетские, ни ассирийские армии. Между прочим, новая монархия приходит в соприкосновение на востоке с частью индийского мира, на западе — с миром греческим. Известно, однако, что западные отношения Персидской монархии имели несравненно большее историческое значение, чем восточные, оставшиеся без серьезных результатов. Греко-персидские отношения V и IV веков подготовляли наступление нового периода, характеризующегося уже европейским господством в странах древнего Востока. Полагая на весь мидо-персидский период около 300 лет, с последней трети IV в. до Р. Х. мы должны начать четвертый период истории древнего Востока: это — времена македонского завоевания Персидской монархии, образования на Востоке новых царств, в которых стала распространяться греческая образованность (эллинизм), и постепенного превращения всех этих царств на запад от Тигра в римские провинции — и так до конца древней истории.

Что можно считать концом истории древнего Востока?

Обыкновенно рассмотрение истории древнего Востока не доводится до этого греко-римского периода: ее принято оканчивать либо около 500 года, т. е. доводить до греко-персидских войн, либо около 330 г., т. е. доводить до завоевания Персидского царства Александром Македонским, отделяя, таким образом, историю Востока древнейшего от истории Востока в эпоху распространения греческой образованности и римского господства. Для такого отделения, конечно, существуют и свои основания: победы греков над восточными полчищами, пришедшими в Европу в начале V в., и завоевание обширной восточной монархии горстью европейцев в исходе IV столетия знаменуют собою целый переворот во всемирной истории, и с этой точки зрения историки правы, оканчивая «историю Востока» на временах Ксеркса[16] или Дария Кодомана[17]. Но ни возвышение Греции и македонское завоевание, проложившее на Восток путь эллинизму, ни превращение Передней Азии и Египта в римские провинции не были концом старого Востока, в смысле полного исчезновения его прежних форм быта и культурных традиций. Мало того: в эпоху разложения античной цивилизации Восток, которому многим была обязана и греческая культура в самом своем начале, еще раз оказал могучее действие на греко-римский мир в форме наплыва древних религиозных верований Азии и Египта в Европу, предшествовавшего распространению по тогдашней «вселенной» христианства, возникновение которого придает особое значение во всемирной истории одному из старых восточных же народов, евреям. Победа христианства над эллинскою мудростью и над римскою государственною властью была настоящим концом не только для классического мира, но и для истории древнего Востока, ибо в разных формах его язычества и сохранялось в греко-римские времена все, что только было наиболее национального среди населения его старых культурных стран.

Причины возникновения древнейших цивилизаций в определенных местностях

Индия и Китай не дали начала такому историческому развитию, какому положил основание древний Восток в более тесном смысле. Разбирать все причины второстепенного значения этих двух стран

с всемирно-исторической точки зрения мы здесь не можем по самой сложности этой темы, но это не мешает нам все-таки остановиться на неодинаковости некоторых географических условий четырех древнейших цивилизаций, т. е. египетской, ассиро-вавилонской, индийской и китайской. Многие из этих условий были одинаковы, и именно ими объясняется раннее появление более развитой культуры в древнейших исторических странах, но в некоторых отношениях Индия и Китай были поставлены в худшие условия, чем Египет и Ассиро-Вавилония. Мы и рассмотрим сейчас и те, и другие условия.

«В Азии, — говорит Бокль[18] в одном месте своего знаменитого труда*, — цивилизация всегда ограничивалась тою широкою полосою, где плодородная наносная почва обеспечивала человеку необходимую долю богатств, без которой умственное развитие не может начаться. Эта громадная область простирается с небольшими перерывами от восточной части южного Китая до западных берегов Малой Азии, Финикии и Палестины». Указав на неблагоприятные условия для культурной жизни, представляемые землями на север от этой полосы, равно как Аравией и всею Северною Африкою, английский историк продолжает: «Вся восточная часть африканской пустыни орошается водами Нила, ил которого покрывает песчаную почву плодородными полосами, и, таким образом, труд получает обильное, чрезвычайное вознаграждение»; в этом Бокль и видит причину того, что «узкая долина Нила сделалась местом рождения египетской цивилизации». Общий вывод отсюда он делает такой: «В Азии, в Африке причиной цивилизации было плодородие почвы, приносящей обильные жатвы; в Европе — более счастливый климат, побуждающий к более усиленной работе. В первом случае результат зависит от отношения между почвой и ее произведениями, словом, от простого действия одной части внешней природы на другую, в последнем — от отношений между климатом и работником, т. е. от влияния внешней природы не на самоё себя, а на человека. Из этих двух разрядов отношений первый, как менее сложный, менее подлежит колебаниям и потому ранее проявляется. Вот почему в движении цивилизации первые шаги несомненно принадлежат более плодоносным странам, Азии и Африке». В этих словах Бокля отмечена действительно важная особенность возникновения древнейших цивилизаций: они были все порождены

* «История цивилизации в Англии».

странами с весьма плодородною почвою. Египет в древности был настоящею «житницею мира», сам будучи «даром Нила», который после своих разлитий оставлял жирные осадки тропической почвы. Второю колыбелью цивилизации был Сеннаар (Вавилония), южная часть «Междуречья», образуемого Тигром и Евфратом, которые своими разливами также утучняли почву; в свое время здесь был настоящий «сад Азии», каким слыл некогда и соседний Элам, тоже колыбель цивилизации — на ближайшем к нам Востоке. Известно также, что роскошная долина Инда и Ганга, где, равным образом, развилась самостоятельная культура, относится к числу плодоноснейших стран в свете. Наконец, и Китай, также рано ставший родиной весьма древней культуры, равным образом славится своим плодородием. Вместе с этим, все названные страны находятся в очень теплом климате, южнее 40° с. ш., где все человеческие потребности легко удовлетворяются. Самостоятельное возникновение древнейших цивилизаций в землях, лежащих приблизительно в одних и тех же широтах и представляющих приблизительно одинаковые условия относительно почвы, указывает на то, какую важную роль играла физическая природа при зарождении культурной жизни. Замечательно, что и в Новом Свете Мексика и Перу, имевшие уже некоторую цивилизацию до прихода европейцев в Америку, как относительно плодородия почвы и теплоты климата, так и относительно естественных произведений, очень легко подводятся под общие черты, характеризующие природу Египта, Месопотамии, Индостана и Китая, — лишнее указание на те географические условия, которые были наиболее благоприятными для возникновения цивилизации. Культурные оазисы среди варварской пустыни, прежде чем стать таковыми, уже были оазисами и в физическом смысле средй иногда колоссальной пустыни, тянущейся с перерывами от Сахары до Гоби.

Географическое распределение этих культурных оазисов было, с другой стороны, неодинаково благоприятно для их дальнейшего значения во всемирной истории. Китай разобщается с Индией целым рядом высоких горных цепей, Индия — с Месопотамией также горами и пустынями, но Месопотамия и Египет уже были менее разобщены между собою, а лежавшая по дороге из одной страны в другую Сирия, удобная для передвижения торговых караванов и завоевательных армий, примыкала одним своим краем к Средиземному морю, окруженному берегами трех главных частей Старого Света. Только

здесь, в юго-западном углу Азии и северо-восточном углу Африки, и сложились наиболее благоприятные условия для перехода из периода речных цивилизаций в морской период истории.

Мы уже упоминали именно о географической схеме всемирной истории, предложенной Мечниковым, и считаем теперь не лишним подробнее изложить его взгляд на общий ход истории в применении специально к древнему Востоку.

Отметим прежде всего те отдельные места об исключительно «речном характере» древнейших цивилизаций и о моменте перехода в морской период.

«В настоящее время, — говорит Мечников, — специалистами признано, что древнейшим поприщем египетской цивилизации служила долина от дельты до первого порога, близ Ассуана. С интересующей нас точки зрения чрезвычайно характерным является выбор древнейшей из египетских столиц в Мемфисе, у самой вершины дельты. Египетская цивилизация исторически, таким образом, является нам в первый раз в нескольких верстах от Средиземного моря, но как будто для того, чтобы оттенить свой речной характер, она поворачивается к морю спиною и направляется вверх по течению реки, на юг, в Фиваиду и дальше, до самого Мероэ. Египтяне считали море проклятою, отверженной стихией, входить в общение с которой было бы грешно. Их жрецам строго воспрещалось сноситься с мореходами, и флот, который фараоны принуждены были завести в позднейшие времена, состоял из наемников. Плутарх[19] очень подробно излагает те мистические мотивы, которыми египтяне еще и в его времена объясняли самим себе это свое отвращение от моря. Действительные же причины такой их моребоязни вытекали довольно просто из сущности их положения. Пока течение Нила не было приведено в порядок вековыми работами канализации, эта река, тотчас же за Мемфисом, разветвлялась на множество болотистых рукавов, нагромождавших ил и наносы у берега моря. Дельта в окончательном своем виде является продуктом цивилизации больше, чем природы; первоначально же она представляла из себя необитаемую болотную местность, испещренную во всех направлениях затоками и застоями пресной и морской воды, заражавшими воздух своими тлетворными испарениями. Как народ исключительно земледельческий, египтяне не имели повода интересоваться морем; да оно и действительно не имело для них значения до тех пор, пока берега его оставались или

совсем пустынными, или же были населены троглодитами. Когда же, значительно позднее, по синим волнам этого по преимуществу самого культурного из морей стали плавать лодки финикийских, критских, малоазиатских и греческих пиратов, то они стали только новой грозой для поморских египетских городов и сел, богатство которых служило для них особенно лакомой приманкой. Появление этих морских разбойников произвело в царстве фараонов совершенную панику. Скоро пришлось откупаться от морских разбойников, нанимать их же на фараонову службу для охранения морского берега от других таких же пришельцев. Когда же на Средиземном море прочно утвердились такие могущественные соперники, как финикийские, малоазиатские и греческие республиканские союзы, то перед речной испокон века египетской цивилизацией открывалось только две дороги: или превзойти своих противников морским могуществом, или же стушеваться. На первое у нее уже не хватало жизненности, а потому с тех дальних пор и до настоящего времени Египет уже не имеет самостоятельного исторического существования, а только выносит на своих плечах непрерывный ряд чуждых завоеваний».

Те же самые явления с некоторыми местными особенностями представляет для Мечникова и история месопотамской цивилизации, так как он находит «замечательную аналогию географического положения древнейших столиц Халдеи — от Дильмуна до Ура и Вавилона с положением Мемфиса и Фив. Близкие на первый взгляд к внутреннему морю (Персидский залив) города эти были в действительности отделены от него негостеприимной болотной полосой, которую образовали устья Евфрата и Тигра, прежде чем труд и искусство многочисленных поколений не вывели их из природного хаоса и не вогнали в одно русло Шат-Эль-Араб. Как в Египте, так точно и в Месопотамии, цивилизация в течение почти двадцати веков отворачивается от моря и устремляется вверх по рекам, породившим ее, к Арарату, имея главными своими средоточиями внутренние города: Ассур, Ниневию, Кархемыш, т. е. и здесь точно так же, как на нильских берегах, историческая цивилизация переживает долгий первичный или речной период, прежде чем — не раньше VII в. до Р. Х. — естественный ход времени ставит и перед ней, в свою очередь, роковую дилемму: преобразиться в морскую цивилизацию, т. е. вступить в новый возраст своего развития, или же стушеваться перед более свежими цивилизациями, успевшими уже расцвесть на средиземно-

морских берегах, по усвоении наследства египетской истории». Сначала эта цивилизация, как и египетская, развивается и зреет долго в речной, континентальной среде, сухим путем распространяя свое историческое влияние на всю Юго-Западную Азию, но после падения Ассирии, с возникновения так называемой второй Вавилонской монархии, для месопотамской цивилизации наступает решительный морской период. В этом мы убеждаемся уже по тому усердию, с которым Навуходоносор, главный зиждитель позднейшего вавилонского могущества, старается открыть своей столице доступ к морю, но, как известно, политическое могущество ново-вавилонской монархии продолжалось всего несколько десятков лет. Персидское завоевание положило конец месопотамской независимости и даже грозило повернуть историю Юго-Западной Азии назад к речным временам.

Историческое превосходство ближайшего Востока над Китаем и Индией

Близость названных стран одной к другой и к Средиземному морю, этому главному культурному морю древности, была особенно благоприятным условием для более тесного взаимодействия в этой части древнего мира старейших исторических народов и для перехода цивилизации из речного периода в морской. Для Индии и Китая таких условий не существовало. «Индия, — говорит Мечников, — сравнительно скоро утрачивает свое мировое культурно-историческое значение именно потому, что ее реки открывают ей довольно плохой доступ к двум очень невыгодно одаренным природой внутренним морям. К тому же, — замечает он еще, — вместе с Китаем, она является уже несколько запоздалою на всемирно-историческом поприще, и вследствие этой запоздалости история обеих этих стран представляет более специальный и узкий интерес, имея немного точек соприкосновения с мировой историей Запада».

Решительно морской характер приняла лишь история стран, прилегающих к Средиземному морю, и здесь первым народом с всемирно-историческим значением явились финикийцы, главнейшая заслуга которых заключается именно в том, что они перенесли всемирную историю из речной географической среды в среду средиземноморскую. Ближайшим последствием такого перемещения было то, что культуры, развивавшиеся до тех пор изолированно одна от

другой, в тесной зависимости от судьбы какого-нибудь народа, сменились цивилизацией, имеющей уже общий, космополитический характер. «С этих пор, — как говорит Мечников, — отдельные нации уже могут слабеть, бледнеть, вовсе исчезать с исторического поприща, но светоч всемирной культуры не гаснет уже никогда. От финикийцев его перенимают эллины, вызывающие к исторической жизни Италию и Рим, создающие ту империю, которую иначе и нельзя назвать, как средиземноморской, потому что в ней не преобладал ни один националистический элемент, а участвовали все народы, живущие вокруг Средиземного моря».

Но если цивилизации ближайшего Востока были первою основою дальнейшего культурного развития главной части исторического человечества, то, с другой стороны, ни в Индии, ни в Китае мы не наблюдаем таких переворотов, которые на ближайшем Востоке влекли за собою полную гибель старого — с заменою его новым и даже с резкими возвращениями назад.

Причины гибели древнейших цивилизаций и культурного застоя в истории восточных народов

В самом деле, тот исторический мир, в котором было положено начало главному течению истории, в настоящее время можно назвать совершенно исчезнувшим с лица земли, не в том только смысле, что всякое прошедшее есть для настоящего нечто переставшее существовать, но главным образом в том, что в данном случае прошедшее не имеет в настоящем своего непосредственного продолжения. В последнем отношении совсем не то наблюдаем мы в истории Китая или Индии: между тем, как от древнего Востока в более тесном смысле этого слова остались одни, если можно так выразиться, археологические следы, древние Китай и Индия продолжают еще жить до сих пор в Китае и Индии современных. Другими словами, цивилизации древнего Востока, за исключением китайской и индийской, в настоящее время более уже не существует даже в измененных формах: это — цивилизации вымершие, уступившие место историческим явлениям совсем другого происхождения. В сравнении с исчезновением культур египетской, ассиро-вавилонской, финикийской и т. д. не может идти в полное сравнение даже то крушение греко-римской образованности, которое произошло в начале так называемых средних веков ев-

ропейской истории: не сохранись о народах Передней Азии и Египта известий в Библии и у классических авторов и не оставь эти народы сами о себе вещественных и письменных памятников, — которые притом стали открываться и изучаться только в XIX в., — мы имели бы право говорить даже о совершенно бесследном исчезновении для нас всей истории ближайшего к нам Востока. Не в таком положении, повторяем, находятся Китай и Индия: древнейшая их история продолжается доселе, не испытав ничего такого, что напоминало бы гибель культур египетской или ассиро-вавилонской.

Но здесь, в истории этих двух стран, мы имеем дело уже с другим явлением, весьма характерным вообще для наиболее ранних цивилизаций, лишь только они достигали некоторой высоты: я говорю об известном культурном застое и Китая, и Индии. В этих странах историческая жизнь зародилась раньше эпохи полного расцвета греческой цивилизации, а между тем и китайцы, и индийцы, довольно рано выработав свою культуру, страшно отстали от европейских наций, хотя предки последних только что готовились вступить в историческую жизнь, когда сама античная цивилизация уже успела отцвести. Это явление, т. е. отсталость китайцев и индийцев, по сравнению их с европейцами, может объясниться либо тем, что оба азиатских народа находились в более медленном, хотя и непрерывном движении, либо тем, что, сравнительно быстро достигнув сначала значительной культурной высоты, они впоследствии, так сказать, остановились в своем поступательном движении, застыли и замерли в традиционных формах быта.

Известно, что в исторической литературе — и не без основания — составилось представление о застое как о характерной особенности истории обеих названных стран в течение целых столетий: застой обозначает едва заметное, крайне медленное движение, — так как абсолютного застоя не бывает, — обозначает также коснение на давно достигнутых ступенях быта, предполагающих, однако, известное движение в более отдаленном прошлом. «Китайцы, — говорит автор одного обширного историко-философского труда, — неподвижны не в том довольно общепринятом смысле, что будто бы все сплошь остается у них неизменным; напротив, культуры своей добились они кропотливым, настойчивым трудом, и государство их испытало на себе много потрясений, — но они консервативны в том значении, что крепко держатся за все, что успели раз себе добыть, и за первич-

ную форму своего жизненного начала, так что все развитие их совершается в пределах последнего, не переходя за его заветную черту; у них не возникает ничего существенно нового, ни через усвоение со стороны, ни благодаря процессу внутреннего самораскрытия. Китайцы, — прибавляет тот же писатель, — были малыми детьми, как и все человечество той отдаленной эпохи, но детьми же они и остались, детьми же состарились, так что символом целого народа является герой сказания, Лао-цзе[20], который будто бы родился на свет седовласым старцем»*. Конечно, история Индии не подойдет под эту характеристику, но именно здесь-то мы с особенною ясностью, весьма пригодною для частной иллюстрации общего явления, и наблюдаем быстрое и богатое развитие исторической жизни, за которым следуют века застоя. «С устойчивостью, принадлежащею характеру восточных народов, — читаем мы в одной большой "Всеобщей истории"**, — индийцы продолжали с той поры (с македонской и александрийской эпохи) держаться, как держатся еще и теперь, своего фантастического вероучения, своего стеснительного кастового устройства, строгого аскетизма, веры в долгий ряд возрождений, — словом, всех тех учреждений и теорий, которыми была парализована и подавлена их нравственная энергия. Много было завоевателей, становившихся железною ногою на выю индийского народа; много было военных нашествий, вторгавшихся опустошительными бурями в благодатную страну и заливавших ее кровью; но старые основы индийской жизни пережили все перевороты, выдержали все угнетения, все преследования, устояли против всех попыток переделать понятия индийцев». «В течение следующих веков, — говорится еще в одном месте той же книги, — произошло, правда, много изменений в религиозных понятиях и богослужебных обрядах индийцев, обогатилась их наука, явились у них великие произведения поэзии, других искусств, — но творческая сила нации была уже истощена; основные черты индийской жизни неизменно сохранили тот вид, в каком существовали раньше».

Гибель цивилизации в одном случае и культурный застой в двух других — вот какая судьба постигла народы, ранее всех выступившие на историческое поприще, — народы, историю которых мы имеем

* Мориц Каррьер, «Искусство в связи с общим развитием культуры».

** Г. Вебер, «Всемирная история».

право рассматривать как первый фазис истории общечеловеческого прогресса. Обобщая эти и подобные им факты (особенно падение греко-римской цивилизации в эпоху германского варварства на западе Европы и византийского коснения на Востоке), многие историки готовы были объяснить такие случаи гибели цивилизации и культурного застоя, встречающиеся в истории, по аналогии с жизнью индивидуума, естественно и необходимо приводящей к старости и оканчивающейся смертью: нация также исчерпывает свои силы, как индивидуум, и, старея, делается неспособной к дальнейшему движению. Как ни удобна эта аналогия для объяснений общего характера, она, во-первых, не может устранить необходимости в частных объяснениях для каждого отдельного случая, когда только мы имеем дело с прекращением исторического движения, а, во-вторых, сама по себе она основывается на гипотезе, доказательства которой весьма шатки и против которой, наоборот, можно привести немало веских доводов. Не разбирая здесь самих оснований такой теории, это завлекло бы нас слишком далеко от главного предмета, — я ограничусь лишь указанием на то, что гибель цивилизаций происходит всегда преимущественно от причин внешних, тогда как культурный застой или регресс бывает большею частью результатом хотя и внутренних условий жизни народа, но таких, которые лежат не «в крови» последнего, якобы вырождающейся в силу самого процесса исторической жизни, а в социальных формах народа и его понятиях, раз те и другие принимают характер неблагоприятный и даже прямо враждебный всякому движению вперед. Можно даже утвердительно сказать, что именно в начале всемирной истории внешние условия существования культурных народов постоянно грозили гибелью их цивилизации, а внутренняя их жизнь необходимо складывалась таким образом, что очень часто сама же обусловливала неизбежность застоя после более или менее продолжительного движения вперед. Не приводя здесь подробно теоретических доказательств в пользу такого взгляда, я только подкреплю это положение на нескольких обобщенных примерах, заимствованных из истории древнего Востока.

Во-первых, народам, среди которых развивались древнейшие цивилизации, а вместе с тем и самим этим цивилизациям постоянно грозили варварские нашествия, весьма опасные по своим последствиям. Если для античной образованности на Западе весьма

печальные последствия имело так называемое «великое переселение народов» в начале средних веков, то цивилизация должна была считать себя еще менее прочною, когда ей принадлежало только несколько оазисов среди совсем некультурных народов. Возьмем один Египет: с древнейших времен его населению пришлось оберегать Суэцкий перешеек от вторжения азиатских кочевников, не говоря уже о почти постоянной, в течение долгого времени, опасности со стороны нубийцев и ливийцев; тем не менее, номады (шус или шасу) прорвались-таки в Египет и на весьма долгое время (2200–1700 до Р. Х.) им завладели. По местному преданию, они разрушили храмы богов, перебили множество народа, обратили оставшихся в живых в рабство и наложили дань на всю страну. Потом и самим завоевателям пришлось также оберегать покоренную землю от новых нашествий из-за Суэцкого перешейка. После освобождения Египта от «гиксов», он подвергался еще нашествиям со стороны малоазиатских народов, соединявшихся с ливийцами, которые всегда готовы были с запада нападать на Египет, как семиты нападали с востока, и если бы в очень ранние эпохи своей истории Египет не распространил образованность свою на юг, в Эфиопию, то и временное владычество последней над страною фараонов тоже, пожалуй, имело бы для египетской цивилизации результаты столь же плачевные, как и господство гиксов. Другой пример — «скифские» нашествия на Азию. С незапамятных времен из-за Кавказа, от поры до поры, на Малую Азию нападали киммерийцы, которые впоследствии стали совершать набеги и на ассирийские владения, встречая здесь, впрочем, отпор. Около 632 г. до Р. Х. скифам удалось, однако, разграбить Мидию, опустошить Ассирию, истребить половину населения в Месопотамии, напасть на Сирию и даже дойти до Египта, от которого отвратили их только богатые дары Псамметиха[21]. По словам Геродота, скифы господствовали в Азии 28 лет, но даже семи-восьми лет, принимаемых для этого периода новейшими историками, достаточно для объяснения быстро последовавшего за этим падения Ассирии. Не накопляя других примеров варварских вторжений в культурные страны, мы можем видеть в подобных событиях одну из причин непрочности древнейших цивилизаций: это были, в полном смысле, оазисы среди пустыни, которым грозила опасность быть засыпанными ее песками. Известно, что многие некогда культурные страны, именно в силу таких причин, делались достоянием настоящей пустыни, и чем далее

мы идем в глубь веков, тем все более и более уменьшаются число и величина таких оазисов, и, следовательно, тем все менее и менее прочною должна была быть цивилизация. Прогресс в первом своем фазисе — на каковой и приходится история древнего Востока — с этой стороны был поставлен в крайне неблагоприятные условия, особенно если мы примем еще в расчет, что сами и «исторические народы» поступали один с другим не лучше гиксов и скифов: достаточно вспомнить подвиги одних ассирийцев с их бесцельною жестокостью и страстью к разрушению, да и вообще международная история Востока есть история разрушения городов, разорения стран, истребления, порабощения, увода в плен целых населений. Война сама по себе есть явление варварское, а в истории древнего Востока и совсем уже невозможно провести границы между вторжением варваров в культурную страну и завоевательным походом культурного народа на варваров. «Я пронесся, как опустошительный ураган», — говорит о себе ассирийский царь, Сеннахериб[22]; «я призвал (в завоеванный Элам), — объявляет о себе другой царь, Ассурбанипал[23], — диких зверей, змей, животных пустыни и газелей», — вот содержание всей военной истории не одной Ассирии, но и других культурных народов древнего Востока. Оберегать себя от подобных вражеских вторжений было трудно и в том еще отношении, что это требовало большого напряжения материальных сил и тем самым подрывало экономическое развитие этих народов.

Это — по части внешних условий существования отдельных исторических народов Востока, которым, с эпохи подчинения всех их персам, как бы на роду было написано подвергаться затем все новым и новым иноземным завоеваниям. Перейдем теперь к внутренним условиям исторической жизни восточных народов как в древности, так даже и теперь.

Если на первых порах могли принадлежать цивилизации только, говоря фигурально, оазисы, то сама она могла возникнуть лишь в крупных политических организациях, которые, в свою очередь, складывались и поддерживались сначала путем одного принуждения: без образования в Египте могущественного царства кочевники, стремившиеся в благодатную долину Нила, не дали бы развиться в ней зародышам культуры, по крайней мере, настолько, чтобы ей уже не так были страшны нашествия варваров, а с другой стороны, только на большой территории, подчинявшейся общей власти, могла

прекратиться вечная война между мелкими социальными группами, на какие распадались в доисторическом своем существовании отдельные народы; война же с внешними врагами далеко уже не занимала всех свободных людей, что дозволяло значительному количеству населения предаваться главным образом мирным занятиям. Но сами организации эти возникли путем принуждения, путем порабощения одних групп другими, путем подчинения всех единой власти, главною задачею которой было не давать государству рассыпаться на составные части и понуждать его жителей к действиям, имевшим целью поддержку этого целого против внешних и внутренних врагов. Древние восточные государства все были деспотиями: в них все более и более развивались произвол власти у правителей и инстинкт повиновения в подданных, поглощение личности государством и ослабление личной инициативы в единицах, несмотря на частые вспышки анархии и своекорыстное поведение людей в их взаимных отношениях. Таким образом, если для развития цивилизации необходимы были крупные политические организации, то с такою же необходимостью и возникали эти организации только путем принуждения, а в этом, как в зародыше, лежал весь политический быт восточных народов, т. е. все более и более усиливавшийся деспотизм, с одной стороны, и порабощение масс, с другой, — условия, крайне неблагоприятные для исторического движения, тем более, что деспотизм все яснее и яснее сознавал интерес свой — силою поддерживать statum quo, а сами народы под конец уже и не могли представить себе иного порядка вещей. В одном лишь отношении эти народы время от времени успевали наносить удар искусственному соединению под одною деспотическою властью: история Египта насчитывает несколько распадений единого царства на отдельные княжества, происходивших путем возмущений против центральной власти, а Ассирия постоянно вновь должна была завоевывать свои владения, подавляя восстания подвластных населений. История Еврейского царства в этом отношении есть сколок с истории Египетской и Ассирийской монархий: соединение «колен» происходит в виду опасностей от соседей и путем принуждения; вновь основанное царство немедленно принимает форму восточной деспотии и устремляется на путь завоеваний, которые, однако, не остаются прочными приобретениями государства, да и само единое царство распадается.

Политический деспотизм восточных монархий находил естественное свое дополнение в социальном порабощении масс. Последнее, будучи до известной степени одним из условий зарождения культурной жизни среди меньшинства, поставленного в более благоприятное положение, с другой стороны, однако, при новых и новых успехах цивилизации, не сопровождавшихся соответственными улучшениями в жизни этих масс, было одною из причин печальной судьбы всех восточных народов. Каждый новый шаг, сделанный страною на пути исторического прогресса, увеличивал пропасть между культурным меньшинством и рабочею массой, причем первое весьма скоро начинало обнаруживать еще и склонность к «изнеженности», а вторая все более и более тупела. Для начала развития культуры, конечно, нужны были и крупная политическая организация, при которой населению известной территории можно было бы предаваться мирным занятиям, и известный класс общества, который выделялся бы из массы, занятой исключительно добыванием средств к существованию, но как самые ранние государства складываются путем голого принуждения, влекущего за собою политический деспотизм, так и выделение культурного класса из народной массы с самого начала было, в сущности, установлением сословия господ над порабощенной массой, тем более еще, что различие между господами и их подвластными складывалось и благодаря одолениям и поражениям на полях битвы со всевозможными формами пленения, как их неизбежными последствиями.

В этом деспотизме и этом порабощении, которые сами заключали в себе помеху для дальнейшего свободного развития общественных сил, мы должны видеть еще и один из результатов вообще слабого развития личного начала в древнейших обществах. На Востоке, говоря словами Гегеля, дух не сознавал своей сущности, каковая заключается в свободе, т. е. личность легко подчинялась всему внешнему, целям, для нее посторонним, — в своей деятельности, и понятиям, пришедшим к ней извне, — в своем мышлении. Раз бессознательною, коллективною, с традиционными приемами деятельностью народа выработаны были известные формы мысли и жизни, известные понятия и порядки, отдельная личность подчинялась им в силу того, что находила все это уже готовым, являясь на свет Божий, а такое подчинение всех установившемуся укладу неминуемо влекло за собою застой, коснение. Культурно-социальная среда, бывающая, конечно,

всегда на первых ступенях исторического развития продуктом бессознательной и коллективной работы над таким же путем сложившимися традициями, имеет тенденцию подчинять себе личность, и чем личность менее развита, — а такова она на ранних ступенях общественного быта, — тем легче и подчиняется она этой среде, т. е. тем большее господство получает последняя в жизни всего народа, и тем труднее делается для него выйти из заколдованного круга традиционных понятий и порядков. На Востоке так и случилось: пока складывалась культурно-социальная среда того или другого народа, мы еще наблюдаем историческое движение, но ввиду только что отмеченной слабости личного элемента в начальных периодах истории, эта культурно-социальная среда сама рано или поздно начинала принимать характер, враждебный развитию личного начала. Как необходимый в обществе элемент власти, развившись за счет других сил общества, крайне слабых в начале истории, дал восточным государствам деспотический строй, как, с другой стороны, не менее неизбежное расчленение народа на классы, приняв уродливое направление, сделалось одною из причин внутреннего бессилия общества, — совершенно так же и социально-культурная среда получила в этих государствах одностороннее развитие именно в силу слабости личного элемента на первых ступенях истории, подавив личность и подчинив ее всему, имевшему происхождение в бессознательной, коллективной, традиционной стороне истории.

Значение Востока в религиозной истории человечества

Рядом с политическим и социальным угнетением, тяготевшим над населением восточных деспотий, следует поставить и чисто жреческий характер всех главных проявлений духовной культуры на древнем Востоке. Если принять формулу умственного развития человечества, предложенную Контом в качестве основного закона истории, то придется сказать, что развитие восточных народов не перешагнуло за пределы теологического фазиса. Главным результатом всей деятельности этих народов в области духовной культуры было создание великих религиозных систем, налагавших печать на всю жизнь общества и подчинявших ее известному общему укладу, как данному ей свыше и потому неприкосновенному для человеческого произвола. Браманизм в Индии освящал деление общества на касты; иранский

маздеизм[24] опутывал личную жизнь целою сетью мертвого формализма и подчинял ее рабскому игу неподвижного закона; у египтян, которые, по словам Геродота, были религиознее всех людей, религия также играла первенствующую роль во всех подробностях частной и общественной жизни; религиозный строй жизни Израиля равным образом может служить примером этой особенности восточных цивилизаций.

Вот почему в истории человечества древний Восток прежде всего представляется нам как родина всех великих религиозных систем, некоторые из которых вышли далеко за пределы породивших их национальностей и распространились широко среди других народов. Мы еще остановимся на так называемом религиозном синкретизме, характеризующем времена Римской империи, когда восточные верования и культы стали распространяться и среди населений европейских провинций этой мировой державы. Здесь пока нужно отметить, что все три великие мировые религии, т. е. такие религии, которые переросли рамки первоначально чисто национального значения, вышли из отдельных стран Востока. Первой по времени мировой религией явился буддизм, возникновение которого относится к VI в. до Р. Х. Он был результатом долговременного процесса религиозной эволюции, совершавшейся в Индии, но в то время, как более ранние формы индийской религии — поэтический ведизм и философский браманизм — имели чисто национальный характер, буддизм, который, в конце концов, в самой Индии даже не удержался, приобрел многочисленных последователей на обширной территории от Цейлона и Сиама до сопредельных стран Сибири и Монголии и от берегов нижней Волги до Японии. Точной статистики последователей буддизма не существует, но их теперь, во всяком случае, многие десятки, если не сотни миллионов.

Восток является колыбелью и второй, по времени, но самой важной по своему историческому значению мировой религии — христианства. Религиозная история Израиля имеет сама по себе глубокий интерес, но еврейский культ Иеговы отличался, как известно, чисто национальным характером. Выросшее на почве иудаизма христианство с самого же начала приняло характер религии универсальной, и распространение его на обширной территории Римской империи имеет значение одного из величайших фактов всемирной истории.

Наконец, на Востоке же — только уже в начале средних веков — явилась и третья мировая религия, насчитывающая в настоящее время многие миллионы последователей, магометанство.

Культурное влияние Востока на европейскую историю

Было бы, однако, односторонне видеть в культурном влиянии Востока на всемирную историю только одну религиозную сторону. Для главного исторического мира Восток был родиной весьма многих научных и технических знаний, плодами которых мы пользуемся до сих пор. Если на греческую цивилизацию мы должны смотреть как на главный источник всего дальнейшего культурного прогресса Европы, стоящей теперь во главе всего мира, то сами греки обязаны были начатками своих теоретических и практических знаний заимствованиям у восточных народов. Этот общий факт заслуживает быть особенно отмеченным.

Заселяя постепенно острова и западный берег Малой Азии, греческие выходцы приходили здесь в соприкосновение с народами, стоявшими уже сравнительно с ними на высшем уровне культуры: у этих народов они и заимствовали начатки своей образованности. В Малой Азии и на острове Кипре, когда сюда пришли греки, уже существовала довольно высокая культура, находившаяся под сильным влиянием Вавилона и Египта. На материке она распространялась посредством сухопутной торговли, на Кипре и островах Эгейского моря — мореплавателями-финикийцами (на Кипре имевшими к тому же и свои колонии). В этой второй своей родине греки познакомились со всем тем, что только было выработано важного Востоком в культурном отношении. Более непосредственное, а потому особенно широкое и сильное влияние должны были оказывать на греков, конечно, их ближайшие малоазиатские соседи, у которых они заимствовали очень многое в своей материальной культуре — в жилище, домашней утвари, одежде, вооружении и т. п. Сначала греки пользовались продуктами иноземной промышленности (ткани, сосуды, оружие и т. п.), но потом стали изготовлять разные вещи сами, хотя первоначально лишь по иностранным образцам и только позднее выработали самостоятельную технику. С Востока через Лидию пришла к грекам чеканка монеты, да и торговые меры греков были также восточного (вавилонского) происхождения. Греческий алфавит, как известно, есть

не что иное, как измененный алфавит сирийских семитов, перешедший к эллинам или через Малую Азию, или при посредстве финикийцев. Греки только придали некоторым знакам значение гласных (которых не было у семитов) и прибавили еще несколько букв, но название букв (альфа, бета, гамма, дельта и т. д.) и их порядок сохранились те же, что и в финикийской азбуке. Наконец, храмы и статуи богов в Греции равным образом носили в себе первоначально следы влияния восточных религиозных верований и искусства.

Неодинаковое значение отдельных восточных народов во всемирной истории

Конечно, в смысле влияния на последующую историю отдельные народы Востока играли далеко не одинаковую роль. Политическое значение индийцев и евреев со всемирно-исторической точки зрения можно назвать ничтожным, но оба эти народа оказали громадное влияние на религиозную жизнь человечества. Наоборот, персы очень мало сделали для духовной культуры, но зато их значение в политической истории древности было громадным. В распространении культуры особую роль сыграли финикийцы, хотя сами, по-видимому, очень мало внесли оригинального в общую сокровищницу цивилизации. Как, однако, многосторонни могли быть влияния отдельных стран на другие, об этом, например, может свидетельствовать то значение, какое по праву принадлежит во всемирной истории древнейшей культурной стране — Египту.

Египтяне, как известно, создали самую раннюю письменность, перешедши постепенно от идеографического письма (изображения предметов) к буквенному, причем их азбука легла в основу финикийского алфавита, из которого образовались впоследствии алфавиты греческий и латинский. В Египте же получили начало медицина с анатомией (бальзамирование трупов), геометрия (землемерие), механика и архитектура (постройка пирамид), астрономия (определение времени разлития Нила по годичным переменам звездного неба) и т. п., хотя теоретические части этих наук часто состояли из чисто магических и мифологических представлений. Особого совершенства достигли египтяне в ремеслах и всякого рода технике. До сих пор еще поражают нас громадные сооружения древних египтян, вроде пирамид, которые до новейших европейских сооружений

оставались высочайшими на земле человеческими постройками. Гидравлические работы, произведенные египтянами, также указывают на высокое развитие их технических знаний. В скульптуре, живописи и поэзии они равным образом сделали большие успехи. Но особенно важно то, что Египет рано начал и постоянно продолжал оказывать влияние на другие народы древности, чему способствовали, кроме торговых сношений, походы фараонов в Азию и завоевания, которым подвергался сам Египет, сделавшийся в 525 г. до Р. Х. провинцией Персидской монархии, потом вошедший в состав монархии Александра Македонского и три века затем находившийся под властью греков, пока (в 30 г. до Р. Х.) не превратился в провинцию Римской империи. В эпоху греческого и римского владычества он был страною, где от столкновения идей Запада и Востока возникали новые культурные формы. Если в первые времена своего существования Египет научил другие народы азбуке и элементам разных практических искусств, то в греко-римскую эпоху его жреческая религия оказала некоторое влияние на духовную жизнь тогдашнего исторического мира. Культ египетских богов довольно рано (еще до завоевания Египта) стал проникать в Рим и все более и более распространяться в разных частях империи. В египетской Александрии, где одно время процветали греческие науки и искусства (при Птолемеях[25]), в первые столетия нашей эры возникла особая религиозная философия (неоплатонизм), в которой греческая мысль подчинилась сильному восточному влиянию. Из Египта же в христианскую эпоху вышли аскетизм и многочисленные ереси, которые отражают на себе несомненное влияние древнеегипетских моральных и религиозных представлений. Даже в отношении политическом его история не прошла бесследно: именно он был родиной бюрократической системы управления, традиции которой с успехом продолжала после Александра Македонского греческая династия Птоломеев, а затем — императорский Рим и Византия. Равным образом и в истории первоначального христианства Египет играл весьма значительную роль, ибо Александрия была одним из наиболее важных центров новой религии; александрийский патриарх очень долго первенствовал на Востоке. Сначала греческая цивилизация, а потом христианство мало-помалу стерли следы самобытной египетской культуры, хотя, быть может, сила монофизитской[26] ереси все еще доказывала некоторую живучесть древних идейных традиций этой страны и в более поздние эпохи.

Очерк третий
ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР

Важность знакомства с историей классического мира

«В Греции мы впервые чувствуем себя дома». Эти слова принадлежат Гегелю и были написаны им в его знаменитой «Философии истории». В Греции мы, действительно, чувствуем себя дома: это значит, что история древней Эллады уже близка нам, более близка, чем история Востока. В самом деле, европейская история начинается в Греции, откуда цивилизация перешла в Рим и чрез него — вместе со «вторым Римом», т. е. Византией — к новым европейским народам. Греция — первая страна духовной и общественной свободы, не существовавшей в государствах Востока. Греческая цивилизация, порожденная этим новым духом, чуждым более ранним культурным народам, с полным правом может быть названа главным источником европейской цивилизации.

Другим таким же, как греки, народом, оказавшим громадное влияние на всю историю передовой части человечества, были римляне, и в римской истории мы равным образом «чувствуем себя дома». Начав европейскую историю, классический мир и после своей гибели, как известно, продолжал оказывать могущественное влияние на новые народы: вся культурная жизнь Европы обновилась в так называемую эпоху «возрождения» (с XIV в.), когда философия, наука, литература и искусство античных народов стали снова изучаться и оказывать непосредственное действие на умственную жизнь новых европейских наций.

До расцвета новейшей исторической литературы, совершившегося в XIX в., общее историческое образование питалось почти исключительно классическим материалом. Если бы лет полтораста тому назад пришлось отвечать на вопрос, какого рода исторические книги предпочтительнее всего читать в целях гуманитарного и гражданского образования, пришлось бы, за немногими исключениями, указывать лишь на сочинения древних историков. Дело в том, что тогда почти и не было другого материала для исторического чтения: средневековая история стала обрабатываться только в первой половине XIX в., да и новая также, и потому круг исторического чтения должен был ограничиваться одним классическим миром. Хотя в настоящее время

область общего исторического образования страшно расширилась, тем не менее знакомство с классическим миром должно играть весьма важную роль в этом образовании — и прежде всего с всемирно-исторической точки зрения. Становясь на эту точку зрения, мы, конечно, не станем рассматривать классическую древность как нечто исключительное и беспримерное. Это бывало раньше, но теперь едва ли кто-либо станет утверждать, будто классический мир представляет собою нечто совершенно особенное в истории человечества, дающее нам право и даже нас обязывающее выделять его из остальной истории и ставить особняком и, так сказать, «вне конкурса». Впрочем, еще очень недавно приходилось вооружаться против такого взгляда, и не только у нас, охотно повторяющих зады европейской науки, но даже и там, где вообще нужно было бы предполагать более здравые суждения о научных предметах. Напр., в 1873 г. известный английский историк Эдуард Фриман[27] прочитал в Кембриджском университете лекцию под заглавием «Единство истории», в которой сильно вооружился против выделения классических народов в какой-то особый, замкнутый в себе самом исторический мир, и нет ничего удивительного в том, что эта лекция тотчас же была переведена у нас в журнале «Знание»*. Еще очень недавно и русский ученый, проф. Р. Ю. Виппер[28], нашел небесполезным в особой статье** подвергнуть критике мнение многих педагогов о привилегированном положении классического мира. И эта статья направлена против педагогического предрассудка, будто в древней истории «все особенно ценно, все превосходно и все отмечено печатью великого духа». Действительно, в материале и построениях древней истории весьма еще недавно многие продолжали видеть нечто, можно было бы сказать, магическое по своему педагогическому воздействию и в нравственном, и в умственном отношении. Чуть ли не до вчерашнего дня античный человек многими считался по преимуществу «цельным человеком, не разъедаемым рефлексией, уравновешенным, без внутренних противоречий, со спокойным душевным миром, гармонией духа и тела и т. п.», и в древнем мире предполагалась всюду какая-то «правильность, логичность,

* См. другой ее перевод в приложении к «Сравнительной политике» (СПб., 1880 г.).

** «Школьное преподавание истории и новая историческая наука» в «Вестнике воспитания» за 1898 г.

как бы живой рассудок в событиях». Научная, всемирно-историческая точка зрения требует, чтобы и классический мир рассматривался в связи с древним Востоком, с которым он был связан и культурно, и политически, и чтобы, рассматривая его в нем самом, мы относились к нему совершенно так же, как относимся к другим отделам истории без идеализации античного человека и всего быта классических народов и без предвзятой мысли, будто общие законы культурного и политического развития выразились в наибольшей чистоте и с наибольшею ясностью именно в истории только этих народов. С другой стороны, знакомясь с историей античного мира, не следует никогда упускать из виду и того наследия, которое он оставил средневековой Европе, и того влияния, которое он, скажем так, и из-за гроба продолжал оказывать на ту же Европу в новое время. В этом и заключается правильное отношение к античному миру с всемирно-исторической точки зрения: нужно именно включать его в общий процесс истории, как совершенно равноправное звено наряду с древним Востоком и средневековою и новою Европою и постоянно при этом помнить о том, что в одних отношениях классические народы лишь продолжали дело, начатое народами древнего Востока, как, в свою очередь, средневековая и новая Европа лишь продолжала работу самого античного мира, тогда как в других отношениях в истории Греции и Рима мы имеем частные примеры полного цикла исторического существования двух наций от первых зачатков культурной жизни чрез эпоху полного процветания до периода совершенного упадка прежней жизнедеятельности. Мысль о том, будто только греки и римляне развивались нормально, уже оставлена: совершенно нормальное историческое развитие вообще может быть только отвлеченной идеей нашего ума, отнюдь не реальностью, и в этом смысле античное развитие не было более нормальным, чем всякое другое. Каждый народ по-своему проходит фазисы культурно-социальной эволюции, и ни одно развитие в этом отношении не может быть названо более нормальным, нежели все остальные. Греки и римляне развивались в особых условиях сравнительно и с древним Востоком, и с народами теперешней Европы, и этими условиями определяется своеобразность их развития, но опытный взгляд историка, вооруженного всеми приобретениями современной науки, обнаружит и под своеобразностью античного развития многие общие черты всякого исторического развития в смысле постепенного перехода с одних ступеней цивилизации на другие. На-

роды античного мира в своей культурно-социальной эволюции повторили многое из того, что уже было пережито народами древнего Востока, но, вместе с тем, греки и римляне пошли и далее, выработав у себя свободные формы государственной жизни и светскую науку. В свою очередь, и Европа в средние века и в новое время повторила в своем развитии то, что уже существовало — в иных только формах — в истории античного мира, но, равным образом, и она превзошла более раннее развитие, во многих отношениях сделав такие шаги вперед, которые, если можно так выразиться, оказались не под силу грекам и римлянам. В этом и заключается всемирно-исторический прогресс культуры — в постепенном опережении последующими великими эпохами эпох предыдущих.

Географические условия греко-римской истории

Окончательным результатом греко-римской истории было культурное и политическое объединение Юго-Западной Европы, Северной Африки и западной окраины Азии в единой обширной, поистине мировой державе. Это была громадная территория, окружавшая Средиземное море, приблизительно между 10° и 60° восточной долготы и между 30° и 50° северной широты: вне этих пределов были сравнительно незначительные отрезки самых отдаленных от центра провинций. В центре этой территории, в средней части Средиземного моря, лежали два полуострова, находившиеся во главе и впереди всей остальной массы земель: в Италии Рим был на таком же расстоянии от западной границы империи, на каком самый замечательный город Греции — Афины — находился от границы восточной; по отношению к широте оба эти города были одинаково отдалены от северной и южной границ империи. Линия между восточной и западной частями империи, шедшая по 37° в. долготы, делила эту империю на две равные половины: восточная, в которой господствовал элемент греческий, состояла из таких стран, цивилизация которых имела большую древность, нежели греческая, потому что здесь находились Египет, Палестина, Финикия и страны других народов Юго-Западной Азии, и греческая культура стала здесь распространяться со времени образования обширной монархии Александра Македонского. Западная часть Средиземного моря была, наоборот, окружена странами, из которых только одна карфагенская область могла поспорить с Римом по

древности своей культуры: все остальные начали жить историческою жизнью лишь после того, как подчинились римскому влиянию. Центральное положение Греции и Италии на Средиземном море имело весьма важное значение в судьбах населявших их народов, а указанное разделение бассейна Средиземного моря было одною из причин того, что греки ранее римлян выступили на поприще истории: во-первых, Греция находилась в ближайшем соседстве с образованным Востоком; во-вторых, сношениям с Востоком содействовало здесь то обстоятельство, что именно восточный берег греческого полуострова представляет из себя самую развитую береговую линию со множеством заливов и удобных гаваней, а далее на восток от этого берега разбросаны по морю острова, сближающие его с берегами Азии. Эта же восточная часть полуострова и в других отношениях представляла из себя наиболее выгодные условия для раннего расцвета культурной жизни. Совсем другое мы видим в Италии, в которой как раз западный берег, обращенный к малокультурным странам, был гораздо развитее восточного, совершенно почти лишенного удобных гаваней. По малому количеству окружающих островов Апеннинский полуостров также не может идти в сравнение с Элладой. Поэтому Италия не могла войти так скоро в сообщение с Востоком, бывшим у греков, так сказать, под рукою. В самом деле, с Малейского мыса на юге Пелопоннеса видны вершины острова Крита, с Крита — горы Родоса, с Родоса — берег Малой Азии; два дня пути отделяют Крит от Кирены в Африке, и одним только лишним днем измеряется расстояние до Египта: в Эгейском море острова лежат, как камни, по которым можно перейти через реку в мелком месте. Море, доступное для мирных путешественников и неудобное для передвижения громадных армий, защищало Грецию и Италию со стороны берегов, и классическим народам нечего было вечно бояться вторжения с этой стороны каких-либо варварских орд, игравших такую крупную роль в истории Востока. Грекам и римлянам поэтому незачем было строить такие крепости на границах, к каким прибегали египтяне: там, где не защищало море, защищали горы — именно на севере обоих полуостровов. Без этих естественных ограждений немыслимо было бы существование множества мелких, самостоятельных и разъединенных между собою государств Греции и столь быстрое развитие их культуры.

Устройство поверхности обоих полуостровов, особенно греческого, было столь же благоприятно для культурной жизни. На неболь-

шом пространстве каких-нибудь полуторы тысячи квадратных миль Греция представляет из себя страшное разнообразие. На севере от Эгейского моря климат напоминает Среднюю Германию, в Фессалии уже вечнозеленые деревья, градусом еще южнее произрастают оливковые деревья, на острове Евбее и в Аттике попадается даже пальма, и т. д. Во всех направлениях Грецию пересекают горы, которые разнообразят местность и делят полуостров на не схожие между собой кантоны: в Аттике почва была плохого качества, в соседней Беотии, наоборот, весьма плодородная; в то время как в приморских частях восточной части полуострова была развита цивилизация, на западе, напр., в Этолии, жители еще во времена римского завоевания находились в варварском состоянии. В Италии разнообразие было меньшее, но и здесь, напр., хорошим пашням западной части можно противоположить богатые пастбища восточной. Зато в Италии и легче было образование одного государства при отсутствии той замкнутости отдельных областей и различия в племенном характере их жителей, которые характеризуют древнюю Грецию.

Сами древние понимали, что климат их страны — особый дар богов. «Воздух у нас, — говорил Эврипид[29], — легкий и нежный: зимний холод совсем не суров, и нас не ранят стрелы Феба». Климат не заставлял грека и римлянина строить себе жилища с толстыми стенами, чтобы предохранять себя от холода и жары; человек целый день мог проводить на воздухе, не закупориваясь в натопленную комнату и не изнемогая от палящих лучей солнца, подобно жителю Египта, Месопотамии и Индии. Мягкая атмосфера делала для него почти излишнею чрезмерную заботу об одежде и пище, исключала возможность злоупотребления спиртными напитками, постоянно поддерживала в нем бодрость духа и тела, жажду кипучей деятельности и удовольствий. С другой стороны, общий вид страны, вся природа не представляли из себя ничего ужасающего воображение младенческого ума. Здесь нет ни особенно высоких гор, ни страшно больших рек, ни дремучих лесов, ни безбрежных равнин и степей, и самое море, заключенное в извилистых берегах и усеянное островами, напоминает скорее смеющееся озеро, чем грозный океан. Нет здесь также животных и растительных чудовищ тропической природы. Воздух необыкновенно прозрачен, и пейзаж способен только воспитывать эстетическое чувство, которое было так тонко развито в древнем греке. Все это имело необыкновенное влияние на миросозерцание, на весь склад ума древ-

него грека: окружающая природа, весь внешний мир не подавляли, не удручали его. Ему было чуждо чувство чего-то грандиозного, которое характеризует все религии Востока, и в равновесии своих духовных способностей он не знал ни религиозного ужаса, ни необходимости снискивать себе милость грозного Божества мистическим самосозерцанием и аскетическим умерщвлением своей плоти.

Греки были одного происхождения с древними индийцами, а между тем какая громадная разница замечается между ними под влиянием природы заселенных ими стран! Индийская литература есть по преимуществу литература болезненного воображения, направленного на все ужасное, грандиозное, подавляющее ум: индиец громоздит чудеса на чудеса, и герои его сказаний живут по сотням тысяч и миллионам лет. Грозная природа Индии с ее горами, досягающими до небес, с ее могучими реками, с непроходимыми лесами, населенными страшными и опасными зверями, с приводящими в трепет грозами и бурями, ураганами и землетрясениями, постоянно подавляла ум поселившегося в Индии человека, и он делался как бы неспособным видеть в грозных силах природы естественные явления, которые можно изучать и которыми до известной степени можно управлять. Поразительнее всего сказалось это влияние природы на индийской мифологии, бывшей первоначально одного происхождения с греческой. Индиец соединял всегда в своем воображении самые страшные образы с наиболее уважаемыми богами: его боги — какие-то чудовища, то опоясанные змеями, то украшенные ожерельями из человеческих костей; у богов этих по несколько голов, по три глаза, по четыре и более рук; их атрибуты — орудия смерти и черепа замученных жертв, тогда как, наоборот, грек воспроизводил в своих богах идеальную человеческую красоту. В греческой мифологии боги действуют как обыкновенные люди с человеческими страстями и склонностями, индийская же мифология полна рассказов о самых необыкновенных подвигах богов, превышающих силы самого необыкновенного человека.

Сравнительная характеристика греков и римлян

Оба передовые народа античного мира — греки и римляне — принадлежали к одной и той же арийской расе, которая с выступлением мидян и персов становится во главе всемирной истории после времен исторического господства семитов. Многое обличает особое родство

населения обоих южных полуостровов, сделавшихся главными центрами исторической жизни в последние столетия перед Р. Х., но роль обоих народов во всемирной истории была не совсем одинакова, как будто природа неодинаково их одарила и предназначила им выполнение разных задач в истории человечества.

Есть небольшое произведение Майкова[30], под названием «Иафет». В нем библейский патриарх, благословляя своих внуков, от которых должны произойти европейские народы, изрекает такое пророчество двум братьям, ставшим родоначальниками греков и римлян.

«Ты, — говорит он будущему прародителю греков, —

чернокудрое дитя,
Иди на Запад!
Там, где море
Покрыто грудой островов,
Есть пышный край.
Там на просторе
Разросся лавр.
В груди холмов
Таится мрамор.
Метким ломом
От праха мрамор оторви
И мысли молнии и громом
Его ты к жизни призови...»

Другому своему внуку патриарх уже предрекает нечто иное:

«А ты, младенец с строгим оком
И величавостью чела,
Суровый духом перед роком, —
Тебе веков грядущих мгла
Готовит власть над целым миром.
И будешь ты племен кумиром.
И, как рабы они толпой
Пойдут в оковы за тобой».

С этой поэтической характеристикой греков и римлян мы можем сопоставить одно место из «Энеиды», где проводится подобная же па-

раллель между двумя народами античного мира*. «Другие, — говорит Вергилий[31] о греках, — сумеют, пожалуй, мягче выковать дышащую жизнью медь, лучше изваять из мрамора одушевленные лики, сумеют краснее говорить в судах, точнее измерить пути небесные и предсказать восход любого светила: ты, римлянин, помышляй о державной власти над народами. Твое искусство будет в том, чтобы водворять везде закон мира, щадя покорных и оружием низлагая строптивых». Так, уже и в древности понималось различие между национальным гением греков и римлян: преобладающей чертой первых является творчество в сфере художества и поэзии, науки и философии, преобладающею чертою других — творчество в области практической жизни и государственного строительства. Грек, так сказать, олицетворяет собой теоретический ум, римлянин — практическую волю. Греция выработала искусство и философию, в которых римляне всегда были учениками старших своих братьев и никогда не могли достигнуть той высоты, на какой стояли последние; в Италии не было такого великого скульптора, как Фидий[32]; Вергилий ниже Гомера[33], взятого им за образец для подражания; Плиний[34] не может идти в сравнение с Аристотелем[35]; Платон[36] и Демосфен[37] оставляют позади себя Цицерона[38]. Зато в области права римляне превзошли своих учителей по части искусства и философии, так что, по выражению Цицерона, греческие законы в сравнении с римскими представлялись чем-то младенческим и смешным; искусство сумели они направить на служение утилитарным целям и особенно развили у себя архитектуру, а из учений греческой философии преимущественно привились у римлян те ее направления, которые имеют практическое значение, т. е. различные моральные системы, в особенности стоицизм и эпикуреизм. Одним словом, грек и римлянин — это антитезы идеализма и реализма, стремления к истине и красоте и стремления к пользе и пригодности, теоретической мысли и практической деятельности, вдохновения и рассудочности, поэзии и прозы, религии как миросозерцания и религии как государственного установления.

Интересно также посмотреть, в чем каждый из обоих народов видел свое преимущество перед другими, с чем отождествлял главный

---

* Excudent alii spirantia mollius aera — Credo equidem — vivos ducent de marmore vultus, Ordbunt causas melius coelique meatus Describent radio et surgentia siderd dicent. Tu regere imperio populos, Romane, memento! Haec tibi erunt artes: pacisque imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos.

признак своей национальности. Грек именно полагал свою сущность в образованности: слова «эллин» и «образованный» сделались мало-помалу почти синонимами, и тот, кто не имел этого образования, был варвар, — имя, которое греки давали всем остальным народам. Римлянин, напротив, был горд своим гражданством, он был гражданин, только один пользовался правами, из обладания которыми были исключены все остальные народы: того, кого греки звали варваром, т. е. человеком, не имеющим эллинского образования, в Риме называли перегрином, и перегрины отличались от римлян именно тем, что на них не распространялось их гражданское право. Отношение между эллином и варваром таким образом — то же, что между гражданином и перегрином, только в основе различия лежали разные принципы.

Вошедши в деятельные сношения с иноплеменниками, греки и римляне заимствовали от них различные вещи, каждый сообразно со свойствами своей духовной природы. Объединяющая мысль первых в позднейшую эпоху создала в Александрии из смешения философских систем Греции с теологическими воззрениями Востока особую философскую систему (неоплатонизм), которая как бы должна была дать общее миросозерцание всем народам, входившим в круг эллинского влияния. С своей стороны, римляне из знакомства с обычаями покоренных ими народов создали так называемое общенародное право (Jus gentium), которое должно было объединить в юридическом отношении все народы, вошедшие в состав Римской империи. Греции не удалось, подобно Риму, подчинить себе политически другие земли, и эллинизация Востока совершалась, главным образом, в силу превосходства греческой цивилизации над восточной, тогда как Рим утверждал свое господство силою меча и практичностью своих законов, и романизация Запада была результатом политического подчинения Риму и умения римлян связывать интересы побежденных с интересами победителей. Следовательно, по отношению к другим народам грек был наставник и просветитель, римлянин — господин и организатор.

Различие греческого и римского наследства

Вот почему так неодинаково и само наследство, оставленное нам обоими классическими народами: в искусстве, в поэзии, в науке, в философии новые народы — ученики греков, и Европа особенно

двинулась вперед в эпоху Возрождения, когда люди, изучавшие классическую древность, заметили недостаточность одних латинских ее источников и обратились к греческим писателям как к главным носителям древней образованности. Наоборот, в политике и в науке права новые народы — ученики римлян, так что до сих пор еще одним из важнейших предметов юридического преподавания по старой традиции все еще является римское право. Все остальное в Риме развилось после знакомства с греками и под влиянием этого знакомства, но право там было самобытным, оно зародилось и развилось на национальной почве еще до начала греческого влияния: когда стало действовать последнее, в Риме уже были положены прочные основы для дальнейшего правового развития. Поэтому и в той объединяющей разные народы работе, которую совершили классические народы, роль их была неодинакова: эллинизация Востока, проникновение эллинским элементом римской культуры были распространением образованности, уничтожением старого различия между культурным человеком и варваром, тогда как романизация Запада и распространение римского владычества на множество стран древнего мира вели, в конце концов, к уничтожению юридического различия между отдельными нациями, к превращению всевозможных перегринов в римских граждан, равноправных членов одного большого отечества. Характерным фактом является то, что самый видный деятель зарождавшегося христианства, апостол Павел, родом иудей, был эллином по своему образованию и римским гражданином по своему общественному положению.

И на склоне дней своих, т. е. в конце античного мира, греки и римляне остались верны своему характеру, и в эпоху распространения христианства каждый из этих двух народов отнесся к новой религии по-своему. Сначала христианство было встречено ими, как известно, очень враждебно, и языческое общество вступило с ним в борьбу, продолжавшуюся более трех веков, но мотивы этой вражды были у греков одни, а у римлян — другие. Эллин, гордый своей образованностью, видел в новом учении прежде всего нечто опасное именно для этой образованности. Главными защитниками падающего язычества в греческой половине империи были риторы и философы, и последним императором, вступившим в борьбу с христианством, был Юлиан[39], который был, прежде всего, философ, поклонник чистого эллинизма. Причина вражды к христианству у римлянина была несколько иная: он чуял с

этой стороны беду для своего государства; он видел в зарождавшейся церкви опасную в политическом отношении организацию; он враждебно относился к учению, не хотевшему признавать его законов, — и главными противниками христианства со стороны римлян были императоры и жрецы, ревниво оберегавшие свою власть и свое влияние на общество. Словом, там, где теоретик грек видел заблуждение, практический римлянин усматривал политический вред. Когда, далее, христианство мало-помалу одержало победу и сделалось господствующею религиею империи, а из греков и римлян вышло великое множество церковных писателей, христианских философов и деятелей, как ни глубок был переворот, заключавшийся в победе христианства над язычеством, все-таки старые особенности характера обоих народов в языческую эпоху проявились и в деятельности их потомков. В восточной половине империи, где господствовал эллинский элемент, главным образом и происходила теоретическая разработка догматов новой религии, выработка христианской отвлеченной философии: отношение троичности ипостасей к единству Божества, отношение божеского существа к человеческому или божеской воли к человеческой в Иисусе Христе и т. д. — таковы были главные вопросы, которые поставил себе греческий ум. Из-за различного понимания этих вопросов происходила горячая полемика, возникали разные ереси ариан[40], монофизитов, монофелитов[41] и т. д., и все Великие Соборы, решавшие догматические вопросы христианства, собирались на востоке империи.

Поэтому богословская литература греков очень рано приняла обширные размеры, и во время спора, приведшего к разделению Вселенской Церкви, западное духовенство упрекало восточное в том, что нигде не было столько ересей, как среди греков. Таким образом, и по отношению к христианству греческий ум остался верен самому себе: это ум мыслителя, философа, теоретика, который любит отвлеченное знание ради чистой истины и которому нравится строить системы ради выработки общих взглядов и стройного миросозерцания. И римский гений остался также верен себе: западная половина империи мало принимала участия в теологических спорах восточной, но здесь зато разрешались вопросы более практические, вырабатывались церковная мораль и дисциплина, определялось отношение церкви к государству, а когда явилась потребность кодифицировать церковные законы, римское же право послужило образцом и для этой кодификации (jus canonicum). Интересно также и то, что

созерцательное монашество появилось впервые на востоке империи; в западной же половине его встретили сначала крайне враждебно, и само оно приняло здесь более практический характер: монахи, как известно, сделались здесь пионерами цивилизации у германских варваров и колонизаторами мало заселенных местностей.

Так проходят основные черты характера классических народов через всю их историю. Этими чертами определяется и их всемирно-историческая роль как объединителей Древнего мира под господством одной образованности и под властью одного законодательства, и их роль как наставников новой Европы в художествах, науке, философии, праве и политике.

Различие в политической истории Греции и Рима

Еще одна черта различия между греками и римлянами, это — разный характер их государственной жизни.

Греция родилась и умерла разделенной: у греков не было тех свойств характера, той практичности в поведении, которые позволили римлянину создать прочное государство и подчинить ему такую массу самых разнородных земель. Греки были в вечной ссоре между собою, и даже когда Дарий и Ксеркс предприняли покорение их страны, между ними не было единодушия. Ни одному городу Греции не удалось установить прочно свою гегемонию над всею страною, подобно тому, как Рим достиг этого над италийскими племенами: попытки Спарты, Афин, Фив не удаются, и побежденные скорее готовы были искать помощи у персов, чем согласиться на подчинение какому-либо греческому же городу. Грека не хватило, таким образом, на создание большого государства; величайшие мыслители Эллады, Платон и Аристотель, низводят число граждан государства до 5–10 тысяч свободных людей; более этого, по их мнению, значило бы жить каким-то бесформенным стадом. Грек не был способен, подобно римлянину, подчиняться какому-либо обширному единству, считать своим отечеством нечто большее, чем родной город с его окрестными деревнями. Честолюбие греков не имело столь обширных размеров, как римское: они не мечтали о власти над миром. В своих отношениях к побежденным соплеменникам и варварам греки были исключительнее римлян: в варварах они видели людей низшей породы и не могли допустить равноправности между собою

и ими. Сами греки, писавшие римскую историю, удивляются в этом отношении гражданам вечного города. Похвала Риму из уст Диодора Сицилийского[42], Полибия, Дионисия Галикарнасского[43], Плутарха, похвала побежденных победителям, есть, в сущности, признание греков в том, что римляне были менее исключительны, нежели они. Другие из этих писателей отметили ту черту характера римлян, которая дозволяла им заимствовать полезные учреждения у других народов. Поэтому во взаимодействии между греками и римлянами влияние первых на последних было большим, нежели обратное. Очень верно оценили римские писатели историческую роль эллинской расы, говоря, что она цивилизовала народы, смягчая их нравы и делая их человечнее. Когда римляне завладели Грецией, они сами должны были сознаться, что побежденные духовно их победили, и выражением этого могут служить известные слова Горация[44]:

Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intulit agresti Latio[45].

Но, получив греческую образованность, Рим своими завоеваниями распространил ее там, где не было непосредственного влияния греков.

Превосходство греко-римской цивилизации над восточной

Греческая образованность и римская государственность были много выше того, что в культурном и политическом отношениях было достигнуто народами древнего Востока. Начатки своей культуры греки заимствовали с Востока, — это они сами хорошо сознавали, — но на пути умственного развития они пошли дальше своих учителей. Что греки сами не отрицали культурного влияния на них других народов, это видно, между прочим, из греческих же преданий о восточных переселенцах, которые, пришедши в Элладу, научили ее жителей разным ремеслам, искусствам, торговле и положили основание многим ее городам. Таким цивилизатором Аттики был египтянин Кекроп[46]; другой египтянин, Данай[47], был цивилизатором Арголиды; финикиянин Кадм[48] поселился в Беотии и научил жителей этой области искусству письма, умению добывать руду и т. п. С другой стороны, Египет считался у греков вообще колыбелью науки, и на умнейших философов и законодателей своей нации, на Ликурга[49] и Солона[50], на Пифагора[51] и Платона, они смотрели как на последователей еги-

петских ученых. «Если, — говорит, напр., Страбон[52], — эллины выучились геометрии у египтян, то астрономия и арифметика перешли к нам несомненно от финикиян».

Но то, что греки заимствовали у народов Египта и Азии, были именно только зачатки, элементы цивилизации; дальнейшее же культурное развитие греков было делом их собственного гения. Они сумели самобытно переработать все заимствованное и пойти далее своих учителей, обогнали их и сами сделались их наставниками. В то время, как Восток перестал подвигаться вперед, и его цивилизация пришла в упадок, оставив самые ничтожные следы, эллинизм широко распространился по древнему миру, так что ему обязаны и мы своею образованностью. Самое главное было то, что греки внесли в умственную деятельность элемент чистой любознательности. Настоящая наука — дочь греческого духа. Купец-финикиец нуждался в арифметических правилах для своих торговых счетов, землемер и архитектор-египтянин знал кое-какие геометрические приемы, которые ему были нужны для его гигантских сооружений и для определения границ своего поля, ежегодно скрывавшегося под волнами нильского наводнения, но греку было мало такой науки. Платон в своем «Государстве» отметил, как основную черту греческого племени, любопытство и страсть к знанию. Грек с особым упорством доискивался причин интересовавших его явлений. Когда Геродот спрашивал жителей Египта о причине периодических разливов Нила, то оказалось, что ни у жрецов, ни у светских людей не было никакой гипотезы для объяснения явления, столь близко касавшегося жителей страны; между тем греки придумали три объяснения, и Геродот, рассматривая их, дает четвертое от себя. За 600 лет до Р. Х. Фалес Милетский[53] занимался доказательством теоремы о равенстве углов равностороннего треугольника. Когда Пифагор доказал свою знаменитую теорему о квадрате гипотенузы, то, по преданию, принес богам в жертву сто быков. Многие научные открытия греков даже оставались долгое время совсем без всякого практического применения; так напр., их исследования о свойствах конических сечений были применены только через семнадцать веков, когда Кеплер искал законы движения планет. Грекам нравился самый процесс мышления, им нравилось самое знание. Поэтому ими и были положены основы всех почти известных нам наук. Целый ряд ученых создала Греция в математике от Пифагора до Архимеда[54], в астрономии от Фалеса и Пифагора до Гиппарха[55]

и Птолемея[56], в естествознании от Гиппократа до Аристотеля и александрийских анатомов, в истории от Геродота до Фукидида[57] и Полибия, в логике, политике, морали, эстетике от Платона, Ксенофонта[58], Аристотеля до стоиков и неоплатоников. Греческие философы идут непрерывным рядом через целое тысячелетие от Фалеса до Прокла[59], перепробовав чуть не все пути метафизического мышления, и некоторые гениальные догадки греческих мыслителей нередко находят в современной науке только подтверждение.

Греки были первым народом на земном шаре, у которого развилась такая наука, и в этом отношении античная цивилизация превосходит восточную. То же можно сказать и о римском, государственном элементе античной цивилизации. Рим осуществил всемирную монархию, бывшую целью и политических стремлений восточных завоевателей, не говоря уже об обширных завоеваниях Египта при 18, 19 и 20 династиях. Мы имеем в истории Востока три страны, которые прямо стремились к покорению мира: тут попеременно стояли во главе целых царств и народов сначала Ассирия, потом Вавилония и, наконец, Персия, причем последняя распространила свои пределы от 40° до 90° в. д. и от 25° до 45° с. ш., включив в свой состав Египет, Сирию с Финикией и Палестиной, Малую Азию и Армению, Ассирию и Вавилонию и обширные земли между Тигром и Индом с запада на восток и от Каспийского и Аральского морей до Персидского залива с севера на юг: цари персидские надеялись, что у Персии не будет других границ, кроме неба. Но монархии эти были недолговечны. Ассирийская империя продержалась на высоте своего могущества лишь около века (722–625 до Р. Х.); все могущество Вавилона выразилось в одном царствовании Навуходоносора, не продолжавшемся и полустолетия (604–561 до Р. Х.); более долгое существование обеспечила судьба за Персией: могущество ее началось около 565 г. до Р. Х. и продержалось до 330 г. до Р. Х., но до какой степени было непрочно это могущество, видно из того, что Александру Македонскому нужно было лишь выиграть несколько сражений, чтобы положить конец империи Кира[60]. Отличительная черта всех этих восточных монархий заключалась в чисто механическом соединении разных земель и наций. Величайшим организатором Персидской монархии был Дарий Гистасп[61], но он не сумел создать такой системы, которая слила бы побежденных с победителями: данная им государству организация преследовала одни административные и финансовые цели. Еще

одна черта характеризует большую часть восточных завоевателей: это именно то, что мы встречаем потом у Аттилы[62] и Тамерлана[63], — чисто бесцельное разорение и опустошение завоеванных стран. Рим, как ни много было на нем грехов по отношению к побежденным, создал громадную державу, просуществовавшую целый ряд веков. Под властью этого поистине «вечного города» народы низшей культуры романизировались, и все вообще мало-помалу вошли в состав римского гражданства. Сила не оставалась силой, но переходила в право, которое постепенно очищалось от грубых элементов и переставало быть исключительным, распространяясь постепенно на все народы. Римская империя была ассоциацией разных наций, а не бесформенным агломератом. У передовых людей открывались перед глазами широкие горизонты, и под господством Рима, который из города-государя превратился в простую столицу империи, — воспиталось сознание братства народов и равенства всех людей. Выход из национальной исключительности, которая характеризует жизнь древнего Востока, совершился только на почве Европы под влиянием завоеваний Рима, перерожденного греческой цивилизацией.

Начало политической свободы и светской культуры в античном мире

На европейской почве, в гражданских общинах Эллады и Италии выросла и политическая свобода, взгляд на государство как на общее дело всех граждан: таков смысл латинского слова respublica. Народы Востока жили в деспотии, и в понятие, которое составил себе грек о варварах, входила не только культурная грубость, но и подчинение деспотическому правительству. «У варваров, — говорит Аристотель, — нет никого, кто имел бы власть по самой природе; общество их состоит из рабынь и рабов; поэтому выражение поэтов: эллинам прилично властвовать над варварами — нужно понимать в том смысле, что варвар и раб по своей природе одно и то же». В Греции и Риме государство установляет не единая особа деспота и не божественная воля, как в теократиях, а вся совокупность граждан. Под влиянием политической свободы на почве Эллады и Италии впервые развивается поэтому и гражданское равенство свободных людей. Греция и Рим не похожи на те теократии, в которых господствовало от имени божества сословие жрецов, в поздние эпохи истории Греции и Рима

жрецов выбирает народ на время, как обыкновенных сановников, и исполнение ими своих обязанностей не снимает с них общих обязанностей гражданина; они не только не каста, но и не сословие. У грека и римлянина при всей их религиозности не было веры в божественное происхождение их политических учреждений, которая так прочно сохранялась на Востоке рядом с деспотизмом царей.

Государство в античном мире — не создание богов, а дело рук человеческих, нечто такое, что, следовательно, и переделывать можно человеческими же руками. Религия здесь поэтому не играла той роли, какую играла на Востоке: она не развивалась в догматические системы, подобные тем, которые выработали себе народы Азии. Величайшим продуктом умственной жизни этих народов было создание, так сказать, ученых религиозных систем, какие мы находим у египетских жрецов, иранских магов, халдеев и браманов. Вся философия Востока имеет тот же характер, и только на европейской почве развилась впервые философия светская. Зато ни от греков, ни от римлян и не сохранилось ни одной книги, которую можно было бы сопоставить с такими произведениями религиозного творчества, каковы Законы Ману у индийцев, иранская Зенд-Авеста и еврейская Библия. Классические религии были продуктом чисто народного творчества и подвергались, главным образом, только поэтической обработке: испытующая мысль обращалась не к мифическим верованиям, а к изучению внешнего мира и человеческого духа. Только в эпоху падения классической цивилизации в греко-египетской Александрии, где столкнулись идеи Востока и идеи Запада, возникла так называемая неоплатоническая философия, имевшая много общего с теософией азиатских культурных народов. Мысль в античном мире впервые освободилась от догматизма сакральной традиции, застывшей в неизменной форме и охватившей собою все подробности политической, социальной и частной жизни. Если, таким образом, восточная цивилизация была проникнута во всех своих частностях религиозным элементом, то цивилизация классических народов была, наоборот, по преимуществу светскою. Греческая философия не считалась откровением, данным свыше богами, а приобретением испытующего ума человека; это была не готовая мудрость, полученная сверхъестественным путем, а только искание истины, стремление к мудрости, в чем и заключается смысл греческого слова «Филадельфия». Равным образом, и римское право не было кодексом юридических и моральных предписаний,

продиктованных человеку свыше, подобно еврейскому закону или законодательству Ману в Индии: это было право, созданное людьми, т. е. народом и его властями, к которым прибавились потом и особые знатоки права, мало-помалу освоившиеся с выводами греческой философии.

Вопрос о различном понимании и осуществлении принципа свободы в античном и новом мире

Касаясь вопроса о первом во всемирной истории появлении гражданской свободы и свободы мысли именно в античном мире, нельзя обойти молчанием довольно распространенную мысль, будто в одном отношении между пониманием и осуществлением свободы в античном мире и новом мире существует только полная противоположность*. Вот в чем, собственно говоря, заключается дело.

Употребляя в истории слово «свобода», всегда следует различать между понятиями свободы в смысле участия в государственных делах и свободы в смысле личной независимости. Между тем это различие прочно установилось в умах историков и политиков довольно поздно. С тех пор, как произошло в Западной Европе так называемое возрождение наук и искусств, в политической жизни греков и римлян стали видеть высокие образцы гражданской доблести и гражданской свободы. В особенности сильна была эта идеализация политических форм древности во Франции XVIII в., в эпоху просветительной философии и великой революции. Правда, уже в середине указанного столетия Монтескье[64] предостерегал от смешения «власти народа» и «свободы народа», но большинство постоянно смешивало оба понятия и единственно в перенесении верховной власти с королей на народ видело необходимое условие вообще свободы, как будто все дело заключалось в том, в чьих руках находилась власть, а не в том, каковы были ее пределы. Особенно резко проводилось отождествление свободы с народовластием, которому притом придавалась совершенная неограниченность, в «Общественном Договоре» Руссо[65] и в политической деятельности партии якобинцев, игравших очень крупную роль в истории французской революции. Наоборот, в XIX в.

---

* О дальнейшем подробнее в нашей книге «Государство-город античного мира».

стали особенно подчеркивать разницу между властью народа и свободою народа, выдвинув на первый план свободу личности, которая может отсутствовать в государстве даже в том случае, когда верховная власть имеет чисто демократическую организацию. Вместе с этим стали прямо противополагать античное понимание свободы, как широкого участия во власти, пониманию свободы в новое время, как широкой личной независимости. Вот что, напр., писал в двадцатых годах XIX в. теоретик тогдашнего французского либерализма, Бенжамен Констан[66], основная мысль которого сделалась общим местом многих исторических и политических рассуждений всей остальной части XIX в.: «Свобода в античных республиках состояла более в деятельном участии в общем властвовании, нежели в спокойном пользовании личной независимостью, и даже для обеспечения этого участия чувство личной независимости в известной степени приносилось в жертву. Новые государства заменили непосредственное народовластие народным представительством, в силу чего каждый, не пользуясь непосредственною властью, ею и не наслаждается. Но зато люди нового времени, чтобы быть счастливыми, не нуждаются ни в чем, кроме полной независимости во всем, что относится к сфере их деятельности, к их занятиям, предприятиям и фантазиям». Действительно, в том отношении, что в античном мире участие народа во власти осуществлялось в форме непосредственного народовластия, т. е. народных собраний, в которых могли участвовать лично все граждане, а в новом мире — в форме народного представительства, т. е. избрания народом своих представителей для решения ими важнейших государственных дел, — в этом именно отношении разница между античным и новым мирами не подлежит сомнению, и объясняется она тем, что в эпоху существования у греков и римлян свободных политических форм государство совпадало с городской общиной, состоявшей из сравнительно небольшого числа граждан, тогда как новые народы большею частью составляют территориальные государства очень значительных размеров, при которых непосредственное народовластие совершенно немыслимо. Но в приведенных словах французского писателя указывается на то, что народовластие у греков и римлян покупалось прямо ценою личной свободы, которая якобы совершенно приносилась в жертву государству. Особенно распространилось представление о безусловном полновластии античного государства, о полном поглощении государством личности

гражданина, благодаря книге французского историка Фюстель де Куланжа[67] «Гражданская община античного мира», написанной вообще с точки зрения полного несходства всех понятий и учреждений у греков и римлян, с одной стороны, и новых народов, с другой. Гражданин античного государства получал все свои права от этого самого государства, и вне государства он был ничто. Отсюда, по словам историка, то полновластие государства, которое характеризует античный политический быт и так резко отличает его от нового европейского. Гражданин принадлежал не себе, а общине. В Спарте только смерть освобождала его от военной службы; в Афинах последняя была обязательна до шестидесяти, в Риме — до пятидесяти лет. Имущество частного лица было как бы в полном распоряжении государства: последнее могло приказать женщинам выдать все свои драгоценности, кредиторам — поступиться в его пользу своими ссудами и т. д.

Вступление гражданина в брак не ускользало от государственного вмешательства: афинский закон не позволял человеку оставаться холостым, в Спарте наказывали тех, которые опаздывали с женитьбой. «Римляне, — говорит Плутарх в биографии Катона Старшего[68], — не думали, чтобы каждому надлежало предоставить на волю жениться, иметь детей, избирать род жизни, давать праздники, наконец, вообще следовать своим желаниям и вкусам, без предварительного разрешения и надзора». Государство могло предписывать работу в Афинах и праздность в Спарте. Древние уставы Спарты и Рима разрешали отцу умерщвлять уродливого ребенка, и подобный же закон внесли Платон и Аристотель в свои идеальные законодательства. Мелочи жизни также регулировались законом: в Локрах мужчины не имели права пить вино без примеси воды; в Риме, в Милете, в Массилии (Марсели) это запрещалось женщинам; в Родосе и в Византии закон не допускал бритья бород; законодательство Спарты установляло женский головной убор. После поражения спартанцев при Левктрах[69] родители убитых воинов должны были, по предписанию начальства, являться в свет с веселыми лицами. В одно время в Афинах гражданин не смел не принадлежать к какой-либо партии: за политический индифферентизм его могли постигнуть изгнание и конфискация имущества. Можно было верить или не верить в божества общие и мировые, каковы, напр., Зевс[70] небесный или Юнона, можно было ненавидеть и презирать богов соседнего города, но никто не смел усомниться в государственной святыне: Сократ[71] поплатился жизнью за

преступление подобного рода. Это был какой-то культ государства, и государственность нередко так же опутывала жизнь греческого или римского гражданина, как на Востоке религиозные предписания. Но верховным предметом этого культа было здесь не внемировое божество, а земное отечество в пределах гражданской общины. Все это совершенно верные наблюдения, но, с одной стороны, в известные эпохи подобного рода явления наблюдаются и в истории новых европейских народов, а с другой, и в самом классическом мире не всегда и не везде личность была в таком угнетении у государства, и индивидуальная свобода не так уже была чужда понятиям и учреждениям античных народов.

Регламентация частной жизни в государствах-городах античного мира, примеры которой только что были приведены, существовала и в средневековых городских общинах, от которых она была отчасти унаследована и так называемым «полицейским государством» (Polizeistaat) нового времени. Равным образом и для поглощения личности государством в древних республиках можно тоже привести немало аналогий из истории теперешних европейских народов: укажем хотя бы на то закрепощение личности государством, которое характеризует внутренний быт России в ту эпоху, когда все ее население состояло из одних или служилых, или тяглых людей, и человеческая личность исчезала в подданном государства. Немало можно отметить в новой истории и примеров государственного тяготения над религиозными верованиями подданных; достаточно напомнить хотя бы о том, что в эпоху религиозной реформации XVI в., когда впервые громко был заявлен в новой Европе принцип свободы совести, не только был провозглашен, но и проведен в жизнь и противоположный принцип зависимости религиозных верований подданных от усмотрения государственной власти — в знаменитой формуле: «чья страна, того и вера» (cujus regio, ejus religio), принятой аугсбургским религиозным миром 1555 г.[72] Указывают еще и на то, что в области политических идей античный мир выставил ряд писателей (особенно Платона), которые явились теоретиками полновластия государства, полного поглощения в государстве личности гражданина, но и тут можно спросить: а разве новая Европа не выставляла писателей, которые провозглашали принцип безусловного, неограниченного, совершенно абсолютного властвования государства над личностью гражданина и не делали из государства своего рода земного божества?

Вспомним хотя бы в XVII в. Гоббса[73], который в этом отношении не уступит Платону. С другой стороны, и классическая древность не так-то уж, как это себе представляют, чуждалась индивидуальной свободы и в области политических идей, и в самих явлениях государственной жизни. В начале истории каждого народа мы наблюдаем поглощение личности в том политическом целом, к которому она принадлежит, т. е. в роде или в общине, а также в более крупных общественных организациях, которые складываются из отдельных родов и общин. Одна из сторон культурно-социального развития, совершающегося в исторической жизни, именно в том и заключается, что личность — в разных сферах своего индивидуального существования — постепенно высвобождается из-под гнета, наложенного на нее условиями общественного быта древнейших эпох истории, приходит к сознанию своих естественных прав, как самостоятельного я, и начинает предъявлять к жизни свои притязания на ту или другую меру свободы. Античный мир в свое время шел в данном отношении по тому же пути, по которому впоследствии пошла и новая Европа, и все различие заключается лишь в том, что она опередила античный мир и потому полнее и яснее, нежели он, формулировала и осуществила принцип индивидуальной свободы. Теперь, при меньшей предвзятости в изучении истории Греции и Рима, едва ли может подлежать сомнению, что классические народы тоже постепенно вырабатывали в своей среде индивидуалистические стремления. Вообще менее всего могли держаться наиболее стеснительные для личной свободы государственные постановления в демократиях, где господствовало всеобщее равенство в гражданских правах, и власть находилась в руках большинства, не очень-то охотно налагавшего на себя какие бы то ни было узы. «По общему мнению, — говорит Аристотель в своей "Политике", — демократия определяется двумя характеристическими чертами: они суть господство большинства и свобода. Справедливое здесь считают равенством, равенство же состоит в признании верховного закона за тем, что нравится большинству. Таким образом, в этих демократиях каждый живет, как ему угодно, каждый по своей воле».

Сошлюсь еще на известную речь Перикла[74], приводимую Фукидидом, в которой знаменитый вождь афинской демократии, сравнивая порядки родного города со спартанскими, указывал на то, что в Афинах живется гораздо свободнее и вольнее. Демократический

строй вообще устанавливался в государствах с развитою промышленностью и торговлею и со скученностью населения в городе, которые как нельзя более содействовали разложению старого уклада жизни с его подчинением личности родовым и семейным связям и с господством в нем традиционного миросозерцания. Но эта личная свобода, какой не знал древний Восток, существовала далеко не для всего населения каждого данного государства, в котором только можно констатировать ее присутствие. Самый замечательный опыт организации свободного демократического государства сделан был Афинами V и IV вв. до Р. Х., и этот опыт может считаться вообще характеристичным для античного народовластия. Во-первых, демократия в древнем мире, как было уже сказано, была непосредственной, т. е. в политической власти участвовал весь народ лично, так как граждане для решения государственных вопросов сами сходились на общее вече. Но, во-вторых, под народом в данном случае следует разуметь не все население государства, а лишь ту его часть, которая составляла гражданство: античные республики были замкнутые общины, и вне их еще находились, не говоря уже о рабах, разные другие местные жители, которые, будучи лично свободными, не пользовались политическими правами (в Аттике, напр., они назывались метэками). В-третьих, распространяя свою власть на другие города и земли, создавая из них целую державу, афинская демократия смотрела на граждан подвластных городов как на своих подданных, за счет которых потом афинский демос и старался жить. Свободные и полноправные граждане городовых республик античного мира, таким образом, составляли только часть населения каждого отдельного государства, остальные были или лишь обыватели, лично свободные, но лишенные участия в политической жизни, или крепостные и рабы, находившиеся в прямой юридической зависимости от полноправных граждан, или подданные последних, если тому или другому государству-городу удавалось подчинить себе какую-либо чужую, прежде бывшую самостоятельною общину. В своей «Философии истории» Гегель видел прогресс в осуществлении свободы как самой основы, по его мнению, всемирной истории, в том, что на Востоке свободен был только один (т. е. деспот), в классическом мире свобода делается достоянием только некоторых, а в новом мире свободны все. Действительно, Европа в своем гражданском быту осуществила принцип всеобщей гражданской свободы, тогда как античная циви-

лизация так и скончалась, сохранив в числе своих учреждений рабство, но не следует забывать, что новый мир разделался с людскою неволею лишь в середине прошлого столетия: только в шестидесятых годах XIX в. пало, например, в России крепостное право, а в Североамериканских Соединенных Штатах было уничтожено невольничество негров. И в этом, следовательно, отношении новый мир сделал такой шаг вперед, который оказался совершенно не по силам античной эпохе, но этот шаг, повторяю, был сделан только в самое последнее время, и таким образом в течение четырнадцати столетий средневековая и новая Европа — в тех или других частях своих — не расставалась с юридической неволей большей или меньшей части своего населения.

Вопрос о рабстве в античном мире

Впрочем, многие пытались положить резкую грань между двумя главными формами неволи — рабством и крепостничеством, из которых рабство было объявлено социальным явлением, характерным для античного мира, а крепостное состояние — для средних веков, причем в этом последнем видели смягченную форму рабства. На самом деле, главная разница между обоими состояниями не юридическая, а экономическая, и обе формы одинаково встречаются и в древности, и в позднейшее время. Крепостной крестьянин — это подневольный фермер, сидящий на своем хозяйстве, зависимом от какого-либо господина, и платящий этому господину оброк; такие крепостные существовали и в Греции (лаконские гелоты, фессалийские пенесты и т. п.), и в Римской империи (колоны). Раб — это, наоборот, подневольный рабочий, живущий и работающий в господском хозяйстве и на господском содержании. Обе формы, собственно, существовали и в древнем мире, и у новых европейских народов, и преобладание одной из них над другою не зависело от того или другого момента всемирно-исторического процесса, а обусловливалось местными и временными экономическими и культурными причинами. Они создали и то, что в Греции рабский труд применялся почти исключительно в обрабатывающей промышленности, а в Риме — в сельском хозяйстве крупных землевладельцев, и такими же экономическими и культурными причинами объясняется, что развитие обрабатывающей промышленности в древности со-

провождалось и развитием рабства, — опять одно из явлений, свидетельствующих об отсталости античной цивилизации от новейшей европейской.

Греко-римское объединение культурного мира

В общем обзоре всемирной истории нет возможности, да нет и надобности останавливаться на внутренней истории отдельных стран и на всех международных отношениях, существовавших между отдельными государствами. В нашем очерке на первом плане должна быть мировая роль Греции и Рима, которая началась лишь со времени греко-македонского завоевания Востока и образования великой Римской державы: с этих двух фактов и начинается объединение обоими классическими народами всех стран вокруг главного моря древности — Средиземного.

С середины VI до середины IV в. до Р. Х. великой мировой державой была Персия, включившая в свой состав все культурные страны Востока и часть греческого мира. Во второй половине IV столетия эта обширная держава подверглась греко-македонскому завоеванию, проложившему широкий путь эллинизму на весь Восток. Приблизительно через сто лет после этого Рим объединил под своею властью всю Италию и впервые стал твердой ногою вне Апеннинского полуострова, положив завоеванием Сицилии начало своим провинциям, которые мало-помалу, как кольцом, охватили все Средиземное море с его островами, а еще столетием позже началось постепенное приобретение Римом земель, где господствовала греческая культура. Как греки вытеснили финикийцев из восточной части Средиземного моря, так римляне отняли у карфагенян — тоже по происхождению своему финикийцев — западную часть этого моря, а затем подчинили себе и самих греков, и основанные ими «эллинистические» царства на Востоке.

Завоевание Александром Македонским и греками Персидской монархии было началом совершенно новой эпохи в истории не только Греции, но и всего тогдашнего исторического мира. Внутренние события в самой Греции, утратившей политическую независимость, хотя и не вполне освободившейся от прежних раздоров, отступают для историка на задний план перед этим завоеванием греками восточных стран, в которых, с одной стороны, к ним перешла политическая

власть, а с другой, стали развиваться греческая колонизация и распространяться греческая образованность, эллинизм. Высшая культура греков в эту эпоху духовно подчинила себе варваров, и Греция, не сумевшая устроить своих собственных политических дел, сделалась учительницею других, более отсталых народов в разных областях духовной жизни. Еще с эпохи ассирийского владычества главные культурные страны Востока большею частью не принадлежали народам, их населявшим. Завоевание Персии Александром Македонским было только переходом Востока из-под власти одного народа под власть другого, и греко-македонское владычество было лишь продолжением мидо-персидского. Но на месте одной монархии к началу III в. образовалось, кроме самой Македонии с Грецией, на Востоке еще несколько государств, из которых главными были два. Большая часть азиатских владений Александра от Индии до Сирии досталась, как известно, Селевку[75] и его потомкам. Селевкидам, впрочем, не удалось сохранить в целости первоначальную территорию своего царства, и от нее мало-помалу отделились новые государства, как то: Армянское, Парфянское и Бактрийское. Основною областью царства Селевкидов остались Сирия и Месопотамия. Вторым большим царством, образовавшимся из монархии Александра, был Египет, доставшийся вместе с Палестиною Птолемею. Его потомки владели Египтом около трех столетий, но утратили Палестину в пользу Сирийского царства Селевкидов.

Кроме этих главных эллинистических царств, из монархии Александра выделились и второстепенные, из которых наиболее важны Понтийское и Вифинское по южному берегу Черного моря и Пергамское на юг от Мраморного. Греческие правители этих стран и многочисленные переселенцы из Греции и Македонии распространяли вокруг себя эллинскую культуру. Селевкиды в Сирии и Месопотамии были настоящими продолжателями политики Александра Македонского, стремившегося подчинить варваров греческому влиянию. Подобно Александру, основавшему множество городов, — среди них египетскую Александрию с ее мировым значением, — и они строили новые города, тоже делавшиеся центрами греческой образованности, промышленности и торговли, и некоторые из этих городов (в особенности Антиохия) также получили важное историческое значение. Царство Бактрийское равным образом было проводником греческой культуры на отдаленном Востоке. Но успехи эллинизации

за Тигром и Евфратом были остановлены парфянами, полудикими кочевниками, сбросившими с себя власть греко-сирийских царей, и с этими же парфянами (и сменившими их в III в. по Р. Х. ново-персами) не могли справиться и римляне. В Египте при Птолемеях тоже образовалось несколько центров греческой культуры. Их столица, Александрия, сделалась даже главным средоточием эллинизма, благодаря массе греков, поселившихся в этом городе.

Греческая культура не могла не оказывать влияния и на туземное население Востока, и греческий язык стал распространяться среди варваров. Даже самое слово «эллин» несколько изменило свое значение и стало обозначать не столько человека греческого происхождения, сколько человека греческого образования. Иногда туземцы прямо писали по-гречески. В III в. египетский жрец Манефон[76] составил на этом языке историю Египта, от которой до нас дошли отрывки. Современник его, халдейский жрец Бероз[77] по-гречески же написал сочинение по истории Вавилона, тоже сохранившееся в отрывках. Многочисленные евреи, жившие в Александрии, совсем стали забывать свой язык, и потому потребовался греческий перевод еврейских священных книг, сделанный семьюдесятью толковниками. Но, с другой стороны, и сами греки не могли не подчиниться влиянию Востока, что придало многим сторонам эллинистической культуры совершенно своеобразный характер. Сирийские и египетские наследники Александра были в сущности восточными деспотами, усвоившими все традиции прежних царей, самовластно правивших безгласными и раболепными народами. Политическая форма эллинистических царств, таким образом, есть в сущности восточная деспотия. И в области духовной культуры греки не избежали восточного влияния. В Александрии в эпоху Римской империи образовалась так называемая школа неоплатоников, которая сливала воедино на почве философии Платона отдельные системы греческой философии и религиозные представления разных восточных народов. Предшественником этого направления был александрийский еврей I в. по Р. Х. Филон[78], старавшийся доказать, что книги Моисея содержат то же самое учение, что и философия Платона, которую он истолковывал по-своему. Неоплатоники в III–V вв. создали целую философскую религию в духе пантеизма, в которой мир рассматривался как «эманация» (истечение) единого божественного начала и населялся разными богами и духами, созданными творческой фантазией греков и восточных народов. На

этом учении особенно сильно сказалось влияние жреческих учений Египта. Несколько позже македонского завоевания греческое влияние начал в широких размерах испытывать на себе и Рим. Влияние греческой литературы на римскую стало обнаруживаться в конце III и начале II в. до Р. Х. Но особенно греческое влияние в Риме возросло после завоевания Греции. В Риме появилась тогда масса греков в самых разнообразных профессиях — риторов и актеров, художников и философов и т. п., и у самих богатых римлян вошло в обычай ездить учиться в Афины, Александрию и Родос. Греческая культура продолжала оказывать свое влияние на римскую и после того, как римляне уже имели свою собственную литературу.

Таково было культурное объединение древнего мира, совершенное эллинизмом. Не меньшую важность имело и политическое объединение, совершенное Римом. От середины IV в. до Р. Х., когда римляне начали делать завоевания вне Лациума, до середины I в. до Р. Х., когда Рим завладел последним большим царством на Средиземном море, прошло около трехсот лет. Образование Римской империи не было делом быстрых завоеваний, подобных тем, которые совершены были первыми персидскими царями или Александром Македонским. Зато государство римлян, как было уже сказано выше, оказалось и много прочнее прежних всемирных монархий. Римская держава, как единое государство, продержалась еще четыре века после Р. Х., и если в V столетии западная ее половина была разделена новыми народами, то восточная половина продолжала жить, как непосредственное продолжение великой империи, еще целое тысячелетие под именем империи Византийской. Римляне не только постепенно, а не сразу создали свою мировую державу, но и сумели довольно прочно связать между собою ее части в одно целое. Рим начал свои завоевания как городская республика, каких было много в древней Греции и Италии, да и долгое время после того, как создалась его громадная держава в трех частях света, сам он все еще продолжал оставаться государством-городом, в союзе с которым и под властью которого находились другие города и страны. Лишь к концу своего исторического существования как главы мировой державы Рим превратился из города-государя в простую лишь столицу государства, все свободное население которого получило к началу III в. по Р. Х. права римского гражданства. Хорошая сторона римского завоевания для многих провинций заключалась в том, что под властью державного города

прекращались раздиравшие их войны. Такое, например, значение имело установление власти Рима над Македонией и Грецией или над Транс-альпинской Галлией. Только период внутренних смут в самом Риме ознаменовался возобновлением военного времени и для провинций, когда политические партии и честолюбивые полководцы вели междоусобные войны на всем широком пространстве римских владений. После того, как эти смуты прекратились, провинции опять стали пользоваться «римским миром» (pax romana), как многие тогда называли замирение державным народом римским всех стран вокруг Средиземного моря. Это общее умиротворение и гражданское объединение происходили главным образом уже в ту эпоху, когда Рим утратил свой республиканский строй и принял формы монархического государства.

Римское завоевание не устанавливало однообразного положения для покоренных. Принимая их под свою власть и в союз с собою на весьма различных основаниях, — так что одному городу давались привилегии, которых не имел другой, — Рим стремился разъединить их интересы. Одни города управлялись своими выборными властями, другие получали правителей из Рима; граждане одних пользовались римским правом, но без участия в римских народных собраниях, граждане других не могли приобретать собственности в Риме и вступать в брак с римскими гражданками. Все внеитальянские земли, завоеванные римлянами, сделавшись «провинциями», попали под абсолютную власть городовой республики, покорившей мир. Провинциалы даже не были союзниками на манер италийцев, хотя и у последних именем союза прикрывалось в сущности римское господство. Провинции составляли уже прямо добычу римского народа, не имели самоуправления, de jure[79] лишались своей земли, становившейся собственностью державной республики, обогащали казну этой республики наложенными на них податями.

Совершая свои завоевания, Римская государственная община почти не расширялась как таковая. Народы не вступали в римское государство, как это делается в наше время, когда с присоединением новых областей государство расширяет свои границы.

Распространялось только римское державство, то, что называлось «империем римского народа». Подданные Рима как бы лишались всего, жили без обязательных учреждений, без законов, без магистратов, и только власть римского наместника поддерживала между ними по-

рядок. Империй, поручавшийся над провинциями проконсулам, был не чем иным, как временным отчуждением власти Рима над завоеванной землей в руки какого-либо гражданина: последний был не только правителем, но и законодателем, ибо римское право существовало лишь для граждан, а неграждане были перегрины, собственных законов которых Рим не признавал. Свое право и свои учреждения сохраняла de jure только одна гражданская община, остальные земли со стамиллионным населением жили под империем этой общины и ее уполномоченных. Понятно, что звание римского гражданина сделалось предметом пламенных желаний для подвластных народов: получить это звание являлось одним средством выйти из-под сурового империя, получить права и что-либо значить, но победителям и в голову не приходило давать эти права побежденным. Только после упорной союзнической войны (91–88 гг. до Р. Х.) все свободные жители Италии добились права римских граждан, вся Италия превратилась в территорию римского гражданства, т. е. римская гражданская община расширилась в целую страну, и империй уже был не за пределами городской земли, а за пределами всей Италии. Так, только в первом веке до Р. Х. совершился великий переворот превращения римского государства из городской общины в целую страну, что, конечно, не могло не отразиться на внутреннем строе политической жизни самого Рима. Затем на очереди стояли провинции. В них также существовали некоторые привилегированные города, имевшие муниципальное устройство, т. е. пользовавшиеся самоуправлением. В Галлии, напр., и в Испании, заводили его сами римляне, считая невозможным управлять провинциями одним империем своих наместников, а в Греции городовой быт был и без того развит, и римляне его не уничтожили. Жители таких городов также всячески стремились попасть в число римских граждан, и кто этого достигал, тот, так сказать, уже не принадлежал к родному городу, делался для него как бы чужим человеком, но зато попадал в число господ мира.

Этот процесс перехода провинциалов в римские граждане совершался весьма медленно, когда Рим оставался республикой, но в Риме самом произошла важная перемена. В 30 г. до Р. Х. империй над провинциями достался одному лицу, которое державный народ облек для управления провинциями, и которое сумело достигнуть господства и над гражданами. Став и над Римской республикой, и над ее подданными, новые владыки мира, римские императоры, начали сглаживать

гражданское и политическое различие между римлянами и их подданными, пока в начале III в. по Р. Х. права римского гражданина не были распространены на все свободное население провинций. Римские граждане с этой поры были таким образом рассеяны по всему миру; сам Рим перестал быть владыкою вселенной, отчуждая от себя империй над провинциями в руки верховного магистрата республики, и, как было уже сказано, превратился из державной городской общины в простую столицу обширного государства. Все свободные жители этой монархии сделались римлянами, существовало только одно отечество, одно правительство, одно право. Древний мир был объединен; народы сливались в одном громадном обществе под сенью римского государства.

Это объединение совершалось и в религиозной сфере, — совершалось сначала в форме так называемого синкретизма, потом в форме распространения и утверждения единой веры.

Древнейшие религии, как было уже упомянуто, отличались чисто национальным и даже местным характером, и каждый город имел своих богов, которые могли и не быть богами в соседних городах. Например, самое образование общегреческой религии произошло не сразу, а национальные различия, т. е. различия в языке, нравах и обычаях, служили даже препятствием для религиозного общения. Первоначальная религиозная исключительность, однако, не могла долго держаться, потому что народы очень рано стали заимствовать один у другого отдельные верования и подробности культа.

Некоторые мифологические представления греков были восточного происхождения, а римляне тоже довольно рано приняли кое-какие эллинские мифы и культы. В некоторых отдельных случаях совершалось прямо официальное признание новых богов. В своем суеверии римляне даже «переманивали» к себе божества своих врагов, обещая приносить им жертвы. Кроме того, они скрепляли политические союзы и религиозным общением с союзниками. С завоеванием провинций, с распространением римлян по всем странам вокруг Средиземного моря, с появлением массы иноземцев в самом Риме все более и более росло и крепло смешение богов разных стран и народов, т. е. происходил так называемый религиозный синкретизм. Особенным сочувствием римлян пользовались восточные культы с их таинственностью, пышностью и жреческими влияниями. В Риме стали чествовать и Великую Мать богов, которой поклонялись в Си-

рии, и богиню египтян Изиду, и иранского бога света Митру, и многих других богов, боясь, не забыт ли еще кто-либо из богов, и даже ставя жертвенники неизвестным богам. Привлекали к себе общество и разные мистерии, т. е. таинственные обряды, стоявшие в связи с верованиями в загробную жизнь, которые у самих римлян были очень мало развиты. С восточными культами приходили и восточные суеверия, на которые особенно была падка невежественная толпа. Религиозными верованиями Востока интересовались и некоторые императоры (например, Адриан[80]). В III в. император Гелиогабал[81] был сам жрецом сирийского Ваала и привез с собою в Рим священный камень родного храма, упавший с неба. Его родственник Александр Север[82] отличался даже особою наклонностью к религиозному синкретизму, и в его дворцовом святилище стояли статуи богов разных народов; в их числе была даже статуя Иисуса Христа, которого император тоже включал в сонм своих богов. К этой же категории культурных явлений относится и возникновение уже отмеченной выше неоплатонической философии, в которой основные изложения греческого идеализма сливались воедино с религиозными представлениями и самих греков, и восточных народов. Этот религиозный синкретизм был, так сказать, попыткой выхода из тесных рамок местных религий на широкую дорогу объединения всех народов в областях веры и нравственных требований. Христианство, возникшее в Иудее, дало удовлетворение религиозным стремлениям греко-римского общества, явившись в то же время проповедью, обращенною ко «всем языкам», и дав начало вселенской церкви, в которой не должно было быть национальных различий.

Романизация варваров

Заимствовав высшую культуру у греков, римляне, в свою очередь, переносили ее к западным варварам — к испанцам, африканцам, галлам, а позднее и к британцам, еще позднее и к германцам. Культурное объединение древнего мира было как бы прямым следствием его политического объединения под властью Рима. На Востоке еще со времен Александра Македонского, как мы видели, господствовал эллинизм, и в культурном отношении римлянам там делать было нечего, но зато перед романизмом открыт был весь Запад. Культурная жизнь делала здесь такие успехи, что в эпоху империи из провинциалов вы-

работалось немало видных государственных деятелей и писателей. Наибольших размеров Римская империя достигла, как мы знаем, в начале II в. по Р. Х., и уже в эту эпоху в империи заметно было различие между восточными и западными областями, из которых первые находились под культурным влиянием эллинизма, тогда как вторые все более и более романизировались. Если мы проведем линию с с.-з. на ю.-в., от теперешней границы между Англией и Шотландией, через устье Рейна к устью Дуная, то указанная линия разделит всю Европу на две неравные части. На юг от этой черты лежали в первые века нашей эры культурные области Римской империи, к северу начиналось варварство, и лишь по северному берегу Черного моря располагалось несколько культурных городов, обязанных своим происхождением греческой колонизации. В Европе находилась большая часть Римской империи. В Азии она владела, в сущности, лишь Малой Азией и сирийским побережьем, в Африке — тоже только прибрежными странами. Таким образом, Римская империя была по преимуществу государством европейским. За пределами империи, в с.-в. части европейского материка, жили варварские народы, которые тоже начали свою историческую жизнь под сильным политическим и культурным влиянием Рима. В IV в. вся полоса земли между Немецким и Черным морями, на с.-в. от линии Рейна и Дуная была заселена германскими племенами, с вторжением которых римляне познакомились еще за 100 лет до Р. Х. (кимвры и тевтоны).

Германцы отделяли Римскую империю от племен славянских, которые тоже, но только гораздо позднее начали свои вторжения в пределы империи. Большую часть пространства, каким владел Рим на Западе, а именно Северную Италию, Испанию, Галлию и Британию, перед их завоеванием Римом населяли кельты. Оставаясь долгое время соединенными между собою под одною властью, принимая к себе римских колонистов и римские легионы, подчиняясь римскому культурному влиянию, кельты сильно романизировались. Доказательством этому может служить то, что население большей части названных стран: французы с бельгийцами и частью швейцарцев, испанцы, португальцы и, наконец, конечно, сами итальянцы, — говорят на языках, происходящих от простонародной латыни и по своему римскому происхождению называемых романскими (к числу романских языков принадлежит и румынский, господствующий к северу от нижнего течения Дуная, в бывшей римской провинции Дакии).

Натиск варваров на Римскую империю

Вся история Римской империи в ее внешних отношениях была сплошною борьбою, которую ей пришлось вести одновременно на два фронта — в Европе против германцев, от которых империя отделялась рейнско-дунайской границей, в Азии против парфян и сменивших их новоперсов в бассейне Тигра и Евфрата. Борьба с варварами значительно истощала силы мирного населения империи, страдавшего, кроме того, и от внутренних ее недостатков. Уже императорам II в. по Р. Х. все более и более приходилось заботиться об отражении варваров, теснивших империю с севера и с востока. Уже одно это, конечно, требовало постоянно больших расходов, вследствие чего приходилось увеличивать налоги, и они делались все более тягостными для населения. Больших расходов требовала и введенная империей система управления посредством чиновничества, которое, как и прежние правители провинций, привыкало злоупотреблять своею властью и, вмешиваясь во все местные дела, все более и более приучало жителей к пассивности. С другой стороны, с прекращением завоеваний уже не было прежнего громадного ввоза рабов, между тем как число рабов в самой империи уменьшалось, потому что они вымирали от непосильной работы, от жестокого обращения и т. п. При установившейся в империи системе ведения хозяйства с помощью рабского труда это влекло за собой целый экономический переворот, ставивший перед населением нелегкую задачу приспособления к новым условиям быта. Римское землевладение сложилось в систему крупных поместий (латифундий), обрабатывавшихся рабами, а между тем этой рабочей силы уже не хватало как раз в то время, когда требования государства стали возрастать. В III и особенно в IV в. все эти явления дали себя чувствовать с особенно большою силою, подготовив постепенное ослабление жизнедеятельности народов империи. Ее население делалось все менее и менее способным оказывать сопротивление варварам и выносить бремя налогов.

С конца III в. императоры вынуждены были для борьбы с одними племенами германцев селить другие их племена в пограничных областях империи с обязанностью защищать ее пределы. Вместе с этим для правильного поступления налогов они сочли необходимым прикрепить земледельческое население к земле, а землевладельцев — к их городам для правильного отбывания повинностей. Внутренние

смуты и злоупотребления чиновников довершали бедствия населения многих провинций. Областные восстания были часто лишь результатом недовольства их населения гнетом империи. К непосильным для народа требованиям государства присоединялись еще поборы землевладельцев. В Галлии, напр., народная масса была в крепостном состоянии еще до римского завоевания, которое не только не изменило этого отношения, но даже прямо содействовало развитию крупных поместий. Недовольные галльские крестьяне в союзе с рабами, поденщиками и бродягами стали в конце III в. составлять мятежные шайки (багауды), которые подняли даже целое восстание. Недовольство закрепощенного населения выражалось и в том, что многие прямо бежали к варварам, вместе с которыми и нападали на области империи. Еще во II в. Плиний говорил, что «латифундии погубили Италию и провинции», и действительно, с III в. экономический упадок все сильнее и сильнее давал себя чувствовать, особенно на Западе, приводя за собою и вообще падение культурного уровня жизни. Общество Римской империи распалось на земельную аристократию и закрепощенный народ.

Обремененные тяжелыми повинностями, обнищалые, невежественные и приниженные колоны (крепостные крестьяне) не могли вести хорошо хозяйства на своих участках и не имели особого интереса поддерживать империю. Разоренные куриалы, как звали с IV в. землевладельческий класс отдельных местностей, тоже теряют силу нести повинности и утрачивают интерес к общественной жизни. Остались только сильными и свободными от общего государственного закрепощения представители самой крупной земельной знати. Пользуясь некоторыми привилегиями по закону (вроде свободы от несения муниципальных тягостей), члены этого сословия начали уклоняться и от платежа налогов, и от несения военной службы и отказывать в повиновении судам, хлопоча лишь о том, чтобы каждая латифундия была особым, замкнутым и самодовлеющим мирком. Эти «господа земли», имевшие в своих владениях все, что им было нужно, обособляли свои поместья и в хозяйственном, и в государственном отношении, как бы совсем не ощущая более потребности в сохранении единства империи. Римская знать в своем равнодушии к политической жизни дошла до того, что ее члены стали отказываться от самых важных должностей в государстве, чтобы сохранять свое положение независимых господ земли.

Угнетая массу и доводя ее до полного равнодушия к судьбам государства, магнаты IV и особенно V вв., таким образом, подкапывали единство империи и утрачивали римский патриотизм. Если колоны бежали к варварам, то и магнаты не оказывали сопротивления последним, особенно когда чувствовали, что при новых правителях провинций им не будет хуже. На Востоке с его более развитою экономическою жизнью и более древнею культурою внутренние отношения империи были лучшими, и она с большим успехом отстаивала себя в борьбе с варварами. Недаром у императоров IV в. было решительное предпочтение к Востоку, куда и была перенесена столица империи Константином Великим, в город, названный по его имени Константинополем.

Постепенный упадок империи

Римское правительство все более и более чувствовало в IV в. трудность управления обширной империей, которой в это время приходилось бороться на два фронта, с германцами и персами, тем более, что натиск делался все более и более сильным. В 395 г. Римская империя разделилась на две половины, и вскоре затем западную половину постепенно заняли отдельные германские племена, основавшие здесь свои государства. В 476 г. произошло так называемое падение Западной Римской империи, считающееся по старой традиции концом древней истории и началом истории средних веков. Конечно, дело не в этом событии и не в этой дате, но, во всяком случае, со времени торжества в Римской империи христианства, со времени разделения самой империи на две половины с обособлением эллинизированных и романизированных ее частей, со времени появления на сцене всемирной истории германцев, а за ними и славян и с падения Западной Римской империи всемирная история вступает в совершенно новый период.

Прогресс в античном мире

Мы видели в этом очерке античного мира, что он в общем был шагом вперед [по сравнению] с древним Востоком, т. е. что классическими народами был осуществлен гораздо более значительный прогресс сравнительно с их предшественниками в истории культурного

и социального развития. Умственный прогресс у греков и римлян был тем более возможен, что философская и научная мысль у них пользовалась большею свободой, чем на Востоке; прогресс нравственный, в свою очередь, был необходимым следствием выработки общечеловеческой культуры и того взгляда на достоинство человека, который должен был возникнуть в общинах, состоявших из свободных и дороживших своею свободою граждан; прогресс социальный, в свою очередь, был обусловлен тем, что публичная жизнь в известный, по крайней мере, период, не была замкнута в определенные рамки, но свободно двигалась и свободно развивалась. Где нет свободы исследования, где человек не дорожит своим достоинством и не признает этого достоинства в других, где его деятельность скована чужими велениями, там нет и не может быть прогресса. Так было на Востоке. Но не так было в классическом мире, и классический мир шел вперед.

Доказывать, что греки и римляне прогрессировали в умственном отношении, — совершенно излишне. Древние оставили Европе слишком богатое наследство в своей науке, философии, праве, чтобы сомневаться в этой истине. С другой стороны, мы слишком хорошо знаем, как невелик был умственный багаж, с которым они пустились в свою историческую дорогу, чтобы не ответить весьма обстоятельно на вопрос, что же было сделано ими? Греки были главными вождями в этом путешествии, и в него они увлекли и другие народы. Своим духовным богатством древние удивили европейцев конца средних веков, и, только получив это наследие, новые народы особенно быстро двинулись вперед. Самая идея прогресса, как показывает ее история, возникла главным образом из рассмотрения интеллектуальной истории древнего мира.

Перейдем теперь к морали. Начало исторической жизни греков и римлян было эпохой весьма низкого уровня нравственного развития. В человеке ценились чуть ли не исключительно тело, физическая сила и ловкость; сила составляла единственное право по отношению ко всем людям, стоявшим вне известной гражданской общины, вне известного племени: нравственные обязанности признавались только в отношении к сочленам своего общества, которое понималось притом очень узко. У римлян слова «иностранец» и «враг» были синонимы, и само право освящало над врагом всякого рода насилия: «ad versus hostem aetema auctoritas esto»! То, что ныне считается преступным, нередко прославлялось, как героический подвиг, и греческая

мифология была полна такими рассказами о богах, которые возмущали впоследствии более чуткую совесть позднейших поколений: на таких мифах отразилось нравственное состояние общества, их создавшего, варварство той эпохи, когда они возникли. Беззащитные — старики, женщины, дети, люди, побежденные на войне, — были предметом самого грубого насилия. Человеческая личность сама по себе не уважалась, и право освящало бесконтрольную власть сильных над слабыми: господин мог, как ему было угодно, распоряжаться со своим рабом: женщина была вечным малолетком и не имела почти никаких прав по отношению к своему отцу, мужу, опекуну: отцовская власть держала в вечной кабале взрослого сына. Месть, самая свирепая, неумолимая вражда были своего рода добродетелями. В международных отношениях господствовала голая сила, и обращение побежденных в рабство было прогрессом сравнительно с теми случаями, когда их избивали, щадя только женщин и детей для продажи в неволю. С другой стороны, существовавшие в обществе моральные предписания, наблюдаясь лишь по отношению к членам одной гражданской общины, стояли в тесной связи с сакральными требованиями, не имевшими этического характера, и часто деяние, в нравственном смысле безразличное, считалось более важной доблестью, нежели какой-нибудь действительно моральный поступок. Позднейшая история сохранила много черт этого первобытного варварства: в ней были эпохи сравнительно высокой цивилизации, когда нравственность была, однако, в полном упадке, но, несмотря на все это, можно обнаружить значительный моральный прогресс в древнем мире.

Например, этические учения составляют видную часть греческой философии, а у римлян философия главным образом и существовала только в смысле моральных систем. В этих учениях вырабатывался принцип духовного достоинства и совершенства человека: идеалом было уже не атлетическое тело, не храбрость на войне, не насильственность во всем поведении, свидетельствующая о физической мощи, а нечто другое, что каждый философ определял по-своему, но что мы можем обобщить под современным выражением «нравственное развитие». Далее, в этих учениях принцип морали освобождался от своего сакрального характера, благодаря которому нравственная обязанность и исполнение какого-либо чисто внешнего обряда считались за одно и то же: философия искала для морали основы в природе человека и во всеобщем разуме и, даже выводя

правила поведения из врожденного человеку стремления к счастью, умела все-таки самое счастье определять так, что оно не было похоже на чисто животное удовлетворение физических потребностей низшего порядка. По учению стоиков, самому возвышенному, до какого только додумался древний человек, истинное блаженство сообщается добродетелью, т. е. жизнью, сообразной с разумной природой души. В эту философию все более и более проникают и все более и более в ней укрепляются симпатические чувства к человеку, и сам стоицизм в этом отношении совершил большой прогресс сравнительно с собственным основным принципом, с тою идеею, из которой исходила вся школа. Вначале это была доктрина какого-то спокойного безразличия, философского бесстрастия, которая порицала всякий аффект, нарушающий внутренний мир человека, равновесие его души.

Мудрец, по первоначальному учению стоиков, не должен давать власти над собою состраданию; он не должен знать и чувства прощения. Зло, господствующее в мире, стоики и не думали побеждать: они учили только, что для себя лично его можно сделать нечувствительным, возвышаясь над ним бесстрастием своего духа, и только. У позднейших стоиков римской эпохи, у Сенеки[83], у Марка Аврелия[84], у Эпиктета[85], эта моральная доктрина уже отрешается от своей безразличной исключительности, и стоицизм делается проповедью сострадания, любви к ближнему, братства и одинакового достоинства всех людей. «Природа, — говорит Сенека, — сделала нас всех родными... Она внушила нам взаимную любовь... Нужно жить для других, если ты хочешь жить для себя... Природа вложила в сердце человека любовь к себе подобным, она приказывает нам быть им полезными, будут ли они свободные или рабы, благородные или вольноотпущенники. Везде, где есть человек, есть место для благодеяния... Есть ли кто любящее человека? Люди рождены для взаимной помощи; они стремятся к соединению, хотят быть полезными; они помогают даже незнакомым; они готовы жертвовать собою ради других».

У Сенеки остается еще кое-что из того бесстрастия, которое было идеалом ранних стоиков: «Мудрец, — говорит он, напр., — отрет слезы других, но не примешает к ним своих... Он не будет сострадательным, но он будет помогать другим». Но зато он порицает ненависть и мстительность, как недостойные мудреца. У Эпиктета мы находим уже такие места: «Это — разбойник, не должен ли он по-

гибнуть? Скажи лучше, что этот человек находится в заблуждении, что он слеп; разве следует предавать смерти слепца или глухого?.. Один пират потерпел кораблекрушение, и некто дал ему одеяние, принял его к себе и снабдил всем необходимым. Когда его стали бранить за то, что он оказал благодеяние разбойнику, он отвечал: я исполнил свой долг не по отношению к этому человеку, а по отношению к человечеству... Ты гражданин мира, ты часть вселенной. Но какова главная обязанность гражданина? Это — не руководиться исключительно своей пользой, как будто бы он был отделен от общего союза, но действовать, как рука или нога, которые — если бы могли рассуждать и понимать устройство природы — направляли бы свои движения и свои стремления сообразно с потребностями всего тела». «Душа моя, — восклицает император Марк Аврелий, — испытаешь ли ты, наконец, блаженство любить людей и им благодетельствовать?.. Люби людей, с которыми тебе суждено жить, и люби их истинною любовью... Чего тебе еще нужно, когда ты делаешь добро людям? Разве тебе недостаточно того, что ты сделал нечто, соответствующее твоей природе, и ты хочешь еще награды? Это все равно, если бы глаз потребовал платы за то, что смотрит, и ноги за то, что ходят... Я член одного великого тела, которое составляют все разумные существа... Такой-то меня презирает, это его дело. Что касается до меня, то я буду остерегаться делать и говорить что-либо, достойное презрения. Другой меня ненавидит, и это его дело. Я кроток и хорошо ко всем расположен...». Те же стоики провозглашали, что отечество человека — вся вселенная, что и рабы имеют те же нравственные достоинства, какие вообще заключаются в человеческой природе, что все люди братья, что любовь к ближнему есть главный закон, связывающий всех людей в одно великое отечество и т. д., т. е. проповедовали принципы, диаметрально противоположные тем, которые лежали в основе морали грека и римлянина в начале их исторической жизни. Насколько эти принципы проникали в жизнь, это другой вопрос, но что они могли зародиться только в обществе, достигшем известной степени нравственного развития, это едва ли подлежит сомнению.

Теперь, наконец, прогресс социальный. Война есть одно из самых антисоциальных явлений. Греки и римляне начали с войны; войной Рим завоевал древний мир; война прославлялась старыми поэтами. Объединение «вселенной» Римскою империею водворило

мир, по крайней мере, внутри этой империи, направило общество к более мирной деятельности и заставило тогдашних поэтов прославлять именно это умиротворение вселенной. Позднейшие войны империи имели целью не столько расширение пределов империи, сколько защиту ее границ. В начале античной истории мы замечаем далее доведенный до крайности партикуляризм: отдельные гражданские общины вечно враждуют между собою, и если среди них образуются союзы, то обыкновенно самая сильная пользуется союзом лишь для того, чтобы владычествовать над остальными: это — господство города над городом, граждан над побежденными, как антисоциальный результат изначального в Греции и Италии обособления отдельных общин, не считающих себя связанными между собою какими-либо узами. Но среди этого хаотического быта замечается и отчасти осуществляется стремление к единению на началах равноправности: греческие города в эпоху македонского владычества создали Ахейский союз уже на началах равноправности; замкнутый сначала сам в себе, Рим распространил права своих граждан на все свободное население империи. Внутри самих гражданских общин сначала господствует антисоциальный принцип крайнего неравенства; эвпатриды и патриции являются едиными господами и распорядителями общин, демос, плебеи либо совсем исключены из пользования политическими правами, либо играют самую последнюю роль. Разве нельзя причислить к прогрессивным явлениям падение этого неравенства, когда, напр., в Афинах установилась демократия, или когда в Риме были уравнены права патрициев и плебеев? Правда, античный мир пал, не уничтожив рабства, но и тут законодательство империи, взявшее раба под свою защиту, было прогрессом в сравнении с более ранним правом, оставлявшим раба в полной зависимости от господина. Социальный принцип есть принцип солидарности, и понятное дело, что эта солидарность имела к концу античного мира гораздо большую сферу действия, чем в начале его истории: все жители обширной империи в качестве граждан единого государства были теперь так же политически солидарны между собой, как прежде могли быть солидарны только граждане одного города; между отдельными общественными классами было более солидарности, когда их права были уравнены, нежели тогда, когда сословия чуть не были готовы превратиться в касты наподобие тех, какие существовали в Индии. Правда, Римская империя

не осуществила принципа солидарности вполне, но, спрашивается, осуществило ли его во всем его объеме хотя бы одно из новых государств Европы? Не является ли осуществление этого принципа и теперь еще далеким идеалом будущего в мечтах лишь передовых людей нашего времени?

Нужно брать вещи относительно, и, смотря на дело с этой точки зрения, мы обнаружим и в античном мире прогресс социальный. Одна история римского права есть история прогрессивного, постоянного движения вперед к разумному и общечеловеческому. Старые сакральные воззрения с течением времени уступали место философским, так как первые римские юристы стояли в связи с жречеством, последние находились под влиянием стоиков. Старое, исключительно римское, строгое и буквальное право (jus strictum) стало вытесняться постепенно правом, основанным не на букве закона, а на справедливости (jus aequum), применяясь не к данному только месту, а к потребностям всякого народа (jus gentium). В политике родовая связь первоначальных общин, выражавшаяся в слове patria, заменилась более широкою связью общности интересов, что выразилось в названии государства общественным делом (res publica, to koivov).

Свободные учреждения Греции и Рима также воспитывали общественный дух граждан, и уже Аристотель объявил, что «государство не что иное, как союз равных между собою существ, ищущих заодно благополучного и удобного существования». Это уже не восточная деспотия, но это и не первоначальная античная община.

Совершив известного рода прогресс, античный мир пал. На развалинах Западной Римской империи основались новые народы, начавшие новую жизнь. Восточная, или Византийская империя с центром в Константинополе продолжала еще существовать после того около тысячи лет, но в некоторых отношениях это было какое-то существование забытой смертью дряхлости. Падение античного мира давно уже сделалось предметом историко-философских рассуждений, усматривавших в этом явлении или нечто, предопределенное заранее Провидением в его неисповедимых путях, или естественный конец известного момента в истории человечества, совершающейся будто бы по известному плану, выполняя который отдельные нации выступают каждая со своей особой миссией — осуществить известную идею: роль сыграна, пора и сойти со сцены. Первый от-

вет ничего не решает в вопросе, второй дает решение совершенно произвольное.

На самом деле в истории не существует прямолинейного и безостановочного прогресса, и рядом с силами, двигающими общество вперед, в жизни проявляют себя еще иные силы, которые искажают, замедляют, останавливают прогресс и даже толкают общество назад. Вследствие этого прогресс существует рядом с регрессом; поэтому же отдельные течения прогресса опережают одно другое или одно от другого отстают. Высокая культура народа, выработанная меньшинством, не всегда гармонирует со степенью духовного развития большинства, которое при известных обстоятельствах может главным образом и начать задавать тон жизни. Подобным же образом высшее умственное развитие встречается рядом с меньшим соответствием между поведением людей и их нравственными правилами, нежели это было при менее значительном умственном развитии, и тогда в обществе происходит понижение нравственного уровня. Наконец, менее сносные для большинства формы общежития совмещаются иногда с самым развитым миросозерцанием, и тогда умственный прогресс, не сопровождаемый прогрессом социальным, является чем-то односторонним и непрочным и т. д. История есть явление в высшей степени сложное, представляя ряд одновременных и последовательных, частью друг друга обусловливающих, частью друг на друга влияющих культурно-социальных процессов весьма различного свойства. Очевидно, что между находящимися во взаимодействии общественными явлениями есть прогрессивные, есть и регрессивные.

Иногда последние являются зародышами смертельной болезни, которую не в силах предотвратить первые, или же прогрессивной тенденции приходится обрабатывать такой материал, который очень трудно поддается обработке, и обрабатывать его притом средствами, прямо не ведущими к цели. Таков именно был случай античного мира.

Прогрессивность его истории очевидна, но в высшее его состояние перешли такие старые недуги и выработались из них такие новые, что должны были естественно и необходимо привести к смерти. Главная беда, как мы видели, заключалась в том, что античная цивилизация была только цивилизацией меньшинства, масса же продолжала коснеть в невежестве. Труд этой массы поддерживал

существование культурного слоя, но рабством, бедностью, отвращением от нее образованных классов, деспотизмом государства сама она была поставлена в полную невозможность духовного развития. Благодаря самому прогрессу, совершившемуся в одном только культурном слое, с течением времени пропасть между меньшинством и большинством делалась все большею и большею, и это уже само по себе было явлением регрессивным. В раннюю эпоху отдельные общественные классы были теснее связаны между собою одинаковою степенью умственного развития, общими верованиями, преданиями и т. п. Прогресс состоял как раз в разложении этих верований и преданий, но так как он ограничивался лишь одним слоем, то первоначальное единство разрушалось: культурный слой, интеллигенция пережила веру отцов и находилась под влиянием философских учений, а масса жила всякого рода суевериями; в интеллигенции вырабатывалась самая гуманная мораль, тогда как народ был в совершенно диком состоянии; меньшинство додумывалось до более правильных форм общежития и пользовалось человеческими правами, масса находилась в порабощении, не имела ни прав, ни патриотизма. Изолированное меньшинство не могло быть носителем прогресса, когда масса разучилась понимать меньшинство и начинала им тяготиться, как классом, жившим ее потом и кровью и ей взамен ничего не дававшим.

Большинство, которое составляет силу всякого общества, не имело оснований поддерживать меньшинство, двигавшее общество вперед, но от большинства оторванное, и само меньшинство, изолированное от массы, теряло под собою почву, лишалось своей основы, постепенно падало от внутреннего бессилия и внешних ударов и утрачивало свою свободу, не имея возможности заинтересовать все население в ее поддержке, а со свободой оно теряло одно из условий дальнейшего развития. Цивилизация должна была иссякнуть: невежественная, грубая, бесправная масса не могла поддержать ту культуру, которую выработало для себя меньшинство. Так и случилось в Римской империи. В основе ее находились многочисленные массы рабов и крепостных, живших в самой примитивной обстановке, и лишь верхи общества были проникнуты или затронуты греко-римской цивилизацией. Опираясь на политическую неразвитость всего населения и на испорченность прежних свободных граждан, происшедшую от той деспотической власти, которую они имели над

населением, — в государстве водворился крайний деспотизм, задерживавший свободное движение общества и истощавший его материальные силы. Мы уже видели, какие причины, с другой стороны, приводили Римскую империю к экономическому оскудению, а за материальным обеднением следовали уменьшение народонаселения, меньшая возможность для имущих классов поддерживать свою культурную жизнь, постепенное понижение интеллигенции до уровня массы, усиление преданий этой массы, и все это вело к застою, к коснению в раз установившихся рамках: пример — Византия с ее чисто восточным складом жизни. Античный мир шел в данном случае, так сказать, по ложной дороге. Он выработал многое в области мысли, но эта мысль была достоянием незначительного меньшинства. Он стал доходить до более высокой морали как раз в то время, когда характеры мельчали под влиянием политического деспотизма. Он установил лучшие формы общежития, уничтожив вечную войну между народами, вошедшими в состав империи, уничтожив политическую и национальную исключительность, уничтожив зародыши кастического устройства общества в союзе свободных людей, но он оставил существование рабства и выработал крайнее культурное неравенство. Могла ли быть прочна эта цивилизация, когда не было необходимых условий ее прочности?

Древние чувствовали, что их миру приходит конец, сами видели его упадок и не моли верить в его прогресс. Они не понимали причин этого упадка, но что-то чуяли неладное, и тревога овладевала их душами. Они не понимали, что непрочность всей их цивилизации обусловливалась, главным образом, тем, что она была оазисом в пустыне: подули ветры, и песок пустыни стер с лица земли роскошную растительность оазиса. Они не понимали, что их умственный прогресс был непрочен, ибо выработанное ими миросозерцание и их свобода мысли не могли утвердиться в обществе, когда масса была способна воспринимать один догматический мистицизм. Они не понимали, что их прогресс нравственный уродовался самым отношением меньшинства к большинству, которое продолжало жить в варварском состоянии, так что философская мораль интеллигенции могла быть для него только гласом вопиющего в пустыне. Они не понимали, что все успехи их гражданственности не устранили главного и коренного недостатка их социальной жизни — и были далеки от установления такой солидарности между меньшинством и массой,

которая дозволяла бы первому идти вперед и в своем поступательном движении вести за собою последнюю. Постепенно это меньшинство уменьшалось количественно, не имея притока новых сил извне и разоряясь материально от бедственного положения массы, — падало качественно, изверившись в своих старых идеалах и будучи скована грубым деспотизмом, — и, конечно, должно было утратить всякое влияние на массу, когда между ним и ею образовалась пропасть, усиленная эксплуатацией одного класса другим.

Прежняя цивилизация пала. На сцену пришли новые народы, стоявшие приблизительно на том же уровне развития, на каком находились сами греки и римляне в начале своей истории. Зарождался новый порядок вещей. Людям снова пришлось дорабатываться до тех начал, которые уже были добыты древними. Но это новое варварство не было уже тем, чем было варварство старое. Регресс, замечаемый при переходе от древней истории к средним векам, не мог возвратить всемирной истории к ее исходному пункту. Условий, благоприятных для дальнейшего движения вперед и для большей прочности будущей цивилизации, теперь было больше. Не все пало, кое-что и притом немаловажное уцелело. Новые народы сохранили в начале своей истории очень многое из наследства древних. Жизнь, снова получившая религиозную окраску, подчинялась теперь не первобытному политеистическому миросозерцанию, а высшей религии, которая сама пришла с проповедью многих принципов, бывших последним словом умиравшей философии. Когда средневековое развитие довело Европу до способности снова понять пришедшую в забвение античную цивилизацию, новые народы в наследии древних нашли богатый запас знаний, идей, опыта и, овладев им, облегчили тем самым свою дальнейшую культурную работу. Античный мир не бесследно, таким образом, прожил свою жизнь для новой Европы, и падение его было не настолько полно, чтобы мы могли заниматься его историей ради одного отвлеченного интереса, как, напр., историей Китая, для нас отдаленной и не связанной с нами традицией и преемственностью цивилизации. Не совсем поэтому мы неправы, когда, деля европейскую историю на древнюю, среднюю и новую, пограничными столбами между этими тремя большими отделами ставим, с одной стороны, падение античной цивилизации, а с другой так называемое возрождение классической древности в конце средних веков.

Очерк четвертый
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА СРЕДНИЕ ВЕКА

Три параллельные средневековые культуры: византийская, арабская и западноевропейская

Если оставить в стороне Индию и Китай, как два обособленных исторических мира, и сосредоточить все внимание на том историческом мире, который образовался в азиатских, африканских и европейских странах, окружающих Средиземное море, и который был объединен в большей своей части Римской империей, то в первом периоде средневековой истории эти страны, продолжавшие и потом быть главною ареною всемирной истории, окажутся распределенными между тремя обособленными культурами, из которых каждая имела свой особый характер, свою особую судьбу. Эти культуры суть византийская, арабская и западно-европейская, называя их в порядке, в каком они достигали наибольшего своего развития. Две из этих культур, византийская и западноевропейская, были христианские, но они были разъединены происшедшим в IX–XI вв. разделением вселенской церкви на восточную и западную, третья же культура, арабская, составила особый и в религиозном отношении мир — мусульманский. Таким образом, распадение христианского мира в Европе на греко-восточную и римско-католическую церкви и отторжение от этого мира азиатских и африканских областей бывшей Римской империи новой религией, исламом, появившейся в VII в., являются исходными пунктами обособления трех культур, а то обстоятельство, что каждая из них имела свой особый вероисповедный характер, само по себе в высшей степени характерно и вообще для средневековья, как большого исторического периода с преобладанием религиозного начала в жизни общества. Конечно, не одна религия была основою этого распадения объединенного Римом исторического мира, но и чисто политические условия, и причины культурного и экономического свойства. В конце IV в. Римская империя распалась на восточную и западную половины, очень между собою несходные во многих отношениях. На Западе, мы видели, преобладал романский элемент, на Востоке — греческий, и, кроме того, в экономическом отношении Восток стоял впереди Запада. Это было и во времена развития финикийской и греческой торговли, и в эпоху эллинистических царств и образования римской державы, и позднее,

при империи. Перенесение политического центра из Рима в Византию было как бы признанием первенства Востока сравнительно с Западом, и Восток доказал большую свою живучесть, сохранив старую римскую государственность в то самое время, как на Западе в течение V в. по Р. Х. эта государственность прекратила свое существование. В то самое время, как Византийская империя, продолжавшая официально называться Ромейской (т. е. Римской), сохранила форму абсолютной монархии с бюрократической централизацией, т. е. политическую форму, утвердившуюся в постепенно-античной Римской империи, и даже воскресила в своем строе традиции эллинистических царств и даже деспотий древнего Востока, на Западе произошло полное крушение древних учреждений с возвращением общества к более примитивным формам быта, и на месте Римской империи возникло несколько «варварских» королевств, имевших уже совершенно особый политический и социальный строй. На Востоке, как-никак, поддерживались в средние века и торговля, и промышленность, которые на Западе в начале этого периода пришли в страшный упадок. Все это привело не только к варваризации Запада, но и к обособлению его от Востока. Так дело было в Европе, где, однако, Запад на равной ноге с Востоком распространял выработанную античным миром культуру и христианство в тех странах, которые раньше лежали за пределами всемирной истории. Культурные влияния, шедшие из Рима и романизированных областей Запада, захватили все страны за рейнско-дунайской линией с населением германским, а отчасти и славянским, не считая племен второстепенного значения — мадьяр, литовцев, финнов. Наоборот, на Балканском полуострове и далее на севере, за нижним течением Дуная, а также в странах между Черным и Балтийским морями, где образовалось Русское государство, возобладала Византийская культура. И новые народы, следовательно, вступившие в первом периоде средних веков на поприще всемирно-исторического процесса, с самого начала распределились между двумя обособленными культурами, образовавшимися в Европе. Хотя и не вполне точно, но в достаточной все-таки мере верно один из этих миров обозначается, в смысле своего этнографического состава, как романо-германский, другой — как греко-славянский: главными народами западной культуры были те, которые происходили или от романизированного населения римских провинций Запада, или от древних германцев, тогда как главными народами византийской культуры были, кроме самих греков, народы проис-

хождения славянского; неточность же названий «романо-германский Запад» и «греко-славянский Восток» заключается в том, что к западной культуре примкнула и значительная часть славянства (чехи и поляки), а под влиянием культуры византийской была часть, хотя и не особенно, впрочем, важная, племени романского (румыны).

В то время, как в Европе формировались оба эти средневековых исторических, культурно-обособленных мира, почти все азиатские и все африканские области бывшей Римской империи были отторгнуты от христианства арабским завоеванием, результатом которого были образование на громадной территории от Инда до Атлантического океана новой мировой державы, Арабского халифата, и утверждение на всем этом пространстве господства третьей после буддизма и христианства мировой религии, ислама. Арабский халифат своими размерами превзошел саму Римскую империю. Если мы сопоставим исторические карты древней Персидской державы, монархии Александра Македонского и Римской империи с историческою картою халифата*, то увидим, что в сторону востока халифат простирался до тех же пределов, какие раньше имели Персидское царство и монархия Александра Великого, а в сторону запада — до крайних пунктов прежней Римской империи. Эта громадная держава быстро возникла, но скоро, однако, стала распадаться, положив тем не менее начало третьему историческому миру средних веков, магометанскому. В то время, когда европейский Запад был еще, как говорится, погружен в варварство, и единственной хранительницей древнего образования была Византия, в халифате произошло замечательное культурное развитие, правда, тоже недолговечное, но тем не менее не прошедшее совершенно бесследно с всемирно-исторической точки зрения. Рассматривая ближе происхождение средневековой арабской культуры, которая одно время, несомненно, стояла выше европейской, — не говорю: западной, но даже во многих отношениях и византийской, — мы неизбежно приходим к тому выводу, что источник арабской культуры был все-таки, в конце концов, греческий. Завоеватели-арабы весьма быстро подчинились культурному влиянию эллинизированных областей Византийской империи, которые они подчинили своему политическому господству, и все развитие их собственной культуры произошло таким образом на греческой основе.

---

* Такое сопоставление читатель может найти на первой таблице карт, приложенных к моей книжке «Главные обобщения всемирной истории».

Многое из того, что было в этой основе позабыто Византией или отринуто, арабами было воспринято, и в истории средних веков был такой момент, когда мусульманская культура играла даже роль посредницы между западноевропейскою мыслью и греческим умственным наследством. Достаточно именно вспомнить, что в эпоху Возрождения на Западе философии (в форме так называемой схоластики) Аристотеля там изучали в латинских переводах, сделанных с переводов арабских, и с толкованиями арабских же ученых. Этот знаменательный факт свидетельствует также и о том, до какой степени в самой Европе в эту эпоху были разобщены в культурном отношении Запад и Византия, из которой только позднее, в эпоху так называемого классического возрождения, настоящий греческий Аристотель был впервые принесен на Запад.

Распадение единого исторического мира на три обособленных культурных мира

Рассмотренное разобщение романо-германского, греко-славянского и мусульманского миров было, конечно, регрессом по отношению ко всему предыдущему ходу всемирной истории, совершавшемуся совсем в ином направлении, именно в смысле сближения и объединения. На Востоке шла непрерывная объединительная работа истории: за Египтом и Ассирией, оспаривавшими между собою власть над сопредельными с ними странами, выступила Персия, которая на двести лет дала Востоку политическое единство; завоевания Персидской монархии Александром Македонским, а эллинистических царств, образовавшихся из его державы, Римом объединили историю Востока с историей Европы и в культурном, и в политическом отношении, и это объединение продолжалось около тысячи лет, — столько именно времени прошло от завоевания Александром Македонским Востока до перехода его под власть арабов, беря, например, моменты двух завоеваний Египта — Александром в 332 г. до Р. Х. и халифом Омаром[86] в 641 г. по Р. Х. Арабский халифат сыграл великую объединительную роль на средневековом Востоке, но за счет прежнего греко-римского объединения. Отторжение исламом в VII в. азиатских и африканских областей от христианства, как прямого наследника античной цивилизации, было умалением прежнего главного исторического мира. Правда, в Европе он расширился, включив в свой состав страны, ле-

жавшие за рейнско-дунайской линией, но зато здесь он распался на два отдела, между которыми культурные связи сильно ослабели.

Симптомами этого обособления были судьбы греческого языка на Западе и латинского на Востоке. В римскую эпоху истории античного мира установилось изучение греческого языка на Западе, как языка высшей культуры, а на Востоке латинский язык сделался вслед за тем языком официальных актов правительства, или государственным языком, как говорится в настоящее время. В средние века произошло падение греческого языка на Западе и латинского на Востоке, и разделение церквей нанесло особенно сильный удар культурному взаимодействию обеих половин Европы. Конечно, полного прекращения сношений между этими двумя половинами европейского, христианского мира не могло произойти, но они донельзя сократились и сузились, тем более, что сам Запад, если можно так выразиться, раскрошился на мелкие политические тела, и общие интересы совершенно отступили в них на задний план перед местными.

Культурный кризис в конце античного мира

Регресс был не в одном этом, но и в самом характере средневековой культуры. Уже в последние времена Римской империи общее направление духовной культуры античного мира было отклонением от того светского и научного направления, какое приняла греческая философская мысль, и от тех идей и методов, в которых выразился весь дух античной цивилизации, как первой во всемирной истории стадии постепенно совершающегося освобождения человеческого ума. Отклонение это происходило в такую сторону, что мы не можем не видеть в этом явлении возвращения всемирной истории к пережитым уже фазисам культурной эволюции, на которых остановился древний Восток, не видеть в нем, отклонении этом, влияния Востока с его мистицизмом и догматизмом на греко-римский мир. Распространение восточных культов в империи и религиозный синкретизм, о котором говорилось в конце предыдущего очерка, равно как отмеченное там же возникновение неоплатонической философии с ее особым интересом к древним мифам и многие другие однородные факты свидетельствуют нам о глубоком процессе, совершавшемся в греко-римском обществе, о процессе ослабления светской культуры, о процессе усиления культуры религиозной, а в этом-то и заключа-

лось возвращение к восточной по характеру своему цивилизации, в этом-то и состояло вторичное влияние Востока на европейский мир. Распространение и утверждение христианства придало этому культурному кризису лишь особую окраску, но не христианская проповедь к нему привела. Встреченное враждебно представителями античной культуры, оно само стало в неприязненные отношения не только к греко-римскому язычеству с его грубыми суевериями и безнравственностью, но и ко всей культуре, связанной исторически с этим язычеством. В эту последнюю эпоху истории античного мира, когда на него, так сказать, уже надвигалось средневековье с его исключительно религиозной культурой, во всей Римской империи литература, искусство, наука, философия светского характера все более и более падают и в чисто римской, и в греческой половинах империи, и все лучшие умственные силы уходят на служение церкви, в недрах которой образованность получила главным образом теологический характер, в народных же массах господствовали разные восточные суеверия, которых не в силах было истребить и само христианство. В самой церкви умственные силы направились скоро на разрешение превышающих человеческий разум догматических вопросов, что породило целый ряд ересей, а вместе с ними и страшные внутренние смуты, во время которых все более и более развивалась религиозная нетерпимость. В богословские споры стала затем вмешиваться и светская власть. Теологический догматизм мало-помалу сделал невозможным существование свободного исследования. С Востока же проник в греко-римский мир и аскетизм, сделавшийся в средние века главным принципом морали. Античный человек все цели своего существования полагал в земной жизни, но для аскетического взгляда земная жизнь должна была являться не чем иным, как приготовлением к загробному существованию, и это наложило свою печать на все средневековое миросозерцание. Оно было общим в Европе одинаково и Востоку, и Западу, и характеристика средневекового католицизма, которую мы дадим ниже, с успехом может быть обобщена и для понимания аналогичных культурных черт и в восточной половине Европы. Например, высшим продуктом умственной деятельности в средние века считается схоластика, только отрешившись от которой новая Европа двинулась вперед в области научного и философского мышления. Мы привыкли смотреть на схоластику как на исключительно западно-европейское историческое явление, но на самом деле с тем же самым умонастрое-

нием, которое породило схоластику, мы встречаемся и в Византии, и у арабов. Если что и давало последним перевес в средневековом культурном развитии, то это были черты, наименее свойственные настоящей, наиболее верной своим принципам схоластике, именно независимость мысли от внешних авторитетов и интерес к реальному миру. Эти две черты были особенно присущи греческому гению, и от возрождения их в новой европейской культуре пошло все то умственное развитие, которое привело к современным философским идеям и научным знаниям; средневековое же миросозерцание осуждало оба эти источника всякого движения вперед в области интеллектуальной жизни. Заслуга арабской цивилизации в том и заключалась, что в ней, кроме схоластики, развивались и положительные знания, бывшие в пренебрежении у византийцев, а тем более в Западной Европе.

Особенная важность западноевропейской истории

Выражаясь образно, главное русло всемирной истории, образовавшееся из слияния нескольких древних цивилизаций, было и широким, и глубоким, но мало-помалу оно стало, если в общем и не суживаться, то мельчать и вместе с этим разделилось на три отдельных русла. Который же, спрашивается, из этих трех рукавов великой реки, из этих трех сузившихся вследствие своего разделения течений, должен рассматриваться как главный рукав, как течение, заключавшее в себе всю будущность цивилизации? Ответ на этот вопрос может быть получен при самом беглом взгляде на судьбы трех средневековых культур, о которых шла у нас речь до сих пор в этом очерке. Арабская цивилизация была лишь блестящим эпизодом без прочного значения во всемирной истории: под ее влиянием совершалось культурное развитие целого ряда народов, которые оказались не в состоянии воспринять все то жизненное, что заключалось в арабской цивилизации ее блестящего периода, и в результате получилось то, что все мусульманские страны до сих пор находятся вообще на ступенях духовной культуры и социально-политического быта, на которых стояли царства древнего Востока и стоят Индия и Китай (между прочим, тоже бывшие в средние века затронутыми мусульманством). Нет, не здесь было главное русло всемирной истории. Оно не было и в средневековой истории Восточной Европы, которой даже пришлось испытать на себе мусульманское иго в лице наихудших пред-

ставителей из всех последователей ислама: в XIII в. установилось над большею частью Руси татарское владычество, в XIV в. под ударами турок пали балканские славяне, в XV в. и Византийская империя сделалась добычей этих азиатских завоевателей. Главным руслом всемирной истории в средние века оказалось западноевропейское развитие, которое на первых порах было как раз самым суженным и самым обмелевшим. Факт обнаруживается, однако, только в конце средних веков, когда Запад выходит из своего обособления и, отрешаясь от средневековых традиций, вступает на новый путь культурного развития. Открытие западными народами, в конце XV в., нового материка, Америки, и морского пути в Индию вокруг Африки, а в начале XVI в. и появление их кораблей на Великом океане полагают начало океаническому периоду всемирной истории, в котором Европа приобретает положение главенствующей части света на всем земном шаре. С другой стороны, в Западной Европе возобновляется к тому же времени давным-давно прерванная нить свободного развития в области жизни и в области мысли, причем передовые умы обращаются к изучению полупозабытой и даже сделавшейся совсем непонятной в средние века античной культуры, в которой они находят опору своим новым стремлениям. Наконец, в этот же новый период всемирной истории, в котором и мы живем, западноевропейская культура широко распространяется вне своих географических границ, все более и более подчиняя себе отдельные народы всего земного шара. В Европе культурные традиции Византии заглохли и иссякли, и те народы, которые под ее культурным влиянием приобщились ко всемирно-исторической жизни, живут теперь и развиваются в тесном общении с западной цивилизацией, все более и более делающейся поэтому цивилизацией общеевропейской. Так как, однако, эта цивилизация господствует и в Америке, и в Австралии и получает все большее и большее распространение в Азии и в Африке, то ей предстоит в будущем сделаться цивилизацией всемирной и общечеловеческой.

Я нарочно позволил себе забежать несколько вперед и мимоходом высказать мысли, которые получат более подробное обоснование и дальнейшее развитие в своем месте, чтобы этим беглым взглядом, брошенным на историю собственно нового времени, объяснить, в каком смысле из трех средневековых культур следует отдать предпочтение — с всемирно-исторической точки зрения — культуре западноевропейской. Пусть в начале средних веков история Запада получает ха-

рактер самого резкого регресса и в экономическом, и в культурном, и в политическом смысле, как абсолютно, так и по сравнению с тогдашней Византией, но в дальнейшем своем развитии западные народы, одно время остававшиеся также значительно и позади стран арабской культуры, опередили все остальные части исторического человечества. Поэтому и мы в общей характеристике средних веков, как особого большого отдела всемирной истории, должны преимущественно иметь в виду Западную, романо-германскую Европу. Если есть какой-либо смысл в фантастическом представлении истории человечества, как переселения «всемирного духа»* с каждым новым шагом его развития, из одного народа или из одной части человечества в другой народ, в другую часть, то мы можем сказать, что от греко-римского мира этот дух был воспринят именно Западною Европою, которая хранила его у себя до того момента, когда и другие части человечества сделались — своим предыдущим развитием — способными его воспринять.

Взаимные отношения мусульманского Востока и христианской Европы в средние века

Чтобы покончить с вопросом о трех культурных мирах средневекового периода всемирной истории, мы бросим еще взгляд на взаимные отношения этих трех миров за рассматриваемый период. Одним из наиболее крупных явлений средневековой истории нужно признать борьбу мусульманского Востока с христианской Европой. В этой борьбе, рассматриваемой с самой общей точки зрения, ислам был наследником прежних азиатских царств, стремившихся к завоеваниям в областях европейской культуры. Натиск Азии на Европу начался за пять веков до Р. Х. и в общем был натиском варварства на более высокую культуру с тех пор, как Европа стала опережать Азию в цивилизации. В V в. до Р. Х. греки отразили персидское нашествие, а с IV в., в македонскую и римскую эпохи, даже Европа господствовала в Азии. Однако у Римской империи здесь был опасный враг в лице Парфянского (позднее Ново-Персидского) царства, образование которого было азиатской реакцией против европейских культурных влияний. В византийские времена азиатское варварство усилило свой натиск на тогдашний цивилизованный мир, но Персидскому

* См. выше.

царству, которое стремилось расширить свои владения за счет Восточной Римской империи, положили конец арабы, которые, создав новую политическую силу в Азии, халифат, вместе с тем восприняли воинственную политику своих предшественников, персов, и еще более усилили натиск азиатского Востока на Европу и ее владения в самой Азии. В состав халифата вошли, как мы знаем, почти все бывшие римские владения в Азии и все без исключения римские провинции в Африке, но, не ограничившись этим, последователи ислама стали нападать и на Европу. В начале VIII в. они завоевали Испанию (711) и надолго в ней утвердились: только постепенно христиане отвоевали у «мавров» этот большой полуостров Южной Европы, и лишь в конце XV в. пало здесь последнее магометанское владение, Гренада.

Из Испании, в первой же половине VIII в., сделано было арабами нападение на Галлию, в которой уже сложилось государство франков, но здесь счастливые победители стольких стран и народов потерпели сильное поражение (732 г.)[87], и христианский мир на Западе был спасен от мусульманского завоевания. Но «сарацины» и после этого продолжали тревожить Западную Европу на островах и берегах Средиземного моря. После распадения монархии Карла Великого[88], бывшей восстановлением Западной Римской империи, они нападали на южное побережье Франции, где строили даже укрепления, нападали на Южную Италию и в своих набегах доходили до Рима, а в Сицилии и Сардинии им удалось даже утвердиться и на продолжительное время. То же самое происходило и с восточной стороны. В VIII в., бывшем эпохой борьбы между халифатом и Византией за обладание Малой Азией и Архипелагом, арабы подступали к самой столице Восточной империи, и ей грозила опасность быть ими захваченной.

Сначала Европе приходилось только обороняться, но с XI в. она делает попытку перейти в наступление. В середине XI в. западные рыцари отвоевали у сарацинов Сицилию и Южную Италию, и к этому же времени относится образование христианских государств на Пиренейском полуострове. Но самое замечательное событие эпохи — это крестовые походы, двухвековая (1096–1291) борьба христианской Европы с мусульманским Востоком, которая была уже наступлением Европы на Восток и потому имела громадное историческое значение во взаимных отношениях мусульманского и христианского миров.

Перед началом крестовых походов первенство в мусульманском мире — на развалинах великого халифата — перешло от арабов к

туркам. Новый народ завоевателей, сменивший арабов в политическом господстве, но не сумевший поддержать выработанной арабами культуры, был столь же опасен для византийских владений в Азии, как и арабы.

Опасность со стороны турок заставила Византию просить против них помощи у Запада, и это было одною из причин крестоносных предприятий романо-германского мира против мусульманского Востока. В крестовых походах в XII–XIII вв., как в сложном узле, переплелись отношения западноевропейские, византийские и мусульманские, и в этом заключается их всемирно-историческое значение. Непосредственной цели своей — отвоевания у неверных гроба Господня — крестовые походы не достигли, но они имели громадные политические последствия. Прежде всего, эта борьба расшатала Византийскую империю. Крестоносные ополчения одно за другим двигались через ее европейские владения, что оказалось для нее политически опасным. В первой половине XIII в. (1204–1261 гг.) Византийская империя даже переставала существовать, и на ее месте была основана западными крестоносцами так называемая Латинская империя. Разделенная в вероисповедном отношении на православный Восток и католический Запад, христианская Европа не обнаружила большой солидарности в борьбе с мусульманством. С другой стороны, крестовые походы усилили религиозный фанатизм турок, которые, в конце концов, отразивши сделанное на них нападение, с удвоенной энергией стали продолжать свой натиск на христианство. В эпоху крестовых походов наследниками турок «сельджукских» сделались в Азии турки «османские», которые, постепенно завоевав Малую Азию, в середине XIV в. утвердились в одном пункте и на европейском берегу Дарданелльского пролива. Отсюда ими было предпринято завоевание всего Балканского полуострова, который и сделался их добычей в XV в.: в 1389 г. пало царство Сербское, в 1453 г. завоеван был турками и самый Константинополь. В первой половине XVI в. турки подчинили себе и большую часть Венгрии, откуда долгое время грозили всей Средней Европе.

Таковы были в общих чертах взаимные отношения христианского и мусульманского миров в средние века. Западная половина Европы оказалась более счастливой, чем восточная: в то самое время, как падает последнее мусульманское владение в Испании, весь Балканский полуостров делается добычею мусульман, грозящих отсюда в следующем веке независимости центральных частей Европы.

Средневековые отношения в самом мусульманском мире

Бросим еще общий взгляд на средневековые отношения в самом мусульманском мире. Мы уже упоминали об образовании арабами великой мировой державы, превосходившей своими размерами даже античную Римскую империю. Арабам не удалось, однако, поддержать единство своего халифата, и он мало-помалу распался на отдельные части.

Нами было уже отмечено и то, что временно у арабов происходило с большим блеском чисто культурное развитие, но и оно было недолговечно. В общем арабы сыграли только роль культурных посредников, оказавших влияние на западноевропейские народы при посредстве своих испанских и сицилийских единоверцев. Не забудем, что арабам мы обязаны нашими теперешними цифрами (индийского, впрочем, происхождения), алгеброй, многими знаниями и открытиями в областях естествознания и медицины, наконец, тем возбуждающим значением, какое имела их философия для средневековой схоластики на Западе, в которой таились зародыши всего дальнейшего отвлеченного мышления в Европе. Эпоха арабского владычества в Азии и Африке была кратковременной, и место их с XI в. заняли турки, которые принесли с собою во всемирную историю лишь одно варварство. Таким образом, Азия с Африкой в мусульманском периоде в конечном подсчете результатов не прогрессировала, а регрессировала, и этою стороною своей истории Азия повлияла и на восточную половину истории — на Балканский полуостров, который только в XIX в. стал возрождаться к культурной жизни, на Венгрию, которая в XVI и XVII вв. тоже находилась под турецким господством, наконец, на Русь, точно так же долгое время бывшую под игом мусульманского народа, но уже не турок, а монголов.

Указание на монгольское иго приводит нас еще к одному важному перевороту в Азии, имевшему всемирно-историческое значение и, в частности, оказавшему громадное влияние на весь мусульманский мир. В XIII в. в Азии появился новый народ завоевателей, именно монголы, которые на несколько десятилетий объединили в одну большую деспотию чисто восточного характера громадную территорию, охватывавшую южную часть Сибири, Китай, Тибет, Среднюю Азию, Иран и большую часть Передней Азии, а в Европе почти всю восточную половину теперешней России. Это объединение в полити-

ческом отношении было очень непрочным, — менее даже прочным, чем арабское, — но важно было то, что большая часть монгольских завоевателей приняла магометанство: это, конечно, сильно содействовало его распространению в Азии. (Еще раз отметим, что ислам проник вообще и в Индию, и в Китай, стоявшие и в средние века как бы особняком и «в стороне от большой дороги всемирной истории»). В конце средних веков знаменитым Тамерланом сделана была новая попытка объединения Азии под властью монголов и на этот раз притом за счет турок, в это самое время создававших свою мировую державу, но эта попытка со смертью основателя второго Монгольского царства окончилась неудачей. Хотя в битве при Ангоре (1402 г.) монголы и одержали верх над турками, однако это имело лишь то значение, что отсрочило на некоторое время тот окончательный удар, который турки собирались нанести Византийской империи.

В числе стран, подпавших под монгольское иго, была большая часть Руси. Только в 1480 г. — за двенадцать лет до падения Гренады[89] — удалось ей окончательно сбросить с себя это иго.

Образование в средние века романо-германского и греко-славянского миров в Европе и их взаимные отношения

От отношений между христианской Европой и мусульманским Востоком переходим к образованию в самой Европе двух обособленных культурных миров и к их взаимным отношениям.

Мы уже упоминали, что еще в конце античной эпохи в Римской империи возникло разделение между эллинизированным Востоком и романизированным Западом. Распадение самой империи на две части в конце IV в. было как бы только политическим подтверждением культурного различия, а за культурным и политическим обособлением последовало и церковное, окончательно состоявшееся в IX–XI вв. В этот великий раскол христианства были втянуты и новые европейские народы, которые приняли свою веру или из Рима, или из Византии.

Хотя христианство и явилось как религия универсальная, общечеловеческая, но в нем рано образовались свои местные отличия, которые часто принимали национальный характер. Вообще религиозное чувство очень часто срастается с национальным патриотизмом, и принадлежность к известному вероисповеданию отождествляется

с принадлежностью к известной народности, особенно когда ей угрожает какая-либо опасность извне от иноверцев.

Борьба за веру отцов поддерживала национальность христианских народов, находившихся под мусульманским игом, как это было, например, в Испании или на Балканском полуострове. Вероисповедное различие поддерживало национальную отдельность поляков и русских в одном и том же государстве и разделило одну из славянских народностей на два враждебных народа — сербов и хорватов. Национальное начало, как начало самостоятельности коллективных личностей, представляемых отдельными народностями, само по себе не разрушает религиозного единства, но в западной церкви последнее было понято именно в смысле полного отрицания прав отдельных национальностей. В то время как в восточной церкви утвердился принцип, в силу которого священное писание и богослужение давались народу на понятном ему языке, римская церковь допускала и для того, и для другого лишь один латинский язык. С другой стороны, религиозное единство православного Востока мирится с существованием автокефальных национальных церквей, но этого в самом принципе не допускает римский католицизм.

Взаимные отношения церкви и государства в обеих половинах Европы тоже складывались в средние века различным образом. До IV в. христианская церковь существовала в языческом государстве, причем это государство преследовало церковь, а церковь протестовала против языческого характера государства, и это приводило к полному разъединению политической и религиозной областей. В IV в. Римская империя сделалась христианской, и церковь получила государственное значение, но взаимные отношения государства и церкви сложились впоследствии различно на Востоке и на Западе. В то время, как в Византии светская власть всегда стремилась к подчинению себе духовной и могла осуществлять свои стремления, в католицизме установились обратные отношения, и церковь стала главенствовать над государством. Различие объясняется сохранением в Византии единства и силы государства и, наоборот, падением их на Западе в эпоху варварских королевств и феодального раздробления.

После разделения Римской империи на Восточную и Западную все романизированные провинции западной половины сделались добычею разных германских племен, основавших здесь свои государства, откуда мало-помалу римская культура вместе с христианством в его

западной форме проникла и к тем германцам, которые оставались жить за Рейном и Дунаем. Несколько позднее на Византийскую империю стали нападать славяне, которым тоже удалось основать в некоторых ее областях свои царства, тогда как другая их часть, не переселяясь в пределы империи, тоже заимствовала их культуру с христианством восточного характера. В средние века и новое время в Западной Европе мы имеем дело с католическими народами романского и германского, отчасти и славянского корня, в восточной — с византийскими греками и с другою частью славян.

Романо-германский мир составил в Европе одно историческое целое, притом гораздо более объединенное, нежели другой мир, греко-славянский, в котором было гораздо меньше общей жизни, благодаря его большей географической разбросанности. В состав первого из этих двух исторических миров вошли из наций романских итальянцы, французы, испанцы и португальцы, из германских — немцы, голландцы, англичане и скандинавские народы, из славян — чехи, поляки, хорваты, из второстепенных же неарийских народностей — мадьяры и часть финнов. Что касается до политической истории Запада в средние века, то вкратце она сводится к следующему.

В V и VI вв. в отдельных областях Западной Римской империи образовалось несколько германских государств, из которых наиболее важное значение имели королевства вестготов в Испании, франков в Галлии, остготов, а после них лангобардов в Италии и англосаксов в Британии, причем из смешения пришельцев с романизированным населением большей части этих стран и произошли современные романские нации. Из всех этих государств наиболее важную роль играло франкское в истории Запада. Господство вестготов в Испании, а в Италии лангобардов, сменивших остготов, было непрочным, тогда как франки не только утвердились в самой Галлии, но постепенно распространили свою власть и вне этой страны. В конце VIII и начале IX вв. в состав Франкской державы входили, кроме основной ее области Галлии, часть Испании, Северная и Средняя Италия и Германия до Эльбы; вдобавок и самые западные славяне должны были подчиниться влиянию этой громадной державы, которая как бы снова восстановила всю Западную Римскую империю. Эта была знаменитая монархия Карла Великого. Существование ее, однако, было непродолжительно, и в середине IX в. она распалась на три национальных государства: Италию, Францию и Германию. Тем не ме-

нее эта империя снова объединила Западную Европу в одно целое, и восстановленная Западная Римская империя и впредь считалась не прекратившей своего существования.

Объединение западноевропейских национальных церквей под главенством папы в середине IX в. только еще более скрепляло это единство. Из всех государств, выделившихся в то время из монархии Карла Великого, главное значение получила Германия. В ее состав вошли на западе восточные области Галлии с их романским населением, на юге значительная часть Италии, на востоке западная окраина славянского мира, а кроме того, с середины X в. германские короли сделались «римскими императорами», сама же эта монархия стала называться Священной Римской империей германской нации. В период, следовавший за распадением монархии Карла Великого на Италию, Францию и Германию, на ее области начали нападать со всех сторон грозные враги: сарацины, норманны (скандинавы) и мадьяры. Последние тревожили Германию с востока и на ее границах основали свое королевство Венгрию, на месте, где уже возникло первое большое государство западных славян — Великая Моравия. Офранцузившиеся норманны Северной Франции в XI в. отвоевали у сарацинов Южную Италию и Сицилию, а кроме того, подчинили себе Англию, чем теснее связали их с остальным западным миром, Венгрия же, принявшая около 1000 г. католицизм, получила особое значение в жизни славянского мира, где тоже сделалась проводницею западных начал. Наконец, западная культура и, в частности, германское влияние распространились в эпоху крестовых походов по всему южному побережью Балтийского моря, где среди финских и литовских племен в начале XIII в. утвердились немецкие духовно-рыцарские ордена тевтонов и меченосцев. Вместе с германизацией самых западных славянских племен, полабских и поморских, шедшей из Священной Римской империи, это было началом непрекращающегося и поныне немецкого «напора на Восток» (Drang nach Osten). К западному же миру в эти времена примкнули возникшие около 900 г. скандинавские королевства: Норвегия, Дания и Швеция, принявшие католицизм между серединами X и XII веков. Шведы приобщили к западной церкви и культуре Финляндию, как поляки, тоже принявшие католицизм, — Литву.

В Восточной Европе история имела в средние века иной вид. Сделанная Византией в VI в. при Юстиниане Великом[90] попытка восста-

новить власть империи на Западе окончилась неудачею, и после завоевания лангобардами большей части Италии, отнятой Юстинианом у остготов, на Западе у Византии оставались лишь немногие части Италии, да и те были потом захвачены франками и сарацинами. В последующие века Византии самой пришлось отстаивать свои области в Европе от славян, массами вторгавшихся в пределы империи, селившихся в ней и даже основывавших там свои государства — Болгарское и Сербское, из которых сначала одно (в X в.), а потом другое (в XIV в.) овладевало большею частью Балканского полуострова. История Болгарии и Сербии, то представлявших из себя византийские провинции, то бывших самостоятельными государствами, тесно связана была поэтому с историей Византии; в XIV же и XV вв. как сама греческая империя, так и славянские государства Балканского полуострова были завоеваны турками. В культурном отношении Византия оказала громадное влияние не только на соседних южных славян, но и на живших далеко от нее славян восточных, т. е. на Русь. В то время как южные славяне политически и культурно примыкали к Византии, а восточные тоже подчинились ее культурному влиянию, западные славяне, как только что было сказано, вошли в сферу распространения культуры западной и в политическом отношении вступили в более тесные взаимоотношения с германским миром. Немецкий «напор на Восток» и борьба славян с германизмом составляют поэтому одну из важных сторон средневековой и новой их истории. Первое крупное славянское государство на Западе, Великая Моравия, принявшая из Германии католицизм, встретило вражду со стороны немцев, которые и призвали в IX в. против этой славянской державы мадьяров. Названный народ основал в пределах западнославянского мира свое королевство, Венгрию, расширив уже к началу XII в. его пределы до теперешних и подчинив западному влиянию территорию, на которой жили народности, уже приобщавшиеся к византийской культуре и даже отчасти временно находившиеся в политической зависимости от Константинополя (каковою была, напр., Хорватия).

Часть западных (и южных) славян вошла в состав Венгрии (словаки и хорваты); другая часть, именно полабские и поморские славяне, была завоевана Германией и германизирована, но двум западнославянским народностям — чехам и полякам — удалось основать самостоятельные государства. Чехия с самого начала государственного существования подчинилась Германии в качестве вассального

княжества и приняла христианство из той же самой Германии, так что, даже сделавшись королевством, продолжала входить в состав Священной Римской империи немецкой нации. В такие же отношения к германскому миру стала и Польша. Поляки приняли западное христианство и одно время тоже находились в вассальной зависимости от Германии. Первоначально Польша стремилась овладеть всем северо-западным углом славянского мира до самой Эльбы, но здесь она встретилась с немецким напором на Восток и стала потом сама распространять свои владения в восточном же направлении. Только пользуясь временным ослаблением польского государства, немцы и оказались в состоянии подчинить себе родственных полякам полабских и поморских славян и сильно колонизировать города самой Польши. Возникновение немецких духовно-рыцарских орденов на южном берегу Балтийского моря отрезало Польшу от моря и отнимало у нее нижнее течение ее главной реки, Вислы, а тевтоны и прямо даже завладели частью самой польской территории. Только соединение Польши в конце XIV в. с Литовско-русским государством значительно ее усилило и позволило ей вступить в более успешную борьбу с германизмом. Но по отношению к восточным соседям Польша играла всегда роль аванпоста католицизма.

Третью, самую восточную ветвь славянства составили племена, образовавшие из себя государство Русское. Хотя оно и возникло на великом водном пути «из варяг в греки», его первоначальная территория, отдаленная от главных культурных и политических центров Европы, была окружена с северо-запада, севера и северо-востока некультурными племенами литовскими и финскими, с юго-востока и юга — тюркскими кочевниками, затруднявшими сношения Руси с Византией, и только на Западе Русская земля соприкасалась с Польшею и Венгрией, перешедшими к государственному быту и принявшими христианство одновременно с нею. Крещение русских славян по восточному обряду, конечно, поставило их под культурное влияние Византии и старших в историческом отношении православных славян Балканского полуострова. У русских славян уже издавна существовали торговые сношения с Византией, с которою первые же их князья вели также войны, но господство на юге теперешней России разных кочевых народов очень мешало поддерживанию экономических, культурных и политических сношений с Греческой империей. Дело в том, что теперешние южно-русские степи были большою дорогою,

по которой с востока на запад, из Азии в Европу двигались кочевые народы. По этим степям с IV по IX–X вв. прошли гунны, громившие в V в. Римскую империю, авары, образовавшие в VI в. большое царство в Паннонии, мадьяры, явившиеся в тех же краях в IX в., хазары, налагавшие на славян тяжелое иго, печенеги, долгое время постоянно тревожившие южные окраины Руси, тюрки и половцы, в борьбе с которыми проходит весь XII в., пока в XIII в. на Русь не обрушивается монгольское завоевание. Так называемое татарское иго на два с половиной века устанавливается над Северо-Восточною Русью, тогда как юго-западная освобождается от татар лишь для того, чтобы войти в состав Польско-литовского государства, в котором получила перевес культура романо-германского происхождения.

Итак, восточно-европейский мир оказался в конце средних веков в таком положении. Южная его часть попадала под варварское иго, под каковым два с лишним века находилась и северная часть этого мира, освободившаяся от власти татар только в самом конце средних веков. Притом обе эти части были разобщены между собою кочевыми племенами, затруднявшими взаимные сношения между Русью и Балканским полуостровом. На Западе, в германо-романском мире не было ни этого разобщения частей, ни этого варварского ига. Дальнейший ход всемирной истории заключался в том, что варварский Восток стал отступать перед европейским Западом, — обстоятельство, имевшее между прочим свое значение и для судеб восточной половины Европы.

Очерк пятый
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Три источника средневековой западноевропейской культуры: античное наследие, христианство, древнегерманский быт

Мы рассмотрели, как первоначально разъединенные потоки культурного развития отдельных народов древности слились в одном общем русле античной греко-римской цивилизации; мы рассмотрели равным образом, как это русло само потом разделилось на три рукава, в каждом из которых главное течение истории должно было сузиться, хотя в то же время каждое из этих трех обособленных по-

токов так или иначе захватило целый ряд новых стран и народов; мы видели, наконец, что из трех параллельных культур, возникших на общей почве древнего мира, две оказались мало жизнеспособными, т. е. пришли к застою и упадку, и что только третья сделалась настоящим руслом дальнейшей истории всемирного прогресса. Вот почему я и посвящаю особый очерк этой третьей культуре средневековой эпохи, т. е. культуре западноевропейской, из которой возникла, в свою очередь, вся цивилизация нового времени, все более и более приобретающая мировое значение.

У этой культуры было три главных источника. Во-первых, это было наследие античной цивилизации, ближайшим образом наследие Западной Римской империи, в бывших провинциях которой, собственно говоря, и началось претворение античной культуры специально римского типа в средневековую. Во-вторых, это было христианство, которое пришло с Востока, но постепенно было воспринято Римской империей, само усвоило многие особенности романизма (как в Византии испытало влияние позднейшего эллинизма) и, начав распространяться среди германских варваров, сделалось великою духовною силою, объединившею население римских провинций и варваров, которые основали в этих провинциях свои королевства. В-третьих, это были вот эти самые варвары с теми новыми началами жизни, которые они принесли с собою.

Различие в понимании их взаимоотношений у разных историков

Взаимные отношения между этими тремя источниками, из которых вышло все средневековье в тесном смысле этого слова*, в разное время и разными историками понимались различным образом. Вообще переход от античного мира к средним векам всегда привлекал к себе особое внимание историков, перед которыми эта эпоха великого всемирно-исторического перелома, действительно, ставит в высшей степени важные и вместе с тем трудные задачи научного характера.

В разных философских построениях всемирной истории эта знаменательная эпоха гибели старого и зарождения нового получала

---

* Ср. выше.

весьма различное освещение, причем на первый план выдвигался то один, то другой, то третий элемент, т. е. или романизм, или христианство, или германизм. Распространение и утверждение христианства в Римской империи было, разумеется, великим культурным переломом, положившим свою печать на всю последующую историю Европы, — одинаково и западной, и восточной ее половин, — чем и объясняется известное сходство средневековой культуры и на Западе, и в Византии с ее преимущественно церковным характером, с ее схоластическими, аскетическими и мистическими ингредиентами, но не нужно забывать, что если новая религия и пришла в греко-римский мир извне, то во многом собственное развитие этого мира подготовило почву для ее восприятия, и что христианство в том его эллинизированном и романизированном виде, — в одном виде в восточной половине империи, в другом в западной, — в каком оно перешло в средние века и было принято варварами, само впитало в себя немало античных культурных элементов. Сами отцы церкви указывали в свое время на то, как Римская империя была постепенно подготовлена к принятию христианства и что церковь унаследовала все лучшие плоды старой образованности. Пока греко-римское общество резко делилось на язычников и христиан и пока между языческим государством и христианскою церковью велась неустанная борьба, — только до тех пор можно говорить о раздельном, так сказать, существовании античной культуры и христианства, а дальше началось взаимодействие и слияние. Когда Римская империя сделалась христианскою, а христианство — государственной религией Римской империи, когда все ее население стало мало-помалу признавать себя христианским, началось сближение, которое должно было дать в результате общую для всей империи христианскую уже, а не языческую, но тем не менее все-таки греко-римскую культуру, хотя в одних местах больше греческую, чем римскую, в других, наоборот, больше римскую, чем греческую. Многие историки указывали, что только в христианской своей переработке завещанная древним миром образованность могла быть усвоена варварами, и в этом есть доля истины, если принять в расчет, что приобщение к высшей культурной жизни, в средние века у всех варваров, т. е. у германцев, у славян, у мадьяров, у литовцев, у финнов, начиналось главным образом с принятия ими христианства.

С другой стороны, останавливаясь на взаимоотношении античного и варварского элементов, прежде всего, нужно отметить, что

многие историки слишком умаляли значение первого из этих элементов, римского, и, наоборот, слишком преувеличивали значение второго, германского[91]. Они готовы были выводить все особенности средневекового социального и политического строя и даже общего духа средневековой культуры из начал, принесенных с собою германцами. Особенно наблюдается склонность к такому толкованию перехода от античного мира к средним векам у немцев, по весьма понятной, впрочем, причине, что едва ли, однако, делает это толкование основательным. И чего-чего только не говорилось на эту тему! Германцы — не в фигуральном только, но и в буквальном смысле — влили новую кровь в жилы одряхлевшего человечества*, принесли с собою чувство личной свободы и чести в раболепную и развращенную империю, положили начало свободе на развалинах деспотизма античных цезарей и т. п. Посмотрите, говорят многие из них, на Византию с ее деспотизмом и культурным застоем: вот что было бы и с Западом, если бы его не обновили германские варвары. Кульминационной точки зрения достигло это прославление германского духа в знаменитой «Философии истории» Гегеля, в которой германский мир, возникший на развалинах Римской империи, является последним и окончательным воплощением «всемирного духа» в истории человечества. Конечно, менее фантастичны, но одинаково неверны воззрения и историков-германистов, которые выводят все средневековые учреждения Западной Европы, в частности же так называемую феодальную систему, из одних германских начал. Не нужно забывать, что германские варвары, пришедшие в страны высшей культуры, где уже существовали известные экономические, юридические и политические формы, не могли не подчиниться высшей культуре, не могли не приспособиться вместе с тем к этим формам. В сущности и в сферах хозяйства, права, государственной жизни между античными и варварскими принципами должно было начаться взаимодействие, т. е. германцы должны были до известной степени, насколько это оказывалось возможным по условиям места и времени, приспособляться в занятых ими областях к римским порядкам, а с другой стороны, они не могли при этом сами в тех или других степенях, опять смотря

* В философиях истории под человечеством часто следует разуметь одно население Западной Европы; конечно, такое словоупотребление не основательно.

по месту и времени, не оказывать изменяющего влияния на весь социальный быт провинций Римской империи, в которых они основали свои королевства.

С такой точки зрения средневековая романо-германская Европа является непосредственным продолжением Западной Римской империи, так сказать, осложненным, с одной стороны, возникновением в этой империи христианской церкви, с другой — поселением в отдельных провинциях этой империи разных германских народов. Не нужно, однако, думать, что все изменение, какому подверглась культурно-социальная жизнь в областях бывшей Западной Римской империи в рассматриваемую переходную эпоху, всецело объясняется извне принесенными в древний мир влияниями новой религии и новых народов. Многие черты средневековья, объяснение которых так и думается найти в специальном влиянии христианства или варварского быта, являются при более детальном изучении истории этой эпохи результатами внутреннего развития самой культурной и социальной жизни в провинциях павшей Римской империи. Конечно, не следует преувеличивать и эту сторону дела. Историческое развитие слишком сложно, чтобы можно было сводить его везде и всегда к одному началу и только к одной категории явлений. Если одни историки, желая особенно подчеркнуть значение того или другого фактора, говорят, что занятие варварами Римской империи до обращения ее в христианство сопровождалось полною гибелью цивилизации, и что без прихода варваров Европе грозил бы полный культурный застой, то другие, наоборот, готовы думать, что все факторы, создавшие культуру и социально-политический строй средних веков, уже заключались в самой Римской империи, и что потому ни принятие христианства, ни приход варваров не имели никакого существенного влияния на преобразование античной культуры в средневековую. Историки первой категории слишком упрощают объяснение того, как совершался в эту эпоху общий ход истории, смело решая вопрос о том, что было бы, если бы не было того-то и того-то: им можно только поставить на вид, что вообще на такие вопросы трудно давать вполне точные и верные ответы, и что, в частности, варвары приобщались к мировой культуре не через одну религию, но и посредством отношений экономического, политического и т. п. характера, и что сводить все объяснение византийского коснения к одному отсутствию в ней германского элемента значит сводить реальное явление к чисто отрицательной

причине. К тому же у Византии также были свои варвары, славяне, которые также ведь влили новую кровь в жилы старого населения Балканского полуострова и внесли в его жизнь новые начала, как это доказывается в настоящее время знатоками византийской истории. Равным образом и тем историкам, которые склонны отрицать всякое влияние на общий ход западноевропейской истории и за принятием христианства, и за приходом варваров, можно возразить, что они односторонне подчеркивают и преувеличивают в основе своей верную мысль о главенстве внутренних причин над внешними влияниями, но что как бы мы ни старались вывести средневековую Европу непосредственно из Римской империи, минуя влияния, шедшие со стороны христианства и германцев, мы не в состоянии отрицать фактов, говорящих нам о противном. Римская империя встретила христианство и германцев враждебно и вела с ними долгую и упорную борьбу, охраняя свои традиционные культурные и политические устои, свои границы и провинции от новой веры и от новых народов. Христиане и варвары считались врагами «рода человеческого», заключенного в пределах Римской империи, считались врагами именно со стороны защитников образованности и гражданственности античного происхождения, и постепенное внедрение в жизнь империи чуждых ее традициям начал, а потом и победа этих начал с торжеством христианства и разделом Западной Римской империи между германскими государствами не позволяют нам думать, что без новой религии и без новых народов культура и социально-политический строй средневекового Запада вышли бы совершенно такими же, какими мы их на самом деле знаем.

С точки зрения исторической планомерности, т. е. с точки зрения прямолинейного и непрерывного прогресса, на которой стояли в былые времена авторы философий истории, исторический процесс рассматривался как эволюция, совершающаяся исключительно из внутренних своих основ, условий и причин, как выполнение некоторого логического плана или осуществление единого общего закона. Только с такой точки зрения и позволительно было Огюсту Конту утверждать, что главные исторические явления — католицизм и феодализм — могут быть всецело объяснены из предыдущего момента всемирно-исторической эволюции, не нуждаясь нисколько ни во влиянии на Запад восточного монотеизма, ни во влиянии на римский мир варварского нашествия. Конечно, объяснить католицизм

исключительно из античных традиций без христианской его основы — вещь невозможная, но в объяснении феодализма без влияния германцев на его происхождение есть — при современном состоянии этого вопроса в науке — нечто заманчивое. Тем не менее думать, что в истории возникновения феодализма приход варваров в Римскую империю так-таки совсем уже ни при чем, едва ли научно. Столь же маловероятно иногда высказываемое теперь предположение, — и притом в очень категорической форме, — что средневековый строй с его основными и существеннейшими чертами выработали бы как германцы без всякой встречи с Римом, так и население империи без прихода в нее германцев. Это еще вопрос, и такой ответ на него не может быть назван иначе, как весьма и весьма гадательным, причем факт все-таки остается фактом, т. е. переход античного государства к средневековому феодальному строю совершился именно в королевствах, основанных варварами в пределах Западной Римской империи.

Был ли переход от античности к средневековью прогрессом или регрессом?

Даже становясь на ту точку зрения, что центр тяжести вопроса о переходе античности в средневековье находится не во внешних влияниях, а во внутреннем развитии, и тем более еще, конечно, принимая в расчет и значение внешних влияний, мы не можем не ставить вопрос, был ли этот переход прогрессом или регрессом. С точки зрения исторической планомерности, с которой прогресс совершается прямолинейно и непрерывно, рассматриваемый переход должен был быть шагом вперед, и в некоторых философских построениях истории дело представляется именно таким образом, но такое представление дела является скорее требованием теории, чем выводом из фактов. В действительности мы наблюдаем в эту эпоху полный упадок жизнедеятельности римского общества, упадок экономический, упадок культурный, упадок политический. Варвары были в нем повинны разве в том только отношении, что заставляли империю напрягать все свои силы для защиты своих границ, но это была не единственная причина общего упадка в сферах народного хозяйства, духовной культуры и государственной жизни. Империя беднела и политически разлагалась в силу внутренних причин, и не варвары только ее разо-

рили и довели до падения, хотя и нельзя отрицать, что приход германцев ускорил процесс истощения ее материальных средств и ее политического разложения.

В другом месте мы уже ставили вопрос, следует ли формулы исторического прогресса применять ко всему культурному развитию человечества, взятому в целом, или к отдельным народам, как самостоятельным историческим целым. Мы стали на вторую точку зрения, и в этом смысле нам нужно смотреть на средние века не как на дальнейшее продолжение прогресса, доведенного античным миром до известной высоты, а как на повторение того, что уже было, так сказать, проделано самим античным миром в первые времена его истории, так как культурный процесс, если можно так выразиться, теперь оборвался, и его пришлось начинать снова.

Современный спор об экономическом развитии древности и средних веков

В последние годы на отношение средних веков к античному миру были высказаны оба эти взгляда — в применении к экономическому развитию, совершавшемуся в Европе в древности, в средние века и в новое время. Я позволю себе здесь повторить об этом споре то, что уже было сказано мною в одной недавней книжке, посвященной античному миру*, потому что, рассматривая данный вопрос, мы лучше поймем, в чем заключался и даже чем обусловливался переход античной культуры в средневековую.

Главными представителями двух противоположных ответов на только что поставленный вопрос о том, продолжает или повторяет средневековая и новая Европа классическую древность в своем экономическом развитии, являются двое современных немецких ученых, экономист Карл Бюхер[92] и историк Эдуард Мейер. Первый из них создал новую формулу экономического развития, которую сам и применил к древности, средним векам и новому времени, как к отдельным моментам этого развития, но его историческое построение, основанное на указанной формуле, было встречено целым рядом возражений со стороны других ученых и особенно со стороны Эдуарда Мейера, автора одной из лучших в настоящее время общих историй

* См. выше.

древнего мира*. Бюхер высказал свои взгляды в сочинении «Происхождение народного хозяйства». Э. Мейер разобрал их в брошюре «Экономическое развитие древнего мира»**.

Посмотрим сначала, в чем заключается теоретическая формула Бюхера, правильности которой, как именно отвлеченной схемы, не отрицают и те, которые нападают на историческое построение этого ученого, т. е. на применение его основной идеи к истолкованию конкретной действительности. Бюхер исходит из самых основных понятий политической экономии, из понятий производства и потребления, ставя их в известное отношение между собою, как начального и конечного момента, между которыми путь, проходимый хозяйственными благами, может иметь разную длину и быть неодинаково сложным. Экономическое развитие состоит как раз в постепенном удлинении пути, который проходится хозяйственными благами от их производителей к их потребителям. Сначала продукты производства потреблялись самими же производителями, т. е., в сущности, никакого путешествия хозяйственные блага не совершали, но с развитием экономического быта продукты стали потребляться не теми людьми, которые их произвели, и между производителями и потребителями образовался более или менее длинный путь, которому соответствует экономическое понятие обмена. По мере развития экономического быта длина пути, проходимого хозяйственными благами от исходного момента, т. е. производства, до конечного, т. е. потребления, должна была постепенно увеличиваться, и самый характер движения по этому пути (т. е. обмена) — усложняться, начиная с простейшей формы обмена вещи на вещь и кончая очень сложным торговым обращением товаров и чисто денежных операций. С этой точки зрения Бюхер и различает три стадии экономической эволюции: ступень замкнутого, самодовлеющего домашнего хозяйства, ступень городского хозяйства и ступень народного хозяйства. Формулу Бюхера очень удобно применять к экономическому развитию отдельных стран, в которых сначала действительно, в каждом «доме» производится то, что им же самим и потребляется, потом возникает более сложная система местных обменов с «городскими» центрами, пока в общую хозяйственную жизнь, путем развития внутренней тор-

* «Государство-город античного мира».

** Оба эти сочинения существуют в русском переводе.

говли в целой стране, не втягивается и весь «народ». Сам Бюхер, однако, приложил эту общую формулу, по которой совершается экономическое развитие каждой отдельной страны, ко всему ходу истории передовой части человечества, т. е. из закона повторяющихся явлений он сделал нечто вроде плана однажды только совершившегося развития. Именно, у него вся древняя и значительная часть средневековой истории (до конца первого тысячелетия по Р. Х.) зачислена в период домашнего хозяйства, конец средних веков и отчасти начало нового времени отнесены к фазису хозяйства городского, и только последние столетия признаны находящимися на ступени народного хозяйства, как будто в древности существовал только «дом», сменившийся в средние века «городом», который в новое время уступил место «нации-государству» (прибавлю, что под понятие «дома», или по-гречески «ойкоса», подводится в данном случае и большое барское хозяйство).

Вот эту-то историческую конструкцию и подверг своей критике вместе с другими историками Эдуард Мейер. Он указывает, что Бюхером совершенно отрицается для всей древности и большей части средневековья существование правильного экономического расчленения общества с развитыми сношениями и живым обменом продуктов между всем населением, существование постоянной торговли и торгового класса как посредника между производством и потреблением. Действительно, Бюхер принимает замкнутое домашнее хозяйство как чистое производство на себя, как хозяйство без обмена, потому что здесь весь хозяйственный оборот, от производства до потребления, совершается в замкнутом кругу дома (семьи, рода), и каждый продукт проходит весь путь своего образования — от получения сырого материала до того момента, когда он делается годным для употребления, — в одном и том же хозяйстве и без промежуточных ступеней поступает в потребление. Правда, Бюхер находит в древности и зачатки второй ступени, т. е. хозяйства городского, которое характеризуется как прямой обмен, или непосредственное поступление продуктов из производящего хозяйства в потребляющее, но, по его мнению, дальше зачатков городского хозяйства древность и не пошла, о народном же хозяйстве в бюхеровском понимании термина и речи для древней истории быть не может. Возражая Бюхеру и его сторонникам, Э. Мейер совершенно верно указывает на то, что история народов, живущих у Средиземного моря, пред-

ставляет два параллельных периода, что с падением древнего мира развитие начинается сызнова, и что оно снова возвращается к тем первым ступеням, которые уже давно были пройдены. Свои средние века он находит и в древней Греции, причем им этому слову придается не хронологическое, а бытовое значение*: греческое средневековье — это «эпоха владычества аристократии, рыцарских подвигов и героической песни, когда землевладение со скотоводством и земледелием достигло полного развития». Потом Греция перешла в период развития промышленности и торговой деятельности и так называемого денежного хозяйства, — процесс, который потом повторили и народы Западной Европы в своей исторической жизни, начинающейся с очень низких ступеней экономического быта. Римская империя тоже в свое время совершила известную экономическую эволюцию, но, достигши в ней известной высоты, пошла назад и спустилась, так сказать, до низших ступеней хозяйственного развития. Как это и почему произошло, об этом здесь, конечно, не место распространяться: важно лишь отметить факт совершившегося на Западе экономического регресса, повлекшего за собою и культурный, и политический упадок. Экономическое развитие Запада всегда в древности отставало от экономического развития Востока и европейского, и азиатско-африканского, и сделанные им экономические успехи оказались менее прочными. В результате «домовое», натуральное, главным образом земледельческое хозяйство возобладало над хозяйством высших ступеней, промышленно-торговым и денежным, что повлекло за собою общее обеднение, упадок городов, ослабление культурной деятельности и расстройство государственной машины. Варвары, вторжения которых в провинции империи только усугубляли эти беды и которые сами способны были скорее только понижать общий тон жизни, с своей стороны, усиливали и ускоряли этот регрессивный перелом жизни, совершавшийся в провинциях Западной Римской империи. Падала образованность, падала и государственность, все более и более уступая место настоящему варварству. С другой стороны, какой характер должна была тогда принять духовная культура и без прихода варваров, это очень хорошо показывает пример Византии: варвары нанесли удар образованности в количественном отношении, качественное же перерожде-

* См. выше.

ние культуры совершалось под иными влияниями. Рассматриваемый с этой стороны культурный кризис античного мира заключался в победе исключительно теологической культуры над культурою светского характера. Это, повторяю, было одинаково и в восточной, и в западной половинах империи.

Деление западноевропейского средневековья на периоды

Западноевропейское средневековье охватывает целое тысячелетие — период времени, слишком длинный для того, чтобы в нем не различать отдельных крупных эпох. За начало средних веков, как всем хорошо известно, принято считать 476 год, т. е. год падения Западной Римской империи. Конечно, это делается только для удобства: античный мир с своей цивилизацией не умер еще окончательно к этому времени, и кто хочет рассказать его историю, должен скорее остановиться на тридцатых годах VI века, когда с закрытием языческих школ в Афинах и с составлением знаменитого Свода римского права (при Юстиниане Великом) завершился процесс развития греческой философии и римского права. С другой стороны, кто желает изучать историю германцев, основавших свои государства на развалинах Западной Римской империи в V и VI веках, тот волей-неволей обязан начать свое знакомство с этою историею в более ранние времена, потому что уже в I веке до Р. Х. римляне пришли в столкновение с германцами, и в «Комментариях» Юлия Цезаря[93], относящихся к середине этого века, сохранились первые сколько-нибудь ценные известия о быте племен, которым во второй половине IV в. по Р. Х. суждено было начать так называемое «великое переселение народов». В то самое время, как античный мир все еще живет, хотя и близясь к своему концу, начинается уже и новая жизнь, хотя и не вытесняя еще старой. Первый большой период, который можно выделить из средних веков, — это четыре столетия, протекшие от падения Западной Римской империи до эпохи Карла Великого (768–814): он именно и характеризуется борьбою римских и германских элементов, постепенным вымиранием старого или его видоизменением при новых условиях и постепенным развитием нового или его приспособлением к старым условиям быта. Только после Карла Великого и его ближайших преемников (IX в.) мы видим в полном блеске две наиболее характерные основы средневеково-

го быта — католицизм, который дал особую окраску всей духовной культуре Западной Европы, и феодализм, положивший особую печать на политический, юридический и экономический быт романских и германских народов. В этом втором периоде средних веков вся история вращается в рамках, созданных католицизмом и феодализмом, что позволяет нам из X, XI, XII и XIII веков сделать особый отдел средневековой истории: тут уже нет резкого антагонизма между римским и германским элементами, они приспособились один к другому, и результатами этого взаимного приспособления собственно и были католицизм и феодализм. Следующие два века, т. е. XIV и XV столетия, многими историками рассматриваются как переход уже к новому времени, особенно характеризующемуся именно разложением и падением средневекового католико-феодального строя жизни европейских народов. В эту эпоху совершается так называемое возрождение классической древности, обновление умственной деятельности на Западе под большим или меньшим влиянием знакомства с духовною культурою древних, а также происходят многие важные изобретения и открытия (порох, книгопечатание, Америка, морской путь в Индию и т. п.), которые имели громадные последствия для истории Европы. Обыкновенно год открытия Америки (1492) и принимается за конец средневековья.

Таковы хронологические пределы и внутреннее деление средних веков: первый период, обнимающий V–IX века, есть период смешения римского и германского элементов, которое дало в результате своеобразный, столь характерный для средних веков католико-феодальный строй жизни европейских народов; за этим «варварским» периодом, как называют его некоторые, следуют средние века в собственном смысле (X–XIII столетия), или католико-феодальная эпоха; наконец, XIV и XV вв. уже представляют переход к новому времени. Делая более точные хронологические обозначения, между 476 и 1492 гг., как крайними пределами средневековья, мы укажем на год распадения монархии Карла Великого (843)[94] и на год переселения папы из Рима в Авиньон (1308), как на границы между первым и вторым, с одной стороны, и вторым и третьим, с другой, периодами средневековой истории. Отсюда же явствует, что главными историческими явлениями средних веков мы должны признать католицизм и феодализм. Католическая церковь и феодальные учреждения не только положили особую печать на культурную и социальную жизнь

Западной Европы в средние века, но представляли из себя и то общее в ее жизни, что позволяет нам выделять средневековье в особый отдел истории и рассматривать во внутренней связи историю нескольких народов. Романские и германские нации Запада, а с ними часть славян и мадьяры составили в средние века, как мы видели, отдельный, совершенно обособленный исторический мир в Европе, который чувствовал свое единство и свою противоположность с другим христианским же миром в Европе, миром восточного христианства. И это обособление завершилось в начале второго периода западного средневековья.

Обособление Западной Европы как отдельного исторического мира

Мы видели, что основа разделения средневековой Европы на две обособленные одна от другой половины была положена еще в античную эпоху. Уже с самого начала средних веков связь Запада и Востока все более и более слабела, но Западу предстояло еще найти внешнее выражение и внутреннее обоснование своего обособленного от Востока единства. В 800 г. франкский король Карл Великий, соединивший под своею властью почти все старые провинции Западной империи и завоевавший Германию, возлагает на свою голову императорскую корону Рима. С другой стороны, в духовном отношении римский епископ постепенно делается средоточием западного христианства, стремясь в то же время освободиться от политического подчинения византийским императорам, в каком папы прежде этого находились по отношению к теоретически признававшимся и на Западе владыкам мира: восстановление в 800 г. западной империи[95] и порывает окончательно политические связи папства и Византии. Все это подготовляет и разрыв того церковного единства, выражением которого в IV–VIII веках были вселенские соборы: спор папы Николая I[96] и византийского патриарха Фотия[97], усложненный соперничеством восточного и западного духовенства в обращении славян и спорами по поводу разных догматических и обрядовых вопросов, производит в церкви схизму: с середины IX в. до середины XI в. обе церкви все более и более становятся во враждебные отношения, а затем происходит окончательный разрыв. С IX века все католические страны Запада составляют из себя особый мир, противо-

полагающий себя и мусульманству, с которым он соприкасался в Испании и Сицилии, и восточному, греческому христианству. В IX веке мир этот был таким образом уже совершенно обособлен, будучи в то же время объединен империей Карла Великого и возвысившейся властью римского папы, и в нем ясно обнаружились те особенности, которые характеризуют его историю в следующих веках, — особенности, явившиеся результатом взаимодействия старых, римских, и новых, германских, элементов, наполняющие все время до Карла Великого. С этой эпохи и начинается западноевропейское, романо-германское, католико-феодальное средневековье в собственном смысле.

Значение монархии Карла Великого

Образование монархии Карла Великого имеет громадное историческое значение. Зерном ее было королевство франков в Галлии, но Карл соединил под своею властью почти все европейские области Западной Римской империи, присоединив к ним, кроме того, и тогдашнюю Германию; только Британия, Испания за Эбро да Южная Италия из бывших римских провинций не входили в состав его государства. Это соединение разрозненных стран имело особое значение в то время, когда Западной Европе грозили разные вторжения. В 711 г. арабы завоевали Испанию, а в 732 г. вторгнулись в нынешнюю Францию, и только тяжелая рука Карла Мартелла[98], деда Карла Великого, спасла западное христианство от арабов; сам Карл Великий совершил поход в Испанию и против арабов заложил за Пиренеями Испанскую монархию. Германия была еще варварской и языческой; завоеванием ее и обращением в христианство Карл обезопасил западный мир с востока, и славяне, жившие в ближайшем соседстве с германцами, при своем выступлении на историческое поприще, должны были иметь дело уже с грозной державой. До известной степени Карл Великий подготовил Европу и к принятию норманнских вторжений: в начале X века норманны могли прочно утвердиться только на севере Франции, откуда в XI веке произвели завоевание Южной Италии и Англии, принесши в обе страны те формы быта, которые стали вырабатываться в монархии Карла. Правда, восстановленная им Западная империя в середине IX века распалась, но важно было хотя временное объединение и образование в ней некоторых общих форм быта в трех

главных ее частях (Германии, Франции и Верхней Италии), откуда эти формы стали переходить потом и в соседние страны. Объединяя Запад, монархия Карла по своей особой связи с церковью содействовала равным образом и его обособлению. Франки были первым народом германского племени, принявшим христианство (496 г.) не по арианскому учению. Предшественники Карла Великого содействовали папским миссионерам в Германии и даже отчасти расширению власти папы над епископами Галлии. Когда папу в Риме стали теснить лангобарды, отец Карла, Пипин Короткий[99], не только защитил его, но, отвоевав от лангобардов целую область, подарил ее папе, а потом и сам Карл, подчинив своей власти королевство лангобардов, подтвердил дар Пипина. Далее, папы давно стремились порвать связи с Византийской империей, и возложение Львом III[100] на голову Карла императорской короны уничтожало последние признаки власти византийского императора на Западе (утверждение пап), а Карл, в свою очередь, содействовал признанию папской власти во всех областях своей обширной империи. Все, что входило в состав монархии Карла или примкнуло впоследствии к объединенному и обособленному ею миру, таким образом нашло свой духовный центр в Риме, и идея о том, что западно-христианский мир имеет две главы — императора и папу, сделалось одною из основных идей западноевропейского средневековья.

Таково значение монархии Карла Великого: она объединила и обособила Запад, объединила его романские и германские нации для отражения внешних врагов и распространения западной культуры, обособила его от Востока, завершив процесс, происходивший в варварскую эпоху, и подготовив совершенно новый порядок вещей. Империя Карла распалась при его внуках, и раздробление ее пошло очень далеко, но западный мир продолжал сознавать свое единство, втянув в это единство через католическую церковь и Священную Римскую империю, перенесенную в середине X века на немецкую нацию, и такие страны, как Чехия, Венгрия, даже Польша. Феодализм, который выработался в отдельных частях распавшейся в IX в. монархии Карла, сделался одною из основ средневекового быта и переносился потом и в другие страны (например, завоевание Англии норманнами, жившими перед тем полтора века во Франции, завоевания крестоносцев на Востоке в эпоху крестовых походов, германское влияние в Чехии и т. п.).

После распадения империи Карла Западная Европа представляется нам духовно объединенною, но политически раздробленною. Духовным главой этого мира становится папа, но в теории власть его дополняется светскою властью «римского» императора, как наследника древних цезарей, господина мира, распространителя христианства, защитника церкви, и сама империя превращается в идеальное дополнение церкви. Это разделение властей и независимость духовной власти от светской составляют особенность Запада. Политическое раздробление выразилось в феодализме, в котором императору отводилось место лишь главы целой иерархии независимых или стремившихся к независимости владельцев. Власть Карла Великого, как преемника национальных вождей франков и наследника римских цезарей, покоилась и на германских, и на римских понятиях; в католицизме и феодализме выработался уже новый взгляд на императорскую власть: папы готовы были превратить императора в приказчика римской курии, светские владельцы стремились ограничиться одним номинальным признанием этой власти. До Карла Великого римские и германские элементы не были еще, так сказать, прилажены одни к другим, и сама администрация его монархии была странною смесью германской дружины и римской бюрократии; но с IX века в жизни утверждается новая система управления. Римская централизация окончательно и на долгое время уступает место процессу, который распределил власть между аристократией. Желанием Карла Великого было поставить государство выше церкви и аристократии, но после падения его империи церковь стремится превратиться в независимую духовную монархию, аристократические элементы высвобождаются из-под подчинения государственной власти. Империя делается какой-то фикцией: у императора является опасный соперник в лице папы; его сила находится в зависимости от повиновения аристократии. Равным образом, и национальная власть короля изменяется в своем характере там, где произошло феодальное раздробление: король уже не представитель и вождь нации, как у германцев, не носитель государственного принципа с абсолютною властью, как в Риме и в тогдашней же Византии, а верховный глава иерархии герцогов, графов, баронов. Развитие католицизма и феодализма похоронило под развалинами монархии Карла Великого и власть его преемников, заставив ее приспособиться к новому общественному строю, издавна

подготовлявшемуся и выступившему наружу тотчас же после того, как пала эта монархия.

Средневековый социально-политический быт и феодальная система

Таким образом, в эпоху Карла Великого западный мир не только объединился и обособился, но и закончил выработку тех форм быта, которые отличают его от Византии: там церковь была в подчинении у государства, и аристократические элементы не играли политической роли. В этом социальном строе Запада был залог политической свободы, ибо государство не было всемогущим, и власть в нем не была абсолютной. Но зато на Западе у духовенства возникло стремление подчинить себе государство, превратив светских правителей в простых ставленников главы церкви, а аристократия стала стремиться разложить государство, отождествляя его чуть не с каждым крупным поместьем. Мы и перейдем теперь к общей характеристике второго периода средних веков, когда католицизм и феодализм достигли наибольшего своего развития.

Католицизм и феодализм представляют из себя два наиболее выдающихся на Западе культурно-социальных явления средних веков. Первый был, так сказать, силой центростремительной, второй — силой центробежной. Католицизм объединял нации Западной Европы под властью римского епископа в одно громадное целое, феодализм раздроблял их на множество мелких политических организмов. Католицизм, давая народам Европы целое миросозерцание, охватывавшее все вопросы мысли и личной жизни, имел в то же время свою особую политику, сводившуюся к учению о подчинении государства церкви, свое особое право, известное под названием канонического, и создавал особое привилегированное сословие, клир. У феодализма были также свои идеи, своя политическая система, свои юридические нормы, свое привилегированное сословие — дворянство. Высшее проявление нашли обе эти силы, одна — в монахе-аскете, другая — в рыцаре-воителе. Оба общества, церковное и светское, живя рядом, умели и соединяться между собою, несмотря на противоположность своих принципов. Такое соединение мы видим, например, в монашеско-рыцарских орденах, образовавшихся в эпоху крестовых походов: члены этих братств были в одно и то же время и монаха-

ми, и рыцарями. Сами крестовые походы были как бы результатом совокупного действия обеих названных сил: цель этих грандиозных войн была поставлена католицизмом, они велись по инициативе и с благословения церкви, средства же для их ведения доставлены были феодальной системой, военным обществом феодальных господ. Мало того, феодализм вторгается даже в самую церковь: епископы и аббаты не были только духовными лицами, занимавшими известное место в церковной иерархии, во главе которой стоял папа, но стояли, кроме того, на разных ступенях феодальной лестницы, будучи чьими-либо вассалами и сами имея вассалов, владея землями и людьми. Одним словом, духовная и светская системы, католическая и феодальная, переплетались между собою, и это придавало всему строю жизни своеобразный характер. Обе эти стороны средневекового западноевропейского быта заслуживают отдельного рассмотрения по своему значению в истории культуры и социально-исторического строя той части европейских наций, которые в новой истории стали во главе прогресса цивилизации. Мы увидим при этом, чем западноевропейское средневековье отличается от античного мира, и лучше потому поймем, какие изменения произошли в жизни Европы в новое время.

Варвары пришли в Римскую империю с совершенно другими задатками политического быта, чем те, из которых развилась античная городская община. Собственно говоря, первобытные учреждения и греков, и римлян, и германцев представляют много аналогий, но вследствие различия в исторических судьбах этих трех ветвей арийской расы, ход развития их первоначальных учреждений был далеко неодинаков. У всех названных племен в начале их истории мы находим, так сказать, общую систему политического быта: единого главу государства, совет старшин и собрание всего народа. Образование такого государства везде происходило путем объединения более мелких социальных групп, и первое различие, которое мы видим между классическими народами, с одной стороны, и германцами, с другой, заключается в том, что у первых такое объединение на первых порах не пошло далее городской общины, или государства-города, не распространилось на целую нацию, тогда как у последних весьма рано возникли более крупные политические союзы, нежели государство-город, именно государства-нации. Еще во времена Тацита[101] (в I в. по Р. Х.) мы совсем не встречаем в Германии тех боль-

ших национальных союзов франков, бургундов, лангобардов и т. д., которые позднее переселились в пределы Римской империи, но в эпоху падения последней именно такие союзы и выступают на сцену истории. Таким образом совокупность германских племен весьма рано становилась способной превращаться в государство-нацию, чего никогда не могла достигнуть совокупность городских общин античного мира, знавших только одну форму объединения — союз городов под гегемонией одной какой-либо общины или, что было уже исключением, в форме равноправной федерации автономных общин. Причины такого различия были весьма многочисленны и разнообразны, и влияние указанной германской политической формы на то, что нашли варвары на новой почве, т. е. на муниципальный быт и на устройство империи, имело громадное значение, так что история средних веков не может считаться в политическом отношении простым продолжением древней. Правда, германские государства пережили потом период разложения на феодальные владения, но идея национального государства не умирала в течение всех средних веков.

С другой стороны, развитие городской жизни в Греции и Италии не только задержало национальное объединение, но и послужило также препятствием развитию власти государя. Тенденции всякой городской общины по самому существу своему республиканские, и мы, действительно, видим раннее исчезновение царской власти в городовых государствах античного мира, и только, например, в Македонии, где племенной быт никогда не был вполне вытеснен городским, древние цари сохранились и в историческую эпоху. Таким же образом сохранилась королевская власть и у германских народов, хотя и изменялась в своем характере под влиянием воззрений церкви, идей римского права и развившегося уже на почве средневековой Европы феодального строя.

При уничтожении царской власти в городах Греции и Италии особое развитие получило во многих городах, хотя и не сразу, народное собрание, в котором участвовали все члены государства. Первоначально и германцы имели подобные веча, но по мере образования крупных политических тел все затруднительнее и затруднительнее становилось посещение общенародных собраний, так что мало-помалу они должны были прекратить свое существование. Только позднее средневековая Европа выработала новую, не известную древ-

ности форму участия населения в управлении, именно представительную систему, которая резко отличает политический строй новой Европы от непосредственного народовластия античных республик: в эпоху феодального строя почти в каждом западном государстве старинные непосредственные собрания всего народа уступили место представительным собраниям земских чинов.

Обращаясь к классам населения, мы находим также аналогии между классическими народами и германцами в начале их истории. Троякое деление народа на знатных, простых свободных и ниже их стоящий класс (полусвободных) есть один из первоначальных фактов, с которыми мы встречаемся и у греков, и у римлян, и у германцев. Но в дальнейшей истории эти народы пошли различными путями. У классических народов, как известно, происходил процесс демократизации государства, но он не дал прочных результатов, и Римская империя были абсолютной монархией, в которой главное социальное значение принадлежало классу крупных землевладельцев. У германцев знать ранней эпохи исчезает весьма скоро, уступив место королевской дружине: развитие королевской власти естественно должно было возвысить эту новую аристократию в ущерб старой, и это возвышение дошло в некоторых странах до того, что новая знать не только поработила народ, но даже раздробила между собою королевскую власть, превратив короля только в «первого между равными». При городском быте было бы невозможно образование такого сословия, каким было средневековое феодальное дворянство, каждый член которого, будучи крупным землевладельцем и господином подвластных людей, урывал себе и клочок государственной власти. Только в германском негородовом государстве, при сохранении королевской власти, окруженной дружиной, при падении народных собраний, при населении, разбросанном по деревням, и могла развиться такая аристократия.

Вот, в общих чертах, в чем заключается различие между политическим развитием классических народов, с одной стороны, и германцев, с другой. Понятно, что в своем развитии германские учреждения должны были испытать сильное влияние со стороны римских в том виде, как они существовали в эпоху падения империи, и сами оказать влияние на последние. Германские учреждения не могли сохраниться во всей чистоте и развиваться только из собственных основ, равно как и не в состоянии были совершенно вытеснить учреждения рим-

ские. И из последних те, которые были более способными к жизни, должны были приладиться к новому порядку вещей или получить новое значение.

Целые века прошли прежде, нежели сколько-нибудь определенно установились политические отношения средневековой Европы, прежде, нежели произошло полное слияние старого населения областей империи с пришельцами, прежде, нежели выработалась своеобразная система, которая надолго утвердилась в Европе, и следы которой чувствовались на всем складе ее жизни даже в новое время. Когда, наконец, система эта установилась, политический строй Европы сделался окончательно непохожим ни на государственный быт древности, ни на первоначальный государственный быт германцев. Католико-феодальная система, характеризующая средневековый быт, была в сущности отрицанием государства, как мы его понимаем: над ним выросла власть церкви, обнаружившей явное стремление превратить Западную Европу в теократию; под ним вырос целый общественный слой, показавший не менее явное стремление высвободиться из-под государственной власти и превратить каждое частное поместье в самостоятельное политическое тело. Фиктивная Римская империя, восстановленная Карлом Великим, всемогущая католическая церковь, слабые национальные короли, своевольные феодальные владельцы, в число которых попали и епископы с аббатами, пирамидально-иерархический строй общества феодальных сюзеренов, вассалов, подвассалов, спускавшихся целой лестницей до последнего крепостного, — вот характеристика политического быта средних веков со всеми его несообразностями: римским императором был немецкий король, которого в Рим иногда совсем не пускали; духовный глава церкви в качестве как бы высшего государя распоряжался королевскими коронами; национальный король признавался иногда только за «первого между равными»; феодалы титуловались в своих владениях «Божиею милостию»; выделившееся из остального общества духовное сословие насчитывало среди своих членов немало феодальных владельцев, и члены феодальной иерархии были в одно и то же время господами и подвластными, господами одних и подвластными других. Объяснить происхождение этой путаницы — задача нелегкая, но тут всегда нужно помнить, что источники всего того, с чем нам приходится иметь дело в истории средних веков, заключаются либо в наследии древности, либо в том,

что принесли с собою германцы, либо в идеях и учреждениях церкви, и что ни один из этих элементов не развивался, не подвергаясь влиянию других.

Установление феодализма было непосредственным результатом внутреннего разложения государств, образовавшихся из монархии Карла Великого, но в сущности отдельными своими сторонами феодализм восходит ко временам Римской империи и древнегерманского быта. Крупные поместья (латифундии) в Западной Европе ведут свое начало еще из эпохи Римской империи, и уже тогда в этих крупных поместьях стало развиваться мелкое хозяйство прикрепленных к земле крестьян (колонат). Когда германцы заняли провинции империи, они очень быстро освоились с таким поземельным устройством, причем их первоначальная сельская община пришла в упадок. Благодаря тому, что варвары сами еще не занимались промышленностью и торговлею, в их государствах землевладение получило первенствующее значение, раздача же королями, вместо жалования за службу, государственных земель в частное владение (бенефициев) только увеличила и без того большое количество крупных землевладельцев. С другой стороны, уже в римскую эпоху и свободные люди, не имевшие земли, и мелкие собственники искали покровительства сильных и богатых землевладельцев, нередко передавая им свое имущество. Государственная власть боролась тогда с таким стремлением в народе, но после падения империи, в эпоху смут, это стремление только усилилось. Развившаяся в то время отдача себя мелкими людьми под защиту и опеку знати (коммендация) была только продолжением старого обычая, но она имела и другой источник — в дружинных отношениях самих германцев, потому что и здесь один человек поручал себя другому, становился его «верным» или служебником (вассалом). Наконец, еще римские императоры последних времен начали уступать некоторые из публичных прав крупным землевладельцам, возлагая на них обязанность собирать налоги или поставлять солдат, наблюдать за порядком и наказывать за мелкие проступки. Надобность в такой передаче некоторых обязанностей государственных чиновников помещикам только усилилась при варварских королях, и так называемый иммунитет, т. е. изъятие отдельных поместий из ведения государственных чиновников лишь завершил процесс, начавшийся еще в римскую эпоху. Таким образом, при империи уже были как бы зародыши феодальных сеньe-

рий в виде крупных поместий с зависимым населением и с судебно-административною властью помещиков. При варварских королях эта система могла только развиваться, потому что германский быт мог лишь содействовать дальнейшему развитию и крупного землевладения (раздачею бенефициев), и частной опеки помещиков над свободным населением (необеспеченностью личности), и расширению их власти (по неумению варваров отличать частные отношения от государственных). Германцы смотрели на всякую уплату налога, как на признак несвободы, а потому не хотели сами платить налогов, чем лишали казну доходов; кроме того, и на каждого платящего оброк за землю они смотрели, как на утратившего личную свободу. С другой стороны, в германской дружине выработались отношения зависимости, которые по германскому взгляду приличествовали и свободным людям и которые легли впоследствии в основу вассальной службы.

Экономическую основу феодализма составили крупные поместья, получившие значение замкнутых «домовых»* хозяйств, при страшном упадке обрабатывающей промышленности и торговли на Западе в эпоху падения Римской империи. Землевладение сделалось главною основою политической власти, и государство все более и более разлагалось на мелкие замкнутые организмы феодальных сеньерий, этих поместий-государств средневековой эпохи. Варварские короли оказались не в состоянии поддерживать римскую государственность, и собственная власть их все более и более ослаблялась. Во франкском государстве короли, как было уже упомянуто, вознаграждали за государственную службу раздачею земель из своих имений, бывших прежде казенною собственностью империи, и тем подрывали материальную основу своей силы, так как получали доходы лишь из своих имений. Графы, как назывались чиновники, управлявшие областями, за свою службу получали земли, т. е. происходило соединение государственной службы и землевладения, причем владельцы очень скоро обнаружили стремление обратить и эти земли, и свои должности в наследственные. Им удалось достигнуть того и другого. Раз должность графа делалась наследственною, граф из простого правителя области становился ее князем, и государство распадалось на столько же княжеств, сколько в нем было графств. Вместе с тем такими же

* См. выше.

самостоятельными правителями делались также и вообще крупные землевладельцы. Короли сами помогали такому превращению землевладельцев в своего рода государей. Вследствие общего расстройства управления они изымали некоторые поместья из ведения своих чиновников и предоставляли самим землевладельцам поддерживать порядок и творить суд в их поместьях. Наконец, сами же короли, чувствуя свое бессилие ограждать слабых от своеволия знати, начали требовать, чтобы каждый неимущий или малоимущий делался «человеком» какого-либо господина. Результатом всего этого и было установление феодализма, сущность которого сводится к следующим трем признакам.

Во-первых, страна, где устанавливался феодализм, распадалась на множество мелких владений, из которых одни были больше, другие — меньше, одни были настоящими княжествами, другие более походили на поместья, и владельцы которых пользовались правами, принадлежащими обыкновенно государям. Во-вторых, эти владения в одно и то же время были и как бы настоящими государствами, и как бы простыми только поместьями. Власть феодального владельца была властью государя-помещика или помещика-государя. Кто был покрупнее, тот больше походил на государя, кто — помельче, тот скорее напоминал помещика, но в обоих случаях в одном лице совмещался и государь, и помещик. В-третьих, все эти государи-помещики и помещики-государи становились одни к другим в определенные отношения. Более мелкие владельцы искали защиты и покровительства у более крупных, а те желали иметь у себя побольше таких подчиненных союзников, которые могли бы им оказывать помощь. Поэтому феодальные владельцы заключали между собою договоры, в силу которых более мелкие владельцы делались вообще вассалами более крупных, а эти последние становились их сеньерами (сюзеренами). Так как вассальные владельцы могли сами быть сеньерами по отношению к другим (т. е. у вассалов могли быть свои вассалы), то феодальные владельцы как бы располагались на разных ступенях своего рода лестницы власти и подчинения.

Эта сложная политическая система была возможна только при социальном господстве землевладения, при преобладании земледелия в экономической жизни общества, при существовании лишь натурального хозяйства. Едва только в конце средних веков началось накопление капиталов, развитие промышленности и торговли и внед-

рение в экономическую жизнь денежного хозяйства, как феодализм стал идти на убыль. Пока в силе были экономические условия, приведшие к феодализму, городская жизнь была очень слабо развита, и сами даже города подпадали под власть феодальных владельцев. Что касается до сельского населения, то оно в феодальную эпоху находилось в крепостной зависимости, — состояние, бывшее в сущности продолжением колоната времен Римской империи.

Я остановился здесь несколько подробнее на процессе возникновения феодализма и на его сущности по двум причинам. Во-первых, на примере феодализма мы можем видеть, что в первой половине средних веков на Западе происходил настоящий экономический и политический регресс, приводивший общество и государство к крайнему раздроблению на мелкие, замкнутые и самодовлеющие группы, к тому, что на социологическом языке носит название дезинтеграции. Во-вторых, феодальное устройство сделалось отправным пунктом всего дальнейшего экономического и политического развития Западной Европы, которое состояло в возникновении и усилении торгово-промышленной деятельности и денежного хозяйства, в переходе социального значения от поместий к городам и в объединении феодальных сеньерий в большие государства.

Общая характеристика средневекового католицизма

Остановимся пока на этом в изображении социальной эволюции Запада и перейдем к рассмотрению другой основы его культурного быта, особенно в областях миросозерцания и личной жизни, т. е. католицизма.

Католицизм в средние века был не только вероисповеданием, но целой культурной системой, охватывавшей все проявления личной и общественной жизни. Папство представляло из себя элемент, связывавший отдельные нации в одно целое, духовной столицей которого был Рим, а богослужебным и письменным языком — латинский. Католицизм поддерживал идею Римской империи, глава которой считался таким же господином западного христианства в делах светских, каким папа был в делах духовных, и эта империя носила титул «священной». Католицизм имел свою иерархию, распространявшуюся на все страны Западной Европы, свою политическую доктрину, учившую о превосходстве церкви над государством, свои церковные

суды и церковное право, существовавшие рядом с правом и судами светскими, свою финансовую систему разных налогов в пользу церкви, свою официальную философию, основанную на авторитете традиции, свою этику, заключавшуюся в проповеди аскетизма, свой монастырский тип общежития, свои духовные братства и свои школы. Если самым основным стремлением феодализма было раздробить государство на мелкие политические тела в пользу власти помещика, стремлением католицизма было превратить Западную Европу в обширную теократию и сделать из римского первосвященника верховного вождя общества. Феодализм был посягательством на внешнюю, телесную свободу человека в закрепощенных народных массах, католицизм стремился подчинить себе человека внутреннего, духовного. Церковь действовала при этом, впрочем, не одними духовными средствами: напротив, она все более и более превращалась в учреждение «от мира сего».

Весьма рано духовные лица делаются крупными землевладельцами, потом, как мы видели, членами феодальной иерархии, имея сами и земли, и вассалов, и крепостных. В качестве только духовных лиц они, кроме того, пользовались большими доходами от правильных налогов и добровольных приношений в пользу церкви со стороны паствы.

Церковь, другими словами, оспаривала у феодального мира некоторым образом власть над обществом и боролась с ним его же оружием.

Такое положение церкви в средние века объясняется двумя главными явлениями, с которых начинается история средневековья, т. е. падением Римской империи и приходом варваров. На Востоке, где уцелела абсолютная власть императоров, невозможно было такое развитие внешнего могущества церкви: здесь последняя стояла лицом к лицу с сильным государственным авторитетом, покровительство которого обеспечивало ее собственную победу над язычеством и ересями и который, имея за собой блеск исторической традиции, ревниво оберегал свои прерогативы. Иное мы видим на Западе: империя падает, но церковь сохраняет свою организацию; империя распадается, но церковь укрепляет свое единство; на место древних императоров появляются варварские короли, а к ним духовенство не может чувствовать прежнего почтения, считая себя призванным их воспитывать, сдерживать, направлять. Варвары вообще заменили

прежнюю светскую власть новою, но духовная власть осталась старая, прочная своей организацией и сильная своими традициями. При наплыве германцев духовенство явилось единственным представителем образованности, единственным защитником старого населения империи, единственным воспитателем пришельцев. Вся духовная культура древности, уже находившаяся в полном почти упадке, словно обречена была погибнуть в море варварства: одни только духовные лица остались сколько-нибудь образованным сословием, и понятно, что они должны были придать своей образованности церковный, теологический характер. Феодальное раздробление нанесло большой удар государственной власти, но оказалось неспособным окончательно дезорганизовать церковь. Падение городской жизни, военные нравы феодалов, политическое, юридическое и экономическое порабощение массы устраняло возможность появления каких бы то ни было соперников клира в духовном руководстве обществом. И в смутные времена феодальной анархии духовенство все-таки вносило некоторый порядок в общественную жизнь. Само вступая в ряды феодальных владельцев, оно, кроме своей материальной силы, пользовалось еще силой моральной, кроме феодальной организации, имело еще и другую, более прочную, более централизованную, более сложную и более прочную: у него был единый глава — папа, а не фиктивный император не существующей на самом деле империи; у него была целая система сношений со всеми странами Западной Европы, целая армия монахов, громадная паства, которою оно и управляло от имени Бога.

XI, XII и XIII века представляют из себя эпоху, когда католическая система достигла высшей точки своего развития. Никогда папство не выходило на такую высоту, как в период между Григорием VII[102] (1073–1085) и Бонифацием VIII[103] (1294–1303); это и было время грандиозного католического предприятия средневековой Европы — крестовых походов (1096–1291), образования духовно-рыцарских орденов и папской милиции нищенствующих монахов, схоластической философии и политической теории, проповедовавших подчинение церковному авторитету и человеческого разума, и светской власти. На предыдущие века мы можем смотреть как на эпоху подготовления католической системы, на XIV и XV века — как на эпоху, когда началось ее падение. До XI века папству еще нужно было хлопотать об окончательном подчинении своей власти епископов, о своем

высвобождении из-под светского авторитета римских императоров и своеволия римских баронов, прежде нежели получить возможность высказываться и действовать так, как действовали и высказывались Григорий VII, Иннокентий III[104] и Бонифаций VIII, провозглашавшие прямую зависимость светской власти от духовной, возводившие на престол и низлагавшие государей, распоряжавшиеся тронами и народами.

Начало XIV века видит падение папства: собранные в 1302 г. Филиппом IV Красивым[105] генеральные штаты Франции провозглашают независимость французской короны от папы; по их стопам идет английский парламент, который при Эдуарде III[106] отказывается платить в Рим дань, наложенную на королевство подчинением папе Иоанна Безземельного[107] (1215); собрание немецких князей в Ренсэ объявляет, что избранный ими король не нуждается в папском утверждении (1338). Мало того: один из ближайших преемников Бонифация VIII под влиянием французского короля переселяется из Рима в Авиньон, где папы в течение большей части XIV в. находятся в знаменитом «вавилонском пленении». Наоборот, в XI, XII и XIII веках церковь почти из каждой борьбы выходит победительницей и из каждой победы извлекает новую силу. Великий реорганизатор католицизма, Григорий VII, внесший большую строгость в нравы клира, привязавший его еще более к исключительному служению интересам церкви посредством установления безбрачия, сумевший освободить выборы на папский престол от посторонних влияний, открывает собою эпоху борьбы папства и империи, наполняющую конец XI, XII и первую половину XIII века. Из этой борьбы преемников апостола Петра и преемников римских цезарей победителями выходят первые. Но и не с одними императорами Священной Римской империи ведется эта борьба: время от времени силу папской власти чувствуют на себе и другие короли, осмеливающиеся не повиноваться наместникам Бога на земле.

Одновременно папы торжествуют победу и над человеческой свободой в вопросах веры: на юге Франции в конце XII века проявилось еретическое движение альбигойцев и вальденсов; в первой половине XIII века крестовый поход со всеми ужасами религиозных войн фанатической и варварской эпохи подавляет это движение и восстановляет потрясенный авторитет церкви. И на Востоке папство одерживает в ту же эпоху новую победу: крестоносцы четвертого похода завоевы-

вают на время Византию (1204), где учреждается Латинская империя, и под впечатлением этого крупного успеха для подчинения иноверной Руси замышляется крестовый поход. Если бы осуществились все честолюбивые замыслы папы, Европа превратилась бы в обширную теократию: государи сделались бы приказчиками римской курии; отдельные нации должны были бы утратить свою индивидуальность в универсальной папской монархии; вне официальной доктрины католицизма не могло бы существовать никакого самостоятельного решения вопросов теоретической и практической мысли, частной и общественной жизни. Отлучение от церкви, бывшее равносильным объявлению вне закона, инквизиция, посылавшая непокорных умирать на кострах, крестовые походы со всеми ужасами дикой расправы подавили бы всякую оппозицию против церкви, господствовавшей над государством, против католического единства, отрицавшего национальный принцип, против учения, вне которого не было и не могло быть истины. Понятно, что при таком положении, какой занял католицизм, важные вопросы жизни не могли решаться вне всякого отношения к церкви, и подобно тому, как история феодализма, так сказать, наполняет собою одну сторону средневековья, другая его сторона наполняется историей католицизма. И замечательно, что католицизм достигает наивысшей точки своего развития почти в то самое время, как и феодализм. Равным образом и падение католицизма и феодализма совершается параллельно: оба постепенно разлагаются в одно и то же время, и их одинаково разрушают постепенно, с одной стороны, государственный принцип, воплотившийся в королевской власти, с другой, принцип индивидуальной свободы, нашедший и соответственные органы для выражения и осуществления своих стремлений.

Коротко говоря, полное торжество католической системы, — если бы она осуществилась в действительности в том виде, в каком существовала в теории, если бы, другими словами, в западноевропейском обществе не было таких элементов и таких стремлений, которые противодействовали этому, — было бы равносильно возвращению Западной Европы к тому началу, которое было господствующим на древнем Востоке, к началу теократическому. Этого начала, как мы видели, была чужда античная цивилизация, и в ее преимущественно светском характере заключается ее отличительная черта сравнительно и с древним Востоком, и с европейским

средневековьем. Религия, как мы уже говорили, не играла у древних греков и римлян той роли, какая ей принадлежала на Востоке: она не развивалась у них в целую догматическую систему, которая составляла бы все теоретическое миросозерцание человека, лежала бы в основе его этики, освящала бы все его общественные учреждения, как раз навсегда установленные свыше, и вообще подчиняла бы себе мысль, чувство и волю отдельных членов общества. Только в эпоху падения классического мира в египетской Александрии, где столкнулись идеи Востока и Запада, возникла так называемая неоплатоническая философия, имевшая много общего с религиозными системами азиатских культурных народов. Только в эпоху императора Диоклетиана[108] явилась в самой Европе попытка дать власти и государству теократическую основу, опять-таки под влиянием восточных воззрений. Античный мир был свободен от догматизма религиозной традиции, застывшей в неизменной форме и охватывавшей собою все подробности частной и общественной жизни. В средние века рядом с светской философией, основанной на самостоятельной деятельности разума, появилась теология, основанная на авторитете и стремившаяся подчинить себе всякое знание; рядом со светским правом возникло право церковное, или так называемое каноническое, которое охватило собою многие чисто гражданские отношения; рядом с государством, как учреждением мирским, явилось учреждение религиозное — церковь.

Античный мир не знал этого дуализма философии и теологии, светского и церковного права, государства и церкви, столь характерного для средневековой истории. Идеалы классического мира были диаметрально противоположны идеалам средневековья. Свободный культурный человек в античном мире был прежде всего гражданином государства и высоко ценил политическую жизнь, тогда как средневековый монах, в котором воплотился идеал католической Европы, видел в государстве царство дьявола и безусловно подчинял его церкви. В античном мире были пытливые исследователи окружающей нас природы, в чем монах видел, напротив, нечто суетное и греховное, допуская философию только в качестве прислужницы богословия (ancilla theologiae). В античном мире люди полагали все свои радости в земной жизни, для монаха же она была только царством греха и юдолью печали: настоящий хороший человек должен был бросать все, что привязывало к этому миру. Та-

ким образом, средние века в Европе были эпохой самого резкого дуализма: на одной стороне были жизнь духа и умерщвление плоти, воздыхание о небесном отечестве и данное свыше откровение, церковь, как божественное установление, и богословие, как единое истинное знание, на другой — греховная жизнь плоти и угождение мирским страстям, привязанность к ложным радостям мира и призрачная человеческая мудрость, основанное людьми государство и вздорная светская ученость. Словом, средневековая католическая система была учением о превосходстве духа над телом, религиозного учреждения над мирским учреждением — государством, откровенной истины Слова Божия над всеми знаниями человеческого разума и, как результат всего этого, о главенстве духовного сословия над мирянами. «Как дух превосходит тело своим достоинством и значением, — говорит, напр., св. Бонавентура[109], — так власть духовная выше власти светской». — «Мирской человек, — поучает св. Дамиан, — как бы ни был он благочестив, не может быть сравниваем даже с несовершенным монахом: золото, хотя и с примесью, драгоценнее чистого олова». — «Обязанность каждого христианина бежать из мира», — прибавляет св. Бонавентура. — «Гиппократ[110], — говорит св. Бернард[111], — учит сохранять тело, Иисус Христос — губить его. Мне говорят: это вредно для желудка, а это — для груди. В евангелии, что ли, или у пророков читали вы эти вещи? Это плоть нашла такую мудрость, а не божественный дух. Пусть стада Эпикура[112] заботятся о своем теле; что касается до нашего Божественного Учителя, то он научает презирать здоровье». — «К чему наука христианам? — спрашивает св. Дамиан. — Разве зажигают фонарь, чтобы видеть солнце? Оставим науку Юлианам Отступникам. Св. Иоанн[113] обходился без нее, св. Григорий[114] ее презирал, св. Иероним[115] упрекал себя в ней, как в преступлении». — «Древние, — проповедует Петр Достопочтенный[116], — блистали в литературе, искусствах и науках: к чему послужила им эта образованность? Когда Истина воплотилась, она отвергла их образованность. Пусть замолчит человеческое чванство, когда заговорило слово божественное!» — «Что такое жизнь человеческая, — говорит Hugo de Sancto Victore[117], — как не путешествие? Мы — путники и только проходя видим этот мир. Если на пути мы встречаем незнакомые вещи, то есть ли смысл отдать себя в их власть и своротить со своей дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя науке: неосторожные прохожие, они забывают

цель своего путешествия, они не направляются к своему отечеству». Понятное дело, что при таком взгляде самая обширная литература была церковная; в университетах главным факультетом был богословский, а профессорами — клирики. Конечно, и область науки была тесно ограничена, так как изучение внешнего мира считалось пустым занятием, да и в той ограниченной области духовного, в которой вращалась наука, она не была свободна: мысль человека не имела права делать самостоятельные изыскания, ей давались готовые решения, которым она должны была подчиняться. Вообще теология должна была отвращать человечество от пагубных идей, и в ее опеке, по мнению представителей средневекового миросозерцания, философия только и могла найти единственное верное руководство, так что целью этой философии было подкрепление доводами разума положений веры.

Место средних веков в истории прогресса

Какой же общий вывод остается нам сделать о характере западноевропейского средневековья в истории прогресса? Из того факта, что это самое средневековье подготовило все прогрессивное развитие новой истории, следует заключить, что оно не прошло бесследно в общем ходе всемирной истории, но это не значит, что в средние века на Западе не было сильного регресса, который, действительно, и выразился в сфере экономической и политической победою замкнутого, натурального хозяйства и феодального партикуляризма, а в сфере духовной культуры — в повороте к восточному типу цивилизации с сильным ослаблением вообще умственной жизни. Мы едва ли ошибемся, сказав, что самым мрачным столетием в жизни европейского Запада в средние века был X век, время наибольшего экономического и культурного упадка. Во всяком случае, в первом периоде средних веков Запад сравнительно с Византией и мусульманским миром страшно отставал и в материальной, и в духовной своей культуре. Но, с другой стороны, к концу средневековой эпохи, наоборот, уже к Западу начинает переходить первенство в общем прогрессивном развитии человечества: значит, опустившись очень низко в первую половину средних веков, Запад очень высоко поднялся во вторую, и, следовательно, в его истории мы имеем дело с некоторым совершившимся прогрессом.

Любопытно, что все прогрессивные движения нового времени принимали характер протеста против всего считавшегося специально средневековым. Возрождение и Реформация были своего рода возвращением к античной образованности и к первобытной церкви. «Просвещение» XVIII столетия стало также в резкую оппозицию ко всему «готическому», как принято было в то время называть специально средневековые явления. Только в XIX веке, при развитии исторической науки, началась всесторонняя оценка средних веков, впадавшая иногда даже в противоположную крайность у писателей романтического и реакционного направления. Несомненно одно то, что в средние века совершался прогресс, хотя и медленный, хотя и не всегда резко бросающийся в глаза: для этого стоит только сравнить состояние Европы к концу средних веков с тем, в котором она была в действительно мрачную эпоху IX и X веков, когда западное общество стояло чуть не на самой низкой степени развития, на какой только может находиться общество, уже жившее историческою жизнью. Это было, как известно, время анархии, закрепощения масс, общественных бедствий, самого мрачного невежества, самого глубокого варварства; недаром ожидали со страхом 1000 года по Р. Х., как конца мира. Если Западная Европа не только вышла из этого состояния, но даже опередила все другие страны мира, это указывает на то, что общество прогрессировало. Мы можем даже перечислить, что выработало западноевропейское средневековье для последующей истории. Здесь возникает, прежде всего, совершенно новая организация государства. В древности мы видим принцип непосредственного народовластия, но он был возможен только в маленьких городовых республиках и был совершенно неприложим к крупным политическим телам; средние века выработали систему представительства, сделавшуюся характерным признаком новейшего западноевропейского государства. В древности, далее, за исключением краткого периода демократической эволюции, личность поглощалась в государстве, а теперь одной стороной своего бытия человек уже не принадлежал всецело государству и не оставался по отношению к нему бесправным: в области религии светская власть утрачивает античный абсолютизм, а в феодальном быте была та хорошая сторона, что хоть некоторая часть общества имела известные права по отношению к государственной власти, нарушение которых даже разрывало связь между сюзереном и вассалом. Античный мир

пал, не уничтожив рабства; прекращение его в Европе совершилось в средние века, когда рабство заменилось крепостничеством, более мягкой формой юридической и экономической зависимости, да и сама эта зависимость к концу средних веков начинает исчезать в наиболее опередивших другие странах. Древность выработала только одну форму объединения народов — всемирную монархию, налагавшую железное ярмо на самостоятельное бытие отдельных народов: средневековые нации разрушают аналогичные попытки папства и империи. Нечего уже и говорить о том, что в духовной культуре застоя не было: образование, правда, окончательно падает в первую половину средних веков, но во второй возникают университеты, зарождается философия, хотя и не дававшая много знаний, но поддерживавшая пытливость человеческого ума и нередко приводившая человеческую личность к эмансипации от неподвижной традиции.

XIV и XV столетия были временем большой умственной деятельности. Средние века были периодом крупных массовых движений: за великим переселением народов следует другое, меньших размеров — норманнские нашествия; крестовые походы, восстания городов и деревень были также движениями массовыми; гуситство[118] в XV в. в этом отношении повторяет само французское альбигойство[119] XII и XIII вв. Но в первый период средних веков эти движения не имели еще принципиального характера, который им, наоборот, сообщает более развитая жизнь конца средних веков. Крестовые походы стоят посередине: движением руководит идея, но идея эта не имеет в виду какой-либо общей реформы существующей культуры, как мы это видим в более позднее время. Как раз именно эпоха крестовых походов была переломом в средневековой истории, началом более заметного прогресса в жизни. В эту именно эпоху городовой быт достигает известной степени развития, благодаря оживлению торговли и промышленности, возникают университеты, происходит философский спор номиналистов и реалистов, ощущается влияние арабской образованности, появляется первая крупная оппозиция католицизму, возникают национальные литературы и т. д. Сравните только Европу перед 1000 годом с Европой 1300 г., чтобы увидеть всю разницу и убедиться в том, что за периодом падения, говоря фигурально, кривой прогресса снова начался ее подъем.

Очерк шестой
ПЕРЕХОД ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

Отношение нового времени к средним векам

Новое время находится в ином отношении к средним векам, чем средние века к античному миру. Во-первых, в противность тому, что было в начале средних веков, когда общее русло мировой цивилизации разделилось на три рукава, в начале нового времени совершается не обособление, а, наоборот, объединение истории — и притом на более широкой арене. В древности главным культурным морем было Средиземное, в средние века к нему прибавились еще два новых, тоже «средиземных» моря — Немецкое и Балтийское, но как древность, так и средние века одинаково находятся еще в морском периоде всемирной истории. С открытием в 1492 г. Америки, а в 1498 г. морского пути в Индию начинается океанический период всемирной истории, и он-то именно составляет новое время, т. е. последние четыре столетия, XVI–XIX века. Во-вторых, средние века являются началом истории новых европейских народов, которым суждено было потом играть главную роль в всемирной истории. Они пришли, так сказать, на смену грекам и римлянам, история которых кончилась, а с ними кончилась и целая цивилизация, кончился античный мир: переход от античного мира к средним векам есть в известном смысле перерыв всемирной истории, такой же перерыв, какой существует при переходе от Востока к Греции и Риму. Только в этом последнем случае мы переходим из одной части света в другую, а в первом — лишь от одних народов к другим. Напротив, средние века и новое время — это главным образом история одних и тех же народов, одного и того же культурно-исторического типа, одного и того же, а не разных миров. Здесь, другими словами, не было никакого перерыва, ни конца одного развития, ни начала другого, что наблюдается при переходе от античного мира к средним векам. Напротив, это лишь два периода в одном и том же развитии. В-третьих, если даже и принять, что перерыв истории при переходе от античности к средневековью имеет лишь условный и относительный смысл, и что, в конце концов, средние века все-таки вышли из античного мира, то и здесь большая разница между обеими рассматриваемыми переходными эпохами. Мы видели, что в общем переход классической древности

в католико-феодальное средневековье было регрессом, т. е. упадком и в экономическом, и в культурном, и в политическом отношении. Совсем не то приходится сказать об отношении перехода от средних веков к новому времени. Здесь мы имеем дело, наоборот, с историческим развитием прогрессивного характера. То, что было уже один раз совершено античным миром, в особенности Грецией, опять повторилось в истории Западной Европы как в области экономического, так и в областях культурного и политического развития и именно в новое время. Разумеется, в новой истории все это получило и более широкие размеры, и более глубокое значение, но суть дела заключается в одном и том же, т. е. в развитии промышленности и торговли, в развитии чисто светской культуры и в развитии общественной самодеятельности.

Отмечая, в чем заключается разница в отношениях, какие можно установить, во-первых, между древностью и средневековьем, а во-вторых, между этим последним и новым временем, я особенно хочу здесь отметить, что в новое время история получает действительно всемирный характер в буквальном смысле и что вместе с этим та цивилизация, которая имеет право рассчитывать на универсальное значение, делается все более и более светской. В обоих отношениях на новые пути двинута была история Западной Европой, которая в одну и ту же эпоху вышла из своей средневековой обособленности и стала отрешаться от своих средневековых католико-феодальных форм, положила начало океаническому периоду всемирной истории открытием Америки и морского пути в Индии и возобновила культурное развитие чисто светского характера.

Вступление всемирной истории в океанический период

В настоящее время не подлежит сомнению важное для истории разных сторон жизни значение развития торговых сношений между отдельными странами и открытия новых для них путей. Многие важные перемены экономического характера в истории отдельных стран и целых культурных миров и сопряженные с экономическими изменениями перемены культурные и политические часто находят свое объяснение в замене одних коммерческих путей другими. В древности громадное значение имело, как мы не раз уже упоминали, Средиземное море, и именно южные страны Европы, прилегающие к этому

морю, подобно западным берегам Малой Азии и Сирии и северным Африки, были втянуты в тот торговый обмен, которым занимались на этом море сначала финикийцы, потом греки. Недаром здесь же образовалась и Римская империя. В средние века к этому великому Средиземному морю на юге Европы, как тоже у нас уже упоминалось, прибавились два меньших «средиземных» же моря на севере: Немецкое между берегами Британии, Священной Римской империи и Скандинавии и Балтийское между теми же Германией и Скандинавией, с одной стороны, и польскими, орденскими и русскими владениями, с другой. Торговое значение сохранили не только те страны, которые лежали у Средиземного моря, но приобрели его также и те, которые примыкали к морям Немецкому и Балтийскому. Мало того: торговля выдвинула в Европе и разные материковые местности, лежавшие на удобных путях от этих северных морей к южным. Таков, напр., был в Восточной Европе великий водный путь «из варяг в греки», из Балтийского моря по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру Ильменю, Ловати, верхнему течению Западной Двины к Днепру и Черному морю до самого Царьграда. Известно, какую роль этот торговый путь сыграл в основании Русского государства. Подобные же пути существовали и в Западной Европе, где аналогичную роль играли Сена и Рона, Рейн и Дунай. В Германии в средние века торговля обогатила целый ряд городов, лежавших по Рейну и по Дунаю и посредничавших между Севером и Югом. К этой же эпохе относится процветание на севере Ганзейского союза, на юге — развитие морского значения Венеции и Генуи, позволившего им играть видную роль и в политике. Так было во второй половине средних веков. Открытие Америки и морского пути в Индию в конце XV в. и завоевание турками Египта в начале XVI в., затруднившее торговые сношения Европы с Востоком, перевернули все прежние отношения. Старые моря утратили свое былое первенствующее значение, и при этом одни страны с перемещением путей выиграли, другие проиграли. Первенство от Венеции, Генуи, ганзейских городов и городов по Роне, Рейну и верхнему Дунаю перешло к странам, имевшим свободный выход в Атлантический океан, сначала к Португалии и Испании, потом к Голландии и Англии, не говоря уже о важных внутренних изменениях, произведенных в Европе расширением торговых сношений. Нации, которые в средние века играли более крупную политическую роль, должны были уступить место другим, значение которых, наоборот, раньше было второ-

степенным. Но особенно важно было то, что океанические пути, во-первых, сблизили Европу с такими странами, сношения с которыми раньше были крайне затруднительны, а во-вторых, открыли для колонизации и торговли европейских народов целые новые материки.

В первом отношении особенную важность имело открытие водного пути в Индию вокруг Африки. Еще в глубокой древности установилось несколько торговых путей между странами, окружавшими Средиземное море, с одной стороны, и Индией, с другой, а именно морем из Персидского залива к западному ее берегу, для караванов от Черного и Каспийского морей в бассейны Окса и Яксарта и верхнего Инда. Открытие морского пути облегчило сношения с Индией западноевропейских народов, которые и стали в ней заводить в XVI в. свои фактории и колонии. В середине XVIII в., в эпоху распадения образовавшейся здесь в XVI в. мусульманской империи Великих Моголов, Индия сделалась легкою добычею для завоевания, к которому стали одинаково стремиться и французы, и англичане. Победа, в конце концов, осталась на стороне англичан, и в XIX в. уже вся Индия вошла в состав Британской колониальной империи*.

За Индией очередь пришла и для Китая, вообще стоявшего особенно далеко от главного всемирно-исторического процесса, потому что и с ним в XVI в. европейцы стали завязывать торговые сношения. Морской путь в Индию (и Китай) сделался одним из проводников европейского влияния в разных отношениях на Дальний Восток.

С другой стороны, благодаря путешествию Колумба на запад через Атлантический океан (в поисках все того же морского пути в Индию) открыт был целый материк Нового Света, а позднее еще один материк, Австралия. Оба они с многочисленными островами на всех океанах сделались собственностью европейских народов, которые заселяли здесь целые обширные страны, основав целый ряд колоний, превратившихся впоследствии в самостоятельные государства европейского же, конечно, типа.

Все это действительно знаменовало выход Западной Европы на широкую мировую сцену из прежней средневековой замкнутости и обособленности. Испанцы и португальцы, после них голландцы, ан-

* Таким образом Индия трижды входила в единение с остальным миром: в персидско-греческую эпоху в древности, в мусульманско-монгольскую эпоху в средние века и в эпоху западноевропейской колониальной политики в новое время.

гличане и французы в XVI и XVII вв. положили начало колониальной политике, которая превзошла размерами и значением колониальную политику финикийцев и греков в древности. В этом новом повторении того, что уже раз было сделано в древнем мире, место небольших государств-городов заняли крупные государства-нации, место Средиземного моря — три громадных океана, Атлантический, Индийский и Великий, место прилегавших к Средиземному морю стран — целые материки.

Цивилизаторская и колонизаторская роль, какую на Средиземном море играли греки, теперь выпала на долю европейских народов. Достаточно вспомнить в первом отношении очень прочное подчинение европейской культуре, какому во второй половине XIX в. подверглась Япония, а во втором — образование в Америке такого культурного государства европейского типа, каким являются Соединенные Штаты.

Новое экономическое развитие Европы

Не менее отразилось развитие торговых сношений и на внутреннем экономическом развитии самой Европы. Мы уже касались формулы Бюхера*, по которой вся древность и почти все средние века были временем господства натурального хозяйства, когда в пределах одного домового хозяйства или в пределах одной феодальной сеньерии изготовлялись предметы, необходимые для собственного потребления. Вернее, как мы видели, та мысль, что процесс экономического развития дважды начинался в странах, окружающих Средиземное море, и что натуральное хозяйство начала средних веков было как бы возвращением назад от более уже подвинувшегося вперед внедрения денежного хозяйства в экономическую жизнь древнего мира, т. е. в римскую эпоху уже была достигнута несколько более высокая ступень, чем та, на которую спустились средние века. Более решительным, однако, образом стало развиваться в Европе денежное хозяйство лишь при переходе от средних веков к новому времени, хотя в помещичьих усадьбах и в крестьянских дворах оно продолжало господствовать вплоть до XIX в., в котором быстрый рост обрабатывающей промышленности и удешевление ее продуктов стали и в деревнях вытеснять старые хозяйственные формы. Характерная

* См. выше.

особенность денежного хозяйства — изготовление продуктов не для непосредственного потребления, а для продажи. Впервые в Финикии стала систематически заводиться разнообразная промышленность для вывоза, а потом промышленность для вывоза товаров в более отсталые страны развилась и в греческих городах, особенно в Милете, в Афинах, в Сиракузах и т. д., где она находилась в руках отдельных ремесленников или более крупных предпринимателей, имевших целые заведения с рабами и рабынями, как подневольной рабочей силой. В общем в эпоху Римской империи, как мы отметили в своем месте, восточные ее провинции в отношении развития промышленности и торговли стояли гораздо выше Италии и вообще западных частей империи, где все еще занимались преимущественно земледелием и скотоводством. Рим, сделавшись владыкой мира, развил у себя только две формы оборотов с деньгами — откуп налогов в провинциях и отдачу денег в рост, но ни та, ни другая форма не служила целям промышленного развития, так как, получая все нужное за деньги, добытые войной, римляне не имели надобности развивать собственную промышленность. Сравнительно слабое развитие самостоятельной промышленности на Западе дало возможность, в эпоху экономического истощения империи, снова, как было уже сказано раньше, возобладать натуральному хозяйству. Мы это видели по отношению к бывшим римским провинциям, где и в феодальную эпоху именно господствовало натуральное хозяйство с закрепощением крестьянства и упадком городов. На новой исторической почве, в тех местах, на которые не распространялась власть империи или где она была слаба, в Англии и в Германии, у народов славянских и в Скандинавии только и могло существовать в то время натуральное хозяйство.

Произведениями промышленности средневековую Европу снабжал Восток, но больше всего изготовлялось необходимых предметов самими же их потребителями и их домочадцами. Потребности крестьянина удовлетворялись вполне его собственными руками, на богатого землевладельца работали его домашние слуги, городское же ремесло было в упадке. То развитие, которое промышленность и денежное хозяйство начали было получать в городах в римскую эпоху, не только остановилось, но и вообще не удержалось, задавленное восстановлением в прежней силе натурального хозяйства. Оживление промышленности в западноевропейских городах началось только около времени крестовых походов. Господствующею ее формою

было мелкое производство на ближайший и притом ограниченный рынок, а не для вывоза в далекие страны. Правда, хозяева мастерских, изготовлявших те или другие товары, соединялись в цехи, регулировавшие производство, но последнее оставалось мелким, т. е. больших заводов и фабрик не существовало. Мастера работали не только на местный рынок, т. е. на сбыт товаров в своем городе и его ближайшем округе, но первоначально большею частью непосредственно на заказчиков, так что между производителями и потребителями не стояли еще посредники в лице оптовых скупщиков и крупных или мелких продавцов. До возникновения развитой ремесленной промышленности потребность владельческих классов (феодального дворянства и духовенства) в разного рода предметах удовлетворялась работой подневольных слуг, обученных всевозможным ремеслам и часто кормившихся с участков земли, которые им для этой цели давались. В городах занятие ремеслом мало-помалу отделилось от земледелия и стало делом людей, пользовавшихся уже полною гражданскою свободою. В новое время эта мелкая ремесленная промышленность стала переходить в крупную, когда развитие торговли создало класс предпринимателей, которые, скупая продукты городского ремесла для перепродажи или заказывая для той же цели большое количество товаров, все более и более подчиняли себе прежде бывших вполне самостоятельными мастеров. Мелкие мастерские во многих производствах стали заменяться крупными мануфактурами, где уже большое количество ремесленников работало за счет одного предпринимателя. Развитие промышленности и торговли везде и всегда создавало особый имущий класс, сила которого заключалась не в недвижимой собственности, а в обладании движимым имуществом, капиталом, деньгами. Феодальный строй — и это также мы уже видели — был политическим результатом (в связи, конечно, с другими причинами) господства натурального хозяйства, и, наоборот, возникновение промышленности и торговли, денежного хозяйства и городской жизни заключало в себе будущую гибель феодализма. Во второй половине средних веков на Западе повторилось то, что в меньших только размерах уже было один раз в истории в греческую эпоху, — именно образование целого ряда государств-городов с республиканским устройством, которые на севере Франции назывались коммунами, а в Германии — имперскими городами, из которых три таких государства-города (Гамбург, Любек и Бремен) существуют

и до сих пор. Особенно много аналогий с древнегреческим развитием представляет история итальянских средневековых городских республик, некоторые из которых (Венеция и Генуя) даже вели подобие колониальной политики на доступных им морях. Италия вообще, благодаря своему положению на Средиземном море, стала ранее других стран Западной Европы в средние века освобождаться от экономических форм средневековья.

Общее значение ренессанса и гуманизма

Где раньше и сильнее развился городской быт, там и прежде, чем в других местах, и в более значительных размерах стала вырабатываться светская умственная культура. В средние века общий тон жизни задавали, как мы видели, обитатели замков и монастырей, рыцари и монахи, представители феодализма и католицизма. Первые из них мало были склонны к какой бы то ни было умственной культуре, у вторых она могла иметь только теологический и аскетический характер. В городах народился новый класс людей с умственными запросами, которых уже не удовлетворяла средневековая духовная пища схоластических трактатов и агиологических легенд, и среди которых впервые после падения античной цивилизации развились в значительной мере чисто мирские умственные интересы. Опять и здесь повторилось то, что уже один раз произошло — за тысячу лет перед тем — в торгово-промышленных городах древней Греции, где за V в. до Р. Х. зародилось философствование, основанное на свободной деятельности разума. У нас уже шла речь о чисто теологическом характере всей средневековой духовной культуры: впервые в XIV–XV вв. после падения античной культуры возникла в городах Италии чисто светская интеллигенция. Это явление заслуживает более пристального внимания.

Умственное движение конца средних веков и начала нового времени обозначается обыкновенно двумя терминами. Один из них — «возрождение» или во французской форме «ренессанс», второй — гуманизм. Нередко к слову «возрождение» прибавляется и пояснение: это «возрождение наук и искусств», «возрождение классической древности» или просто «классическое возрождение», так как вся суть этого явления большею частью усматривалась в том, что после полного почти в течение средних веков забвения науки и искусства классиче-

ского мира как бы возродились к новой жизни, и явились люди, которые начали изучать античную литературу, подражать ей, усваивать идеи древней философии и т. п. Сами эти люди, однако, называли себя гуманистами, откуда и происходит обозначение всего движения именем гуманизма. В чем заключается смысл этого названия, это мы рассмотрим несколько ниже, здесь же остановимся пока лишь на отношении умственного движения, отделяющего новое время от средних веков, к начавшемуся в XIV в. изучению античной литературы.

Судьба классической литературы в средние века

В средние века совсем почти пало изучение античной литературы на Западе, где притом прекратилось и изучение греческого языка. Древнюю греческую литературу еще все-таки изучали в Византии, но при господстве схоластики, мистики и аскетизма всего менее могли там надлежащим образом понимать самый дух этой литературы. На Западе и римская литература, доступная ему по языку, оставшемуся языком церкви и школы, пришла уже в совершенное почти забвение, а между тем только она могла быть источником светского образования. Одни видели в знакомстве с этою литературою прямую опасность для спасения души, потому что литература эта была создана язычниками; других она не могла интересовать потому, что слишком много говорила о земном, когда их собственные помыслы были заняты небесным; третьи в занятиях произведениями древней литературы видели лишь средство научиться языку или усвоить внешние литературные формы, а для этого достаточно было очень немногого. Если же, с другой стороны, заинтересовывались и содержанием римской литературы, то плохо или даже совсем неверно его понимали. Известно, напр., что Вергилий слыл в средние века на Западе не то как чародей, не то как языческий пророк, предсказавший пришествие Христа и давший в своей «Энеиде» аллегорическое изображение странствований души, временно заключенной в теле и обреченной томиться в земной юдоли заблуждений и соблазнов, испытаний и опасностей. Совсем иное отношение возникает к античной литературе у гуманистов, которые притом мало-помалу отворачиваются от средневековой схоластики и аскетизма, чтобы все более и более искать в произведениях древних мыслителей и поэтов ответов на все важные вопросы мысли и жизни. Сначала западные гуманисты

при полном падении изучения греческого языка и за совершенным отсутствием на этом языке в обиходе книг довольствовались одною римскою литературою, но потом они обратились и к греческой литературе. Ознакомление с нею было значительно облегчено тем обстоятельством, что в Италию нахлынула, в эпоху завоевания турками Византийской империи, масса греков, которые спасали с собою от азиатского варварства и сокровища античной литературы на древнегреческом языке. Вековой период оторванности Запада от классических традиций вообще и в частности от эллинистического элемента античной культуры кончился. Византия как бы сыграла уже свою средневековую роль хранительницы античного умственного наследия, и вместе с учеными греками, искавшими спасения в Италии, и с привезенными ими туда сокровищами древней литературы на Запад перешло и это культурное наследие.

Действительно ли завоевание Константинополя турками было причиною возрождения классической древности на Западе?

Долгое время в исторической литературе из одной книги переходило в другую мнение, ставившее классический ренессанс в прямую зависимость от завоевания турками Византийской империи. Говорили именно, что нападение турок на Константинополь заставило множество ученых греков бежать в Италию, где они и явились распространителями древнегреческой литературы. Выходило так, что на классическое возрождение в Италии следует смотреть как на явление заносное: не сделай турки нападения на Константинополь, не понадобись грекам искать помощи на Западе, — с каковою целью многие греки поехали на флорентийский собор, занимавшийся вопросом о соединении церквей, — и не обратись в прямое бегство византийские ученые, не было бы, пожалуй, и самого ренессанса. Это мнение после новейших исследований относительно происхождения ренессанса приходится оставить. Для настоящего понимания роли Византии и Италии этой эпохи в истории нового европейского образования нужно особенно внимательно отнестись к этому вопросу. Старое мнение слишком преувеличивало роль пришлых византийских греков и, наоборот, умаляло значение самих итальянских ученых, т. е. приписывало слишком много внешнему влиянию на счет действия

внутренних причин. Теоретически рассуждая, нужно всегда искать объяснения исторических явлений из внутренних причин предпочтительно перед внешними влияниями. В данном случае у нас есть и фактические основания для решения вопроса не в пользу старого мнения. Прежде всего, против старого мнения — хронология: эпоха бегства византийских ученых в Италию — середина XV в., тогда как начало гуманистического движения в Италии относится к середине XIV столетия. Далее, изучение греческого языка итальянскими гуманистами началось в Италии еще задолго до бегства греков, и поэтому можно сказать, что, переселяясь в Италию, византийские ученые удовлетворяли своим прибытием в качестве наставников в греческом языке уже назревшую и осознанную в Италии потребность, а не создали новой. Притом тот новый дух, в каком в Италии начали изучать античную культуру, проявился уже раньше прибытия ученых византийцев в Италию, и тамошним классикам оставалось учиться у пришлых знатоков греческого языка именно только языку и историко-литературным фактам, так как в понимании классической древности учителя сами стояли на средневековой, схоластической точке зрения, той самой, которую в Италии уже сознательно покинули раньше непосредственного знакомства с византийцами. Если даже в середине XV в. греческие эмигранты и внесли в историю итальянского гуманизма нечто такое, что без их влияния само в Италии не могло бы возникнуть, то это нисколько не характеризует самого начала движения, его источника. Итальянские ученые заинтересовались античной культурой самостоятельно, исключительно на основании знакомства с литературой на латинском языке: только узнав от римских писателей, что настоящая красота и мудрость — в греческой литературе, они стали стремиться к изучению и греческого языка, который, однако, конечно, не мог и потом играть такой же роли, как латинский.

Другое неверное мнение о ренессансе, которое необходимо устранить для понимания его истинной природы, заключается в том, будто отношение гуманистов к древности было слепым ею увлечением, стремлением к подражанию ей во всем, желанием восстановить античные формы жизни. Это мнение образовалось путем обобщения некоторых только фактов, но не тех, в которых был весь смысл движения. Слепое увлечение, простое подражание и т. п. уже потому не могли иметь места, как общее правило, что древность была слишком противоречива для того, чтобы можно было увлекаться всем антич-

ным без разбора, всему без всякого выбора подражать. Возрождение классической древности было воскрешением в ней того, что соответствовало стремлениям образованных людей того времени, что удовлетворяло их духовные потребности. Весь вопрос в том, какой же умственный интерес влек итальянских ученых и писателей к изучению древних? Ответ на этот именно вопрос и заключает в себе настоящее объяснение факта.

Значение классического элемента в истории нового умственного движения

В настоящее время термин «ренессанс», «возрождение» (или классический ренессанс, возрождение наук и искусств) все более и более заменяется другим — «гуманизм». В средние века главные умственные интересы сосредоточивались на занятиях божественным (divina studia), а светская литература, т. е. человеческое слово находилось в пренебрежении. Люди нового образования именно и предались занятиям этим самым словом человеческим и вообще человеческими вещами и делами (humana studia), откуда и пошло название этих людей гуманистами. Интерес ко всему человеческому и есть основная черта гуманизма. Это было освобождением таких проявлений умственной деятельности, как философия, наука и литература, от исключительно церковного характера, какой они имели в средние века, было, что называется, их секуляризацией, — слово, которое первоначально обозначало переход лиц или земель из духовного или церковного состояния в светское, а теперь имеет и более широкий смысл. Именно секуляризацией вообще мы называем теперь освобождение чего бы то ни было от чисто церковного характера. Переход от средневековой, преимущественно религиозной культуры к культуре нового времени, преимущественно светской, и есть именно секуляризация, которая началась как раз в гуманизме. Понятно, что люди, которые были деятелями этого культурного перелома на рубеже средних веков и нового времени, должны были искать опору в чисто светской, совершенно человеческой литературе древних. Гуманисты даже совсем отвернулись от схоластики с ее католическими авторитетами, чтобы искать ответов на свои вопросы у древних мыслителей и поэтов.

Такое, совсем новое для средних веков умственное настроение было результатом совершившегося развития личности, начавшей

выбиваться из средневековых католико-феодальных рамок. Подобная же секуляризация культуры в древней Греции, главным образом в V в., была тоже результатом развития индивидуализма в торгово-промышленных, преимущественно демократических городах.

Развитие индивидуализма и секуляризационных стремлений

В настоящее время лучшие историки гуманизма стоят на той точке зрения, что это движение имело свой источник именно в индивидуализме, а что касается до классической древности, то в ней гуманисты только искали, на что им можно было бы опереться в своих новых стремлениях, откуда можно было бы заимствовать аргументы против всего, что стесняло свободное проявление склонностей и способностей, сил и инстинктов человеческой личности. Средневековое миросозерцание уделяло слишком мало внимания человеку и всему человеческому. Для него человек был, прежде всего, существом, природа которого была испорчена первородным грехом: это был сосуд страстей и похотей, которые должны были быть подавлены, и если с какой-либо стороны человек при таком на него взгляде мог быть предметом внимания, то лишь в качестве объекта великого акта спасения, совершенного крестною смертью и воскресением вочеловечившегося Сына Божия. Гуманизм был защитой инстинктов человеческой природы, защитой прирожденных прав личности, притом защитой в обоих случаях чисто принципиальной. «Гуманистический индивидуализм, — читаем мы у одного из лучших знатоков этой эпохи*, — гуманистический индивидуализм характеризуется, во-первых, интересом человека к самому себе, к своему внутреннему миру; во-вторых, интересом во внешнем мире преимущественно к другому человеку; в-третьих, убеждением в высоком достоинстве человеческой природы вообще и в неотъемлемом праве человека развивать свои способности и удовлетворять своим потребностям; в-четвертых, интересом к окружающей действительности, поскольку она имеет влияние на человека». Такое понимание своей личности и такое отношение ко всякой чужой личности предполагает высокий уровень личного развития, и потому нельзя не видеть в гуманизме одно из

* В книге «Ранний итальянский гуманизм» проф. М. С. Корелина.

следствий совершившегося к этой эпохе развития личности. «Под влиянием исторических условий, — говорит еще автор приведенных слов, — личность доросла до сознания своего права на всестороннее развитие: отсюда отрицание церковной опеки и требование свободы и самостоятельности для творческой деятельности человеческого духа и прежде всего для науки. Только с этой точки зрения идеи гуманистов находят объяснение и могут быть приведены в ясную и определенную систему». В другом своем сочинении тот же исследователь еще следующими чертами характеризует этот индивидуализм гуманистов. «Культурная работа личности всегда преследовала и будет преследовать две цели: во-первых, подчинить себе природу, заставить служить своим интересам стихийные силы и, во-вторых, добиться наилучшего положения в обществе, доставить себе возможность наиболее широкого развития лучших свойств своей природы, наиболее полного удовлетворения своих законных потребностей, насколько позволяет это справедливость, т. е. насколько личное стремление не мешает таковым же стремлениям других лиц... В основе гуманистических стремлений лежало глубокое убеждение в высоком достоинстве человеческой природы и в признании за отдельною личностью полного права на всестороннее развитие всех свойств, данных ей природою, и на широкое удовлетворение всех ее потребностей. Отсюда вытекало требование, во-первых, не только духовного, но и физического развития в школе; во-вторых, безграничной свободы и полной независимости в интеллектуальной деятельности человека, т. е. в науке, в искусстве, в литературе, в философии; в-третьих, права на высокое место в обществе для умственно-развитой личности независимо от происхождения, состояния и других случайностей».

Благодаря особенно развитию личного начала, новая история Западной Европы получила характер сознательной постановки и принципиального решения общественных вопросов с точки зрения права личности на возможно полное удовлетворение ее духовных стремлений и материальных потребностей. Историческая жизнь постоянно ставит для практического разрешения все новые и новые вопросы, порождаемые или местными и временными условиями самой жизни, или один из другого вытекающие во всемирном и вечном, в пределах человеческого мира, процессе самоутверждения личности. Каждое государство, как единое коллективное целое, отстаивающее себя в международной борьбе, имеет свои исторические задачи,

преследует свои политические цели, разрешает свои культурные и социальные вопросы, очень нередко, а скорее даже слишком часто игнорируя отдельные личности, подавляя их духовные стремления, жертвуя их интересами, но во всех подобных случаях исторические задачи, политические цели и культурно-социальные вопросы имеют чисто местное и временное значение. Какие бы, однако, задачи ни ставило себе государство и как бы оно их ни исполняло, какие бы цели ни преследовала его политика и внешняя, и внутренняя, какие бы вопросы местного и временного характера в нем ни возникали и в какую сторону ни совершалось бы их решение, — все это никогда не бывает лишено принципиального значения с общечеловеческой и всемирно-исторической точки зрения: всякое решение нарождающихся каким бы то ни было путем общественных вопросов, имея то или другое значение в истории данного государства, как социального целого с особыми традициями, стремлениями, нуждами и интересами, неизбежно получает также то или другое значение для духовного развития и материального благополучия отдельных личностей и целых общественных классов, живущих в данном государстве, а при существовании исторической преемственности народов и их культурном взаимодействии оказывает равным образом то или другое, т. е. благотворное или вредное действие и на весь всемирно-исторический прогресс.

С другой стороны, разрешение ставимых внутреннею жизнью каждого государства общественных вопросов, — будет ли оно выгодным или невыгодным для личного развития и благополучия, прогрессивным или регрессивным, — может быть или только чисто практическим, не вытекающим из общих понятий и не вносящим новых принципов в общее сознание, или, наоборот, принципиальным, сопровождающимся теоретическою, идейною постановкою общих положений.

Западноевропейские государства нового времени, как и все вообще государства в истории, конечно, имели свои особые исторические задачи традиционного свойства, приводившие их во враждебные столкновения или создававшие между ними союзы, ставили себе политические цели, для осуществления которых требовалось принесение в жертву отдельными личностями их жизни, здоровья, независимости, достояния и труда, и понимали и разрешали назревавшие культурные и социальные вопросы в смысле национальных

традиций и политических интересов, нередко не имевших ничего общего со стремлениями и внутренними потребностями отдельных личностей, часто даже оказывавшихся лишь традициями и интересами правителя или правящего класса и не находящихся ни в каком принципиальном отношении к вопросам духовного и общественного прогресса. Развитие личности в новое время сделало невозможным, чтобы решение общественных вопросов на Западе происходило только таким образом. Национально-политическим традициям и интересам, требовавшим в каждом отдельном случае разрешения внутренних вопросов в известном смысле, личность стала противопоставлять свои стремления и потребности, раз только замечала, что государственные требования идут вразрез с тем, что она считала своим неотъемлемым правом по божескому и естественному закону, выдвигая на свою защиту аргументы принципиального свойства и тем самым заставляя искать высшего теоретического оправдания и для пределов власти государства. С другой стороны, она подвергала критике традиции и интересы, во имя которых у нее требовались жертвы, и если обнаруживала, что, в сущности, это суть традиции и интересы властвующего меньшинства, а не всей совокупности людей, культурно и социально объединенных в одно целое, то отказывала этим принципам в праве быть положенными в основу решения ставимым жизнью вопросам, требуя, наоборот, их решения в смысле действительно народного и общественного блага, не мыслимого без духовного развития и материального благосостояния всех. Вследствие этого и государство в своих мероприятиях, направленных к собственному самосохранению, все более и более было вынуждаемо в новое время считаться с потребностями и желаниями общества, которое для лучшего обеспечения прав за отдельными своими членами стало стремиться к политическому самоуправлению, т. е. к участию во власти, ища оправдания и этому стремлению в идее человеческой свободы. Вместе с тем и правящим классам нужно было начать отучаться от отождествления государственных задач и целей с одними своими культурными стремлениями и социальными интересами, так как в общее сознание все более и более стал проникать тот принцип, что раз во имя общего блага существует государство, требующее от своих членов подчинения известному общему закону, то выгодами этого соединения должны пользоваться все, и все в одной мере должны подчиняться вытекающим отсюда обязанностям. Конечно, все это

происходило очень медленно и с задержками, но общее направление западноевропейской жизни было именно таким.

Начало новой науки и философии

Секуляризационные стремления гуманистической эпохи вытекали из того же индивидуалистического источника. Это было освобождением всей умственной культуры от церковной опеки, наложенной на всю духовную культуру средневековым католицизмом. Светский характер новой европейской цивилизации ведет свое начало из гуманистической эпохи с ее интересом ко внешнему миру и к человеку. Мы видели, чем была средневековая схоластика, которая нашла в гуманистах непримиримых своих врагов. Вырабатывая новое миросозерцание, они обращались к философии стоиков и эпикурейцев или Платона и Аристотеля, пока, как результат умственного движения гуманистической эпохи, в XVII в. не возникла самостоятельная философия новой Европы. В общем гуманистическое движение, действительно, было возрождением наук и искусств на Западе в то самое время, когда Восток томился под властью азиатских варваров и коснел в совершенном невежестве. Умственная деятельность, философские и научные занятия сосредоточиваются на Западе, который возобновляет прерванную традицию греческой образованности в эпоху независимости Эллады и в александрийский период и образованности арабской, которая в сущности была продолжением греческой. Великие географические открытия конца XV и начала XVI вв., кроме важных последствий экономического и политического свойства, не могли не отразиться и на умственной культуре, на расширении духовного кругозора, на лучшем знании и понимании природы, на падении многих старых предрассудков. Открытие Америки и морского пути в Индию, а также первое кругосветное путешествие Магеллана[120] (в 1520 г.) убедили людей окончательно в шарообразности Земли, а в середине XVI в. Коперник[121] определил и место Земли в мировом пространстве, доказав, вопреки господствовавшей целые века системе александрийского ученого Птолемея, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Хотя сами гуманисты мало интересовались изучением природы, но именно от них ведут свое начало общий дух и основные приемы научного исследования.

Главными предметами их анализа и критики были личная и общественная жизнь человека, т. е. вопросы нравственности и воспитания, общежития и истории, а также литературы и языка. Они были поэтому родоначальниками философии, историографии, политики и педагогики нового времени, т. е. вообще наук гуманитарных, но с XVI и XVII вв. началось и развитие нового естествознания. В XVI в. Везалий[122] первый стал анатомировать трупы, Парацельс[123] положил начало химии, Сервет[124] подготовил открытие кровообращения, совершенное в XVII в. Гарвеем[125] и т. п. В XVII же столетии Кеплер[126], Галилей[127] и Ньютон[128] открыли законы движения небесных тел (первые двое) и всемирное тяготение (третий из них). Тогда же начинается развитие математических знаний, благодаря трудам Декарта[129], Лейбница[130] и Ньютона. Необходимость обосновывать свои представления о природе на опыте и наблюдении уже в XVII в. возводил в принцип Бэкон[131], родоначальник эмпирического направления новой философии, а Ньютон в конце того же столетия самым решительным образом формулировал закономерность явлений природы, открываемую опять-таки из данных наблюдения. Рядом с этим в философии Декарта в том же XVII в. возникает другое, умозрительное направление новой философии, видевшее источник знания в человеческом разуме. Одним словом, это был великий умственный переворот в истории Западной Европы, имеющий по своим культурным следствиям великое значение для всего мира. Интересовались ли умственные вожди общества человеком или природою, искали ли они источник истины в разуме или в опыте, все они, т. е. и гуманисты, и натуралисты, и рационалисты, и эмпирицисты, одинаково занимались реальными явлениями и полагались на источники чисто человеческого происхождения. Считался ли опыт или разум источником знания, и тот, и другой были опытом и разумом человеческим, что кладет резкую границу между общим духом средневековой и новой умственной культуры. Найти естественное объяснение явлениям природы и жизни человека и разумное основание для правил нравственности и общежития, — вот две задачи, которые стали себе ставить наука и философия нового времени. В XVII же столетии возродилась в политической философии античная идея естественного права, особенно в трудах Гуго Гроция[132], Гоббса и Локка[133], — идея, в которой ссылка на авторитет религиозный заменялась ссылкой на закон природы, являвшийся в представлении этих философов вместе с тем и законом разума.

Одним словом, под влиянием гуманистов XIV–XV вв. и натуралистов XVI–XVII столетий умственная культура нового времени приняла существенным образом светский характер, что отличает ее от умственной культуры средних веков с ее существенно религиозным характером. Но прежде чем это течение одержало в XVIII и XIX вв. окончательную победу, Западной Европе пришлось пережить длинный период религиозных смут, вызванных разложением в конце средних веков тогдашнего католицизма и появлением новых религиозных учений, которые получили названия протестантизма и мистического или рационалистического сектантства.

Упадок средневекового католицизма и «порча церкви»

Средневековой католицизм при переходе в новые века находился в совершенном упадке. В то самое время, как в отдельных народах зарождается вместе с литературами на народных языках национальное самосознание, начинающее тяготиться космополитизмом католической церкви; в то самое время, как государи усиливают свою власть за счет феодального мира и все более и более заявляют притязание на независимость от папской курии; в то самое время, как и светские сословия все менее и менее обнаруживают охоты находиться под опекою духовенства; в то время, наконец, когда в гуманизме зарождается новое светское направление, враждебное схоластическому и аскетическому католицизму средних веков, — словом, в то время, когда вырастают силы, враждебные средневековой католической системе, в XIV и XV вв., сама эта система находится в упадке, и это явление на языке эпохи получает характерное название «порчи церкви в главе и членах».

Влияние религиозной реформации на гуманизм и возрождение последнего в «Просвещении» XVIII в.

Не станем рассматривать здесь, в чем собственно состояло это явление. Сущность дела заключалась в том, что католическая церковь чересчур уже была в ту эпоху «царством от мира сего» и стремилась лишь к политическому господству, между тем как в нравственном и умственном отношениях клир все более и более падал, навлекая на себя справедливые нарекания со стороны светского общества. Ввиду

этой порчи, конечно, должна была явиться и мысль об исправлении, о реформе, вопрос о которой и делается очередным в сознании западноевропейского общества в конце средних веков и начале нового времени. В XVI в. он получил такое значение в жизни, что стал первенствующим культурным вопросом эпохи, и это очень невыгодно отразилось на чисто светском направлении, какое имел гуманизм к концу XV века. При оценке общего значения религиозной реформации мы еще остановимся на этом явлении, т. е. на ослаблении светского направления новой духовной культуры, здесь же напомним только, что ослабление было только временным, и что так называемое «Просвещение», или умственное движение XVIII в., из которого вытекала и вся философия, наука и литература XIX столетия, опять имело светский характер. Собственно говоря, в «Просвещении», бывшем второй секуляризацией умственной деятельности после богословских споров и религиозных распрь эпохи Реформации и католической реакции, произошло возрождение гуманизма, но только, как мы увидим, осложненное новыми чертами, без чего, впрочем, и не было бы возможности видеть в новой истории какой-либо прогресс.

Состояние политического мира в конце средних веков и в начале нового времени

Закончим этот общий обзор перехода от средних веков к новому времени рассмотрением политического состояния Европы в эту эпоху. В начале XVI в. центральную Европу занимают три большие политические тела: 1) Священная Римская империя немецкой нации, включающая в себя, кроме Германии, и Чехию, и Швейцарию (номинально), и Нидерланды, и восточные окраины Франции, и часть Италии, но раздробленная на массу владений; 2) Польша, господствующая «от моря до моря», и 3) Турция, занявшая грозную позицию в Венгрии. На западе от этого комплекса земель находились Англия (с Ирландией) и Шотландия, Франция, Испания, только что слившаяся из Арагона и Кастилии, и Португалия, к северу — три скандинавских королевства, соединившиеся по Кальмарской унии[134] в одно под гегемонией Дании, и сильно ослабленный Польшею Немецкий орден (Пруссия и Ливония), к югу — раздробленная на мелкие владения Италия, к востоку — «Московия» и Крымское ханство, за которыми лежали татарские царства Казанское и Астраханское.

В новое время Западная Европа переходит уже в виде целой системы больших государств с противоположными национальными задачами и противоречивыми экономическими интересами, и в самом конце XV и первых годах XVI в. началась новая эпоха в истории ее международных отношений. В средние века отдельные государства, раздробленные на феодальные владения, сравнительно редко вели войны друг с другом, так что больших общеевропейских войн, какие происходили в новое время, в средние века не было и не могло быть. Международные столкновения, начавшие захватывать сразу несколько государств, сделались возможными лишь после того, как произошло политическое объединение отдельных стран под властью национальных королей. Европейские государи, которые раньше боролись главным образом с непокорными вассалами, теперь стали обращать свое внимание преимущественно на то, чтобы не дать кому-либо из соседей усилиться и сделаться опасным их интересам. Заботясь об этом, они начали вступать между собою в союзы с той целью, чтобы общими силами препятствовать опасному возвышению одного какого-нибудь государства. Из такого положения дел мало-помалу возникла сознательная идея «политического равновесия», которую пытались даже положить в основу правильной системы международных отношений. С другой стороны, такое положение дел требовало более частых и даже постоянных сношений между отдельными государствами; каждое отдельное правительство должно было зорко следить за тем, что делалось у соседей, и иметь при иностранных дворах постоянных представителей, которые отстаивали бы интересы своих государей. Благодаря всему этому международные сношения начали даже получать правильную организацию, и возникла так называемая дипломатия.

Родиной идеи политического равновесия и дипломатического искусства была Италия. Не составляя никогда единого национального королевства, эта страна разделялась на множество совершенно отдельных государств, которые находились в постоянном соперничестве между собою и оберегали свою самостоятельность друг от друга, что и повело за собою внесение известной систематичности в их взаимные отношения. Итальянские государи и республики с особою охотою поручали дело охранения и защиты своих интересов ученым гуманистам, которые, с своей стороны, возвели порученное им дело на степень настоящего искусства и этим, собственно говоря, положили начало дипломатии нового времени. Эта же политическая раздробленность

Италии в то самое время, как в остальной Европе образовались крупные национальные монархии, делала из Апеннинского полуострова легкую добычу для иностранного завоевания. Новая эпоха в истории международных отношений начинается как раз с так называемых итальянских войн, ознаменовавших конец XV и начало XVI в. И в средние века в Италию постоянно предпринимались походы немецкими королями, носившими корону Священной Римской империи, но это не тревожило других государей. В XIV и XV вв. такие «римские походы», как известно, прекратились, и когда в конце XV в. завоевание Италии было предпринято французами, это вызвало уже целый ряд международных столкновений общеевропейского характера. В войнах, вызванных желанием французов (около 1500 г.), завладеть Италией, участвовали и императоры Священной Римской империи, и Испания, и Англия, и Швейцария, и мелкие итальянские государства. Соединение при Карле V под одною властью в начале XVI в. Испании (с Неаполем, Сицилией и Сардинией) и Священной Римской империи, нарушавшее политическое равновесие Западной Европы, тоже вызвало ряд войн со стороны Франции, в которых то на одной стороне, то на другой принимали еще участие папа, как светский государь, Англия, Венеция и Швейцария, а также и турки — в союзе с Францией. Это было только началом векового соперничества Франции с династией Габсбургов, царствовавших в XVI и XVII вв. в Австрии и в Испании.

Испанию в это время возвысило стечение благоприятных обстоятельств. Только что объединившись вследствие слияния Кастилии и Арагона и покорив последнее владение мусульман в Европе (Гренаду), Испания, благодаря открытию Америки, приобрела за океаном новые земли, откуда стала вывозить массу драгоценных металлов. По династическим связям в начале XVI в. королю Испании достались богатые Нидерланды, и кроме того, он возложил на свою голову корону Священной Римской империи, как потомок уже раньше царствовавшей там династии Габсбургов. В течение всего XVI в. Испания сохраняла это первенствующее положение, но обессиленная дурным управлением, хищническим хозяйством и войнами, в XVII в. она опять превратилась во второстепенное государство.

Более прочное значение в ту же эпоху приобрела в политическом мире Европы другая габсбургская держава, Австрия. Одной из княжеских династий Германии, из которой в конце средних веков стали выбирать глав Священной Римской империи, удалось путем войн,

но особенно при помощи брачных союзов соединить под своею властью Австрию, Штирию, Каринтию, Крайну, Тироль, а также короны св. Вячеслава (Чехию) и св. Стефана (Венгрию)[135], — обширный сплошной комплекс разноплеменных земель на ю.-з. и с.-в. от среднего течения Дуная. Входя западными своими частями в состав Германии, восточными областями Австрия соприкасалась с Польшею и с Турцией, которая у нее даже временно отнимала Венгрию. Защищая центральную Европу от турок, Австрия в то же время играла роль передового германизаторского поста, выдвинувшегося далеко на восток в иноплеменные страны. Ее государи, не имевшие общего титула до самого начала XIX в., избирались в императоры Священной Римской империи немецкой нации, что ставило Австрию во главе всего германского мира.

Взаимные отношения западноевропейских государств в XVI в. осложнились еще религиозным расколом, вызванным в католическом мире Реформацией XVI в. и сопровождавшимся рядом междоусобий и международных войн с середины XVI до середины XVII в., в которых одни государства выступали в качестве сторонников Рима, другие — в роли защитников протестантизма, о чем у нас будет еще идти речь. Здесь мы только должны обратить внимание лишь на это общее усложнение международных отношений в рассматриваемую эпоху.

Напор мусульманства

В эту же эпоху весьма грозною и опасною политическою силою сделались для Европы турки. Если на самых западных и самых восточных границах христианского мира, в Испании и на Руси, в конце XV в. была одержана окончательная победа над бывшими магометанскими завоевателями этих стран, маврами и татарами, то с юга, наоборот, на Центральную Европу двигалась грозная неопасная сила турок, тем более, что европейские государи начали их самих вмешивать в свои войны. Утвердившись на Балканском полуострове, турки совершили еще ряд завоеваний и в Азии, и в Африке (Египет), и в Европе, создав таким образом громадную державу, которая стала представлять серьезную опасность для соседних наций. Современник Карла V[136], султан Сулейман[137], захватил Белград и, разбив (при Могаче[138]) чешско-венгерское войско, занял Венгрию, после чего ему уже

ничего не стоило сделать нападение на самую Вену. Правда, попытка турок владеть этим городом окончилась для них неудачею (1529), но они все-таки остались в Венгрии и оттуда постоянно грозили австрийским наследственным владениям, а с ними и всей Германии. Опасность со стороны мусульман существовала и для других владений Карла V. На севере Африки утвердились морские разбойники, которые не только грабили корабли христиан на Средиземном море, но и нападали на испанские и итальянские берега с целью грабежа и увода мирных жителей для продажи в рабство. Держава Карла V должна была напрягать все свои силы в этой борьбе с мусульманским миром. Для враждовавшей с Карлом V Франции затруднения, возникавшие на востоке и юге его империи, были весьма выгодны; Франция даже воспользовалась этими обстоятельствами для нового завоевания Италии уже в прямом союзе с Турцией.

Образование национальных государств на Западе

Что касается до внутреннего политического строя европейских наций, то в эту переходную от средних веков в новое время эпоху он характеризуется падением феодализма и усилением государственного начала. Сущность этого процесса заключалась в объединении мелких политических организмов в более крупные, в превращении феодальных сеньеров из помещиков-государей лишь в привилегированное сословие подданных короля и в замене именно отношениями подданства прежних отношений феодальной иерархии сеньеров и вассалов. Стоит только припомнить, чем был феодализм*, для того чтобы представить себе и сущность процесса политической дефеодализации, начавшейся в конце средних веков.

Сословная монархия и начало абсолютизма

Западноевропейское государство переходит из средних веков в новое время в форме сословной монархии: период растворения государства в обществе (феодальная эпоха) уже был пережит, период поглощения общества государством (эпоха королевского абсолютизма) был еще впереди. Время сословной монархии — это XIV и

* См. выше.

XV вв.; в XVII и XVIII столетиях уже торжествует королевский абсолютизм; XVI век является переходным от одной системы к другой. Перед этими пятью столетиями формируется, торжествует и падает политический феодализм, разделивший верховную власть между аристократическими элементами общества; конец же XVIII века знаменуется переворотом, открывающим эпоху участия бессословного общества в верховной власти.

Из главных стран Европы одна Англия не знала ни феодального раздробления с расхищением верховной власти сеньерами, ни королевского абсолютизма с устранением общественных сил от участия в государственных делах. В Англии средневековая сословная монархия постепенно перешла в новую монархию конституционную, сделавшуюся образцом, которому стали подражать континентальные страны Запада после французской революции. И здесь, как и везде, обе формы общественного участия в государственной власти не только гарантировали участвующим элементам известную независимость в тех или других делах от какой бы то ни было неограниченной воли, но и давали им возможность осуществлять при помощи государственного принуждения социальные стремления отдельных сословий и классов. В новейшее время стали требовать подобной же гарантии и подобной же возможности и чисто демократические стремления.

Сословно-представительные учреждения возникли во всех западноевропейских государствах. Характерными их чертами являются при всех различиях между ними: участие общества через своих представителей в государственных сеймах, куда раньше являлись лишь по личному праву, разделение этих сеймов на сословные палаты, издание законов и установление налогов не иначе, как с согласия представителей сословий. Из этих черт представительная система и законодательная власть с правом вотирования налогов перешли и в конституционную монархию новейшего времени, как основные условия политической свободы, но сословный характер старых государственных сеймов уступил место в новых конституциях иному началу. Везде, далее, право участия в собраниях государственных чинов принадлежало не всем сословиям, а главным образом лишь духовенству, дворянству и горожанам, в лучшем же случае, — как это было в Англии, где рано стало падать сословное начало, — только известному общественному классу, обладавшему определенным иму-

щественным цензом. Сословность государственных сеймов с устранением из них народной массы делала из них орудие, с помощью которого высшие классы общества могли осуществлять свои социальные стремления часто в ущерб народным интересам. Стоит, напр., отметить, что ухудшение быта крестьян и даже прямое их закрепощение в Германии, в Венгрии, в Польше, в Дании было делом местных сословных сеймов, или что английский парламент принимал деятельное участие в обезземелении крестьян. Поэтому собрания государственных чинов не пользовались доверием и поддержкою народных масс, и это было одною из причин их бессилия в борьбе с королевскою властью. Другим условием их бессилия в этой борьбе был междусословный антагонизм: существуя в самой социальной жизни, он переносился и в собрания сословных представителей. Каждый «чин» отстаивал только свои интересы, игнорируя интересы других «чинов», и в этом отношении особенную роль играло своекорыстное и высокомерное поведение дворянства, которое не хотело ничем жертвовать для государства и смотрело с презрением на третье сословие, т. е. на горожан.

Главное исключение из общего правила составляет и тут английский парламент, в нижней палате которого слились воедино разные социальные элементы, в общем весьма солидарно отстаивавшие свои права и интересы. Всем этим учреждениям приходилось выдерживать борьбу с королями на почве вопроса о взаимном разделе между ними власти, и борьба эта имела различный исход. В некоторых случаях сеймы добивались полного перевеса над короной, превращавшейся тогда в своего рода высшую магистратуру аристократических республик (в Польше, одно время в Дании и Швеции), и поддерживали принципы избирательной монархии (что наблюдается еще в Чехии и Венгрии). Но это были исключения, да и из них одна только Польша удержалась до конца в положении аристократической республики с пожизненным королем во главе. В других странах собрания государственных чинов позднее или совсем прекратились, как то было во Франции, в Испании, в Дании и в одной части немецких княжеств, или продолжали существовать (в габсбургских землях, в другой части немецких княжеств, в Швеции) без действительного значения в государстве.

Падение сословно-представительных учреждений, выросших на почве католико-феодального и муниципального быта средних

веков, знаменует собою, конечно, и упадок взрастившего их быта, равно как нарождение новой силы, нашедшей опору в объединении сословий под общим знаменем национальности. Переход от средней истории к новой отмечен еще, как уже было упомянуто, образованием больших наций под главенством королей. В феодальную эпоху король был вершиною феодальной лестницы сеньеров, «первым между равными», а его власть опиралась на феодальную присягу вассалов и на крупное землевладение (на домены[139]): так, по крайней мере, смотрели на короля феодалы. В народе сохранялось, однако, иное понимание монархической власти, представлялась ли она как продолжение власти абсолютных римских цезарей, что было, напр., во Франции, или как наследие, оставленное прежними германскими королями, вождями народа, что и на самом деле имело место в Англии. К этому присоединялся еще взгляд церкви на божественное помазанничество государей. Сами короли, наконец, не хотели мириться с тем положением в государстве, какое стремились создать для них феодальные элементы общества. Борясь за свое право, монархия опиралась на юристов, которые очень рано (в XII–XIII вв.) извлекли из римского права учение об абсолютизме королевской власти: «что благоугодно государю, то имеет силу закона». В конце средних веков итальянские князья подали на деле пример европейским королям, чем они впредь должны были быть. Действительно, итальянский князь конца средних веков и начала нового времени был не феодальный сеньер, т. е. не государь-помещик, и не феодальный король, т. е. не всеобщий сюзерен, и лишь «первый между равными». В городских общинах Италии, как, впрочем, и вообще в городских общинах, сбросивших с себя феодальное иго и устроивших у себя республиканское правление, впервые появилась верховная власть без земельной основы, и она-то мало-помалу перешла к князьям, когда в итальянских городах повторилась история античной тирании на почве борьбы знати и простого народа. Итальянский принципат, опиравшийся на народное признание и на вооруженную силу, переносил на себя неограниченную верховную власть городской республики, не нуждаясь ни в крупном землевладении, ни в вассалах, а Макиавелли[140] в начале XVI в. в своем трактате «Государь», — столь популярном у королей эпохи, — создал и теоретическое обоснование этой власти. Короли заимствовали у итальянских князей практику абсолютизма и усвоили его теорию,

которую в иной только форме повторил в конце того же века Боден, приглашавший монархов стать выше сословий и партий в качестве представителей государственного единства. Идея абсолютизма была применена к сословно-представительным учреждениям, и им предстояло либо исчезнуть, либо сохраниться только под условием отказа от своих традиций, прав и притязаний. Местные и временные условия решили судьбу этих учреждений в разных случаях различным образом, но в общем победа осталась за королевскою властью, которая сделалась в первой половине нового времени абсолютною.

Абсолютизм был формою, в которую именно в первые два века новой западноевропейской истории вылилось государственное начало, одержавшее победу над средневековыми силами католицизма и феодализма. На всю новую историю мы поэтому имеем право смотреть, как на эпоху постепенного разрушения католико-феодальных культурных и общественных отношений силами, искавшими выхода из узких и тесных рамок средневекового быта, и этими силами оказались наиболее отрицавшиеся феодализмом и католицизмом начала, во-первых, принцип государства, как общественного установления, существующего для общего блага и пользующегося независимою верховною властью, во-вторых, принцип личности, как существа, имеющего право на внешнюю и внутреннюю свободу. Феодализм разлагал государство на частные владения, в которых верховная власть была лишь своего рода придатком землевладения, и превращал народную массу в прикрепленных к земле оброчников землевладельца, а католицизм посягал на независимость государства, взяв, вместе с тем, под свою безусловную опеку и духовную сторону личной жизни. Государство нового времени выросло в борьбе с враждебными ему силами феодализма и католицизма, частью одержав над ними победу и перенесши на себя отнятые у них права, т. е. ставши на их место, частью вступив с ними в компромисс и оставив за ними их привилегии, другими словами, само признавши некоторые их принципы. В этой своей борьбе государственная власть опиралась на индивидуальные и массовые силы общества, имевшие также свои причины желать поражения аристократии и клира, как двух главных социальных классов феодально-католического строя, и имевшие свои побуждения помогать государственной власти в ее борьбе с этими классами. Из двух союзников, боровшихся

с феодально-католическим строем, первые и самые богатые результаты победы выпали, однако, лишь на долю государства, личность же иногда оставалась прямо в проигрыше. Государство, отнявши у феодальной аристократии и у католической церкви те привилегии, которые были стеснительными для него самого, унаследовало от прежнего строя многие старые права над личностью, прибавив к ним еще новые права, и оставило за названными классами те их привилегии, которые, не стесняя его самого, лежали тяжелым бременем на остальной массе. Все более и более расширяя свою деятельность, оно сделалось всепоглощающим политическим организмом, перед которым личность была бессильна, и реальным фактам этого рода соответствовали тогдашние теории абсолютной государственности. Личному развитию, встречавшему помеху в средневековых культурно-социальных формах феодализма и католицизма, в новое время пришлось встретиться и с рядом препятствий со стороны государства, не хотевшего знать никакого иного права, кроме своего права. Личность и тут вступала в борьбу за свои права, имея нередко против себя соединенные силы государственной власти, церковной организации и господствующих классов обществ. В истории этой борьбы времена успеха новых культурных и социальных стремлений личности сменялись временами реакции, когда старые, казавшиеся уже побежденными силы снова поднимали голову и начинали попятное движение.

Очерк седьмой
ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЭПОХИ НОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Два главных отдела новой западноевропейской истории

История Западной Европы в новое время может быть разделена на два больших отдела по двум, так сказать, центральным эпохам, сообщающим то или другое значение каждому из этих двух отделов в целом культурно-социального развития последних четырех веков. Первенствующее место в первом отделе принадлежит религиозной реформации XVI в. со всеми культурными и социальными, церковными и политическими движениями, которые ей предшествовали, ее вызвали, ее сопровождали и осложняли, за нею последовали и

из нее вытекли. В середине XVII в. реформационный период кончается, и наступает новый период западноевропейской истории, характеризующийся господством абсолютной монархии, период от Вестфальского мира[141] до начала французской революции, т. е. от 1648 по 1789 г. Подобно тому, однако, как Реформация XVI века, начиная новый исторический период, находится вместе с тем в центре эпохи, первая половина которой была временем ее подготовления, а вторая временем ее развития и обнаружения ее следствий, так и французская революция, с которой многие начинают «новейшую» историю Западной Европы, может быть рассматриваема как событие центрального значения, потому что к событию этому сходятся и от события этого расходятся все главные явления предыдущей и последующей истории. Мы можем идти и далее в этом сравнении: в конце XVIII в. Западная Европа вступила в столь же бурную эпоху, как и в начале XVI в., но как тогда общественные движения совершались под знаменем религиозных идей, еще ранее высказывавшихся в литературе, так и движениям, начавшимся в конце XVIII в., тоже предшествовала эпоха усиленной умственной работы, направленной на решение вопросов морали и политики. Это явление и составляет одну из характерных особенностей XVIII столетия, «века просвещения» или «философского века», как его называют. Новое культурное направление, соединившее в себе, как мы увидим, результаты гуманизма и протестантизма, унаследовавшее свободомыслие и светский характер первого и усвоившее заключавшиеся во втором элементы религиозной и политической свободы, в середине XVIII века овладело до известной степени абсолютными монархами и их министрами. В эту эпоху возникает характерное явление «просвещенного абсолютизма» или «просветительного деспотизма». Как в реформационный период церковные преобразования совершались двояким путем, или сверху, путем действия государственной власти, или снизу, путем общественных и народных движений, так и в это время государственные и общественные реформы предпринимались или по инициативе правительств («просвещенный абсолютизм»), или были, наоборот, результатом общественного движения (революция), причем «просвещенные деспоты» являлись иногда даже предшественниками революции, поскольку и они, и деятели последней ставили себе одни и те же задачи и исходили из одних и тех же идей.

Общий взгляд на историю четырех последних столетий

Прежде чем остановиться более подробно на главных очертаниях культурно-социальной эволюции Западной Европы в новое время, имея в виду, с одной стороны, явления, связанные с религиозной реформацией XVI в., а с другой — с политической революцией конца XVIII столетия, бросим самый беглый взгляд на чисто внешний ход европейской истории в XVI–XIX веках.

В XVI в. религиозная реформация, как известно, охватила Германию, Швейцарию, Данию, Англию, Шотландию и Нидерланды, а также проникла во Францию, в Венгрию, в Польшу. Результатом этого движения было отторжение от католицизма целых наций, среди которых возникли новые церкви, получившие название протестантских (лютеранская, цвинглианская, кальвинская, англиканская), и образовались разнородные секты (анабаптизм, индепендентство, социнианизм).

Вместе с этим религиозная реформация сопровождалась почти повсеместно разнообразными политическими и социальными движениями. В Германии в 20-х гг. XVI в. произошли рыцарское и крестьянское восстания, а в середине того же века вспыхнула война между императором и князьями. В других государствах (в Шотландии, во Франции, в Нидерландах в XVI в., а в XVII в. — в Чехии и в Англии) отстаивание протестантами прав своей веры сопровождалось борьбою сословно-представительных учреждений с королевскою властью, стремившеюся к абсолютизму. Последними проявлениями реформационной эпохи были борьба католицизма и протестантизма в Германии, известная под именем 30-летней войны (1618–1648), и события первой английской революции (1640–1649), за которою последовало установление в Англии республики. В середине XVI в. протестантская и сектантская реформация вызвала оживление в самом католицизме и так называемую католическую реакцию, которая вооружилась против всех новых культурных и социальных движений. С середины этого столетия до середины XVII в. Западная Европа была театром междоусобных и международных религиозных войн, закончившихся только Вестфальским миром (1648). В эту эпоху международные союзы возникали, главным образом, на основании вероисповедных соображений.

В XVI в. в общей политике Западной Европы первенствующую роль играла, как мы уже видели, Испания. Во второй половине этого

столетия она стояла во главе католической реакции, подавляя везде, где только было возможно, протестантизм (в Нидерландах, во Франции, в Англии). В последней четверти того же века поборниками реакции делаются и австрийские Габсбурги, которые в первой половине следующего столетия в союзе с Испанией стремятся к главенству над всей Западной Европой. Наконец, в исходе XVI в. и Польша становится оплотом католической реакции, чтобы действовать преимущественно на севере и востоке Европы (в Швеции и России). Против католических держав в эту эпоху боролись протестантские государства (Голландия, Англия во второй половине XVI века и Швеция в эпоху 30-летней войны). Хотя Франция и осталась католическою, тем не менее, она в большинстве случаев, в силу политических мотивов, находилась в борьбе с католическим лагерем.

Разные стороны реформационного движения

Внутри отдельных государств в эту эпоху шла не менее упорная борьба между разными вероисповеданиями. Хотя в начале реформации и был заявлен принцип свободы совести и многие проявления реформации были проникнуты религиозным индивидуализмом, однако повсеместно господствовал принцип церковного единообразия: в католических странах преследовали протестантов, в протестантских — католиков и т. п., т. е. подданные должны были следовать религии, признаваемой государством. Лишь после страшной борьбы иноверные подданные добивались от государственной власти веротерпимости. С другой стороны, как было сказано, шла борьба политическая — между сословно-представительными учреждениями, с одной стороны, и королевскою властью, с другой. В громадном большинстве случаев борьба эта кончалась не в пользу сословно-представительных учреждений, и к середине XVII в. почти повсеместно устанавливается абсолютизм. В XVII в. и в Англии династия Стюартов[142] делает попытку утвердить королевский абсолютизм, и только благодаря двум революциям Англия сохраняет свой парламент (1640–1649 и 1689)[143]. В католических странах развитию абсолютизма немало содействовала сама церковь, которая видела в «союзе алтаря и трона» лучшее средство против бурь той эпохи. В протестантских государствах светская власть тоже усиливалась вследствие того, что к ней переходили главенство над местным ду-

ховенством и обширные церковные имущества (которыми, впрочем, государи большею частью делились с дворянством). Таким образом, религиозная реакция сопровождалась реакцией политической. Сокрушив политическое могущество духовенства и дворянства, короли заключили с ними потом союз, оставив за ними культурное и социальное преобладание. Эта политика, в которой королевский абсолютизм соединялся с клерикализмом и аристократизмом, нашла наиболее рельефное свое выражение во Франции во второй половине XVII в., в системе Людовика XIV[144], которая может считаться весьма характерною для всего этого периода по развитию королевского абсолютизма, опиравшегося на бюрократическую централизацию, но в то же время оберегавшего культурное влияние духовенства и социальные привилегии дворянства.

Такое направление политики продержалось до середины XVIII в., когда абсолютизм стал отрешаться от своего исключительно клерикального и аристократического характера. Во второй половине этого столетия государственная власть вступила в новую борьбу с католицизмом и феодализмом и до известной степени подчинилась новому умственному движению «Просвещения», враждебного старым культурным и социальным формам. Ни отказываясь ни от абсолютизма, ни от бюрократической централизации, монахи и министры этой эпохи во многих культурных и социальных сторонах национального быта проводят реформы в духе требований Просвещения, откуда все это явление и получило название «просвещенного абсолютизма» (1740–1789). Но в освободительном движении XVIII в. были весьма сильны и враждебные абсолютизму идеи, начавшие оказывать практическое влияние с 1789 года.

XVIII век был, кроме того, эпохой крупных политических переворотов. Во-первых, это была эпоха вступления России в семью европейских держав. Великая Северная война окончилась переходом преобладания в Северной Европе от Швеции к России, которая, благодаря реформе Петра Великого[145], начала воспринимать вместе с тем начала западноевропейской цивилизации. Одновременно с этим, во-вторых, началось возвышение Пруссии, сделавшейся очень могущественною державою во второй половине столетия при «короле-философе» Фридрихе II[146]. Наконец, в союзе с Австрией, Россия и Пруссия поделили между собой Польское государство, ослабленное внутренними раздорами. Но еще более крупные перемены в между-

народных отношениях начались под влиянием вспыхнувшей в 1789 г. великой французской революции.

С этого важного события, имевшего значение не для одной только Франции, многие начинают, как было уже сказано, новейшую историю Европы, так как революция весьма скоро получила значение общеевропейское, и все главные политические, социальные и отчасти культурные движения XIX в. имеют своим исходным пунктом переворот 1789 г. Французская революция совершалась под знаменем двух главных общественных идей просвещения XVIII в., идей равенства и свободы. Она начала окончательную ликвидацию сословного строя, выросшего на почве феодализма, и была направлена против светского и духовного абсолютизма, перед которыми в «старом порядке» общество и личность были совершенно бесправны. В одних сторонах быта революция лишь завершила то, что непосредственно перед нею было предпринято просвещенным абсолютизмом, в других — она открывала собою совершенно новую эпоху, хотя и имела свои прецеденты в прошлом. Ближайшим образом для конца XVIII в. и первых годов XIX в. она была началом целого ряда войн и политических переворотов. В течение почти целой четверти века Франция, сначала бывшая республикой, потом ставшая империей, вела борьбу со старой монархической Европой (1792–1815). В этой борьбе победа была почти всегда на стороне Франции. Благодаря завоеваниям, ее территория увеличивалась вдвое против прежнего, а в присоединенных государствах вводились новые порядки, созданные в ней самой революцией. В целом ряде государств французы низвергали старые правительства, чтобы учреждать на их место республики или отдавать вакантные престолы братьям своего императора. Между прочим, в эту эпоху перестала существовать Священная Римская империя немецкой нации, а с нею и господствовавший в Германии политический феодализм. Это господство Франции в Западной Европе вызвало против нее сильную национальную оппозицию, и, в конце концов, образовавшийся против нее международный союз ввел эту страну в прежние границы и на Венском конгрессе (1814–1815), переделал политическую карту Европы. Вместе с тем началась абсолютистическая, клерикальная и феодальная реакция против всего того, что вошло в жизнь со времени Просвещения XVIII века. С этой реакцией, которую поддерживали духовенство и дворянство, вступило в борьбу свободное направление, поддерживавшееся буржуазией и получив-

шее название либерализма. Борьба привилегированных сословий с средним сословием представляет из себя весьма важную сторону социальной истории Западной Европы. В то же время подготовлялась почва для обострившейся несколько позднее борьбы между буржуазией и пролетариатом. Уже сама французская революция при своем демократическом характере выдвинула на сцену народные массы; но особенно важное значение имел для судьбы низших классов общества экономический переворот конца XVIII и начала XIX вв., о котором мы еще будем говорить. Пока господствовали привилегированные сословия, у буржуазии и у народа было много общих интересов; но с установлением гражданского равенства и усилением неравенства экономического интересы буржуазии и народа стали расходиться в разные стороны. На этой почве возник так называемый рабочий вопрос, и рядом с либерализмом в 20-х годах XIX в. явилось другое направление, получившее название социализма. И либерализм, и социализм имеют своим исходным пунктом французскую революцию.

Неодинаковость участия отдельных народов в этом движении

Указав на связь, какая существует между главными периодами новой европейской истории, и тем самым установив программу всего дальнейшего изложения этой истории, остановимся теперь на рассмотрении каждого из отмеченных явлений в отдельности, выдвинув на первый план, конечно, те из них, которые имеют наиболее существенное значение в выработке современного нам состояния Западной Европы. За гуманическим движением, о котором шла речь в предыдущем очерке, последовало движение реформационное, и с него нам поэтому следует начать наш обзор. Прежде всего установим его причины, чтобы понять его сущность и оценить его значение.

Реформационное движение было вообще явлением весьма сложным, но все его элементы с удобством распределяются по трем главным категориям: у каждой были свои причины, свои движущие силы, своя сфера действия, свои результаты. Прежде всего реформация была движением чисто религиозным, т. е. крупным событием в истории западного христианства, как вероучения и как церковной организации. С этой стороны в ее основе лежали верующая совесть, оскорблявшаяся «язычеством» «вавилонской блудницы», и направ-

ленная на вопросы веры мысль, не сносившая, говоря языком реформаторов и сектантов о римской церкви и папе, ига непомерной власти «антихриста». С этой стороны заявленными целями реформации были «возвращение христианства к апостольским временам» посредством «очищения веры от людских выдумок» и «освобождение духа от мертвящей буквы предания». Результаты Реформации в данном отношении суть разрушение религиозного единства Западной Европы, образование новых исповеданий и основание новых церквей, развитие мистического и рационалистического сектантства, перерешение догматических, моральных и церковно-практических вопросов, новое направление теологического мышления, развитие новых религиозных принципов, вольномыслие антитринитариев[147] и деистов[148], учения которых представляли собой выход из исторического христианства в философию «естественной религии», но вместе с тем и оживление умиравшего католицизма, пересмотр его догматов, починка всей его внутренней организации. Протест, который мы здесь видим, истекал из глубины религиозного чувства и из недр пытливой мысли, не удовлетворявшейся традиционным решением религии и морали вопросов.

Но средневековой католицизм, как мы видели, не был вероисповеданием только: как царство от мира сего, он вызывал против себя протесты иного рода из-за чисто светских побуждений, из-за отношений чисто земной жизни человека и общества. Он был целою системой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организацию средневековых католических народов: его универсализм отрицал национальность, его теократическая идея давила государство, его клерикализм, создававший духовенству привилегированное положение в обществе, подчинял его опеке светские сословия, его спиритуалистический догматизм представлял мысли слишком узкую сферу, да и в той не давал ей свободно двигаться. Поэтому против него давно боролись и национальное самосознание, и государственная власть, и светское общество, и усиливавшееся в последнем образование, — боролись не во имя чистоты христианского вероучения, не во имя восстановления Библии, как главного авторитета в делах религии, не во имя требований внутреннего голоса совести, встревоженной «порчей церкви», или пытливой религиозной мысли, обратившейся к критике того, что перед ее судом оказывалось «людскими выдумками», а просто потому, что система на все налагала свой гнет и слишком

грубо втискивала жизнь в свои рамки, мешая ее свободному развитию. Борьба против Рима, не касавшаяся вопросов царства не от мира сего, — явление довольно раннее в европейской истории: нападения на католицизм, как на вероучение и церковь, несогласные с духом христианства, со Священным Писанием, с требованиями верующей совести и пытливой мысли, возбужденной религиозными вопросами, — объединяло, усиливало, направляло к одной цели элементы светской борьбы с католицизмом во имя прав национальности, прав государства, прав светских сословий, прав образования, прав, в основе которых лежали чисто мирские интересы, — и само находило помощь в этой оппозиции Риму — национальной и политической, в этой вражде к духовенству — сословной и интеллектуальной. Гуманизм также заключал в себе идеи, через которые чисто культурно-социальная оппозиция могла бы объединиться, формулировать свои требования, направиться к одной цели. До известной степени он даже так и действовал, секуляризируя мысль и жизнь западноевропейских обществ, но значение реформации именно в том и заключается, что оппозиция против католической культурно-социальной системы во имя чисто человеческих начал интереса и права пошла под знаменем реформированной религии.

Наконец, развитие жизни выдвигало у отдельных наций разные другие вопросы политического, социального и экономического свойства, не имевшие сами по себе отношения ни к «порче церкви», ни к гнету курии и клира. Именно в разных местах Западной Европы велась своя внутренняя борьба и подготовлялись свои домашние столкновения, которые могли — как это и случилось в Испании при Карле V — разыграться вне всякой связи с реформацией церкви и с оппозицией против папства и клира, или же соединиться с движением чисто религиозным и с национальным, политическим, сословным и интеллектуально-моральным протестом против Рима и католического духовенства. Последнее мы и видим в Германии, где за реформацию схватились и гуманисты, незадолго перед тем окончившие победоносную кампанию против «обскурантов», и имперские рыцари, недовольные новыми порядками, заведенными в конце XV века, и крестьяне, начавшие волноваться еще раньше, и низший слой городского населения, среди которого происходило социальное брожение против богатых, и князья, наконец, стремившиеся отстоять себя против усилившейся власти императора.

Перечисленные причины реформационного движения XVI в. были далеко неравномерно распределены по разным странам. Не говоря уже о том, что у каждого народа в его внутренней жизни была своя «злоба дня», — у одного — одна, у другого — другая, у одного — способная уладиться путем мирной реформы, у другого необходимо вызывавшая революционное столкновение, — отдельные народы были в своих массах и в своих правящих классах не совсем одинаково и не в одном и том же смысле религиозны, различным образом относились к далекой курии и к своему собственному клиру, потому что и курия в сущности вызывала к себе разные чувства, и клир одной страны не был похож на клир другой, да и сами нации во всем остальном не вполне походили одна на другую. Одни остались верны и старой религии, и «святейшему отцу», и своим духовным пастырям, тогда как другие завели у себя новые веры, отреклись от папы, как от «антихриста», возмутились против духовных лиц, как против «волков в овечьей шкуре». Мало того: в одной и той же нации реформация имела иногда совершенно разный успех у отдельных сословий и начиналась то снизу, от общества, то сверху, от власти, да и тут вопрос о том, пойдут ли правительство за народом или народ за правительством, решался в общем и в подробностях не везде одинаково. Вот почему при изучении Реформации в какой-либо отдельной стране нужно иметь в виду некоторые общие вопросы, ответы на которые должны заключать в себе объяснение несходств, которые мы в данном случае наблюдаем. Религиозное настроение отдельных стран было далеко неодинаково, и как сам католицизм в лице своих представителей, так и отношение к нему отдельных народов были не одни и те же в разных странах. Испания, например, только что покончившая вековую борьбу с маврами, была вполне довольна своим католицизмом, сделавшимся ее национальным знаменем, да и сама воинствующая церковь не подверглась здесь порче в такой степени, как в других местах. Наоборот, в Германии давно происходило глухое, но глубокое религиозное брожение, которое рано или поздно должно было прорваться наружу. Как в умственном, так и в нравственном отношении опять отдельные народы стояли далеко не на одинаковом уровне. Например, итальянская гуманистическая интеллигенция была довольно индифферентна к религии и церкви, а народная масса в Италии суеверна и чувственна, между тем как немецкий гуманизм соединялся с богословскими интересами и с реформационными стремлениями, а в народных мас-

сах Германии замечалось в развитии сектантства именно более интимное и моральное отношение к религии, чем в Италии. То же самое различие замечается и по отношению к национальной оппозиции. В Испании католицизм и национальность сделались синонимами, благодаря религиозной и племенной борьбе с маврами, для Италии папство было тоже как бы национальным учреждением, но в Германии беззастенчивое хозяйничанье курии оскорбляло национальное чувство, в то же самое время, как и немецкие князья чувствовали всю тяжесть папской опеки, которая была неизвестна, например, во Франции, где государственная власть сумела оградить себя от вмешательства папы во внутренние дела нации. Далее, на историю Реформации оказывали влияние внутренние, чисто политические отношения отдельных стран и на первом плане их устройство. Государства, уже объединившиеся под единою властью, в общем решали у себя вопрос в ту или другую сторону, т. е. или оставались католическими, или принимали протестантизм, тогда как в таких федерациях, какими были Германия и Швейцария, отдельные княжества и кантоны каждый по-своему решал вопрос, и политическая раздробленность отражалась на религиозном разъединении, как, в свою очередь, религиозное разъединение способствовало и политическому распадению федеративной страны (Нидерланды). Равным образом и форма правления, существовавшая в государстве, обыкновенно переносилась и в новое церковное устройство: реформация, возникшая в Германии или в Англии, приняла монархический характер, тогда как цюрихская и женевская — республиканский. Далее, реформа могла идти снизу, от народа, или сверху, от власти, могла быть общенародной или сословной, могла содействовать усилению государственной власти или расширению народных прав. В Германии реформа началась снизу и была общенародной, но политическое и социальное движение, совершившееся под религиозным знаменем, было подавлено князьями, и все плоды протекших событий выпали на их долю. В Шотландии и в Голландии реформа началась тоже снизу, но результаты ее были уже иные. В Дании и в Швеции инициатива реформации принадлежала королевской власти, так же, как и в Англии, но в этой последней стране рядом с Реформацией, возникшей по инициативе правительства и содействовавшей его усилению, совершилась другая реформация, народная, и столкновение между обеими было одной из сторон той революции, которая произошла в Англии в середине XVII в. и содей-

ствовала победе прав нации. Во Франции и в Польше ни власть, ни масса населения не приняли участия в движении: в обеих странах оно получило характер сословный, преимущественно дворянский и, хотя в разных степенях, содействовало во Франции усилению королевской власти, а в Польше, наоборот, ослаблению вообще государственного начала. Важно также различие между странами ранней Реформации и странами Реформации поздней: в первых все было вновь, вторые имели уже многое готовым; движение, совершившееся в одних, застало католицизм врасплох, в других оно встретило уже сильное противодействие со стороны старой церкви. Наконец, в разных местах возникли неодинаковые учения, которые различным образом решали вопросы не только религии, но и морали, и права, и политики.

Общие принципы Реформации

Конечно, при рассмотрении реформации с общей точки зрения не эти различия должны остановить на себе наше внимание, а именно то, что имеет более универсальное значение.

Каждое крупное историческое движение имеет свои принципы: иногда они прямо и ясно формулируются участниками или свидетелями движения, иногда составляют подкладку фактов последнего и именно в мотивах отдельных действий, в настроениях действующих лиц, в том значении, какое факты получают при научном их изучении. Реформация была как раз одним из таких явлений: масса событий, составляющих ее историю, объединяется своею однородностью, и в ней мы должны искать некоторую совокупность принципов, собственно и образующих понятие протестантизма, взятого с культурной и социальной или политической стороны. Действующие в истории идеи нельзя рассматривать отвлеченно, ибо они играют роль исторических факторов, определяя мысль, чувство и волю деятелей движения, ставя цели для их деятельности, придавая ей характер и направление, ибо одни идеи всегда существуют рядом с другими, им родственными и враждебными, и рядом с разными интересами, вступая с ними во взаимодействие и испытывая при этом разные изменения, да, наконец, и не все деятели данной эпохи суть представители одних и тех же идей, а, будучи их представителями, не всегда делают из них логические выводы и бывают последовательны в их при-

менении. Реформационное движение было движением идейным, и принципы протестантизма оказали гораздо более заметное влияние на тогдашнюю историю, чем принципы гуманизма: протестантизм не оставался мыслью и словом, а переходил в дело, и под его знамя становились другие исторические факторы, потому что он овладевал умом, чувством и волею людей и до известной степени перевоспитывал их, насколько вообще новые направления бывают способны сразу изменять старые миросозерцания, настроения и привычки. Изучая протестантизм не с точки зрения абсолютных идей, а с относительной, исторической точки зрения, мы должны рассмотреть, насколько принципы протестантизма соответствовали культурному состоянию общества, чтобы быть принятыми, и насколько принятое могло осуществиться, и рассмотреть притом в связи с другими принципиальными явлениями того же порядка, с католицизмом, который сам обновился под влиянием Реформации, и с гуманизмом, уже проявившимся в разных сферах умственной деятельности общества.

Исходные пункты протестантизма находились в полной противоположности с католицизмом, хотя принципы первого и не были целиком введены в жизнь, дав только начало новому движению: это были противоположные принципы авторитета и индивидуальной свободы, внешней набожности и внутренней религиозности, традиционной неподвижности и движения вперед. Так дело представляется, однако, только с отвлеченной точки зрения, но в действительности Реформация слишком часто была только переменой формы, и, например, кальвинизм во многих отношениях был лишь сколком с католицизма. Да и в самом деле, вообще, Реформация заменяла один церковный авторитет в делах веры другим или авторитетом светской власти, установляла известные для всех обязательные внешние формы, хотя бы и не в смысле обрядности, и, внесши новые начала в церковную жизнь, делалась по отношению к ним силою консервативною, не очень-то допускавшею дальнейшее движение вперед. Таким образом вопреки основным принципам протестантизма, бывшего сначала проявлением индивидуализма в религии, Реформация в действительности сохраняла многие католические культурно-социальные традиции. Протестантизм, взятый с принципиальной своей стороны, был религиозным индивидуализмом и в то же время попыткою освободить государство от церковной опеки. Последнее удалось в большей степени, чем проведение индивидуалистического

принципа: государство не только освобождалось от церковной опеки, но само подчиняло себе церковь и становилось на место церкви по отношению к своим подданным, прямо уже вопреки индивидуалистическому принципу Реформации.

Своим индивидуализмом и освобождением государства от теократической опеки протестантизм сходится с гуманизмом, в котором, как мы знаем, индивидуалистические и секуляризационные стремления были особенно сильны. Общими чертами у Ренессанса и Реформации были стремление личности создать собственное миросозерцание, соединявшееся с критическим отношением к традиционным авторитетам и с развитием рационализма и индивидуалистического мистицизма; освобождение жизни от аскетических требований с реабилитацией инстинктов человеческой природы, выразившееся в отрицании монашества и безбрачия духовенства: эмансипация государства, секуляризация церковной собственности и т. д. Но, сходясь между собою в одном, протестантизм и гуманизм расходились между собою во многом другом, будучи один явлением преимущественно светской культуры, другой — культуры религиозной. В самом деле, гуманисты исходили из идеи земного благополучия личности, реформаторы — из идеи загробного спасения; в своих стремлениях одни опирались на классиков, другие — на Св. Писание и отцов церкви; одни радовались возрождению античной образованности, другие стремились возвратить церковь к первым векам христианства; в одном направлении индивидуализм принимал характер рационалистический, в другом — мистический. Где сильно было светское возрождение, там слабо было движение реформационное, и наоборот, где последнее широко охватывало нацию и глубоко в нее проникало, там гуманизму наносился удар. Оба направления, конечно, сближались: немецкий гуманизм, отличный от итальянского, индифферентного к религии, соединялся с богословскими занятиями, и некоторые видные его представители сделались деятелями Реформации; такое же сближение мы замечаем между Реформацией и гуманизмом и в рационалистическом сектантстве с его религиозным вольномыслием. Но иногда оба движения расходились до резкой противоположности: мистический анабаптизм, кальвинизм и индепендентство отличались пренебрежением и даже враждебностью к светской науке и литературе. Реформация иногда прямо являлась реакцией против светского направления жизни, которое она обвиняла в язычестве. Ре-

форматоры упрекали папство в том, что оно омирщилось; Лютер[149] говорил, что без Реформации весь мир сделался бы эпикурейским; суровое сектантство самим реформаторам казалось возрождением монашеского аскетизма. Особенно реакционным характером относительно светской культуры отличался кальвинизм, бывший во многих отношениях как бы усугублением католицизма: слив государство с церковью, поставив общество под надзор духовенства, подчинив его ригористической дисциплине, объявив войну мудрствующему разуму, кальвинизм, в сущности, принял принципы, прямо противоположные гуманистическим индивидуализму и секуляризации мысли и жизни. Одним словом, протестантизм, как и всякое другое историческое явление, заключал в себе противоречия и непоследовательности, но общим своим религиозным характером он более подходил к тогдашнему культурному состоянию Европы, чем светский гуманизм.

Но у Реформации были и некоторые важные заслуги сравнительно с гуманизмом в истории культурного и политического развития. Совершенно индифферентный или слишком рассудочно относившийся к религии гуманизм не предъявил миру индивидуалистического принципа свободы совести, явившегося на свет Божий только благодаря Реформации, которая, в свою очередь, оказалась, впрочем, неспособной понять свободу мысли, возникшую в гуманистическом движении. С другой стороны, в своей политической литературе гуманизм не развил идеи политической свободы, которую, наоборот, защищали в своих сочинениях кальвинисты, а позднее индепенденты, но протестантские политические писатели не могли отрешить государственной жизни от конфессиональной окраски, что, наоборот, как раз было сделано гуманистами.

Религиозная и политическая свобода новой Европы обязаны своим происхождением преимущественно протестантизму, свободная мысль и светский характер культуры ведут начало от гуманизма. Обновленный католицизм, конечно, остался принципиальным противником свободы совести и свободы мысли, но он входил в сделки с политической свободой и со светской культурой, когда это находил нужным для восстановления своей власти над миром, между тем как у протестантов, защищавших политическую свободу, последняя была чем-то вроде религиозного догмата, а у представителей светского образования само оно являлось целью, а не средством для чего-то

другого. Сопоставляя эти культурно-социальные принципы протестантизма, гуманизма и нового католицизма, мы должны признать общую прогрессивность двух первых, несмотря на все их недостатки по отношению к требованиям их времени, как должны признать и общий регрессивный характер католической реакции, порожденной, как увидим, самою же Реформацией.

Рассмотрим теперь судьбу идей свободы совести, свободы мысли, свободы светского государства и политической свободы в истории Реформации.

Исходным пунктом Реформации был религиозный протест, имевший в своей основе нравственное убеждение: все отделившиеся от католической церкви во имя своего религиозного убеждения встретили против себя католическую церковь, а иногда государственную власть, но мужественно, и часто даже претерпевая мученичество, отстаивали свою веру, свободу своей совести, которая прямо была возведена в принцип религиозной жизни анабаптистами[150] и индепендентами[151]. В большинстве случаев, однако, принцип этот страдал и искажался. Дело в том, что весьма нередко гонимые прибегали к нему в видах самообороны, не имея достаточно терпимости, чтобы не сделаться гонителями других, когда представлялась к тому возможность, и думая, что, как обладатели истины, они могут принуждать к вере в нее других. Ставя Реформацию под покровительство светской власти, они передавали государству права старой церкви над индивидуальною совестью. С другой стороны, завоевывая религиозную свободу, весьма часто они завоевывали ее только для себя и ссылались при этом не столько на индивидуальное свое право, сколько главным образом на тот принцип, что нужно более повиноваться Богу, чем людям, но этим же повиновением Богу оправдывалось у них и нетерпимое отношение к иноверию, в котором они видели оскорбление Божества. Только позднее среди индепендентов утвердился принцип, по которому Христос, искупив всех людей своею божественною кровью, сделался единственным господином над человеческою совестью. Реформаторы даже признавали за государством право наказывать еретиков, которое и власть считала своим потому, что видела в отступлении от господствующего вероисповедания ослушание ее велениям. Только позднее индепенденты развили учение о невмешательстве государства в религиозные дела, и исходя не из индифферентной терпимости, а из идеи свободы совести. Гуманистический

религиозный индифферентизм, конечно, соединялся с терпимостью к иноверию, но в нем не было уважения к свободе религиозной совести, и с такой точки зрения могло, например, оправдываться насилие над чужою верою во имя политической необходимости.

Таким образом в протестантизме воззвания к свободе совести у гонимых соединялись с нетерпимостью власть имеющих, в гуманизме — широкая терпимость с непониманием настоящей свободы совести: нужно было соединение свободы совести с терпимостью при устранении нетерпимости и неуважения к чужой совести, чтобы мог возникнуть чистый принцип религиозной свободы.

Что касается до свободы мысли, то Реформация отнеслась к ней неприязненно, хотя и содействовала ее развитию. Вообще в Реформации теологический авторитет ставился выше деятельности человеческого разума, и обвинение в рационализме было одним из наиболее сильных в глазах реформаторов. Не предвидя того, к чему поведут заявления о свободе совести и правах разума, Лютер на Вормском сейме[152] отстаивал и первую, и вторые, но когда на основании тех же принципов стали высказывать свои взгляды анабаптисты и антитринитарии, реформатор сам же отшатнулся от начал, приводивших к таким результатам.

То же самое, в сущности, было и с другими протестантами, когда перед боязнью ереси они забывали права чужой совести и отрицали права собственного разума. Между тем самый протест против требования католической церкви верить без рассуждения заключал в себе признание известных прав за индивидуальным пониманием, и было в высшей степени нелогичным признавать свободу исследования, а за его результаты наказывать. Элемент научного исследования между тем был внесен в теологические занятия реформаторов еще немецкими гуманистами, которые с интересом к классическим авторам соединяли интерес к Св. Писанию и отцам церкви. Поэтому, несмотря на общий принцип подчинения авторитету Писания, самое его толкование требовало деятельности разума, и рационализм, к которому, как мы уже сказали, большинство протестантов и сектантов относилось враждебно, тем не менее проникал в дело церковной реформы.

Далее, в вопросе о взаимных отношениях церкви и государства, Реформация равным образом не держалась одного определенного принципа: в лютеранстве и в англиканстве церковь стала в зависимое положение от государства, а в кальвинизме обе организации, свет-

ская и духовная, как бы сливались воедино. Во всяком случае, однако, реформационное государство оставалось вероисповедным, а реформационная церковь становилась государственной. Связь между церковью и государством порывалась только в сектантстве, особенно в английском индепендентстве, выработавшем те отношения между религией и политикой, какие потом и утвердились в американских колониях Англии, будущих Северо-Американских Соединенных Штатах. В общем Реформация не изменила существа старых связей, и в XVIII в. среди католических государей было сильно стремление сделать из церкви государственное учреждение, а духовенство превратить в чиновничество. Только взаимные отношения изменились, ибо в общем Реформация дала государству преобладание и даже господство над церковью, сделав из самой религии как бы прежде всего дело государства.

Наконец, нужно не забывать, что Реформация оказала большое влияние на постановку и решение социальных и политических вопросов в духе принципов равенства и свободы, хотя она же содействовала и противоположным общественным тенденциям. Мистическое сектантство в Германии, в Швейцарии, в Нидерландах было и проповедью социального равенства, но, например, рационалистическое сектантство в Польше было характера аристократического, и многие польские сектанты шляхетского звания даже защищали право истинных христиан иметь рабов, ссылаясь на Ветхий Завет. Все здесь зависело от среды, в которой развивалось сектантство. То же самое можно сказать и о политических учениях протестантов: лютеранство и англиканизм отличались монархическим характером, цвинглианство и кальвинизм — республиканским. Часто говорят, будто протестантизм всегда стоял на стороне власти, но это неверно, потому что роли католиков и протестантов менялись, смотря по обстоятельствам, и те же самые принципы, которыми кальвинисты оправдывали свое восстание против «нечестивых» властей, были в ходу и у католиков, как это проявилось в иезуитской политической литературе и во время религиозных войн во Франции. Но что особенно важно в реформационном движении для понимания дальнейшего политического развития Западной Европы, так это развитие в кальвинизме идеи народовластия. Несмотря на то, что некальвинисты были изобретателями этой идеи и что не одни они развивали ее в XVI в., никогда ранее она не получала одновременно такой теоретической обосновки и такого

практического влияния, как с XVI в., и ни для кого не имела такого религиозного значения, как для кальвинистов, потому что они верили в ее истинность, как в своего рода религиозный догмат. Впрочем, если и допустить влияние собственно идей Реформации на зарождение новых политических теорий, то настоящим источником последних была та политическая борьба, которая характеризует самую жизнь государства в XVI веке.

Католическая реакция

Реформационное движение XVI в. вызвало, как известно, — хотя и не сразу, — противодействие со стороны католицизма, или так называемую католическую реакцию, которая была соединена и с реформою самого католицизма. Останавливаясь на этом явлении, мы не должны забывать, что оно находится в тесном родстве с реакцией, происходившей и среди тех общественных элементов, которые сначала были захвачены реформационным движением. Это обнаружилось с самого же начала Реформации в Германии, когда под знаменем новых религиозных идей началась целая политическая и социальная революция. Здесь именно остались не без влияния и разочарование одних после того, как Реформация не оправдала всех возлагавшихся на нее надежд, и опасения других, когда движение стало выходить за те границы, которые ему хотели поставить как сами реформаторы, так и светские власти с высшими классами общества, сначала безусловно с сочувствием относившиеся к делу Реформации. Политическая опасность, боязнь смут в государстве являлась вообще для некоторых государей первой половины XVI в. главным аргументом против протестантизма, и потому они на первых же порах Реформации стали преследовать «еретиков». В данном случае не было разницы между отношением протестантских правительств к сектантам и католических князей и кантонов к самим протестантам. Дело в том, что реакционные стремления обнаружились и в самом протестантском лагере, среди богословов, боявшихся, что свобода исследования приведет к ереси, и среди государей и имущих классов, опасавшихся политических смут и демократических движений. Богословскими спорами, первоначальною неразработанностью своих учений, появлением сектантства и т. п. Реформация оттолкнула от себя многих людей, оставшихся верными католицизму, где все было ясно и опре-

деленно. В свою очередь, вероисповедные распри самих протестантов, помимо того, что дискредитировали новое религиозное учение, вдобавок ослабляли его еще перед общим врагом, каким для них всех был католицизм. Все это подготовляло почву для реакции, и реакция не замедлила наступить.

Католическая реакция относится к числу тех весьма часто повторяющихся в истории случаев, которые многими писателями возводятся в закон истории, хотя до сих пор в весьма мало еще разработанной теории исторического процесса нет ни одной попытки осветить с общей теоретической точки зрения постоянно наблюдаемую в истории смену развития новых культурно-социальных явлений диаметрально противоположною тенденцией возвращения назад. Реакции, стремящиеся задержать новые движения или совсем их прекратить, в истории случаются весьма часто, но большею частью они касаются отдельных сторон культурно-социальной жизни и иногда даже не носят названия реакций. Католическая реакция XVI в. представляет собою явление не только весьма заметное, но даже до известной степени охватывавшее всю историческую жизнь европейского Запада в известную эпоху. Таких реакций новая история знает только две.

Одна из них и была именно та, которую называют католической, но которая осложнялась и иными влияниями. Мы знаем уже, что в конце средних веков католицизм и сам находился в разложении, и против него возникли светская оппозиция и религиозный протест, нашедшие свое выражение в Возрождении и Реформации, но как раз эта самая реформация оказала влияние на расшатанный католицизм, заставив его реформировать себя и вызвать его на борьбу со всем, что только противоречило его традициям, откуда и возникла общая реакция средних веков против нового времени. В борьбе с католической реакцией, собственно говоря, и шло все дальнейшее культурно-социальное развитие, переработавшее прогрессивные начала гуманизма и протестантизма в так называемое «просвещение» XVIII века, которое, в свою очередь, оказало большое влияние на общественные преобразования XVIII века. Как известно, это новое движение окончилось опять бурной эпохой, за которою наступила в начале XIX в. эпоха реакции, направившейся против указанного движения. Одним словом, в истории Западной Европы, взятой в целом, за движениями, обозначаемыми названиями Ренессанса и Реформации, наступила эпоха католической реакции, ослабление которой знаменуется но-

выми движениями вперед, «просвещением» XVIII в., просвещенным абсолютизмом и революцией 1789 г., — движениями, за которыми следовала новая общая реакция.

Собственно говоря, это — два параллельных течения в истории Европы, в которых действуют силы инноваторские и силы консервативные, всегда существующие в обществе, но не всегда находящиеся в одних и тех же взаимных отношениях. Вообще разложение всякой культурно-социальной системы характеризуется, с одной стороны, выступлением сил, стремящихся внести в жизнь новые начала, с другой, полной дезорганизацией сил консервативных, что прекрасно иллюстрируется успехами гуманистического и реформационного движений при совершенном внутреннем расстройстве католицизма: тогда-то и наступает движение вперед, успехи которого заставляют, однако, сплотиться силы консервативные в то самое время, как одна часть общества, сначала, сочувствовавшая переменам, отвращается от них, когда они принимают неожиданный или нежелательный для нее характер, а другая часть, в свою очередь, разочаровывается в движении, раз оно не исполняет всех возлагавшихся на него надежд и упований, и напуганные с обманувшимися или примыкают к реакции, или, по крайней мере, отступаясь от движения, тем самым его ослабляют.

К сороковым годам XVI в., когда началось возрождение католицизма, едва только возникала кальвинистическая организация протестантизма, сильное распространение которого относится уже к следующим десятилетиям, когда организовались силы самого католицизма. К этому времени целые еще страны или вовсе не были, или не были серьезно затронуты реформационным движением, да и там, где оно произошло, оно не одержало полной победы. У католицизма еще были большие средства борьбы, но в нем господствовали деморализация и дезорганизация. То, что называли «порчей церкви», было одной из причин реформационного движения, которое питалось потом справедливыми нареканиями на безнравственность духовенства и его нерадение к исполнению своих обязанностей. Во всяком случае, пока своим поведением клир давал повод протестантам нападать на церковь, у Реформации было одним шансом больше, а значение этого шанса увеличивалось, благодаря тому, что в противодействии протестантизму деморализованный клир отстаивал больше только свои светские интересы, мало заботясь об интересах самой религии.

Церковь давно требовала реформы, которая была тем настоятельнее теперь, что многих в протестантизм толкало видимое нежелание церковной власти произвести самые необходимые преобразования, и что развивавшемуся и систематизировавшемуся протестантизму нужно было противопоставить твердое католическое учение. Все это, вместе взятое, позволяло протестантизму развиваться и распространяться без всяких почти препятствий со стороны церкви, если не считать отлучений, проклятий и обращений к светской власти. По тем же причинам и реакционное настроение, существовавшее у многих в светском обществе, сравнительно мало приносило выгоды церкви, а оно несомненно было. Реформация, собственно говоря, застала католическую церковь врасплох, и организация реакции против Реформации сразу возникнуть не могла, тем более, что ее инициаторам пришлось еще бороться со всем, что составляло причины деморализации и дезорганизации клира, да и сами эти инициаторы явились не тотчас же, а когда реформация приняла уже более грозные размеры. Для того, чтобы воспользоваться реакционным настроением разных общественных элементов, усилить это настроение, организовать склонные к нему социальные силы, направить их к одной цели, католической церкви нужно было самой подвергнуться некоторой починке, дисциплинировать клир, заставить папство отказаться от чересчур светской политики, создать новые средства для борьбы, вступить в более тесный союз с католическими государями, противопоставив вместе с тем «еретической» Реформации свою правоверную Реформацию. Все это мало-помалу и произошло, начавшись в середине XVI века, когда на помощь католицизму был основан новый орден иезуитов, главных деятелей реакции (1540), учреждено было верховное инквизиционное судилище в Риме (1542), одновременно организована строгая книжная цензура и созван Тридентский собор (1545), который и произвел то, что можно назвать католической реформацией. Но вышедший из этой эпохи католицизм нового времени, — который, собственно говоря, был моложе и протестантизма, и сектантства XVI в., — значительно отличался от католицизма дореформационного. Перед началом Реформации католицизм был чем-то окоченевшим в официальном формализме, теперь он получил жизнь и движение. Это не была церковь XIV и XV вв., которая не могла ни жить, ни умереть, а деятельная система, приспособляющаяся к обстоятельствам, заискивающая у королей и народов, всех заманн-

вающая, кого — деспотизмом и тиранией, кого — снисходительной терпимостью и свободой. Теперь церковь не была уже бессильным учреждением, которое искало помощи извне, не имея внутренней силы, и всюду обращалась с просьбой о реформе и излечении, не обнаруживая искреннего желания исправиться и обновиться. Она была теперь стройной организацией, которая пользовалась в обществе, ею же перевоспитанном, большим авторитетом и, умея фанатизировать массы, руководила ими в борьбе с протестантизмом. Педагогика и дипломатия были великими орудиями, которыми действовала эта церковь: моделировать личность на свой образец и заставлять ее служить чужим целям так, чтобы, однако, она сама этого не замечала, — это были два искусства, особенно отличающие деятельность главных представителей возродившегося католицизма, иезуитов. Одной прежней церковной кафедры и громов папского отлучения оказывалось мало для власти над новым обществом: это общество нужно было еще так воспитать, чтобы оно не шло слушать других проповедников, кроме католических, чтобы оно не оставалось равнодушным к отлучению; нужно было еще эксплуатировать человеческие слабости, чтобы был интерес быть католиком и служить римской церкви, и нужно было оказывать человеку поблажки, когда в этом была какая-либо выгода. Органом этой новой политики католицизма и был именно орден иезуитов, которому принадлежит такая видная реакционная роль на Западе даже до настоящего времени.

Действительно, новый дух, которым отличался реакционный католицизм, возрожденный Тридентским собором, вполне выразился в иезуитизме. Иезуитизм — это синоним реакции, которая, не пренебрегая репрессией, действовала главным образом на ум, на сердце, на волю людей, искусно воспитывая их и направляя туда, куда было нужно в интересах церкви, как организации, безусловно призванной господствовать над личностью, над обществом и над государством. Знаменитый орден был громадною международною организацией, поставившею себе целью укрепить католическую церковь внутри, подчинить светскую власть духовной, а общество клиру, объединить все католические нации и государства для борьбы с общим врагом, ослабить протестантизм, сея раздоры между его представителями, возвратить по возможности побольше отпавших в лоно римской церкви и приобрести для нее новых чад вне старого католического мира. В умственной сфере иезуиты содействовали возрождению

средневековой схоластики, заимствовав у гуманистического классицизма только чисто формальные его стороны и превратив логическую и познавательную деятельность ума в софистику и казуистику, которые не в состоянии дать мысли способность самостоятельного суждения. В сфере политической они явились защитниками теократических начал, ради чего, когда нужно было, становились даже на точку зрения народовластия, оправдывая ею всякий протест вплоть да цареубийства, если того требовал своеобразно понятый интерес веры, — и вместе с этим переносили в политику принципы макиавеллизма, раз все средства были одинаково пригодны, лишь бы достигнута была главная цель — величие папства и католической церкви.

Следствиями католической реакции не нужно считать только те, которые она имела по отношению к Реформации. Пора совсем оставить этот взгляд, который прежде всего был подсказан протестантскими историками Реформации, смотревшими на всю новую историю со своей конфессиональной точки зрения. Собственно говоря, весь дух нового времени, поскольку он воплощался в стремлениях личности, общества и государства к самоопределению, поскольку одни и те же начала действовали и в протестантизме, и в гуманизме, поскольку, наконец, совершившееся личное развитие ставило перед индивидуализмом новые задачи в области научного, нравственного и общественного миросозерцания, — весь дух нового времени встретил помеху и противодействие в католической реакции и в иезуитизме, возведшем эту реакцию в принцип. Она имела притом не одно культурное, но и социально-политическое значение, так как пошла на помощь ко всем реакционным стремлениям в обществе и в государстве, вступила в союз со всеми консервативными в них элементами и заставила их служить своим целям посредством подавления религиозной, умственной, общественной и политической свободы. Торжество новых культурных и политических принципов в XVIII в. ранее всего, как известно, выразилось в уничтожении ордена иезуитов, но едва только во втором десятилетии XIX в. началась уже отмеченная реакция против всего предыдущего движения для восстановления средневековых форм мысли и жизни, орден иезуитов опять был восстановлен и снова призван к деятельности. Хотя реакционные явления происходили и в самом протестантизме, в котором тоже ведь возрождались схоластика, формализм, нетерпимость, клерикализм и другие подобного рода унаследованные от католицизма

явления, — культурная реакция в протестантских странах не заходила так далеко, как в католических, и это прямо бросается в глаза при самом беглом взгляде на историю католических и протестантских народов в XVI–XVIII веках. Особенно в этом отношении поучительны факты, представляемые историей таких стран, как католические области Германии, Италия, Испания с Португалией и Польша. С другой стороны, там, где вполне развились протестантские культурные и политические начала, — а это произошло в XVII в. в Голландии и в Англии, — сделаны были и особые успехи на пути прогресса, и если в XVII столетии Голландия и Англия уже представляли собою противоположность странам, где восторжествовали принципы католической реакции, то в XVIII в. остальная Европа была многим обязана этим двум государствам как сохранившим от гибели прогрессивные течения новой истории и развившим их далее.

Наконец, говоря о католической реакции, нельзя не напомнить о целом столетии внутренних и международных войн, вызванных стремлением подавить новое религиозное движение и уничтожить его результаты. Эти войны сильно повредили духовной и материальной культуре тем разорением, которому подвергались отдельные области и страны. На службе у католической реакции обессилили себя политически и целые большие государства. Политическое ничтожество, в какое впали когда-то могущественная Испания и Польша, объясняется тем, что в обеих странах под влиянием иезуитов и вообще вследствие реакции заглохла культурная жизнь, и как в одной королевский деспотизм, так в другой шляхетская анархия находили поддержку со стороны духовенства, поскольку с этим деспотизмом и с этой анархией были связаны интересы католицизма. Каковы бы ни были недостатки протестантизма, он не требовал у народов и у государств пожертвования национальными и политическими интересами интересам католической церкви, противопоставившей себя, как самодовлеющее целое, живым силам народов и отдельных личностей.

Общим следствием реакции было временное торжество в жизни Западной Европы некоторого отвлеченного начала, которое должно было господствовать над личностью и над обществом в их религиозных, умственных, моральных, социальных и национальных стремлениях и интересах и которому все поэтому должно было повиноваться, служить, приносить себя в жертву, отдавая себя всецело

во власть людей, представлявших собою это начало, т. е. отказываясь от всех своих прав и все права над собою передавая представителям единого всепоглощающего целого. Целью католической реакции было воплотить эту отвлеченную идею в римской церкви, сделав из папства, как верховного представителя католицизма, высшую силу на земле, перед которою все бесправны, но которая сама не должна знать никаких пределов и ограничений в своей власти. В этом-то и заключалась величайшая реакция со стороны всего того, что было в старом быту враждебного личному, социальному, политическому и национальному самоопределению, и реакция именно против всего того, что создавал индивидуализм нового времени. Впрочем, как мы увидим, не в одном реакционном католицизме находило свое воплощение это начало: его стремилась воплотить в себе и государственность той же эпохи.

Итак, следя за господствующими течениями в истории Западной Европы в начале нового времени, мы можем подвести их под такую схему: с XIV в. начинается гуманистическое движение, по характеру своему совершенно светское, но в то же самое время происходит подготовление другого движения, совершенно религиозного, в котором нужно различать одно более прогрессивного характера, Реформацию, и другое, за ним последовавшее, регрессивного направления, — католическую реакцию. В эпоху реформации и католической реакции светское гуманистическое движение затихло, заглохло, но когда религиозные вопросы снова отошли на задний план, то возобновилось культурное движение, начатое гуманизмом. Мы говорим о просветительном движении XVIII столетия.

Просвещение XVIII века

То, что называется «просвещением» XVIII в., — века, в свою очередь, именуемого философским или веком просвещения, — было естественным результатом умственного развития, совершавшегося в европейском обществе благодаря усилиям индивидуальной мысли. По своему светскому характеру умственное движение XVIII в. было как бы продолжением движения гуманистического, на время прервавшегося под влиянием реформации и католической реакции, которые оживили религиозное чувство, подновили интерес к теологическим занятиям и направили развитие общественной мысли по иному рус-

лу, нежели то, которое прокладывалось для нее гуманистическим направлением. Когда мало-помалу реформационная горячка и католический фанатизм улеглись, жизнь выдвинула на первый план не те теоретические вопросы, которые более всего волновали реформаторов и общественные классы, принимавшие наиболее активное участие в движении. И вот общие причины, уже раз вызвавшие к жизни светский гуманизм, создали и светское «просвещение» XVIII в. Хотя в эпоху Просвещения об истории Ренессанса имели весьма смутное понятие, и честь выяснения сущности этого исторического явления принадлежит лишь исторической науке второй половины XIX в., тем не менее «просветители» чувствовали, что между ними и гуманистами существует внутреннее родство. Умственное направление XVIII в. было в сущности гуманизмом, но только с значительными видоизменениями и осложнениями.

Если для гуманистов античная литература и была лишь опорой в их стремлениях к выработке нового миросозерцания, тем не менее они все-таки зависели сильно от воззрений классического мира. В самом деле, вся гуманистическая философия была одним только возобновлением стоицизма и эпикуреизма, платонизма и аристотелизма, в XVIII же столетии европейский ум уже тверже стоит на собственных ногах; одним из признаков этого было то, что в Европе еще в XVII в., как мы видели, зародилась своя собственная философия. В выработке нового миросозерцания приняло, далее, большое участие и естествознание, находившееся почти в пренебрежении у гуманистов. XVII век, как тоже было указано, был вообще эпохой блестящего развития естествознания, которое могло стать на свои ноги только тогда, когда перестали знакомиться с природою лишь по одним книгам и обратились к ее исследованию путем наблюдения и опыта. Благодаря новым задачам, какие ставила себе наука, и новым методам, к которым она стала прибегать, а также благодаря развитию математики, занимавшей философов XVII века (Декарта и Лейбница), получили развитие самые различные отрасли естествознания, и «просвещение» XVIII в., занявшееся, как и гуманизм, выработкою нового миросозерцания, могло опираться уже не на одних классиков, но и на новые науки о природе. Таким образом, с одной стороны, самостоятельное философское развитие, а с другой — успехи естествознания создавали для просветителей XVIII в. такие опоры, каких гуманисты были лишены.

Другою особенностью просветительной литературы в ее отличие от литературы гуманистической был ее общественный характер. Эпоха Ренессанса была для Италии временем падения свободной политической жизни и равнодушия к общественным вопросам, и основной характер движения был индивидуалистический, тогда как просветительная литература занялась вопросом об обществе и государстве, выдвинув целый ряд политических писателей и теоретиков социальных и политических преобразований. За немногими исключениями общественные движения шли в предыдущие века под знаменем идей религиозных, но в XVIII столетии вопросы, к которым гуманисты оставались весьма часто равнодушными, а в эпоху Реформации протестанты и католики подходили с вероисповедными воззрениями, — сделались самыми главными и существенными для тогдашней литературы, вторично освободившись притом от теологических и схоластических влияний.

Выгодно отличалась просветительная литература от гуманистической, — беря последнюю в Италии, где она получила начало и наибольшее развитие, — большею также моральною силою и большим убеждением. Итальянские гуманисты не вступали в общественную борьбу, предпочитая приспособление к данным обстоятельствам; очень часто они были лишены твердого убеждения, не думали о коренных преобразованиях общественного быта и в конце приходили к весьма пессимистическим выводам о природе человека, как члена общества (что проявилось особенно заметно в политическом учении Макиавелли). Другое дело — просветители: они выступили в роли смелых борцов за личную и общественную свободу, за человеческое достоинство и гражданское равенство, выступили критиками несовершенств окружавшей их политической и социальной действительности, и как авторы разнообразных планов государственной и общественной реформы, и как пророки, проповедовавшие наступление лучших времен; они же впервые формулировали и оптимистическую мысль о прогрессе, как о законе исторической жизни человечества. На таком характере философии XVIII в. сказались и влияния, шедшие из реформационной эпохи. Будучи по светскому характеру своему продолжением гуманизма, по моральной своей силе и по непосредственному своему влиянию на жизнь оно было скорее наследием протестантизма. В одном отношении связь идей XVIII в. с реформационным движением прямо не подлежит сомнению: французская

философская (деистическая) и политическая литература XVIII в. опирается на английскую литературу XVII столетия, а последняя выросла на почве Реформации. Почти религиозная вера в силу разума и в достижимость человеческих идеалов, а также сознание своего долга содействовать общему благу напоминает нам крепкую веру и непоколебимый ригоризм реформационной эпохи, и даже те мыслители XVIII в., которые объявляли, что в основе всех поступков человека лежит эгоизм, в действительности одушевлялись в своей деятельности принципами, имевшими для них значение религиозных заповедей. Унаследовав от гуманистов свободу мысли и стремление к выработке миросозерцания на чисто светских основах, просветители XVIII в. сделались, сверх того, защитниками той свободы совести, которою, как и политическою свободою, мало интересовались гуманисты, и которая впервые была выставлена лишь протестантским движением. Поэтому у философии XVIII в. есть точки соприкосновения не только с гуманизмом, но и с протестантизмом, что и было причиной всеобъемлющего значения, какое получило в культурной и социальной жизни Западной Европы умственное движение XVIII века.

XVIII век был героическим веком рационализма, беря это слово в смысле направления, ставящего все вопросы мысли и жизни на точку зрения идей разума, и в этом именно заключаются как сила, так и слабость тогдашней «философии». Когда мы говорим о рационализме, прежде всего мы его противополагаем направлению, основывающемуся на вере во внешние авторитеты: рационализм ничего, по-видимому, не принимает на веру, для всего требует разумных доказательств, все подвергает анализу и критике с точки зрения начал разума, но и в этом отрицании всего традиционного, как не выдерживающего проверки разума, в свою очередь, заключается глубокая и сильная вера — именно вера в самый разум, в его могущество, в возможность все объяснить и все создать силою разума, в прогресс, обусловливаемый просвещением, основанным на деятельности разума. Далее, говоря о рационализме, мы можем еще противопоставлять его всякому направлению, полагающемуся не столько на умозрение, сколько на данную действительность, на опыт и наблюдение: рационализму свойственно объяснять вещи и строить знание, исходя из известных идей и идя чисто логическим путем, т. е. действуя, так сказать, идеологически и диалектически. Ничего не принимая на веру, что не оправдывалось разумом, и отвергая в качестве предрассудков

предания, которыми жило общество, а с ними отвергая и все исторически сложившееся, раз оно не выводилось из начал разума, эта философия была глубоко антиисторична, противоположив всему созданному историей, как чему-то искусственному, простые идеи разума, как согласные с законами природы, как начала естественные. Действия этой философии на умы по силе своей мы можем сравнивать только с действием религии, потому что основывалась эта философия на глубокой вере в разум, и брала она человека в самом себе без осложнений, создаваемых в его жизни историческою обстановкою, рассматривала права и обязанности людей как таковых, а не как французов или англичан, немцев или итальянцев и т. п., положив в основу своих учений отвлеченное понимание природы человека. Благодаря этому она и получила свой универсальный характер, свою способность к самому широкому распространению. При всем том эта философия подняла целый ряд важных вопросов, указала новые пути для их решения, освободила мысль от массы схоластических традиций всякого рода предрассудков, породила благородные чувства, порывы и стремления и многих одушевила на деятельность в пользу общего блага.

Слабую сторону этой философии составляла, наоборот, ее идеологичность: признавая естественным лишь то, что основывалось на чистых идеях разума, отождествляя законы природы с теми или другими положениями, выведенными диалектически из известных теоретических или этических принципов, она не считалась в достаточной мере с действительностью, мало обращала внимания на то, что должно было бы считаться естественным на самом деле в силу действия законов природы, открываемых опытом и наблюдением, а потому была лишена исторического чутья, подчас лишена была и чувства действительности, преувеличивала значение индивидуальных сил, не соразмеряла их с условиями, обстоятельствами и препятствиями, создаваемыми местом и временем, а иногда даже делала свои построения, вовсе не принимая в расчет того, какие результаты могло бы дать их применение к действительной жизни. Если благодаря своим сильным сторонам «философия» XVIII в. ставила обществу высокие цели, поселяла в нем благородные стремления, одушевляла его на борьбу во имя гуманных идей, то вследствие присущих всему направлению недостатков под ее влиянием делались ошибки при выборе средств, игнорировались реальные условия, с которыми нужно

было сообразоваться, и не различались вещи, непосредственно достижимые, от тех, которые могут быть только конечным идеалом культурно-социального прогресса. И эта сила идей, как факторов, определявших собою поведение исторических деятелей, и это бессилие отвлеченного разума перед громадною задачею сразу преобразовать действительность по данным идеям, одинаково проявились во время французской революции. Одною из причин такого явления было, кроме свойств самой рационалистической философии, еще и то обстоятельство, что вследствие тогдашних условий политической жизни, лишавших общество всякой самодеятельности, ему была доступна лишь одна теоретическая деятельность ума и, наоборот, совершенно недоступна какая бы то ни было практическая деятельность в сфере тех вопросов и отношений, которые наиболее интересовали тогдашний культурный слой общества.

Произведения философов XVIII века пользовались громадным успехом. Двор Людовика XIV, бывший как бы громадным салоном для всей Франции и задававший тон литературе, разбился в XVIII в. на массу общественных салонов, в которых протекала жизнь светского интеллигентного общества. Как бы мы ни смотрели на французскую изящную словесность «века Людовика XIV», никто не решится отнять у нее ее формальные преимущества: ясность и прозрачность мысли, точность и силу выражения, а то обстоятельство, что с Людовика XIV французский язык сделался языком дипломатии, придворного быта и высшего общества во всей Европе, и что литература других стран долгое время находилась в зависимости от французской, обеспечивало за французскими книгами широкий сбыт вне самой Франции. Философы XVIII в. были светскими людьми и умели писать для светского общества; они излагали свои мысли в популярной форме и изящным языком и привлекали к себе читателей живостью непринужденной беседы, игрою остроумия, задором сатиры, насмешки, сарказма и иронии. Они овладели всем образованием эпохи и сделались господами в области мысли.

Само собою разумеется, что нельзя представлять себе «просвещение» XVIII в. как нечто однородное. Мы увидим, например, что в Германии оно отличалось иным характером, чем во Франции, но и в самой Франции нужно различать разные эпохи и разные направления этого умственного движения. Приблизительно до 1750 года главным предметом нападения была католическая церковь, и указывалась

необходимость гражданских реформ, но еще не предъявлялось требования политической свободы. Во второй половине XVIII в. стали подвергаться критике государственные учреждения и социальные отношения, и стала выдвигаться на первый план идея политической свободы. Еще большую разнородность представит нам собою это движение, если мы ближе подойдем к отдельным его направлениям. В области философии господствовал сначала занесенный из Англии деизм, философская вера в бытие Божие и бессмертие души без дальнейших догматов, принявшая у Вольтера[153] характер рассудочности и скептицизма, у Руссо — характер сентиментальности и идеализма, но рядом с деизмом во второй половине XVIII в. развивается материализм, один из видных представителей которого — Дидро[154] — сам начал, однако, с деизма. В морали деисты охотно становились на точку зрения врожденных нравственных идей, тогда как материалисты проповедовали теорию эгоистичности всех человеческих действий, и если для идеалистической философии (развившейся особенно в Германии) человек был венцом творения, носящим в своем разуме искру Божества, то для материалистического взгляда исчезала почти всякая разница между человеком и животным. Далее, рядом с встречающеюся весьма часто привычкою противополагать свой просвещенный век «готическому» варварству прежних времен, мы имеем в этой литературе и пример возведенного в систему противопоставления здорового «естественного состояния» — испорченной цивилизации, т. е. тому самому просвещению, которым так гордился философский век. В вопросах политических и общественных наблюдается то же разнообразие. Вольтер — сторонник «просвещенного абсолютизма» и аристократизма интеллигенции, Монтескье стоит на точке зрения конституционной монархии и дворянских привилегий, Руссо является республиканцем и демократом. Самая идея свободы понимается то в смысле свободы индивидуальной, то в смысле полного народовластия, и в то время, например, как Монтескье ищет гарантий для личной свободы, Руссо не хочет знать никаких ограничений власти державного народа над отдельными членами общества. В сущности, тот общественный характер просветительной литературы, который был отмечен выше, характеризует главным образом французскую «философию» XVIII в., а немецкое просвещение было более индивидуалистично, напоминая нам в этом отношении итальянский гуманизм, ограничивавший круг своих интересов вопросами знания, морали,

эстетики и педагогии, так что на общее движение французская литература оказала гораздо большее влияние, нежели немецкая. В самом деле, в то время, как во Франции литература XVIII в. была протестом против разного рода общественных несправедливостей и проповедью политической перестройки, в Германии даже в самый разгар «периода бури и натиска» (Sturm und Drangperiode) она отличалась характером чистого индивидуализма. «Эпоха, в которую мы жили, — говорит Гете, — может быть названа эпохою требований, потому что тогда и от себя, и от других требовали того, чего никто еще не сделал. Именно у лучших мыслящих и чувствующих умов явился луч сознания, что непосредственный оригинальный взгляд на природу и основанная на этом взгляде деятельность есть лучшее, чего человек может желать... Дух свободы и природы каждому сладко шептал в уши, что без больших внешних вспомогательных средств у него довольно материала и содержания в самом себе, и все дело лишь в том, чтобы достойно развить его». Эти слова великого поэта, известного, к тому же, своим политическим индифферентизмом, весьма характерны для тогдашнего немецкого настроения. Действительно, и немецкие порядки, как и французские, в XVIII в. были неприглядны, раздвоение между действительностью и идеалом чувствовалось здесь так же, как и во Франции, но если французы стремились поднять действительность до идеала, то немцы, менее политически развитые, более индивидуалистичные, предпочитали просто-напросто отвертываться от пошлой действительности, ища материала и содержания в самих себе. Раздвоение идеи и действительности свелось здесь на антитезу желания единицы, как поэзии, и общественных правил, как прозы, а не на антитезу индивидуальной свободы против традиционной социальной необходимости, но и в этом заключался залог нового культурного движения.

Философия естественного права

Политические и социальные движения реформационной эпохи происходили под знаменем идей религиозных, с XVIII в. место последних заняли идеи, так сказать, светского содержания. Собственно говоря, общественные партии в XVI и XVII вв. защищали свои принципы, стремления и притязания ссылками на волю Божию, которая открывается человеку или в Священном Писании, — точка зрения

протестантская, — или во внутреннем озарении Духом Божиим, — точка зрения сектантов. В XVIII в. эти ссылки заменились другими — на «естественное право», открываемое в идеях разума. Просветители XVIII в. проповедовали многое такое, что уже было высказано передовыми протестантскими и сектантскими публицистами, но только они подыскали для тех же самых принципов иные основания, заменив теологические авторитеты авторитетами разума и того, что они рассматривали как естественное право. Другими словами, теология уступала место метафизике, как можно было бы сказать, применяя в данном случае формулу Огюста Конта*. Такой именно имела характер идея естественного права, которая потому и играла особенно важную роль во всей общественной философии XVIII века.

Эта идея естественного права личности, права, сообщенного ей самим Богом или данного ей природою, — права, принадлежащего ей по рождению безотносительно к общественному ее положению, вероисповеданию и национальности, — права, наконец, от нее неотъемлемого и для кого бы то ни было неприкосновенного, действительно, получила в то время громадное значение. В этом принципе, но уже на почве естественной философии выразился тот идеал евангельской свободы, на который ссылались в средние века и в эпоху Реформации. Если индепенденты доказывали право личности на религиозную свободу тем, что Христос, искупив род человеческий, сделался единственным господином над совестью людей, то философия XVIII в. подчиняла и вообще всю жизнь личности одному естественному закону, созданному самим Богом и вложенному в наше сознание. Первым писателем, формулировавшим идею безусловной личной свободы на основе естественного права, был Локк, родоначальник всей просветительной философии XVIII в., сам выросший под влиянием религиозного и политического движения своей родины, Англии, во второй половине XVII столетия.

Вообще представление о чем-то естественном, существующем по природе вещей, а не по человеческому установлению, было очень популярно в XVIII в., когда верили в «естественную религию», основывались на «естественном праве», искали «естественного порядка» экономической жизни и возникла целая школа экономистов, давшая своему учению название природовластия или физиократии, и когда,

* См. выше.

наконец, Руссо противоположил гражданскому состоянию свое «состояние природы».

Предполагалось при этом, что естественное и разумное — одно и то же, что одна отвлеченная деятельность разума может все разрешить в теории и на практике, и в этом рационализме, по-видимому, отвергавшем все, что должно признаваться на веру, заключалась тем не менее, как было уже упомянуто, вера в силы самого разума, в его творческие способности, раз он будет сообразоваться с «естественным законом» (не в том смысле, в каком слово употребляется теперь в естествознании), и в бесконечный прогресс, осуществляемый разумом. Ничто так не действовало разлагающим образом на воззрения, которыми держались старые порядки, как рационалистическое понимание государства, исходным пунктом которого была идея естественного права. Политическая теория XVIII в., образовавшаяся еще в XVII в., объясняла происхождение государства сознательным договором, который будто бы заключают между собой люди, устанавливая над собою верховную власть. Весь вопрос состоял в том, какими правами поступаются при этом люди и кому вверяют они власть над собою. Если Локк донельзя ограничивал власть государства и сохранял ее за народом, то Гоббс, исходивший из той же теории договорного происхождения государства, наоборот, до последней крайности ограничивал права граждан и учил о перенесении всей полноты верховной власти на правительство.

Таким образом абсолютные права государства выводились из того же «естественного права», которое служило основой и личной свободе. Но в чьих бы интересах это право ни толковалось, оно, как право, основанное на разумной природе вещей, противополагалось праву традиционному и в этом смысле оказывалось учением, разрушавшим исторически сложившиеся привилегии сословий, тем более, что по естественному праву государство должно было служить благу всех, а не некоторых только. Если перед естественным правом государства на безусловную власть, по учению Гоббса, возобновленному через сто лет Жан-Жаком Руссо, должна была совершенно склониться отдельная личность, то перед тем же правом и перед общим благом должны были исчезнуть и все исторически сложившиеся местные особенности. Поскольку историческое право было против интересов личного развития, такая идея государства не была враждебна индивидуальным правам, но в иных случаях дело происходило и наоборот, потому что

централизация могла стремиться (в Австрии при Иосифе II[155]) уничтожить и живые силы национальностей не только с их историческими правами, но и с их непреходящим стремлением к духовному самоопределению.

Философия естественного права разрушала в принципе все исторически сложившееся. Во всяком случае, перед человеком она ставила идеал, к которому он должен был стремиться, и то общее XVIII веку воззрение, что культурные и социальные формы суть будто бы лишь продукты сознательного творчества человеческой личности, вселяло в поклонников новой философии уверенность, что целесообразною деятельностью человека (напр., могущественного правителя) можно сразу пересоздать всю жизнь на началах разума. XIX век со своим учением об органическом развитии культурных и социальных форм изменил такое преувеличенное понятие о личных силах в истории, но последнее сделало свое дело, придав известную отвагу людям XVIII в. и породив в них оптимизм надежды на лучшее будущее, которое должно было осуществить идеи истины и справедливости. Философия личного права с тем моральным и социальным оттенком, какой ей сообщали популярные в XVIII в. идеи человечности и народного блага, отличалась от гуманистического индивидуализма тем, что проникнута была альтруизмом и имела общественный характер.

Никогда до того времени литература высших классов общества не была столь демократична по своим симпатиям к народу, как именно литература XVIII в. Правда, при детальном ее рассмотрении мы встретим в ней немало диссонансов, обнаружим у отдельных авторов весьма плохое знание народного быта и народных нужд, но в общем это не может препятствовать «философии» XVIII в. называться гуманною, филантропическою, народолюбивою. При перевесе сельского населения над городским, при существовании еще крепостничества и феодальных поборов с земли, при страшной нищете крестьянской массы, при дороговизне хлеба и дурном состоянии земледелия, с одной стороны, а с другой — при не вполне еще совершившемся или обнаружившемся процессе нарождения городского пролетариата, главным социальным вопросом, требовавшим практического разрешения, в XVIII веке был вопрос крестьянский. Как бы несовершенно с современной точки зрения ни ставился этот вопрос в публицистике той эпохи, не следует забывать, что поднят был этот вопрос именно только тогда впервые.

Реакция против идей XVIII в. в начале XIX столетия

Идеи XVIII в. нашли практическое применение в политике просвещенного абсолютизма и во французской революции. Это также были своего рода, с одной стороны, реформация сверху и реформация снизу, с другой, но и в данном случае, как и в XVI в., за реформацией последовала реакция, и эта реакция наступила главным образом после низвержения Наполеона I[156], который, как-никак, а все-таки вышел из французской революции. Мы уже упоминали об этой второй крупной реакции в новой истории и останавливаться на ней не будем, потому что, во-первых, она была только вторым изданием первой и ничего не могла придумать, кроме проповеди о необходимости вернуться к миросозерцанию и общественному строю католико-феодального средневековья, а во-вторых, и потому, что вообще лишены возможности подробно говорить в этом очерке о XIX в. по крайней сложности темы и по недостатку места.

Читатель вообще мог заметить, что чем ближе подходит наше изложение хода истории к нашим временам, тем оно делается более подробным. История тоже имеет свою перспективу, и ближайшие предметы нам виднее более отдаленных, а потому для надлежащего освещения истории XIX в. потребовалось бы более места, нежели то, какое у нас остается в распоряжении. Поэтому мы не останавливаемся на культурной реакции, ознаменовавшей начало XIX века. Нам гораздо важнее, если уж на то пошло, отметить тот факт, что рядом с реакцией против рационализма XVIII в., которая приглашала общество вернуться к средневековому мистицизму, совершалась еще другая реакция — во имя требований положительной науки, поскольку философия XVIII в. была метафизична.

Развитие положительной науки в XIX в.

Если к новой европейской истории применить известный закон умственного развития, формулированный Контом*, то реформационная эпоха окажется соответствующей теологическому фазису, революционная — метафизическому, а XIX в. получит значение периода, в котором совершился переход на третью, позитивную ступень

* См. выше.

умственного развития. Важным культурным приобретением XIX в. является его наука и притом не только естествознание, но и обществоведение, взятое в широком смысле слова. Общественная философия XVIII в. была, так сказать, «метаполитикой», — термин, в котором выражается, что и в области решения политических вопросов (в широком смысле) может быть то же самое, чем по отношению к науке о природе, физике является метафизика. Никогда раньше научное знание не делало таких громадных и важных по своим последствиям успехов, как в XIX столетии. Не касаясь здесь всей истории науки в прошлом веке, мы остановимся лишь на том значении, какое принадлежит развитию науки для всего движения общественной жизни в новейшее время. Прежде всего, именно материальная жизнь общества зависит от развития в нем техники в широком смысле слова, от той власти над природою, которую дает человеку научное знание естественных законов, управляющих физическими явлениями. Технические изобретения, основанные на практическом применении старых научных истин к тем или другим потребностям жизни или вытекающие из новых научных открытий, вызывая переворот в способах производства или обмена продуктов или в способах ведения войны, вообще оказывают сильное влияние на всю материальную жизнь общества, на его экономический строй, а через него и на разные социальные отношения других категорий. Мы увидим еще, что промышленная революция, создавшая современный капитализм со всеми его общественными следствиями, была в значительной мере результатом изобретения машин и их применения к промышленности. Это — одна сторона дела. Кроме такой связи научных открытий и основанных на них изобретений с движением общественной жизни, существует и другая связь. Не разделяя взгляда, будто общественные отношения и учреждения всецело покоятся на мнениях людей, мы, тем не менее, не можем отрицать громадного влияния человеческих миросозерцаний на социальную жизнь целых народов и эпох. В своей деятельности мы руководимся разными целями и осуществляем их разными способами. И тогда, когда мы к чему-либо стремимся, и тогда, когда так или иначе действуем для достижения того, к чему стремимся, мы и целями, какие себе ставим, и средствами, к которым прибегаем, обнаруживаем известное понимание общественной жизни, которое может быть или более, или менее научным, либо, наоборот, более или менее ненаучным. Всякое общественное движе-

ние совершается под знаменем тех или иных идей, в которых выражается характер существующего в данный момент миросозерцания и обусловливаемого им понимания общества, целей общественной деятельности и способов разрешения общественных задач.

Мы только что говорили об этом по отношению к реформации и революции с их руководящими идеями. Мы упомянули еще, что в начале XIX века на западе Европы совершалась религиозная реакция против рационализма философии XVIII века. Она была, однако, не в состоянии победить метафизику, но господство философии Гегеля, на которую опирались в тридцатых и сороковых годах и реакционные, и прогрессивные общественные стремления, было последним проявлением метафизического настроения умственных верхов западноевропейского общества. С середины XIX века метафизика стала все более и более отступать назад перед наукой, и это отразилось не только на общем миросозерцании эпохи, но и на понимании общественных задач и способов их решения.

Значение этого развития в истории техники

Конечно, не все технические изобретения были результатом преднамеренного применения теоретических истин отвлеченной науки к практическим потребностям жизни. Многими изобретениями, как все знают, человечество было обязано людям, которые никогда не занимались разработкою чистой науки, были только специалистами того или другого практического дела, иногда лишь случайно нападавшими на новую мысль, в большинстве же случаев только вносившими какие-либо изменения и улучшения в уже существовавшие орудия и приемы. Никто, однако, не станет отрицать того, что чем далее идет развитие техники, тем все более и более оно пользуется услугами научного знания, и что лишь блестящие успехи механики, физики, химии сделали возможными многие важные стороны современной техники. Можно даже сказать, что развитие техники идет рука об руку и находится в постоянном взаимодействии с теоретическим развитием науки.

Практическая механика, прикладная физика, техническая химия, благодаря этому, получили в XIX веке небывалое развитие. Сюда относятся, главным образом, изобретения, давшие людям новые и неизмеримо большие, чем было раньше, силы в борьбе с природою и

с другими людьми и новые способы преодолевать препятствия, лежащие в условиях пространства и времени. Вспомним о машинах в разных отраслях производства, о вооружении, о путях сообщения и способах сношений между людьми. Во всех этих областях XIX век создал такие чудеса, которые для людей предыдущих веков могли существовать лишь в сказочной фантазии. Можно сказать, что все прошлое исторического человечества до XIX века представляет из себя один период в истории развития техники, и что в XIX веке начинается совершенно новый период. Этим человечество обязано преимущественно пару, электричеству и новым взрывчатым веществам с их многочисленными применениями, каковы паровые машины в добывающей и обрабатывающей промышленности, паровой транспорт (пароходство и железные дороги), электрический телеграф и начинающаяся замена пара электричеством, как рабочей или двигательной силой, широкое пользование взрывчатыми веществами в целях горного, инженерного и военного дела.

Овладевая силами природы для своих практических целей, человек в то же время стал проникать и в тайны их существования, что не могло не отразиться и на его миросозерцании. Теория единства сил природы с законом сохранения энергии является одним из важнейших научных приобретений XIX века. Между прочим, многие технические изобретения нашего времени обязаны своим происхождением научному наблюдению о переходе сил природы одной в другую. Увеличив силы людей, дав людям возможность не только больше и быстрее производить, но и быстрее и легче передвигаться с места на место, обмениваться продуктами своего труда, сноситься между собою на самых отдаленных расстояниях, перечисленные изобретения произвели целый ряд очень важных перемен в экономической и культурной жизни, а через то и в чисто социальных и политических отношениях целых народов. Никогда раньше не было такого громадного производства ценностей, такого роста национального богатства, таких деятельных торговых сношений между отдельными народами, такого культурного между ними общения. Кроме того, разные технические применения химических открытий создали новые продукты и отрасли производства, внесли разные усовершенствования в старые отрасли и увеличили количество продуктов, добывавшихся и прежде, и этим тоже способствовали увеличению и улучшению производимых ценностей.

Важность его в истории новейшего миросозерцания

Помимо непосредственных своих практических следствий технические изобретения XIX века оказывали влияние и на общий характер идей своего времени. Расширение власти над природою, которым человек был обязан успехам естествознания, только усиливало авторитет науки и вселяло в умы людей убеждение в том, что естествознание стоит на верном пути, и что на его выводы можно более полагаться, чем на метафизические умозрения, которые, наоборот, все более и более обнаруживали свою внутреннюю несостоятельность. Независимо от этого, и самое развитие естественных наук с каждым шагом все более позволяло им оказывать влияние на общее миросозерцание образованных классов общества. Еще с середины XVIII в. делались попытки обоснования наших представлений об окружающем нас мире на выводах естествознания, и традиция этих попыток не прерывалась во все последующие времена, правда, иногда ослабевая.

Одною из эпох, наиболее благоприятных для такого направления мысли, была середина XVIII века, время появления «Естественной истории» Бюффона[157] и «Энциклопедии» Дидро. Последнего из названных просветителей XVIII века можно даже считать одним из наиболее видных предшественников научного духа XIX столетия. В ту эпоху именно он, главным образом, был проповедником той идеи, что в преимущественно положительной науке нужно видеть орудие умственного, нравственного и материального улучшения общества. Но в XVIII веке орудия самой науки — опыт и наблюдение — еще слишком много уступали идеологическому рационализму, особенно в области общественных наук.

Правда, Монтескье уже полагал начало научному изучению общественных явлений, но настоящим выразителем господствовавшего в то время направления был все-таки Руссо со своим «Общественным договором», оказавший своей политической метафизикой большое влияние и на других публицистов эпохи. Одновременно с тем, как провозглашалась вера в положительную науку и последняя уже вырабатывала материал для будущего здания научного миросозерцания, Кант[158] своею «Критикою чистого разума» (1781) определял границы человеческого знания, доказывая, что этому знанию доступны лишь явления, «вещь же в себе» лежит за пределами мира, доступного нашему знанию. Это был своего рода отказ от метафизики, от стремления

проникнуть за границы мира явлений, подлежащих опыту и наблюдению. Другими словами, это было приглашением заниматься изучением лишь того, что может быть предметом опыта и наблюдения, т. е. положительной науки. Научному миросозерцанию Дидро и критической философии Канта не суждено было в ближайшем времени получить дальнейшее развитие. Общая реакция самого конца XVIII и особенно начала XIX века была неблагоприятна для научного духа и философского критицизма. В миросозерцании эпохи стали брать верх элементы мистики и романтики, спиритуализма и метафизики. Господство гегельянства во всей Германии и даже за ее границами в первой половине XIX столетия представляет из себя один из самых характерных признаков того, что в эту эпоху наука, так сказать, пасовала перед метафизикой, и о том же самом свидетельствуют еще и многие другие факты, о которых мы не можем здесь распространяться по сложности темы.

Но в недрах того самого гегельянства, которое было господствующей философией социального застоя, зародилась в тридцатых годах и оппозиция против мистики и романтики в так называемом «левом лагере» этой философской школы. Эпоха процветания этого философского радикализма — тридцатые и сороковые годы, как раз то время, когда (1830–1842) во Франции появился «Курс положительной философии» Огюста Конта, провозгласивший необходимость философии, основанной на науке, и научной теории общественной жизни. И левое гегельянство, и контовский позитивизм, несмотря на все черты несходства между ними и различие их происхождения, пришли, в сущности, к одному и тому же отрицанию метафизики во имя научного изучения действительности. Тем традиционным культурным идеям, на которых держалась большая часть философских миросозерцаний первой половины XIX века, оба направления объявляли войну во имя изучения действительности и законов, управляющих ее явлениями. В настоящее время и левое гегельянство, и контовский позитивизм имеют лишь историческое значение, но оно именно в том и заключается, что они открывают собою эпоху научного миросозерцания второй половины XIX века.

Говоря об этом умственном переломе, открывающем для наступившего XX века самые широкие перспективы, мы не должны упустить из внимания, что общий научный дух проник и в изучение общественной жизни человека. То «метаполитическое» направление,

которое господствовало в этой области еще в середине XIX в., уступает решительнейшим образом свое место точкам зрения и методу, доказавшим свое превосходство в изучении природы, и в деле практического решения усложняющихся общественных вопросов XX век будет руководиться не мистическими откровениями, которыми руководились, например, сектанты XVII и XVIII вв., и не отвлеченными идеями разума, игравшими такую роль в XVIII столетии, а выводами положительного знания.

Очерк восьмой
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Постепенная дефеодализация общества и государства на Западе

В истории западноевропейского социального и политического строя новое время было эпохой постепенной дефеодализации, т. е. эпохой освобождения общественных отношений и государственных учреждений от форм средневекового феодализма. В разных странах и в разные периоды этот процесс протекал различным образом, но основные его очертания были везде и всегда одни и те же. В экономическом отношении феодальный быт был организацией замкнутого натурального хозяйства, а в новое время происходит постепенное развитие промышленности и торговли, развитие денежного хозяйства и широкого обмена. В отношении политическом феодализм характеризуется строгим соединением государственной власти с землевладением, именно зависимостью первой от второго, между тем как в новое время совершается разъединение обеих этих сфер: землевладение само по себе, государственная власть сама по себе. В средние века осуществлялась настоящая «власть земли», в новое время явились на сцену и новые силы, действие которых преобразовало весь социальный и политический быт западноевропейских народов. Силы эти — промышленность, торговля, денежное хозяйство, с одной стороны, и государство, с другой, а рядом с ними и третья сила, — постоянно растущее общественное самосознание. Феодализм, в котором все политические отношения сводились в последнем счете к системе чисто личных договоров сеньеров и вассалов, а

социальные — к отношениям тоже личного характера между помещиками и крестьянами, был, так сказать, атомизацией государства и общества, и потому вся дальнейшая политическая и социальная история могла быть только постепенным формированием коллективных социальных сил, сопровождавшимся ростом их самосознания, сословного, классового, общественного. Кое-чего из истории процесса дефеодализации мы уже коснулись в шестом очерке, посвященном переходу из средних веков к новому времени, но очень многое нам предстоит сделать в этом очерке. Самое главное, — это показать, что новое экономическое и политическое развитие не только разрушило средневековой феодализм, но и само стало принимать односторонее направление, и что это обстоятельство, в свою очередь, вызывало новые общественные движения, ставившие себе и новые цели. Экономическое и политическое развитие происходило роковым образом, в общественных движениях проявлялась сознательная мысль, и она тоже играла роль исторического фактора и в гуманизме, и в протестантизме или сектантстве, и в просвещении XVIII в., и во всех направлениях умственной жизни истекшего события. Конечно, не эта сознательная мысль создавала новые явления экономического и политического быта, совершавшие на Западе дефеодализацию, но она все-таки руководила общественными движениями, которые не могли не отражаться на ходе и на общем направлении процесса.

В средние века на Западе феодализм создавал из представителей крупного землевладения обладателей верховной власти, разделявших государство на более мелкие политические организмы, становившихся в иерархическую зависимость одни от других, и господствовавших над массою, которая сидела на земле их поместий, ведя, впрочем, самостоятельное хозяйство на отведенных ей наделах. В ряды этой суверенной аристократии феодализм поставил и высший клир, члены которого владели также сеньериями и пользовались всеми правами своих светских товарищей. Между духовною и светскою аристократией, с одной стороны, и подчиненной ей народною массою, с другой, шла постоянная глухая борьба, переходившая нередко в борьбу открытую, причем восставшие защищали или стремились возвратить себе самые элементарные права личности, ссылаясь на божеские и естественные законы. Таково было в эпоху крестовых походов восстание городов; таковы же особенно были многочисленные крестьянские восстания, из которых некоторые получили большую

известность в истории, между прочим, по своей связи с движениями религиозными и политическими. Стремление закрепощенной народной массы к гражданской свободе, т. е. к пользованию самыми элементарными правами личности, проходит через всю историю западноевропейского крестьянства со второй половины средних веков, и через всю же эту историю проходят феодальные реакции, ставившие своею целью юридическое и экономическое порабощение народной массы.

Общее значение развития городов в конце средних веков

До образования самостоятельного и зажиточного городского сословия у духовной и светской землевладельческой аристократии не было соперников в обществе. Города, как мы уже имели случай упомянуть, сначала наравне с деревнями, — хотя и не в такой мере, как последние, — находились в подчинении у феодалов, но города первые взялись за оружие и отвоевали себе свободу у епископов и графов. В истории социального развития Запада свободный и промышленный город, в котором образовалось особое сословие, получившее название буржуазии, играл весьма важную роль. Существенные черты нового общества в его отличие от средневекового ранее всего проявились именно в городах.

Города не только извне вышли из-под власти феодалов, но и внутри освободили свой быт от феодальных форм. Здесь впервые верховная власть отделилась от землевладения и сделалась выражением общей воли гражданства. Здесь впервые расторглись вассальные узы, ставившие одного свободного человека в зависимость от другого, и образовалось состояние граждан. Здесь впервые совершенно исчезло крепостничество, и юридическая свобода лица сделалась общим правилом. Здесь же, наконец, впервые пала условная феодальная собственность, и возникла свободная собственность нового времени. С другой стороны, из городов равным образом вышли и те силы, которые наиболее содействовали разрушению феодализма и в сельском быту. Рядом с феодальными сеньериями возникли городские общины, которые стали высылать своих представителей на государственные сеймы, утратившие вследствие этого свой исключительно феодальный характер. Города помогали королевской власти в ее борьбе с духовными и светскими вассалами. В более

поздние времена буржуазия явилась передовым сословием народа в его борьбе против аристократических привилегий. Конечно, эта же самая городская жизнь выработала и в экономическом отношении те новые формы, которым суждено было оказать сильное влияние на социальное развитие Запада впредь до новейшего времени. Феодальный быт, рассматриваемый с точки зрения стремлений, занятий и нравов господствующего класса общества, был по преимуществу быт военный, тогда как в городской жизни на первый план стали выдвигаться торговля и промышленность. Позднее, когда феодальное дворянство превратилось в расточительную, праздную и раболепную придворную знать, в городах господствовали бережливость и трудовая жизнь — между прочим и в умственной сфере — и не умирало стремление к свободе. В смысле экономической основы феодализм, как мы не раз уже говорили, держался исключительно на землевладении и на сельском хозяйстве, которые в городах заменились движимым имуществом (капиталом), промышленностью и торговлею. Благодаря последнему обстоятельству, имущий класс общества разделился на Западе на землевладельческий и торгово-промышленный. И между ними возник также антагонизм, питавшийся сначала преимущественно сословным неравенством аристократии и буржуазии, а потом, когда стали падать сословные рамки, — что, напр., ранее всего произошло в Италии, в Англии и в Голландии, — поддерживавшийся противоположностью интересов между двумя классами, получающими свои доходы из разных источников. В общественной жизни Запада городской класс все более и более выдвигался вперед, пока не начал соперничать с дворянством и даже не сделался сам господствующим и правящим классом, а вместе с тем и представителем более демократических начал в политической жизни. Существование сословных привилегий прямо становилось поперек социальных стремлений буржуазии, а потому ее интересы в этом отношении совпадали с интересами крестьянства. Лишь после падения сословных перегородок в новейшее время обнажилась, если можно так выразиться, чисто экономическая основа социальных классов в бессословном гражданстве, созданном главным образом усилиями буржуазии. Не нужно, однако, думать, что первое образование капитала и богатой буржуазии произошло на почве промышленности. Средневековая промышленность имела цеховое устройство, поддерживавшее мелкий промысел и мешавшее

отделению труда от орудий производства, содействовавшее более равномерному распространению заработка и не допускавшее ни сосредоточения больших капиталов в одних руках, ни образования пролетариата. Первые большие капиталы, которые лишь впоследствии стали прилагаться к крупной промышленности, были результатом главнейшим образом заграничной оптовой торговли, начавшей сильно развиваться в исходе средних веков. Только с течением времени и крупная промышленность вполне стала на ноги и начала играть в социальной жизни роль, одинаковую с ролью крупного землевладения и крупной торговли.

Судьбы народной массы

Духовенство, дворянство и буржуазия, как сословия, между прочим, одни в эпоху сословной монархии пользовавшиеся правом представительства в государственных сеймах, возвышались над массою крестьянства и городского простонародья. Юридическая неравноправность (а в деревнях и несвобода) и неудовлетворительность экономического быта большинства сельского и городского населения вызвали в новой истории Западной Европы два главных социальных вопроса, которые существовали, конечно, давно, но поставлены были и стали решаться лишь в XVIII и XIX вв., именно вопросы крестьянский и рабочий. Первый из них касался ликвидации старых социальных отношений, возникших на почве феодализма, а второй был поставлен только в самое новое время в связи с результатами развития пролетариата, крупной промышленности, капитализма и политического могущества буржуазии. Положение народной массы вообще было приниженное. В эпоху господства феодализма она находилась в полном почти порабощении. Когда возникла сословная монархия, право представительства в государственных сеймах, как сейчас только было отмечено, принадлежало лишь духовенству, дворянству и городам, и они пользовались своим политическим влиянием самым своекорыстным образом, в ущерб народным правам и интересам. С падением сословно-представительных учреждений и с сосредоточением государственной власти в руках абсолютных королей до начала новой политики, руководствовавшейся просветительными идеями XVIII в., положение массы не улучшилось. Во-первых, разрушив феодализм в политическом отношении и лишив приви-

легированные сословия самостоятельного участия в государственных делах, абсолютная монархия до середины XVIII в. оставляла неприкосновенными социальную сторону феодализма и гражданские привилегии духовенства и дворянства, тягостные для народа. Во-вторых, политика меркантилизма заставляла новое государство особенно покровительствовать представителям денежного капитала и часто даже прямо в ущерб правам и интересам земледельческого и фабричного труда. Наконец, ко всем старым тяжестям, лежавшим на народе, к десятине, взимавшейся в пользу духовенства, к феодальным поборам, которые шли от крестьян к сеньерам, прибавились государственные налоги, всею своею тяжестью падавшие на народ, в котором правительства видели лишь податную силу. В положении народной массы происходило даже прямо ухудшение, тяжело отзывавшееся на его свободе и материальном быте, и в XVIII в. оно достигло крайних своих пределов вообще после времен феодальной анархии. Такое положение народной массы и происходившие в ней по временам ухудшения вызывали среди нее восстания, которые с конца средних веков начинают происходить под знаменем немногих принципов, формулирующихся то как божественный закон, заповедь Христова, евангельская свобода, то как веление природы, естественное право, «права человека и гражданина», т. е. везде и всегда личность ставит себя, свою свободу, свое право, свои стремления и интересы под защиту религиозных и социально-этических идей. В век религиозной культуры и в народной массе, вообще более способной воспринимать общие идеи в религиозной оболочке, социальные движения получали именно сектантский характер, и в сектах, как средневековых, так и реформационного периода, мы встречаемся со всеми существенными признаками народных движений на социальной почве. К голосу народа постепенно, но в общем лишь в более близкие к нам времена стали прислушиваться как правящие классы, так и правительства, сначала имевшие в своем распоряжении одну только репрессию, — и социальные реформы сделались одною из задач прогрессивной политики. Чаще всего буржуазия была заодно с массой, когда ей вместе с народом приходилось отстаивать общие интересы против социальных привилегий и политического деспотизма. С развитием государственного смысла и королевская власть начинала брать права и интересы народа под свою охрану.

Политические и социальные движения реформационной эпохи

Первою эпохою, когда под знаменем общих идей стали сводить между собою старые счеты отдельные общественные силы на почве политических и экономических интересов, была эпоха церковной Реформации. Что у этого последнего движения при общем его религиозном характере была и чисто светская сторона решения разных вопросов, касающихся специально взаимных отношений общества и государства или отдельных социальных классов между собою, — это мы уже видели из анализа реформационного движения, представленного в предыдущем очерке, и нам остается только показать, в чем же заключалась эта социальная и политическая сторона Реформации.

В XV–XVII вв. в Западной Европе мы наблюдаем целый ряд революций, имевших весьма много общего между собою помимо того, что все они стояли в более или менее тесной связи с религиозным движением: это были революции чешская, политическая, социальная и церковная, в XV веке; революция немецкая, тоже политическая, социальная и церковная, в XVI в., и вскоре за нею последовавшие перевороты в Шотландии и в Нидерландах, равно как религиозные войны в Швейцарии и во Франции, имевшие в политическом отношении тоже революционный характер, а в XVII в. новое чешское восстание, из-за которого разгорелась тридцатилетняя война, далее первая революция в Англии, бывшая и второй религиозной реформацией для этой страны, наконец, пожалуй, и венгерское восстание конца XVII века. Связь Реформации с политическими движениями была так сильна, что даже сделалась одною из причин реакции против Реформации и послужила поводом к тому, что церковная и государственная репрессии пошли потом вместе, рука об руку. Укажем, прежде всего, на то, что требование в эту эпоху со стороны государства одной и той же веры от всех подданных приводило к сопротивлению тех, которые не хотели подчинить своей совести велениям власти, и это только обостряло борьбу, имевшую совсем другие источники. Шла ли реформация сверху или снизу, разрешался ли религиозный вопрос одним государем или и сеймом, получала ли церковь сама монархическую или республиканскую организацию, — раз личность должна подчиниться государственной церкви или меньшинство принять веру большинства, единица или часть народа всегда могли видеть

в требованиях власти, несогласных с их совестью, нечестивые веления, которым следовало сопротивляться по долгу перед Богом. Отсюда и возникала борьба подданных против правительств за свободу совести, когда протестанты с оружием в руках брались отстаивать права своего вероисповедания.

Это и была первая борьба личности против всепоглощающей государственности нового времени, и в этом, между прочим, заключалась весьма важная политическая сторона реформации. Между личною свободою и государственным принуждением начиналась таким образом длинная историческая тяжба, и впервые личность защищала тут свои права под знаменем религиозной идеи, той самой идеи свободы совести, которую защищали и христианские мученики, когда не хотели подчиняться велениям языческих императоров в их качестве верховных жрецов. В этой борьбе личного и государственного принципов в области веры правительства иногда вынуждались делать уступки, которые рассматривались, однако, не в смысле признания известных прав, а как милостивая привилегия, данная известной части подданных. Настоящее конфессиональное государство и на это никогда не соглашалось, — стоит только вспомнить Филиппа II[159] Испанского или Людовика XIV, — и в последних случаях государство все еще продолжало быть простым орудием известной церковности. Сравнительно с этим — большим шагом вперед была веротерпимость, указывавшая на то, что государство начинало освобождаться от конфессиональной исключительности: идея терпимости, как известно, сделалась одной из главных культурных и политических идей XVIII века.

Чисто социальные движения, которыми богата реформационная эпоха, совершались так же, как и политические, под знаменем идей религиозных. Основные причины движений с социальным характером, происходящих в народных массах, бывают всегда свойства экономического, материального. Тяжелые или ухудшающиеся условия народного быта порождают вспышки неудовольствия, получающие вид совершенно стихийных потрясений общества: люди, дотоле мирные и разрозненные, ожесточаются и соединяются для общего действия, во время которого растет психическое возбуждение, разнуздываются страсти, затемняется рассудок, и народная масса превращается в какую-то объединенную стихийную силу, увлекающую за собою новые и новые толпы и действующую как бы вполне автома-

тически. Такая почва особенно удобна бывает для распространения мистического сектантства с его видениями, пророчествами и т. п. Так это было и в реформационную эпоху, когда под влиянием общего религиозного брожения возникли в этой области новые учения, отличавшиеся индивидуализмом, доведенным до анархической своей крайности по отношению к государству и обществу, и эгалитарными стремлениями в отношениях социальных, ясно выраженными в требованиях коммунистического характера. Отдельные лица в XVI–XVII вв. понимали реформу религии в смысле полного обновления не только веры, но и всей жизни посредством социального переворота, и их проповедь имела большой успех в народных массах, которым она обещала выход из прежнего печального состояния.

Первым большим народным движением социально-сектантского характера было то, которое в эпоху гуситских войн происходило среди чешского крестьянства. Еще большие размеры получило подобное же движение среди немецких крестьян. Они начали еще волноваться с конца XV в., жалуясь на ухудшение своего быта, и все первые годы XVI столетия прошли в крестьянских заговорах и бунтах, все участники которых ссылались при этом на Св. Писание в виде доказательства своей правоты. Когда началась Реформация, сельский люд стал возлагать на нее большие надежды, и часть крестьян, восставших в 1524–1525 гг. против властей и своих господ, в религиозном отношении не пошла далее общих религиозных принципов протестантизма, в социальном отношении требуя лишь облегчения своей участи. В этом и заключалось содержание знаменитых «12 статей»[160]. Наоборот, другая часть восставших пошла в движение под знаменем коммунистического анабаптизма Фомы Мюнцера[161], а третью частью задумали воспользоваться образованные люди из высших классов общества для осуществления посредством народной революции целого ряда политических реформ. Последнее явление напоминает нам французскую революцию, когда крестьянское движение совпало по времени с политическим и совершалось в тесной с ним связи. Известен печальный исход немецкой крестьянской войны XVI в.: с 1525 г. все более и более ухудшается до самого XVIII в. и экономическое, и юридическое положение германского сельского населения, благодаря еще большему расширению дворянских прав после поражения крестьян. В меньших размерах народные волнения происходили в реформационную эпоху и в других местах.

С другой стороны, религиозная Реформация происходила в эпоху почти повсеместного усиления королевской власти и обострения борьбы с нею сословно-представительных учреждений. Это была эпоха, когда, как мы об этом уже говорили, государственные начала брали перевес над феодальными и муниципальными формами прежнего политического строя, и когда, с другой стороны, в самом государственном быту королевский абсолютизм вытеснял сословно-представительные учреждения. Против усиления королевской власти восставали вообще те сословия, политические права которых при этом терпели наибольший ущерб, и особенно дворянство. Вот почему политические движения XVI в. имеют иногда характер прямо феодальной реакции. Последнее можно сказать о многих странах, но особенно о Франции, где в эпоху религиозных войн среди протестантского и католического дворянства обнаружилось сильное стремление к восстановлению феодального быта, так что губернаторы провинций мечтали сделаться наследственными вассальными правителями своих областей, а мелкие сеньеры возобновили времена феодальной анархии. Одновременно с этим, понятное дело, должны были отстаивать свои права и государственные сеймы, в которых дворянство также играло первенствующую роль, и в защиту их прав выдвинута была протестантская (кальвинистическая) теория народовластия. Рассматриваемая нами борьба в XVI и XVII вв. состояла из ряда религиозно-политических революций. Пример показала Шотландия, где в 1559 г. одновременно низвергнута была регентша королевства, и произведена была Реформация, так как регентша стремилась усилить королевскую власть и права церкви над светским обществом. Вскоре затем в Шотландии последовала и другая революция, низвергшая с престола католичку Марию Стюарт[162]. В обоих этих случаях действовало, главным образом, дворянство. Аналогичными были причины совершившегося около того же времени восстания Нидерландов против фанатического и деспотического Филиппа II Испанского, — восстания, сопровождавшегося введением в стране протестантизма, причем нидерландская революция окончилась отпадением от монархии части соединенных провинций для образования самостоятельной республики. Тогда же происходило и во Франции реформационное и политическое движение против католической церкви и королевской власти, в государственном смысле ни к чему не приведшее, хотя и вызвавшее

попытки генеральных штатов ограничить королевскую власть. Во всех этих случаях государственные сеймы (шотландский парламент и генеральные штаты в Нидерландах и во Франции) становились под знамя кальвинистического принципа народовластия, выработавшегося под влиянием республиканских порядков Женевы. Вместе с тем, защита политической свободы сопровождалась защитою свободы религиозной, как это наблюдается еще и в истории столкновения сеймов с монархическою властью в австрийских наследственных землях: тут особый интерес представляют дворянская организация чешского протестантизма и чешская революция в защиту политической и религиозной свободы, сделавшаяся исходным пунктом тридцатилетней войны, которая, в свою очередь, нанесла удар сословно-представительным учреждениям и в самой Чехии, и в большей части немецких княжеств.

Но самым замечательным историческим фактом рассматриваемой категории была, конечно, борьба королевской власти с парламентом в Англии, приведшая страну к двум революциям. И здесь политическое столкновение было, вместе с тем, столкновением религиозным: в борьбе находились, с одной стороны, королевская власть, опиравшаяся на государственную аристократическую церковь и на учение о божественном праве своего абсолютизма, под конец же прямо склонившаяся на сторону католической реакции, а с другой, парламент, отстаивавший права нации и стремившийся к более демократической реформе церкви. На время в Англии даже устанавливалась республика индепендентов, в религиозно-политическом учении которых на первых местах стояли принципы свободы совести и народовластия. Вторая английская революция окончила эту борьбу в пользу парламента и протестантизма, в пользу политической и религиозной свободы, и в XVIII столетие Англия перешла с упроченными началами своего государственного быта, которые, как известно, оказали затем весьма сильное влияние и на другие страны Западной Европы.

Связь религиозной реакции с политическою

В предыдущем очерке мы видели, какую роль все эти социальные и политические движения реформационной эпохи сыграли в истории возникновения, а также и усиления католической реакции. Отметим еще теперь, что с этою реакцией рука об руку пошла — в

католических странах, конечно, — и реакция политическая. Под влиянием одинаковой опасности от этих движений и для церкви, и для государства, столь обычные и частые прежде споры между духовною и светскою властями сделались явлениями редкими и исключительными, вплоть до разрыва государства с католической реакцией в эпоху просвещенного абсолютизма. Если когда и осуществлялась средневековая теория о том, что церковь призвана властвовать над душами, а государство — управлять телами людей, то это было именно в эпоху наибольшего торжества католической реакции, т. е. с середины XVI до середины XVIII века: общая реакционная идея объединяла церковную и государственную политику в одном стремлении с полюбовным разделением сфер ведения между духовною и светскою властями. В эту эпоху государство копировало в одно и то же время и средневековую католическую церковь, в свою очередь, многое унаследовавшую из древней Римской империи, и античное государство, возрождавшееся в теориях той эпохи, особенно в «Государе» Макиавелли. В числе усердных читателей Макиавелли находился и Карл V, первый крупный государь нового времени, всю жизнь свою посвятивший служению отвлеченной государственной идее, подававший пример другим монархам и завещавший свою политику своему сыну Филиппу II. Последний сделался главным представителем католицизма и абсолютизма во второй половине XVI века. В большей части случаев с окраскою вероисповедною, хотя местами от нее и отрешаясь, но лишь на время (напр., при Ришелье[163] во Франции), новая политика в XVII веке нашла немало представителей. Им был, напр., один из героев тридцатилетней войны, Максимилиан Баварский[164], подчинивший свое княжество вместе с иезуитской реакцией порядкам полицейского государства с мелочным вмешательством в частную жизнь; им был кардинал Ришелье, «Политическое завещание» и вся политика которого дает право называть его величайшим государственником своей эпохи; тем же был и младший его современник Гоббс, развивший идею неограниченной государственности в целую политическую теорию. Вся вторая половина XVII и начало XVIII вв. носят в истории название «века Людовика XIV» по имени самого замечательного представителя этого соединения религиозной реакции с политическою, которую он довел до того, что превратил Францию из европейской монархии в подобие азиатской деспотии. Его международная политика, как и политика Филиппа II в XVI в., вытекала из

стремления доставить торжество абсолютизму и реакционному католицизму во всей Западной Европе.

Оба раза, впрочем, реакция встретила отпор в свободных протестантских государствах, в Англии и в Голландии (что придает особенно важное значение второй английской революции, нанесшей страшный удар всей международной политике Людовика XIV). Эта культурная и политическая реакция достигла на Западе к концу XVII века своего апогея.

Людовику XIV подражали почти все современные ему государи Западной Европы, не исключая и немецких имперских князей. Везде вводилась в жизнь одна и та же система, бывшая как бы последним словом общей реакции против всех движений нового времени, где только личность в том или другом отношении отстаивала свои права. Реакционная система именно и заключалась в подавлении всех индивидуальных прав и в поддержке всего того, что не могло уже одними собственными силами держаться против исторического движения, источником которого было развивающееся личное и общественное сознание. Лишь в сравнительной слабости этого сознания и в разрозненности общественных сил и находит свое объяснение победа реакционных начал над первым великим историческим движением нового времени, связанным с религиозной реформацией. Результаты реакции кристаллизовались в тех государственных и общественных формах, которым французская политическая историография дала название «старого порядка» (ancien regime).

«Старый порядок»

Старый порядок это есть, в сущности, соединение социальных привилегий дворянства и духовенства, унаследованных от средневекового строя, т. е. из времен феодализма и сословной монархии, с королевским абсолютизмом, который является уже результатом, как мы видели, более поздней эпохи. Подавляя феодальную аристократию и католическое духовенство, как независимые политические силы, королевская власть на Западе оставляла за обоими этими сословиями их социальные привилегии. В новое время феодальная аристократия, сохраняя все унаследованные от средних веков преимущества, превратилась мало-помалу в придворную знать, раболепную и вместе с тем своекорыстную, которая пользовалась своею близостью к ко-

ролевской власти лишь для поддержки сословных своих интересов. Короли, которые привлекали феодальную аристократию к своим дворам, имея в виду ослабление ее политического значения в стране, сами, с своей стороны, не могли не подпасть под влияние придворной атмосферы и потому начали смотреть на все глазами сословия, к которому даже причисляли себя самих, искажая такою политикою основную идею монархии. Аналогичное явление наблюдается и в отношениях королей к духовенству, так как, подчиняя его себе политически, они, сами подчинявшись культурной реакции, — католического или протестантского характера, все равно, — поддерживали всею своею силою как исключительное господство духовенства над светским обществом в умственной жизни последнего, так и социальные привилегии клира, где их не тронула религиозная реформация XVI в. Государственная власть до такой степени срослась с известными конфессиональными традициями, что не допускала иноверия среди своих подданных. Еще в XVI и начале XVII столетия католические государи Франции и Австрии давали грамоты, которыми обеспечивали за своими протестантскими подданными известные вероисповедные права, в то самое время, как в Испании и в Италии истреблены были все протестанты, но после общего усиления реакции, особенно во времена тридцатилетней войны и уничтожения во Франции Нантского эдикта[165], и те страны, где раньше существовала свобода протестантского культа, пошли по стопам Испании и Италии.

Австрии и Франции пришлось ждать самого конца XVIII в., чтобы возвратиться к политике веротерпимости. Те же явления мы наблюдаем и в конституционной Англии, где только вторая революция утвердила веротерпимость, хотя закон по-прежнему все еще ограничивал права диссидентов по отношению к государственной и общественной службе. Польша в XVIII в. сделалась даже прямо классической страною религиозной нетерпимости. Строго конфессиональный характер католических государств особенно поддерживался иезуитами, которые стали делаться воспитателями наследных принцев и духовниками самих королей, а это, конечно, не могло не отзываться на внутренней политике таких государей. Придворное и иезуитское влияние — вот та атмосфера, которою были окружены очень многие представители государственной власти при старом порядке. Вследствие этого их кругозор суживался, и они были неспособны на такую внутреннюю политику, какой требовали не только духовные и мате-

риальные интересы народа, но и более односторонне понимаемые интересы казны.

Преобладающим политическим принципом рассматриваемых порядков был королевский абсолютизм. Он утвердился в Испании, в Португалии, в государствах Италии, во Франции, в Австрии, в Пруссии-Бранденбурге, в Дании и в немецких княжествах, а в конце XVIII в. и в Швеции, где ему пришлось долго бороться с аристократическо-республиканским режимом вроде того, какой существовал в польской Речи Посполитой. Во всех этих монархиях законодательство находилось в личном заведовании самих королей или временщиков, так как для этой важной деятельности государства совсем не существовало специальных учреждений, хотя бы и вполне зависимых от монархической власти. Законодательное значение сословно-представительных учреждений пало, потому что или вообще прекратилось их созывание или, продолжая созываться, они перестали играть роль. В управлении господствовала бюрократическая централизация, устранявшая от всякого участия в нем местные силы, так как общинного и областного самоуправления или совсем не было, или оно влачило самое жалкое существование. Права администрации были безграничны, и она вмешивалась решительно во все дела частной и общественной жизни, осуществляя идеал так называемого «полицейского государства», в котором крайнее стеснение свободы происходило не в силу закона, хотя бы и очень тяжелого, а иногда просто по усмотрению высшего и даже низшего начальства. Судебная власть была подчинена администрации, что лишало судей независимости в произнесении приговоров, не говоря уже о дурном законодательстве и плохом составе судейского персонала; там же, где юстиция пользовалась самостоятельностью, она получала характер сословной привилегии и отправлялась в чисто средневековых формах. Государственное хозяйство в громадном большинстве случаев велось плохо: правильные бюджеты были неизвестны; сбор налогов часто отдавался на откуп частным предпринимателям; сами налоги были распределены крайне неравномерно (с разными аристократическими изъятиями), слишком тяжело ложились на население, не соответствуя его платежным силам, и взыскивались, наконец, с большою суровостью.

Во внешней политике после прекращения религиозных войн большую роль играли чисто династические интересы, а интересы

национальные сводились преимущественно к приобретению от других стран торговых выгод, что вполне соответствовало господствовавшей тогда системе меркантилизма. Экономическая политика старого режима в согласии с общим его духом направлялась почти исключительно соображениями о казенных выгодах, каковы бы ни были следствия, вытекавшие из правительственных мероприятий для народной массы, которая рассматривалась главным образом только в качестве платежной силы. Эта политика, выгодная для торгово-промышленных классов, — в Голландии и Англии даже и направлявших деятельность государства в этом смысле по собственному почину, — весьма тяжело отзывалась на благосостоянии масс, которые сами по себе стояли вне правительственных забот. Последние сводились преимущественно к усилению армии и флота, необходимых для поддержки государственной независимости, и к покровительству промышленности и торговли, обогащающих казну, но это покровительство соединялось с самой мелочной регламентацией фабрик и заводов, имевшей притом в виду отнюдь не интересы рабочего класса, а опять-таки то, что считалось интересом национального производства, главнее же всего — самой казны.

Вместе с тем, при всем развитии — во многих отношениях прямо одностороннем развитии — государственного начала, в политическом быту Западной Европы XVIII в. оставалось еще немало феодальных черт. Именно в эту эпоху в полной почти неприкосновенности сохранялся унаследованный от средних веков аристократический строй общества. Феодальное дворянство (с ним и высшее духовенство в католических странах) было главным и даже почти исключительным землевладельческим сословием, так как другие сословия или прямо законом были исключены (как в Польше) из права владеть землею, или фактически не могли ею владеть, или же, наконец, пользовались (как, напр., во Франции) лишь формами условной феодальной собственности в зависимости от светских или духовных сеньеров, платя им за это оброки и пошлины и подвергаясь разным ограничениям в своем праве распоряжения землею. Крупное землевладение соединялось еще с существованием крепостного состояния, в каковом находилась вся сельская масса целых больших государств или некоторая ее часть. Дворянство и духовенство, пользовавшееся еще десятиной, извлекали из своих земель, из феодальных прав и из крепостничества большие доходы. Там, где уже зарождалось крупное

хозяйство, — пользуясь своими правами или простою безнаказанностью, землевладельческое сословие обезземеливало крестьян, вследствие чего начинал развиваться сельский пролетариат. Вся тяжесть государственных налогов лежала, кроме того, на сельской массе, и, наконец, государство оставляло в руках господ вотчинную полицию и юстицию даже по отношению к лично свободным крестьянам. Господство дворянства над сельским населением и крепостная зависимость этого последнего от дворянства лишь дополняли общую систему властвования, положенную в основу государственного и общественного быта с полным отрицанием прав личности за громадным большинством населения.

Настроение буржуазии при старом порядке

Между аристократией и сельской массой помещалось городское население. Не имея привилегий духовенства и дворянства, оно не было в то же время и столь бесправным, как крестьянство. Высший слой городского населения составляли промышленно-торговая буржуазия и люди либеральных профессий, включая сюда и чиновничество. Буржуазия успела сделаться значительною экономическою силою, благодаря развитию промышленности и торговли, откупов и казенных поставок, и начала уже скупать, где это дозволялось законом, дворянские земли, брать на откуп феодальные права, арендовать большие поместья, заниматься крупным хозяйством. В Голландии и в Англии, где буржуазия играла уже роль в генеральных штатах и в парламенте, она пользовалась своим положением в государстве, чтобы направлять его политику в исключительных интересах промышленности и торговли, что сделалось даже программою политической партии вигов в Англии. И во Франции, где стремления буржуазии сталкивались с сословными привилегиями духовенства и дворянства, меркантилистическое направление экономической политики, жертвовавшей индустриальным и коммерческим интересам интересами сельского хозяйства и выгодам предпринимателей правами рабочего класса, сильно содействовало обогащению буржуазии. Из этого же класса общества преимущественно выходили люди либеральных профессий, ученые, писатели, профессора, преподаватели, врачи, аптекари, судьи, адвокаты, нотариусы, чиновники и т. п., составлявшие главным образом интеллигенцию страны, в которой,

собственно говоря, и сосредоточивалось сознательное недовольство старым порядком.

Все культурное движение XIV–XVI вв., задержанное, но окончательно не остановленное реакцией XVII столетия, было соединено с проповедью индивидуальной свободы и общественного равенства. Гуманисты явились поборниками умственной свободы и противниками наследственных привилегий, а стремление к свободе и равенству в эпоху реформации привело в обоих отношениях даже к самым крайним требованиям, выразившимся в некоторых формах сектантства. Между тем государственные и общественные порядки XVIII в. составляли полное отрицание указанных принципов, а потому неминуемо должны были подвергнуться критике с их точки зрения при новом пробуждении личного самосознания. Последнее произошло сильнее всего именно в «среднем сословии», в том самом среднем сословии, из которого раньше вышла и большая часть гуманистов. Это, впрочем, и понятно. Этот класс общества не только не пользовался социальными привилегиями, но и сам страдал от тех, которые принадлежали духовенству и дворянству, а потому имел, конечно, особый интерес действовать как против самых привилегий, так и против поддерживавшей их государственной системы. Состоя, далее, из зажиточной буржуазии и людей либеральных профессий, среднее сословие обладало капиталами, профессиональными и научными знаниями, общими идеями, духовными стремлениями и не могло удовлетворяться ни своим приниженным положением в обществе и государстве, ни тою придворно-аристократическою культурою, высшим продуктом которой был французский классицизм «века Людовика XIV». В то самое время, как в народных массах все высшие инстинкты человека подавлялись безысходною нищетой и беспроглядным невежеством, интеллигентные и буржуазные «разночинцы» составляли класс, не отделявший еще резко своих интересов от интересов народа, поскольку последний также страдал от господствовавших порядков. Ранее всего произошла эмансипация интеллигентной буржуазии в Англии, и, каковы бы ни были ее социальные стремления на экономической почве, в культурной и политической сфере она проявляла либеральные стремления. Там, где этот общественный класс был особенно развит, в нем «философия XVIII в.» и находила наиболее искренних своих почитателей, и из этого же класса должны были выйти и наиболее энергичные деятели на по-

прище общественных и государственных преобразований, которых требовали народное благо и дух времени.

В середине XVIII в. эпоха общего застоя, бывшего результатом реакции, кончается, и начинается эпоха нового движения вперед, отчасти повторяющего, отчасти продолжающего то, что было сделано или только начато в реформационный период западноевропейской истории. Только, как мы уже раньше это отмечали, на этот раз движение, сначала пошедшее сверху, а потом и снизу, совершалось под знаменем «философских», а не религиозных идей.

Просвещенный абсолютизм

Новый период усиленных преобразований всей внутренней жизни европейского Запада до новой реакции, наступившей после падения империи Наполеона I* может быть разделен на две эпохи: эпоху просвещенного абсолютизма (1740–1789) и эпоху французской революции и продолжившей ее во многих отношениях наполеоновской империи (1789–1815).

Остановимся сначала на общем характере того исторического явления, которому присвоено название просвещенного абсолютизма. В истории западноевропейского абсолютизма можно различать разные эпохи, между прочим, в зависимости от тех направлений, которые господствовали в то или другое время в культурной жизни. Абсолютизм, утвердившийся ранее всего в итальянских княжествах конца средних веков, по существу своему был совершенно светским. Его теоретическое обоснование было заимствовано у античного мира, сначала в форме учения римских юристов о том, что воля государя имеет силу закона, так как на него народ перенес все свое право и всю свою державную власть, позднее в форме античной тирании, главным теоретиком которой сделался Макиавелли, так что на образовавшемся этим путем понятии об абсолютной власти отразился светский и классический ренессанс, политическая традиция которого, представленная в XVI в. Боденом[166], завершилась в XVII столетии государственною теориею Гоббса, положившего в основу абсолютизма светскую же идею естественного права. Религиозная реформация и последовавшая за нею католическая реакция дали политической

* Ср. выше.

мысли иное направление, и абсолютизм получил вероисповедную окраску, выразившуюся, быть может, лучше всего в формуле: «чья страна, того и вера» (cujus regio, ejus religio). Целый и притом весьма длинный период европейской истории характеризуется этой формой абсолютизма, и если, например, французская монархия при Генрихе IV[167] и кардинале Ришелье, по-видимому, вступала на иную дорогу, то Людовик XIV снова вернул ее на путь конфессионального абсолютизма. Эпоха «просвещенного абсолютизма» тем и отличается, что государственная власть в это время начинает отрешаться от традиций, которыми она главным образом и жила с эпохи реформации и реакции. Во-первых, учение о божественном происхождении королевской власти, развитое в XVII в. в сочинениях Боссюэта и Фильмера[168], уступает снова место тем светским политическим идеям, которые формулировались юристами, Макиавелли, Боденом, и мы имеем полное право смотреть на Гоббса именно как на родоначальника политической идеи просвещенного абсолютизма, поскольку теория последнего основывалась не на теологических соображениях, а на понятиях рационалистической философии естественного права. Во-вторых, обнаруживая наклонность к веротерпимости, за которую ратовала та же философия XVIII в., абсолютизм второй половины этого столетия возвращался к политике Генриха IV и кардинала Ришелье. Таким образом, в «просвещенном абсолютизме» выразилась та идея светского государства, которая в разных формах и раньше выступала одинаково и против средневекового католицизма, и против конфессиональной политики XVI и XVII веков. Как вероисповедный абсолютизм — все равно, католический или протестантский, — отразил на себе идеи религиозной реформации и последовавшей за ней католической реакции, так просвещенный абсолютизм второй половины XVIII в. был проникнут воззрениями рационалистической философии этой эпохи.

Но это только одна сторона дела, обращающая на себя наше внимание при рассмотрении просвещенного абсолютизма. Абсолютизм нового времени, как мы знаем, был одним из воплощений государственной идеи, пришедшей на смену средневековым принципам католицизма и феодализма. Прежде всего, эта идея мыслилась лишь как право государственной власти, заслонявшее собою понятие о соединенных с пользованием этою властью обязанностях. То, что можно назвать практическим макиавеллизмом в политике нового времени,

вытекало естественно и необходимо из взгляда, по которому у короля есть права, но нет обязанностей. Общее понятие государства само представлялось уму главным образом со стороны совокупности тех прав, которыми оно наделено по природе вещей или по изначальному договору, лежащему в его основе, и только позднее на государство стала возлагаться обязанность служить высшим целям человеческой жизни. В двух разных формулах выразилось различие в понимании того отношения, в каком должны находиться между собою носитель государственной власти и само государство: одна формула делала из особы короля воплощение государства, подчиняла его первой, именно знаменитое «государство — это я» (l'état, c'est moi) Людовика XIV, тогда как другая делала из монарха «первого слугу государства», как выражался Фридрих II, тем самым налагая на королевскую власть известные обязанности по отношению к государству. Эпохе просвещенного абсолютизма, таким образом, принадлежит более высокое понимание государства, нежели то, с каким мы встречаемся на протяжении всего времени, протекшего от Макиавелли до Гоббса, этих главных теоретиков светского абсолютизма. По их представлению задачи государства исчерпывались охраною внутреннего мира и внешней безопасности, а великий государственник XVII в. Ришелье прямо находил даже вредным, чтобы народу было хорошо, но к XVIII веку мы встречаемся уже с более широким пониманием государственной идеи. Насколько можно говорить собственно о теории просвещенного абсолютизма, в ней безграничная власть государства оправдывалась как единственное средство создать земное благополучие и усовершенствовать внутренние отношения общества. Раз государство стало признавать за собою не одни права, но и обязанности, оно теоретически должно было наложить на себя и известные ограничения. Правда, просвещенные «деспоты» (despotes eclaires) XVIII в. не менее ревниво, чем Людовик XIV, относились к своей власти и не менее его были принципиальными противниками сословного представительства, но тем не менее они все-таки умеряли свою власть, налагали на нее известные ограничения (по крайней мере, в теории), становясь именно на точку зрения договорного происхождения государства, как налагающего на монархов известные обязанности: этим умеряющим абсолютизм фактором признавалось как раз тогдашнее «просвещение», которое указывало государственной власти на ее задачи в культурной и социальной жизни.

Но и этим еще не исчерпывается вопрос об основных признаках просвещенного абсолютизма второй половины XVIII века. Воплощая в себе государственную идею нового времени, королевская власть выросла в борьбе с средневековыми силами католицизма и феодализма или, говоря вернее, с политическою стороною того и другого. Но у католицизма была еще сторона культурная, у феодализма — сторона социальная. Мы видели уже, что, нанесши удар клиру и аристократии, как политическим силам, абсолютизм нового времени в сфере культурно-социальной вступил, наоборот, с ними в союз и взял их под свое покровительство, сам вместе с тем подчинившись их влиянию в деле охраны всех старых форм общественной и духовной жизни. Политика просвещенного абсолютизма была возобновлением прекратившейся было борьбы нового государства с католицизмом и феодализмом и на этот раз не только в политической их стороне, но и в культурно-социальных их проявлениях. Продолжая, таким образом, старую антикатолическую и антифеодальную традицию государственной власти с исхода средних веков, политика второй половины XVIII в. отражала на себе и идеи тогдашнего просвещения, отстаивавшего право общества на свободное культурное развитие, право личности на религиозное самоопределение и вместе с тем вооружавшегося и против сословных привилегий, которые выросли на феодальной почве, и против несвободы лица и земли в сельском быту, где наиболее удержались остатки средневекового феодализма.

Весьма и весьма многие мероприятия просвещенного абсолютизма поэтому и были направлены против двух сословий, представлявших собою старые католические и феодальные традиции, а этим и объясняется глухая, а иногда и открытая вражда духовенства и дворянства против представителей новой политики. В этом смысле просвещенный абсолютизм начал действовать, собственно говоря, в том же направлении, в каком потом действовала революция, и те же общественные классы, которые явились врагами просвещенного абсолютизма, сделались потом и врагами революции. Так как последняя, кроме того, приняла республиканский характер, то впоследствии в вызванной ею реакции абсолютизм сблизился именно с теми самыми общественными классами, с которыми он находился в натянутых отношениях во второй половине XVIII века.

Начало эпохи просвещенного абсолютизма следует отнести к 1740 г., когда вступил на престол Фридрих II, «король-философ» и

именно философ в духе XVIII в., друг главного вождя всего просвещения XVIII в., Вольтера, а конец — к 1789 году, около которого сходят со сцены и наиболее видные деятели эпохи, сам Фридрих II и его младший современник Иосиф II, этот революционер на троне, как его называли. На эти полвека приходятся царствования — Карла III Испанского[169], при котором действовал министр-реформатор Аранда[170], Иосифа-Эммануила Португальского[171] и его министра Помбаля[172], только что названного Карла III и его сына Фердинанда IV[173] в Неаполе с министром Тануччи[174], Леопольда[175] в Тоскане, Христиана VII[176] в Дании с министром Струэнзе[177], Густава III[178] в Швеции, Карла-Фридриха[179] в Бадене. К этим же представителям просвещенного абсолютизма нужно присоединить и Екатерину II[180] в России.

Тесная связь между абсолютизмом и просвещением в данную эпоху доказывается, между прочим, теми отношениями, какие существовали тогда между монархами и философами, и теми надеждами, которые последними возлагались на первых. Насколько были искренни отношения между теми и другими, это вопрос особый, но факт все-таки тот, что государи и министры второй половины XVIII в. разделяли многие воззрения философов, сообщали им свои предположения, искали у них сочувствия и популярности, оказывали им поддержку, приглашали их к себе на службу и вступали с ними в дружескую переписку. Около 1765 г. Дидро не без основания писал, что в это время в Европе не было ни одного монарха, который вместе с тем не был бы философом. Со своей стороны «просветители» XVIII столетия возлагали большие надежды на абсолютную монархическую власть, как на политическую силу, которая одна только, по их мнению, могла дать победу в жизни новым идеям. В этом союзе монархов и философов совершалось сближение между государственностью, нашедшею свое воплощение в абсолютизме, и рационализмом, бывшим самою характерною чертою «философии» XVIII века: государство должно было следовать указаниям разума, но власть в государстве должна была находиться в руках абсолютных монархов. И теоретики, и практические деятели просвещенного абсолютизма относились с величайшим недоверием к общественным силам, так что их девизом могло бы быть изречение: «все для народа и ничего посредством народа». Системе этой пришлось действовать в наиболее отсталых странах, где правительства шли впереди общества, продолжавшего жить конфессионально-сословными традициями, и

если абсолютизм встречал здесь какую-либо оппозицию, то главным образом со стороны консервативных элементов, которые были недовольны преобразованиями, затрагивавшими их кровные интересы. Реформа шла сверху, от государственной власти, на стороне которой была сила и которая считала себя вправе действовать посредством силы во имя общего блага. Все делалось путем власти, ничего не оставлялось на долю общественной самодеятельности. Впрочем, последняя, выражавшаяся раньше в феодальных, муниципальных и сословно-представительных формах, давно находилась в упадке, так сказать, совершенно почти иссякла, в то время как государство, наоборот, сделавшись первейшею силою, в сознании именно этой силы считало себя вправе рассматривать самое общество как чисто пассивный материал, подлежащий лишь воздействию сверху. Притом всякое участие общественных сил в делах правления, принимая характер ограничения власти, не только казалось не соответствующим тем правам, которые должны были только ей принадлежать, но и вредным, поскольку со стороны консервативно настроенных общественных сил можно было только ожидать не содействия, а противодействия преобразовательным начинаниям: действительно, там, где сохранялись еще «чины», они проявляли оппозиционное отношение по многим мероприятиям, которых требовала новая государственная политика. В просвещенном абсолютизме государственное начало и философский рационализм сходились между собою именно в том, что оба вели борьбу против всякого права исторического, во имя естественного права. Просвещенный абсолютизм был противником исторических прав сословий и областей, вступив в борьбу с привилегиями духовенства и дворянства и с провинциальным сепаратизмом, опиравшимися на старые привилегии, противопоставив им естественное право, на котором основывалась и сама государственная власть в тогдашней политической теории. Неблагоприятная исторически сложившемуся социальному строю идея естественного права была, наоборот, весьма благоприятна для личной свободы. Просвещенный абсолютизм относился однако весьма двойственно к этой последней: поскольку он сам был лишь применением к жизни государственной идеи Гоббса, а главное — был только видоизменением «полицейского государства», постольку он не давал свободы проявлению индивидуальных сил, но это касалось преимущественно тех сфер, в которых само государство считало себя заинтересованным.

В других отношениях, где права личности подвергались ограничению не в интересах государства, а в силу традиционных культурных и социальных отношений, просвещенный абсолютизм содействовал эмансипации личности, установляя веротерпимость и вообще вводя в известной мере принцип свободы в духовную жизнь общества, содействуя его эмансипации от клерикальной опеки, стремясь к отмене крепостного права или вообще к ослаблению и ограничению помещичьей власти и т. п.

Эта двойственность, впрочем, должна считаться лишь одним из проявлений тех противоречий, которыми вообще отличается весь просвещенный абсолютизм XVIII в. Будучи одновременно продолжением старой королевской политики и применением новой государственной идеи в духе светского абсолютизма, система эта не всегда жила в ладу не только со старыми историческими силами, но и с новыми требованиями самого просвещения, поскольку последнее защищало права личности и общества во имя их достоинства и свободы против всего, что наносило им ущерб.

Рассматривая реформы просвещенного абсолютизма, мы не можем, однако, не отметить того общего факта, что в них все-таки на первом плане стояло укрепление государства, как некоторого единого целого, отстаивающего себя в международной борьбе, а не общее благо в смысле большего подъема и более равномерного распределения народного благосостояния. Внутри вся деятельность правительств была направлена на улучшение администрации и финансов. Но от административных и финансовых реформ, равно как от реформ в областях судопроизводства, школы, печати и т. п., как ни были они несовершенны, имея преимущественно значение лишь благих начинаний, все-таки вытекали или ожидались важные последствия и для самих подданных, материальное благосостояние и духовное развитие которых стало признаваться за важное государственное дело. В католических странах эта политика шла рука об руку с освобождением государства и общества от тягостных последствий религиозной реакции, господствовавшей в общем около двух веков, и весьма знаменательно то, что почти одновременно католические государи Португалии, Франции, Испании, Неаполя и Пармы изгоняют из своих стран иезуитов и добиваются у папы уничтожения самого ордена, и все это в промежуток каких-нибудь четырнадцати лет (1759–1773). Во многих отношениях католические правительства эпохи стремят-

ся, не изменяя ни догмы, ни культа, ни церковной организации, добиться для себя и для светского общества того, что протестантским странам дала реформация. Эпоха просвещенного абсолютизма в католических странах является временем давно небывалых столкновений государства с церковью, и мы присутствуем здесь при том, как ограничивалась власть папы, уменьшалось число духовенства и монастырей, отменялись привилегии клира, его инквизиционная власть и книжная цензура, секуляризировалась церковная собственность, отнималось у духовенства исключительное заведование народным образованием и пр. и пр. В эпоху просвещенного абсолютизма государство впервые начинает также ограничивать социальные привилегии феодальной аристократии, так как и интерес государства, получавшего главную массу налогов с крестьян, и новые идеи права и политики впервые заставили теперь королевскую власть более деятельным образом вмешаться в ту сторону социального феодализма, которою определялся весь крестьянский быт. Впрочем, результаты этой деятельности государства до конца эпохи оставались крайне ничтожными, и значительно двинула вперед дело освобождения крестьян от крепостной зависимости на Западе лишь французская революция.

Общеевропейское значение французской революции

Еще живы были некоторые государи эпохи просвещенного абсолютизма, когда во Франции началось страшное политическое потрясение, отразившееся на всей Западной Европе и сделавшееся исходным пунктом всей новейшей истории. Французскую революцию 1789 г. можно рассматривать и по ее значению для истории самой Франции, и по ее значению вообще в европейской истории, как начала целого ряда коренных перемен в жизни разных стран, испытавших на себе ее непосредственное или косвенное влияние. Подобно тому, напр., как немецкая Реформация в XVI в., объясняясь из местных причин и, в свою очередь, объясняя дальнейшую историю Германии, вместе с тем находилась в тесной связи с более общими условиями всей западноевропейской истории и потому оказала сильное влияние на другие страны, — так и французская революция, имея свое особое отношение к месту своего происхождения, получает и более общий смысл с точки зрения всей западноевропейской исто-

рии. Вот два главных исторических явления, к которым она имеет отношение: разрушение феодализма, поскольку последний господствовал в социальной сфере и даже окрашивал отношения политические, с одной стороны, и внесение в государственную и общественную жизнь начала свободы политической и индивидуальной. Постепенное разрушение феодализма — один из основных фактов западноевропейской истории, другой не менее важный факт — рост личного и общественного самосознания, соединенный с стремлением к самоопределению в сферах индивидуальной и национальной жизни. То, что вытекало во Франции из условий, общих для нее и для других стран Западной Европы, и что по местным причинам совершилось в ней ранее, чем в этих других странах (хоть и позднее, чем в Англии), должно было — в иных только формах — произойти везде, где историческая жизнь развивалась из таких же основ. Но в истории действует еще и пример: распространение французских идей среди разных народов подготовило почву для того, чтобы и пример приложения этих идей к жизни, поданный Францией, мог найти подражание. Таким образом, общие условия быта и общие политические идеи сами по себе были условиями для перехода движения, начавшегося во Франции, в другие страны, подобно тому, как, повторяем, это было с переходом Реформации из Германии к разным народам католической Европы. В данном случае на сцену выступил и еще один фактор, война. В 1792 г. между революционной Францией и монархической Европой, как известно, началась война, беспрерывно почти продолжавшаяся около четверти века. В этой борьбе победа была долгое время на стороне Франции, которая не только отстояла свои новые учреждения, но и произвела целый переполох в самой Европе, принудив даже ее монархические правительства вступать в сделки с правительством, вышедшим из недр революции. В этот период не только была переделана политическая карта Европы, но и во внутренней жизни разных государств под прямым или косвенным влиянием Франции совершались крупные изменения. Вся новейшая западноевропейская история развивается в направлении, которое ей дал толчок, вышедший из Франции. Французская революция, можно сказать поэтому, разрушала не только старую Францию, но и вообще старую Европу.

Во Франции в эпоху просвещенного абсолютизма государственная власть продолжала держаться в общем старой реакционной по-

литики придворно-клерикального абсолютизма. Между тем, ни одно государство в такой мере не страдало внутренними противоречиями, как тогдашняя Франция, и нигде не было такой глубокой пропасти между общественным сознанием и общественными порядками, как опять-таки в этой стране. Королевская власть, выступив здесь на путь социальных реформ в духе культурных идей, нашла бы, несомненно, поддержку со стороны интеллигенции и буржуазии, но Бурбоны этого не сделали, и в середине XVIII в. общественное движение стало принимать характер, более или менее враждебный королевскому абсолютизму. И старые привилегированные сословия, и либеральная буржуазия одинаково начали видеть в этой власти узурпацию прав нации, и чем больше уходило времени, и вместе с этим все менее и менее было надежды на возможность реформы сверху, тем сильнее французское общество проникалось мыслью о необходимости полного политического преобразования. Перед глазами французов была английская конституция, теорию которой дал Монтескье в «Духе законов», а потом в качестве примера, которому они стали подражать, представилось им зрелище американской нации, учредившей у себя свободное государство. Английское и американское движения и были, действительно, антецедентами французской революции.

Собственно говоря, в трех странах западноевропейской культуры одержал победу в три разных периода новой истории политический протестантизм и воплотился в соответственные государственные формы политической свободы: раньше всего это произошло в Нидерландах, отложившихся от испанской монархии для образования самостоятельной республики еще в конце XVI века; в конце следующего столетия то же начало взяло верх и в государственной жизни Англии, благодаря второй ее революции; менее чем сто лет спустя, и английские колонии в Америке, куда переселенцы принесли свободные учреждения родины и развили их далее на основах идей передового пуританизма XVII в., отложились от своей метрополии, нарушавшей их законные права, и образовали новую республику Соединенных Штатов*. В XVIII в. для французов Англия и Америка сделались странами свободы, к которой они стали стремиться и у себя на родине.

* Об этом подробнее в следующем очерке.

Известно, что английские философские и политические идеи повлияли на французскую литературу XVIII в., и к этому нужно еще прибавить, что и сами французы тогдашнего времени любили ездить в Англию и прославляли ее внутреннюю свободу: только после американской войны за независимость, в которой Франция тоже принимала участие, они перенесли свои политические симпатии и на новую свободную нацию за Атлантическим океаном. В середине XVIII века Монтескье изобразил английскую конституцию как идеал устройства, наилучшим образом, по его мнению, обеспечивающего законную свободу, и хотя его политическое построение не вполне соответствовало действительным отношениям, существующим между английскими государственными властями, тем не менее, его теория о том, что свобода гражданина более всего обеспечивается разделением властей законодательной, исполнительной и судебной между тремя самостоятельными органами, сделалась своего рода политическим догматом. Еще большее впечатление произвела на французов американская революция. Колонисты, восставшие против метрополии, которая их притесняла, обратились ко всему цивилизованному миру с торжественной декларацией прав, основывая свое отложение от Англии на популярных в то время идеях философии естественного права, и французы поняли дело так, будто новое государство было обязано своим возникновением исключительно применению к жизни отвлеченных принципов.

Ее антецеденты[181] и ее принципы и следствия

Понятно, что здесь мы не можем останавливаться на самом ходе событий в эту важную эпоху западноевропейской истории, но нам в этом очерке происхождения современного государства и общества на Западе и не это, конечно, нужно: главное дело в том, чтобы выяснить то значение, которое французские события конца XVIII в. имеют для остальной Западной Европы в XIX в. Понятие старого порядка, о котором шла у нас речь выше, сложилось для обозначения политического и сословного строя, уничтоженного во Франции революцией. Задачею своею последняя поставила себе полную замену этого строя другим, основанным на принципах рационалистического естественного права, на идеях свободы и равенства. В 1789 г. французы хотели, чтобы прежний абсолютизм был заменен самоуправлением нации, а

сословные привилегии уступили место бессословному гражданству. Таковы были основные стремления переворота 1789 года, но то же самое можно сказать и о других политических движениях того же самого характера с конца XVIII в. Эти принципы были запечатлены в целом ряде разного рода деклараций и конституций, изданием которых сопровождались обыкновенно эти политические движения. В данном отношении особенно интересно сравнить между собою французскую декларацию прав человека и гражданина, выработанную в 1879–1891 гг., с соответственною частью германской конституции 1849 г. Это сравнение покажет нам, что и в начале, и в конце периода чисто политических революций мы имеем дело с одними и теми же принципами политической свободы и гражданского равенства. На протяжении 60 лет между 1789 и 1849 гг. совершился на Западе Европы целый ряд политических переворотов, но все они имеют один и тот же характер. Французская декларация прав человека и гражданина исходит из того общего положения, что «единственными причинами общественных бедствий и порчи правительств» являются «незнание, забвение или презрение прав человека», прав, которые декларация называет «естественными, не отчуждаемыми и священными». Выводы, какие могут быть сделаны из этих прав, декларация провозглашает простыми и бесспорными. «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Таков первый и основной принцип всей декларации. Права эти заключаются в «свободе, собственности, безопасности и сопротивлении угнетению», причем свобода определяется, как «возможность делать все, что не вредит другому». Таким образом, поясняет декларация, «пользование каждого человека его естественными правами не имеет границ кроме тех, которые обеспечивают за другими членами общества пользование теми же правами». Несколькими специальными статьями устанавливаются разные виды индивидуальной свободы, т. е. личная неприкосновенность, свобода совести, свобода мысли, свобода слова и свобода печати. Собственность так же объявляется ненарушимым и священным правом, в силу чего никто не может быть ее лишаем, кроме случаев, когда того требует общественная надобность, да и то лишь под условием законного вознаграждения. Свободные личности должны пользоваться полным равенством перед законом: декларация допускает существование лишь таких общественных различий, которые основаны на общей пользе. «Закон должен быть равный для

всех, имеет ли он целью защиту или наказание. Так как все граждане перед ним равны, то они должны быть одинаково допускаемы ко всем званиям, местам и общественным должностям по своим способностям и без иных различий, кроме существующих в их добродетели и талантах». Равным образом декларация говорила и о равномерном распределении налогов между гражданами сообразно с их средствами. Совокупности свободных граждан декларация отдавала, далее, верховную власть в государстве. «Принцип всей верховной власти находится существенным образом в нации. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право лично или через представителей участвовать в издании законов», а также «право лично или чрез своих представителей определять необходимость общественных налогов, свободно на них соглашаться, следить за их употреблением, устанавливать их размер, основание раскладки, способ взимания и срок». Поэтому декларация объявляла, что «никакое учреждение, никакое лицо не может осуществлять власти, не происходящей прямо от нации», и что «общество имеет право требовать отчета у каждого публичного агента своей администрации».

Приблизительно те же самые принципы мы находим сформулированными в том отделе германской конституции 1849 г., который носит заголовок «основные права немецкого народа». Подобно тому как декларация прав человека и гражданина объявляла свои принципы стоящими выше конституции, так и здесь провозглашалось, что упомянутые основные права должны «служить нормою для конституций отдельных немецких государств». В нескольких статьях конституция 1849 г. говорит, как и декларация 1791 г., о личной неприкосновенности и о разных видах индивидуальной свободы; в некоторых отношениях германская конституция только обстоятельнее своего прототипа, прибавляя, напр., особый параграф о праве народных собраний. Очень подробно говорится в конституции и о гражданском равенстве. «Перед законом нет различия сословий. Дворянство, как сословие, отменяется. Сословные привилегии уничтожаются. Немцы равны перед законом. Все титулы, поскольку они не соединены с какою-либо должностью, отменяются и не должны быть восстановляемы. Общественные должности одинаково доступны для всех, способных их занимать» и т. п. И в Германии конституция основывала государство на народном представительстве. «Каждое немецкое государство, гласит одна статья этого законодательного памятника, —

должно иметь конституцию с народным представительством. Министры ответственны перед народным представительством. Народное представительство имеет решающий голос в вопросах законодательства, налогов и государственного бюджета».

Мы видим, таким образом, почти полное совпадение между политическими принципами двух революций, отделенных одна от другой более чем полувеком. В обоих случаях исходный пункт один и тот же — идея свободной личности, равноправной с другими личностями и подчиняющейся лишь закону как выражению общей воли. Раз каждая отдельная личность свободна, то и народ, как совокупность подобных личностей, должен управляться сам собою. Следовательно, вся рассматриваемая нами политическая программа может быть выражена в трех принципах: личная свобода, бессословное гражданство, народное самоуправление. Это самоуправление осуществляется посредством представительных учреждений, которые делаются на Западе главною целью политической борьбы со стороны защитников индивидуальной свободы и гражданского равенства.

Представительные учреждения не были новостью в истории западноевропейского государства, потому что возникли еще в средние века, но между старыми и новыми учреждениями этого характера есть большая разница: средневековое представительство было сословным, в соответствии с сословным строем общества, тогда как представительство новое является, по крайней мере, в теории представительством национальным, общенародным. В истории французской революции можно отметить весьма определенно момент, когда произошла замена одного политического принципа другим. Именно 17 июня 1789 года сословные генеральные штаты превратились в бессословное национальное собрание, и это превращение в истории представительных учреждений было концом одного периода и началом другого, хотя уже раньше английский парламент утратил следы своего сословного происхождения, а начало сословности продолжало еще жить и позднее в немецких представительных учреждениях XIX в. Сословное представительство возможно только в обществе, расчлененном на сословия, но дело именно в том и заключается, что французская революция положила конец сословным привилегиям во имя идеи гражданского равенства. И в этом последнем отношении мы можем указать на дату, когда сразу рухнул весь социальный феодализм, и на его развалинах основано было бессословное граж-

данство. Как известно, это произошло в знаменитом ночном заседании четвертого августа 1789 г. Решения, принятые в этом заседании представителями французского народа, для социальных отношений имели тот же смысл, какой в политической области получило постановление 17 июня. Впоследствии эти решения вошли в состав конституции 1791 г., которая на первых же строках своих объявляла «бесповоротно уничтоженными все учреждения, оскорблявшие свободу и равенство прав»: «нет больше, — читаем мы в этой конституции, — ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных отличий, ни сословного разделения, ни феодального режима, ни патримониальной юстиции, ни каких-либо титулов, званий и прерогатив, из всего этого возникающих, ни каких-либо рыцарских орденов, корпораций и украшений, для которых требовались бы доказательства дворянства или которые предполагали бы неравенство рождения». Поэтому далее прямо заявлялось, что впредь во Франции будет существовать только одно состояние граждан (l'etat des citoyens). Мы видели, что аналогичное постановление было включено и в германское уложение 1849 г. Естественными правами всех граждан декларация 1791 г. признавала одинаковое для всех право занимать разные государственные и общественные должности, равномерность распределения между гражданами налогов и общую подсудность одним и тем же уголовным законам.

В это состояние граждан вследствие этого пересмотра вступили во Франции и те общественные классы, которые ранее вообще не считались полноправными гражданами государства и даже были лишены самых элементарных прав свободных людей. В таком положении находилась в дореволюционной Франции почти вся масса сельского населения. Правда, число крепостных здесь было сравнительно с некоторыми другими континентальными странами очень небольшое, но и свободная часть крестьянства все еще продолжала находиться под властью привилегированных землевладельцев духовного и светского звания. Поземельная собственность, находившаяся в руках непривилегированных сословий, тоже не была свободна, так как и на нее распространялись известные права привилегированных землевладельцев. Мало того: неравенство, существовавшее между лицами, переносилось и на самые земли, тоже делившиеся на благородные и подлые. Освобождая личность крестьянина, новый закон вместе с этим освобождал его собственность; установляя равенство

между людьми, он установлял равенство и между землями. Вообще нужно сказать, что и другие политические движения с конца прошлого века в большинстве случаев были связаны с историей крестьянского вопроса там, где продолжали существовать феодальные порядки и крепостничество. Окончательная ликвидация этих социальных отношений чисто средневекового происхождения была предпринята в Западной Европе лишь под влиянием событий 1848 г. Это было естественное применение к общественной жизни принципов юридической свободы и равенства перед законом.

Философия естественного права должна была отнестись отрицательно ко всем порядкам и учреждениям, которые не оправдывались перед идеями разума, и с этой точки зрения все исторически сложившееся подлежало отмене, поскольку противоречило новым понятиям о правах личности и о происхождении и задачах государства. Когда французскому национальному собранию пришлось создавать новую административную систему, то в основу деления государства на департаменты были положены не исторически сложившиеся границы провинций, округов, бальяжей и т. п., а чисто отвлеченные принципы геометрии и арифметики: каждый департамент должен был быть по возможности равной с другими величины и иметь, приблизительно одинаковое количество жителей. Это было новым разрывом с историей во имя чисто отвлеченного представления о государстве, в котором все должно быть основано на отвлеченных принципах. Философия естественного права знала только индивидуальную свободу и общегосударственный интерес. Все промежуточное между отдельною личностью и политическим целым с этой точки зрения не могло и не должно было иметь самостоятельного значения. Французские департаменты вышли поэтому совершенно искусственными административными единицами, которые с удобством могли уложиться в систему административной централизации. Отдельная личность, которой не разрешалось создавать общественные союзы корпоративного характера, равным образом оказалась слишком слабою в сравнении прежде всего с государством, как представителем правильно или неправильно понимаемого общего интереса. Принцип личной свободы французская революция применила и к труду, к промышленной деятельности человека. В этой области индивидуум должен был быть свободным, и притом не по отношению к одному только государству. Уничтожая крепостничество, барщину, разного

рода стеснения, которым крестьянин подвергался в своей хозяйственной деятельности, революция тем самым освобождала личный труд, но тогдашняя экономическая школа физиократов, опиравшаяся на идею естественного порядка, требовала давно отмены стеснений для свободы труда и промышленности и в области индустрии. Свободе в этой сфере препятствовала старая цеховая организация ремесел, в которой притом начала эксплуатации в значительной мере расшатали старые основы солидарности работников одной и той же специальности. Во имя свободы личности революция не только отменила все цеховые учреждения, но даже и на будущее время запретила устраивать какие бы то ни было ассоциации на почве общих экономических интересов, дабы ни под каким видом старые цехи не могли возродиться к жизни. В таком именно смысле французское Национальное собрание издало 14 июня 1791 года специальный декрет. Тогдашние французские законодатели усматривали в возможных попытках основания новых союзов нечто «неконституционное и заключающее в себе покушение на свободу и декларацию прав человека». Представляя этот декрет национальному собранию, докладчик, на котором лежала обязанность подробно мотивировать принимаемое решение, указывал на то, что в государстве не должно быть иных интересов, кроме частного интереса каждого отдельного лица и интереса общего: «Никому, — говорил он, — не дозволяется внушать гражданам какой-то промежуточный интерес и отделять их от общественного дела корпоративным духом», тем более, что корпорации противоречат принципу «свободных соглашений лица с лицом».

Итак, революция знала только отдельную личность и государство и ничего промежуточного между ними. Если можно так выразиться, она атомизировала общество, уничтожив старые общественные союзы, сословия и корпорации и поставив каждого отдельного человека лицом к лицу с другими единичными личностями и с государственною властью, построенною на новом начале. Самостоятельные общественные союзы стесняли личную свободу и мешали проявлению государственного всемогущества; но в них была и другая сторона, а именно солидарная защита общих интересов и соединенных с ними прав: снимая с личности прежние путы, революция отнимала у него и возможность обороняться в союзе с другими. Вот почему в той критике революционного законодательства, которая шла из

консервативного лагеря, уже тогда не все было результатом предрассудков и непонимания.

Кроме отдельных провинций, сословий и корпораций, основывавшихся на историческом праве, — хотя бы такого термина тогда и не существовало, — революции пришлось еще иметь дело с организацией, которая ссылалась на право еще высшего порядка, на божественное право. С точки зрения естественного права личности новый режим отнял у католической церкви ее прежнюю власть над обществом, провозгласив свободу совести и равноправность всех исповеданий. Но и в этой области Национальное собрание не хотело допустить свободной общественной организации, взглянув на церковь как на чисто государственное учреждение, а на служителей религии как на своего рода общественных чиновников. Таков был именно смысл так называемого гражданского устройства духовенства, декретированного 12 июля 1790 г. И здесь отдельная личность, за которою признавалась свобода совести, но не признавалась свобода религиозного общения, ставилась лицом к лицу с государством, преобразовывавшим по своему усмотрению и в своих интересах внутренние распорядки католической церкви. Таким образом, в данном случае государство не разрушало старой организации, а приспособляло ее к своим целям, хотя вследствие этого ему и пришлось прийти в столкновение с принципом религиозной свободы. Вообще революционные правительства конца XVIII в. охотно расширяли индивидуальную свободу лишь в тех случаях, где она не сталкивалась с государственным интересом (raison d'etat), который тоже обосновывался на идее естественного права. Революция уничтожала старые порядки и учреждения, опиравшиеся на историческое или божественное право во имя права естественного — которое понималось не только в смысле индивидуальной свободы, но и в смысле государственного интереса. Права и привилегии отдельных местностей, сословий и корпораций приносились в жертву не только личностей, но и государства. Нивелируя общество, государство в то же время его атомизировало, и это не могло не отразиться на взаимных отношениях отдельных классов общества. Мы еще увидим, какое значение получила отмена цехов в той промышленной революции, которая тоже положила свою печать на взаимное отношение социальных классов в XIX столетии.

Нам остается еще решить вопрос о том, какие общественные элементы получили наибольшую выгоду от крушения старых по-

рядков, от введения бессословного гражданства и народного самоуправления. Проиграли, конечно, оба привилегированные сословия — духовенство и дворянство, которые лишились своего господствующего положения в обществе, своих исключительных прав, своей власти над сельским населением и значительной части ранее принадлежавших им земель и доходов. Эти два сословия уже в эпоху просвещенного абсолютизма представляли из себя консервативную оппозицию против задумывавшихся или проводившихся тогда реформ. Между привилегированными и революцией могла быть только борьба, и падение революционного движения необходимо должно было сопровождаться клерикальной и феодальной реакцией. Выиграли от введения новых порядков вообще все непривилегированные, хотя в весьма различных степенях и далеко не в одинаковых отношениях. Непривилегированные сами распадались на несколько классов, различавшихся между собою и в экономическом, и в культурном смыслах. В общем, однако, мы имеем право говорить о двух больших частях нации, из которых одну стали называть буржуазией, другую — народом. Эти два класса были заинтересованы в падении старых порядков, но новые порядки получили для них неодинаковое значение. Наиболее выиграла от революции буржуазия.

В экономическом и культурном отношениях буржуазия при старом порядке уже возвысилась до того уровня, на котором находилось дворянство, но в отношениях юридическом и политическом между обоими классами существовала громадная разница. Зажиточный и образованный буржуа постоянно чувствовал приниженность своего положения и вследствие этого делался горячим противником аристократических привилегий. Падение старого сословного строя ставило буржуазию на верхнюю ступень общественной лестницы, потому что теперь положение человека в обществе определялось не его происхождением, а его имуществом, и прежняя социальная роль землевладения распространилась на движимое имущество. Все, что при старом порядке могло быть достоянием только одного дворянства, делалось доступным и для буржуазии. Разного рода препятствия, которые существовали в сословном строе для дальнейшего развития социального значения буржуазии, исчезли, и средние классы могли занять первенствующее положение в обществе. Выиграло от революции, конечно, и крестьянство, потому что и с него снима-

лись феодальные путы; однако этот общественный класс благодаря революции получал только возможность вести более человеческую жизнь: буржуазии революция позволяла сделаться общественным классом, крестьянство она только выводила из приниженного положения. Притом и в сельском населении существовали крестьяне-собственники и крестьяне безземельные. Первые выигрывали от уничтожения феодальных прав и церковной десятины, тем более, что это уничтожение было совершено во Франции безвозмездно (не так, как это делалось потом в других странах). Зато положение безземельного крестьянства революция мало чем изменяла. Столь же мало изменила революция положение городских рабочих, хотя, по-видимому, низшие классы городского населения принимали наиболее деятельное участие во всем этом движении, и на них преимущественно опирались вожди французской демократии. Пролетариат, сначала возлагавший большие надежды на революцию, мало-помалу в ней разочаровался и охладел к ней. Это даже было одной из причин начавшейся во Франции реакции, приведшей к владычеству Наполеона. С другой стороны, в самой буржуазии движения, происходившие в пролетариате, вызвали реакционное настроение, которое тоже содействовало установлению Наполеоновского режима. Средние классы общества охотно ниспровергали старый социальный строй, поскольку он был для них невыгоден, но вовсе не хотели поступиться теми выгодами, которые вытекали для них из их экономического положения в новом строе. В разрушении привилегий буржуазия и народ шли рука об руку и действовали солидарно, но когда победа над старым порядком была одержана, обнаружилось, что в понимании свободы и равенства между буржуазией и народом не было полного согласия. Задача буржуазии заключалась в том, чтобы консолидировать сделанные ею приобретения, в народных же массах существовало представление, что совершившееся есть только начало целого ряда новых изменений.

Наше представление о происхождении современного западноевропейского строя было бы неполным, если бы мы ограничились, как это делалось раньше, указанием на общее значение перемен, произведенных в жизни политическим переворотом 1789 г. Одновременно с ним происходила и экономическая, или индустриальная, революция, положившая начало всему новейшему экономическому строю.

Экономический переворот конца XVIII и начала XIX вв.

Экономический переворот, который приурочивается к концу XVIII и началу XIX в., был результатом трех тесно связанных между собою процессов, из которых каждый может быть рассмотрен независимо от других. Одним из этих процессов было образование пролетариата, которое само было результатом обезземеления народной массы. Другой процесс заключался в разложении и падении старого цехового устройства промышленности, препятствовавшего развитию крупного производства. Наконец, третий процесс, — это изобретение машин и введение их в производство. Связь между этими тремя процессами заключается в том, что крупная промышленность могла достигнуть наибольшего развития лишь при существовании большого количества свободных рук при отмене старых установлений, поддерживавших мелкое производство, и при тех новых технических изобретениях, которые выразились, главным образом, в усовершенствованных механических способах, заменивших прежний исключительно ручной труд.

Обезземеление народной массы в Западной Европе имеет свою длинную историю, в которой необходимо различать юридическую и экономическую стороны. В средние века в эпоху полного господства феодализма и крепостнических отношений между крестьянскою массою и землею существовала самая тесная связь. Если крестьянин был прикреплен к земле, то можно сказать, что и земля была прикреплена к крестьянину. Освобождение крестьянина в Западной Европе, начавшееся еще во второй половине средних веков, сопровождалось ослаблением и даже прекращением той юридической связи, которая существовала раньше между сельским населением и землей. Если, однако, свободный поселянин во многих случаях переставал быть собственником или владельцем земли, из этого еще не следовало, чтобы он сразу переставал быть самостоятельным сельским хозяином, хотя бы и на чужой земле в качестве половника или фермера. Мелкое крестьянское землевладение могло сокращаться, и за его счет могла расширяться крупная помещичья собственность, но этот процесс не влек за собою уничтожения мелкого крестьянского хозяйства и замены его крупным хозяйством помещичьего типа, так что крупная поземельная собственность вполне уживалась с мелким крестьянским хозяйством. Но лишь на почве развития крупной

собственности за счет мелкого землевладения сделалось возможным и развитие крупного хозяйства за счет хозяйства мелкого, и в этом заключается другая сторона рассматриваемого процесса. Нужно заметить, что юридическое состояние лица и экономическое отношение к земле могли находиться в довольно различных комбинациях. В громадном большинстве случаев процесс обезземеления народной массы шел рука об руку с ее раскрепощением, но возможным было и обезземеление крестьян при сохранении над ними старой помещичьей власти. Такой случай мы наблюдаем именно в Мекленбурге, где в XVII и XVIII вв. в широких размерах происходило обезземеливание крестьян, остававшихся, тем не менее, до начала XIX столетия в крепостной зависимости. Юридическое отношение мелких хозяев к обрабатываемой ими земле могло быть также весьма различное, но был ли крестьянин мелкий собственник или чиншевик, половник или денежный арендатор, он был все-таки самостоятельным хозяином, хотя бы даже и не пользовался полными правами гражданства. При замене мелкого хозяйства какого бы то ни было вида хозяйством крупным крестьяне, так или иначе, лишавшиеся участков, на которых они сидели, превращались из самостоятельных хозяев в наемных рабочих, в батраков, которые уже работали в чужих хозяйствах, велись ли последние самими землевладельцами или посторонними предпринимателями, снимавшими у них земли большими участками. Именно обезземеление крестьянства во втором смысле, т. е. в смысле разрыва его хозяйственной связи с землей, главным образом и содействовало образованию пролетариата, без которого не могла бы развиться крупная обрабатывающая промышленность.

В больших или меньших размерах и с большею или меньшею скоростью процесс обезземеления совершался во всех западноевропейских государствах, но нигде он не происходил в таких размерах и с такою быстротою, как в Англии, где уже во времена Адама Смита[182] общество представлялось резко разделенным на три отдельных класса: одним из них были более или менее крупные землевладельцы, так как в то время мелкая крестьянская собственность почти совсем исчезла; другой класс составляли капиталисты, которые, между прочим, в качестве более или менее крупных фермеров вкладывали свои капиталы в сельскохозяйственные предприятия: наконец, вся остальная масса населения состояла почти исключительно из рабочих, живших продажею своего труда, между прочим, и в фермерских предприяти-

ях. К концу XVIII и началу XIX вв. этот процесс в Англии окончательно завершился. Еще за сто лет перед тем, т. е. в эпоху второй революции, Англия была страною, главным образом, земледельческою, но уже в семидесятых годах XVIII в. половина всего населения страны жила в городах, тогда как, например, во Франции в эпоху великой революции городские жители составляли лишь одну четвертую часть всего населения государства. Некоторые стороны этого процесса с особенною резкостью бросаются в глаза. Именно в конце XVIII и начале XIX вв. в Англии издано было множество парламентских актов о так называемом огораживании, посредством которых поступали в пользу лендлордов общинные земли, находившиеся раньше в свободном пользовании сельских жителей. Подобные акты издавались и прежде, но никогда это огораживание не производилось в таких громадных размерах, как на рубеже XVIII и XIX вв.: с 1760 по 1832 г. таких актов было издано более трех с половиною тысяч, и благодаря им лендлорды приобрели без малого семь миллионов акров. Рядом с этим происходили так называемые очистки имений, заключавшиеся в том, что у мелких фермеров по окончании арендного срока отбирались их участки для соединения нескольких мелких аренд в одну крупную или для превращения их в пастбища и искусственные луга.

Другой процесс, содействовавший экономическому перевороту, заключался в падении средневековой цеховой организации промышленности. Пока существовала эта организация, поддерживавшая мелкое производство, развитие крупной промышленности было сильно стеснено. Правда, сами цехи, возникшие еще во второй половине средних веков, переживали в последнее столетие своего существования процесс внутреннего разложения, но пока держались законы, ограждавшие цеховую организацию, она охватывала собою множество производств и самым своим существованием препятствовала развитию фабрик и заводов более крупных размеров. Против цехов в том виде, как они существовали в XVIII в., раздавались в общем довольно справедливые жалобы, в которых указывалось на то, что эти ремесленные корпорации получили чисто олигархический характер и, вместе с тем, с одной стороны, стесняли свободу труда, а с другой — тормозили технические успехи производства. Новая экономическая школа физиократов по отношению к цехам заняла положение весьма неблагоприятное, и величайший представитель физиократии Тюрго, в бытность свою министром, сделал даже попытку отменить

во Франции цеховую организацию промышленности. Около того же времени английский родоначальник политической экономии, Адам Смит, равным образом высказывался в том смысле, что цеховые привилегии нарушают самые священные права личности. Французская революция навеки отменила цехи наряду с другими учреждениями, отжившими свое время, и во всех странах, на которые в конце XVIII и в начале XIX в. распространилось действие революционного законодательства, эта старинная промышленная организация прекратила свое существование. Уничтожая в 1791 г. прежние ремесленные корпорации, учредительное собрание запрещало, вместе с тем, какие бы то ни было договоры и союзы между «гражданами одного и того же ремесла».

После этого препятствия, которые цеховой строй ставил развитию крупной промышленности, исчезли, а запрещения соглашений между рабочими создавали в пользу предпринимателей такие условия найма, при которых труд вполне отдавался в жертву капиталу. В Англии до середины двадцатых годов XIX в. тоже существовали законы, воспрещавшие коалиции рабочих, поскольку последние могли быть вредны интересам предпринимателей, но, с другой стороны, как раз в это время рядом последовательных актов парламент отменил старые законы, которые мешали развитию крупной промышленности и, регулируя взаимные отношения мастеров и подмастерьев, ограждали интересы последних против чрезмерной эксплуатации. Поход против цехов начался и в Германии, где тоже сторонники экономической свободы стали оказывать влияние на законодательство. Например, в Пруссии в 1808–1810 гг. по вопросу о цехах работала особая комиссия, которая доказывала необходимость полной отмены этой системы, ссылаясь при этом на французское законодательство. Одно из королевских распоряжений, вводившее новый промысловой налог, дозволило каждому, купившему известный патент, заниматься тем или другим ремеслом в данной местности без всякой помехи со стороны каких бы то ни было корпораций, вследствие чего принадлежность к цеху для занятия каким бы то ни было ремеслом делалась излишнею, а в следующем году другой королевский указ перенес многие права цехов на представителей полицейской власти, и в силу этого нового закона принадлежность к цеху не приносила ремесленнику никакой особой выгоды. Подобные законы, само собою разумеется, только облегчали во многих от-

раслях промышленности переход от ремесленного производства к фабричному. Мастера, которые прежде были сами подмастерьями, и подмастерья, имевшие большую или меньшую возможность со временем сделаться мастерами, стали заменяться, с одной стороны, фабрикантами-капиталистами, с другой — наемными рабочими: произошла таким образом социальная дифференциация, и труд был разлучен с орудиями производства.

Описанный процесс обезземеления сельской массы создал множество свободных рук, которые и нашли применение в крупной промышленности, после того как падение цехов уничтожило последние преграды для ее развития. Равным образом падение старого цехового законодательства очищало поле и для широкого применения усовершенствованных орудий производства, которые стали изобретаться в громадном количестве в конце XVIII и начале XIX вв. Мы и остановимся на том значении, которое принадлежит в истории экономического переворота введению новых орудий производства, т. е. машин, в разные отрасли обрабатывающей промышленности, в чем и заключается третья сторона рассматриваемой нами индустриальной революции.

В каждой машине мы должны различать, кроме механизмов, передающих движение, механизмы, приводящие всю машину в движение, и механизмы, непосредственно работающие над материалом производства. На самых ранних ступенях технического развития движущую силу представлял собою сам человек или заменявшее его домашнее животное (лошадь, осел, вол), а над материалом обработки оперировали руки самого человека, вооруженные наиболее простыми орудиями. Движущие и работающие инструменты с развитием техники и стали заступать место сил и рук человека. Еще в древности была изобретена водяная мельница, которая впоследствии (сравнительно очень поздно) была применена и к некоторым отраслям обрабатывающей промышленности. В середине XVIII в. была придумана паровая машина и вскоре после этого стала применяться к фабричному производству (1785). Это был целый переворот в истории обрабатывающей промышленности. Водяная сила была, так сказать, прикована к известному месту, зависела от атмосферических условий и не могла быть произвольно увеличиваема, тогда как паровая машина могла быть поставлена где угодно, работать независимо от времен года и от погоды и давать по желанию человека ту или другую

силу. Одновременно с этим переворотом обрабатывающая промышленность переживала эпоху изобретения целого ряда механизмов, заменявших собою прежние ручные инструменты. Эти новые орудия, в сущности, исполняли те же работы, какие и ранее производились при помощи старых инструментов, но если прежде рабочий мог действовать только одним инструментом, то машина стала делать то же самое сразу целою массою однородных, а иногда и разнородных инструментов. Подобно тому, как изобретение паровой машины увеличивало во много раз количество той силы, которою прежде пользовался человек в разных производствах, так и это изобретение новых рабочих машин страшно ускоряло процесс изготовления тех или других продуктов. Еще в тридцатых годах XVIII в. была изготовлена первая самопрялка, которая с конца шестидесятых годов стала приводиться в движение водяною силою, замененною впоследствии паром. Около 1770 года другое аналогичное изобретение сделало возможным прясть одновременно несколько нитей. В 1785 году в то самое время, когда в первый раз сила пара была применена к бумагопрядильной промышленности, был изобретен и механический станок для тканья, получивший свой окончательный вид в 1813 году. Новые прядильные и ткацкие машины были наиболее важными изобретениями этого рода, потому что одновременно были придуманы и стали вводиться в употребление и разные другие машины. Этот технический прогресс коснулся точно так же и добывающей промышленности. Собственно говоря, сила пара ранее всего была применена в горнозаводском деле, а потом уже на прядильных и ткацких фабриках. К числу наиболее ранних рабочих машин нужно отнести и столь важную в сельском хозяйстве молотилку, начало которой относится к 1798 году. Сопоставляя между собою приведенные даты, мы видим, что введение машинного производства относится как раз к той эпохе, когда совершилась политическая революция конца XVIII в. Нужно только прибавить, что перечисленные изобретения были сделаны и применены к делу в Англии, которая не испытала на себе переворота, подобного совершившемуся на континенте, и что, наоборот, революционная буря и последовавшие за нею наполеоновские войны только помешали распространению английских механических изобретений вне их родины. Промышленную революцию, ранее всего совершившуюся в Англии, отдельные континентальные страны переживали уже в XIX веке.

Рассуждая теоретически, можно было бы ожидать, что машины, увеличивая силы человека и ускоряя производство необходимых ему предметов, должны были бы оказать только благоприятное действие на жизнь рабочих, которые, по-видимому, могли бы только с радостью приветствовать все эти новые технические изобретения. В действительности вышло совсем не то. Введение машинного производства имело своим следствием сокращение потребности в ручном труде, как будто на сцену явилась масса новых рабочих, лишивших старых рабочих их обычного заработка. Другими словами, машины сделались весьма опасными конкурентами для людей, продававших свой труд, и уменьшили спрос на их работу. С другой стороны, новые технические изобретения создали для рабочих новых конкурентов в лице их жен и детей, которых новые способы производства тоже привлекли к фабричному труду. Раньше рабочая семья содержалась главным образом трудом своего главы, и этим до известной степени определялась заработная плата, но машины, требовавшие от работников не столько физической силы, сколько ловкости и добросовестности, сделали возможным привлечение на фабрики женщин и детей. Во многих случаях предприниматели стали даже оказывать предпочтение этим новым категориям рабочих, которым можно было давать гораздо меньшую плату, чем взрослым мужчинам. Уменьшив, таким образом, спрос на физический труд, машины в то же время поставили его в более неблагоприятные условия и в других отношениях. Во-первых, введение новых механических способов производства повлекло за собою удлинение рабочего времени. Владельцы машин, приобретавшие их за большие деньги, прежде всего хлопотали о том, чтобы эти дорогостоящие орудия производства окупали себя как можно скорее, тем более, что каждая машина делалась негодною к употреблению не только от работы, но и от времени, и что новые усовершенствования в машинах делали желательным наискорейшее извлечение всех выгод из старых машин для замены их новыми. Поэтому фабриканты заставляли машины действовать непрерывно и день, и ночь, сберегая при этом вдобавок значительную часть топлива, раз паровые котлы при непрерывности работ могли не остывать на продолжительное время. Отсюда у предпринимателей явилось стремление к удлинению рабочего времени. В 1770 г. английский рабочий дом, в котором заставляли работать двенадцать часов в сутки, называли домом ужаса, а в 1833 г. парламент устанавливал, как милость, двенадцатичасовой

рабочий день для подростков. С другой стороны, новые приемы производства стали требовать от рабочего гораздо большей напряженности и внимания и, следовательно, сделали его труд гораздо более утомительным, а вместе с тем и более однообразным, превратив рабочего как бы в слугу машины, обязанного совершать только одно какое-либо движение руками. Наконец, вследствие введения машинного производства рабочие стали скучиваться в тесных и душных помещениях, в которых обречены были теперь проводить большую часть своего времени, что стало отражаться крайне неблагоприятно на их здоровье и настроении духа. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и породили среди рабочих в эпоху введения механических способов производства крайнее озлобление против машин. Нередко случалось, что машины и фабричные здания делались жертвою раздраженных рабочих, и в иных случаях фабриканты ограждали свою собственность от подобного рода нападений, ставя для защиты фабричных зданий и машин настоящие пушки. Это нерасположение к техническим изобретениям конца XVIII и начала XIX вв. отразилось даже и на взглядах некоторых теоретиков, которые готовы были осудить введение машинного производства как явление вредное и потому нежелательное.

Новые способы производства, ранее всего утвердившиеся в Англии, оказали громадное влияние на рост ее национального богатства. Машины во много раз увеличили производительность человеческого труда, и количество вырабатываемых продуктов стало расти с поразительною быстротою. Но у этого явления была и оборотная сторона. Если раньше общество нередко терпело от недостатка нужных ему товаров, то теперь, наоборот, иногда можно было жаловаться на их перепроизводство, которое тоже делалось своего рода злом. Предприниматели изготовляли слишком много какого-либо товара, а потому предложение превышало спрос, и масса товаров оставалась нераспроданною. Это заставляло фабрикантов сокращать свое производство, вследствие чего многие рабочие или оставались совсем без заработка, или должны были довольствоваться уменьшенной платой. С периодами процветания той или другой отрасли промышленности стали чередоваться периоды угнетенного состояния, и каждый раз наступление кризиса вызывало целый ряд общественных бедствий: каждый раз промышленный кризис влек за собою банкротство торговых фирм и банков, ссужавших деньги предпри-

нимателям, закрытие фабрик или сокращение производства в тех фабриках, которые могли продолжать существование, и уменьшение или полное отсутствие заработка. Особенно частыми сделались подобные кризисы в начале XIX столетия, и если раньше представлялась возможность объяснять возникновение подобных явлений обстоятельствами военного времени, то впоследствии, когда в Европе господствовал мир, внешние причины уже не могли отвечать за результаты того, что в сущности вытекало из самых внутренних условий капиталистического производства. Можно даже сказать, что такие кризисы сделались хроническою болезнью английской промышленности после испытанного ею экономического переворота. При господстве мелкой промышленности и ручного труда производство было более равномерным, заработок более постоянным, а теперь прежней устойчивости производства и заработка наступил конец, и постоянные колебания того и другого, конечно, не могли не отражаться самым гибельным образом на материальном благосостоянии рабочих. Статистика самым неопровержимым образом стала доказывать, что в промышленных округах Англии в эпохи кризисов всегда падали цифры браков и вкладов в сберегательные кассы, и, наоборот, поднимались цифры смертности и преступности. Это и весьма понятно, потому что каждый кризис для великого множества рабочих семей сопровождался более или менее полным обнищанием.

Нужно прибавить, что промышленные кризисы гораздо легче переживались крупными, нежели мелкими производителями, и вследствие этого, в свою очередь, промышленные кризисы немало содействовали общей победе фабричного производства над ремесленным.

Отстаивая свое существование в такие трудные минуты, предприниматели, весьма естественно, хлопотали об удешевлении производства, чего и стремились достигнуть, с одной стороны, уменьшением заработной платы, с другой — введением новых технических усовершенствований в производстве. Последними обстоятельствами, собственно говоря, только усиливалось то действие, какое вообще оказывало введение машин. Кроме того, случалось нередко, что заработная плата, понизившись во время кризиса, затем уже не поднималась до своей прежней нормы. Наконец, каждый кризис оставлял после себя целую массу нищих и бродяг, попадавших в рабочие дома

или тюрьмы, которые и удерживали их у себя до нового оживления промышленности.

Такова была сущность индустриальной революции, и таковы были ее непосредственные следствия. Этот переворот содействовал небывалому дотоле развитию обрабатывающей промышленности, но в то же время разделял промышленный класс общества на две резко отличающиеся одна от другой части — на капиталистическую буржуазию и на рабочий пролетариат. Выиграла от этого переворота буржуазия, а рабочие классы оказывались в проигрыше. В этом результате рассмотренного экономического переворота уже таился зародыш так называемого рабочего вопроса, сделавшегося главным социальным вопросом XIX в. и осложнившего собою демократические движения эпохи, вызванные политическим переворотом конца XVIII столетия.

Беглый обзор новейшей европейской истории

На этом мы и остановимся. История XIX в. после Венского конгресса[183] так сложна, и это время к нам так близко, что для надлежащего выяснения этой эпохи потребовалось бы гораздо больше места, нежели то, каким мы располагаем в этой книге. Чтобы, однако, все-таки дать в нашем очерке главных эпох новой истории законченное изложение ее событий, мы заключим свой обзор историей и XIX в. в самых общих очертаниях.

Движение, вызванное французской революцией и революционными войнами, улеглось только в 1815 г., когда европейская коалиция окончательно низложила Наполеона I и на Венском конгрессе переделала политическую карту Европы. Одновременно с этим началась и повсеместная абсолютистическая, клерикальная и феодальная реакция против всего того, что вошло в жизнь в эпоху Наполеона, революции и просвещенного абсолютизма, равно как против Просвещения XVIII в. С этой реакцией, которую поддерживали духовенство и дворянство, вступило в борьбу свободное направление, поддерживавшееся буржуазией и получившее название либерализма. Борьба привилегированных сословий со средним сословием представляет из себя весьма важную сторону социальной истории Западной Европы в XIX в. В то же время подготовлялась почва для обострившейся несколько позднее борьбы между буржуазией и пролетариатом.

Пока господствовали привилегированные сословия, у буржуазии и у народа было много общих интересов; но с установлением гражданского равенства и усилением неравенства экономического интересы буржуазии и народа стали расходиться в разные стороны. На этой почве и возник, как мы только что видели, рабочий вопрос, и рядом с либерализмом явилось другое направление, получившие название социализма.

На Венском конгрессе был произведен передел границ большей части европейских государств. Россия, отнявшая перед тем у Швеции Финляндию и у Турции Бессарабию, получила большую часть этнографической Польши под названием Царства Польского, которому Александр I дал либеральную конституцию. Австрии достались Венеция и Ломбардия, Далмация, а также Тироль. Пруссия присоединила к своим владениям почти половину Саксонии, шведскую Померанию, Познань и Прирейнскую область. Англия, успевшая в эпоху предыдущих войн захватить немало важных пунктов вне Европы, приобрела Мальту, Гельголанд и протекторат над республикой Ионических островов. У Дании была отнята Норвегия, которую отдали шведскому королю. Голландия была соединена с Бельгией в одно Нидерландское королевство. В Германии, в которой до падения Священной Римской империи насчитывалось около 350 государств, Венский конгресс оставил только 36 государств, заключивших между собою союз с постоянным сеймом во Франкфурте-на-Майне. В Италии, кроме Ломбардо-Венецианского королевства, отданного Австрии, были восстановлены королевство Сардинское, Великое герцогство Тосканское, Папская область и Королевство Обеих Сицилий, кроме других, менее значительных владений. Вскоре после окончания Венского конгресса государи Австрии, Пруссии и России заключили между собою так называемый Священный Союз, к которому пригласили примкнуть и других монархов. Этот союз скоро сделался органом, как известно, международной реакции, после того как в 1820 г. вспыхнули революции в Испании, в Королевстве Обеих Сицилий и в Португалии, а в 1821 г. и в Пьемонте, одновременно с греческим восстанием против турецкого ига. Причиною этих революционных движений были крайности реакции и стремление к политической свободе. После Венского конгресса происходили новые съезды монархов и министров в Ахене (1818), в Троппау и Лайбахе (1820 и 1821) и в Вероне (1822)[184]. По поручению последних двух конгрес-

сов Австрия вооруженною силою подавила неаполитанскую революцию, а Франция — испанскую, после чего введенные в обеих странах конституции были отменены. В Германии лишь очень немногие из второстепенных государств получили конституционное устройство. Реакция коснулась и Франции, хотя ей и была дана возвратившимися Бурбонами либеральная хартия 1814 г. В 1830 г. крайние реакционеры довели Францию до новой революции, получившей название «июльской».

Старшая линия Бурбонов была заменена принцем Людовиком-Филиппом Орлеанским[185], и вместе с новой династией началось во Франции господство буржуазии.

Июльская революция нанесла первый значительный удар зданию, воздвигнутому Венским конгрессом. В августе того же 1830 года вспыхнула революция в Бельгии, и ее результатом было отделение Бельгии от Голландии в особое королевство с весьма либеральной конституцией. Июльская революция отразилась и в некоторых частях Германии, где, однако, не дала особенно важных результатов. То же самое можно сказать и о революционных попытках в Италии. Наконец, июльская же революция была сигналом ко взрыву, в том же самом 1830 г., восстанию в Царстве Польском. Польская революция была подавлена, и конституция отменена. Времена июльской монархии характеризуются, кроме продолжения прежней политической борьбы между реакцией и либерализмом, развитием социальных и национальных стремлений. Буржуазная монархия во Франции вызвала против себя сильную республиканскую и демократическую оппозицию, в которой все более и более важное значение стали получать экономические требования рабочего сословия. Когда во Франции в 1848 г. произошла новая революция (февральская) и во второй раз в этой стране установилась республика, это политическое движение получило прямо социалистический характер. После этого новые социальные идеи стали приобретать более широкое распространение. С другой стороны, в 40-х гг. с особенною силою стали обнаруживаться стремления национальные, выражавшиеся в желании раздробленных национальностей получить политическое единство (итальянцы и немцы) и в желании национальностей угнетенных добиться самостоятельности (мадьяры и славяне). В некоторых случаях это сопровождалось культурным возрождением к новой жизни национальностей, которые отстали в своем развитии от других народов.

Благодаря соединению политических стремлений с социальными и национальными, почти во всех западноевропейских государствах февральская революция 1848 г. вызвала целый ряд политических движений, принявших весьма грозный характер. В отдельных немецких государствах (между прочим, в Австрии и в Пруссии) также вспыхнула революция (мартовская), которая скоро охватила собою всю Германию, причем сделана была неудавшаяся, впрочем, попытка политического объединения Германии с общеимперским парламентом. В Пруссии, однако, после этого была введена конституция (1850). Особенно сильно революцией 1848 г. была потрясена Австрия, которой, по-видимому, предстояло даже разложиться на свои составные части. Волнения происходили и в Вене, и в Праге. Одновременно с этим произошло восстание в Ломбардо-Венецианском королевстве, и на помощь к нему явился король Сардинии, уже начавший стремиться к объединению Италии. Наконец, восстали и венгры, задумавшие совершенно отложиться от династии Габсбургов. Только взаимная антипатия разноязычных подданных Австрии и русская помощь спасли монархию Габсбургов от крушения.

Начало 50-х годов повсеместно было ознаменовано сильной реакцией. Во Франции республика не удержалась, и, опираясь на реакционные элементы нации, президент республики, Наполеон Бонапарт, совершил 2 декабря 1851 г. государственный переворот, который ровно через год повлек за собою и восстановление французской империи. Ломбардо-Венецианское королевство снова находилось в полной власти Австрии. Сделанная было в Риме попытка установления республики тоже была подавлена (1849), одновременно с усмирением и венгерского восстания. В Германии в 1850 г. были оставлены все планы национального объединения на конституционных началах.

Эпоха второй империи во Франции была временем преобладания этого государства в международных отношениях. Вскоре после восстановления империи, Франция в союзе с Англией, Турцией и Сардинией вела войну против России, известную под названием Восточной или Крымской войны (1853–1856). Желая отвлечь внимание нации от внутренних дел блестящими внешними предприятиями, Наполеон III решился, еще в союзе с Сардинией, вмешаться и в итальянские дела. В 1859 г. вспыхнула война между Сардинией в союзе с Францией, с одной стороны, и Австрией — с другой, и

окончилась полным поражением последней. Австрия должна была отказаться от Ломбардии в пользу Франции, уступившей ее Сардинии. Это было первым шагом к дальнейшему объединению Италии. В 1860 г. итальянские волонтеры под начальством Гарибальди овладели Сицилией и Неаполем, которые вместе с частью Папской области вошли в состав нового Итальянского королевства, к которому еще ранее присоединились Тоскана, Парма и Модена. Наконец, в 1861 г. сардинский король Виктор-Эммануил II[186] принял официально название короля Италии и собрал в Турине первый общеитальянский парламент. После этого Итальянскому королевству оставалось только овладеть Венецианскою областью, томившеюся под властью Австрии, и остатком папских владений с Римом. И то, и другое совершилось в непродолжительном времени, на этот раз в тесной связи с другим политическим объединением, именно с объединением Германии.

Уже в 1848 г. по вопросу об объединении Италии резко обозначилось соперничество между Австрией и Пруссией, как двумя самыми крупными немецкими государствами. В 1864 г. обе эти державы вели войну с Данией, у которой они отняли два герцогства — Шлезвиг и Голштинию, но из-за управления этими землями между Пруссией и Австрией возникла война. Пруссия, гораздо ранее подготовившая объединение Германии на почве экономических интересов так называемым таможенным союзом, сумела заручиться содействием Франции и Италии. Война была непродолжительна. Пруссия напала на германских союзников Австрии и захватила Ганновер, Гессен и Саксонию, после чего нанесла решительный удар и самой Австрии. Желая отделаться от войны с Италией, Австрия уступила Венецию Франции для передачи ее Италии. Результатом войны 1866 г. было исключение Австрии из германского союза. Пруссия получила Шлезвиг и Голштинию, Гессен-Кассель, Ганновер и Нассау. Германский союз распался, и вместо него Пруссия организовала Северо-германский союз с общим парламентом, причем южно-германские государства тайно примкнули к этому союзу, обязавшись помогать ему войсками в случае какой-либо войны. Это подготовило дальнейшее объединение Германии под прусской гегемонией. Что касается до Австрии, то она в 1867 г. превратилась в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, и обе ее половины получили теперешнее конституционное устройство. В 1870 г. Франция, завидовавшая успехам Пруссии,

объявила этой последней войну, в которой потерпела самую решительную неудачу. После того, как Наполеон III попал под Седаном в плен, в Париже произошла революция, результатом которой было провозглашение республики. Пользуясь этим, Италия заняла Рим и положила конец светской власти пап. В начале следующего 1871 г. была провозглашена Германская империя под главенством прусского короля, принявшего титул императора германского, и новая империя получила общую конституцию. Франция лишилась Эльзаса и Лотарингии и должна была уплатить громадную контрибуцию. Германия сделалась первенствующей европейской державой, стремясь в то же время охранять свою гегемонию посредством союзов (союз трех императоров — австрийского, германского и русского — в 70-х гг., и тройственный союз Германии, Австрии и Италии с 80-х гг.). Грозное положение, занятое новой империей, привело, в свою очередь, к теперешнему франко-русскому союзу.

Во второй половине XIX в. в Западной Европе окончательно восторжествовали конституционные порядки, которые стали вводиться и в новых государствах восточной половины Европы, возникших путем освобождения от турецкого ига (Греция, Румыния, Сербия и Болгария). В той же второй половине XIX в. особенно важное значение получил социальный вопрос. В 60-х годах сделана даже была попытка организации международного союза рабочих. В связи же с социальным движением стоит восстание Парижа весною 1871 года, известное под названием коммуны. В настоящее время во многих западноевропейских парламентах рядом со старыми партиями существуют и партии рабочих.

В истории восточной половины Европы обращают на себя в XIX в. внимание войны, которые Россия вела с Турцией, и постепенное разложение когда-то грозной Оттоманской империи. Уже в XVIII в. возник так называемый восточный вопрос, история которого тесно связана с историей России. Православное население Турецкой империи давно смотрело на Россию как на свою будущую освободительницу. В XIX в. началось освобождение турецких христиан. В самом начале столетия произошло восстание сербов, которые по Бухарестскому миру (1812 г.) между Турцией и Россией получили внутреннюю автономию. В 1820 г. началось греческое восстание, которое, благодаря заступничеству России, Англии и Франции, окончилось образованием теперешнего Греческого ко-

ролевства (1830) с конституционным устройством. Этот результат был достигнут только благодаря войне России с Турцией, и вместе с тем улучшено было положение Молдавии и Валахии, поставленных к Порте в простые даннические отношения. Все это сильно ослабляло Турцию. В 1831 г. египетский паша задумал было не только отложиться от Порты, но даже отнять у нее часть азиатских владений, и тогда султана спасло только заступничество России, которая стала пользоваться особым влиянием в Константинополе, к крайнему неудовольствию западных держав. В 1853 г. Франция и Англия даже предприняли войну против России в защиту Турции. Между тем христианские подданные Порты продолжали все более и более волноваться. В 1875 году произошло восстание в Герцеговине и Боснии, а в следующем году Сербия и Черногория объявили Турции войну, за которою последовала новая русско-турецкая война 1877–1878 гг. Результатом ее было то, что Румыния и Сербия (ныне оба королевства) были признаны независимыми государствами, и кроме того создано было в вассальной зависимости от Турции княжество Болгарское, а на юг от него автономная провинция под названием Восточной Румелии (теперь фактически соединенная с Болгарским княжеством). Одновременно с этим Босния и Герцеговина были переданы в управление Австрии, которая, таким образом, будучи вытеснена из Италии и Германии, получила своего рода вознаграждение на Балканском полуострове. Освобождение турецких христиан и образование из них новых государств имело своим результатом развитие на Балканском полуострове культурной жизни и проникновение в эти страны европейской цивилизации (между прочим и западных политических форм).

Очерк девятый
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО ГОСПОДСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ

Постепенное расширение всемирно-исторической сцены

В некоторых больших исторических атласах можно найти картографические изображения того, как постепенно расширялась историческая сцена, или как постепенно «распространялась история» по земному шару. Возьмем, например, первую же таблицу

в прекрасном французском атласе Шрадера, на которой дано шесть последовательных карт «распространения истории» за две тысячи лет и за 450 лет до Р. Х., а после Р. Х. через 250 лет, 1275 лет, 1550 лет и в новейшее время, причем разными красками на белом фоне материков и островов отмечены те страны, в которых в указанные эпохи уже совершалась история. Рассматривая эту таблицу, можно самым наглядным образом представить себе, как история мало-помалу захватывала все большее и большее количество стран: на первой карте затронуты красками едва кое-какие пункты, на последней мало что остается незакрашенным: одни только полярные области Старого Света и Северной Америки, внутренняя Африка да кое-какие еще территории меньших размеров. Конечно, в таких картах много условного, но какие частные несообразности с той или другой точки зрения мы в них и ни обнаружили бы, в общем они дают очень верную картину постепенного расширения исторической сцены.

Первенствующая роль народов арийской расы во всемирной истории и особое значение Европы

На названных картах, далее, разными цветами обозначены отдельные человеческие расы, игравшие роль во всемирной истории, и опять очень наглядное представление получается при рассмотрении этих карт, когда мы следим за распространением отдельных рас по земному шару. Самое главное, что здесь бросается в глаза при первом же взгляде, — это все большая и большая окрашенность розовым цветом, выбранным для обозначения арийской расы, разных территорий Старого и Нового Света, в особенности преобладание этого цвета на последней карте. Составители карты сделали еще и больше: они различили разными оттенками одной и той же краски арийцев европейских и арийцев азиатских, обозначив первых более темным тоном, а вторых более светлым: понятно, что именно более темный оттенок розового цвета оказался занимающим на последней карте и наиболее места. Это — наглядное изображение распространения европейских народов и европейской культуры, т. е. расширения европейской истории, которая продолжается теперь не только на своей родине, но и в Северной Азии, и в обеих Америках, и в Австралии, и на южной оконечности Африки.

Европа — настоящий центр всемирной истории, опередивший другие части света в своем развитии и влияющий на них и в экономическом, и в культурном, и в политическом отношении. Ее народы колонизировали обширные пространства на всем земном шаре; ее государства имеют массу владений в других частях света; ее промышленность снабжает своими товарами самые отдаленные захолустья, и где только нет ее торговли; ее технические изобретения проложили себе путь в самые отсталые страны, и в будущем, наконец, для всего человечества не может быть иной науки, кроме той, которая создана Европой.

Распространение трех мировых религий в Старом и Новом Свете

К не менее интересным заключениям приводит нас и рассмотрение карты религий, существующих на земном шаре. При первом взгляде на нее мы видим следующее распределение сплошных территорий, занятых последователями трех мировых религий — христианства, ислама и буддизма. Христиане населяют северо-западную часть Старого Света, т. е. Европу, и имеют многочисленных представителей во всей Северной Азии, составляющей северо-восточный угол этого материка, но здесь до сих пор еще очень много язычников (сибирские инородцы). Юго-восточный угол Старого Света является территорией, где главным образом сосредоточены буддисты, которые, впрочем, во многих местах живут бок о бок с представителями других религий (даосизм и конфуцианство, две национальные религии Китая). Что касается до магометанства, то ему принадлежит весь юго-запад Азии и север Африки, где ислам и в настоящее время все более и более подвигается к югу. Вне Старого Света, в Америке и в Австралии из трех названных религий лишь одна, именно христианство, исповедуемое европейскими народами, имеет многочисленных последователей. Конечно, столь широкое распространение каждой из трех главных религий современного человечества среди народов, живущих в разных климатах, говорящих многими языками, стоящих на неодинаковой ступени культуры, как и долговременное историческое существование этих религий (буддизма 24 века, христианства 19 веков, ислама почти 13 столетий), имели своим следствием образование в каждом из трех миров, исповедующих

названные религии, местных и национальных особенностей, разъединяющих и христианские, и магометанские народы, равно как и последователей буддизма на отдельные крупные вероисповедания и мелкие секты. В буддизме, например, различаются два основных толка — южный и северный буддизм, а в последнем особое место принадлежит так называемому ламаизму, исповедующемуся, между прочим, в России бурятами, некоторыми тунгусами и калмыками. В исламе с самого же начала также произошел религиозный раскол между суннитами и шиитами, и в большей части магометанского мира утвердилось учение суннитов, а шиитство существует главным образом только в Персии. Нечего говорить (вследствие общеизвестности факта), что вероисповедные разделения существуют и в христианском мире. Несмотря, однако, на внутренние несогласия, наблюдаемые нами в этих трех религиях, каждая из них держится известных общих основ, которые налагают печать на все миросозерцание исповедующих эти религии народов. Очень часто называют европейскую цивилизацию христианскою, и это имеет тот реальный смысл, что это есть цивилизация народов, исповедующих христианство. Но это, конечно, не должно обозначать ни того, что христианство является источником и основою всех сторон европейской цивилизации, ни того, чтобы эта цивилизация была полным осуществлением высоких нравственных истин христианства. В первом отношении нужно иметь в виду, что христианство явилось в истории как «царство не от мира сего», а потому не оно, конечно, источник всего технического и научного прогресса Европы. С другой стороны, громадное воспитательное значение, какое должно было иметь христианство в нравственном отношении, всегда оставалось более желанием высоко настроенного идеализма, чем реальным фактом. Не только установление власти европейских народов над многими дикарями и варварами и перенесение к ним благ цивилизации, но и самое распространение христианства, этой религии мира, любви и всепрощения, сопровождались страшными жестокостями и насилиями. Со времени отдаленных морских путешествий и открытия новых стран началась прежде всего деятельность миссионеров, отправлявшихся в разные части света для обращения туземцев в христианство. Во второй половине XVI века в католической церкви была даже основана с этой целью особая конгрегация для распространения веры (congregatio de propaganda fide), по примеру

которой впоследствии возникли миссионерские общества и других исповеданий. Проповедь христианства охватила весь земной шар, но во многих местах она встретилась с крайне неблагоприятными условиями и не только там, где существуют старые религии вроде буддизма или магометанства, среди последователей которых миссионерская деятельность особенно безуспешна. В современной Африке ислам сильно распространяется даже теперь*. В большой именно степени мешал успеху христианской проповеди и образ действий европейцев по отношению к туземцам (истребление целых племен, обращение их в рабство, эксплуатация их труда и вообще жестокое обращение). Между прочим, печальные китайские события 1900 г. объясняются как раз именно этою причиною.

Разумеется, как технический и научный прогресс не вытекают сами из христианства, так еще того менее жестокости и насилия, какие позволяли и до сих пор позволяют себе европейские «цивилизаторы» в других частях света, могут быть поставлены на счет христианства. Напротив того, истинные христиане, т. е. христиане не по имени только, но и по духу, находят лишь слова осуждения для всех тех ужасов и преступлений, которыми, к сожалению, так часто сопровождалось распространение европейской цивилизации. Здесь не место говорить об историческом и жизненном значении христианства, но прибавить все-таки нужно, что если и можно называть европейскую цивилизацию христианской, то только по ее отношению к тому нравственному идеалу, который одушевлял и одушевляет лучших ее деятелей. Для европейской цивилизации христианство было и остается великим источником нравственного идеализма, когда только оно само под влиянием условий места, времени и среды не превращается в мертвую форму без живого содержания. Сколько знает история таких искажений — от инквизиции до насильственного обращения язычников в христианство! В последнем отношении то, что случалось при обращении варваров и дикарей Нового Света, уже раньше было испробовано в Европе, когда Карл Великий, например, крестил германцев, или потомки этих самых германцев мечом и огнем распространяли христианство у своих восточных соседей.

---

* Христиан на земном шаре около 475 млн, из них 215 млн католиков, 160 млн протестантов и 95 млн православных, магометан 170 млн, язычников с браманистами и буддистами 835 млн (в круглых цифрах).

Значение религиозного фанатизма отсталых стран

В былые времена приобщение к европейской культуре мыслимо было лишь в форме принятия христианства. Это было в те именно времена, когда вся культура вообще имела религиозный, вероисповедный характер, а так как в отсталых внеевропейских странах и до сих пор культура сильно проникнута сакральным элементом, то религиозный фанатизм, соединенный с узким национализмом, является одним из главных препятствий к восприятию европейской цивилизации. Стоит только вспомнить турок или китайцев, с их нерасположением к неверным и к иноземцам. Но ведь подобного же рода явления возможны были и в христианском мире, когда вероисповедные различия выдвигались на первый план: и нашим предкам, например, многое в западной культуре казалось порождением проклятого «латинства» или «лютерской ереси», а потому принципиально ими и отвергалось. К той же категории явлений относится и недоверчиво-пренебрежительное отношение средних веков к античной литературе, как к языческой мудрости. Подобного рода явления исчезнут лишь тогда, когда вопросы религиозной веры не станут примешиваться к вопросам чисто светского содержания, и та или другая идея, то или другое изобретение, то или другое учреждение будут цениться по своей внутренней ценности, а не потому, что данную идею, данное изобретение, данное учреждение можно встретить у народов той или иной веры.

Открытие и колонизация европейцами новых земель

После этих общих предварительных замечаний перейдем прямо к истории распространения «европеизма», в широком смысле слова, вне самой Европы. Эта история начинается, как известно, с великих географических открытий конца средних веков.

В древности и в средние века моряки не решались пускаться в море слишком далеко: плавали вдоль берегов, от мыса до мыса, от острова до острова. В XIV в., как известно, итальянец Флавио Джиойя[187] первый воспользовался свойством магнитной стрелки поворачиваться на север, чтобы устроить компас, при помощи которого сделалось возможным ориентироваться в открытом море и днем, и ночью, и в пасмурную погоду, и во время тумана. Первым

народом, воспользовавшимся компасом для более отдаленных морских плаваний, были португальцы, которые решились пуститься прямо в океан. Они искали тогда морского пути в Индию, искали новых земель для покорения и новых племен для обращения в христианство. Португальские моряки открыли прежде всего (в начале XV в.) остров Мадейру, потом острова Канарские, Азорские и Зеленого мыса и берега Северной Гвинеи. Мало-помалу португальцы дошли таким образом до экватора и перешли в южное полушарие, а в 1486 г. Варфоломей Диас[188] достиг и южной оконечности Африки, т. е. мыса Доброй Надежды. Через несколько лет после этого, в 1498 г., Васко да Гама[189], обогнув Африку и проехав вдоль восточного берега до экватора, через Индийский океан достиг Индии. Одновременно с этим Колумб[190] задумал другим путем проехать в Индию и по дороге открыть для испанского владычества и распространения христианства новые страны, именно плывя не вокруг Африки, а по Атлантическому океану все на запад. Удачливый мореплаватель вовсе не думал, что океан так широк, и что между западными берегами Европы и восточными берегами Азии находятся два громадных океана и очень большой материк. Так совершилось открытие Америки (1492) незадолго до морского пути в Индию. За этим последовал ряд других открытий. Еще в 1497 г. венецианец Кабот[191] на английских кораблях открыл северо-восточный берег Америки (Лабрадор), после чего около 1500 г. сделался известным и весь восточный берег Северной Америки. Около того же времени сподвижник Васко да Гамы, Кабраль[192], открыл и занял именем Португалии Бразилию (1500), а в следующие десятилетия португальцы первыми из европейцев посетили Мадагаскар и появились на островах Индийского океана. Одновременно с этим испанец Бальбоа перешел Панамский перешеек и объявил неведомый дотоле Великий океан собственностью своего государя (1515). Четыре года спустя португалец испанской службы Магеллан обогнул Южную Америку, проехав из Атлантического океана в Великий через пролив, до сих пор носящий его имя (1519). После его смерти, во время этого путешествия товарищи его вернулись в Европу вокруг Азии и Африки. Магеллан думал, что между Южной Америкой и юго-восточной Азией простирается обширная водная пустыня, но впоследствии мореплаватели стали здесь открывать новые и новые острова, а между ними в начале XVII в. австралийский материк.

Эти великие географические открытия конца XV и начала XVI вв. были сделаны португальцами и испанцами, между которыми и разделились все вновь найденные острова и земли. Силы обоих народов направились тогда главным образом на земельные приобретения и завоевания за морем. Так называемые «конкистадоры» целыми толпами и чуть не каждый год отправлялись в новые страны за драгоценными металлами, за редкими произведениями природы и за индийскими товарами. В Африке, в Америке, в Азии португальцам и испанцам приходилось иметь дело с народами, стоящими в культурном отношении ниже европейцев, и потому им легко было одерживать победы над туземцами. Часть их находилась еще в диком состоянии, и европейцы безжалостно их истребляли, обращали в рабство и делали предметом торговли. За конкистадорами потянулись в новые страны миссионеры, обращавшие туземцев в христианство. К чести их нужно сказать, что многие из них заступались за несчастных дикарей, но большею частью безуспешно. Испанцы в Америке заставили туземцев работать на плантациях и в рудниках, что оказалось совсем не под силу дикарям, совершенно не привыкшим к напряженному труду и питавшимся главным образом растительною пищею. Тогда их стали заменять более выносливыми неграми, которыми торговали португальцы еще с середины XV в., начав вывозить их из Африки в Америку в самое первое время по открытии Нового Света. В Африке португальцы даже организовали настоящую охоту за неграми при помощи специально для этого дрессировавшихся собак. Только в XVIII в. началась проповедь против такого позорного пятна, лежавшего на европейской цивилизации, отмена же торговли ими произошла лишь в XIX в.

Кроме дикарей, европейцы встретились в Америке с народами, уже стоявшими на известной ступени цивилизации и государственного быта. Это были Мексика и Перу. Первая из них представляла из себя государство, простиравшееся между двумя океанами, с многочисленным народонаселением, хорошо обработанной почвой и довольно развитой техникой. В 1519 г. испанец Кортес[193] предпринял с несколькими сотнями храбрецов завоевание Мексики, которою и овладел в очень короткое время, благодаря огнестрельному оружию и союзу с племенами, подвластными ацтекам (1521). Впоследствии тот же Кортес открыл Калифорнию. Другое такое же государство было Перу. С еще меньшими силами, чем силы Кортеса, это государство

было завоевано испанцем же Пизарро[194] (1535). Одновременно его соперник Альмагро[195] на юге от Перу овладел областью, известною под именем Чили, и все эти новые завоевания вошли в состав владений Испании. Мексиканцы и перуванцы были распределены между европейскими колонистами в качестве крепостных, обязанных работать на победителей.

Совершенно так же португальцы, открыв морской путь в Индию, встретились в этой стране с народами, стоявшими уже на значительной ступени культуры. Туземцы не особенно дружелюбно приняли пришельцев, которые поэтому решились овладеть нужными им пунктами посредством войны. Уже Васко да Гама с успехом начал здесь борьбу с одним из туземных царьков, но после него особенно много способствовал утверждению власти португальцев в Индии Альбукерке, который в начале XVI в. подчинил им многие пункты на всем побережье от Ормузского пролива до полуострова Малакки. После него португальцы завели поселения и торговые агентства на острове Цейлоне и покорили Молуккские и Зондские острова.

Мы уже видели, какие следствия имели для Европы все эти открытия и завоевания новых земель. Прежде всего, прежние торговые пути уступили место новым. Раньше торговля Европы с Востоком находилась в руках венецианцев и генуэзцев, а также городов по верхнему Дунаю, по Рейну и Роне и у так называемой Ганзы. В XVI в. главными торговыми нациями сделались португальцы и испанцы, и Лиссабон занял положение одного из наиболее важных центров торговли с Востоком. Хищническое хозяйничанье обеих наций в новых странах и привычка у себя на родине жить за чужой счет без заботы о развитии сельского хозяйства и промышленности вместе с водворением абсолютизма ослабили в следующем веке и Португалию, и Испанию, и тогда главными торговыми странами сделались Голландия и Англия. Одновременно с развитием морской торговли европейские нации стали заводить заморские колонии, для охраны которых они начали снаряжать военные флоты, и внешняя политика отдельных держав мало-помалу стала в значительной мере осложняться противоположностью и соперничеством их торговых и колониальных интересов. Войны, которые велись в новое время между европейскими нациями, поэтому сопровождались нередко борьбою в самых отдаленных колониях. С другой стороны, в Европу в XVI в. хлынула сразу масса золота и серебра, что вызвало целый экономический перево-

рот. Деньги, бывшие очень редкими в средние века, упали в цене, и соответственно с этим вздорожали разные предметы потребления. Понятно, что этот прилив в Европу драгоценных металлов сильно содействовал развитию денежного хозяйства, которым еще раньше начало вытесняться средневековое натуральное хозяйство. Кроме того, в Европе появились в употреблении новые продукты (кофе, сахар, табак и т. п.) или удешевились продукты, ранее стоившие очень дорого (пряности). Некоторые дотоле неизвестные растения были даже акклиматизированы в Европе: так из Америки, кроме табака, был вывезен картофель, из Китая — апельсинное дерево.

Главные причины этого расселения европейцев по вновь открытым странам были следующие. Ранее всего проложили себе туда дорогу люди особенно энергичные, стремившиеся преимущественно обогатиться войною, торговлею и разного рода предприятиями вроде добывания драгоценных металлов или устройства плантаций. Вторую, более позднюю категорию переселенцев составляли люди, спасавшиеся от религиозных и политических преследований, которым они подвергались на родине. Наконец, особенно в XIX в. стала действовать и третья причина — перенаселение, заставляющее искать новых мест, да и вообще экономическая нужда (ссылка преступников тоже в известных случаях увеличивала население колоний). В XIX в. эту эмиграцию значительно стали облегчать усовершенствованные способы передвижения — пароходство и железные дороги. Конечно, культурное превосходство европейцев с самого же начала дало им перевес над жителями других частей света. Низшие расы Америки и Австралии начали даже вымирать под напором народов белой расы, а более живучие народы Старого Света должны были подчиняться экономическому и политическому господству европейцев.

Сами колонии европейских народов получали весьма различный характер. В одних дело ограничивалось водворением среди туземцев незначительного числа завоевателей, плантаторов, купцов и разных правительственных или торговых агентов, но другие колонии получили прямо европейское население, в котором с самого же начала были представители всех общественных классов. В разные времена и у разных народов взаимные отношения между колонистами и метрополией также принимали очень различный характер. В общем в более ранние времена зависимость колоний от метрополий была большею, но с конца XVIII в. началось стремление колоний к осво-

бождению от подчинения метрополиям. Первый пример в этом отношении был подан английскими колониями в Северной Америке, как известно, отложившимися в 1776 г. от своей метрополии и образовавшими республику Соединенных Штатов. В настоящее время почти вся Америка состоит из самостоятельных государств, образовавшихся из бывших колоний Англии, Испании и Португалии. Из колоний, не разорвавших политической связи со своими метрополиями, наибольшими правами, как мы еще увидим, приближающими их к полной почти самостоятельности, пользуются английские колонии. В качестве купцов и промышленников, солдат и чиновников, миссионеров и путешественников или в виде сплошных населений европейцы встречаются, таким образом, на всех пунктах земного шара. Вместе с этим распространились в других частях света и главнейшие европейские языки, получающие, благодаря этому, значение мировых языков.

Вследствие такого расширения исторической сцены и распространения европейцев по всему земному шару политическая, экономическая и культурная история все более и более приобретает поистине мировой характер. Международные отношения в самой Европе уже давно стали до известной степени определяться и колониальными интересами. Наоборот, и крупные войны, происходившие в Европе за последние три века, сопровождались очень часто и колониальным соперничеством. Голландия не только освободилась от испанского владычества, но и завладела многими испанскими колониями. Войны Англии с Францией в Европе тоже распространялись и на их колонии.

Во многих случаях взаимные отношения европейских государств прямо стали зависеть от соперничества в других частях света. Первыми колониальными державами в новой истории, как было уже упомянуто, сделались Испания и Португалия. В середине XVI века испанские колонии занимали всю Вест-Индию, Центральную Америку, все прибрежные страны Южной Америки, кроме Бразилии, а в Северной Америке всю южную часть ее до Калифорнии и верхнего течения Колорадо и Рио-Гранде (Мексика) и Флориду. Кроме того, Испании принадлежали многие острова на океанах. Но мало-помалу испанцы растеряли все свои колонии. Часть их была отнята другими государствами в разное время (в 1898 г. Куба и Филиппинские острова Северо-Американскими Штатами), но большая часть образовала

в начале XIX в. самостоятельные республики в Америке. Подобная же судьба постигла значительную часть и колоний португальских. После Испании и Португалии развила свою колонизационную деятельность Голландия, но и ее колонии впоследствии частью были захвачены Англией, часть же голландских колонистов образовала самостоятельные республики (Оранжевую и Трансвааль в Южной Африке, которые недавно тоже вошли в состав английских владений). Впрочем, и теперь Голландии принадлежат еще Зондские и Молуккские острова и небольшие области в Америке (в Гвиане) и Австралии (на Новой Гвинее). Несколько позднее стала заводить колонии Франция, которая в XVII в. предприняла заселение Канады, а в следующем столетии приобрела выдающееся положение в Индии, но в середине XVIII века в войнах с Англией она потеряла большую часть своих колоний в Северной Америке и была вытеснена из своей позиции в Индии. Зато Франция вознаградила себя в XIX в. приобретениями в Африке (Алжир с 1830 г., Сенегамбия, часть Конго, Мадагаскар, о-ва Бурбон и Иль-де Франс, протекторат над Тунисом и др.) и в Азии (Сайгон, Кохинхина и протекторат над Аннамом и Тонкином с начала восьмидесятых годов). Германия и Италия стали заводить колонии лишь во второй половине XIX в., т. е. после своего политического объединения (в 1884 и 1885 гг.). Главные свои внеевропейские приобретения Германия сделала в Африке (часть Верхней Гвинеи, Камерун, часть Юго-Западной Африки и часть Восточной Африки к югу от экватора) и на островах Великого Океана. Италии принадлежит южная часть африканского побережья Красного моря (Эритрея) и такая же прибрежная область у Индийского океана между экватором и 10° с. ш. В 1885 г. в центре экваториальной Африки основано было по международному соглашению европейских держав независимое государство Конго, отданное под неограниченную власть бельгийского короля, который в 1889 году передал свои права самой Бельгии.

Но ни одно европейское государство никогда не достигало такого колониального могущества, как Англия. Начало колониальной политики Англии восходит к первым годам XVII в., в настоящее же время английские колонии, разбросанные по всем частям света, и по пространству, и по числу жителей занимают самое первое место. Кроме того, Англия владеет многими важными морскими станциями и стратегическими пунктами (крепость Гибралтар, Мальта, Кипр, Перим и Аден у выхода из Красного моря и т. п.).

Английская колонизация в Северной Америке началась в XVII в., по восточному берегу, но здесь же по соседству с англичанами основались и французы (Луизиана, Канада, Нью-Фаундленд). В 1763 г. Англия отняла у Франции ее северо-американские владения, но в 1776 г. сама лишилась части своих колоний, образовавших Северо-Американские Соединенные Штаты. За Англией в настоящее время остается, однако, почти весь север Северной Америки (Канада, Лабрадор, Нью-Фаундленд) и, кроме того, ей принадлежат в Америке остров Ямайка (отнят у Испании в середине XVII в.), часть Гвианы (отнята у Голландии) и др. В Азии важнейшее владение Англии составляет Британская Ост-Индия (весь Индостан с островом Цейлоном, северо-западная часть Индо-Китая, южная оконечность полуострова Малакки и мелкие острова). Первые колонии и фактории завели в Индии португальцы вскоре после открытия сюда морского пути; но впоследствии отсюда они были вытеснены частью голландцами, частью англичанами. Начало распространения английского владычества в Ост-Индии относится к 1600 г., когда для торговли с этой страной была основана особая компания, которая с самого же начала стала вести очень ловкую политику, выхлопатывая себе у индийских царьков торговые привилегии и разные монополии, покупая за деньги земельные участки для своих поселений, строя на них форты и т. п. В конце XVII в. компания даже назначила особого «генерал-губернатора и адмирала Индии» с правом от ее имени вести войны и заключать договоры. Сначала англичане уживались мирно с другими европейцами, имевшими колонии в Индии, но в середине XVIII в. они вступили в борьбу и с французами, и с голландцами. Особенно сильно было соперничество между англичанами и французами. В середине XVIII в. Франция владела уже в Индии значительною территорией и даже стремилась основать здесь настоящую колониальную империю. Войны Англии и Франции (их участие в войнах за австрийское наследство и в семилетней) сопровождались борьбою за колонии в Америке и в Индии. Эта борьба окончилась, как было уже отмечено, поражением Франции (1763). Около этого же времени англичане сильно стеснили и голландцев. В конце XVIII в. уже вполне прочно была установлена вся будущая политика Англии относительно Индии: единственными обладателями всей страны должны были быть англичане, а индийские раджи должны были сохранять лишь внешние знаки власти без всякой политической самостоятельности.

В XIX в. англичане распространили свое владычество уже на всю Индию, для чего им пришлось вести войны и подавлять восстания. Самым сильным из них был бунт сипаев, который англичане подавили с страшною жестокостью. Это событие решило, однако, и участь Ост-Индской компании. Именно в 1858 г. парламент отнял у нее все управление Индией, которое было передано непосредственно правительству, а в 1877 г. королева Виктория[196] была провозглашена «императрицей Индии». Англия имеет многочисленные колонии и в Африке — в Сенегамбии и Верхней Гвинее на западе, почти всю южную оконечность африканского материка*, на восточном берегу область у экватора и северные берега полуострова Сомаль, не считая многих островов. Сверх того, Англия с 1882 г. господствует в Египте. Последний хотя и считается особым государством, находящимся в вассальной зависимости от Турции, но фактически оккупирован английскими войсками. Наконец, Англии принадлежат еще весь материк Австралии, южная часть Новой Гвинеи, Тасмания, Новая Зеландия и многочисленные мелкие острова, т. е. почти целиком вся эта часть света.

Рассматривая порядок, в каком вообще выступали на поприще колониальной политики отдельные западноевропейские народы, мы видим, что ранее всего пустились в отдаленные плавания и начали заводить колонии государства, находящиеся у Атлантического океана, причем и здесь сначала выступили нации, населяющие юго-западный полуостров Европы, португальцы и испанцы, и только позднее более северные страны, — Англия, Голландия и Франция. Германия и Италия стояли вне колониального движения до самого конца XIX в. Причины этого были и в большей отдаленности их от Атлантического океана, и в политической их раздробленности. Чем восточнее лежит страна к Европе, тем менее может она участвовать в колониальной политике. Колоний никогда не заводили ни Польша, ни Венгрия, как не имеет их теперь и Австро-Венгрия. Только из России двинулся поток колонизации, но не за моря, а сухопутный, не на запад, а на восток.

---

* В своем стремлении захватить как можно больше земель, англичане встретили здесь отпор со стороны двух республик (Трансвааля и Оранжевой), населенных так называемыми «бурами» (по национальности голландцами). Эти республики в 1899 г. начали против Англии геройскую борьбу, которая недавно так занимала весь цивилизованный мир. В настоящее время обе республики находятся, как известно, также в составе колониальной империи Англии.

Краткая история Америки и Австралии

Само собою разумеется, далее, что поток европейской колонизации должен был раньше всего направиться через Атлантический океан в Америку, и первые колонии в этой части света должны были возникнуть на восточном ее берегу. Австралия была открыта много спустя после открытия Америки, а заселение ее европейцами началось еще позже. В самой Америке лишь постепенно европейское население подвигалось от востока к западу — к берегам Великого океана. Поэтому в первый период новой истории роль нового, но уже гораздо большего средиземного моря стал играть Атлантический океан, а очередь до Великого океана наступила лишь тогда, когда, с одной стороны, до него с востока дошла волна европейской колонизации в Америке и русской колонизации с запада в Азии, и развитие океанической торговли стало втягивать в общий ход истории Японию и Китай.

В Америке и в Австралии европейцы нашли очень слабо населенные страны, жители которых находились большею частью в диком состоянии. Только в Мексике и Перу существовала уже довольно развитая варварская культура, истребленная потом утвердившимися в этих двух странах европейцами. От смешения пришлого населения с туземным в Америке образовались новые цветнокожие разновидности человеческого рода, но первенствующая роль на всем материке принадлежит главным образом чистым потомкам европейцев, причем арийское население здесь постоянно увеличивается, благодаря громадной иммиграции из Европы, в которой доля участия падает и на национальности, не имеющие здесь своих собственных владений; например, в числе переселенцев бывает много поляков, русинов и т. п. Мы уже видели, какие где владения были приобретены европейскими государствами в Америке, и укажем здесь лишь на то, что большая часть этих колоний освободилась от своих европейских метрополий, организовалась в самостоятельные государства и ввела у себя республиканскую форму правления. Период освобождения американских колоний — последняя четверть XVIII и первая четверть XIX в., причиною же сепаратистических движений была своекорыстная политика метрополий. Первыми освободились английские колонии в Северной Америке, организовавшиеся в федеративную республику Соединенных Штатов, самое замечательное по своему экономиче-

скому процветанию и своей культурности, по своему политическому могуществу и своей внутренней свободе государство Нового Света, успевшее в короткое время опередить многие нации в самой Европе. Испанские колонии в Южной Америке обнаружили стремление к независимости в самом начале XIX в., и в 1808–1814 гг. не хотели признавать ни Иосифа Бонапарта[197], посаженного на испанский престол Наполеоном, ни кадисских кортесов[198], которые создали знаменитую конституцию 1812 г. Во время наполеоновских войн они стали фактически независимыми и потому с реставрацией Бурбонов в лице Фердинанда VII[199] не захотели вернуться под власть метрополии. Бывшие испанские колонии тоже превратились в республики. Среди европейских колонистов не было представителей старых династий, и отложение колоний сопровождалось введением республиканского строя. Единственное исключение составляла Бразилия, которая, сделавшись независимым от Португалии государством, сохранила, однако, сначала монархическое устройство. Объясняется это, впрочем, чисто случайною особенностью истории отложения Бразилии. Объявленный Наполеоном лишенным престола португальский король Иоанн VI[200] бежал со всем семейством в Бразилию, где уже началось брожение против метрополий. Когда король вернулся в Португалию, регентом Бразилии был оставлен его сын Педро[201], уже раньше примкнувший к национальному движению. Вскоре затем, в 1822 г., он и сделался конституционным императором Бразилии. Монархия, однако, просуществовала в этой стране не до самого конца XIX в. и в 1889 г. она превратилась в республику. Попытка, сделанная в шестидесятых годах XIX в. Наполеоном III[202] основать империю в Мексике, как известно, имела весьма печальный финал. Таким образом во всей Америке установился республиканский режим с применением в наиболее важных государствах федеративного принципа, приводящего к сочетанию внешнего могущества с широкой внутренней свободой. К несчастью, не везде республиканский режим создал прочные порядки, и американские республики испанского происхождения большею частью подвержены внутренним раздорам и переворотам. Кроме того, на истории Америки с особою резкостью проявилось культурное превосходство передового протестантизма над реакционным католицизмом, и протестантские, англосаксонские колонии оказались выше католических, романских. Любопытно, например, что одна из них, Парагвай, долгое время была настоящим теократически-

патриархальным царством испанских иезуитов. Вообще культурные противоположности, выработавшиеся в Западной Европе, перешли и в Америку, где нередко получили даже дальнейшее развитие, а в иных случаях и обострение.

Экономическое и культурное развитие новых обществ европейского типа в западном полушарии

Колонисты являлись в Америку, что называется, не с пустыми руками, но приносили с собою из Европы все, что составляет материальную, общественную и духовную культуру общества. Здесь, на новой почве, среди новых условий быта, конечно, многое изменялось в этой культуре, но основы ее оставались те же. Широкая политическая и религиозная свобода, господствующая в Соединенных Штатах Северной Америки, имеет, например, английское происхождение: ее принесли сюда гонимые на родине за свою веру и свои убеждения англичане XVII в., и история великой заатлантической республики до известной степени есть поэтому только продолжение истории ее европейской метрополии, Англии. С этой точки зрения стоит бросить общий взгляд на историю Северо-Американских Соединенных Штатов, культура которых, европейская в основе своей, достигла замечательного развития.

Первоначальную территорию этого государства составляла теперешняя восточная окраина Союза, распространившегося в XIX в. до противоположного берега Америки у Великого океана. Здесь, на этой прибрежной полосе, у Англии с начала XVII в. образовалось, как известно, тринадцать колоний, между которыми уже на первых же порах существовали значительные несходства во всем внутреннем быту. В южной части этой территории земля принадлежала крупным собственникам англиканского исповедания, которые вели плантаторское хозяйство, возделывая при помощи рабов-негров табак, сахарный тростник, хлопчатник и рис. Наоборот, колонии, лежавшие севернее, были населены мелкими собственниками, державшимися строгого пуританизма. Первая из этих колоний, Массачусетс, возникла во время гонений на пуритан при Иакове I[203], и основателями ее были индепенденты. Пенсильванию основали несколько позднее квакеры и т. п. Пуритане «Новой Англии», как назывались главные их колонии, принесли с собою в Америку религиозные и политические

идеи, за которые боролись и страдали на родине, и устроились на новых местах в виде своего рода демократических республик. Здесь именно самые важные дела решались на собраниях всех граждан, вообще везде существовали представительные собрания и более тесные советы, а метрополия ограничивалась лишь назначением губернаторов, не стеснявших местного самоуправления. Колонии мало-помалу стали процветать, и в них начали переселяться из Англии все, кому жилось на родине дурно и кто имел охоту и возможность ее покинуть. Известно, из-за чего и каким образом все эти колонии поссорились со своею метрополией и затем от нее отложились. Когда между Англией и колониями началась война, конгресс уполномоченных от отдельных колоний издал знаменитую декларацию независимости, в которой объявлял всему цивилизованному миру, что колонии отделяются от своей метрополии вследствие того, что ее правительство нарушило естественные человеческие права. Эта декларация была составлена в духе идей философии естественного права, господствовавшей тогда в Западной Европе. Результатом отпадения колоний от Англии было превращение их в независимые Соединенные Штаты Северной Америки; это был как бы первый случай применения на практике новых политических идей. Отдельные штаты стали вырабатывать себе новые конституции, сохраняя в сущности прежнее свое устройство, но ссылаясь при этом на верховную власть народа, на разделение властей и на другие принципы тогдашней философии. Известно, что дело американских колонистов возбудило к себе сочувствие в Европе. Особенно было сильно это сочувствие во Франции, откуда в Америку поехали волонтеры помогать сражаться за свободу. Равным образом и основание нового государства за Атлантическим океаном произвело большое впечатление в Европе.

Окончательное устройство Соединенные Штаты получили в 1789 г., в одно время с началом французской революции[204]. Конституция Соединенных Штатов признала за каждой из 13 колоний значение вполне самостоятельного государства со своей собственной конституцией, и лишь для иностранной политики и общих материальных интересов (торговли, путей сообщения и т. п.), равно как для решения споров между отдельными штатами или гражданами разных штатов были созданы, кроме того, союзные учреждения. Американцы приняли принцип разделения властей. Законодатель-

ная власть была отдана конгрессу, состоящему из палаты депутатов и сената; депутаты выбираются всеобщею подачею голосов в числе, пропорциональном количеству жителей каждого штата, а сенат состоит из уполномоченных от штатов (по два от каждого), избираемых на шесть лет. Исполнительная власть была вручена президенту, которого должны были выбирать на четыре года особые выборщики, тоже назначаемые всеобщею подачею голосов. В сущности это было лишь видоизменение английской конституции, приспособленное к условиям и потребностям страны, но хотя в своем новом устройстве американцы только воспроизводили и развивали основные особенности прежних порядков, господствовавших в колониях, в то же время оно было и как бы применением к государственной жизни принципов французской политической философии. В самом деле, Северо-Американские Соединенные Штаты были и во всемирной истории первою большою и действительно демократическою республикою. Кроме того, в новом государстве восторжествовал индепендентский принцип религиозной свободы. При существовании в стране множества сект было немыслимо установить какую-либо государственную церковь, и это повлекло за собою характерную черту Соединенных Штатов — отделение церкви от государства. Ни штаты, ни весь союз не вмешиваются в Северной Америке в религиозные дела граждан. Главным пятном, долго еще тяготевшим над Соединенными Штатами, оставалось и после освобождения их от Англии только рабство негров, работавших в плантациях южных штатов, но и оно пало в середине XIX в. Из-за этого вопроса в начале шестидесятых годов указанного столетия чуть было не распался самый союз вследствие нежелания «южан» освободить негров, чего требовали «северяне», но правое дело восторжествовало, и рабство было уничтожено — почти в одно время с отменою крепостного права в России.

Самым последним важным фактом в истории Соединенных Штатов является выступление и этого государства на путь колониальной политики и заморских предприятий. В недавней войне с Испанией Северная Америка приобрела некоторые ее колонии, а вслед затем приняла участие и в том усмирении Китая, которое в самом начале XIX в. было предпринято соединенной Европой. В течение всего XIX в. великая республика воздерживалась от приобретения заморских колоний, подобно России расширяя свои пределы сухопутным

образом, и защищала принципы невмешательства в европейские дела, вместе с тем охраняя и Америку от европейского вмешательства.

Отпадение Северо-Американских Соединенных Штатов было большим уроком для Англии, которая им и воспользовалась, совершенно изменив свое прежнее отношение к колониям. Все они пользуются теперь широким самоуправлением, граничащим с полною независимостью. Благодаря этому, Канада и вообще вся самая северная часть Северной Америки находится еще в обладании англичан. То же самое следует сказать и об Австралии, которая в короткое время достигла замечательного развития.

В первый раз европейские корабли пристали к берегам австралийского материка в начале XVII века, а европейская колонизация началась на восточном берегу только в конце XVIII века, причем поселенцами — недалеко от теперешнего Сиднея — были сосланные сюда в 1788 г. из Англии преступники, всего несколько сот человек. За ними, впрочем, вскоре последовали и свободные эмигранты, и малопомалу к середине XIX в. число английских колонистов достигло полумиллиона; особенно же стало оно возрастать только к концу столетия. В общем здесь образовалось несколько отдельных колоний, т. е. больших самоуправляющихся областей, в каждой из которых был поставлен особый губернатор, и возник свой парламент. Экономическое и политическое развитие австралийских колоний пошло очень быстро вперед во второй половине XIX в. В настоящее время эти колонии уже организованы как представительные демократии, в основу которых положены принципы народного верховенства и гражданского равенства. Мало того, в их политической жизни осуществлены даже совсем новые, еще нигде раньше не бывшие испытанными начала; например, в некоторых колониях правом избрания в члены парламента пользуются и женщины. Уже с середины XIX в. стала обнаруживаться и потребность в общих для всех австралийских колоний федеративных учреждениях.

Развитие торговли, проведение железных дорог и т. д. создали множество общих всем колониям интересов и вызвали к жизни, в восьмидесятых годах XIX в., целое федеративное движение, тем более, что ввиду развития как раз в то время колониальной политики европейских держав Австралия стала бояться захватов этими державами соседних островов. В 1885 г. большая часть колоний вошла между собою в соглашение и учредила особый «федеральный со-

вет Австралии», бывший первым шагом к сплочению всех колоний (кроме Новой Зеландии, слишком отдаленной от материка) в федерацию, получившую название Соединенных Штатов Австралии, или Австралийской республики. Английский парламент утвердил новый политический строй Австралии в 1900 г., и с первого же дня XX столетия союзные учреждения новых «Соединенных Штатов» вступили в законную силу. Образование этой «республики» в общем составе Британской колониальной империи является одним из наиболее замечательных примеров общего направления, принятого английскою политикою в ее отношениях к колониям.

Выходит, следовательно, так, что не только в Америке, но и в Австралии западноевропейские культурно-социальные формы получают дальнейшее развитие, и в этом смысле мы и на австралийскую историю должны смотреть как на продолжение английской же истории.

Исторические судьбы Азии и роль европейских народов в отдельных ее частях

От Нового Света в его двух материках обратимся теперь опять к Старому Свету, ко не к Европе, а к самым старым историческим материкам, к Азии и Африке.

Конечно, в других частях света европейцы могли колонизировать только такие страны, где было много пустых пространств, население отличалось редкостью, культурный уровень его был очень низкий. В главных областях более или менее сплошной европейской колонизации, в Америке и в Австралии, равно как и в Сибири, пришельцы имели дело преимущественно с дикарями, которые в настоящее время большею частью даже вымирают. Такое государство, как Северо-Американские Штаты, образовавшиеся на территории кочевых индейцев, не могло бы возникнуть в старых, густо населенных, достигших известной ступени цивилизации странах, как Индия. Англичане могли завоевать Индию, основать в ней разные учреждения, наслать туда своих чиновников и купцов и т. п., но они не могли так же ее заселить, как заселили Северную Америку.

Старые исторические страны, начиная с северного берега Африки и кончая Японией, сохраняют свое прежнее (туземное или пришлое) население, хотя и находятся часто в политической зависимости от

европейцев. Что касается до господства европейцев именно в этой части исторического мира, то в старых владениях Карфагена теперь хозяйничают французы, в Египте распоряжаются англичане, на Малую Азию и Месопотамию имеет большие виды Германия, Персия все более и более входит в сферу влияния России, Афганистан, пока совершенно независимый, играет роль государства-буфера между русскими и английскими владениями, Индия принадлежит целиком Англии, а в одной части Индо-Китая утвердились французы. Мало того, европейцы в самое последнее время утвердились в некоторых пунктах Китая, получив от его правительства так называемые «концессии» и разделив между собою сферы влияния.

Между прочим, последнее столкновение соединенной Европы с Китаем интересно и в том отношении, что в нем принимали участие и действовали заодно с Европой не только Северо-Американские Штаты, но и весьма быстро цивилизующаяся с середины XIX в. Япония — событие, открывающее совершенно новую эпоху в мировой политике.

Само собой разумеется, что в старых исторических странах с сложившейся уже культурой мы больше имеем дело с действием старых традиций и так называемых переживаний, чем с явлениями нового порядка, возникновению которых сильно мешает традиционная культура. Одна только Япония, как было сказано, быстро пошла по пути экономического и технического, даже научного и политического развития. В ней существуют в настоящее время на европейский лад и фабрики, и пароходы, и высшие учебные заведения, и периодическая пресса, и даже парламент. Но в общем новой культуре иногда бывает очень трудно одолеть старые, живучесть которых тем значительнее, чем эти культуры старше. Китай, Индия, мусульманский мир — это целые, давно сложившиеся, прочно установившиеся, сросшиеся со всею жизнью традиционные системы отношений и общественных порядков, воззрений и моральных формул. Все это Восток, тот самый Восток, который мы видели в Египте, в Ассиро-Вавилонии, в древней Персии, в Парфянском или Ново-Персидском царствах, в Арабском халифате, в государстве монголов, в Оттоманской империи. Запад слишком далеко ушел от этого Востока, чтобы между ними обоими могли установиться отношения учителя и ученика, тем более, что фактически и не в этом заключается суть дела, а в стремлении Запада к господству над Востоком и к извлечению из него материальных выгод.

Уже не раз отмечалось нами то обстоятельство, что две очень древние восточные страны стояли особняком во всемирной истории, — Индия и Китай, но за последнее время окончился и для них период изолированного существования.

По отношению к Индии еще можно сказать, что большая ее близость к главной сцене всемирной истории была причиной того, что эта обширная и населенная страна все-таки чаще приходила в соприкосновение с ближайшим к нам Востоком. Западная окраина Индии входила в состав и Персидской, и Македонской монархии, и Бактрийского царства, хотя и тут приходится прибавить, что большая и притом самая важная часть Индии оставалась совершенно в стороне от непосредственного персидского и греческого влияния (греческое владычество в западной окраине Индии продолжалось около двух веков). Другим периодом иноземного влияния на Индию с западной стороны было появление в ней магометанских завоевателей, без прочных результатов в VII в., более частое и настойчивое с VII в., пока в конце X в. им не удается упрочиться в северной части Индии (магометанские нашествия совершались здесь со стороны Ирана). В XIII в. начались набеги на Индию монголов, продолжавшиеся и в XIV в., а в XVI в. в Индии даже основалось могущественное мусульманское царство Великих Моголов, которое распалось только в середине XVIII в., чтобы открыть дорогу для установления сначала французского, а затем английского владычества. В XIX в. уже вся Индия вошла в состав Британской колониальной империи. Следовательно, Индия все-таки трижды входила в единение с остальным миром: в персидско-греческую эпоху в древности, в мусульманско-монгольскую эпоху в средние века и в эпоху западноевропейской колониальной политики в новое время. Морские сношения дали более прочные результаты, чем сухопутные. Китай был еще более изолирован в своей истории, но и он по временам подвергался внешним влияниям. В нем распространился буддизм, получивший особое развитие в Тибете, где он стал утверждаться еще в середине VII в. по Р. Х. В XIII в. и Китай вместе со многими другими странами подвергся монгольскому завоеванию, а как это, так и завоевания самих китайцев на западе привело их в соприкосновение с мусульманским миром. Непосредственные сношения европейцев морским путем стали устанавливаться с Китаем лишь в начале XVI в., т. е. после открытия морского пути в Индию, но до середины XIX в. китайское правительство всячески ограждало

свою страну от посещения иностранцев. Только во второй половине минувшего века Китай вошел в более деятельные сношения с Европой, отдельные нации которой начали в конце XIX столетия размежевывать в нем между собою «сферы влияния». Изолированности Небесной империи тоже таким образом настал конец.

И Индия, и Китай, как мы видим, раньше испытывали культурное влияние лишь со стороны ближайшего к ним Запада (греческое влияние через Бактрийское царство в Индии и буддистское через Тибет в Китае) и сделались доступными для европейских народов только после открытия пути из Атлантического в Индийский и Великий океаны, а с другой стороны, и завоевание Россией Северной и Средней Азии поставило обе страны в непосредственное соседство с европейской цивилизацией и по сухопутным границам. В обеих, следовательно, странах главным образом и произошла встреча двух разных потоков высшей цивилизации: морского, западноевропейского, и сухопутного, русского.

Мусульманский мир, который еще в начале новой истории все еще по-прежнему грозил Европе, в последние два века, наоборот, все более и более отступает перед натиском европейских народов, которые теперь господствуют над целыми территориями с мусульманским населением и в Азии, и в Африке. Подобно тому, как раньше пришли в упадок и разложились Арабский халифат и Монгольская империя, так и третья мировая держава мусульманского мира, одно время соединившая под своею властью многие земли в Азии, в Европе и в Африке, Оттоманская империя тоже стала приходить в упадок. В Европе, как было уже сказано, у нее отняты многие земли Россией, и Австрией, и христианскими народами Балканского полуострова, так что здесь у Турции остался сравнительно небольшой клочок прежней ее территории. В Азии значительные окраины Турции тоже отошли к России, которая расширилась здесь и за счет других мусульманских государств — Персии и среднеазиатских ханств. В Африке главным владением турок был Египет, но и он теперь имеет особого государя, находясь в то же время под владычеством европейской державы — Англии. Турция в начале нового времени занимала еще все области Восточной Римской империи, но теперь это — одно из второстепенных государств.

Если, далее, мы возьмем карту Азии и отметим на ней одновременно пределы, которых достигали монгольские завоевания, и тепереш-

ние границы Российской империи*, то увидим, что, по крайней мере, одна треть первой территории будет покрыта другою. В восточной своей части территория, когда-то входившая в состав монгольских владений, а ныне входящая в состав азиатских областей России, именно от Великого океана к з. приблизительно до 105° в. д., является сравнительно узкою полосою земли, которая далее на з. расширяется, охватывая главным образом громадное пространство, северные части которого заходят к с. за 60° с. ш., а южные — к ю. за 40° с. ш. В этой западной половине русских владений и именно в южной их части находится Туркестан, где во второй половине средних веков процветала еще мусульманская культура, весьма быстро пришедшая в упадок. В историю нового времени Туркестан вступил уже в полном упадке, а теперь эта обширная территория снова приобщается к культурной жизни после того, как с середины шестидесятых до середины восьмидесятых годов XIX в. здесь утвердилась русская власть.

Отсталость африканского материка в историческом отношении

Нам остается еще сказать о подчинении европейцам Африки. Этот большой материк Старого Света лежит между Средиземным морем на севере и двумя океанами, омывающими его с запада и востока, Атлантическим и Индийским с глубоко врезавшимся между двумя материками Красным морем. Последнее так близко подходит к Средиземному морю, что еще во времена древнего Египта возникла мысль о соединении обоих морей каналом и даже была осуществлена, по-видимому, сносно для плавания малых кораблей того времени. Время от времени этот старый египетский канал возобновлялся и расширялся, но с VIII в. до Р. Х. пришел в полный упадок, и только во второй половине XIX в. новый большой канал отрезал Африку от Азии, заменив прежний морской путь в Индию новым, более близким. Что касается до кружного морского пути, который, как известно, был открыт в конце XV в. португальцами, то и это, как и теперешний Суэцкий канал, не было совершенною новостью: вокруг Африки объехали еще финикийцы по поручению египетского фараона Нехао[205] за шесть веков до Р. Х. Таким образом, доступность Афри-

* Такая карта дана в моих «Главных обобщениях всемирной истории».

ки с морей, ее омывающих, факт давнишний: между финикийским и первым португальским объездом прошло более двух тысяч лет, а между первой попыткой соединения Средиземного и Красного морей и прорытием Суэцкого перешейка и того еще больше, около трех тысяч лет. Несмотря на такую древность морских сношений вокруг Африки, этот материк — самый отсталый в историческом отношении, хотя, прибавим еще, именно в северо-восточном углу Африки и возникло первое в истории большое культурное государство, Египет. Между Средиземным и Красным морями еще поддерживались связи за все историческое время, но за две с лишним тысячи лет, протекших между временами Нехао и Васко да Гамы, морским путем вокруг Африки никто не пользовался. Когда, наконец, со времени морских открытий португальцев европейцы стали появляться и селиться на африканских берегах, внутренность материка оставалась тоже долго неизвестной. На картах географических открытий вся внутренняя Африка до XIX в. отмечается как совершенно неведомая, неисследованная область.

Всемирной истории в древности принадлежала только самая северная окраина Африки, прилегающая к Средиземному морю. Здесь возникли Египет и Карфаген, доставшиеся потом Римской империи, а финикийские мореплаватели основывали свои предприятия даже за Гибралтаром, на берегах Атлантики. С этого отдаленного времени и до наших дней северная окраина Африки принадлежит всемирной истории. Сначала эта окраина примкнула к греко-римскому миру в Европе, эллинизировалась и романизировалась, и в ней распространилось христианство, утвердившееся и к югу от Египта, где оно и теперь составляет религию абиссинцев. В VII в. африканские провинции Римской империи были потеряны для христианского мира, и начался период магометанского владычества, причем вся эта окраина Африки вошла в состав Арабского халифата. События азиатской и европейской истории продолжали отзываться и на всей этой полосе земли, и в новое время Европа, как и в греко-римскую эпоху, снова овладела странами, где в древности развивались египетская и карфагенская культуры. Уже в первой половине XVI в. Карл V утверждается в некоторых пунктах бывшей Карфагенской области, а в конце XVIII в. Наполеон делает попытку завоевания Египта. Теперь вся эта старая африканская сцена всемирной истории находится под властью или влиянием европейских наций.

Такова в общих чертах история северной окраины Африки у Средиземного моря с глубочайшей древности до наших дней. К югу от этой полосы находятся великие Сахарская и Ливийские пустыни, которые и не давали цивилизации в течение целых веков распространяться внутрь материка. Только на востоке Нил служил всегда хорошей дорогой для культурных сношений, протекая притом параллельно Красному морю: христианство в Абиссинии — лучшее доказательство того, какое важное значение принадлежит в данном отношении особым географическим условиям этой части Африки. Впрочем, давно ли европейцы узнали, где берет начало древнейшая культурная река, Нил, которому так много был обязан сам Египет?

Раздел Африки между европейскими народами в XIX в.

Мы видели, когда и где утвердились европейцы в тех частях Африки, которые раньше находились вне связи с всемирной историей. К концу XIX в. здесь совершился раздел чуть не всего «черного» (по своему населению) материка между европейскими народами. Почти весь северо-запад Африки принадлежит Франции или входит в сферу ее влияния — от Алжира и Туниса через Сахару и Судан до экваториальной полосы, хотя тут есть и чужие территории. Большой остров у восточного берега Африки, Мадагаскар, тоже принадлежит французам. Англия заняла главным образом восточную позицию, и ее владения или находящиеся под ее политическим влиянием страны тянутся по Нилу до экваториальной области, а оттуда до южной оконечности Африки. Позже других европейских народов выступившие на путь колониальной политики немцы и итальянцы тоже нашли здесь для себя владения, а в самом центре Африки утвердились бельгийцы. Кое-что осталось и в руках самых старых колониальных стран, Испании и Португалии. Интересно при этом, что в религиозном отношении внутренняя Африка делается все более и более добычею ислама.

Влияние технического прогресса Европы

Вместе с европейскими завоеваниями распространяется и европейская материальная культура, достигшая в XIX в. небывалой высоты. Изобретение машин, успехи вообще прикладных знаний и развитие крупного производства совершили громадный переворот в промыш-

ленности. Благодаря техническим изобретениям, сделалось возможным, с одной стороны, страшно увеличить количество необходимых для жизни изделий, с другой — значительно понизить их продажную цену. Сначала Англия, а потом и другие промышленные страны Европы начали прямо работать на вывоз своих продуктов в более отсталые части света, а теперь прямо совершается перемещение туда европейских капиталов для промышленных целей. Двумя новыми применениями силы пара явились в XIX в. пароходы и паровозы, во много раз увеличившие силу и скорость передвижения по воде и по сухому пути. Первый пароход был пущен на воду в Северной Америке в 1807 г. Фультоном[206], а после 1815 г. пользование пароходами мало-помалу распространилось и в Европе, и в других частях света, где только имели свои владения или вели торговлю европейские нации (весьма важное, конечно, значение для сношения имело также прорытие в 1869 г. Суэцкого канала). Другой американец, Стефенсон[207], изобрел в 1829 г. паровоз для перевозки тяжестей по сухому пути, и с этого времени явились железные дороги, которые уже в сороковых годах стали строиться в очень большом количестве, а теперь связывают между собою даже противоположные берега великих материков. Таковы Трансатлантическая и Сибирская железные дороги. В высшей степени важно было также изобретение в тридцатых годах электрического телеграфа. Кроме того, сделаны были в XIX в. и многие другие важные изобретения, в громадном размере увеличившие силы человека над природою и доставившие европейцам окончательное торжество над отсталыми народами других частей света (между прочим, усовершенствованное вооружение).

Мировая торговля и мировая политика

Уже в начале нового времени, с самого открытия Америки и морского пути в Индию и первых шагов европейской колонизации в других частях света, торговля вышла из того малоразвитого состояния, в каком она была в конце средних веков. Крупная промышленность и паровой транспорт в XIX в. подняли и торговлю на небывалую прежде высоту. Промышленные нации Европы, собственно говоря, именно для сбыта своих товаров и стали широко пользоваться усовершенствованными путями сообщения и обратили особое внимание на отыскание новых рынков и на приобретение новых колоний.

Вследствие этого торговля, а с нею и вся экономическая жизнь получили мировой характер, т. е. между отдельными странами всех частей света установилось самое тесное взаимодействие. Некоторые учреждения, вроде Всемирного почтового союза, который был основан в 1874 г. и в котором теперь не участвуют лишь очень немногие страны, сильно содействуют этому мирному объединению народов. К той же категории явлений относятся всемирные промышленные и художественные выставки, которых было несколько во второй половине XIX в. (особенно часто во Франции) и т. п. Ради одного самосохранения народы, отставшие на пути развития, считают теперь нужным заимствовать у европейцев их технические изобретения и прикладные знания, причем передовые люди этих народов приходят к сознанию и вообще превосходства европейской цивилизации. В указываемом отношении особенно большие успехи сделала во второй половине XIX столетия Япония, в которой в настоящее время происходит сильное экономическое и культурное развитие европейского характера. В недавней войне с Китаем преобразованная Япония доказала свое превосходство над этим представителем азиатской неподвижности, и среди китайцев также явились люди, которые равным образом стали искать спасения в усвоении европейских знаний. К сожалению только, дикие и варварские народы прежде всего набрасываются на приобретение ружей и пушек и очень, наоборот, сторонятся европейских идей и учреждений.

Приняла мировой характер, понятное дело, и политика. В средние века, например, счеты между Англией и Францией не выходили за пределы Западной Европы, и столкновение французов с англичанами в Палестине во время третьего крестового похода было лишь незначительным эпизодом; теперь же интересы Англии и Франции сталкиваются и в Азии, и в Африке. Или другой пример: старый восточный вопрос, связанный с существованием в Европе Турции, теперь уступил место другому восточному вопросу (на берегах Великого океана), где, как это показало недавнее «усмирение» Китая соединенными силами европейцев, американцев и японцев, тоже сталкиваются между собою интересы всех главных европейских государств с прибавкою Северо-Американских Соединенных Штатов и Японии.

В эту же всемирную торговлю и всемирную политику втянута и Россия, которая два века тому назад вошла в «Европу» — в эпоху великих петровских реформ.

Очерк десятый
МЕСТО РОССИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Общий взгляд на место России во всемирной истории

Рассматривая общий ход всемирной истории, мы, конечно, имеем право ставить вопрос о том, какое место занимает во всемирной истории тот или другой народ, та или другая страна? Случается даже, что ученые той или другой национальности даже на самою всемирную историю смотрят с известной чисто национальной точки зрения. Последнее неправильно, но совершенно зато законно, интересуясь ходом культурного развития человечества, искать ответа на вопрос о том месте, какое в его истории занимает родная страна сравнительно с другими странами, участвовавшими в историческом движении. В настоящей главе нашей книги мы и дадим самый общий обзор судеб России с всемирно-исторической точки зрения. Это не будет, конечно, изложением внутренней истории нашего Отечества, а лишь ответом на вопрос, в каком отношении история России находится ко всемирной истории. Принятие русскими христианства из Византии — конечно, в связи с другими фактами, свидетельствующими о влиянии Византии на нашу древнейшую историю — было приобщением русской истории к истории восточноевропейского, греко-славянского средневекового мира, как, наоборот, сближение России с Западом при Петре Великом можно назвать приобщением этой истории к западноевропейскому, преимущественно романо-германскому миру. Оба эти факта нашей истории, один в конце X в., другой на рубеже XVII и XVIII вв., получили разную оценку в двух больших общественно-литературных партиях, на которые разделилась мыслящая часть русского общества в середине XIX в. Именно славянофилы, видевшие благо в том, что Россия приняла восточно-православное христианство, признавали петровскую реформу за большое зло, за событие именно, благодаря которому Россия сошла с своего настоящего исторического пути, тогда как западники в этой самой реформе видели спасение России, как культурной страны, а один из представителей названного направления, Чаадаев, даже выразил сожаление, что русские не примкнули с самого начала своей истории к западноевропейскому, католическому миру. Настоящая историческая наука исходит не из субъективной оценки фактов, а

из объективного их исследования. Для того, чтобы Россия приняла христианство из Византии, а не из Рима, как и для того, чтобы через семь веков после этого она сделалась европейским государством, а не азиатским, в какое готово было, по-видимому, превратиться, — и для того, и для этого существовали свои исторические причины, с результатами которых мы должны считаться, как с совершившимися фактами безотносительно к их оценке. Между двумя событиями, о которых было сказано, стоит еще третье, тоже немалой важности: через два с половиною века после принятия христианства большая часть Руси должна была подчиниться азиатской орде, которая вскоре приняла магометанство. Так называемое монгольское или татарское иго, можно сказать, связывало русскую историю с историей азиатского, мусульманского Востока, и лишь за два века до петровской реформы Русь стряхнула с себя чужеземное иго, сильно отстав за это время в своем историческом развитии. Крещение Руси по восточно-греческому обряду, подчинение монгольскому игу и петровская реформа — вот три главные вехи русской истории, указывающие на ее отношения, во-первых, к Византии и вообще к греко-славянскому миру, во-вторых, к мусульманской Азии, которая в конце средних веков поглотила, в лице турок, весь этот греко-славянский мир, кроме самой России, и, в-третьих, к европейскому Западу, вот уже около двух веков оказывающему на нее свое культурное влияние. Таким образом, русская история соприкасается со всеми тремя историческими мирами, образовавшимися в средние века в западной части Старого Света. Развиваясь в зависимости от внутренних условий, в какие ее ставили природа страны и свойства племен, ее населяющих, Россия в то же время испытывала разные влияния со стороны своих соседей, и влияния эти шли на нее с трех сторон, с юга, востока и запада, а именно с юга византийское, с востока азиатское, с запада новоевропейское, три влияния, соответствующие трем историческим мирам, о которых у нас уже столько раз шла речь. Конечно, влияния эти были неравноценны, а с другой стороны, и сама Россия не оставалась в бездействии по отношению к ближайшим и более отдаленным соседям. Ее история не прошла бесследно как для европейского Запада, в систему государств которого она вступила двести лет тому назад, так и для Балканского полуострова с его славянским и греческим населением, и, наконец, для обширных территорий Азии (Сибирь, Средняя Азия, Закавказье), где долгое время царило

магометанство. Приняв западную культуру, Россия понесла ее в самые далёкие страны Востока. В то время, как совершалась заморская колонизация западных народов, Россия совершала свою сухопутную колонизацию, и оба потока, идя в противоположных направлениях, должны были, конечно, встретиться. Встреча произошла и в Северной Америке, где еще в шестидесятых годах нам принадлежала Аляска в соседстве с английскими владениями, и произошла она также в Азии, где русские владения в конце XIX в. пришли в соприкосновение с английскими. Благодаря этому, европейская культура, как кольцом, охватила все северное полушарие, и одним из важных звеньев в этой цепи явилась Россия.

Позднее выступление России в истории

Из этого краткого обзора внешних отношений русской истории можно видеть, что, беря эту историю с чисто хронологической стороны, мы должны поместить ее лишь во вторую половину средних веков и в новое время, и что о всемирно-историческом значении русской истории позволительно говорить лишь по отношению к двум последним векам нового времени. И в отношении к первым начаткам культурной жизни, и в отношении к началу крупной исторической роли России приходится одинаково указывать на очень позднее выступление нашего Отечества на путь более широкого исторического развития.

Судьба всех позже приходящих в общем та, что им больше приходится испытывать влияний, чем самим влиять, более повторять то, что уже было пережито другими, чем идти впереди других. Притом Россия не только позже других европейских стран вступила во всемирную историю, но и разными неблагоприятными условиями задерживалась еще в своем развитии. Отдаленность от главной исторической сцены, чисто физические условия страны, постоянная борьба с азиатскими кочевниками, татарское иго, — все это, вместе взятое, крайне неблагоприятно влияло на русскую жизнь. Позднее других народов вступив на большую историческую дорогу и медленнее других по ней двигаясь, русские должны были, конечно, сильно отстать от своих западных соседей, и эта отсталость является одним из наиболее бросающихся в глаза общих фактов русской истории. Но столь же бросается в глаза и другой факт, именно весьма значительный

прогресс, сделанный русскою жизнью за два последних столетия и особенно за вторую половину XIX века.

Географическое положение Восточно-Европейской равнины

Первым неблагоприятным условием для приобщения народов, населявших еще в древности Восточно-Европейскую равнину, к цивилизованному миру, была отдаленность от него этой обширной страны. Своими южными окраинами она, правда, соприкасается с Черным морем, но северные берега его (и его большого залива — Азовского моря) были самыми крайними пределами древней греческой колонизации: дальше на север уже шло сплошное варварство. Римская империя тоже оканчивалась на берегах Черного моря, едва затронув лишь самые южные, прибрежные части теперешней России. Все, что лежало к северу от Черного моря, со всем, что было по ту сторону Дуная и Рейна (указывая, конечно, от Рима), — все это в первые века нашей эры, так сказать, стояло вне истории.

Вообще лишь в средние века совершилось включение в европейскую сцену всемирной истории стран к северу от рейнско-дунайской линии и от Черного моря, если не считать сравнительно небольших территорий к северу от этой границы вроде Дакии или Тавриды (Крыма). Припомним, что лишь Карл Великий обратил в христианство Германию, что поляки и русские приняли христианство еще двумя столетиями позднее, и что еще позднее оно стало утверждаться в Скандинавии, а крещение народов в ту эпоху и было тою формою, в какой совершалось их приобщение к высшей культуре. Очень поздно вошла Германия в состав римско-христианского мира, еще позже вошла в состав греко-христианского мира Русь. И по сравнению с Западной Европой к северу от дунайско-рейнской линии Восточно-Европейская равнина оказывается менее благоприятно расположенной по отношению к странам старой культуры. При первом взгляде на карту Европы мы видим, как эта часть света принимает, приближаясь к востоку, все более и более континентальный характер, расширяется и все значительнее отдаляет одни от других морские берега на севере и юге: от Немецкого моря по прямой линии ближе до Средиземного, чем от Белого до Черного. Притом на юге Восточно-Европейской равнины лежат обширные степи, которые с незапамятных времен

были приманкою для разных кочевников, отрезывавших очень долго от Черного моря зародившееся гораздо севернее Русское государство. Не мудрено, что историческая жизнь возникла здесь позднее и развивалась медленнее, чем в той части Западной Европы, которая в древности и в начале средних веков тоже оставалась варварской. Прибавим к этому и менее благоприятные условия климата и даже почвы в той части восточной равнины, где образовался ее главный политический центр после кратковременного преобладания Южной Руси с ее черноземом. Там, где жить было побезопаснее от набегов кочевников, было много лесов и болот, — обстоятельство тоже не особенно, конечно, благоприятное для культурного развития.

Значение великого водного пути и южнорусских степей

Русское государство возникло, как известно, на великом водном пути «из варяг в греки», шедшем от Балтийского моря через Финский залив Невой до Ладожского озера, оттуда по Волхову в Ильменское озеро, далее рекою Ловатью до водораздела между бассейном Балтийского моря и бассейном Черного моря, в которое, перетащив лодки в Днепр, по этой последней реке и спускались. Это был торговый путь, и по нему образовалось несколько городов, с именем которых и связана наша древняя история. Подобные водные пути между морями существовали и в Западной Европе, и здесь также на водных путях, главным образом, за исключением морских берегов, и развивалась в средние века городская жизнь. Достаточно вспомнить значение в этом отношении Рейна и Дуная. В стороне от таких путей историческая жизнь развивалась поздно, и целые населения долго оставались на очень низкой ступени развития, примером чему могут служить финны и литовцы, жившие в лесистых и болотистых местностях и очень поздно начавшие приобщаться к исторической жизни. Наоборот, на торговом пути по Каме и Волге довольно рано возникло государство Болгарское из смеси тюрков и финнов, а отчасти и славян: болгары находились в деятельных торговых сношениях с Азией, откуда к ним в X в. и пришло магометанство. Равным образом по Дону с нижним течением Волги в IX в. по Р. Х. существовало значительное царство Хазарское, в котором тоже существовала большая торговля. Из этих трех государств на Восточно-Европейской равнине ближе других к Западу было Русское, но от наиболее куль-

турных стран оно отделялось многими землями, долгое время еще остававшимися в язычестве. Главный центр, из которого высшая культура могла распространяться на Руси, был Константинополь, но правильности сообщения с ним мешали кочевники, долгое время господствовавшие в южных степях, где оканчивался великий речной путь. Восточно-Европейская равнина в южной своей части непосредственно соприкасается со степями Средней Азии, и пространство между Уральским хребтом и Каспийским морем было воротами народов, двигавшихся из Азии в Европу. Через эти, главным образом, ворота и прошли последовательно с IV в. по XIII гунны, авары, болгары, хазары, печенеги, половцы и татары, так сказать, сменявшие одни других. Эти кочевые народы отрезывали Русь от черноморского побережья и сильно препятствовали пользоваться плаванием по нижнему Днепру. Одним словом, в то время, как великий водный путь соединял Русь с двумя морями, леса и болота с одной стороны, а с другой — степи служили ей долгое время препятствием к более деятельным сношениям с цивилизованным миром. Беспокойная жизнь в южных окраинах Русского государства была даже одною причиною отлива населения отсюда с богатого чернозема на суглинок северовосточной Руси, где возникло Московское государство, бывшее ядром теперешней России.

Татарское иго

Кочевники вообще причиняли много зла мирному земледельческому населению южных окраин Русской земли. Главным образом они же пострадали и во время татарского нашествия, которое их разорило и обезлюдило, вследствие чего Юго-Западная Русь не в силах оказалась сопротивляться Литовскому княжеству, образовавшемуся в то время на ее северной границе и покорившему всю эту часть Русской земли. Но и над другой половиной, северо-восточной, установилось чужеземное иго азиатской орды, препятствовавшее культурному ее развитию. Это иго тяготело над Русью два с половиной века, но и потом еще долгое время ей приходилось вести тяжелую и упорную борьбу с магометанскими царствами на востоке и юге великой Восточно-Европейской равнины.

Завоевание одной части Руси Литвою, с которою она в XIV в. подчинилась политическому преобладанию и культурному влиянию Поль-

ши, и подчинение другой части Руси татарам создали, так сказать, две разные русские истории, которым суждено было соединиться воедино лишь много позднее. Обе части Русской земли, однако, не утратили своего национального облика, чему особенно способствовала принятая из Византии вера. Конечно, татарское влияние на Северо-Восточную Русь, которой суждено было разрастись впоследствии в Российскую империю, не могло быть благотворным ни в культурном, ни в политическом отношении. Входя в состав владений Золотой Орды, будущая Россия отрывалась от Европы, чтобы стать Азией. Хотя она и сохранила христианство, как основу своей духовной культуры, но в других отношениях она все менее и менее начинала походить на европейское государство, все более и более принимая, наоборот, восточные формы. Вместе с народами германскими и с другими славянами Русь вступила в историю как молодое государство одного с ними типа, развившегося из условий европейской жизни и культурных влияний Римской империи в обеих ее половинах, но вследствие разобщенности с остальной Европой и вследствие татарского ига Московское государство потребовало впоследствии европеизации, т. е. нового приобщения к европейскому миру. Оно и совершилось на рубеже XVII и XVIII веков.

Место России в славянском мире

Особое значение в истории России имеет принадлежность ее к славянскому миру. При разделении главных европейских народов на романские, германские и славянские мы должны обратить внимание на то, что в выступлении их на историческое поприще и во внутреннем их развитии замечается известная последовательность, которая состоит в том, что раньше других вступили в историю народы романского корня, позже всех — славяне, народы же германского происхождения заняли среднее место. Романские народы состоят из потомков романизированного населения Римской империи, из которого культура прежде всего должна была перейти к германцам, как более близким соседям, потому что славяне в общем занимали области, более отдаленные от культурных центров. Только часть славянского племени — сербы и болгары — пришла в непосредственное соприкосновение с Византийской империей, заняв северную часть Балканского полуострова, остальные же с самого начала были отделены от главной исторической сцены странами с неславянским

населением. Если византийская культура могла непосредственно передаваться сербам и болгарам на Балканском полуострове и, благодаря великому водному пути, славянам русским, то влияние западной культуры на славянский мир шло главным образом через Германию и совершалось, так сказать, уже в германской переработке. Самые западные славяне подверглись даже полному онемечению, чехи вошли в состав Священной Римской империи германской нации, а Польша сделалась главным оплотом католицизма в восточной Европе. Благодаря территориальной непрерывности, западное, преимущественно германское влияние и господство католицизма в средние века все более и более подвигались на восток, включив в область романо-германской культуры страны, которые находились в непосредственном соседстве с тогдашней Русью. Кроме крещения поляков по католическому обряду, достаточно вспомнить такие факты, как основание в XIII в. на берегах Балтийского моря немецкого духовно-рыцарского ордена, движение шведов к берегам Невы, принятие в XIV в. католицизма Литвой и соединение ее и подвластных ей русских земель с католической Польшей, наконец, движение самой Польши на восток. Вероисповедная рознь, образовавшаяся между Востоком и Западом в эпоху основания и крещения Руси, сильно мешала последней войти в более тесные культурные связи со своими западными соседями; от своих же единоверцев, византийских греков и балканских славян, Русь географически была отрезана. Последовало затем завоевание самой Руси татарами, падение юго-славянских царств, и в ту же эпоху на западных границах Руси образовалось большое Польско-Литовское государство, сделавшееся в конце средних веков наиболее обширной, могущественной и образованной славянской державой. Условия общей истории славянского племени сложились таким образом, что в новую историю в качестве вполне самостоятельных государств вступили только Польша и Россия, из которых одна представляла собою западную культуру, другая — восточную, одна в культурном отношении примыкала к прогрессировавшему в то время романо-германскому миру, другая сделалась после завоевания Константинополя турками единственным христианским государством на Востоке, притом только что еще покончившим свои счеты с татарским игом. Несмотря на такие неблагоприятные условия, Россия в новое время достигает важных исторических результатов в борьбе с враждебными ей силами, и об-

разование в XVIII в. Российской империи является одним из важнейших в указанном столетии событий.

Порядок экономического и культурного развития в Западной и в Восточной Европе

Как часть славянского мира в Европе, Россия во многих отношениях разделяла и разделяет судьбы этого мира, благодаря общему его географическому положению. Если сосредоточить свое внимание лишь на той части Европы, которая по отношению к странам античной цивилизации лежала по ту сторону Рейна, Дуная и Черного моря, то можно установить, что в общем на этой громадной территории приобщение отдельных стран к исторической жизни шло с запада на восток. Если бы не было великого водного пути «из варяг в греки», как проводника византийской культуры, и культура шла бы сюда только с романского запада через Германию, по всей вероятности, русская история началась бы еще позже, может быть, позже того, как вошли в состав исторического мира страны к югу от Балтийского моря и та территория, где возникло первоначальное государство Литовское, т. е. после германизации полабских и поморских славян, образования духовно-рыцарских орденов на Балтийском море, возникновения Ганзейского союза и расширения границ Польского государства к востоку. Во всяком случае, когда великий водный путь Восточно-Европейской равнины утратил свое значение, культурное движение в Северовосточной Европе за рейнско-дунайской линией шло главным образом с запада на восток, не встречая уже на своем пути другого аналогичного потока, который шел бы с юга, из Византии, да и сама Византия впоследствии исчезла. Общее направление культурного движения с запада на восток, от романских народов к германским и от германских к славянским объясняется, конечно, не из племенных, или расовых, что ли, свойств этих народов, т. е. не из прирожденных их особенностей, а из условий географических, условий климата, почвы и т. п. На долю славянских народов достались места, гораздо менее благоприятные для экономического их развития, которое тем раньше начиналось и тем быстрее совершалось, чем западнее оно происходило, а от экономического развития, от материального быта зависит и культурное, и политическое развитие. Примерной иллюстрацией этого общего явления может служить вот какое историческое наблюдение.

На известных ступенях экономической эволюции большая часть европейских народов переживала стадию крепостничества, т. е. закрепощения земледельческой, или крестьянской массы. Эта социально-экономическая форма характеризует эпохи замкнутого, натурального хозяйства при распадении общества на землевладельческую и служилую знать и подневольную народную массу. Романские страны вступили в средневековую историю именно с такою формою сельских отношений в виде римского колоната, который и был основою средневекового серважа. Прикрепление крестьян к земле и подчинение сельской массы вообще власти крупных землевладельцев существовали и в Византийской империи, где только законодательство императоров-иконоборцев начало подкапывать крепостной строй сельской жизни. У «варваров», вступивших в общую историческую жизнь в первой половине средних веков, в основе социальной организации лежали сельские общины, состоявшие из свободного крестьянства, и процесс закрепощения начался у них позднее. Вот мы и наблюдаем, следя за тем, как устанавливались крепостные отношения в средневековой Европе, что распространение этой формы шло с запада на восток. Это значит, что экономические и политические условия, вызывавшие появление этой формы, возникали на Западе раньше, чем на Востоке, во Франции ранее, чем в Германии, а в этой последней ранее, чем в Польше, позднее же всего в России. Наоборот, и раскрепощение совершалось в той же последовательности, т. е. чем западнее, тем раньше, чем восточнее, тем позже. В этом же смысле нужно понимать и постепенную замену натурального хозяйства денежным, особенно усилившуюся в конце средних веков и начавшую играть особенно важную роль в жизни европейских народов в новое время. И здесь стоит только обратить внимание на то, что современный капиталистический строй постепенно тоже надвигается от запада к востоку. Весьма естественно, что все это может свидетельствовать нам только об одном, о большей в течение веков экономической отсталости европейского Востока сравнительно с европейским Западом, для чего, конечно, есть свои причины, отчасти уже и рассмотренные нами в этом же самом очерке. Это — менее развитая береговая линия и большая отдаленность внутренних стран от материка, более суровый климат и менее богатая природа, меньшая населенность территории и большая опасность варварских нашествий. Татарское иго, правда, не коснулось ни Польши, ни Венгрии, но обоим

этим государствам пришлось выдерживать сильную борьбу с турками, опасность от которых для Германии не была так непосредственна и велика, как для более близких к Балканскому полуострову стран, особенно для Венгрии, большая часть которой даже входила временно в состав грозной мусульманской державы, раскинувшейся в трех частях света в областях древней эллинистической цивилизации.

Значение для России Балтийского моря

Этот обзор географических и исторических условий экономического и культурного развития России показывает нам, что после установления в восточных и юго-восточных окраинах Европы татарского и турецкого владычества, единственною стороною, откуда на Русь могло идти высшее культурное влияние, был Запад. Оно и шло, на самом деле, особенно через старый Новгород, который, как известно, играл очень видную роль в торговле германской Ганзы. Из двух морей, между которыми на великом водном пути возникло Русское государство, более важное значение получило к концу средних веков то, которое лежало к северу, Балтийское. Правда, пределы Русской земли расширились до Северного океана с его глубоко врезывающимся в материк большим заливом, Белым морем, и на этом море у русских завязались торговые сношения с Западом, но крайне северное положение делало из этого моря все-таки не очень-то удобное «окно в Европу».

Таким окном суждено было стать именно Балтийскому морю, а между тем и от него Русь оказалась, в эпоху наибольшего своего ослабления, отрезанною более счастливыми соседями. Известно, какое важное значение получил в XVI и XVII вв. так называемый балтийский вопрос, борьба за господство над Балтийским морем прилегавших к нему государств. Сюда, в эту сторону с середины XVI в. направились и политические усилия Московского государства, которые завершились основанием, в начале XVIII века, Петербурга у самого исходного пункта старого великого водного пути. С конца средних веков, со времени политического объединения и свержения татарского ига московская Русь, как не раз уже это отмечалось историками, поворачивается лицом к Европе, т. е. к Западу, потому что Восточная Европа, находившаяся в руках казанских, астраханских и крымских татар, а за Черным морем в руках турок, в культурном отношении была не Европой, а Азией.

«Московия»

В историю нового времени политически независимая часть Руси, основа будущей России, вступает в виде Московского государства, или Московии, как его называли в Западной Европе. Как политическая сила, оно выросло в области, лежавшей в стороне от великого водного пути и потому сравнительно поздно получившей историческое значение.

Московия была уже гораздо более еще удалена от «Европы», чем в свое время Киев или Новгород. Это было, если так можно выразиться, настоящее историческое захолустье, где очень легко было отстать от общего движения исторической жизни. Особые условия существования выработали тут своеобразный общественный уклад, в котором бросаются в глаза сильное развитие государственности, хотя бы и в очень примитивных формах, и, наоборот, весьма слабое развитие личности. Западным европейцам, попадавшим в Московию, она должна была казаться совершенно варварскою, азиатскою страною, лишь областью, так сказать, некоторой обширной «Татарии», где вся жизнь приняла чисто восточные формы. И, на самом деле, жизнь складывалась здесь не по-европейски, хотя Московия не так-то уж совсем была изолирована по отношению к Западу.

Священная Римская империя на Западе и Москва в качестве «третьего Рима» на Востоке

Между тем как раз в эту эпоху у людей Московского государства развился весьма гордый национализм, для которого было подыскано и теоретическое обоснование и даже со всемирно-исторической окраской. Московские книжники, впрочем, не сами выдумавшие эту идею, объявили Москву третьим Римом[208], что поднимало ее значение на недосягаемую высоту и донельзя льстило национальной гордости. Но, в сущности, такое о себе мнение, соединенное с очень слабым культурным развитием, есть черта, характеризующая восточные народы, в наше время, например, турок и китайцев.

Остановимся несколько подробнее на этом представлении о Москве, как о третьем Риме. Это был такой же отголосок античной идеи о всемирном господстве Рима, каким на Западе была фикция о продолжении Римской империи, представительницею которой сдела-

лась немецкая нация. Мы еще не говорили подробно об этой идее средневекового Запада и потому можем здесь и на ней остановиться несколько больше.

Уже в самом начале истории германских народов Римская империя была для них чем-то высшим, и они стремились занять в ней определенное место в качестве союзников или вспомогательных войск. Высшим проявлением честолюбия германских вождей было добиваться титулов империи и стремиться к восстановлению самой империи. С падением Западной империи ее права были перенесены на восточного императора, и германские короли стали смотреть на него как на своего главу, номинально признавая его верховенство и дорожа раздаваемыми им титулами. В Византии сохранялась та же идея, и ею руководился в VI веке Юстиниан Великий, когда отнимал у вандалов Африку, у остготов Италию и у вестготов южную окраину Испании. Со времен Константина Великого эта идея непрерывного существования империи стояла в тесной связи с идеей христианской церкви; для последней империя была главной опорой и защитой. После 476 г. восточный император в глазах христианского мира был не только его господином, но и защитником, и охранителем в нем истинной веры. Но на Западе власть императора не могла иметь реального значения вследствие своего бессилия в борьбе с варварами, а потеря империей Палестины и Сирии и иконоборство в VIII веке[209] и совсем уронили восточную империю в глазах Запада. Фактически связь его с Византией все более и более ослабевала, а в 800 году возложение императорской короны на голову Карла Великого и совсем порвало эту номинальную связь. Но для Византии западные императоры были лишь узурпаторами, ибо Византия считала себя истинной наследницей Римской империи, госпожой всех народов, не обращая внимания на то, что большая часть провинций ускользнула из-под ее власти. Даже слепой Исаак Ангел[210] за несколько лет до завоевания Византии крестоносцами четвертого похода, приведшего к временному установлению Латинской империи, мечтал о всемирной монархии. Только императору Византии мог принадлежать священный титул императора — царь. Василий Македонянин[211] упрекал Людовика Немецкого[212] (внука Карла Великого) в том, что он стал именоваться титулом, который мог принадлежать только ему одному. Никифор Фока[213] столь же неприязненно смотрел на присвоение императорского титула Оттоном Великим[214]. Византия стремилась к тому,

чтобы иностранные государи принимали титулы ее наместников, но никому не уступала самого высшего титула — басилевса. В свою очередь, если на Западе восточного императора и называли императором, то нередко старались умалить титул: Людовик Немецкий писал к Василию Македонянину как к «императору нового Рима»; базельский собор[215] в 1437 г. обращался к Иоанну Палеологу[216] как к императору ромеев (imperator romaeorum), т. е. употребляя грецизированную форму, чтобы не употребить формы romanorum (римлян). Существовало, однако, различие между обеими империями. Во-первых, византийский император видел в своих правах, как защитника веры, лишь прямое следствие своего положения, в качестве мировладыки и наследника древних цезарей, а на Западе скорее из титула защитника церкви выводились остальные права наследников цезарей. Здесь, как мы знаем, установился дуализм светской и духовной власти, в котором император и папа взаимно дополняли друг друга, между тем как в Византии произошло подчинение церкви государству. Во-вторых, на Западе «римский» император, в конце концов, превратился в сюзерена феодальной иерархии, тогда как Византия не знала феодализма, сохранив в своих областях зависевших от центрального правительства и сменяемых губернаторов, которые присылались прямо из столицы. Вот это-то особое положение императорской власти на Западе и по отношению к церкви, и по отношению к аристократии (землевладельческой и сановной) и произвело то, что средневековая империя на Западе была только фикцией, приняв католико-феодальный характер. В теории империя стояла высоко, но только в теории можно было смотреть на других европейских государей как на провинциальных королей. Пророчество Даниила, примененное к чередованию монархий Вавилоно-ассирийской, Персидской, Македонской и Римской, которая должна существовать до скончания веков, титул защитника церкви, охранителя и распространителя веры, значение императорской власти, как власти светского главы, дополняющего духовного главу — папу, все это сообщало идее империи религиозный, даже мистический характер.

Религиозный характер имела, конечно, и императорская власть в Византии. Отношение к ней славянских народов и их князей сильно напоминает то, что мы наблюдаем в варварских государствах на Западе. И здесь, т. е. на Востоке, могла зародиться идея о перенесении империи с одного народа на другой, как то было на Западе, где при

Карле Великом она перешла к франкам, при Оттоне Великом — к немцам. Минуя развитие аналогичных взглядов у южных славян, мы встречаемся, наконец, с этой идеей перенесения империи с греков и на русских, и Москва, как третий Рим, была тоже своего рода «Священной Римской империей Московского государства». Только здесь эта идея нашла более благоприятную почву для своей реализации, конечно, не в смысле универсальной монархии, а в смысле осуществления той полноты власти, которая принадлежала московскому государю, сделавшемуся из великого князя царем. Здесь не место останавливаться на внутреннем процессе, приведшем к московскому самодержавию, но следует, конечно, отметить факт его установления одновременно с тем, как и на Западе воскресает римская государственная идея, нашедшая свое воплощение не в римско-германском императоре, а в национальных королях. Отношения между государственною властью, с одной стороны, и как церковью, так и сословиями, с другой, сложились в Московском государстве иначе, чем на католико-феодальном Западе, т. е. ближе к византийскому типу, и потому византийская традиция больше соответствовала «Москве, третьему Риму», чем древнеримская — «Священной Римской империи немецкой нации».

Формула: «Москва — третий Рим» — получила не только политическое, но и национальное значение. В ней содержалась своего рода националистическо-философская история, отводившая русским особое место во всемирной истории, ибо в формуле этой заключалось определение культурной роли Москвы, как наследницы византийского идеала, известное понимание миссии ее в мире, как хранительницы истинного благочестия. На почве разделения церквей для православного Востока истинным главою христианства был Царьград, как второй Рим, к которому перешло от первого Рима, отшатнувшегося от православия, законное главенство в христианском мире. Но и этот второй Рим тоже пал: принятие официальной Византией Флорентийской унии (1439), подчинявшей греческую церковь папе, и вскоре последовавшее за этим завоевание Константинополя турками (1453) были поняты, как причина и следствие, как измена православию и Божия кара за эту измену. Пусть, однако, второй Рим и пал, но не может пасть православное христианское царство вообще, которое, наоборот, должно стоять до скончания века. Вот этим царством, т. е. «третьим Римом», и являлось в глазах русских людей

XVI века Московское государство, только что объединившее уделы, освободившееся от татарского ига и потом даже завоевавшее два татарских царства на Востоке. Два Рима пали, Москва — третий Рим, а четвертому уже не бывать. Задача третьего Рима была в том, чтобы хранить древнее благочестие и бороться с его врагами. Брак великого князя московского, Ивана III[217], с Софьей Палеолог[218], племянницей последнего византийского императора и как бы наследницей его державных прав, а также папская и венецианская дипломатия, внушавшая московским государям, дабы заставить их воевать с Турцией, что они прямые и законные наследники Византии, — тоже содействовали утверждению такого взгляда. Конечно, что эта теория могла только поддерживать национальное самомнение и исключительность. Она обособляла Московию от остального европейского мира, и это обособление сильно мешало идейному влиянию Запада на тогдашнюю Россию. Во всем этом историческом явлении нельзя не видеть продолжения того культурного обособления, которое характеризует средневековую историю, и любопытно, что теория о третьем Риме, о Москве, как политической и культурной наследнице Византии, стала формулироваться, когда на западе из Византии шло новое подкрепление широкому гуманистическому движению, и сама средневековая Римская империя утратила свое обаяние над умами. Московский национализм XVI–XVII вв. заключал в себе осуждение всего того, что было выработано и вновь вырабатывалось Западной Европой в мире идей, и был в сущности проповедью культурного застоя и, как сказано выше, национальной исключительности.

Европеизация России

Разумеется, в этом беглом очерке не может быть дано истории «европеизации» России, т. е. рассказа о том, когда она началась, какими путями шла, какие препятствия встречала и какие результаты дала. Достаточно указать на то, что со времени петровской реформы, подготовленной, впрочем, всем предыдущим историческим развитием, Россия мало-помалу заняла место в Европе, понимаемой и в смысле известной системы государств и народов, и в смысле территории, на которой господствует высшая культура, хотя, конечно, наша историческая отсталость и до сих пор дает себя знать. Играть роль в общеевропейской политике Россия стала в одно время с тем, как на нее

самое сильнее стала действовать европейская культура. Но и традиция третьего Рима не умерла окончательно в сознании некоторой части русского общества, особенно в так называемых славянофильских учениях.

Славянофильская философия истории

В то самое время, как общий ход всемирной истории за последние два века все более и более втягивал Россию в Европу и все более и более преобразовывал ее внутри на европейский лад, славянофильство старалось, наоборот, проповедовать обособление и самобытность, уча, что Запад гниет и что все наше спасение — в отказе от последствий петровской реформы. Одним из выражений славянофильской философии истории является книга Данилевского «Россия и Европа», еще недавно, по-видимому, — судя по числу изданий, — находившая многочисленных читателей. В первом очерке, где у нас шла речь о всемирно-исторической точке зрения, мы уже коснулись теории культурно-исторических типов*, которую Данилевский развивал в своей книге, желая обосновать свое положение о том, что Россия с остальным греко-славянским миром, с которым она должна теснее объединиться, составляет отдельный и самобытный культурно-исторический тип. Все историко-философское построение автора «России и Европы» было рассчитано на то, чтобы содействовать охране самобытности восточного типа, объявляемого автором за наиболее совершенный, от западного влияния, признаваемого, наоборот, за нечто весьма пагубное. Мы видели, что эта теория по существу дела отрицает культурное объединение человечества путем исторической преемственности цивилизации и взаимодействия между народами одной и той же исторической эпохи, т. е. отрицает очевидность в угоду предвзятой мысли. Развивая логически основные положения теории Данилевского, мы должны были бы признать в культурно-исторических типах своего рода изначальные и самобытные единицы, резко одни от других отграниченные и одна в другую не переходящие, не соединимые между собою и вместе с тем неразделимые целые, подобные схоластическим сущностям или биологическим видам по старому на них взгляду. Таки-

* См. выше.

ми именно типами рисуются в этой теории романо-германский и греко-славянский исторические миры Европы. Несомненно, между этими мирами история выработала существенные черты различия, но оба они на самом деле являются лишь неодинаково видоизмененными продолжениями одного греко-римского исторического мира, да и черты различия все более и более сглаживаются между ними: так, воды одной и той же реки, встречая на пути своего течения остров, временно разделяются на два рукава и опять сливаются в одном русле, миновав разделившую их преграду. Взаимодействие между отдельными народами, поставленными в удобные для того условия, совершает выработку некоторой более универсальной цивилизации, а народы, позднее выступающие на историческое поприще, попадают под влияние более старых наций и часто, приходя к ним на смену, по-своему продолжают начатое ими дело, в чем и заключается так называемая историческая преемственность. Обособление, совершающееся в силу тех или других причин, — как это, например, произошло с Западной Европой в средние века или со старою Русью, — конечно, способствует выработке известного типа, имеющего чисто местный характер, но свойства действительной исконности и полной самобытности такому типу можно приписывать только под тем условием, чтобы перед эпохой замкнутости, как в Китае, не существовало эпохи более широкого общения. В нашей Европе периоду обособления двух типов предшествовал долгий период греко-римского объединения всего цивилизованного мира, бывшего своего рода синтезом всех древних культурно-исторических типов, и обе половины Европы получили из этого мира общее наследие, которое особенно и сделало возможным новое объединение, когда исторические условия позволили и Западу, и Востоку выйти из своей замкнутости и обособленности. Во всемирной истории совершается постоянно соединение элементов, первоначально один другому чуждых, и разъединение элементов, уже живших одною общею жизнью: первый процесс ведет к прогрессивному объединению человечества, второй, наоборот, является процессом прямо регрессивным. Создавая, далее, из романо-германского и греко-славянского миров две резко различающиеся исторические противоположности, автор «России и Европы» стремится представить второй из них, как такой, которому не только невозможно, но и не следует делать никаких заимствований у другого, ибо греко-славянский мир представляет

из себя высший культурный тип, сравнительно с другим, романо-германским. Как бы мы ни гадали относительно будущего, но по отношению к прошлому и настоящему мы должны признать, что из двух рукавов, на которые в начале средних веков разделилось европейское историческое течение, значение главного русла принадлежит рукаву западному, и что романо-германский мир с большим правом, чем греко-славянский, может называться наследником древней цивилизации, наиболее универсальной, какая когда-либо существовала до возникновения цивилизации современной.

Правда, в начале средних веков европейский Запад не избег общей участи, обособился и замкнулся; образованность и у него пришла в упадок, и даже одно время арабская наука стояла далеко впереди западноевропейской. Но тот же Запад первый и начал выход из этого состояния, сделавшись продолжателем объединительной и цивилизаторской деятельности греко-римского мира. Средневековая католико-феодальная культура, проникнутая местными и временными влияниями романо-германского мира, подверглась критике с более универсальных и непреходящих точек зрения, с которых стали открываться и более широкие умственные горизонты. Историческое развитие личности подняло Запад на ту культурную высоту, на какой дотоле никто еще не стоял. Возрождение и реформация были как бы возвращением к самим источникам европейской цивилизации, к античной древности и первоначальному христианству, иссякшим и исказившимся в средние века, и к тому, что было наиболее универсального и непреходящего в этих источниках. Классическая литература в руках гуманистов и Библия в руках протестантов сделались двумя главными орудиями в борьбе с отжившими свой век социально-культурными формами, но и та, и другая могли получить такое значение лишь благодаря тому, что народилась личность, сознательно противопоставившая свое я внешнему миру и потребовавшая возрождения и преобразования жизни на новых началах.

Это-то и было залогом дальнейшего прогресса, к которому стали приобщаться и другие народы. Между тем теория, принижающая романо-германский тип перед греко-славянским, хотя и признает превосходство западной науки, ставит, однако, «Европе» в вину как раз то, в чем вся ее сила и без чего не могло бы в ней быть и науки, — и вместе с тем щедро наделяет греко-славянский тип качествами, имеющими для адептов школы идеальное значение и

будто бы уже характеризующими в этом идеальном значении весь греко-славянский культурный тип. Признаками западноевропейского типа считаются именно чрезмерное развитие личности, неуважение к преданию и приверженность к форме, под которыми разумеются стремление к самостоятельному проявлению личного я, дух исследования и искание наилучших основ общежития и которым противополагаются, как признаки типа восточного, соборное начало, верность искони воспринятой вселенской истине и предпочтение, оказываемое внутреннему содержанию и духу перед внешней формой и буквой. Индивидуализм, пытливая мысль и преобразовательные стремления составляют действительно существующие, реальные явления, характеризующие новое западноевропейское развитие и вообще культурную и социальную жизнь всякой страны, идущей по дороге прогресса. Без того, что теория считает основными грехами «европейской» цивилизации, не могла бы существовать сама наука, прежде всего требующая высокого личного развития, критического отношения ко всему, существующему в силу одной традиции, и таких форм жизни, которые обеспечивали свободное развитие ума, — наука, сама содействующая личному развитию, воспитывающая умственную пытливость и ставящая себе задачею, между прочим, и выработку наиболее в нравственном смысле справедливых, а в общественном смысле полезных форм народной жизни. В свою очередь, выставляемые теорией признаки греко-славянского типа суть простые понятия, под которыми или не мыслится ничего реального, или разумеются явления, обобщаемые совершенно произвольно, или же имеются в виду вещи, вовсе не соответствующие той роли, какую им приходится играть. В конце концов, вдобавок славянофильская теория и не в состоянии указать, каким образом восточные начала могли бы создать что-либо равносильное западной науке.

Славянофилы совершенно верно характеризуют современную Западную Европу, как мир развитой личности, критической мысли, сознательной выработки общественных форм, но совершенно напрасно представляют дело таким образом, будто бы всеми этими признаками определяется сам романо-германский тип на протяжении всего своего культурного и социального развития, а не известный исторический момент в этом развитии. Столь же напрасно утверждают они и то, будто мир греко-славянский изначала и до

конца веков был и должен оставаться на той ступени культурного и социального развития, на которой личность мало выступает, как самобытное я, затериваясь в однородной массе, индивидуальная мысль не обнаруживает оригинальности, вращаясь в кругу традиционных идей, а общественные формы не подвергаются изменениям во имя обеспечения за личностью правильного развития, представляясь неразвитому уму как совершенно безразличный и в то же время неприкосновенный порядок вещей. Если даже указанное противоположение между европейским Западом и Востоком и было верно, — а безусловная верность его сомнительна, — то оно имело бы совсем не такое значение, какое ему приписывается рассматриваемой теорией. Личное начало в истории с его необходимыми следствиями, т. е. с самостоятельною работою ума над вопросами мысли и жизни и стремлением к осуществлению в действительности новых общественных идеалов, как и все другое в истории, способно к большему или меньшему развитию и притом в зависимости, конечно, от разных культурных и социальных условий: чем ниже культурный уровень и несовершеннее социальная организация, тем менее средств дается обществом отдельным его членам для их личного развития, тем менее личность способна проявить себя, как самостоятельное и самобытное я и наоборот, чем выше стоит общество в культурном и социальном отношениях, тем более оно помогает проявлению в индивидуальной жизни и деятельности того, что вырабатывает в человеке личность, как развитое я, со своей оригинальной физиономией, со своими мыслью, чувством и волей.

По основному закону развития цивилизации культурно-социальный прогресс влечет за собою то, что можно назвать ростом личности, и сам вместе с тем обусловливается этим ростом. Личное начало присуще истории на всех ступенях ее развития, потому что сам исторический процесс в последнем анализе сводится весь к взаимодействию между личностью и культурно-социальною средою, и вопрос может быть лишь о степени развития, о количестве и о силе этого начала в тот или другой момент исторического бытия отдельной нации или целого культурного мира вроде, например, западноевропейского. Если в этом последнем индивидуализм достигает большого развития в наибольшем количестве случаев и с наибольшею силою противопоставляет себя косности или бессознательному саморазвитию культурно-социальной среды, то это служит

лишь одним из признаков, свидетельствующих об особенно значительном прогрессе, совершенном Западною Европою в духовном и общественном отношениях.

Сами по себе культурные и социальные формы, зависящие от данных условий места и времени, лишь тогда получают более универсальное и непреходящее значение, когда в них вложено много такого, что является результатом чисто личной, отрешенной от влияний местных и временных форм, так сказать, общечеловеческой мысли, говорящей уму и сердцу человека, как такового, а не как представителя той или другой культурной группы. Заключается ли в таком развитии преимущество или, как кажется другим, недостаток, во всяком случае, и преимущество это, и этот недостаток, — если только права, конечно, теория культурно-исторических типов, — не могут считаться признаками одного романо-германского мира, так как личное начало присуще истории вообще, хотя и не всегда в одинаковой степени, а из всех цивилизаций наиболее благоприятною для его развития является та, родоначальниками которой в Европе были древние греки, а наследниками сделались все христианские народы как западной, так и восточной половины Европы.

Расширение границ России в XVII–XIX вв.

Указав на то место, которое Россия заняла в всемирной истории, как один из младших по времени членов мира европейских народов и государств, мы закончим этот очерк общим обзором внешних отношений, которые создали России ее теперешнее международное положение. Приблизившись и географически, вследствие расширения границ в XVIII и XIX вв., к Западной Европе, Россия в то же время заняла важное положение на Востоке, где, несомненно, ей принадлежит цивилизаторская миссия.

Главными политическими силами, которые не хотели, так сказать, пускать Россию в Европу, были, как известно, Швеция и Польша, а вместе с ними эту антирусскую политику вела и Турция. За счет этих государств и создала Россия себе положение на Западе. Отстояв в начале XVII в. свою национальную независимость от агрессивной политики Польши, Московское государство отняло у Польши в том же столетии восточные ее владения по Днепру, а в начале XVIII в. решила пробиться к Балтийскому морю и в союзе

с Данией и Польшей вела для этого войну с Швецией, отобрав от нее Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, Карелию и небольшую часть Финляндии.

Победы над Швецией, собственно говоря, и превратили прежнее Московское государство, которое считалось в Европе чуть не азиатским, в Российскую империю, от которой три названные государства и получили самые тяжелые удары. Швеция в начале XIX в. потеряла и всю Финляндию, Польша во второй половине XVIII в. перестала вовсе существовать, усилив Россию своей восточной, литовско-русской половиной, и Россия же играла первенствующую роль в разложении Турции в XVIII и XIX вв. Исчезновение Польши с политической карты Европы принадлежит к числу особенно важных событий XVIII в. Это государство, достигшее наибольшего могущества в XV–XVI вв. при Ягеллонах и простиравшееся «от моря до моря», в XVII в. стало клониться к упадку и вместе с тем утрачивать целые области. Польша в это время лишилась находившейся в вассальной от нее зависимости Пруссии, лишилась Лифляндии, лишилась части Западной Руси со Смоленском и Киевом. Но и в урезанных пределах Польша все еще оставалась большим государством. Его ослабили внутренние смуты, которые позволили России, в самом начале XVIII в., взять ее под свою опеку. Внешняя независимость Польши поддерживалась соперничеством ее соседок, но во второй половине XVIII в. по инициативе Пруссии они пришли к соглашению относительно дележа польских владений, и в три приема Польша была разделена между Россией, Пруссией и Австрией. Литовско-русские части Польши достались России, чисто польские — двум великим германским державам — Австрии и Пруссии. Через двадцать лет после окончательного раздела Польши из некоторых ее прусских и австрийских частей возникло новое царство Польское, которое было присоединено к России. Расширилась в Европе Россия в XVIII и начале XIX в. и за счет Турции. В эти два столетия совершался постепенный процесс разложения Европейской Турции, причем Россия присоединила к своим владениям земли между устьями Днепра и Днестра и Крым (во второй половине XVIII в.) и Бессарабию (в начале XIX в.), утвердившись таким образом на Черном море. С присоединением к России, в начале XIX в., Финляндии, Бессарабии и царства Польского установилась та западная ее граница, которая оставалась потом почти неизменной до наших дней.

Роль России в Азии

Таково было движение России в сторону европейского Запада, но совершалось движение ее и в сторону азиатского Востока. Оно началось с завоевания в середине XVI в. царств Казанского и Астраханского, за которыми уже начиналась настоящая Азия. В те же самые века, когда западные народы приобретали новые земли за морями, Россия постепенно расширяла свои сухопутные границы и присоединяла громадные пространства в Азии. Распространение русской территории совершалось здесь именно в трех направлениях. В конце XVI в. началось завоевание Сибири, а в середине XVII в. русские дошли уже до Охотского и Берингова моря, в середине же XIX в. Россия утвердилась и на нижнем течении Амура. Далее, в первой половине XIX в. Россия овладела Кавказом, где столкнулась с Турцией и Персией. Наконец, во второй половине XIX в. ею были приобретены большие владения в Средней Азии и поставлены в зависимость Хивинское и Бухарское ханства. Последние приобретения России приблизили ее границы к границам Британской Индии.

Такое расширение границ России и в Европе, в сторону наиболее культурных ее наций, и в Азии, в сторону народов, отсталых в культурном отношении, сделало Россию одною из величайших по размерам своим мировых держав, какие только существовали в истории, превратив ее в главную посредницу в передаче европейской цивилизации обширным территориям азиатского Востока. Прилагая к истории России схему перехода от речного периода через морской к океаническому, мы видим, что и здесь совершился тот же процесс, так как на Дальнем Востоке Россия дошла до Великого океана, которому в будущем предстоит, по-видимому, громадная роль всемирного значения. С другой стороны, европейские нации, с которыми Россия сталкивалась прежде лишь по отношениям чисто европейским, встретились с Россией и в Азии, где у главных европейских государств есть, как известно, свои интересы.

Из этого движения России на Восток некоторые наши публицисты делают тот вывод, что ей нужно быть и признавать себя державой по преимуществу азиатской не только в географическом смысле, но и по духовному якобы родству нашему с миром восточных народов. Если славянофилы в качестве преемников теории третьего Рима, прежде всего, хотят видеть в России преемницу Византии, то

новейшие публицисты, о которых только что сказано, должны были бы видеть в России прямую наследницу средневековой державы монголов, многие части которой, действительно, входят в состав азиатских областей империи. Это то же предложение отказаться от более тесного общения с европейским Западом, где главным образом и развивается передовая цивилизация человечества. Весь, однако, ход всемирной истории и внутреннее развитие самой России приводят к тому, что Россия не должна быть ни Византией, ни Азией, а должна быть Европой.

ИСТОРИКА. ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

I. ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ ИСТОРИИ?

Я начну с объяснения термина «теория истории», стоящего в заголовки этой книги. По своему первоначальному значению в греческом языке слова «теория» и «история» очень близки одно к другому: первое толкуется, как рассматривание, созерцание, ученое познание и т. п.*, второе — как разузнавание, изложение добытых сведений, известное знание**, но в то же время слово «история» обозначает и нечто иное, а именно не самое знание, а то, что служит предметом этого знания. Говоря коротко, напр., в астрономии изучается мир небесных тел, в зоологии и ботанике — мир органических существ и т. д., в истории же, взятой в смысле известного знания, изучается тоже история, но уже взятая в смысле некоторого прошлого, подлежащего изучению.

Другими словами, термин «история» употребляется в двух разных значениях, в смысле вообще знания или науки, и в смысле совокупности явлений прошлого. К первому словоупотреблению относится, наприм., выражение «естественная история», ко второму — такие сочетания слов, как история солнечной системы, история земного шара, история органической жизни на земле и пр. и пр., противополагаемый их настоящему, т. е. современному состоянию солнечной системы, земного шара, органической жизни и т. д. Впрочем, во всех случаях употребления слова «история» во втором смысле само оно, это слово, требует дополнения в виде указания на то, прошлое чего же именно имеется в виду, но когда наш термин не сопровождается таким дополнением, когда говорят просто об истории, никто не сомневается, что речь идет о прошлом какого-либо народа или государства, общее говоря, о человеческом прошлом.

Это элементарное разъяснение я считал нужным сделать ввиду того, что в литературе по теории истории нередко наблюдается сме-

---

* В корне греч. слова ἱστορία мы имеем ἰδ с значением видеть (*лат.* videre) и ведать, откуда ἵστωρ — сведущий, знающий, знаток, ἱστορεω — разузнаю, расследую, расспрашиваю (и рассказываю) и ἱστορία.

** Греч. θεωρια значит прежде всего смотрение на что-либо, наблюдение, рассматривание, созерцание; один корень со словом теорема (θεώρήμα).

шение задач теории истории, как науки, и истории, в смысле того, что этою наукою изучается. Теория исторического знания, значит, есть одно, теория исторического процесса — совсем другое. Я бы сказал даже, что есть не одна, а две теории или, по крайней мере, две совершенно самостоятельные части единой теории, имеющей дело с прошлым народов, государств, человечества. Сообразно с этим в настоящей книге оба предмета и трактуются отдельно.

Каждая из этих двух теорий имеет свои особые вопросы, которые не должно смешивать одни с другими.

Перечислю некоторые вопросы теории исторического знания и теории исторического процесса. В первой это будут, наприм., такие вопросы: как возможно знание прошлого, и в каком смысле оно может быть научным? Имеет ли, далее, сама история вообще право называться наукой? В частности, в чем заключаются источники исторического знания? Что составляет его предмет? Какие его задачи? Какими приемами исследования должна пользоваться история для добывания научных истин? Вопрос о приемах исторического исследования, о путях достижения истины, иначе говоря, об историческом методе является в теории истории, как науки, даже прямо доминирующим, и многие поэтому готовы называть ее «историческою методологией»*. Кроме некоторой общей логики, каждая наука должна иметь свою особую, так сказать, частную логику, и в этом отношении история не может и не должна составлять исключения: историческая наука тоже имеет свою специальную логику, с одной стороны, разрешающую принципиальные вопросы гносеологии, т. е. теории познания вообще, в их применении к вопросам исторического знания, а с другой рассматривающей чисто уже технические вопросы о приемах исторического исследования**.

---

* Бернгейм в «Lehrbuch der historischen Methode» под методологией разумеет общее учение о существе (Begriff und Wesen) метода какой-либо науки, относя вытекающие из него отдельные приемы (methodischen Grundsätze und Kunstgriffe) к области методики. Lehrboch, стр. 158. У нас принято, — как это, между прочим, отмечено в «Логике» А. И. Введенского (стр. 128), — называть методикой какой-либо науки учение о методах ее преподавания.

** О связи интересующей нас научной дисциплины с теорией познания см. G. Simmel. Die Probleme der Geschichtsphilosophie (2 изд. 1905). Эту свою книжку автор сам определяет как «eine erkenntnisstheoretische Studie», в которой рассматривается проблема: «wie aus dem Stoffe der umnittelbaren, gelebten Wirklichkeit das theoretische Gebild werde das wir Geschichte nennen». В техниче-

Совсем иной характер имеют вопросы не о том, как прошлое познается, а о том, как совершается то, что вами здесь познается. Историческое знание, как сказано, есть одно, исторический процесс — другое. Прибавлю, что в науке прошлое берется именно как процесс, как нечто «идущее вперед» (от лат. procedo) во времени, последовательно совершающееся, и в чем последующее тесно связано с предыдущим, как, наприм.., в процессе патологическом (в том порядке, в каком протекает известная болезнь) или в процессе судебном (в том порядке, в каком ведется какое-либо «дело»), — обобщая в одном понятии процесса и естественный ход вещей, и установленную людьми последовательность действий.

Когда мы говорим об истории, как об известной категории великого множества разнообразных процессов, происходящих в мире, мы, прежде всего, хотим знать, в каком отношении исторический процесс, совершающийся в человечестве, находится к разным процессам, имеющимся в природе, вполне ли он с ними тождественен или от них чем-либо особенным отличается. На этой почве возникает целый ряд вопросов о характере исторического процесса по сравнению с процессами, совершающимися в природе, и часть этих вопросов решается в теориях общефилософского содержания, другая же — лишь на основании изучения самой истории.

Одних общих соображений о том, как все в мире происходит, еще недостаточно для построения теории исторического процесса, как такового: здесь еще нужны выводы из наблюдений над тем, как совершалась история, нужны научные итоги под массою изученных исторических фактов.

Если теория исторического знания, как частный случай научной логики, находится в тесной связи с гносеологией, теорией познания вообще, то теория исторического процесса теснейшим образом связана с тою общею наукою о человеческом обществе, которая называется социологией.

Исторический процесс совершается в человеческих обществах — в народах, в государствах и т. п., т. е. исторический процесс есть процесс общественный, задача же социологии и заключается в изучении

ских приемах исторической науки он видит орудия, имеющие значение для достижения познавательных целей лишь на почве логических и психологических предпосылок.

общих законов тех явлений, которые происходят в общественной жизни людей и которые мы, как именно явления чисто общественные, отличаем, наприм., от явлений жизни физической (органической) у членов того же общества. Конт, инициатор социологии, как науки о законах социальных явлений, предложил разделить ее на социальную статику и на социальную динамику, изучающие, одна — законы сосуществования, другая — законы последовательности этих явлений. Сам он, вместо социальной статики, дал, однако, в своем «Курсе положительной философии» не анализ сил и факторов, действующих в истории, и ее механизма, как следовало бы, а общую картину истории человечества, как она ему представлялась*, но, в сущности, теория исторического процесса и есть своего рода социальная динамика.

Истории отдельных народов непохожи одни на другие, и мыслители много бились над разрешением вопроса о том, что в отдельных случаях обусловливало такое, а не иное течение истории. Вот один из вопросов теории исторического процесса. Далее, какие силы вообще являются движущими в истории или источниками наблюдаемых в ней перемен? Какие факторы участвуют в историческом процессе и какой фактор играет в нем какую роль? Какое значение принадлежит в нем сознанию и намерениям, усилиям и действиям отдельных личностей? Все это — тоже вопросы теории исторического процесса, совершенно отличные, как мы видим, от вопросов теории исторического знания.

Последние относятся к области науки (знания), а те — к области жизни (бытия), как бы иногда обе категории ни переплетались между собою, и как бы часто от решения одних вопросов ни зависело решение других.

В дальнейшем, ради избежания длинных обозначений «теория исторического знания» и «теории исторического процесса», я буду, по временам, употреблять для первой термин «историка», заимствованный у немцев (die Historik**), для второй термин «историология», прилагательными от которых будут «историцистический» и «исто-

---

* См. в моих «Основных вопросах философии истории».

** Слово «historice» (= историка) в смысле искусства истории мы встречаем еще в древности (у Квинтилиана), но первый трактат, в котором «ars historica» была понята в смысле совокупности правил надлежащего бытописания, вышел в свет в 1623 г.: это — «Ars historica» Фоссиуса (или Фосса). Слово «историка» в

риологический». Все вопросы в обеих частях теории истории могут быть разделены на общефилософские и специально-исторические. Первые, как мы видели, касаются общих принципов знания и бытия; это — проблемы гносеологии и онтологии, двух больших отделов философии, рассматривающих именно и наше знание вообще и вообще же подлежащее нашему познаванию бытие. Вопросы этого рода можно было бы назвать историко-философскими, если бы термин «философия истории» не имел других значений и не употреблялся притом в очень различных смыслах*. Гносеологические и онтологические вопросы общей теории истории, в сущности, являются общефилософскими вопросами, только взятыми в применении к историческому знанию и историческому процессу. Специальные вопросы историки и историологии суть те, которые касаются только одной истории, взятой в обоих же смыслах этого слова. Конечно, значение общефилософских и специально исторических вопросов теории весьма различно, и интерес к ним бывает разный, с одной стороны, у людей, делающих историю своею научною специальностью, и просто образованных людей, желающих знать прошлое, с другой.

Специальные вопросы историки касаются, главным образом, того, что может быть обозначено как техника исторической методологии. Понятно, что вопросы этого рода могут интересовать преимущественно только историков, начиная теми, которые занимаются научными исследованиями в области прошлого, и кончая теми, которые только приступают к систематическим занятиям этою наукою. Каждая человеческая деятельность имеет свою технику, и каждая техника, — лучше всего усваиваемая на практике, — может иметь свою теорию. Научная работа историка совершается при помощи известных приемов и требует соблюдения известных правил. Эти приемы лучше всего усваиваются путем навыков, путем практики, иногда требующей притом особых способностей и специфической подготовки: учителю здесь приходится действовать на ученика не столько рассказом, сколько показом. С другой стороны, однако, нужен и рассказ — и в смысле установления известных правил, соблюдение которых является необходимым условием научности работы, и в смысле ра-

смысле теории истории, как науки, употреблялось многими немецкими учеными, как, напр., Гервинусом, Дройзеном и др.

* О. В. Ф. И. кн. I, гл. I.

ционального обоснования этих правил. В этом и заключается смысл существования исторической методологии, как самой существенной части историки, взятой в ее специальной стороне. Для профанов в исторической науке все эти ее методологические вопросы и даже вся ее гносеологическая сторона, в широком смысле последнего слова, не может представлять большого интереса, чтобы не сказать: не имеет почти никакого интереса.

Совсем иное отношение обнаруживает просто образованная публика к социологической стороне истории, которою эта наука соприкасается с интересом к общественной жизни, научая нас известным образом понимать последнюю. Как добывается научное знание в истории, это — вопрос, прежде всего, затрагивающий настоящих или будущих специалистов истории, но вопрос о сущности исторического процесса заинтересовывает всякого, кто способен видеть в окружающей его действительности лишь один из моментов исторической жизни, завтра же имеющий сделаться прошлым, и кто не в состоянии равнодушно относиться к политическим, социальным и культурным злобам дня, а потому стремится не только понять, но и оценить то, что вокруг него происходит.

Если отвлеченная наука интересуется тем, как совершался на самом деле ход истории и как вообще делается история, отказываясь при этом от всякой субъективной оценки прошлого, поскольку это не дело науки вообще, то из этого еще не следует, чтобы наука была чем-то оторванным от жизни, чтобы жизнь не ставила науке своих требований и чтобы добытое наукою не становилось как предметом нашей субъективной оценки, так и средством в достижении наших практических целей. Наука нам помогает понять жизнь, но сама жизнь заключается в наших чувствованиях и в нашей деятельности. Как ни важно для понимания самой исторической жизни общее учение о том, как же происходит исторический процесс, взятый отвлеченно, для громадного большинства неисториков, способных интересоваться историологическими вопросами, последние имеют не столько научное, теоретическое, сколько жизненное, практическое значение. С оценкою истории в прошлом с точки зрения наших потребностей и стремлений неразрывно связываются известные, хотя бы даже расплывчатые и туманные, желания относительно будущего.

Вопрос о жизненном интересе к истории не может быть устранен из ее теории. Само развитие исторической науки совершается

под влиянием жизни, требования которой нередко находятся в вопиющем противоречии с теми правилами, какие выработала себе историческая наука. С другой стороны, научное знание вообще и в частности историческое знание является одним из важных факторов современной жизни, оказывающих на нее свое влияние. Вопросы о том, в каких отношениях между собою должны находиться историческая наука и общественная жизнь, в чем должна заключаться автономность исторического знания, и как вместе с тем оно должно служить жизни, какую пользу обществу может приносить изучение истории, способна ли последняя служить основою для прогнозов касательно будущего, какое влияние оказывается историческим образованием на внутренние переживания и на внешнюю деятельность членов общества, все это — вопросы, так или иначе касающиеся не только самого исторического знания, но и исторического процесса, поскольку в нем участвуют (если только участвуют) сознание вообще и в частности те или другие представления и понятия, вырабатываемые исторической наукой.

Не только взаимные отношения исторической науки и общественной жизни заслуживают большого внимания в общей теории истории (в обеих частях последней), но и те отношения, какие возникают между историческим знанием и моральными запросами отдельной личности. Если для ученого специалиста история есть прежде всего дело бесстрастной и бескорыстной любознательности по отношению к бывшему, как оно было, то для человека, взятого не со стороны одной познавательной своей способности, а как существа, способного еще и чувствовать, и оценивать, возникает на почве созерцания прошлых судеб человечества и его настоящего также и вопрос о смысле истории, отрывающий человека от научного знания и уносящий в область моральных чаяний и упований.

Кто знаком с историей возникновения и развития историологических теорий приблизительно второй половины XVIII в., тот хорошо должен знать, что центральным их вопросом с самого же начала сделался вопрос о совершающемся в истории прогрессе. В XIX в., как мы еще увидим, идея прогресса, заключающая в себе оценку прошлого, была заменена понятием эволюции, из которого был исключен всякий элемент оценки: вопрос об этих двух отношениях к прошлому (субъективном и объективном) также не может быть исключен из общей теории истории, в какую бы сторону он ни был разрешен.

Споры в общей теории истории, конечно, не ограничиваются только что указанным вопросом. Уже одно то, что в число ее основных вопросов входит много таких, которые имеют гносеологическое и социологическое содержание, — влечет за собою, при существовании и в гносеологии, и в социологии разных направлений, необходимость считаться с существованием весьма различных ответов на одни и те же вопросы, смотря по тому, какой гносеологической или социологической точки зрения держится тот или другой автор. За последнее время историко-теоретическая литература значительно разрослась, и в ней, понятно, по многим важным пунктам обнаружились разногласия, требующие прежде всего критического отношения к ответам, дающимся на спорные вопросы. Чисто догматическое изложение в общей теории истории возможно лишь по отношению, главным образом, вопросов методологического характера: есть, в самом деле, пункты, относительно которых можно считать согласными между собою всех научно работающих историков, и в этой своей части теория истории, как нормативная дисциплина, формулирующая правила, каких в своей работе должен держаться каждый историк, может считаться вполне прочно установленным научным знанием.

II. ЕСТЬ ЛИ ИСТОРИЯ НАУКА?

Первый вопрос историки, подлежащий нашему рассмотрению, касается права истории именоваться наукою. В настоящее время в большом ходу выражение «историческая наука» (la science historique, die Geschichts-wissenschaft), но еще сто и даже меньше лет тому назад, вместо этого, был в ходу термин «историческое искусство» (l'art historique, die historische Kunst). В старых трактатах по историке истории обыкновенно отводилось место рядом с другими изобразительными искусствами вообще и в частности в ближайшем соседстве с тем изобразительным искусством, которое, как и история, пользуется средствами человеческого слова, т. е. с поэзией. Между поэзией и историей, как двумя словесно-изобразительными искусствами, старые теоретики исторического искусства полагали разницу в том, что последнее должно воспроизводить действительность, каковою она была на самом деле, тогда как поэзия воспроизводит ее, какова она бывает или только могла бы или должна была бы быть. С такой точки зрения история мыслилась, как нечто более всего родственное

эпическим видам поэзии — поэме, роману, а иные готовы были даже думать, что исторический роман, пожалуй, вполне может заменить собою историю в качестве художественного воспроизведения прошлого.

В настоящее время едва ли кто-либо из теоретиков истории вернулся бы к такой именно точке зрения, но и теперь еще раздаются голоса в пользу взгляда на историю, как на искусство, — голоса, впрочем, очень немногих, касавшихся вопроса о том, что же такое представляет собою история. Если термин «историческое искусство», бывший во всеобщем употребление еще в начале XIX в. (и даже позднее), к концу XIX в., заменился термином «историческая наука», то это указывает лишь на то, что и сама история, и взгляды на нее в течение этого столетия сильно изменились. Во Франции до сих пор делается различие между «науками» (sciences), под которыми разумеются математика и естествознание, с одной стороны, и «словесностью» (lettres), к которой причисляется и история, с другой, но тем не менее и выражение «историческая наука» (la science historique) пользуется правом гражданства. Было, однако, время, когда приходилось говорить лишь о возможности и для истории сделаться наукою или называться наукою.

Когда, напр., в середине прошлого столетия Бокль, в своей знаменитой «Истории цивилизации в Англии», с большою резкостью напал на научную отсталость истории, один из видных тогдашних немецких историков, Дройзен[219], написал по поводу взглядов Бокля статью под характерным названием «Возведение истории на степень науки» (Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft). Здесь не место рассматривать, в чем прав и в чем, быть может, и неправ был Бокль, и что дала сама критика Дройзена: характерна самая мысль о необходимости возведения истории на степень науки, — той самой истории, для которой еще так недавно отводилось место среди других изобразительных искусств.

Посмотрим теперь, в чем разница между искусством и наукою: для решения вопроса о том, что такое история в ее теперешнем состоянии и теперешнем понимании, мы здесь не можем обойтись без установления основного различия, существующего между искусством и наукою.

Историю причисляли к искусствам изобразительным, к числу каковых принадлежат скульптура, живопись и поэзия. Главную зада-

чу таких видов искусства теоретики, относившие к ним и историю, полагали в воспроизведении действительности при помощи резца, кисти, слова. Бюст, изваянный художником, может быть и изображением действительно существующего или существовавшего лица, его портретом, более или менее на него похожим, и продуктом чистой творческой фантазии скульптора, но воспроизводящим все-таки человеческое же лицо. Пейзаж, написанный масляными красками на полотне, равным образом, может быть и списанным с натуры, и являться лишь воспроизведением того, что живописец представил себе в своем изображении. Совершенно так же понималось и различие между рассказами о чем-нибудь таком, что имело место в действительности, и о чем-нибудь выдуманном, между историей и поэзией, т. е. в обоих случаях имелось в виду творческое воспроизведение в художественном повествовании каких-либо событий, и вся разница состояла только в том, что в одних случаях события эти когда-то были на самом деле, а в других они являлись лишь выдумкою рассказчика.

Задача науки не в том, чтобы воспроизводить или изображать действительность, а в том, чтобы ее понимать. В самой основе работы ученого и художника над своим материалом мы имеем дело с разными психическими процессами, т. е., другими словами, занятия наукой и искусством требуют от людей, им предающихся, далеко не однородных способностей, ибо приемы научной и художественной работы не одни и те же. В создании произведения искусства главную роль играет то, что принято называть творчеством, тогда как всякий научный труд создается тем, чему мы даем имя исследования: одна работа имеет преимущественно синтетический характер, другая — характер аналитический.

Воспроизведение черт чьего-либо лица, какого-нибудь ландшафта, того или другого события представляет собою такую же творческую работу при помощи резца, кисти, слова, как и в том случае, когда ваятель, живописец, писатель воспроизводит в мраморе, на полотне, в романе то, что существовало лишь в их собственном воображении.

Словесными продуктами художественного творчества могут быть образы и картины, которым в действительности нечто соответствовало или, наоборот, не соответствовало ничего. Образы пушкинского Онегина или лермонтовского Печорина отличаются от созданных Грановским[220] образов Александра Македонского или Людовика Святого[221] только тем, что Онегин и Печорин жили лишь в воображении

Пушкина и Лермонтова, тогда как Александр Македонский и Людовик Святой были когда-то на самом деле, и Грановский воспроизвел их духовные физиономии перед нашими умственными взорами. Художественный синтез состоит в умении из отдельных черт создавать цельные образы, тогда как в науке главное — не это соединение разрозненных элементов в единое живое восприятие, а, наоборот, анализ, разложение предмета на его составные части, разъединение составляющих его элементов, хотя бы потом все это и собиралось снова воедино.

В старых теориях словесности «сочинения» делились на описания, повествования и рассуждения. Первые два вида сочинений имеют своею задачею воспроизведение, последний — понимание, и это как будто указывает на то, что первые два вида ближе к задаче искусства, а последний — к задаче науки, но на самом деле это не так. Сами описания и повествования могут быть или художественными, или научными, смотря по той цели, какая им ставится, равно как и в рассуждениях может преобладать или логика, говорящая исключительно уму, или настроение, затрагивающее эмоциональную сторону нашей психики. Научное отношение к предмету, — в описании ли и повествовании, или в рассуждении, все равно, — есть, прежде всего, отношение к нему со стороны ума, стремящегося к пониманию, отношение же художественное есть по существу своему отношение эмоциональное, в частности эстетическое (о чем у нас речь будет идти подробнее после и в другой связи).

Чтобы еще лучше уразуметь разницу между историей, как одним из видов искусства, и историей в качестве науки, стоит только сравнить между собою отношения, напр., скульптора и анатома к человеческому телу, воспроизводимому первым в статуе, рассекаемому вторым на части. Сравним также рисунки того же человеческого тела в каком-либо художественном альбоме или в анатомическом атласе, в учебнике анатомии. В последнем это самое тело дается, так сказать, анализированным: вот рисунок человеческого скелета; вот другой, изображающий мускулатуру, а рядом с ним третий, на котором изображена кровеносная система; затем вот еще чертеж нервной системы или рисунок расположения внутренностей человека.

Для большей наглядности еще один пример. Гобелены, художественные ковры, на которых часто бывают изображены очень сложные композиции, в роде мифологических или исторических картин,

бытовых сцен и т. п., ткутся особенным образом из разноцветных нитей, то появляющихся на поверхности ткани, то скрывающихся и видных только на ее изнанке. Художник, который пожелал бы изображенную на гобелене картину воспроизвести масляными красками на полотне или акварелью на бумаге, сделал бы соответственный рисунок и потом раскрасил бы его, придерживаясь цветовых эффектов оригинала, и только. Совершенно иначе поступил бы тот, кого заинтересовал бы вопрос, как выткана была такая картина: ему пришлось бы, пожалуй, для достижения своей цели прибегнуть к своего рода анатомии, раздергать ткань на отдельный нити, дабы понять, как они переплетаются здесь и там и тем самым дают в результате отдельные элементы сложной композиции.

Художественную историю я и уподобил бы копии, сделанной или масляными, или акварельными красками с гобеленовой картины, научная же история в данном случае была бы подобна раздергиванию отдельных разноцветных нитей ткани, в результате которого получилось бы объяснение того, в каких комбинациях они дали интересующую нас картину*.

Я думаю, однако, что существование истории с научною задачей не устраняет существования истории с задачею художественного воспроизведения прошлого: это лишь два различных отношения к одному и тому же предмету, и поскольку история претендует на право именоваться наукою, она должна ясно понять свою задачу и отграничить ее от той задачи, какую истории ставили в те времена, ког-

---

* Очень обстоятельное (в более нежели на двух печатных листах) опровержение принадлежности истории к искусствам, а не к наукам есть в специальном § (das Verhältniss der Geschichte zur Kunst) книги Бернгейма «Lehrbuch der historischen Methode». Если речь идет о художественности изложения научных результатов, это не касается существа дела и совершенно так же относится, кроме истории, к другим наукам. Соображение о том, что средства исторических исследования и репродукции имеют художественную природу, заключаясь в фантазии, опровергается тем, что роль воображения в науке существенно отличается от таковой в искусстве, ибо в первом случае оно связано с известными данными и с методологическими правилами связывания этих данных. Наконец, объявление истории искусством особого рода на том основании, что она занимается не общими понятиями и законами, а наглядною передачею единичных действительностей, оспаривается с точки зрения нахождения историей отношений между единичным и причинною связью развития, чем искусство не занимается. Смешение научной и художественной задач Бернгейм справедливо считает вредным.

да на нее смотрели, как на одно из изобразительных искусств. Одно другому нисколько не должно мешать, да и не мешает на самом деле, как и, с другой стороны, художественной истории с ее фактическою правдою нисколько не мешает исторический роман с неизбежными в нем выдумками, т. е. небылицами.

Прекрасно, могут возразить на все сказанное выше, — вы установили различие между историей-искусством и историей-наукой, но еще вопрос, может ли быть история наукой, и не правы ли были те, которые, противополагая искусство науке, как раз сами же зачисляли историю в область искусства, не находя ей места в ряду наук.

Против права истории быть причисляемою к наукам делались разные возражения, главнейшие из которых нами и будут теперь рассмотрены.

Одно из этих возражений было еще много лет тому назад формулировано знаменитым родоначальником пессимистической философии, Шопенгауэром[222]. По его словам, история не может претендовать на право именоваться наукою, «так как она не может похвастаться такими же достоинствами, как прочие науки», ибо «в ней нет основного характера всякой науки», т. е. подведения узнанного под общее понятие; вместо того, она дает только координацию своих данных. «Поэтому, — продолжает Шопенгауэр, — нет никакой системы истории, как есть в каждой из других наук. Хотя она и есть знание, но она не наука, ибо нигде она не познает частного посредством общего... Науки, так как они представляют собою системы понятий, говорят всегда только о видах, а история говорит об индивидуумах. Поэтому ее можно было бы назвать наукою об индивидуумах, если бы в этом выражении не было противоречия. Из этого же положения следует, что науки говорят о том, что существует всегда, а история только о том, что было раз, и чего уже более нет»*. Исходным пунктом этого рассуждения является противоположение истории, занимающейся

* А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление, стр. 536. Шопенгауэр даже высказывался в том смысле, что история — «предмет, почти недостойный серьезного и трудного изучения со стороны человеческого духа», стр. 538. Не нужно, впрочем, забывать, что эти слова были написаны чуть не сто лет тому назад (книга вышла в свет в 1819 г.), когда сама история едва только начинала делаться наукою. Что взгляд знаменитого пессимиста и позднее оказывал свое действие, можно видеть из заявления лишь недавно умершего социолога Гумпловича: «тезис Шопенгауэра, что история не наука, как он был формулирован восемьдесят лет назад, до сих пор остается не опровергнутым».

только единичными предметами, естествознанию, занимающемуся, наоборот, лишь общим, родами и видами. Посмотрим, однако, так ли это на самом деле.

Конечно, такие науки, как зоология и ботаника, изучают не отдельных волков или перепелок и не отдельные дубы или папоротники, а волка, перепелку, дуб, папоротник вообще, т. е. известные виды, подвиды, разновидности и т. п. животного или растительного царства. Но в том же самом естествознании есть науки, интересующиеся как раз единичными предметами, занимающиеся их изучением, именно как таковых, т. е. в их индивидуальности. Разве Солнце, это единичное солнце, центральное светило нашей планетной системы, не является предметом громадного количества научных усилий познать его во всех индивидуальных его чертах? Разве, далее, астрономы не интересуются так же специальным изучением отдельных планет и их индивидуальных же особенностей, наприм., Марса с его красноватым цветом и с его загадочными каналами или Сатурна с его замечательным кольцом? Разве равным образом, и печальный спутник нашей Земли, Луна, также ведь единичный, хотя и не единственный в своем роде предмет (вспомним хотя бы спутники Юпитера), не составляет особого предмета изучения и именно в качестве единственного спутника Земли со своими чисто индивидуальными чертами? А наше обиталище, земной шар? В геологии, в географии не изучается ли он вдоль и поперек, не как одна из планет Солнечной системы, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг центрального светила по некоторым общим законам, найденным астрономией, а именно, как некоторая индивидуальность в ряду других планет, с суточным движением в 24 часа и годовым 365 $^{1}/_{4}$ дней и имеющая свою физиономию — и в распределении суши и воды, и в распределении на суше гор и равнин, и в том, что мы называем климатическими поясами, и во многом, очень многом еще другом? Одним словом, и в естествознании есть отделы, занимающиеся не общим, а единичными предметами, не родами и видами, а индивидуальностями. Дело, значит, не в том, что является предметом науки, а в том, как наука своим предметом занимается, будет ли этим предметом нечто общее, или нечто единичное.

С другой стороны, верно ли, что то, чем занимается история, может быть предметом только координирования, отнюдь не субординирования? Разве в делах человеческих все так разрозненно, что и речи здесь не должно быть о разных категориях, могущих быть пред-

метом классификаций, или о некоторых общих законах, наблюдаемых в однородных случаях?

Касается ли дело явлений физического мира, изучаемых естествознанием, или фактов человеческой жизни, которыми занимается история, все науки, — без всякого различия между изучаемыми категориями действительности, — могут быть разделены на два больших разряда, которым родоначальник социологии, Огюст Конт, дал название наук абстрактных и наук конкретных. Вот собственные слова Конта об этом предмете: «Одни науки — абстрактные, общие, которые имеют целью открытие законов, управляющих разными родами явлений; другие, конкретные, особенные, описательные, состоят в применении этих законов к действительной истории различных существующих предметов».

С точки зрения этой классификации механика, физика, химия будут науками абстрактными, геология же, изучающая земную кору при помощи знания законов механики, физики и химии, — наукою конкретною. Абстрактными науками будут, равным образом, психология или политическая экономия, изучающие законы явлений душевной или хозяйственной жизни вообще, тогда как, если мы изучаем эти явления в конкретных случаях того или другого отдельного общества (народа, государства), у нас будет и наука конкретная — история, статистика. Общее есть область наук абстрактных, единичное — наук конкретных. И единичное, и общее совершенно одинаково может быть, повторяю, предметом научного изучения и тогда, когда мы имеем дело с природою, и тогда, когда занимаемся миром человеческой истории.

Еще в одной из более ранних своих работ историко-теоретического содержания*, приняв контовское разделение наук на науки об общих законах и науки об отдельных явлениях, я высказался против контовской терминологии, которая, по моему мнению, содержит в себе поводы для некоторых недоразумений, и заменил для себя его терминологию другою: науки об общих законах были названы мною «номологическими» (от греч. слова νόμος, закон), науки об определенных явлениях — «феноменологическими» (от греч. слова φαινόμεού, явление). Уже много времени спустя в немецкой философской литературе сделано было аналогичное различение между

* О. В. Ф. И., кн. I. гл. 2 (в конце).

двумя категориями наук, из которых одна при этом получила название наук «номотетических», т. е. устанавливающих законы, другая — наук «идиографических», т. е. описывающих отдельные, единичные предметы*. Это, в сущности, есть не что иное, как контовское различение, только с другой терминологией**.

Если признавать право на название «наука» только за «абстрактным», т. е. номологическим или номотетическим знанием, то история, представляющая собою знание «конкретное», феноменологическое или идиографическое, конечно, не наука, а в таком случае и многие части естествознания, имеющие такой же характер, тоже не науки. Но в данном случае пришлось бы, сузив понятие науки, для идиографических изучений придумывать какое-нибудь другое название, что вовсе не вызывается какою-либо необходимостью***. Исто-

---

* Греческое слово ἴδιος значит частный, собственный, никому другому не принадлежащий, отдельный, особый, исключительный. Конечно, термин «идиографический» не стоит ни в какой генетической связи с греч. ἰδιόγραφος, собственноручно написанный. Я усваиваю этот термин ввиду того, что мой прежний употребляется и в других значениях, но термин «номологический» удерживаю.

** Новая терминология принадлежит немецкому философу В. Виндельбанду, употребившему ее в своей речи «История и естествознание», произнесенной в Страсбургском университете в 1894 г.; см. ее перевод в «Прелюдиях» Виндельбанда, сделанный С. Франком (1904); интересующее нас место находится на стр. 320 этого перевода. Другой немецкий философ, Г. Риккерт, в своей «Философии и истории» (см. рус. пер. С. Гессена. 1908), различает «генерализирующий и индивидуализирующий» методы (или понимания действительности), о чем стр. 19 и след. рус. перевода. При этом он указывает на применение генерализирующего метода в «науках, формулирующих законы» (стр. 59, 64 и др.). G. Simmel в книге «Problems der Geschichtsphilosophie» тоже стоит на точке зрения «принципиальной двойственности историк-фактического (historische-tatsächlichen) знания и знания законов» (стр. 95–96 и 136–137 по 2 изд.). В русской литературе см. первый выпуск «Методологии истории» акад. А. С. Лаппо-Данилевского, усвоившего терминологию Виндельбанда и защищающего идиографичность истории. Решительным противником «чистой идиографичности истории» выступает проф. А. И. Введенский в своей «Логике, как части теории познания» (1912), стр. 90–91. Ср. о его взглядах на научное значение истории ниже. Я здесь вообще воздерживаюсь от разбора взглядов названных писателей и нарочно обхожу молчанием то, что они говорят об истории по сравнению с естествознанием.

*** Поэтому нельзя не согласиться с Зиммелем, когда он говорит, что если «кто-либо склонен давать титул науки только узнанным законам, отказывая в нем установлению фактов (Tatsachenfeststellung), без которых те никогда не могли бы дать изображения действительности, то это простой словесный спорт (eine behanglose Eifersucht auf Worte)». «Действительность, — прибавляет он, —

рия — наука, но, понятно, это не такая наука, как, наприм., физика, имеющая дело с общими законами, а не с отдельными фактами. С другой стороны, ошибочно было бы думать, что только явления природы могут доставлять материал для номологического знания, ибо то, что в истории изучается идиографически, вместе с тем может изучаться и номологически — в социологии.

III. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Подойдем к вопросу о праве истории называться наукою с другой стороны.

Характер науки определяется, во-первых, ее предметом, во-вторых, ее задачей, в-третьих, ее методом. Нужно, именно, прежде всего, чтобы предмет, изучаемый наукою, был вообще доступен нашему познанию, чтобы, далее, задача, какую себе наука ставит, вообще была разрешима, и чтобы, наконец, метод, которым она пользуется, был вообще правилен в логическом отношении. То, что не может быть познаваемо, не может быть и предметом науки, как, наприм., мир сущностей, противополагаемый миру явлений: здесь — область веры или фантазии, достояние религии или метафизики, а не область знания, не достояние науки. Не могут, равным образом, быть признаны научными задачи, подобные тем, какие ставились в средние века астрологией или алхимией — предсказывать будущее по расположению планет среди созвездий и по их, планет, «соединениям» или превращать все металлы в золото. Так же, наконец, и метод, наприм., заключения от последовательности двух явлений к существованию между ними причинной связи (post hoc, ergo propter hoc), если бы он допускался исследованием каких-либо отношений, был бы ненаучен. Спрашивается, выдерживает ли научность истории испытание с точки зрения ее предмета, задачи и метода.

Пункт первый: то, что составляет предмет истории, не выходит за пределы мира явлений, могущего быть познаваемым, и с этой стороны научность истории не может быть отвергаема. Между прочим, нельзя не обратить внимания на то, что в наше время совершенно прекратились попытки смотреть на прошлое человечества, лишь как

ставит перед нами два обособленных вида проблем, которые важно разрешать, а не так или иначе титуловать». Die Probleme der Geschichtsphilosophie, стр. 95.

на внешнее отображение некоторого процесса, совершающегося и в мире ноуменов, пользуясь термином Платона, или вещей в себе, применяя известное выражение Канта.

Метафизические философы конца XVIII и начала XIX вв. как раз нападали на историю за то, что в научном отношении составляет ее силу, ибо историческое знание апостериорно, тогда как эти философы выше всего ставили знание, получаемое a priori*. Самым замечательным памятником такого ненаучного отношения к истории навсегда останется «Философия истории» Гегеля, в которой истинным предметом истории является не реальное прошлое человечества, а некий процесс, совершавшийся в метафизических недрах Мирового Духа**. Современная историческая наука не имеет ничего общего с подобными представлениями, да и во времена господства гегелевой философии настоящие историки не только не разделяли таких воззрений, но и прямо против них протестовали. Особенность предмета истории заключается в том, что в ней изучается не настоящее, а прошлое, нечто бывшее прежде, но теперь не существующее***. Решение вопроса, возможно ли вообще познавание прошлого, зависит от того, имеются ли в настоящем в распоряжении нашем какие-либо реальные данные, которые свидетельствовали бы о том, что в прошлом нечто было и как оно было. Настоящее, строго говоря, есть лишь грань, отделяющая будущее от прошедшего: не только сегодняшний

---

* Сведения об этом можно найти в главе IV первой части «Основных вопросов».

** Подробное изложение «Философии истории» Гегеля дано в «Основных вопросах философии истории».

*** Отсюда одно соображение против права истории называться наукою, не заключающее, однако, в себе отрицания научности истории. «Нет таких фактов, — говорит французский историк Сеньобос, — которые были бы историческими по своей природе, как это бывает с фактами филологическими или биологическими». Это суть факты прошлого, а не настоящего, но «принадлежность к настоящему или прошлому не есть различие внутреннего характера, присущее природе факта; это — различие положения, которое он заявляет относительно наблюдения... Итак, — заключает названный автор, — фактов, исторических по природе, не существует, есть факты исторические только по положению. Историческим будет всякий факт, который мы не можем более наблюдать непосредственно, так как он перестал существовать. Исторического характера, присущего фактам, не существует, есть только исторический способ, которым мы познаем их. История не наука: она только особый процесс познавания». Ш. Сеньобос. Исторический метод в применении к социальным наукам (1902), стр. 4–5.

день завтра же сделается вчерашним, но и каждый час, каждая минута, каждая секунда немедленно же отходят в прошлое. И не одна только наша наука, занимающаяся прошлым народов и государств, но и естествознание, которое так любят противополагать истории, не обходится без устремлений в прошлое, как, напр., прежде всего, геология и палеонтология, имеющая дело с такими периодами в прошлом земли и жизни на ней, с которыми по хронологической от нас отдаленности совсем не могут идти в сравнение даже самые древние исторические времена. Если геологии никто не отказывает в титуле науки, когда она старается проникнуть за сотни тысяч и миллионы лет до нашего времени, то нет основания и истории не признавать за науку. Мало того, за историей, по сравнению с исторической геологией, нужно даже признать в научном отношении то преимущество, что у второй нет в распоряжении такого материала, каким располагает первая: все исторические заключения геологов основываются на известных материальных остатках от прежних состояний земной коры, тогда как для историков подобные материальные остатки от прежних периодов играют роль второстепенную сравнительно с прямыми свидетельствами очевидцев того, что некогда здесь или там происходило в жизни разных народов.

Пункт второй: что же составляет задачу истории и имеет ли эта задача научный характер? Когда старые теоретики истории, причислявшие ее к искусствам, говорили о воспроизведении прошлого, они были правы, но ошибались только в том случае, когда настаивали, что это воспроизведение прошлого совершается лишь для такого же его созерцания, какое дается произведениями изобразительных искусств. Первая задача историка, действительно, состоит в восстановлении фактов прошлого, но не для их созерцания, а для их понимания, — в восстановлении того, что было и как было тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, т. е. в определенные времена и в определенных местах.

Об этом, как мы условились выражаться, идиографическом характере исторической науки (в отличие от номологического характера социологии) уже достаточно было сказано выше, и было еще прибавлено, что задачу науки нельзя ограничивать одним наследованием общих законов, совершенно устраняя из нее все частное, особенное, индивидуальное.

Можно было бы привести целый ряд мнений о том, что история не наука, основанных на соображении, что она не ставит своею за-

дачею открытие законов. Между прочим, такая мысль была высказана еще Боклем.

В своей «Истории цивилизации в Англии» он называет «несчастною особенностью» истории в сравнении с другими науками то, что историки не занимаются открытием законов. Отдельные части истории, говорит он, исследованы искусно, но все это — простые рассказы, тогда как «во всех других великих областях знания необходимость обобщения признана всеми и сделаны благородные попытки возвыситься над отдельными фактами и открыть законы, управляющие этими фактами». Историков Бокль, главным образом, и упрекал за то, что они «очень далеки от подобного взгляда»*.

Преобразование истории по типу номологических наук было бы ее упразднением или, вернее, превращением в социологию. Одно и то же, повторяю, может изучаться и идиографически, и номологически: оба изучения при соблюдении известных условий одинаково научны. Знание законов какой-либо категории явлений, конечно, очень важно, давая возможность как предсказывать то, что должно наступить, так и достигать в своей деятельности намеченных целей, но если бы наукою можно было называть лишь такие отрасли знания, в которых возможны точные предсказания или которые давали бы какие-либо практические наставления, то из науки пришлось бы исключить массу реальных знаний даже в таких областях, где многое предсказывается верно. Довольно часто повторяемое профанами мнение, что история не может почитаться наукою, так как не в состоянии предсказывать грядущие события, свидетельствует лишь о том, что самому понятию «наука» придается условный и ограниченный смысл. Да, история не предсказывает будущего, потому что, изучая прошедшее, и не ставит себе задачи пророчествовать о грядущем. «Вы историк, — приходится мне нередко слышать, — а потому должны предсказать, что же будет дальше», и единственным возможным ответом на подобные вопросы я считаю указание на то, что история подобна зеркалу, в котором — хорошо ли, дурно ли — отражается прошедшее, но которое тотчас же тускнеет и отказывается что-либо отражать, как только его поворачивают к будущему. По форме это, конечно, шутка, но по существу дела иного ответа и дать нельзя на предъявление истории требования быть наукою и о будущем. Столь же мало заслуживает длинного

* Бокль. История цивилизации в Англии (1863), т. 1, стр. 2.

опровержения и взгляд на историю, ставящий ей чисто утилитарную цель — давать наставления, как разрешать ставимые нами себе задачи в нашей практической деятельности. Шутники говорят: «история учит, что ничему не научает»[223]. Это не совсем так, — о чем и будет сказано в своем месте, — но и не дело какой бы то ни было чистой науки кого-либо чему-либо учить в практическом смысле слова.

Необходимо вообще различать науки чистые и науки прикладные. Одни основаны на строго теоретическом отношении к знанию, на бескорыстном желании знать то или другое без всякой мысли о том, чтобы извлекать из своего знания какую-нибудь практическую пользу, так или иначе применять его к жизни, тогда как другие стоят к знанию в утилитарном отношении, т. е. занимаются применением чистого знания к решению разных задач, ставимых жизнью. Отрицание за историей права называется наукою по тому соображению, что она не открывает законов, на основании которых можно было бы предсказывать будущее или известным образом направлять свою деятельность, диктуется как раз утилитарным отношением к знанию. Собственно говоря, настоящая наука есть одна наука чистая, а все остальное — уже только искусство, не в художественном, а в техническом смысле или, коротко говоря, техника.

Задача истории не в том, чтобы открывать какие-либо законы (на то есть социология), или давать практические наставления (это — дело политики), а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы то ни было поползновения предсказывать будущее, как бы изучение прошлого и ни помогало в иных случаях предвидеть того, что может случиться или наступить. Если данными и выводами истории воспользуются социолог, политик, публицист, тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, понимаемой исключительно в качестве чистой науки, имеет совершенно самостоятельный характер: его источник в том, что мы называем любознательностью, на разных ее ступенях — от простого и часто поверхностного любопытства до настоящей и очень глубокой жажды знания. Человеческая любознательность может быть направлена и в сторону общего, как что бывает и происходит безотносительно к отдельным случаям в определенных местах и временах, и в сторону, наоборот, как раз данных предметов или фактов, приурочиваемых нами к известному месту, к известному времени. Историческое изучение собственно и возникает на почве не общего интереса к тому, как протекает жизнь

народов и государств, а особого интереса к прошлому какой-нибудь страны, народа, государства, какого-нибудь города или области, учреждения, социального класса, политической партии и т. п. в известной стране и в известный хронологический период.

Говоря это, я, в сущности, повторяю то, что уже было сказано об идиографическом характере исторической науки, общем для нее, как мы видели, и с некоторыми отделами естествознания. Другой вопрос — почему в иных случаях мы довольствуемся только знанием общего, т. е. родов и видов или законов, а в других стремимся к знанию конкретного, отдельного, только раз нам данного в таком-то месте и в такое-то время. На это есть свои причины, о которых еще будет речь дальше, но факт остается фактом: существование научного интереса не только к общему, но и к отдельному.

Интерес к отдельному тоже может быть научным, как научен и интерес к общему. Все дело в том, чтобы бескорыстно стремиться к истине, к знанию и пониманию, и чтобы добиваться истины исключительно теми способами, которые имеют в виду только ее одну и одни к ней приводят. Ученый, исследующий происхождение «Илиады» или нашей начальной летописи, изучающий возникновение императорской власти в Риме или возвышение Москвы, прослеживающий историю английского парламента или созданного Петром Великим сената, делает научное дело, хотя и греческая поэма, описывающая битвы под Троей, и наша летопись, которую называют Несторовою[224], и новая власть в Риме, возникшая при Августе[225], и город, сделавшийся шесть веков тому назад центром собирания Руси, и оба названных выше учреждения, английское и русское, — все это существовало в единственном числе, в определенном месте, в определенное время, с особыми, индивидуальными чертами, отличающими, напр., Илиаду от Одиссеи, Лаврентьевскую летопись[226] от Ипатьевской[227], римскую императорскую власть от афинской тирании, московское собирание Руси от литовского, английский парламент от французских генеральных штатов, петровский сенат от боярской думы Московского государства. Такими же, т. е. только однажды данными и обладающими своим, строго индивидуальным обликом, предметами исторического изучения являются также и отдельные страны, народы, государства, Египет с фараоновских времен до современной английской оккупации, греки на всем протяжении истории этой национальности, Афины, Рим, Франция, Польша, Россия. Даже в том случае, когда пред-

метом истории мы сделаем все человечество, она не утратит своего идиографического характера, поскольку нашему знанию дано только одно человечество, как даны только одно наше Солнце, один наш земной шар, одна, наша Луна, сколь бы ни существовало других солнц, других планет и их спутников, но именно других, т. е. не таких или, по крайней мере, не во всем таких, как наши. Если идиографичность истории мешает ей быть наукою, то, как уже было сказано выше, не науки и идиографические отделы естествознания.

Ошибочно было бы думать, что все состоящее из многих единиц, все коллективное, все многое, образующее какую-либо категорию, тем самым уже не есть предмет идиографического изучения. На эту тему необходимо распространиться в виду одного недоразумения, возникшего в методологии истории по поводу различения между общим и индивидуальным в применении к вопросу как о предмете, так и о задаче исторической науки.

Дело в том, что некоторые писатели, противополагая единичным явлениям явления массовые, коллективные, отожествляли последние с тем общим, которым должна заниматься наука, в отличие от всего, данного только в единственном числе. С такой точки зрения, напр., Петр Великий подойдет под последнюю категории данного в единственном числе, а вообще русские люди конца XVII и начала XVIII века — под некоторое общее понятие. Пусть, однако, в данном примере «русский народ» будет своего рода коллективным понятием, но это отнюдь не помешает ему все-таки обозначать некоторую лишь единожды данную нам индивидуальность, хотя бы и коллективную: как-никак, и русский народ все-таки есть некоторое единичное явление, как географически, так и хронологически определенное. Нужно различать между действительно общим понятием «народ» (т. е. всякий народ) и такими единичными экземплярами этого родового понятия, каковыми являются отдельные народы, остающиеся все-таки объектами идиографического изучения, хотя бы каждый из них и был совокупностью громадного количества индивидуумов. Ведь и статистика, занимающаяся массовыми или групповыми явлениями, несмотря на это, все-таки рассматривается, как идиографическая дисциплина*.

* А. И. Чупров. Очерки из теории статистики (1909), стр. 20 и след. Обращаю внимание читателя на эту книгу, в которой он так же, как и в «Методологии истории» А. С. Лаппо-Данилевского (см. выше), найдет сопоставление и сравнение идиографии и номографии (термин А. И. Чупрова). Исходный пункт автора в об-

Между тем при всей своей идиографичности «статистический интерес выдвигает вперед не единичный предмет, а совокупность», или то, что немцы обозначают термином «Gesammtheit»*. Нужно, именно, разобраться в различии между категориями понятий родовых и понятий групповых. Статистика занимается не родами, а группами, и ее характерною чертою является «сжимание единичных явлений в совокупности», которое отлично от номологического обобщения**.

Настаивая на идиографическом характере исторического знания и на праве такого знания называться научным, нельзя здесь же не отметить еще, что всякое идиографическое знание только тогда, действительно, имеет научный характер, когда какое-либо изучаемое нами явление рассматривается с точки зрения некоторых общих идей, входящих в состав теорий данного разряда явлений, отвлеченно взятого. Астроном изучает явления, происходящие на центральном светиле нашей планетной системы, но он пользуется при этом данными и выводами механики, физики и химии. Без этих наук, равным образом, не может обойтись и геолог, изучающий строение земной коры. Идиографическое знание научно лишь тогда, когда оно, так сказать, получает номологическое освещение. У каждого историка, — если он только не простой собиратель и описыватель фактов, — должны быть общие исторические идеи, которые им и прилагаются к объяснению изучаемых им фактов. Раз задача истории-науки, в отличие от задачи истории-искусства, состоящей в картинном воспроизведении прошлого, заключается в объяснении последнего, тем самым историку вменяется в обязанность не только быть исследователем, но и мыслителем, т. е. применять при этом в объяснении фактов общие понятия и формулы, составляющие основную особенность номологических наук. Всякое иное отношение к истории может считаться чем угодно, но только не историческою наукою как таковою: подготовлением, наприм., фактического материала для науки, но не его научною обработкою, и в этом отношении история не составляет исключе-

---

ласти общей теории науки находится в различении, сделанном Риккертом, между двумя категориями наук (ср. выше. стр. 22), причем Риккерту (и Виндельбанду) он ставил в заслугу «ликвидацию предрассудка, будто идиографическое знание имеет низшую научную ценность по сравнению с номографическим», стр. XXXV.

* Там же, стр. 55.

** Там же, стр. 88. По всему вопросу о групповых понятиях см. еще Г. Риккерт. Философия истории (1908), стр. 43 и след.

ния среди других наук, нуждающихся в фактическом материале, как в необходимом фундаменте для научных построений, одинаково и номологического, и идиографического содержания. Отыскивание и собирание такого материала — это лишь первые шаги к науке, но далеко не сама еще наука*.

Рассмотрев вопрос о научности истории со стороны ее предмета и задачи, перейдем к вопросу о ее методе.

IV. МЕТОД И МАТЕРИАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Метод в каждой науке есть тот путь**, по которому нужно идти к познанию истины (безразлично истины фактической или теоретической). Таких путей существует не один, ибо каждая категория изучаемых в науках предметов требует применения и особых способов достижения истины. Каковы бы, однако, ни были допускаемые

---

* Проф. А. И. Введенский в своей «Логике, как части теории познания», особенно настаивающий на том, что наука «стремится главным образом к доказательству общих суждений», и оправдывающий это стремление задачею науки выяснять законы явлений и причины, производящие явления (стр. 84 и след.), решительно высказывается против «чистой идиографичности истории» (стр. 90–91). По его мнению, и в истории важнейшую роль играют общие суждения (стр. 88 и след.), поскольку она исследует причины, узнать же причину события «значит узнать то, повторение чего всегда приводит к повторению этого события, т. е. доказать общее суждение». Кроме того, он думает, что и история должна открывать законы изучаемых ею явлений или, по крайней мере, «давать почувствовать эти законы». Наконец, материалы для истории устанавливаются с помощью общих суждений, ибо при восстановлении прошлого «приходится пользоваться суждениями.., высказывающими общечеловеческие свойства». В другом месте он также говорит, что «наукой можно называть только такие (исторические) работы, которые не ограничиваются лишь единичным и частным, но или доказывают общие суждения, или, по крайней мере, объясняют ими единичное и частное». Впрочем, в виде уступки он готов называть наукой и такие работы, в которых с помощью источников только доказывается правильность частных суждений, поскольку «характерным признаком науки служит употребление доказательств» (стр. 223). Это уже некоторая уступка.

** Греческое слово μεθοδος состоит из предлога μετά, имеющего довольно разнообразные значения, и сущ. ὁδός, что значит дорога, путь, шествие, средство. По-русски метод называется иногда приемом, с тем, впрочем, различием, что под методом разумеют иногда и совокупность однородных приемов, а не один только какой-либо прием, тогда как под приемом всегда только один какой-либо способ. Только этим различением можно еще оправдать часто у нас встречающееся выражение «методологические приемы» собственно, заключающее в себе тавтологию.

научною работою методы, в основе их должны лежать общие законы логики. Знание, добытое приемами мышления, противоречащими требованиям логики, не есть научное знание, даже и не знание вовсе, совершенно так же, как нельзя назвать научным знанием нечто такое, что находится в противоречии с фактами. Частные, так сказать, логики наук: логика математики, логика химии, логика истории, все это — только специальные части единой научной логики, которые, конечно, лучше всего и могут разрабатываться только представителями соответственных отраслей знания в зависимости как от задач этих отраслей, так и от того материала, над которым при этом приходится оперировать.

Математика, изучающая количественные и пространственные отношения и выражающая их в общих понятиях и формулах, пользуется методом абстрактно-дедуктивным. Та истина, что сумма углов всякого треугольника равна двум прямым углам, или та, что квадрат, построенный на гипотенузе, равновелик с квадратами, построенными на катетах, вовсе не была найдена путем ряда измерений углов в отдельных треугольниках или площадей квадратов, а выведена путем простого рассуждения из других истин, в свою очередь выведенных еще из других, пока мы не дойдем до истин самоочевидных, или аксиом. Абстрактно-дедуктивный метод есть по преимуществу метод математический, хотя возможно применение его к изучению не одних количественных отношений.

Наприм., так называемая классическая школа политической экономии, основание которой было положено Адамом Смитом, работала этим методом, взяв за исходные свои пункты тоже некоторые положения аксиоматического характера и выводя одни свои теоремы из других. В своем месте мы еще будем говорить о том, как в виде реакции против абстрактно-дедуктивного метода «классической» политической экономии возникла в этой науке историческая школа, указавшая на необходимость обращения к исторической точке зрения, к историческому материалу и к историческому методу.

Действительно, метод математики и метод истории представляют собою полную противоположность. Метафизические мыслители конца XVIII и начала XIX вв., верившие в непогрешимость априорного мышления, иногда даже высказывались об истории в прямо пренебрежительном тоне, как о чем-то недостойном внимания со стороны настоящих мыслителей, говорили о полной несоединимости фило-

софии и истории и предоставляли последнюю в распоряжение тупых голов*. С другой стороны, в своем безусловном доверии к абстрактно-дедуктивному мышлению некоторые из этих философов считали даже возможными построить историю чисто априорным путем, как это, наприм., заявлял Фихте[228], а Гегель и осуществлял на практике в своей «Философии истории», в которой общий ход истории человечества выводился из некоторой по отношению к этой истории априорной формулы**. Какие конфликты между философией и историей могли получаться на этой почве, можно видеть из следующего эпизода.

Знаменитый немецкий мыслитель Фихте высказывался в том смысле, что философ может следить за ходом истории по априорному мировому плану, «который для него ясен без всякой истории», и что если он обращается к последней, то вовсе не ради доказательства своих положений, «доказанных ранее всякой истории и от нее независимо». Когда думавший так Фихте получил от не менее известного немецкого филолога Вольфа[229] его глубокое исследование о происхождении поэм Гомера, то написал ему, что и сам он чисто априорным путем пришел к такому же выводу, к какому Вольфа привела его ученая критика. На это последний иронически отвечал, что раз можно узнавать подобные вещи a priori, было бы хорошо таким способом знакомиться с историей народов, от которых сохранились только их имена.

Что историку по временам приходится прибегать и к дедукции, в этом, как мы еще увидим, не может быть никакого сомнения, но для историка дедукция — лишь одно из вспомогательных средств, а не главный путь, по которому он должен идти. Своим методом математика существенно отличается от всех других наук, которые должны изучать самое действительность, отдельные категории ее явлений, рассматривая самые эти явления, а не соответствующие им абстрактные понятия.

Далее, при изучении некоторых явлений действительности исследователи могут ставить их в искусственные условия, рассчитанные на то, чтобы таким путем получались научные ответы на интересующие нас вопросы. Это — так называемый экспериментальный метод, ме-

* О. В. Ф. И., кн. I, гл. 4.

** Там же, кн. I, гл. 3.

тод таких наук, по преимуществу, как физика или химия, но находящий широкое применение и в других науках. Эксперимент, или опыт в техническом смысле слова, именно и заключается в постановке изучаемого предмета в особые, нарочно, так сказать, придуманные условия, в которых легче, а иногда только и возможно узнать что-либо важное относительно изучаемого предмета или явления. Само солнце нельзя подвергнуть какому-либо эксперименту, его можно лишь наблюдать так, как оно есть, но солнечный луч можно подвергнуть эксперименту, пропустив его через трехгранную призму, через какую-нибудь прозрачную жидкость и т. п. Нечего говорить, что экспериментальный метод к истории неприменим. История — дело прошлое, а с тем, чего сейчас уже нет и в природе, никакие опыты невозможны. Если, однако, иногда и говорят, наприм., об экспериментах, производимых над обществом правителями и законодателями, то это только facon de parler[230]: своего рода опыты над обществом предпринимаются, конечно, не в целях добывания научной истины. Самое большее, что историк мог бы извлечь для себя из знакомства с сущностью экспериментального метода, может заключаться разве только в том, чтобы делать как бы мысленные опыты, представляя себе изучаемое явление в измененных условиях: если бы не было того-то, но было бы то-то, что из этого получилось бы? Таким вспомогательным средством, пожалуй, даже не следует пренебрегать, но, как и в случае обращения к дедукции, это лишь один из способов дополнять гипотезами пробелы настоящего фактического знания.

В тех случаях, когда делание экспериментов невозможно, отдельным наукам приходится вообще довольствоваться одними простыми наблюдениями над изучаемыми предметами и явлениями, когда последние даются в естественно присущих им условиях. Астроном наблюдает небесные светила и если при этом прибегает к искусственной помощи телескопа, спектроскопа или фотографического аппарата, то изменяет не условия, в каких существуют сами небесные светила, а условия своего наблюдения. Наблюдение при помощи искусственных инструментов (вроде еще микроскопов, микрофонов, термометров, барометров, химических весов и т. п.), конечно, не то же самое, что экспериментация, ибо предмет, явление берутся здесь так, как они есть (если, разумеется, не происходит комбинирования обоих методов — экспериментального и обсервационного). К числу приемов планомерного наблюдения в научных целях относится,

понятно, и собирание статистических сведений, но необходимое условие какого бы то ни было планомерного наблюдения в научных целях заключается в том, чтобы наблюдаемое было дано налицо, чтобы оно было настоящим, а не тем, чего уже нет или чего еще нет. Историческая наука как раз тем и отличается, что занимается не существующим более и, следовательно, не подлежащим непосредственному наблюдению.

Наблюдения над современностью для историка могут быть только одним из вспомогательных средств при решении разных вопросов касательно прошлого, когда для ответов на эти вопросы нет прямых положительных данных, но это опять-таки не главное в работе историка. Если, наконец, у нас и говорят нередко об «исторических наблюдениях», то, конечно, не в буквальном значении последнего слова: на самом деле, всякие наблюдения имеют здесь значение более сложных умственных операций.

Натуралист может производить наблюдения лишь над ныне существующими видами животного и растительного царства, но, как известно, не всегда на земле существовали теперешние фауна и флора. Органическая жизнь на нашей планете имела свою длинную историю, о которой мы можем судить по остаткам или следам вымерших животных и исчезнувших растений, находимых в верхних слоях земной коры. Лишь по этим остаткам, т. е. по разным частям скелетов всяких ихтиозавров, мамонтов и т. п., или таких следов, как отпечатки рыб, растений и т. д., наука может говорить о том, какие животные и растения существовали прежде. Целая научная область посвящена этому предмету — так называемая палеонтология. В неизмеримо большем количестве такие «палеонтологичсские» остатки и следы сохранились из минувших времен от жизни разных народов, — остатки всяких предметов, выделывавшихся человеческими руками, и следы людских мыслей и слов, запечатлевшиеся в памяти последующих поколений, в особенности же дошедшие до нас в записанном виде.

Материальными остатками от прежней человеческой жизни являются разные предметы повседневного быта людей на разных ступенях развития, начиная от первобытных времен и кончая более или менее недалеким прошлым. Все, что сохранилось от таких вещей, как жилища, одежда, домашняя утварь, орудия всякого рода, оружие, храмы и алтари, изображения богов, могилы и надгробные памятники, игрушки и музыкальные инструменты, статуи и картины, монеты и

всякие иные знаки вроде пограничных камней, так называемых тессер* и т. п., все это и многое другое такого же характера, доступное непосредственному наблюдению и изучению, составляет, вообще говоря, предмета особой научной дисциплины, археологии**. Для историка, конечно, важны все подобные материальные остатки, не как самые вещи, подлежащие исследованию, определению, описанию, классифицированию и т. п., а как своего рода немые свидетели прошедших времен, говорящие нам, как протекала человеческая жизнь в таких-то местах и в такие-то времена. Для археолога все эти остатки суть факты, им изучаемые, для историка они — лишь свидетельства о других фактах, именно о формах прежнего, ныне не существующего быта.

Не эти, однако, материальные остатки, свидетельствующие о прошедших фактах, недоступных для непосредственного наблюдения, составляют главный материал, над которым оперируют историки. Сколько бы ни вкладывал человек своей мысли в дело рук своих, все-таки настоящим органом, при помощи которого он проявляет вовне свою мысль, внутреннее содержание своей психики, может быть только его слово. Пословица говорит, что слово не воробей, за хвост не поймаешь; и действительно, большая часть того, что было когда-либо и где-либо сказано людьми, — позволю себе так выразиться, — бесследно пропало в воздухе. Но некоторые выраженные в словах мысли слушателями запоминались, воспроизводились вновь, передавались одними людьми другим, старшими поколениями младшим, а иные мысли записывались и в записях также сохранялись для потомства. Следы прежней жизни, дошедшее до нас в форме преданий и записей, отличные от материальных остатков, и составляют главный и основной источник исторического знания, источник очень богатый, донельзя разнообразный и особенно ясно говорящий о прошлом. Конечно, каждый словесный памятник, подобно любому памятнику вещественному, может быть и самостоятельным предметом непосредственного изучения, как факт, подлежащий исследованию, определению, описанию, сравнению с другими подобными же

---

* Объяснение этого термина см. в следующей главе.

** Так еще греки называли изучение вообще всего относящегося к далекому прошлому, своего рода «науку о старине», разумея под стариною (τα αρχαία) безразлично все древнее, но со второй половины XVIII в. под археологией стали разуметь изучение лишь вещественных предметов древнего происхождения.

предметами, и вместе с тем только свидетельством, заключающим в себе какое-либо известие о другом факте, которого уже нет, но который когда-то был. Первое отношение к словесным памятникам, для которого сами они суть предметы изучения, есть отношение к ним не самой истории, а филологии*, как науки о произведениях человеческого слова, для истории же предметом изучения остается все-таки само прошлое, недоступное для наблюдения, хотя бы и при помощи памятников, которые и сейчас существуют и могут быть такими же объектами непосредственного наблюдения, как любой вещественный памятник для археолога или как любое растение для ботаника, любое животное для зоолога, любая звезда или планета для астронома.

Вещественные и словесные памятники, изучаемые археологами и филологами, являются, таким образом, для историков не самостоятельными предметами изучения, не фактами самими по себе, а лишь источниками нашего знания о других фактах, поскольку заключают в себе те или другие свидетельства о существовании таковых. Если математика опирается на умозрение, физика, химия и некоторые еще науки — на эксперимент, а другие, в числе которых, между прочим, находятся и статистика, археология и филология — на наблюдения, то главною опорою исторического знания являются всякого рода свидетельства, заключающиеся в вещественных или словесных памятниках, т. е. в остатках и следах, которые в том или другом виде дошли до нас от прошлого.

Оставляя в стороне математику с ее исключительно умозрительным методом и априоризмом, мы можем сказать, что все остальные науки идут путем наблюдений над изучаемыми ими явлениями действительности, будут ли то непосредственные наблюдения над этими явлениями в том виде, в каком сами явления нам даны (наблюдение в более тесном смысле слова), или же мы будем наблюдать явления, поставив их в особые, нами придуманные и созданные условия (эксперимент), или же, наконец, будем пользоваться чужими свидетельствами о прежде сделанных наблюдениях, как это и имеет место в истории. Во всех этих случаях первая задача науки одна — констатировать, что нечто существует или совершается, либо имело место

* В старину это слово (от греч. φιλολογος, любитель слова) переводилось у нас буквально «любословие».

или происходило в прошлом, — констатирование фактов, говоря короче. Это — первый шаг к познаванию действительности, составляющему задачу науки, но на этом, конечно, наука не останавливается. Сами мы, однако, в своем расследовании путей науки на этом пока задержимся, потому что здесь мы имеем дело с основною особенностью исторического знания. То, что мы знаем (в обыденном значении этого слова), мы знаем или благодаря тому, что сами нечто видели, наблюдали, или благодаря тому, что слышали от других или о чем читали написанное другими. И в других науках чужие свидетельства составляют значительную часть содержания того, что известно каждому отдельному ученому. Астроном, живущий в Европе и из нее никогда не выезжавший, о светилах и созвездиях, видимых в Австралии, знает лишь по показаниям других, которые могли наблюдать звездное небо южного полушария. Тот же астроном, специально интересующийся солнечными затмениями, сам мог наблюдать их два-три случая, и в то же время знает подробности о целом их ряде из специальной литературы. Блестящая комета 1858 г. известна очень многим, родившимся после 1858 г. Самый ученый географ не видел и сотой или тысячной доли тех стран, гор, рек, городов и т. п., которые, однако, знает по описаниям путешественников, по фотографиям и т. п. Физик и химик могут знать о многом, не проделывая лично тех экспериментов, на основании которых покоятся те или другие научные выводы. Сказанное может быть распространено и на археологов с филологами, вынужденных обо многом знать лишь на основании чужих свидетельств или, как говорится, из вторых рук. Иначе говоря, не в одной истории знание строится на фундаменте не непосредственных наблюдений, но и на основании чужих показаний, — только в истории, — по самому существу, свидетельства других (притом опять-таки не одних очевидцев) играют главную роль. Историк подобен географу, никогда не оставлявшему родного города, но знающему тем не менее чужие страны по рассказам туземцев и путешественников.

Наши знания о событиях прошлого основываются, следовательно, на свидетельствах других лиц, каковые свидетельства, однако, имеют место и в других науках. Когда на предварительном или судебном следствии допрашивают свидетелей, то обращаются не только к тем из них, которые были очевидцами интересующего судебные власти факта, но и к тем, которые что-либо о нем слышали. Кроме

того, суд пользуется и вещественными доказательствами, среди которых очень видную роль играют письменные документы. Человек, положим, грозил кого-нибудь убить, и это слышали многие сами, а другие об этом слышали от третьих, но, кроме того, самый факт мог бы быть доказан документально, если угроза была сделана в письме, которое было послано по назначению, получено адресатом, сохранено им и представлено в суде. Об исторических событиях мы как раз знаем очень часто не потому, что о нем нам сообщили и рассказали, а потому, что в руках у нас имеется его след в виде письменного документа.

Нам могут рассказать, что между двумя такими-то правительствами велись такие-то переговоры, но мы можем иметь перед глазами и самые эти переговоры в виде дипломатической переписки, хранящейся в архивах: здесь нам сообщают не посторонние лица о том, что писалось участниками переговоров, а говорят сами участники, т. е. свидетельское показание заменяется подлинным документом. Значение таких подлинных документов для историка имеют не только деловые бумаги, но и дружеская переписка, и дневники, и еще очень и очень многое другое, что вообще пишется людьми для каких бы то ни было целей.

Чем дальше от нас та или другая эпоха, тем меньше, в общем, мы имеем от нее свидетельских показаний и документов, хотя, конечно, отсюда есть множество исключений. По мере того, как уменьшается число фактических известий, знание прошлого делается все менее достоверным. Существование в истории массы сведений, отличающихся неполнотою и неясностью, массы пробелов и сомнительных данных, массы противоречивых известий и т. п., нередко даже выставлялось как аргумент против того, чтобы историю считать наукою. Понятно, что если мы будем сравнивать историю с точными науками, сравнение будет далеко не в ее пользу, но зато ведь точные науки и называются точными, что они точны в отличие от других, которые точностью не отличаются. Однако, из этого не следует, что в истории все неточно, что она ни в чем и не может быть точною и что, в конце концов, достижение возможной точности не может составлять цели, к которой историки должны стремиться. И в наших представленных суждениях о прошлом земной природы, чем дальше мы уходим в глубь веков, тем более теряем какую-либо руководящую нить. Мало того, в своем целом историческая геология гораздо гипотетичное и

в подробностях менее достоверна в сравнении с тем, положим, и немногим, что мы лучше всего знаем из прошлого нескольких культурных народов. Особенно, притом в исторической геологии по отношению к точности хромают хронологические обозначения. Что Геркуланум и Помпея были залиты лавой и засыпаны пеплом вследствие извержения Везувия в 70 г. нашей эры, это мы знаем потому, что на этот счет есть прямые исторические свидетельства, геолог же своими средствами не был бы в состоянии точно установить дату данного извержения Везувия. Мы точно знаем последовательные даты как завоевания Римом отдельных провинций созданной им империи, так и постепенной их утраты, но можно ли говорить о какой-либо точности цифр, в которых геологи выражают продолжительность периодов в истории земного шара? А таких примеров можно было бы привести великое множество.

V. РАЗНЫЕ РОДЫ И ВИДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Рассмотрим теперь, какие существуют главные категории источников и в связи с этим сделаем общий обзор так называемых вспомогательных исторических дисциплин (или «наук»), обязанных своим существованием тому, что пользование некоторыми категориями источников требует известных специальных сведений и технических навыков.

В просторечии источниками часто называются разного рода произведения, из которых были, наприм., почерпнуты факты или мысли для какого-нибудь сочинения. Только люди, хотя бы немного искусившиеся в терминах исторической методологии, хорошо знают, что не всякая историческая книга, из которой мы что-либо узнаем, есть исторический источник, но в работах начинающих студентов сплошь и рядом, в качестве источников этих работ, фигурируют совсем не источники. Если для каждого автора такие-то и такие-то книги были источниками его фактических сведений или высказанных им мыслей, то это еще не значит, чтобы в самой науке эти книги играли именно такую роль, т. е. были теми произведениями, из которых ученые первые о чем-либо узнают и что, таким образом, заслуживает названия первоисточников. О том или другом отдельное лицо может узнать в первый раз из чтения трудов Белоха[231] или Моммзена[232], но это не значит, чтобы Белох и Моммзен были первыми, говорившими

о том, что это лицо у них вычитало. Вот когда мы доберемся до произведений, где впервые о чем-либо говорится, это и будет источник или первоисточник. История Геродота или Фукидида, Летопись Нестора[233] и т. п., это — источники, хотя бы и сами они были основаны на источниках, до нас не дошедших, тогда как Грот[234], Курциус[235], Эдуард Мейер, Белох или Карамзин[236], Соловьев[237], Костомаров[238], Ключевский[239], писавшие о том же самом, что мы находим у Геродота, Фукидида, Нестора, являются авторами произведений, которые, при пользовании ими в исторических работах, принято называть не источниками, а пособиями.

Исторические источники бывают очень различных категорий, но до сих пор нет общепринятой однообразной их классификации, и даже в своей терминологии, касающейся источников, как историки вообще, так и в частности историцисты, авторы исторических методологий, очень сильно расходятся между собою. Названия отдельных категорий источников употребляются одними в одном смысле, положим, более широком, другими — в другом смысле, более узком. Наприм., одни называют памятниками безразлично чуть не все источники, не исключая и «памятников письменности», тогда как другие склонны обозначать этим словом только вещественные предметы, свидетельствующие нам о чем-либо в прошлом, третьи же держатся и более буквального смысла слова, разумея под ним только «монументы», назначением которых было о чем-либо напоминать. Термином «памятники» мы нередко переводим немецкое «Denkmaler», но тем же словом мы переводим и немецкое «Monumente», имеющее более узкое значение. Бернгейм в своем «Lehrbuch'e», говоря о «Denkmaler», которые он отделяет от других вещественных «остатков» («Überreste»), подводит под эту категорию надписи, памятники (Monumente) и документы (Urkunden), но и с этим последним словом случилось то же самое, что и с термином «памятник». Для одних «документ» есть всегда только официально засвидетельствованная запись, что-либо удостоверяющая, закрепляющая какое-нибудь право, а другие расширяют понятие «документа» до включения в него решительно всех письменных источников* или, по крайней мере, очень разнообразных их категорий. До сих пор однообразного, общепринятого употребления

* Наприм., см. Langlois et Seignobos. Introduction aux études historiques. Первая же фраза в этой книге гласит: «l'histoire se fait avec des documents».

таких терминов, как «памятник» или «документ», нет, и здесь царит довольно-таки большой произвол.

Независимо от терминологического разнообразия самое существо дела таково, что отдельные понятия здесь трудно отграничиваются одни от других. Разделение всех источников на «вещественные» и «словесные» напрашивается, так сказать, само собою, и очень соблазнительным является назвать первые из них, в отличие от вторых, «немыми». Но пусть будут такими немыми источниками, наприм., старинное оружие, утварь и т. п. (хотя многие и не согласятся вообще такие предметы называть источниками), а вот куда отнести древнюю гробницу, на которой имеется и надпись? Это — и вещественный памятник, и не немой. Или, быть может, нужно создать новые категории, в роде вещественных памятников со словесными известиями или словесных известий на вещественных памятниках и т. п.?

Дело в том, что для правильной классификации нужны известные основания, как это и делается, наприм., в зоологии, разделившей всех животных на позвоночных и беспозвоночных, затем позвоночных на зверей, птиц, рыб, гадов и т. д. Каждый раз, когда целый класс делится над подклассы, в основу деления кладется известный признак, который и играет роль принципа разделения (principium divisionis), чего как раз и нет в деле разнесения исторических источников по рубрикам. Против любой их классификации всегда найдутся возражения, и даже такие педантические систематизаторы, каким в данном случае является Бернгейм[240], вынуждены бывают признаться, что при всем желании нельзя установить между историческими источниками строго кастовых перегородок. Лишь с этою оговоркою я и буду в дальнейшем устанавливать разные роды и виды источников, на деле одни в другие переходящие, одни с другими перепутывающиеся.

Прежде всего, между историческими источниками следует различать две большие категории, смотря по тому, дошло ли до нас что-либо непосредственно из самого прошлого, как его частица, что ли, остаток или же что-либо дошло лишь об этом прошлом, как воспоминание о нем, след от него в людской памяти. Египетские храмы, греческие статуи, римские акведуки, готические соборы, всякие древние или старинные вещи, хранящиеся в таком изобилии в массе европейских музеев, все это — уцелевшие остатки прошлого, предметы,

в свое время так или иначе служившие разнообразным потребностям жизни. Мы можем непосредственно созерцать эти остатки, тогда как если о чем-либо мы узнаем лишь благодаря тому, что оно оставило по себе след в людской памяти, благодаря передаче известия об этом одними людьми другим, — благодаря преданию, или традиции в широком смысле, — и речи не может быть о непосредственном наблюдении самих фактов прошлого.

Различая здесь между «остатками» и «следами», употребляя эти самые слова, я сам вижу, что придаю им другое значение, нежели то, в каком говорил о том же несколько выше*: там, именно, это противоположение совпадало с различением между вещественными и словесными источниками, здесь же мною имеется в виду уже нечто другое. Дело в том, что остатками прошлой жизни можно и прямо должно называть не одни вещественные предметы, но и разные словесные записи, раз в свое время они также служили удовлетворению текущих потребностей жизни, а не имели своею целью что-либо увековечить в памяти грядущих поколений, дабы и они знали о том, — воспоминание о чем не должно было погибнуть. Всякие деловые бумаги, акты, грамоты, документы, приказы, рапорты, протоколы, судебные приговоры, прошения, всякие податные списки, счета, описи, приходо-расходный книги, всякие письма к родным, к друзьям, к знакомым, всякие манифесты, прокламации, воззвания, программы политических партий, публицистические статьи, политические брошюры, всякие рекламы, объявления, театральные афиши, торговые вывески, товарные этикетки, — все это и бесчисленное множество разных других письменных памятников такого рода, все это — остатки прошлой жизни, ибо все это писалось, печаталось, рисовалось для удовлетворения непосредственных жизненных нужд, для достижения чисто практических целей, а не ради увековечения в памяти любознательного потомства каких-либо событий. Наоборот, и вещественные памятники создавались нередко не в виду тех или других жизненных потребностей, а как раз для увековечения памяти о каких-либо людях и событиях, т. е. с такою же целью, с какою составлялись летописи, хроники, мемуары и т. п.

Итак, из дошедшего до нас из прошлых времен одно создавалось для удовлетворения житейских нужд, — как, напр., шьется

* См. в предыдущей главе.

платье, строится дом, пишется письмо или прошение судьи, записываются приход и расход, печатается объявление об отдаче в наем квартиры, издается политическая брошюра и т. п., — другое же создавалось, как говорится у Пушкина, «да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу»[241]. Вся разница, значит, заключается в основных намерениях тех, которые что-либо сооружали или писали, т. е., положим, писал ли кто-нибудь письма просто потому, что ему нужно было нечто кому-либо сообщить, без всякой мысли о том, что некогда его письмо сделается историческими источником, или же кто-либо нечто записывал, дабы сохранить нечто для потомства, хотя бы и в предвидении, что записанное сделается достоянием гласности разве только при внуках или правнуках.

Если бы слово «реликвии» не имело специфического смысла или, по крайней мере, оттенка, очень удобно было бы так обозначить все то, что выше было подведено под категорию «остатков» (Überreste в немецкой историцистической терминологии). Только боясь неологизмов, — очень часто бывающих обреченными на забвение, — я не предлагаю для всех исторических источников этой категории термин «реликты», — категория, под которую можно подвести не только вещественные и словесные (письменные) памятники, но и остатки старины в самой жизни, сохранившиеся из прошлого: обычаи, обряды и другие «пережитки», как принято называть не соответствующие более потребностям жизни и сохранившиеся лишь по инерции явления. Все, что не входит в эту категорию реликтов, может быть подведено под категорию традиции в том специальном значении, какое этому слову уже давно придает немецкая историцистическая терминология (если только не заменить этот термин другим — «свидетельства»).

Не скрою, однако, что эта классификация, — как, впрочем, и другие, — вообще не может быть строго проведена по отношению ко всем отдельным случаям, и попытки определить место того или другого вида источников в одной из этих категорий не всегда будут свободны от веских возражений. Прежде всего, в самих намерениях, с какими что-либо писалось или записывалось, могла быть двойственность, и поэтому, одно и то же, наприм., историческое произведение, имеющее характер источника (Геродот, Фукидид, Тит Ливий[242], Тацит, Прокопий[243], Григорий Турский[244] и т. п.) может рассматривать-

ся нами под двумя аспектами — или как относящееся к источникам одной категории, поскольку мы из такого произведения узнаем об известных событиях, во-первых, или как источник другой категории, поскольку мы в нем имеем литературный памятник, указывающий на состояние историографии и даже на умственное развитие историков в данную эпоху, во-вторых.

Тем не менее такое разделение источников на остатки и предания (или свидетельства), при всем своем несовершенстве, должно быть удержано, как имеющее методологическое значение. Приемы изучения источников обеих категорий далеко не одни и те же. Все что выше было сказано об археологии и филологии, и что будет еще ниже сказано о вспомогательных исторических дисциплинах, относится к дошедшим до нас от прежних времен остаткам вещественных изделий и письменного языка, а не к содержанию свидетельств о фактах. Далее, в источниках второй категории содержатся прямые известия о фактах (событиях, отношениях), и историку нужно только установить, насколько эти сведения заслуживают веры, тогда как источники первой категории должны еще подвергнуться особой умственной операции, интерпретации, дабы из них можно было извлечь знание о фактах прошлого, передача которых потомству не входила в намерения лиц, оставивших после себя источники данной категории. Наконец, если для свидетельств о прошлых фактах главный вопрос заключается в том, насколько они достоверны, то для остатков основной вопрос — насколько они подлинны.

Имеем ли мы дело с остатками или свидетельствами, в обеих категориях первенствующее значение для историка имеют источники словесные. Называя их словесными, я имею одинаково в виду как слово устное, так и слово письменное. Конечно, среди словесных источников известную роль всегда играла и устная традиция (в форме простых рассказов, саг или сказаний, анекдотов, пословиц, исторических песен и всякого фольклора), но в громадном большинстве случаев значение научного материала для историков содержанием устной традиции приобретается только в записанном виде (в особенности же в печатном виде). Большая часть словесных источников дошла до нас письменно закрепленными, будут ли то надписи, столь характерные для древней истории, рукописи, сохраняющиеся большею частью только начиная со средних веков, и произведения печа-

ти (за последние четыре с половиною века). Особый вид источников, не словесных, но и не совсем немых, представляют собою всякого рода изображения, сделанные из чего бы то ни было или на чем бы то ни было, т. е. статуи, бюсты, барельефы, картины, рисунки, чертежи, планы, карты и т. п.

Из нескольких примерных перечислений, приведенных выше, легко усмотреть, до какой степени многообразны те источники, из которых историческая наука почерпает свой материал. Перечислить все роды их и виды, дать характеристику каждого, указать на их второстепенные разновидности, соединить их по тем или другим признакам в какие-либо группы — дело совершенно невозможное в кратком изложении, и тем менее еще возможно назвать хотя бы наиболее знаменитые отдельные источники. Это может быть задачею особого отдела исторической науки, носящего название «источниковедения», причем таковое непременно специализируется по странам или периодам (напр., для древней Греции, для средних веков, для истории России при Петре Великом и т. п.). В источниковедении, называемом у некоторых немецких историцистов «эвристикой»*, главное не в методологии, т. е. не в формальной стороне науки, а в реальной, фактической касательно того, какие существуют исторические источники, их редакции, издания, собрания, хранилища (архивы), библиотеки, музеи для вещественных памятников и т. п.

В дальнейшем мы остановимся лишь на некоторых видах исторических источников, преимущественно принадлежащих к категории повествовательного содержания. Самое важное о прочих упоминается в заключительной части главы, где речь идет о вспомогательных исторических дисциплинах.

Основная особенность источников, подводимых под понятие традиции, состоит в самом их возникновении, так сказать в интересах истории, т. е. в том, что в них уже дается история, что они входят в состав историографии, или бытописания, как у нас выражались в старину. Это — источники исторические по преимуществу, не в смысле, однако, исключительной важности для исторической науки, а в смысле преднамеренности в самом их создании — слу-

---

* От греч. εὑρίσχω, что значит нахожу и в особенности нахожу искомое, отыскиваю, открываю. Термин этот, употребляемый и не в этом еще смысле, вообще не привился, хотя, наприм., и Langlois et Seignobos ставит в скобках слово «heuristique» при заголовке «La recherche des documents».

жить сохранению в памяти и передаче потомству фактов прошлой жизни. В отличие от этих специфических памятников все остальные источники могут быть распределены по рубрикам памятников дипломатических, юридических, экономических, художественных, литературных и пр. и пр. Конечно, и в источниках этого рода в изобилии встречаются повествовательные (и описательные) элементы, которыми пользуется историческая наука, как своим материалом, но они, эти элементы, не бывают обязаны своим происхождением чьему-либо желанию сохранить то или другое в памяти потомства. Такие элементы найдутся, наприм., во всякой переписке, будет ли это переписка деловая, официальная, или житейская, родственная, приятельская.

Дипломатический агент, доводящий до сведения своего правительства о виденном им или слышанном в столице иностранного государства; полицейский чиновник, доносящий начальству о разных происшествиях или о настроении умов обывателей; приятель, рассказывающий в своем письме к приятелю какой-либо эпизод, случившийся на его глазах, разумеется, менее всего думают о сохранении сообщаемых ими фактов для будущих показаний, как не думают об этом и газетные корреспонденты и репортеры, удовлетворяющие потребности современных им читателей в интересных новостях. Если потом историки всем этим и пользуются, как своим материалом, наравне с другими памятниками письменности, не заключающими в себе повествовательно-описательных элементов, но также имевшими для своего времени деловое, житейское значение, то это относится к той обширной категории результатов, которая охватывает массу явлений, никем не ставившихся в качестве целей. Иное дело — записи с нарочитою целью, «да ведают потомки», т. е. все эти летописи, хроники, мемуары, воспоминания, автобиографии, дневники, жизнеописания и т. п.

С одной стороны, желание современников увековечивать то, что они считают достопамятным помимо всяких практических утилитарных целей, с другой, желание потомков знать о том, что делали и как жили предки, и были первыми причинами возникновения и сохранения разного рода чисто исторических записей, положивших начало всему «бытописанию». Первые образцы последнего относятся, как известно, к глубочайшей древности — в виде кратких перечней или более подробных известий о подвигах царей Египта, Асси-

рии, Вавилона, Персии, и т. д., сохранившихся в надписях на остатках храмов и дворцов, на памятниках, даже на скалах (знаменитая Бегистанская надпись[245] о подвигах Дария Гистаспа), или в остатках архивов (на глиняных плиточках, на папирусе и т. д.). Исторические надписи, — которые нужно отличать, наприм., от юридических вроде законов вавилонского царя Хаммураби, — подобные указанным, встречаются и в более поздние времена, когда бытописание порождает уже и целые литературные произведения. Примером может служить знаменитая Анкирская надпись[246], в которой Октавиан Август говорит о своем правлении в Риме. К подобным памятникам мы применяем название летописей, хотя таковыми в буквальном смысле они и не были, и к этой же категории часто причисляются всякие записи достопамятных событий в античных государствах-городах. Навстречу желанию современников увековечить в памяти потомства то, что считалось достойными этого, шло желание последующих поколений не допускать забвения преданий старины глубокой, хранившихся в форме рассказов, песен и т. п. Предания стали записываться также очень рано и составили другую струю в начальном бытописании народов. С течением времени явились собиратели письменных известий и устных преданий для дальнейшей обработки, вроде греческих логографов, предшественников «отца истории» Геродота, и на той же ступени превращения более ранних форм бытописания в произведения уже литературного характера находятся исторические части Библии (напр., Книги Судей и Книги Царств).

Чем дальше развивалась сама жизнь, тем все более развивалось и бытописание, из которого постепенно и выработалась вся историческая литература.

Не ставя себе задачею дать исчерпывающий перечень разных форм «бытописания», я ограничусь перечислением лишь некоторых из них наиболее важных и известных.

Анналы*, по-русски летописи, представляют собою погодные записи, заключающие в себе более или менее подробные повествования о событиях, равно как исторические труды, расположенные по годам. Часто летописи имеют сводный характер, и кроме того, одна и та же летопись может существовать в разных редакциях (изводах),

* Annales от лат. annus, год.

и, наконец еще, отдельные летописи могут доходить до нас в разных списках (копиях).

Хроники представляют собою особый вид бытописания, получивший большое развитие впервые в Византии. Это — в общем более краткие повествования о прошедших временах*, причем византийские хроники начинались обыкновенно «от сотворения мира» и доводились по возможности до вступления на престол современного каждой из них императора. Каждая такая хроника является компиляцией, в которой всегда можно рассчитывать найти известия из источников, до нас не дошедших а чем ближе составитель подходит к своему времени, тем более его работа приобретает характер летописи в тесном смысле слова. Нередко между хрониками и летописями не делают различия, и напр., французские ученые нашу начальную летопись называют «la chronique de Nestor». Хроники свободно переделывались, и их содержание обогащалось вставками из разных самостоятельных источников, что, впрочем, проделывалось и с летописями. Кроме всемирных хроник**, составлялись в средние века и национальные, и чисто местные. Можно сказать, что хроника занимает среднее место между летописью и историей, как произведением чисто литературного характера.

Отдельные события очень нередко бывали предметом особых повествований, к которым применимы названия повестей***, сказаний и т. п. Бывают эпохи, когда необычайные события особенно возбуждали в современниках охоту писать такие повести и сказания****.

Мемуарами называются записки современников, заключающие в себе повествования о событиях, в которых сами авторы таких произведений принимали участие или которые были им известны, как очевидцам или как лицам, слышавшим о них от очевидцев. Отличие

---

* Название хроник (τα χρονιχά) происходит от греч. слова χρόνος время (прилаг. χρονιχος; значит принадлежащий или относящийся ко времени).

** В древней Руси был очень популярен так называемый «хронограф», существовавший в разных редакциях и вобравший в себя, если так можно выразиться, немало всяких отдельных сказаний.

*** Нужно, конечно, отличать такие «повести» от известного вида литературных произведений, а также от «Повести временных лет», как озаглавлен древнейший русский летописный свод.

**** Наприм., такую эпоху представляет собою наше смутное время, которому посвящена диссертация проф. С. Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о смутном времени, как исторический источник» (1897).

мемуаров от хроник современных событий заключается в том, что в мемуарах особенно выдвигаются вперед личность самого автора, его субъективные переживания, пристрастия, стремления. К этому разряду можно отнести автобиографии, воспоминания о виденном и слышанном и т. п.

Запись виденного может относиться к каким-либо чужим странам, в которых авторы известий о них побывали и которые потом описали. Известия подобного рода в изобилии находятся уже в историческом труде Геродота, да и вообще рассказы путешественников являются важным историческим источником. Составители руководств по источниковедению русской истории выделяют в особую источниковую рубрику сказания иностранцев о древней Руси*.

Жизнеописания отдельных лиц, биографии**, к числу которых должны быть отнесены и автобиографии, т. е. описания собственной жизни, точно так же входят в число исторических источников повествовательного содержания, хотя бы автор того или другого жизнеописания имел в виду чисто назидательную цель. Таким характером отличаются, напр., жития святых, составляющие такую богатую агиографическую*** литературу христианского средневековья****.

Заключим весь этот перечень разных категорий исторических источников некоторыми общими сведениями о так называемых вспомогательных исторических науках (historische Hulfswissenschaften, sciences auxiliaires de l'histoire), учение о которых занимало весьма большое место в старых историках.

Нужно при этом заметить, что под такими вспомогательными науками иногда разумеются очень широко все научные специальности, в которых может нуждаться историк, изучающий самые факты прошлого, тогда как в других случаях понятие, наоборот, суживается и под него подводятся лишь дисциплины, необходимые для умения пользоваться теми или другими родами и видами исторических ис-

---

* Этому предмету посвятил покойный В. О. Ключевский одну из первых своих работ под заглавием «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1860).

** От греч. βίος (жизнь); иногда слово «жизнь» прямо и стоит в заголовке произведения.

*** От греч. ἅγιος (святой).

**** В русской литературе есть известный труд Ключевского «Жития святых как исторический источник».

точников. В первом отношении историк может нуждаться в данных и в выводах и психологии, и социологии, и политической экономии или юриспруденции, и географии или этнографии и пр. и пр., но все это — самостоятельные науки, ставящие себе свои собственные задачи и потому, строго говоря, не могущие называться только вспомогательными науками или служебными дисциплинами. Другое дело — научные специальности, которые обязаны самым своим происхождением трудностям, каким-либо неудобствам, сопряженным с пользованием некоторыми разрядами источников, или, по крайней мере, некоторым их особенностям, требующим особой подготовки либо чисто технической выучки, без каковых пользование этими источниками невозможно. Вот такие специальности и могут называться вспомогательными дисциплинами истории в тесном значении термина.

Одним словом, нужно различать знания, необходимые для понимания самой исторической жизни и отдельных категорий, под какие можно подводить разные ее явления, исторически изучаемые, с одной стороны, и знания, нужные при изучении некоторых категорий исторических источников, с другой. Только последние и можно, строго говоря, причислить к дисциплинам, имеющим исключительно служебное значение и потому играющим роль только своего рода «спутников» исторической науки*. Археология и филология, последняя в смысле изучения языков, и литература, вводят нас в понимание самой жизни прошлого, а потому хотя и оказывают особую помощь историкам при изучении ими источников, только в этой своей стороне могут быть признаны за науки вспомогательные**, как это и делается некоторыми историцистами; т. е. они существовали бы и в том случае, если бы историки и не нуждались в их помощи. Другое дело — те специальности, которые будут перечислены ниже.

Если принять в расчет, что главными историческими источниками являются письменные памятники, и что письмена очень часто разбираются с большим трудом, требующим специальной подготовки, то весьма видное место среди вспомогательных дисциплин истории занимают те, которые имеют в виду простое чтение, или дешифровку

---

* Откуда обозначение вспомогательных дисциплин у французов, как «sciences ancillaries» или «satellites».

** Ср. выше, стр. 41 и 42.

письменных начертаний. Поскольку больше затруднений возникает при чтении старинных документов, самое изучение разного рода почерков обозначается термином «палеография»*, хотя, конечно, не одна древняя письменность трудно разбирается.

Понятно, что какой-либо общей палеографии быть не может, а существуют разные специальные палеографии, как-то: греческая, латинская, славянская, русская и т. п. В каждом отдельном случае дело касается здесь, напр., и начертания букв, характеризующего ту или другую эпоху, и разных бывших принятыми сокращений (аббревиатур) и пр. В частности, под палеографией разумеют учение о письменах на бумаге или на пергаменте, иначе говоря, о рукописных документах (манускриптах), изучение же надписей на камне, металле и т. п. называется эпиграфикой**, которая точно так же подразделяется на греческую, латинскую и т. п. Иногда палеографический дисциплины получают и более специфические наименования. Наприм., за последнее время выдвинулись такие дисциплины, как папирология или остракология в зависимости от того материала, на котором мы имеем письмена: папирология занимается рукописями на папирусе, остракология — начертаниями на черепках***. Другими словами, папирология является специальною отраслью палеографии в более тесном смысле, а остракология — таким же отделом эпиграфики.

В современной науке эпиграфический материал, как известно, играет особенно видную роль по отношению к древней истории, в особенности по отношению к древнему Востоку. До XIX в. о народах древнего Востока мы знали только по известиям, сохранившимся в Библии и у греческих классиков, в прошлом же столетии получили

---

* Проф. И. А. Бодуэн-де-Куртене в книге «Об отношении русского письма к русскому языку» (1912) указывает, что начало палеографии дало рассмотрение и сравнение различий, существующих в почерках, как индивидуальных, так и коллективных (между прочим, свойственных известным эпохам), но что первая часть термина («палео») «наводит на ложное предположение, будто можно заниматься изучением только старинных рукописей, игнорируя современные и вообще более новые» (стр. 21). Самое слово «палеография» составлено из греческих παλαιος (старый, древний) и γραφή (письмо).

** От греч. ἐπιγραφή, надпись.

*** От греч. ὀστραχον, черепок, глиняная дощечка, откуда и название остракизма, приговора к изгнанию из отечества в результате подачи голосов на черепках.

большое развитие эпиграфики египетская (чтение иероглифов), ассирийская (чтение клинописи), финикийская и пр.

При изучении памятников письменности предметом исследования бывают не только самые начертания, но материал, на котором мы последние находим. Этим материалом бывает камень, глина (кирпичи, таблицы, черепки), металл, папирус, пергамент, бумага, могущие также быть в каждом отдельном случае подвергнутыми исследованию. Напр., на бумаге бывают так называемые водяные знаки (фабричные марки), по которым можно судить о месте и времени изготовления бумаги, что бывает важно для определения хронологии рукописей. Вопросы подобного рода также могут быть включены в палеографию. В теснейшей связи с последнею находятся еще некоторые особые дисциплины, к каковым, прежде всего, нужно отнести дипломатику.

Под названием дипломатики разумеется «наука», задача которой заключается в определении степени достоверности исторических документов и которая стала так называться по главной категории документов, дипломам*. Так как к памятникам такого рода прикладывались удостоверяющие подлинность печати, то и на этой почве возникла еще одна ученая специальность, сфрагистика**, учение о печатях, выделившееся в особую дисциплину около двухсот лет тому назад. Поскольку на печатях употребляются эмблемы, встречающиеся также в гербах и на монетах, к сфрагистике очень близки геральдика и нумизматика.

Термин «геральдика»*** по-русски переводят словом «гербоведение». Это — целая дисциплина, имеющая свои «правила» и, в качестве вспомогательной для истории, стоящая в ближайшей связи со сфрагистикою, поскольку изображения гербов очень часто встречаются на печатях, удостоверяющих документы. Как справочные пособия,

---

* Слово диплом (от греч. διπλωμα, нечто сложенное вдвое) обозначало у римлян всякий документ, снабженный официальной подписью и печатью. В XVII в. на Западе оно стало обозначать официальные исторические документы или акты, обращение которых в международных отношениях и послужило основанием для возникновения термина «дипломатия».

** От греч. σφραγίς, печать.

*** От старинного немецкого «Herald» (= Heeralt, старый воин), герольд: в средние века герольды на турнирах описывали гербы рыцарей в доказательство права их принимать участие в этих состязаниях. Умение разбираться в гербах и послужило основанием особой «науки».

в этой области существуют особые гербовники (сборника гербов), древнейший из которых восходит к XIV в.

Нумизматика*, или «наука» о монетах и медалях, возникшая в XVI в., занимается изучением изображений (типов), надписей (легенд) и систем всех известных монет и медалей. За последнее время развилось еще изучение так называемых античных «тессер», т. е. жетонов и марок с разными изображениями и письменными знаками, имевших очень разнообразное назначение**.

К числу вспомогательных исторических дисциплин относят и хронологию в смысле изучения разных способов, у отдельных народов, измерять время и умения переводить всякие хронологические определения событий на наше исчисление времени. Историческая (или «техническая») хронология нуждается в астрономических предпосылках (измерения года, месяца, суток) и в арифметических выкладках, равно как в фактических сведениях о разных календарях, бывших или и ныне существующих в употреблении. С измерением времени поставим рядом определение пространств и количеств всякими мерами длины, поверхности, объема, веса и т. п., изучение которых составляет предмет метрологии, тоже часто причисляемой к вспомогательным наукам истории***.

VI. КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ

Наукам, пользующимся экспериментом или непосредственным наблюдением, нет надобности заниматься констатированием своих фактов: факты находятся в самой окружающей действительности или получаются в результате произведенного эксперимента. Другое дело — история, занимающаяся фактами, которых налицо уже нет, о которых еще приходится судить, были ли они на самом деле, или являются простой выдумкой, а если были, то так ли, как об этом говорится в дошедших до нас о них известиях. Своим глазам и ушам иногда приходится не верить и исправлять рассуждением заблужде-

---

* От греч. νόμισμα, монета.

** См. М. Ростовцев. Римские свинцовые тессеры. 1903.

*** К вспомогательным наукам некоторые историцисты относят еще географию, генеалогию, библиографию и т. п., но география имеет самостоятельное значение, историческая же география входит в состав самой истории, а генеалогия имеет характер простых собраний фактических справок.

ния зрения и слуха: тем более нужно быть настороже относительно того, чему мы сами не были очевидцами. Признанию за прошлыми фактами реального значения или констатированию фактов должна предшествовать тщательная критика источников*.

В обыденной жизни сплошь и рядом встречаются разные фальсификации, большею частью с корыстными целями. С подделками и подлогами приходится иногда иметь дело и ученым, которым во всех мало-мальски сомнительных случаях следует поэтому проверять самую подлинность памятников, с которыми они имеют дело. Фабрикация фальшивых древностей — явление, хорошо известное археологам, а некоторые случаи ловких подделок получили даже громкую известность. В этом отношении, напр., большую славу приобрела так называемая Краледворская рукопись[247], на которую долго смотрели, как на настоящей древний памятник чешской письменности, пока не была заподозрена подлинность этой рукописи и ученые не пришли, наконец, к тому, что в ней мы имеем дело с «новейшим произведением древней чешской литературы», т. е. попросту с подлогом**. Не так давно администрация знаменитого Луврского музея приобрела за большие деньги великолепную золотую корону скифского царя Сайтафарна, будто бы найденную при раскопках, но оказавшуюся лишь работою искусного одесского ювелира. Иногда вещь и нельзя назвать поддельною в тесном смысле слова, но с нею по традиции соединяется неверное представление: ей приписывается не то происхождение, которое она имела, или ее неверно приурочивают не к тому периоду времени, к которому она на самом деле относится и т. п., как это случилось, наприм., с извест-

---

* Греч. χριτιχή (от χριτιχος, разбирающий, способный решать, произносить приговор), первоначально обозначало искусство, судить о языке и о словесных произведениях (литературная критика). Историческую критику делят на внешнюю (critique extorne, aussere Kritik) и внутреннюю (critique interne, innere Kritik) с подразделением каждой на разные виды, смотря по целям, какие ставят критике каждой категории источников, но и в определении отдельных видов этой критики, и в их классификации авторы исторических методологий между собою не сходится. Не вдаваясь в подробности, можно внешнюю критику отнести к подлинности исторических источников, внутреннюю — к их достоверности.

** Аналогичный подлог был сделан собирателем болгарских песен Верковичем, который в 1883 г. издал сборник песен под названием «Веда словена», в котором встречается масса мифологических реминисценций из эпохи появления арийцев в Индии, или так называемой ведической эпохи.

ною венгерскою короною св. Стефана, оказавшеюся произведением более позднего времени и притом составленным из частей различного происхождения и т. п.

Самый знаменитый исторический подлог, это — так называемый «Константинов дар» (donatio Constantini, или «вено Константиново»), акт, которым будто бы Константин Великий[248] подарил папе Сильвестру I[249] знаки императорского достоинства, город Рим, всю Италию и вообще западные провинции Римской империи. В подлинность этого дарения верили в средние века не только на Западе, но и в Византии, а на Западе не только защитники папской власти, но и ее противники, пока в середине XV в. итальянский гуманист Лоренцо Валла[250], один из родоначальников исторической критики, не доказал подложность этого документа*.

Когда мы имеем дело не с вещественными памятниками вроде упомянутой рукописи или обеих упомянутых корон, как материальными предметами, а с памятниками письменными, взятыми лишь со стороны своего содержания, приходится еще ставить вопрос, насколько верно передано нам содержание памятника, не дошедшего до нас в первоначальном виде. Наприм., произведения античных писателей вообще не сохранились в подлинных рукописях авторов, а имеются только в копиях, далеко, однако, между собою не совпадающих, что возбуждает многочисленные сомнения и порождает немало споров. При последовательных переписках, при снятии копий с копий настоящий текст легко мог искажаться и от невольных ошибок или список переписчиков, и от умышленных изменений, в него вносившихся, в виде ли пропусков или, наоборот, вставок, так называемых интерполяций, часто, впрочем, попадавших в текст по недоразумению, когда, наприм., в тексте вставлялось примечание, написанное на полях, но принадлежащее не автору, а какому-либо читателю, переписчику или специальному комментатору. Установление правильного чтения, когда есть сомнение в верности передачи настоящего текста, представляет собою иногда очень трудную и кропотливую работу, и часто, благодаря именно такой работе, те или другие филологи приобретали свою славу в ученом мире. Подобную работу называют критикою текста, и она, конечно, требует

* Сам этот документ вошел в состав Лже-Исидоровых декреталий, тоже подложных.

обширных знаний, большого навыка, а в известных случаях и значительной сообразительности.

Путем такой аналитической работы нередко обнаруживается, что произведение, почитавшееся цельным и вышедшим из-под пера одного автора, на самом деле имеет характер компиляции, составленной из отрывков разного происхождения. Если даже компилятивный характер источника с самого начала не подлежит сомнению, то и тогда важно узнать, откуда, когда, в каком порядке, с какими сокращениями или дополнениями и т. д. взяты были отдельные составные части источника. Сколько было, наприм., потрачено усилий для того, чтобы определить происхождение отдельных частей нашей начальной летописи, о чем, напр., еще так недавно издал свое исследование академик А. А. Шахматов[251], имевший, впрочем, в данном вопросе целый ряд предшественников*.

На определении подлинности или подложности вещественных памятников, а в их числе и рукописей, и на определении степени верности передачи содержания какого-либо письменного памятника еще не кончается эта работа критики источников**. Если бы у нас была в руках подлинная рукопись самого Геродота и мы были уверены, таким образом, что обладаем самым верным текстом его истории, мы еще далеко не были бы уверены в том, что все, рассказанное в ней Геродотом, было совершенно так, как он рассказывает. Самые известия о прошлом, которые заключаются в истории Геродота, требуют, равным образом, критического к себе отношения. Конечно, «отца истории» я взял только для примера: и все остальные источники, какого бы происхождения они ни были, нуждаются в тщательной критической проверке.

Легче всего, разумеется, отвергаются научною критикою известия о фактах, совершенно невозможных по природе вещей, обо всех сверхъестественных явлениях, чудесах, предзнаменованиях, пророчествах и т. п., которыми наполнены летописи веков, когда во

---

* Разыскания о древнейших русских летописных сводах, 1908. Такие работы можно подвести по французской терминологии под категорию «critique de provenance» (критики происхождения), как критику собственно текста под категорию «critique de restitution» (критики восстановления).

** Все только что сказанное имеет отношение большею частью к внешней критике, а то, что говорится дальше, подходит преимущественно уже под понятие критики внутренней.

все это верили, как в нечто реальное. О необходимости отвержения всего этого не стоило бы и упоминать, если бы только с этой стороны вносилось в исторические источники легендарное содержание. Очень часто и даже слишком часто в известии нет ничего невероятного с точки зрения естественного хода вещей, а между тем критика обнаруживает, что в основе предания лежит чистый миф, как это случилось, наприм., со спартанским законодателем Ликургом, имя которого оказывается названием местного божества. Даже тогда, когда в основе предания лежит реальный факт, известие о нем, переходя из поколения в поколение, пока не зафиксируется посредством письма, обрастает целым рядом фантастических подробностей, в которых совершенно тонет реальная основа известия. Далее, нет даже надобности в хронологической отдаленности факта и в искажении его работою воображения ряда поколений, когда и современники, то и дело, творят свои легенды по поводу текущих событий. Одна история французской революции так переплелась с разными легендами, возникавшими одновременно с ходом ее событий, что исторической науке и после целого столетия, отделяющего нас от французской революции, все еще нужно очищать действительно бывшее от легендарных примесей. Случается, что наиболее распространенное изображение события современниками, дающее окраску ходячему его пониманию и затем попадающее на страницы исторического источника, оказывается соединенными с массою пробелов, неточностей, выдумок и т. п.: communis opinio[252] современников не есть гарантия истинности.

Летописец, в широком смысле этого слова, обнимающий всех, кто только пишет о событиях своего времени, далеко не всегда видит собственными глазами то, о чем повествует или что описывает. Многое и, пожалуй, как общее правило, даже большую часть того, что он заносит в свою летопись, он только слышал от других, которые нередко сами знали то или другое опять лишь по слухам, и все это соединено еще с возможностью равных произвольный умолчаний, невольных ошибок памяти или понимания, намеренных присочинений и иных мелких или крупных отступлений от правды. Если, наконец, автор исторического известия, которым мы пользуемся, был даже очевидцем события или его участником, то и это не избавляет нас от необходимости критического отношения к его показаниям; для этого есть не одно основание.

Когда что-либо записано немедленно после того, как совершилось, закреплено, что называется, по свежей памяти, имеется большее основание ожидать, что содержание записи вернее передает то, что на самом деле произошло и как оно произошло, нежели в том случае, когда момент записи отдален от самого события на целые годы и десятилетия.

Память очень часто изменяет человеку, и нередко, восстановляя в своей памяти какое-либо происшествие, человек без всякого злого умысла восполняет позабытое или плохо припоминаемое бессознательною работою своего воображения, если не вымыслом, то примыслом. Не даром Гёте[253] дал своей автобиографии такое заглавие: «Wahrheit und Dichtung aus ineinem Leben», т. е. правда и вымысел из моей жизни. Память изменяет, но, кроме того, меняется и настроение: нечто со мною случилось и известным образом отразилось на моем внутреннем мире, известным образом поэтому запечатлелось в моей памяти, а мне об этом приходится рассказывать, положим, через десять-двадцать лет, при совсем другом настроении, и это, конечно, неизбежно так или иначе отразится на моем рассказе. Одно и то же я расскажу вообще не вполне одинаково в зависимости от общего своего настроения в разные моменты своей жизни.

Еще более приходится учитывать индивидуальные особенности очевидца, сообщающего нам о каком-либо факте. Судьи, обвинители и защитники очень хорошо знакомы с этою стороною дела — с субъективною окраскою свидетельских показаний и с противоречиями между показаниями многих свидетелей одного и того происшествия при полной добросовестности каждого из этих свидетелей. В этом направлении делались даже очень интересные опыты, когда несколько лиц, что-либо вместе видевших, просили рассказать, кто что и кто как видел, или когда им что-нибудь одновременно показывали, а потом спрашивали о показанном.

Нужно еще принять в расчет, что у повествователя-очевидца, — как, впрочем, и вообще у всякого повествователя, — могли быть свои симпатии и антипатии, предубеждения и предвзятые мысли, свои, так сказать, «коньки», вследствие которых событие, о котором нам данный свидетель оставил известие, в его изображении не могло не получить одностороннего или пристрастного освещения, историческая критика должна учитывать в особенности. И что в исследуемом источнике может быть сведено к разного рода влияниям, под кото-

рыми находился автор известия. Пристрастные или односторонние изображения событий могут быть результатом симпатий и антипатий, предубеждений и предрассудков и не чисто личного характера. Принадлежность автора известия к той или другой политической партии, к тому или другому социальному классу, к тому или другому вероисповеданию, государству, национальности и т. п. может, равным образом, придавать свою окраску известиям о фактах, идущим от лиц, которые, хотя бы даже невольно, в своих сообщениях об этих фактах становились на специфически партийные, классовые, конфессиональные, национальные и всякие иные групповые точки зрения.

В каждом сообщении о виденном или слышанном есть всегда некоторая субъективная примесь или, по крайней мере, субъективная окраска, даже тогда, когда она имеет минимальные размеры, ибо тот, кто передает о том, что он видел или слышал, всегда привносит в свою передачу нечто такое, чего в самом факте не заключалось, свое к нему отношение, свое его толкование, свое понимание его значения и т. п., а здесь всегда возможны вольные и невольные ошибки. До сих пор, говоря об искажениях действительности, встречающихся в исторических источниках, я имел в виду, главным образом, те отступления от истины, в которых нет никакой преднамеренности: человеку, что-нибудь записавшему из виденного им самим или слышанного от других, могла изменить память, или на его представлении о факте могли отразиться его общие понятия, присущее ему настроение и пр. и пр. Это случается и с самыми добросовестными и достоверными свидетелями, но ведь, кроме таковых, есть еще свидетели недобросовестные, лживые, подкупленные, показания которых не могут считаться достоверными в силу того, что они прямо ставят своею задачею скрыть всю правду или часть правды, придумать для объяснения того, чего скрыть нельзя, такие обстоятельства, которых на самом деле не было, свалить что-либо с больной головы на здоровую и втереть в глаза очки всем, кого только данный вопрос интересует. В жизни фальсифицируются не одни пищевые продукты, памятники древности, документы разного рода, но и самые факты действительности, когда из мухи делают слона, а не то так и прямо, вульгарно выражаясь, высасывают что-либо из пальца.

Далее, известия о том, что было, доходят до нас не от одних сторонних наблюдателей, не принимавших непосредственного участия, но которые видели собственными глазами или, по крайней мере, соб-

ственными ушами слышали, а очень часто и от самих участников событий, как бы ни мала была их роль в этих событиях. Понятное дело, что участник события, в общем, всегда может сообщить о нем более верные, более точные и более полные сведения, нежели посторонний зритель, которому многое остается неизвестным и не вполне ясным, но зато, с другой стороны, у людей, являющихся как раз в роли исторических деятелей и вместе с тем становящихся повествователями о содеянном ими самими, существует наибольший соблазн не быть вполне искренними и правдивыми, — немедленно ли после события такой деятель объявит свою о нем версию для современников, или же много времени спустя изложит ее для потомства, для опубликования даже нескоро после своей смерти.

Творимую историю, т. е. действительные ее факты всегда сопровождает творимая легенда, т. е. более или менее искажающие истину представления о них людей, об этих фактах говорящих, безразлично, понаслышке ли, или в качестве очевидцев и даже участников. Историческая критика должна пользоваться всякими способами в целях выделения фактической истины из тех свидетельств о бывшем, какие находит в своих источниках. Часто критика имеет перед собою совершенно неразрешимые задачи, когда, наприм., в ее распоряжении имеется лишь единственное известие, особенно если оно возбуждает какие-либо сомнения, или когда известий есть несколько, но все они отличаются слишком отрывочным характером, и т. п. В наилучшем положении по отношению к изучаемому событию находится историк в тех случаях, когда не может пожаловаться на малочисленность источников, на скудость их содержания, на отрывочность заключающихся в них сведений, хотя бы дело не обходилось без противоречий между отдельными показаниями. К числу приемов критики источников относится и проверка одних другими путем их сопоставления и систематического их сравнения. Вообще работу историка над имеющимися у него известиями о каком-либо событии можно сравнить с ведением судебного следствия, цель которого также заключается в том чтобы воссоздать, на основании показаний как самого подсудимого, так и разных свидетелей, привлеченных со стороны обвинения и защиты, картину известного преступления. И следователь, собирающий материал для составления обвинительного акта, и судьи, проверяющие данные последнего новым допросом обвиняемого и свидетелей, не могут не верить одним свидетелям больше, другим

меньше или даже совсем кому-нибудь не верить, как не могут и к самому подсудимому относиться с различными степенями доверия и должны потому не только проверять одни показания другими, но даже прибегать к так называемым очным ставкам, когда показания слишком расходятся между собою.

Выясняя характер научной работы, которую мы обозначаем, как историческую критику или как критику исторических источников, я продолжу аналогию между указываемой работой историка и ведением судебного следствия, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с одною и тою же задачею — констатировать известный факт на основании показаний о нем со стороны ли участников события, или со стороны лиц, что-нибудь о нем знающих*. Выводы из этих показаний делаются на суде, прежде всего, в речах представителя обвинения и защитника, ставящих каждый себе особую цель, по отношению к подсудимому, в зависимости от чего или вполне, или только отчасти и обвинитель, и защитник стараются изобразить самый факт преступления не так, как его противник. Историк во всех случаях, когда он стремится найти объективную истину, не должен быть ни прокурором, ни адвокатом, но и тем и другим вместе или, вернее говоря, делать то же самое, что делают, с одной стороны, беспристрастный председатель суда, взвешивающий в своем resume все доводы за и против, а с другой, добросовестные присяжные заседатели, отделяющие в своем уме вопрос о признании наличности факта от вопроса о вменении его в вину.

Сравнение можно продолжать и дальше. И для историка, и для суда особую доказательную силу имеет документ, констатирующий, напр., что такой-то А обязался заплатить такому-то В известную сумму, или один от другого получил долг обратно, или продал дом, землю, завещал свое имущество и т. п. Если только подлинность документа не возбуждает у судей сомнения, вопрос может возникнуть лишь о том, не была ли засвидетельствованная документом сделка фиктив-

---

* Сравнение задачи исторической критики с задачею судебного следствия см., напр., у Бернгейма (Lehrbuch, стр. 429). Отличие исторической критики от судебного приговора заключается лишь в том, что в суде довольствуются по отношению к подлинности документов ответами «да» или «нет», а в научных вопросах может быть и третий: «не знаю». Об этом см. Ш. Сеньобос. Исторический метод, стр. 31. Отсюда классификация утверждений как невозможных, сомнительных и не внушающих сомнений, стр. 61.

ною. Какие юридические последствия может иметь доказанная фиктивность той или иной сделки, это нас здесь не касается, но с чисто фактической точки зрения важно лишь то, что и в истории также наличность документального засвидетельствования какого-либо факта не всегда еще доказывает, что нечто в действительности вообще было или было так, как об этом говорится в данном историческом документе. Поэтому и исторические документы, подобно показаниям свидетелей, подлежат критике, притом не со стороны своей подлинности только: документ сам может быть подлинным, с наилучшими, даже официальными засвидетельствованиями, но не всему, что в нем говорится, приходится иногда верить. Павел Иванович Чичиков[254] скупал у помещиков мертвые души, которые в купчих крепостях показывались находящимися в живых; эти купчие крепости были самые подлинные документы, которые Опекунский совет без всяких колебаний мог принимать, давая хорошие деньги под залог ревизских душ, но душ-то этих в наличности не было.

Среди письменных источников — отличие документов от всех остальных видов этих источников имеет чисто внешний характер. По внутреннему своему значению иные документы могут ничем не отличаться от источников, содержание которых подвергается исторической критике в отношении прямо их достоверности. Таковы все документы с чисто декларативным характером, напр., правительственные акты, самые иногда торжественные, при помощи которых населению страны или даже всему миру старались внушить какой-либо взгляд на то или другое событие, желательный инициаторам или составителям данных актов. Здесь все равно, в какой форме делается внушение, т. е. будет ли это газетная статья, отрывок из мемуаров, частное письмо или официальный документ.

Другое дело — документы делового характера, когда составление и подписание или иное официальное засвидетельствование акта само по себе уже является историческим фактом, как в частной жизни выдача векселя или совершение купчей крепости, свидетельствующие о том, что А занял у В деньги или купил у него дом. В случаях подобного рода документ является как бы застывшим, кристаллизованным событием произведенного займа денег или совершенной покупки. Правда, и здесь возможно несоответствие формы и содержания: вексель мог быть выдан безденежный, покупка могла быть фиктивною, но раз вексель и купчая имеются налицо, все-таки это — свидетель-

ства о том, что упомянутые в документах лица, как-никак, заключали между собою сделки в форме векселя, в форме купчей. Если нет особенных оснований предполагать в каждом отдельном случае о фиктивности деловых отношений, о которых упоминается в нашем документе, ему вообще нужно верить, т. е., наприм., верить тому, что одно правительство послало другому ультиматум, такого-то содержания, что мир или союз между двумя государствами был заключен на таких-то и таких-то основаниях, что такой-то владетельный князь признал себя вассалом такого-то государя, что такой-то король пожаловал такому-то монастырю такое-то поместье, что такой-то сеньер освободил своих крепостных на таких-то условиях, что Иван снял землю у Петра за указанную плату, что в известном деле суд вынес такой-то приговор и т. п. Дальше могут, по отношению к подобного рода документам, возникать вопросы, насколько соблюдались или не соблюдались все эти договоры, обещании, обязательства, постановления и т. п., но это уже вопросы иного порядка, вопросы не о том, заключены ли были на самом деле такие договоры, давались ли такие обещания и т. п., о чем собственно и идет речь, когда констатируются факты существования всяких международных трактатов, частных контрактов и пр. и пр.

Критически относиться к содержанию исторических источников нужно не только тогда, когда из них извлекаются сведения о внешних фактах, о разных событиях, происшествиях, отношениях и т. п., но и в тех случаях, когда мы ищем в этих источниках указаний на внутренние переживания, на мысли, чувства намерения и т. д. тех лиц, из-под пера которых выходили те или другие заявления. Во многих категориях источников, которые, по-видимому, должны были быть закреплением на бумаге того, что люди на самом деле думали и чувствовали, или чего хотели, далеко не всякое лыко, по поговорке, должно идти в строку. «Условная ложь» сделалась даже крылатым словом для обозначения, наприм., всякой официальной фразеологии которую только наивные люди бывают склонны принимать за чистую монету. К дипломатическим документам нужно относиться с особенною оглядкою, потому что в международных сношениях держать карты открытыми — поведение весьма небезопасное, и выгоднее разделять взгляд, по которому язык нам дан, чтобы мы могли легче скрывать свои настоящие мысли. Наивно было бы думать, что любой документ из дипломатической переписки двух правительств — только одна ис-

кренность и правда. Другими словами, с субъективною достоверностью многих источников и в их числе документов дело обстоит не лучше, чем и с достоверностью объективною, разумея под последнею соответствие данных, заключающихся в источнике, с фактами внешними, т. е. с событиями, отношениями, а под достоверностью субъективною — соответствие таких данных с действительными внутренними переживаниями лиц, от которых или от имени которых мы имеем те или другие заявления.

Блестящий пример исторического источника, субъективная достоверность которого может быть заподозрена, представляют собою знаменитые наказы 1789 г., один из наиболее важных источников для изучения внутреннего состояния Франции и настроения ее населения перед взрывом великой революции. Термином «наказы» у нас принято переводит французское название этих документов «cahiers de doleances», как обозначались во Франции инструкции, дававшиеся населением своим выборным в собраниях государственных чинов. Весною 1789 г. таких наказов было составлено тысяч десятка три, если не четыре, — громадный исторический материал, важное значение которого не подлежит сомнению. Многие историки даже называли его «завещанием старой Франции» и целою программою реформ революции. По числу своему в этом богатом материале занимают первое место наказы сельских приходов, могущие быть названными и крестьянскими. Можно ли, однако, думать, что приходские наказы, верно отразили на себе настоящие мужицкие думы в период выборов в генеральные штаты 1789 г.? Сельское население Франции было невежественным и безграмотным, а между тем его наказы отличаются литературностью и подчас претензией на ученость. Только наивные исследователи из последнего факта могли делать тот вывод, что в дореволюционной Франции народное образование стояло очень высоко, тогда как дело объясняется проще (притом на основании фактических же данных) — участием в составлении приходских наказов разных более интеллигентных лиц, каковы священники, мелкие чиновники и пр. Если в крестьянских наказах встречаются требования политического содержания — о народном представительстве, об ответственности министров и других подобных вещах, то, вне всякого сомнения, это не были подлинные требования самих крестьян, и, наоборот, сплошь и рядом мы не встречаем в приходских наказах заявлений о тягости налогов, об обременительности помещичьих

поборов, о произволе сеньериальных судей, всецело зависевших от благородных землевладельцев, и о многом другом, на что крестьяне не жаловаться не могли и о чем не могли не говорить. Дело в том, что на выборы в деревнях (это засвидетельствовано документальными же данными) и вместе с тем на составление наказов оказывали влияние и даже производили настоящее давление люди не из крестьянской среды, которые были за сохранение феодального режима, наприм., в особенности сеньериальные судьи, кормившиеся от этого режима. Изучение приходских наказов со стороны их субъективной достоверности показало поэтому, что далеко не все, а только некоторая часть приходских наказов заслуживает название зеркала, в котором отразилось действительное настроение сельской народной массы, — те именно «cahiers de doleances», в составлении которых, так ли, сяк ли, принимали участие сами крестьяне*.

Этот пример показывает, кроме того, как важно для правильной оценки действительного значения исторического источника знать его происхождение. Историк вообще не может пренебрегать историей как происхождения источников, которыми пользуется, так и их судеб, если источники дошли до него не в первоначальном своем виде. Часто и даже слишком часто случается, что не известны ни время**, ни место, где и когда интересующее нас произведение увидело свет, ни его автор, ни обстоятельства, при которых оно было написано, ни многое другое, о чем историку иногда очень хотелось бы знать для того, чтобы правильно судить о данном произведении, как историческом источнике. В прежнее время, когда вообще критическое отношение к источникам было гораздо менее развито, охотно верили во всякие традиционные приурочения тех или других общеизвестных произведений, могущих служить историческими источниками, к определенным лицам, как их авторам, и к определенным периодам времени, как к эпохам их возникновения. Для исторической критики

---

* Ссылаясь на книгу А. Ону «Выборы 1789 г. во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны» (1908).

** Для примера сошлюсь на громадное исследование проф. Н. М. Бубнова «Сборник писем Герберта по рукописям, как исторический источник» (1888–1889): в этом исследовании устанавливается хронология писем Герберта (впоследствии и папы Сильвестра II), оставившего большую переписку, из которой историк почерпает массу известий из конца X века.

небезразлично, соответствуют ли действительности подобные традиционные обозначения или нет, а когда оказывается, что традиция не имеет под собою реальных оснований, небезразлично также и то, каким образом и почему возникла отвергаемая традиция. Одним из главных поприщ, на которых изощрялась критическая мысль по вопросу о происхождении, авторстве и времени написания отдельных памятников письменности, были древне-еврейская и ранняя христианская литературы, очень поздно, впрочем, сделавшиеся предметом научно-критического исследования в качестве исторических источников.

Священное писание Ветхого и Нового завета давно подвергалось критике свободных мыслителей со стороны всего, что только заключается в их содержании сверхъестественного и чудесного, но только в XIX в. возникла критика отдельных составных частей Библии, как исторических источников именно со стороны их подлинности, состава, времени возникновения, приписывания их тем или другим авторам и т. п., что, конечно, разрушало установившуюся по всем этим вопросам традицию.

Историческая критика есть по преимуществу создание XIX века. Нередко она превращалась в то, что можно назвать иперкритикою, приводящей, в конце концов, к крайнему скептицизму, при котором никакая история не была бы даже возможна. Я говорю здесь не о скептическом отношении к достоверности истории вообще, вытекающем из того соображения, что у нас нет гарантии в верном понимании нами чужой психики, а о скептическом отношении другого рода, относящемся к неполноте, неточности, неискренности, прямой лжи, противоречивости и другим недостаткам исторических источников. Для таких скептиков история является просто «условною баснею» (fable convenue), т. е. небылицею, которую люди сговорились или молчаливо согласились принимать за правду. Огульное, без детальной критики, опорочение всех исторических источников само по себе ненаучно, как и всякая предвзятая мысль. Нельзя не считаться с тем фактом, что жестокая критика, которой сто лет тому назад стали подвергаться исторические источники и которая разрушила немало традиций с историческим содержанием, вовсе, однако, не имела результатом принципиального скептицизма относительно всякой исторической достоверности. Главное назначение критики не порождать общее неверие в достоверность источников, а только

приучать нас быть всегда настороже относительно возможных в источниках неверностей*.

Критика источников требует не только известных умственных навыков, но и большого запаса знаний, между прочим, и в области соответственных вспомогательных дисциплин. Нужно прибавить, что некоторые историцисты к разным видам критики (точности, правдивости и т. п.) относят и интерпретацию, т. е. толкование того, что хотел сказать автор источника; это составляет чисто филологическую работу, касающуюся смысла слов, буквального или условного, переносного, или поскольку значение слов меняется с течением времени, по отдельным местностям, у разных авторов, в зависимости от соседства с другими словами и т. п. Иначе говоря, в известных случаях при изучении источников требуется особое знание тонкостей языка, — условие, которое должно предшествовать всякой другой критике**.

VII. КОНСТАТИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ

Результатом исторической критики должно быть определение вообще степени достоверности имеющихся в нашем распоряжении источников и установление верности или неверности сообщаемых этими источниками известий. О последних мы можем притом говорить также с разными степенями уверенности, принимая одни за вполне или почти несомненные, другие за более или менее вероятные,

---

* О значении критики Сеньобос: «Критика не может ничего прибавить к общей массе доказательств, она может только урезать воображаемые доказательства; критика дает только отрицательный результат»... Она «противоречит нормальному складу умственных способностей человека, и верить тому, что говорят, есть прирожденная склонность человека... Критику надо применять во все моменты исторической работы; необходимо это противоестественное течение мысли превратить в органическую привычку». Исторический метод, стр. 25 и 28.

** В этой области возникла даже особая научная дисциплина под названием «герменевтики» (т. е. Ἑρμενευτιχή, искусство изъяснения): это — учение о способах объяснения текстов по возможности ближе к тому смыслу, который в них вложен самим автором. В особенности этот термин всегда употреблялся в применении к объяснению библейских текстов. Иное название герменевтики — «эксегетика» (от греч. ἐξήγησις, эксегеса, изъяснение). Прибавлю, что термину «интерпретация» авторы исторических методологий придают не всегда одно и то же значение (напр., у Ланглуа-Сеньобоса более тесное, у Бернгейма более широкое).

третьи за несколько сомнительные или даже очень сомнительные, четвертые за безусловно неверные. Первая обязанность историка — выделять объективную, фактическую истину из массы всякого рода неверностей, которыми она обрастает в процессе устной либо письменной передачи участниками и очевидцами событий или людьми, только слышавшими о том и этом от других. Годное зерно отвеивается от мякины, от семян сорных трав, от всяких инородных примесей; крупинки золота отделяются от ничего не стоящего песка: так и в исторической науке то, что может быть ее материалом, отвеивается, отмывается от того, что наука признает недостоверным.

В каждом историческом источнике, заслуживающем внимания, иногда не все одинаково бывает верным. Если источник содержит сообщения о многих фактах, о каждом из последних можно говорить особо, признавая его либо достоверным, либо только вероятным, либо сомнительным, либо вне всяких сомнений кем-нибудь сочиненным. Каждое событие, о котором нам говорят исторические источники, равным образом, подлежит анализу, раз факт представляется нам сколько-нибудь сложным. Событие может быть вполне достоверным, но подробности, которые нам о нем сообщаются, могут быть не вполне верными или же и совсем неверными. Можно даже принять за общее правило, что в подробностях-то обыкновенно и бывает наибольшее количество ошибок.

Чем общее какой-либо исторический факт, существование которого засвидетельствовано достоверными источниками, тем менее у нас о нем может быть споров: это — вообще крупные факты, вроде существования Афинской республики, войны 1812 г.[255], чартистского движения в Англии[256] и т. п. Но каждый крупный (общий) факт есть сумма фактов более мелких (частных), каждый из которых, в отдельности взятый, может быть и мало нам известным, и не вполне ясным, и вообще спорным, а иная подробность окажется и совсем небылицею, от чего, однако, наше доверие к самому общему факту не колеблется.

Просеянные, так сказать, через сито исторической критики отдельные элементы нашего знания о прошлом очень часто бывают слишком отрывочны для того, чтобы мы могли пользоваться ими для восстановления интересующих нас фактов в полном виде. Это, впрочем, случается не в одной исторической науке. Палеонтологи знают это, быть может, даже лучше всех иных специалистов таких

отраслей знания, где приходится иметь дело лишь с сохранившимися частями изучаемых предметов, а не с самими предметами в целом их виде. Знаменитый естествоиспытатель Кювье[257] говорил, что если ему покажут только зуб какого-нибудь неизвестного животного, исчезнувшего давным-давно с лица земли, он сумеет восстановить весь внешний облик этого организма. Очень может быть, одного зуба для этого и мало, но палеонтологи идут, несомненно, этим путем, когда по некоторым частям скелета судят обо всем скелете, а по скелету и о внешнем виде разных «допотопных» чудовищ. Археологи тоже занимаются аналогичной реставрационной работой, когда, напр., по развалинам древнего храма, т. е. по сохранившимся кое-где стенам и колоннам или только отдельным кускам колонн пытаются представить себе, какой вид имел разрушенный храм, когда он только что был отстроен и стал обиталищем божества. В историческом материале также заключается множество всякого рода лишь обломков и отрывков интересующих нас фактов или только второстепенных подробностей чего-либо существенно важного. Обозначим исторический факт, как сумму отдельных элементов a, b, c, d, e, f, g, h, выразим его формулой a + b + c + d + e + f + g + h, а затем представим себе, что о некоторых слагаемых, напр., a, d, f, g у нас нет никаких данных, а о некоторых других есть лишь отрывочные данные; тогда все наше знание о факте выразится, положим, такой формулой: $b + {}^{c}/_{2} + {}^{c}/_{3} + h$. Конечно, такое знание не будет полным, явится знанием с множеством пробелов, которые историк-художник или исторический романист восполнит работой своего воображения, а историк-ученый или мыслитель постарается восполнить путем логических рассуждений. То, что у историков нередко есть по части достоверных данных о каком-либо событии, я сравнил бы с остатками художественного мозаичного портрета, из которого вывалилось и затерялось множество кусочков, входивших в состав мозаики, так что в изображении оказались ничем незаполненными некоторые места, а иные пробелы притом образовались в особенно важных пунктах. Впрочем, бывает и еще хуже, когда сохранившиеся кусочки и не остались на своих местах, а беспорядочно смешались в одну кучу. Археологам и такие случаи хорошо известны, когда, наприм., приходится прилаживать один к другому черепки редкостного сосуда, чтобы потом, когда все слажено, их склеить и получить сосуд в его настоящем виде, хотя бы и не без некоторых изъянов. Нередко и историк стоит (и даже

чаще, чем многие думают) перед таким же склеиванием отдельных кусочков для получения некоторого, хотя бы и попорченного целого. О многих фактах прошлого мы даже узнаем не потому, что о них сохранились прямые известия, а потому, что ученые историки воссоздали эти факты, надлежащим образом скомбинировав разрозненные свидетельства, относящиеся к другим фактам.

Достоинство научного знания, прежде всего, заключается в его точности. Точность в пределах возможности является идеалом и исторической науки, и ради именно соответствия знания с действительностью предпринимаются кропотливые исследования о том, насколько исторические источники дают нам достоверное знание о прошлом. Наше желание знать, однако, не удовлетворяется одним точным знанием. Если в одних отношениях мы готовы иметь очень ограниченное количество сведений, лишь бы каждое из них было достоверно и точно, то в других мы удовлетворяемся только вероятным и приблизительным. Лишь бы в знании нашем не было пробелов, лишь бы оно было полно. Исторические источники молчат о многом, о чем мы, однако, желали бы знать, хотя бы в общих чертах, без конкретных подробностей, и хотя бы гадательно, без прямых доказательств. Констатировать факты, о которых говорят достоверные свидетельства, еще не значит иметь знание обо всех интересующих нас фактах: многие из них находятся, так сказать, в скрытом состоянии, и для полноты исторического знания, без которой доподлинно известные факты подчас не имеют никакой цены, очень важно бывает проникать умственным взором и в область этих скрытых фактов.

Скрытые факты, это — такие явления истории (события, учреждения и т. п.), «относительно которых исследователь, руководясь непосредственным выводом из существующих данных, имеет основание делать предположения с меньшею или большею, но не полною определенностью»*. Именно, отсутствие последней и отличает скрытый факт от известного, как, с другой стороны, наличность хотя бы

* Самый термин «скрытые факты», — равно как и понятие, и определение скрытого факта, — я, сколько помнится, встретил в первый раз в книге покойного С. А. Муромцева «Очерки общей теории гражданского права» (М., 1877. Ч. I), в которой есть целая глава «об исследовании скрытых исторических фактов, в применении к истории гражданского права» (стр. 53–122). Ссылаюсь на эту главу ввиду того, что в ней обстоятельно разработан вопрос, часто совсем обходимый молчанием в методологиях истории.

некоторой определенности отличает его от факта вовсе неизвестного. Следует различать скрытые факты, совсем не засвидетельствованные в источниках и засвидетельствованные недостаточно ясно. Во втором случае, как-никак, сам источник может навести историка на мысль о констатировании скрытого факта, тогда как в первом случае, т. е. когда в источниках нет никаких указаний, вся инициатива исследования должна принадлежать самому исследователю, раз только им сознается какой-либо важный пробел в его фактических знаниях о том или другом предмете. Конечно, в том случае, когда есть возможность прицепиться к чему-либо строго фактическому, исследование скрытых фактов может быть более успешным и приводить к более конкретным, хотя бы и гипотетическим результатам, нежели тогда, как историк желал бы что-либо узнать лишь на основании и при помощи общих соображений или аналогий с другими однородными, более известными нам фактами*.

В сущности, область скрытых фактов есть достояние гипотез, без которых не обходится ни одна наука, гипотез, необходимых там, где бессилен эксперимент, невозможно наблюдение, отсутствуют прямые свидетельства. Было бы ошибочно полагать, что гипотезы бывают только в общих теориях и потому могут иметь лишь номологический характер, т. е. что их задача — объяснять известные явления, данные нам где бы то ни было и когда бы то ни было. Кроме таких гипотез, есть еще и другие, с содержанием идиографическим, когда предположение делается по отношению не к известному разряду явлений, а к какому-нибудь отдельному предмету, хотя бы таковым была и некоторая коллективность. Всякие реставрации допотопных ихтиозавров или афинского акрополя времен Перикла, римского форума при империи, какие нам даются палеонтологами и археологами прямо в рисунках, суть, несомненно, изображения гипотетические и,

---

* Муромцев особенно подчеркивал роль общих соображений в этом деле, говоря, наприм., что «заключение о скрытом от нас историческом факте... всегда покоится на выводах из некоторых общих предложений, которых качества, — прибавляет он, — отражаются на достоинстве заключения» (стр. 49). В другом месте он подчеркнул, что здесь все было не в выводе общего закона, а в познании единичного исторического явления. Своеобразный логический процесс, названный у него исследованием скрытых фактов, по его же словам, «не стремясь обогатить науку познанием того, как происходят исторические события, имеет целью раскрыть, что именно произошло во время и в месте, скрытых от наблюдения историка» (стр. 103).

как все гипотетическое, лишь приближающиеся к тому, чем на самом деле были ихтиозавр, афинский акрополь и римский форум.

Во всякого рода реконструкциях такого рода деятельную роль играет воображение, и самый процесс воссоздания того, что не может быть предметом непосредственного наблюдения или что даже не сохранилось в снимках, есть процесс художественного творчества, хотя бы и сдерживаемого в известных границах некоторыми объективными данными. Исследование скрытых фактов, не могущее претендовать на то, чтобы давать представление о них со всеми их конкретными подробностями, гораздо менее уже напоминает о процессе художественного творчества, так как всецело является процессом логического рассуждения на пути от чего-либо принятого за известное к некоторому искомому неизвестному. Конечно, предположительное всегда нужно строго отличать от более или менее прочно установленного и помнить, что гипотетические ответы могут быть лишь временными ответами, нуждающимися в новых аргументах и подлежащими постоянной проверке, и что предположительные решения научных проблем имеют часто значение простых, как их называют, рабочих гипотез, лишь направляющих исследование на новый путь. Признание чего-либо фактом на основании общих соображений часто падает, как неосновательное, но случается, конечно, и так, что факты впоследствии подтверждают удачную догадку и превращают ее в доказанную истину.

Отрицать значение счастливых догадок в истории, или исторической девинации не приходится, но не она — главное в констатировании фактов и в реконструкции прошлого. Думать иначе значит признавать историю не наукой, а искусством и в «живой интуиции», как это мы находим у некоторых современных историков, видеть истинный путь исторического познавания, который будто бы может быть только путем поэтических переживаний прошлого.

Без работы воображения не обходится, в тех или других размерах, ни одна наука, но воображение воображению рознь: одно оно у поэта, совсем другое — у ученого. И в поэзии, и в науке оно носит в себе творческое начало, но в науке творчество менее свободно, более зависит от фактов и ближе подходит к логическому процессу, нежели в поэзии, да и результаты получаются разные. Автор исторического романа или исторической драмы может вообразить и очень живо и ярко изобразить какую-нибудь характерную для эпо-

хи сцену, о которой, однако, не только не упоминается ни в одном источнике, но которой на самом деле никогда не было, т. е. которая родилась в голове самого поэта, как плод его творческой фантазии. Дозволенное и в исторической работе воображение так далеко идти не может: историк не позволит себе сочинять то, чего заведомо не было, а если и внесет в свое повествование что-либо такое, о чем прямо не говорится ни в одном источнике, то лишь в качестве логического вывода из тех или других научно-обоснованных посылок. Так он будет поступать и тогда, когда займется скрытыми фактами, и когда путем умозаключений из ряда мелких, но разбросанных черт сумеет воссоздать какой-либо крупный факт, непосредственно не засвидетельствованный никаким источником.

Об обобщающей работе в истории речь будет идти дальше, когда от изучения историком отдельных фактов мы перейдем к изучению им целых процессов, состоящих из отдельных фактов. Однако, и здесь необходимо коснуться этого предмета, поскольку историку приходится, напр., давать цельное изображение одного какого-либо события на основании разных, одни от других независимых показаний, притом такого рода, что, не совпадая между собою, они тем не менее одни другими дополняются. Без помощи воображения такая работа успешно происходит не может, и, конечно, это будет своего рода творчество, только без прямого сочинительства.

Употребляя выражение «исторический факт», мы хорошо знаем, о чем говорим, хотя и не даем этому понятию точного определения и не задумываемся над его значением*. Историческими фактами мы называем и то, что во Франции в начале XIX в. царствовал Наполеон, и то, что он вел беспрерывные войны, и то, что в 1812 г. он вел войну с Россией, и то, что в этой войне было Бородинское сражение, и то, что в последнем был убит, наприм., генерал Тучков[258], или что после Бородинского сражения русская армия отступила и оставила Москву без защиты и т. д. Одинаково же и существование Афинского государства — факт, и война Афин с персами в начале V в. до Р. Х. —

* «Factum» значит по латыни сделанное, содеянное и, конечно, предполагает кого-либо, кто нечто данное совершил, но с течением времени слово это приобрело, так сказать, более безличное значение того, что произошло, что было, что имело место. Чума в Афинах во время Пелопоннесской войны, извержение Везувия, погубившее Помпеи и Геркулан, лиссабонское землетрясение 1755 г. и т. п. могут быть названы фактами, хотя и не были содеяны какими-либо людьми.

факт, и саламинская битва — факт, и участие Фемистокла[259] в этой битве — факт. Из этих двух примеров мы видим, что один факт может быть частью другого факта, эпизодом события, эпизодом эпизода. Другими словами, есть факты, заключающее в себе множество других фактов, то большее, то меньшее их количество, одни вследствие этого более сложные, другие — более простые, но каковы бы они ни были, мы всегда называем фактом нечто, выделяемое нами из всего остального, нам известного, обособляемое от всех других соседних фактов, отграничиваемое от них точными указаниями, где и когда это нечто было, и получающее от нас свое особое имя или, по крайней мере, что-то вроде собственного имени. Господство Наполеона I во Франции мы отграничиваем от предшествовавшего ему республиканского строя и от сменившей его реставрации Бурбонов, с одной стороны, с другой же от царствований его современников: Александра I[260] в России, Георга III[261] в Англии, Фридриха-Вильгельма III[262] в Пруссии и т. д. В совокупности всех войн, какие велись в царствование Наполеона, и которые мы поэтому называем наполеоновскими, мы различаем отдельные войны и обозначаем их хронологическими датами или такими терминами, как русский поход (у нас «Отечественная война»), немецкая война за освобождение. В каждой отдельной войне, как обособленном событии, мы имеем перед собою ряд отдельных сражений, каждому давая особое название по месту, где оно произошло, или как-нибудь иначе, вроде Аустерлицкого сражения «трех императоров»[263] или Лейпцигской трехдневной «битвы народов»[264].

Исторический факт всегда является приуроченным к определенному месту и к определенному моменту времени. Наполеон царствовал во Франции и был императором от 1804 до 1814 г. Главная его война с Россией велась в пределах самой России в 1812 г. и притом на территории, границы которой можно точно обозначить. Самая кровопролитная битва в этой войне произошла при селе Бородино 26 августа и длилась столько-то часов, от такого-то часа до такого-то. Именно, в случае события, состоящего из ряда моментов и, следовательно, длительного, мы отмечаем (более или менее точно, когда можем, или лишь приблизительно) наступление и окончание события, как это делают и натуралисты, когда имеют дело с солнечным затмением, землетрясением, прорастанием семени и т. п. Все даже кажущиеся нам моментальными события, напр., смерть в сражении, отграничиваются, равным образом, одни от других хронологически,

моментами начала и конца, и каждое рассматривается, как некоторое отдельное целое, но, собственно говоря, это мы сами объединяем отдельные моменты в общее представление некоторого события. Исторический факт, как предмет изучения, нельзя уподобить материальному предмету, точно отграниченному от других предметов в пространстве. Без некоторой условности здесь дело не обходится, и потому столь часто историки спорят, что считать за начало и что за конец того или другого события или процесса.

VIII. РАЗДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ НА ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ

Исторические факты, это — все то, что было в прошлом как ныне существующих, так и когда-то существовавших народов и о чем мы имеем верные известия. Присматриваясь ближе к этим фактам, мы можем различить между ними две категории, смотря по тому, можем ли мы говорить, что такой-то факт случился, произошел, совершился (или как-нибудь еще в этом роде) или же должны пользоваться какими-либо другими глаголами, которыми обозначается существование. В древней Греции существовала вера в Зевса; в Римской империи существовал колонат (прикрепленное к земле крестьянство); в средневековой Германии существовали вольные города; во Франции перед революцией существовала мелкая крестьянская собственность; в допетровской Руси существовало местничество и т. д. в подобном роде, но нельзя сказать обо всех этих фактах, что они случились, совершились или произошли. Наоборот, мы всегда можем сказать, что произошла битва, отнюдь не существовала битва или совершилось падение государства. Факты первой категории мы называем событиями (происшествиями), — ибо именно события совершаются, — и можем называть еще фактами «былевыми». Тогда для фактов другой категории удобным термином будет быт, факты «бытовые», ибо все это — явления, входящие в содержание понятия быта, в частности быта религиозного (вера в Зевса в нашем примере), быта социально-экономического (колонат в Римской империи, крестьянская собственность в дореволюционной Франции), быта государственного (средневековые вольные города) и т. п.

Первоначально история занималась, главным образом, былевыми фактами, событиями или происшествиями. Само немецкое обо-

значение истории — «die Geschichte» — стоит в связи с глаголом «geschehen», т. е. случаться, происходить*. Если исключить события, происходившие вследствие действия сил природы (разрушение Геркулана и Помпеи извержением Везувия, лиссабонское землетрясение 1755 г., наводнение 1824 г. в Петербурге), все остальные были делом рук человеческих, — все войны, революции, государственные перевороты, восстания, усмирения восстаний, воцарения новых династий, падения старых или же падения целых государств, реформы всякого рода, открытия, изобретения, — всего и не перечислишь. В последнем анализе все чисто исторические события сводятся к человеческим действиям, будучи лишь суммами отдельных поступков отдельных людей, будет ли то борьба, работа и т. п.; недаром по латыни такие исторические факты могли получить название «res gestae», а повествование о них было обозначено, как «historia rerum gestarum»**. В старину и у нас было в ходу слово «деяния», как своего рода синоним истории, а у западных славян это и теперь еще в ходу: так, поляки заменяют слово «история» словом «dzieje», чему у чехов соответствуют термины «deje» и «dejiny». Принимая это в расчет, мы имеем право назвать события фактами прагматическими, от греческого τα πράγματα (дела) одного корня с прилагательным πραχτιχος, откуда употребляющиеся у нас слова «практика», «практический».

Предлагая называть былевые факты прагматическими, я считаю нужным оговориться, что в применении к истории термин «прагматизм» уже давно был в употреблении***. Прибавлю еще, что истори-

---

* Geschichte, это — то, что происходит (geschicht) или происходило (geschen ist).

** Первоначально имелись в виду лишь воинские подвиги.

*** Греческое πραγμα одного корня с глаголом πράσσω — делаю, совершаю и с существительным πράξις — дело, занятие, поступок, имеет довольно разнообразные значения, основным из которых является понятие сделанного дела. Различные значения имеет прилагательное πραγματιχός (занимающийся, деловой, опытный, сведущий и т. п.). Более частное значение обоих слов, это — «государственные дела» и «занимающийся государственными делами». Что касается до сочетания слов «прагматическая история» (ἡ πράγματιχή ιστορία), то оно впервые встречается у греч. историка II в. до Р. Х. Полибия (кн. I, гл. 2) и обозначает как раз то, что в его истории речь, идет о государственных делах. Позднее этот термин стали понимать в смысле поучающей истории (ср. die lehrhafte Geschichte у Бернгейма), хотя Полибий, собственно, такую историю называл иначе, а именно αποδειχτιχή ιστορια, «аподиктическая (доказывающая, высказывающая мнение) история». По-видимому, отождествление прагматизма с на-

ческий прагматизм в том смысле, в каком этот термин будет употребляться в дальнейшем изложении, ничего общего не имеет с новейшим философским прагматизмом*.

Прагматическая история была первою формою повествовательной литературы о прошлом народов. Однако, уже у отца истории, Геродота, кроме рассказа о событиях, мы находим описания нравов, обычаев, образа жизни и т. п. виденных им народов. Бытовая история, впрочем, долго стояла на заднем плане и в лучшем случае играла роль некоторого придатка к истории былевой, вроде параграфов «о внутреннем состоянии» в старых школьных руководствах. Первый, кто сознательно противопоставил бытовую истории былевой, был Вольтер, издавший в 1766 г. знаменитый «Опыт о нравах и духе народов». То, для чего Вольтер не придумал лучшего названия, как «нравы и дух», впоследствии стало обозначаться словом «цивилизация», что в близком, но не совсем точном переводе может быть по-русски передано словами: «гражданственность» или «образованность». В первой половине XIX в. Гизо[265] написал свои «истории цивилизации» во Франции и в Европе; в середине прошлого столетия Бокль прославился своей «Историей цивилизации» в Англии и т. п. То же самое понятие немецкие ученые предпочли обозначать термином «культура»**, хотя оба эти слова в обычном употреблении и не вполне между собою совпадают, да и самому термину «культура» даются неодинаковые толкова-

---

ставительностью ведет начало от Kohler (De historia pragmatica, 1714): у него истории, рассказывающей голые факты, противополагается такая, «которая научает (instituit) читателя, чему полезному он должен следовать, и чего вредного избегать в гражданской жизни». В этом последнем смысле родоначальником прагматической (поучающей) истории стали считать Фукидида, но так как в его изложении начали обращать особое внимание на заботу о нахождении причин событий, то иные прагматизм и усмотрели именно в этом последнем приеме Фукидида. Пора вернуть термину значение, приближающееся к первоначальному, и тем устранить довольно-таки произвольное его употребление. (Вообще я мог бы здесь привести целый ряд не одинакового толкования выражения «прагматическая история»).

* Если бы слово «factum» сохранило свое первоначальное значение содеянного (кем-либо), прагматическую историю можно было бы назвать фактическою, но дело в том, что слово «факт» приобрело более широкое значение бывшего вообще; ср. прим. на стр. 94.

** Известный русский социолог П. Л. Лавров предлагал называть культурою данное бытовое состояние, а цивилизацией процесс развития культуры, в смысле ее перехода с одних ступенек на другие, но это предложение, к сожалению, ни обратило на себя внимания. См. его работу «Цивилизация и дикие племена».

ния*. Это не помешало, однако, тому, что во французском лексиконе недавно появилось новое прилагательное «culturel», культурный. Наконец, первоначально в обоих терминах заключался элемент оценки, когда, напр., цивилизованным или культурным народам противополагались народы варварские или дикие, — народы, так сказать, в естественном состоянии (одни — Kulturvolker, другие — Naturvolker). В дальнейшем у нас культура будет употребляться в смысле быта вообще, безотносительно к более высокой гражданственности и образованности. Нет ни одного народа или племени на земли, у которого не было бы известных верований, обычаев, общественных порядков, т. е. не было бы быта, не было бы культуры, как бы некультурна (в другом значении слова) ни была эта культура. Кровавая месть, конечно, есть явление некультурное, но тем не менее оно есть явление, характеризующее ранние ступени культуры, взятой в смысле быта вообще. При отождествлениии культуры с бытом вообще бытовые факты истории могут называться культурными фактами, как бы ни были они, на наш взгляд, некультурны. Откажемся здесь от всякой субъективной оценки для того, чтобы строго держаться подведения фактов под известную общую категорию лишь на основании объективного признака, их объединяющего.

«Культура» значит, как известно, возделывание, обработка**: дикий лес выращен самой природой, сады и огороды — продукты человеческой культуры. Такое возделывание, такая обработка может быть направлена на саму природу, и мы тогда говорим о материальной культуре народа, низка ли она или высока, и по тем продуктам, которые получаются в результате обработки материальных предметов, мы судим о технике разного рода производств у данного народа, о его прикладных знаниях, умениях, навыках, приемах, при помощи которых обеспечивается, прежде всего, его материальное существование. Другую категорию культурных фактов представляют собою

---

* Нельзя также не пожалеть, что у нас, особенно среди той части учащейся молодежи, которая специально историей не занимается, большою популярностью пользуется мысль о какой-то особой «истории культуры», отличной от «простой» или «обыкновенной» истории, хотя под симпатичным термином обыкновенно понимаются очень разнообразные вещи.

** Термин стоит еще в связи со словом «cultus» в довольно различных смыслах и богопочитания (культа), и заботы о своем духовном развитии (cultus animi) или об удобствах жизни (cultus vitae).

те, в которых выражается происходящая в жизни обработка самого человека, своего рода его воспитание не только в приобретении известных технических умений, но и в усвоении разных представлений, понятий, идей, знаний, чувствований, настроений, стремлений, равно как в развитии духовных способностей, вложенных в человека природою. Это — явления культуры духовной, исторические элементы которой составляют язык, мифология, фольклор, религия, философия, наука, литература, искусство. Наконец, постоянную обработку испытывает и само общество в своих более или менее прочно установившихся формах, и разные проявления общественной культуры мы подводим под такие понятия, как государство, право, народное хозяйство. Все это быт, все это культура: и то, как пашется земля, и то, как одеваются люди, строятся дома, перевозятся товары, и то, в каких богов верят и как им молятся, или как представляют себе вселенную, какие поют песни, что знают о своем прошлом, и то, наконец, кто стоит во главе управления и как управляет, какие законы существуют для имущественных отношений, как производится суд над преступниками, в каком отношении находится население к земле, им возделываемой, — всего здесь и не перечтешь.

Вглядываясь в культурные факты ближе, мы видим, что между ними можно установить некоторые разряды, даже целую классификацию. Мы только что сделали различение между материальною или техническою культурою, культурою духовною (образованностью) и культурою общественною (гражданственностью), но и в каждой из этих категорий есть свои подотделы с специальным характером: религия не то же самое, что философия, а философия не то же самое, что наука, или, с другой стороны, политические факты мы отличаем от юридических, а юридические — от экономических. Сколько бы, однако, мы, наблюдая действительную жизнь, ни создали таких специальных категорий, каждая из них, в последнем анализе, сведется к наиболее часто повторяющимся в разных сторонах народной жизни формам физической и психической деятельности людей, к приемам возделывания земли, способам обработки металлов, умениям передавать свои мысли на расстоянии, привычкам то или другое понимать известным образом, обычаям разного рода, тем или другим особенностям взаимных отношений между властвующими и подвластными, тем или другим нормам взаимного поведения, установившимся порядкам владения и пользования землей и пр. Все эти

приемы, способы, умения, навыки, привычки, обычаи, нравы, отношения, порядки, нормы и как бы мы их там еще ни называли, все это — формы, в которых протекает деятельность людей, и эти формы в каждом обществе повторяются бесчисленное множество раз. Если, в конце концов, события разлагаются на отдельные действия отдельных лиц, в событиях участвующих, то и культура разлагается на специальные формы, объединяющие каждая большое количество случаев: землю одинаковым образом пашет множество крестьян, какой-либо страны; в Зевса и других богов-олимпийцев одинаково верили целые поколения греков; Людовику XIV одинаково повиновалось не только за страх, но и за совесть подавляющее большинство французов второй половины XVII в.; переход наследств совершается почти во всей России, где только действует X том Свода Законов, одинаковым образом и т. п. Каждое событие индивидуально, каждая форма имеет коллективный характер, но из этого отнюдь не должно следовать, что культурные формы не являются предметам идиографического изучения.

Итак, исторические факты могут быть разделены, с одной стороны, на события, факты былевые, прагматические, и с другой — на формы быта, факты бытовые, культурные*. Придавая этому разделению большое значение не только в теории исторического знания, но и в теории исторического процесса, я считаю себя здесь обязанным рассмотреть одно возражение, которое недавно было сделано

---

* Это разделение исторических фактов на прагматические и культурные мы найдем — с другими только названиями — у разных историцистов. Наприм., Bourdeau «L'histoire et les historiens» (1888) первые называет событиями (evenements), вторые — функциями (fonctions), в смысле «отправления разума». Другой французский историцист, Lacombe, автор книги «Histoire considerée comme science» (1894), переведенной по-русски под заглавием «Социологические основы истории» (1895), делит исторические факты на события и учреждения, или установления (institutions), разумея под этою категорией и явления духовной культуры. Bernheim, внося в свое определение предмета истории слово «Bethatigung», объясняется, что нарочно употребил его, вместо таких слов, как «Handlungen, Thaten» (т. е. деяния), дабы включить сюда и «более пассивные проявления жизни» (die stilleren, mehr passiven Lebensausserungen) и так называемые состояния (Zustände). Lehrbuch, 12–13. Иногда подобные противоположения событий (Ereignisse) состояниям (Ziustände) делаются «просто мимоходом». См., напр., G. Simmel, Die Probleme etc., 100. Все более или менее согласны называть факты первой категории событиями, а факты второй категории называют разно (fonctions, institution, Zustände и т. п.).

по поводу такого разделения. Указывают*, именно, будто в «делении истории на прагматическую и культурную, или на историю политических деяний и историю социальных состояний» продолжается контовское разделение социологии на статику и динамику, с которыми смешаны, с одной стороны, анатомия общества, с другой — его физиология, как будто изучение строения и изучение состояния покоя — одно и то же и одно и то же, равным образом, изучение отправления и изучение пребывания в движении. Что Конт смешал очень различные вещи, это не подлежит сомнению, но разделение исторических фактов на прагматические и культурные не имеет ничего общего ни с анатомическим и физиологическим «углом зрения наблюдающего организма», ни со статическим и динамическим реальными отношениями покоя (порядка) и движения (прогресса). Культурные и прагматические факты различаются между собою совсем не с тех точек зрения, которые принимаются в расчет, когда строение организма противополагают его отправлениям, а состояние покоя нахождению в движении, или еще когда Конт делит эпохи на органические и критические. Культура данного общества обнимает и его строение, и его отправления и может быть, сверх того, находится и в неподвижности, и в движении, переживать в данный момент органическую или критическую эпоху. Если уже искать сравнений для характеристики культуры и прагматики, то никак не таких сравнений из механики или биологии**. Притом нельзя прагматическую историю отождествлять с историей «политических деяний», а культурную с историей «социальных состояний»: ибо и деяния, и состояния одинаково возможны и в политической сфере, и в социальной, и во всякой другой области общественной культуры или вообще культуры. Притом еще, те, которые предлагают критикуемое деление, имеют в виду, говоря о культуре, не столько состояния, сколько формы, в каких протекает жизнь и деятельность общества.

Неверно, далее, будто лишь в культурной истории с критикуемой точки зрения «допускается влияние массового фактора», в прагматической же предполагается «наличность или даже преобладание

---

* Проф. Р. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. См. в его книге «Две интеллигенции и другие очерки» (1912), стр. 51–52.

** Ср. ниже.

личного фактора, инициативы личности, влияния крупных людей»*. Ничего подобного: и в культурных, и в прагматических фактах одинаково можно обнаруживать и личные, и массовые элементы, как это и будет показано во второй части нашего труда.

Наконец, не по адресу деления исторических фактов на прагматические и культурные направлено и еще такое обвинение, будто они противополагаются другим (события состояниям) — «не в качестве, двух наших умственных разрезов, а как противоположные реальные вещи или реальные отношения»** и что многие готовы представлять себе «два разных ряда явлений, в которых господствуют два разных закона»***. Если и есть теоретики истории, так понимающие дело, то это отнюдь не вытекает из существа предлагаемого деления****.

Остановимся еще на одном недоразумении, связанном с делением исторических фактов на две указанные категории.

Среди историков, так или иначе отличающих культурные факты от прагматических, есть такие, которые готовы утверждать, что только первые могут быть материалом науки вследствие их повторяемости, забывая, что определенные бытовые формы (и определенное содержание духовной культуры) в своей конкретности и в данных комбинациях всегда нам даются в истории только один раз, в определенном месте, в определенном периоде времени*****. Задача идиогра-

---

* См. стр. 53 названной статьи.

** Там же, стр. 54.

*** Там же, стр. 52.

**** Сам критик признает важность некоторых «приемов» в качестве «известных толчков к наблюдению, к классификации» или «способов совершать разрезы материала», и сам же к таким приемам относит «обычное разделение материала на события и состояния», находя притом, что «группировка эта весьма естественна» (стр. 49). Это и для него «два возможных способа наблюдения и классификации»: «раз, — говорит он, — они заключают в себе для нас известное удобство, мы можем, конечно, далее распределять весь материал явлений по двум группам, сменяя по очереди применение двух способов» (стр. 50). Впрочем, проф. Виппер, в сущности, противополагает одни другим — состояния «на протяжении пространственном» событиям «в порядке следования на протяжении времени» (стр. 49–50), но это не совпадает с нашим делением, по которому и культурные, и прагматические факты находятся в совершенно одинаковом отношении к обеим категориям (т. е. и пространства, и времени), как могущие и сосуществовать, и следовать одни за другими.

***** Упомянутые выше Бурдо и Лакомб как раз стоят на такой точке зрения, исключая «события» из фактов, составляющих предмет исторической науки, дабы оставить значение истинного предмета этой науки за одними «functions» в

фического изучения исторических фактов одна, будут ли это факты прагматические или культурные, и для констатирования наличности и тех, и других наука идет одним и тем же путем. Научно описать какую-либо бытовую форму и научно рассказать какое-либо событие, в сущности, одна и та же задача, разрешаемая одними и теми же приемами. Если бы кто стал утверждать, что прагматические факты — достояние истории, как искусства, а культурные — достояние истории, как науки, то ведь, с одной стороны, далеко не все события могут быть предметом художественного воспроизведения, а с другой, и в области культурных явлений найдется немало таких, которые сами, так сказать, просятся сделаться предметом художественного описания. Наконец, и по своей важности в целом истории, — если уже стать на такую точку зрения, — иное событие, вроде французской революции, в гораздо большей степени заслуживает изучения, нежели какая-либо бытовая форма, вроде, наприм., способа жертвоприношений богам у того или другого из древних народов. Я хочу вообще сказать, что прагматическими фактами никак не подобает пренебрегать, как будто бы недостойными исторической науки, и что нельзя думать, будто последняя должна изучать только факты культурные, одни якобы и достойные научного исследования.

Затем, так ли уж верно, что в культурной области истории мы познаем только нечто, постоянно и однообразно повторяющееся в том или другом коллективе? Если, с одной стороны, люди известного времени и в известной стране одинаково пашут или одеваются, верят в одних и тех же богов и почитают их одними и теми же обрядами, не различаются между собою и в своих отношениях к предержащей власти и в подчинении общим законам и т. п., то, с другой стороны, везде и всегда возможны исключения из общих правил, исключения индивидуальные, то находящие себе потом подражателей, что придает и им характер коллективных фактов по мере накопления этих подражаний, то остающиеся неподражаемыми, единственными в своем роде, строго индивидуальными и именно своею оригинальностью

«institutions». Их взгляды рассмотрены мною были во «Введении к изучению социологии» (глава IX). Ср. выше, стр. 31–32, где говорится, что и массовые явления, взятые в данном месте и в данное время, имеют индивидуальный характер. Любопытно, что Бернгейму, наоборот, приходится защищать право «состояний» быть предметом исторической науки против тех, которые ограничивают ее компетенцию одними лишь «событиями». Lehrbuch, 13.

привлекающие к себе внимание историка. В областях философского, научного и художественного творчества мы особенно часто встречаемся с подобными «униками», и неужели для истории недостойно изучать с своей точки зрения «Критику чистого разума» Канта, «Происхождение видов» Дарвина[266], «Преображение» Рафаэля[267], их происхождение, влияния современности, под которыми эти произведения сложились, их значение в истории философии, науки, искусства, действия, которые они произвели по отношению к современникам и к потомству, т. е. неужели непозволительно все это изучать только потому, что эти произведения строго индивидуальны?

IX. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ

Констатирование фактов, имевших место в прошлом, установление, что нечто произошло или нечто существовало, дает в результате только известное количество разрозненных сведений. Сколько бы мы ни узнали, ни собрали, ни накопили достоверных известий о разных событиях и бытовых явлениях, это еще не составит содержания исторической науки, а будет только материалом для дальнейшей обработки, не более. Отдельные исторические факты могут наполнить массу инвентарей, каталогов, словарей, пригодных для справок, но не накопление материала — цель науки. Выше было сказано, что науке нужно точное знание прежде всего, но ей нужно также знание связное, не разрозненное нечто, не disjecta membra dei. Обладание самым громадным количеством ничем не связанных между собою сведений можно, пожалуй, назвать ученостью, но только в смысле эрудиции, никак не в значении научного знания. Простой инвентарь фактов, повторяю, не наука, и начетчик еще не ученый.

Каждая наука должна быть системою, связывающею ее разрозненные данные в одно целое или, по крайней мере, к этому стремящеюся, — системою, в которой отдельные сведения были бы размещены в известном порядке, диктуемом логикой и реальными соотношениями самих вещей. Разные науки имеют и разные систематизации. Элементарная геометрия, которую проходят в средней школе, следует логическому порядку перехода от простейшего (точки, линии) к более сложному (плоскостям, телам), и в ней теоремы как бы нанизываются на некоторую руководящую нить, причем в общем их поряд-

ке они доказываются на основании того, что было уже доказано в других. В ботанике и зоологии все формы растительного и животного царстве размещаются по семействам, разновидностям, подвидам, видам, родам, совокупность которых составляет очень сложную классификацию с подчинением и соподчинением одних таксономических категорий другим. Животные разделяются на беспозвоночных и позвоночных, последние — на млекопитающих, птиц, рыб, гадов, млекопитающие — на такие-то разряды и т. д. до такого, в каждом отдельном случае, предела, где дальнейшее подразделение более невозможно. По признакам однородности, сходства могут таким же образом классифицироваться и предметы, представляющие собою дело рук человеческих, наприм., здания по архитектурным стилям, картины по школам живописи, равно как и вообще бытовые формы, наприм., обычаи, учреждения раз мы находим сходства между явлениями одной и той же категории в разных местах и в разные времена. Но в подобного рода сопоставлениях однородного независимо от места и времени, имеются в виду обобщения, ведущие к номологическому знанию, что составляет уже переход от истории к социологии. История как наука идиографическая, связывает лишь факты, относящиеся к известному месту и близкие между собою по времени, особенно, как это здесь нужно подчеркнуть, по времени.

Имея данные нам события, совершившиеся в какой-либо стране, мы первым делом должны знать или узнать, какие из них за какими следовали во времени, датировать их, что не всегда определяется самими источниками. Имея готовые сведения о последовательности событий или узнавая ее путем рассуждения о данных нам фактах, мы, впрочем, только хронологически их известным образом размещаем, но это еще ничего не говорит о их взаимных отношениях. С каждым поворотом трубки калейдоскопа фигура, которую в нем можно видеть, будет другая, но между первой и второй, второй и третьей, третьей и четвертой фигурами не будет никакой внутренней связи. Нет никакой связи и между отдельными картинами и сценами, который следуют одни за другими в представлении кинематографа: вам показывают путешествие по норвежским фиордам, потом комические сцены, за которыми следует изображение слонов, идущих на водопой, и т. д. Точно также ничего вам не скажет и тот порядок, в котором проходили мимо вашего окна разные люди, мужчины и женщины, старики и дети или проезжали экипажи, пробегали со-

баки. Не то, что за чем следовало, важно знать в истории, а то, что из чего вытекало, что чем обусловливалось, что к чему приводило: историка интересует именно причинение предыдущими событиями событий последующих. Это было всегда, хотя бы историк пускал в ход разный мифологический аппарат, когда ему недоставало знания реальных причин.

«После» еще не значит «вследствие», и обратная формула: post hoc, ergo propter hoc[268] глубоко ошибочна. Причина есть такой предыдущий факт, без которого не было бы и последующего факта. Пожара не было бы, если бы не было неосторожного обращения с огнем, поджога, пожара в соседнем доме, удара молнии. Стакан не разбился бы, если бы нечаянно его не столкнули со стола или он не был брошен на пол. Здесь не место разбирать вопрос о происхождении самой идеи причинности и анализировать понятие причины. Будем просто считаться с существованием этой отвлеченной категории вообще и в частности с тем, что историки всегда искали, да и теперь ищут каузальных*, или причинных связей между изучаемыми событиями. Самое понятие прагматизма отожествляется многими с понятием каузализма: не то выдвигается вперед, что изучаются события, а то, что между событиями отыскивается причинная связь**. В этой научной работе каждый факт понимается как следствие другого (или других при множественности причин) и как причина третьего (или тоже нескольких) при множественности следствий. Благодаря этому, события одни за другими как бы нанизываются на нить причинности, и образуются каузальные цепи, которые мы можем тоже так или иначе комбинировать между собою, пользуясь тем же принципом. Общая причина может породить ряд параллельных каузальных цепей, и многие каузальные цепи могут соединиться в порождении одного общего следствия.

Идею причинности мы распространяем на все явления мира, доступного нашему познанию. Она приложима не только к событиям, но и к состояниям, к бытовым формам: почему в стране сложилось такое-то государственное устройство, такой-то аграрный строй, такое-то разделение на классы и пр.? Но по отношению к связи, в какой находятся между собою бытовые формы, мы имеем дело и с

---

* Лат. «causalis», причинный, от «causa», причина.

** Ср. выше.

иным еще понятием. Положим, нам дано учреждение, напр., верхняя палата английского парламента. Теперешний ее облик уже не тот, какой она имела, ну, хотя бы сто лет тому назад и так далее, пока мы не дойдем до «великого совета» нормандской эпохи, из которого возникла верхняя палата, а затем и до англо-саксонского витенагемота[269], предшествовавшего «великому совету». Скажем ли мы, имея перед собою ряд последовательных фактов-форм, что витенагемот был причиной «великого совета», а «великий совет» причиной палаты лордов и что вчерашняя палата лордов всегда бывала причиною сегодняшней, как сегодняшняя, будет причиною завтрашней? Когда мы замечаем в истории какого-либо явления перемену формы, мы для этого факта, как имеющего, несомненно, значение события, будем искать каузального объяснения, но самое превращение одной формы в другую, процесс трансформации, будем мыслить не по принципу каузализма. Всем хорошо известны так называемые метаморфозы насекомых: мохнатый червячок превращается в серую куколку, которая в свою очередь превращается в пеструю бабочку. Метаморфоза и значит трансформация, перемена формы, превращение*. Нечто подобное мы видим, когда наблюдаем, как прорастает горошина, и как из ростка с двумя листочками образуется растение, которое потом цветет и т. д. Яйцо, птенец, взрослая птица — тоже пример такого изменения форм. Никому, однако, не придет в голову, наблюдая эти зависящие одна от другой в порядке последовательности стадии, сказать, что яйцо было причиною цыпленка или куколка причиною бабочки. Это одни и же существа, но на разных стадиях своего развития. Развитие, эволюция** — вот термин, вот понятие, приложимое к при-

---

* Греч. μορφή, образ, наружный вид, откуда μεταμόρφωσις, обращение в другой вид. Ср. «forma» и «transformation».

** Слова «эволюция» и «революция» одного корня, который лежит в основе глагола «volvere» — катить, вертеть. В то время, как с приставкою «re» мы имеем понятие возвращения вспять, оборота, переворота; с другою приставкою, обозначающей «из», слово обозначает развертывание. Такой же смысл развертывания, разворачивания имеет и французское «développement», в отличие от «enveloppement» т. е. завертывание, обвертывание. Аналогичное образование имеют также и немецкое «Entwickelung», равно как и наше «развитие», польское «rozwoj» и т. п. Общий смысл слов тот, что нечто завернутое, скрытое развертывается, раскрывается, как бы себя обнаруживает и т. п. Это применяется, кроме того, и к раскрытию, т. е. более подробному изложению или распространению какой-либо мысли.

веденным примерам: предыдущее и последующее здесь являются не причиною и следствием, а двумя преемственными фазами, стадами, ступенями, этапами (дело не в слове) эволюции, развития. Вместе с каузальными связями и цепями, или рядами, наука устанавливает еще связи и ряды эволюционные, нанизывая факты, следовательно, на нити то причинности, то эволюции. Каузализм старой историографии современная историческая наука дополняет эволюционизмом, но оба эти отношения объединяются в общей генетической точке зрения* — как что произошло из того, что нам фактически дано в истории. Это — историческая точка зрения по преимуществу, будем ли мы ее применять к природе или к жизни человечества**.

В сущности, принципы причинности и эволюции присущи всякой науке, и историю делает наукою именно то, что она устанавливает между отдельными конкретными фактами те же связи, как и другие науки. Положение, что одни и те же причины должны порождать одни и те же следствия, является основною посылкою всякой номологии, а историк, имеющий перед собою идиографическую задачу, в сущности, применяет идею каузальной закономерности, царящей в мире, лишь к отдельным конкретным случаям. Общие формулы эволюции, распространяющиеся на все однородные случаи где бы то ни было и когда бы то ни было, тоже относятся к области номологии, историк же, с его идиографической задачей, и здесь, объясняя генезис конкретных культурных форм, исходит из основной идеи эволюционной закономерности. Значит, история изображает не простую беспорядочную смену случайных явлений, а закономерную их после-

---

* От греч. γένεσις, происхождение, начало.

** Говоря о законах последовательности, обыкновенно, не делают указанного различения. Напр., «в законах последовательности, иначе преемства и чередования явлений мыслится порядок или последовательность, в которой постоянно явления сменяют друг друга или следуют друг за другом; напр., прием хины вызывает понижение температуры крови... Другой пример: за днем следует ночь и наоборот». А. И. Введенский. Логика, стр. 320. Впрочем, автор оговаривается, что многие из законов последовательности не высказывают причинных связей, стр. 821. Полное неразличение понятий причинности и развития мы находим у проф. Виппера, когда он говорит: «диалектический прием при наблюдении какого-либо целого выделяет известные признаки и расставляет их в перспективе; они кажутся тогда разновременными моментами, фазами движения; они кажутся ранними и поздними состоящими, или, что то же (sic!), причинами и следствиями». Очерки теории исторического познания, стр. 201.

довательность, стараясь установить необходимость того, что было, как оно было.

Когда романист или драматург изображает какие-либо им самым придуманные события, от собственного произвола автора — при известном, конечно, умении — зависит, чтобы все в фабуле было для читателя понятно, чтобы все моменты последовательно обусловливались один другим. Историк находится в другом положении, когда строит свои каузальные цепи событий, свои эволюционные ряды бытовых форм. Во всякой каузальной цепи каждое событие является отдельным звеном, будучи следствием предыдущего и причиной последующего, но уже от состояния исторического материала будет зависеть, обо всех ли звеньях данной цепи найдутся известия в наших источниках, или же в последних обнаружатся более или менее важные пробелы, если о целых промежуточных между a и f звеньях, т. е. звеньях b, c, d и e нам наши источники ничего сказать не могут. Чем меньше сохранилось известий из какой-либо эпохи, тем больше в исторических ее источниках, таких пробелов, да и при большом количестве источников во многих случаях может не хватать чего-нибудь существенно важного для того, чтобы историк мог связать между собою два факта, непосредственно, так сказать, один с другим не соприкасающиеся. Часто историк знает, что недостающие ему известия есть, а даже где их искать, но в это же время ему бывает известно, что до поры до времени эти известия находятся под спудом, в каком-нибудь секретном фонде архива, как государственная тайна. Сами современники и не подозревают многого такого, что впоследствии делается известным потомству, благодаря ли случайным находкам позабытого материала, или обнародованию таких источников, которые раньше за семью печатями оберегались от посторонних взоров. Звенья каузальных цепей, не попавшие вместе с другими в наши источники, это — тоже скрытые факты, о которых речь уже была выше. Иногда перед такими иксами, игреками и зетами историку приходится только разводить руками и, признаваясь в своем незнании даже и не обещать, чтобы когда-либо неизвестное стало известным. В других случаях, ухватываясь за известные моменты, историк заключает от них к неизвестным, но чтобы это было возможно, нужна, конечно, наличность некоторых условий. Всякий, учившийся элементарной алгебре, знает, что сколько бы ни было известных, хоть бы сто тысяч, в одном уравнении с двумя неизвестными x и y,

задача найти величины этих x и y неразрешима: для определения двух неизвестных величин нужно иметь и два уравнения. Историку в таком положении помогает суждение по аналогии с однородными случаями, бывшими в других местах и в другие времена. Помогает точно также логическое рассуждение, общие соображения, помогает удачная догадка, то, что называют дивинацией или интуицией. Но во всех подобных случаях и историку следует оговариваться, что хотя бы им и было предложено свое объяснение или принято чужое, все-таки проблема остается проблемою. И такими загадками усеяно,— нужно в этом признаться, — все необозримое поле прагматической истории.

Сказанное о последней относится в равной (а иногда и большей) мере и к истории культурной. Наши сведения о бытовых фактах бывают весьма часто и скудными, и отрывочными. Мы узнаем случайно, что в такой-то стране в таком-то веке существовали такие-то формы экономических отношений, а затем за целый ряд веков источники совершенно молчат об этом предмете, и вдруг опять из какой-нибудь эпохи, уже более к нам близкой, как бы доходит до нас луч света, падающий на тогдашние, изменившаяся в сравнении с прежним формы. Значит, весь промежуток остается «покрытым мраком неизвестности»; когда, как, почему произошло изменение данных форм, — вот ряд вопросов, которые науке приходится решать разными находящимися в ее распоряжении способами, пуская в ход и интуитивные догадки, и последовательные соображения, и аналогии с более известными однородными явлениями.

От индивидуальных склонностей и способностей историков, от личного вкуса и интереса, от особого умения и навыков зависит, будет ли историк более направлять свою деятельность на каузальное или эволюционное связывание известных фактов, или на отыскание корней и нитей в области скрытых фактов и во временах, покрытых мраком неизвестности.

Со своими задачами каузального и эволюционного объяснения, т. е. вообще объяснения генетического, историческая наука является по преимуществу наукою о происхождении явлений, пестрою чередою сменяющихся в жизни народов. Не только связывание между собою разрозненных фактов, как причин и следствий или как разных ступеней развития, в данном отношений является характерным для исторического метода, применимого в других науках в гораздо мень-

шей мере, но и стремление понять каждый отдельный факт путем исследования его генезиса особенно характеризует историческую точку зрения. Когда предмет изучается для того, чтобы в результате получилось знание того, что такое он есть, каковы его свойства и каково его отношение к другим сосуществующим предметам, мы стоим по отношению к нему на неисторической точке зрения, историческая же точка зрения и заключается в таком отношении к предмету, в котором главное — в вопросе, как он произошел, в чем заключаются его корни в прошлом и какое место он занимает в изменчивом потоке вещей. Неисторическое отношение к явлению может и должно брать изучаемое явление не только в нем самом, но и в окружающей его обстановке, историческое же, сверх того, берет его с его антецедентами только как своего рода временный этап в непрерывно совершающемся процессе. Огюст Конт делил социологию на социальную статику и социальную динамику, заимствовав эти термины из механики*: одна открывает законы сосуществования общественных явлений, другая — законы их последовательности. Если мы применим эту терминологию к идиографическому изучению (которым и занимается история), то историческая точка зрения и будет соответствовать именно динамической.

Кстати: Конт не различал последовательности каузальной и последовательности эволюционной. Делая эти различения между двумя видами связывания между собою отдельных фактов, даже между процессами каузального и эволюционного типов**, я, однако, далек от малейшего намерения обособлять их один от другого. Одних историков более интересует прагматика с ее каузализмом, других — культура с ее эволюционизмом, третьи сочетают интерес к обоим

---

* Выше (стр. 104) было отмечено, что Конт смешивал со статикой, изучающей предмет в состоянии покоя, анатомию, изучающую строение организма, а с динамикой, рассматривающей движение, с физиологией, исследующей отправления организма, но, устранив это смешение, мы можем держаться данных терминов (если только для второго не взять слова «кинематика»).

** О различии между ними подробнее см. в моей книге «Сущность исторического процесса», стр. 366 и сл. по 2 изд. Между прочим, здесь я говорю (стр. 371) об одном из критиком моих «Основных вопросов философии истории», который одним своим замечанием дал мне повод подробно обосновать свое различение между каузальными и эволюционными законами. По цензурным условиям, времени выхода в свет первого издания книги я не мог назвать имя критика: это был П. Л. Лавров.

направлениям лишь с большим наклоном в одну какую-либо сторону или держа обе в известном равновесии, но и те, и другие, и третьи изучают, в сущности, не два разных исторических процесса, якобы не имеющих ничего общего между собою, а единый процесс, так сказать, рассматриваемый с разных сторон. Забегая вперед в теорию исторического процесса, можно сказать, что в нем прагматика и культура соединены между собою так же неразрывно, как в ткани нити основы и нити утока или как лицо и изнанка ткани. На чем бы, т. е. на прагматике или на культуре ни сосредоточил свой интерес и свое внимание историк, он не может, занимаясь одним, совершенно игнорировать другое.

Возьмем для примера французскую революцию, как она обыкновенно рассказывается. Это ряд событий, быстро следовавших одно за другим, одно из другого вытекавших, одни вызывавших другие. Третье сословие объявляет себя национальным собранием, ответом на что со стороны двора является королевское заседание, целью которого было аннулировать совершившийся факт. Неудача, постигшая двор, заставила его подумать о государственном перевороте при помощи военной силы, но известие о том, что к Парижу стягиваются войска, вызвало восстание 12–14 июля[270], приведшее к взятию Бастилии и сделавшееся как бы сигналом к восстаниям во всей Франции, между прочим, и в деревнях. Крестьянские волнения заставили национальное собрание подумать о том, как бы успокоить сельское население, и результатом было знаменитое ночное заседание, в котором была объявлена отмена прежних привилегий. Такой шаг не мог быть принят при дворе равнодушно, но на первые признаки грозившей реакции парижское население ответило походом на Версаль, после которого король и национальное собрание переселились в Париж... Вот краткая схема, голый скелет событий с середины июня до начала октября 1789 г. Каждый факт — событие, объясняющееся из другого и, в свою очередь, объясняющее третье. Эти события рассказываются детально, с картинными и драматическими подробностями, с упоминаниями о побочных следствиях, но, в конце концов, и возникновение революции, и все последующее течение событий останутся не вполне понятными, если не знать при этом состояния Франции в 1789 г., ее быта, ее политических, административных, финансовых, юридических, социальных, экономических порядков, ее умственных течений и душевных настроений,

распространенных в ней идей и оценок положения дел. Прагматический процесс истории совершается, так сказать, не в безвоздушном пространстве, а в известной среде, этою же средою и является весь быт в широком смысле этого слова. Нужно знать государственное устройство Франции, тогдашнюю правительственную практику, систему казенных доходов и расходов, состояние права, сословный строй, организацию землевладения, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, материальное положение народных масс и т. п., и нужно знать ходячие идеи французов конца XVIII в. о политике и экономике, о религии и морали и т. п., дабы с успехом разбираться в течении событий революции. Одно прагматическое изучение этой эпохи без культурного изучения, хотя бы и в более общих чертах и в более ограниченном размере, может дать только знание внешнего облика событий без той внутренней основы, которую они имели.

И с другой стороны — то же самое. Историк французской революции Тэн[271] хорошо сравнил эту самую историю с метаморфозой насекомого. Франция в 1789–1799 гг., действительно, испытала метаморфозу: после 1799 г. она уже была не та, что до 1789 г. В жизни человеческих обществ постоянно совершается трансформация, но обыкновенно она происходит медленно и не одновременно в разных областях жизни. Во Франции конца XVIII в. перемена форм политического, социального, экономического и т. д. быта произошла быстро и сразу охватила все жизненные отношения страны. Представим себе историка, который хотел бы проследить эволюцию всех бытовых форм французской нации в XVIII и XIX вв. Конечно, он должен был бы отметить ускорение движения в конце XVIII столетия, и задача его заключалась бы в том, чтобы отыскать в прежнем зародыши, корни, прецеденты нового, а в новом — следы, пережитки и остатки старого, но при детальных объяснениях того, как старое заменялось новым, как новое зарождалось еще в старом или как старое внедрялось в новое и почему это так происходило, он не в состоянии был бы обходиться без ссылок на отдельные события, на общий их ход, на всю прагматику французской революции*. В кау-

* И критик, о котором шла речь выше (стр. 104), допускает такие комбинации, когда «историческое изложение получает приблизительно следующий вид: сначала идет характеристика известного состояния, напр., старого режима; за нею следует изображение катастрофы, ряда событий, — это революция;

зальных и эволюционных, а еще более в объединяющих оба метода построениях историков заключается синтетическая работа исторической науки. Исторический синтез должен следовать, конечно, за историческим анализом, как правильно было сказано одним из крупнейших историков второй половины XIX в., Фюстель-де-Куланжем: «Для одного дня синтеза нужны целые годы анализа»*. Научный метод вообще имеет аналитический характер в отличие от синтетического по существу характера художества. Было бы, однако, неверно это противоположение принимать в том смысле, будто синтезу совсем нет места в науке или что его место в ней незначительно. Нужно только иметь в виду, что научный синтез есть совсем не то, что синтез художественный. В науке синтез всегда должен идти на поводу анализа, объединять лишь критически проверенные данные и приводить в результате к более или менее абстрактным формулам, тогда как синтез в искусстве не нуждается в предварительном анализе, сам создает то, объединение чего совершает, и дает в итоге конкретные образы или символы.

В более ранних теориях исторического познавания главное внимание обращалось преимущественно на критику источников и констатирование фактов, вопрос же о группировке фактов и о сведении их к более или менее отвлеченным формулам стал разрабатываться теоретиками истории сравнительно лишь недавно**. Правда, и раньше

потом составляется новая характеристика состояния из элементов другой эпохи, доводящая нас до изображения нового события, нового кризиса». Он только не хочет, чтобы кто-либо подумал, будто никогда «во время катастроф, событий не длилось известных состояний» или «в эпоху, захваченную нашей характеристикой состояния, не совершалось событий или действий». Две интеллигенции и пр., стр. 50–51. Но я и не знаю примеров, чтобы кто-либо так думал. События происходят среди длящихся (и изменяющихся) состояний, которые сами длятся (или изменяются) во время совершающихся событий. Впрочем, эта тема может быть вполне разработана только в теории исторического процесса.

* Pour un jour de synthése, il faut des annees d'analyse.

** Эту работу в исторической науке можно подвести под общее понятие научного построения, которое немецкие историцисты обозначают словом «Auffassung», французские — термином «synthése» (или «синтетические операции», как у Ланглуа и Сеньобоса). При более внимательном рассмотрении понятий, обозначаемых немецким и французским терминами, мы найдем некоторые черты несходства между ними, но в общем и главном понятия эти совпадают. Говоря об «operations synthétiques», Bernheim толкует их: «etwas was wir unter Auffassung verstehen» (Lehrbuch, стр. 222), а Berr приравнивает «Auffassung» к

в трактатах по историке заходила речь о философии истории, долженствующей объединять единичные факты, но мы еще увидим, в каких различных смыслах понималась эта философия истории, теперь же отметим только, что вопрос об историческом синтезе есть вопрос чисто научный, а не философский в более тесном смысле слова, раз дело идет о методологии такой специальной отрасли научного знания, как история. Как и всякая другая наука, история не может успокаиваться на добытых результатах: открываются новые факты, вырабатываются более тонкие приемы исследования, возникают новые точки зрения, ставятся новые вопросы, и все это приводит в движение историческую мысль, заставляет производить доследования и переисследования, подвергать добытое проверке и критике, поднимающим новые проблемы, возбуждающим новые сомнения, указывающим на новые пути для получения более удовлетворительных ответов, обращающим внимание на такие стороны дела, которые раньше не принимались в расчет. С другой стороны, конечно, историк, специально занимающийся какою-либо эпохою, каким-либо событием и т. д., должен знать непосредственные источники, заключающие в себе нужные ему известия о фактах, но он должен знать равным образом работы своих предшественников об этих источниках и работы своих предшественников по интересующим его фактам. В отличие от источников или первоисточников, такие работы, в которых последние описываются, анализируются критикуются, и такие, которые на их основании заключают в себе исследования о самих фактах, принято, как было уже указано*, называть пособиями. Только профаны и новички в исторической науке, повторяю еще раз, готовы называть источниками безразлично всякие произведения, из которых они черпают свои исторические сведения, не делая, напр., различия в этом отношении между нашею первоначальною летописью, с одной стороны, и трудами Карамзина, Соловьева, Костомарова, Ключевского, с другой, или между Полным Собранием Законов и курсами таких-то и таких-то профессоров по истории русского права.

«synthése» или «construction des faits historiques» (La synthése en histoire, стр. 2). Только Бернгейм слишком расширяет понятие «Auffasung», включая в него интерпретацию, и философию истории. В общем, историческое построение есть то самое, что еще Полибий называл ἡ τῶν πραγμάτων σύνταξις: «синтаксис» и значит построение.

* Ср. выше.

X. СИНТЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ

Занятие наукой есть дело коллективное: каждый историк продолжает дело других, которые работали раньше, и должен идти дальше, опираясь на то, что уже было сделано до него, а для этого ему нужно не только изучать первоисточники, но и пособия, знать то, что обыкновенно называется литературою предмета, как это, впрочем, делается и в других науках. Существование специальных сочинений по источниковедению и по историографии разных стран, эпох, событий, общественных движений облегчает работу историков в этом отношении. Разумеется, занимаясь историей своего вопроса, исследователь и здесь идет таким же путем анализа и критики, какого следует держаться в отношении первоисточников, т. е. он подвергает разбору и своему суду мнения и предположения своих предшественников, их построения и обобщения, приемы их критики источников и их способы разрешения (или даже постановки) научных вопросов. В теории исторического познавания не следует, таким образом, забывать, что историки имеют дело не с одними источниками, но и с исследованиями, произведенными в каждом отдельном случае целым рядом других ученых. На изучаемый предмет историку приходится смотреть через призму не только источников, но и литературы предмета; это в одних отношениях облегчает его работу, но в других может и ей помешать, если направить его, напр., на ложный след.

В сущности, в деле каузального или эволюционного связывания дознанных исторических фактов, в деле объяснения их генезиса и значения для последующих фактов, историки, разрабатывавшие данную тему, производили одну и ту же работу, но известно, что «если двое делают одно и то же, выходит не одно и то же» (si duo idem faciunt, non est idem). Историк в работе своих предшественников может считать одно окончательно сделанным, не требующим пересмотра, другое и третье нуждающимся в доделывании или в переделывании: причины и следствие не совсем верно или совсем неверно указаны, а также одно выведено из другого не вполне так, или решительно не так, как следовало бы. Но и каждый историк в течение своей работы над избранною темою может, так сказать, быть своим собственным предшественником, когда на дальнейших стадиях этой работы дополняет или исправляет сделанные ошибки, и все-таки и

тут работа его не выходит за пределы каузальных и эволюционных или вместе каузально-эволюционных построений.

Эта синтетическая работа, которой не только критика и анализ должны предшествовать, но которая ими постоянно должна и сопровождаться на каждом ее шагу, сама может иметь различный характер и притом в разных отношениях.

Некоторые новейшие авторы различают между «ученым синтезом» (synthese erudite) и «научным синтезом» (synthese scientifique): первый направляет работу историка, указывая на то, что сделано, а что еще остается сделать, второй еще лучше может направлять работу, указывая, что важно знать и незнание чего, наоборот, безразлично*. От художественного синтеза и даже от общих исторических построений в целях популяризации наших знаний о прошлом ученый синтез отличается тем, что в нем всякое утверждение сопровождается доказательствами, о всяком пробеле в нашем знании делается отметка, все сомнительное подчеркивается, как таковое, и всякое предположение не выдается за что-либо положительно дознанное. Но это только ступень к синтезу научному, в котором на частных случаях изучаются общие процессы исторической жизни, конкретные факты объясняются действием разных категорий жизненных сил, проявляющихся в истории, и освещаются общими истинами, как-никак, а уже вырабатываемыми социологией.

Типического эрудита, который больше думает о том, чтобы исчерпывать море источников до дна, и полагает, что это достигается перечислением до конца, обыкновенно подавляет его фактический материал, над которым он не считает нужным или, скорее, не может, не умеет возвыситься, и он боится тогда пропустить мелкую подробность только потому, что о ней говорится в источниках, а не ее значения в рассказываемом событии или для характеристики описываемого состояния. Не раз уже критики исторических книг, написанных такими авторами, уподобляли последних тому волшебнику, который знал заклинание для вызова духов, но не знал другого заклинания, как их заставить уйти. Серьезно обосновывать в истории не значит пересчитывать до конца (zu Ende zahlen), а значит доходить до самых оснований (ergrtaden), чего историк не может достигнуть

---

* Henri Berr. La synthése historique, стр. 21 и 268 и след. См. в моей статьи об этом труде, указанной под № 79.

без собственного рассуждения и общих соображений и, между прочим, без выбора того, о чем можно и даже следует совсем не упоминать.

Я позволю себе прервать здесь нить своего изложения, чтобы остановиться на одном примере того, как не подобает и как, наоборот, следует поступать с ненужными подробностями. Среди специальных отделов исторической литературы очень видное место занимает литература по истории международных отношений, для которой обильный материал, в виде дипломатической переписки, хранится в архивах и издается в целом ряде официальных и частных сборников. В одном архиве можно найти донесения уполномоченных одной державы о каких-либо переговорах с уполномоченными другой и в каком-либо архиве этой последней — донесения ее послов о тех же переговорах и, на основании этих двух взаимно-дополняющихся источников с прибавкою к ним инструкций, получавшихся делегатами обеих сторон от своих правительств, восстановить весь ход и отдельные перипетии данных переговоров. Такие работы пишутся часто, и в большинстве случаев в изложение вносится все, что говорили одни и что говорили другие, хотя бы разговор имел лишь эпизодический характер, ничего важного для сути дела в себе не заключал или ни к чему не приводил.

Не так поступал Альберт Сорель[272], автор «Европы и французской революции», которому тоже очень много пришлось иметь дела с дипломатическими переговорами не между двумя только государствами, а целым их рядом. Из биографии Сореля известно, что он предварительно составлял громадные разграфленные по странам таблицы, в которые постепенно заносил самые подробные данные, заимствованные из дипломатической переписки, отмечая, что к чему относится, но потом внимательно пересматривал этот материал и безжалостно вычеркивал все те сведения, которые ничего не объясняли; все те факты, которые не оказали никакого влияния на общий ход дел*. В растущем дереве от ствола отделяется много ветвей, но иные из них отсыхают или отсекаются опытным садоводом: значит, они не нужны были или самому дереву, или садовнику, — многое и в источниках оказывается лишним. Историк, думающий, что нужно пе-

* См. мою брошюру «Альберт Сорель, как историк французской революции», стр. 9.

ресчитывать до конца, похож на огородника, дающего полную волю сорным травам расти рядом с полезными растениями.

Сравнительно с такими историческими построениями, в состав которых входит мало переработанный материал, другие построения, являющиеся результатом большой умственной работы, всегда будут отличаться большей абстрактностью. Синтез, о котором говорилось выше, может быть и более конкретным, и более абстрактным. На мой взгляд, Конт ошибался, когда науки, занимающиеся общими законами, назвал абстрактными, а другие, имеющие дело с отдельными явлениями, обозначил как конкретные*. Не всякая абстракция имеет целью или результатом выведение общих законов, ибо и об единичном явлении, а тем более процессе можно говорить и в более конкретных, и в более абстрактных терминах, дать детальный рисунок или общую схему предмета. Чем конкретнее передача чего-либо в истории, тем больше ею только воспроизводится прошлое, и история ближе подходит к задаче искусства, как бы ни плохо было выполнение в художественном отношении; наоборот, чем абстрактнее историк понимает изучаемое явление или процесс, тем более он выполняет научную функцию, решая задачу понимания, всегда требующего, чтобы единичное, частное приводилось к общему, родовому. Истинный историк в наше время узнается по стремлению и умению своим все разнообразие фактов подводить под небольшое число обобщающих формул, которые, конечно, будут отличаться абстрактным характером, хотя в них и не будет говориться о том, что везде и всегда бывает, а будет сказано о чем-то, бывшем только в одном месте и лишь в данный промежуток времени. Об обобщениях в истории можно говорить в разных смыслах. С одной стороны, обобщаться может наше знание об однородных, но разрозненных фактах, взятых из прошлого разных стран, народов, эпох, а с другой, может быть обобщаемо знание фактов, относящихся к одному и тому же месту и к ограниченному периоду времени, притом причинно или эволюционно связанных между собою. В случаях первой категории мы получаем некоторые общие формулы номологического типа, быть может, и не могущие считаться законами в самом строгом смысле слова, но зато применимые к однородным явлениям в истории разных стран и эпох. Наоборот, в случаях другого рода то, что является результа-

* См. выше.

том обобщения многих фактов, остается приложимым только к совокупности фактов, данных нам как раз в определенном месте и в определенный промежуток времени. Это и представляет собою исторические обобщения в более тесном смысле, тогда как обобщения первого рода имеют уже более социологический характер. Впрочем, мы еще увидим, что между обеими категориями мы вынуждены еще признать некоторую промежуточную категорию, переход или ряд переходов от одного рода обобщений к другому.

Типическою формою обобщения первой категории является индукция, теория которой так хорошо разработана в общих трактатах логики. Индукция, как известно, состоит в том, что из нескольких единичных случаев, в которых наблюдается какое-либо явление, мы выводим, что явление это совершается во всех случаях, сходных с первыми в обстоятельствах, признаваемых существенными, — выводим на основании общего принципа единообразия порядка природы, или существования законов, управляющих явлениями. Раз, однако, в результате получается нечто такое, за чем мы не имеем права признать значения естественного закона, речь не может идти о настоящей или полной индукции, а только о неполной индукции, или о «наведении чрез простое перечисление, в котором не встречается противоречащего примера или случая»*. Но для нас здесь безразлично, будет ли у нас в итоге настоящий закон природы или эмпирическое обобщение ряда однородных случаев, среди которых не нашлось ни одного исключения.

Пока мы ограничимся здесь сказанным об индуктивных обобщениях, чтобы вернуться к этой теме, когда придет очередь для рассмотрения так называемого сравнительного или сравнительно-исторического метода, при помощи которого мы можем формулировать некоторые положения общего характера, применимые к фактам из разных мест и разных времен и между собою реально (т. е. ни каузально, ни эволюционно) ничем не связанных.

От индукции в тесном смысле нужно отличать «генерализацию»**, как я предложил бы называть всякое обобщение фактов, как раз объ-

---

* Выражение Бэкона: «inductio par enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria».

** Ланглуа и Сеньобос различают между образованием общих формул (construction des formules générales) и обобщением, которое называют «généralisation», признавая второе лишь одним из частных видов первого.

единенных местом и временем и реально между собою связанных, причем целью такого умственного процесса является не общее представление о том, что везде и всегда бывает при известных условиях, а о том, что было только раз, в одном месте и в определенный промежуток времени, представление, в котором, однако, давался бы общий итог целого ряда отдельных фактов.

Общий итог, — под этим словом я разумею именно подведение под рядом слагаемых их общей суммы, и здесь, значит, каждый отдельный факт является частью некоторого создаваемого нами целого, тогда как этому подобию первого арифметического действия я противопоставил бы индукцию, как то, что в арифметике называется нахождением общих делителей, подводящее под одну категорию числа 2, 4, 6, 8, 10.., под другую — 3, 6, 9, 12.., под третью — 5, 10, 15, 20.., под четвертую — 7, 14, 21, 28 и т. п.: здесь, именно, отдельные данные цифры не складываются между собою для нахождения их общей суммы, а сравниваются одни с другими для нахождения некоторого общего им признака делимости на 2, на 3, на 5 и т. д. Т. е. тут, в последней категории случаев, имеется в виду получить не некоторое единое целое из отдельных слагаемых, а известную категорию частных случаев одного общего правила.

Впрочем, нужно оговориться, что обобщения, в результате которых являются не общие формулировки для известных совокупностей фактов, могущих быть часто и совершенно не похожими один на другой, а, так сказать, общие правила, резюмирующие множество отдельных фактов, между собою сходных, могут преследовать не исключительно номологические цели, но и цели идиографические. Всякое суждение о любой бытовой форме в любой стране в какую-либо эпоху есть формулировка общего правила, под которое подводится масса отдельных случаев. Но и здесь исследователь интересуется как раз только данною совокупностью, а не безразлично всеми, какие бы только ни могли, где бы то ни было и когда бы то ни было, представиться, случаями. Здесь интересует исследователя не общий их итог, выраженный в виде суммы под рядом слагаемых, а общий их характер, проявляющийся лишь в данных слагаемых, входящих

Introduction, стр. 227 и след. Я беру термин в более широком смысле, причем имею в виду общее и в смысле общей категории, под которую подводятся отдельные факты, и в смысле объединяющего их целого, по отношению к которому эти факты являются отдельными частями.

в состав только данной суммы, а не вообще во всех однородных фактах, им же нет числа. Притом для настоящей индукции нужна наличность всех фактов, дабы мы могли судить о действительном отсутствии того, что называется «instantia contradictoria», в исторических же обобщениях этого рода мы часто вынуждены судить о том, что было общим правилом в данном месте и в данное время, лишь на основании немногих частных случаев или примеров. Обобщение здесь получает особый характер делания заключений от нескольких отдельных фактов определенной категории, нам известных, ко всем остальным фактам той же категории, оставшимся, наоборот, нам неизвестными.

На этом приеме генерализации стоит остановиться подробнее ввиду того, что историки постоянно вынуждены к нему прибегать. В настоящее время, когда производятся разные планомерные анкеты и статистические обследования массовых фактов, касающихся какой-либо местности, какого-либо класса населения и т. п., мы по отношению к общей характеристике бытовых явлений находимся в неизмеримо лучшем положении, для прежних вообще эпох, когда таким путем сведения не собирались, и по отношению к явлениям, которые не были объектами планомерных наблюдений. В чем, напр., заключалась обычная, т. е. наиболее распространенная, преобладающая форма землевладения в стране, или форма, наиболее характерная для землевладения вообще в данной стране? Для современных государств очень точные ответы на этот вопрос может дать статистика, но относительно всего исторического прошлого в нашем распоряжении бывают для отдельных стран и эпох лишь скудные и отрывочные данные: иногда известны два-три факта или десяток-другой фактов, все же остальные факты той же категории относятся к числу скрытых*. Тогда обо всех остальных или об их преобладающем большинстве мы судим по известным нам случаям, если, конечно, у нас есть основания считать эти случаи частными примерами некоторого нам неизвестного прямо правила, отдельными образчиками того, что существовало в массе случаев, быть может и не типическими, но во всяком разе дающими некоторое понятие об общем характере интересующих нас отношений. Понятно, что здесь также производится обобщение, но это не индукция, а генерализация в смысле распро-

* О скрытых фактах см. выше.

странения на все слагаемые определенной суммы фактов (или на их большинство) того, что мы знаем лишь о некоторых из них. В таких случаях известные нам факты кладутся в основу идиографических обобщений относительно всех (или большинства) фактов какой-либо категории в определенной стране во взятый нами период времени. Чем большее количество фактов кладется в основу таких генерализаций, тем, разумеется, лучше, но часто историку приходится, к сожалению, довольствоваться очень немногим. Опасность таких генерализаций заключается в том, что факты, о которых мы знаем, могут быть исключительными или далеко не типичными, и тогда возможны очень грубые ошибки в наших обобщающих формулах. Сколько таких генерализаций мирно покоится на кладбище исторической науки, куда и поступают за дознанною их негодностью разные мертворожденные выводы и эфемерные «последние слова» науки!

Рассматривание сингулярных фактов в качестве однородных частных случаев, могущих быть выраженными в общих формулах, имеет место не только по отношению к бытовым фактам, но и по отношению к событиям. Несколько последовательных событий, в случае их однородности, могут нам представляться в виде частных случаев, могущих быть подведенными под некоторое общее, все их, вместе взятые, определяющее обозначение, и вот в истории возникают такие названия целых процессов, как, напр., «собирание Руси» московскими великими князьями, немецкий «напор на Восток» (Drang nach Osten) и др. Только здесь важно не одно то, что совершались события одного и того же рода, что происходили, напр., присоединения к Московскому государству новых территорий, или что немцы предпринимали отдельные походы на земли западных славян и основывали там свои колонии, а важно еще и то, что одно такое событие прибавлялось к другому, к самому ему еще одно такое же событие, за ним второе, третье и т. д. Т. е. тут мы имеем дело не просто с частными случаями одной и той же категории, но и с отдельными слагаемыми одной и той же суммы, рассматриваемой как единый процесс, последовательные моменты которого и соответствуют отдельным событиям. Последовательный ряд событий между 1859 и 1870 гг. мы называем, напр., объединением Италии, обобщая под этим отдельные факты присоединения Ломбардии, областей Средней Италии и Неаполитанского королевства в 1859–1860 гг., Венецианской области с

1866 г. и Рима с его областью в 1870 г. и различая в этом едином процессе, так сказать, три хронологических этапа.

Дабы сингулярные события могли рассматриваться, как отдельные части процесса, который мы можем выразить в обобщенной форму, нет надобности, чтобы все эти события принадлежали к одному разряду фактов или совершались одинаковым образом. Ломбардию и Венецианскую область Италия получила после двух войн с Австрией, Тоскану, Парму, Модену, Романью, королевство Обеих Сицилий — после внутренних революций в этих землях, Папскую область — в силу ее занятия экспедиционным корпусом, но все это были лишь разные пути, приводившие к одному результату. Чтобы иметь право придавать совокупности фактов некоторое единство и обобщать их в одной формуле, необходимо, чтобы и в действительности нечто их объединяло и вносило в них некоторую общность, — общность не в смысле общих родовых или видовых признаков, какая наблюдается и в фактах, далеко отстоящих друг от друга, а общность в смысле реально связывающих их между собою причин ли, результатов ли, или чего-нибудь еще иного. Общие черты мы можем найти у древнегреческой тирании, наблюдаемой в истории нескольких городовых республик, у императорской власти в Риме в ее начале, у итальянского принципата конца средних веков, у цезаризма обоих Наполеонов во Франции, но все эти политические формы реально не связаны между собою и частей одного целого собою поэтому не представляют. Наоборот, как одно целое, мы можем представлять себе некоторую совокупность фактов, самых различных, самых разнородных, лишь бы их что-либо связывало между собою и, прежде всего, общий «театр» событий, единство страны, государства или провинции, города, или общая среда, в которой события происходили, каковы нация, сословие, класс, партия и пр.

Каждый прагматически процесс, складывающийся из единичных событий, которому мы приписываем известную цельность, отграничивая его от других современных ему процессов, может быть, как мы уже видели, представлен историком в более конкретном и детальном виде и, наоборот, в виде более абстрактном и общем. Изображая береговую линию таких стран, как Греция, Далмация, Норвегия с их многочисленными заливами, бухтами, фиордами, мысами, полуостровами, перешейками, картограф может или занести все это на свои карты, для чего они должны иметь значительные размеры, или, — когда кар-

та должна быть маленькою либо должны быть отмеченными лишь крупные изгибы берегов, — обозначить их более простыми кривыми, пренебрегая незначительными выступлениями суши в море или изрезами суши морем. В горных странах, подобных Швейцарии, отдельные хребты, вершины, равнины, долины, ущелья представляют собою довольно запутанную систему повышений и понижений земной поверхности, на подробных картах, как-никак, все-таки воспроизводимую, но делающуюся более наглядною в своих основных направлениях, когда мелкие подробности игнорируются, и на карте схематически изображаются лишь главные линии хребтов и наиболее высокие вершины. И в случае схематического изображения изрезанной береговой линии, и в случае схемы, передающей орографию горной страны, мы имеем дело с упрощениями (симплификациями), сводящими к более общим чертам то, что в действительности дано в более сложном виде. Отступления вправо и влево от проведенной картографом линии берега, в которой были приняты в расчет лишь более крупные повороты и изгибы, рассматриваются им, как своего рода исключения из общего правила, в существе дела его не нарушаются, или как незначительные уклонения в ту или другую сторону от некоторого среднего арифметического и частные эпизоды, не заслуживающие внимания. То же можно было бы повторить и по отношению к любой орографической схеме. Подобного же рода умственные операции производят и историки, следя за общим ходом событий или за общим направлением перемен, совершающихся в быту.

Причины событий бывают временные, действие которых непродолжительно, случайные, ничем не связанные или мало связанные между собою, и бывают постоянные, которые участвуют в порождении целого ряда событий на протяжении более или менее продолжительного периода времени, причины общие, вызывающие не те или другие эпизоды с их скоро преходящим значением, но отражающиеся на самом главном и существенном. В процессах бытовых изменений, составляющих предмет культурной истории в принятом нами смысле, тоже приходится различать единичные отклонения от данной нормы, не оставляющие после себя сколько-нибудь заметного следа, и отклонения массовые, посредством которых совершается переход к новым формам; отклонения временные в силу действия каких-либо причин, скоро потом исчезающие, и отклонения длительные, идущие в одном и том же направлении, характеризующие

эпоху с той или другой стороны и оставшиеся, так сказать, прочным приобретением истории (безотносительно к тому, осуществляется ими благо или зло). Историки, стремящиеся понять, осмыслить изучаемые ими каузальные и эволюционные процессы, ставят своею задачею сводить их к более или менее отвлеченным, обобщающим формулам или хода событий в данном месте и в данный период, или того направления, в каком совершались культурные перемены в данной стране.

Общий характер таких упрощающих обобщений — их схематичность, стирающая, конечно, живые краски действительности, но зато помогающая понимать прошлое в общих терминах науки. Помимо своего значения для уяснения нам наиболее общих черт какого-либо исторического процесса, подобные абстрактные формулы помогают нам и в социологическом мышлении, когда изучение единичного процесса дает в наши руки некоторый общий критерий для понимания других аналогичных процессов. Чем отвлеченнее, чем общее формула, тем способнее она сыграть такую роль в науке. Не нужно только думать, что общая формула, выведенная из изучения фактов, представляемых прошлым одной страны, без всяких перемен может быть применяема ко всем остальным.

Частный пример лучше всего пояснит все сказанное выше. Мы имеем перед собою так называемый экономический переворот, или «индустриальную революцию» в Англии конца XVIII и начала XIX в. Она была, понятно, результатом массы мелких бытовых изменений, вся совокупность которых и произвела данную «революцию». Единичные случаи расставания мелких землевладельцев с насиженными участками, случаи добровольной продажи последних, продажи вынужденной, принудительной и единичные случаи «огораживания» помещиками земель, бывших в общем пользовании приходов, мы обобщаем, как единый процесс, который и называем обезземелением народной массы. Чтобы такой процесс был возможен, нужны были кое-какие одинаковые причины, действовавшие в каждом отдельном случай приобретения лендлордами новых участков земли. Результатом обезземеления сельского населения было образование пролетариата, многие члены которого, не будучи заняты в сельском хозяйстве, стали искать занятий в обрабатывающей промышленности. В последней происходило также изменение бытовых форм. Единичные случаи возникновения более крупных промышленных

заведений вне городов, где прежние законы поддерживали старый строй мелких ремесленных мастерских, единичные случаи утраты ремесленниками своей прежней самостоятельности в пользу более удачливого меньшинства в собственной своей среде, единичные законодательные меры, разрушавшие старый строй, мы, равным образом, обобщаем в понятии вытеснения мелкого производства более крупным, или концентрации производства, также превращавшей множество ремесленников в простых наемных рабочих. У всего этого не могло не быть некоторых общих причин, хотя и осложнявшихся своеобразно в каждом отдельном случае. Наконец, в те же самые годы, когда происходили оба указанных процесса, отдельные изобретатели придумывали разные механизмы, облегчающие и ускоряющие прядение и тканье, а отдельные промышленники вводили их в свои предприятия, и все случаи, когда на фабрики начинал работать какой-нибудь механический станок, мы обобщаем, как процесс замены ручного труда машинным, с которым трудно было конкурировать мелким производителям, начавшим тоже увеличивать собою число пролетариев. Эти три процесса мы объединяем в одном, стараясь обнаружить не только их общие результаты, но и указать на общие для всех трех причины, определить взаимные отношения этих процессов и изложить все в некоторой абстрактной формуле, которая, во-первых, осветила бы нам сущность английской индустриальной эволюции, обратившей на себя внимание только много позднее, и вместе с тем, во-вторых, помогла бы нам при историческом изучении аналогичных процессов в других странах.

По самому существу дела, подобные обобщающие формулы имеют вид логических построений, да и на самом деле они очень часто строятся не индуктивным, а дедуктивным путем, не на основании действительного обобщения реальных данных, а на основании априорных соображений и абстрактных умозаключений. В своем месте было сказано, что от научного знания мы, прежде всего, требуем точности, но что вместе с тем дорожим и его полнотой* если, с другой стороны, необходимым условием науки, — чтобы она была наукой, а не простым каталогом фактов, — мы ставим связность знания, то, равным образом, мы ценим еще и стройность знания, внутреннее его упорядочение, не простую координацию фактов, могущую быть

---

* См. выше.

и беспорядочной, но и субординацию их, достижимую при помощи генерализации и схематизации.

Отвлеченно-обобщенное понимание прошлого иногда называют историко-философским, и, напр., в таком смысле говорят о философии русской истории (одной у славянофилов, другой у западников), о философии истории французской революции или о философии истории вообще, т. е. всей истории всех времен и народов, всего человечества. О взаимных отношениях истории и философии я буду говорить особо, здесь же идет речь об историко-философском понимании для того, чтобы защитить его полную научность, когда оно является результатом действительного обобщения достоверно установленных фактов и более или менее точно дознанных реальных отношений между ними. В движении от конкретного к абстрактному, в процессе обобщения частностей и создания цельностей могут быть разные степени — от детального описания единичного предмета до формулы-схемы, долженствующей охватывать массу фактов. Последние ступени обобщающего мышления в истории имеют право называться историко-философскими, и лишь тогда историко-философские построения не научны, когда покоятся не на прочном фундаменте фактов, а на чем-то вроде не то логических конструкций, не то фантастических схем.

XI. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Известная сумма фактов может изучаться вместе или потому, что между ними существует более или менее прямая связь, или потому, что, вне какой бы то ни было реальной связи между ними, наблюдается сходство их между собою, кроме случаев, когда и само сходство объясняется реальною связью. Особую разновидность исторического метода представляет собою метод сравнительно-исторический, или сравнительный просто, который применяется, главным образом, при изучении сходных фактов, наблюдаемых в разных странах и в очень отдаленные иногда один от другого периоды времени*.

* Важность сравнительного метода для социологии была указана еще Огюстом Контом, после которого этот метод широко применялся на практике специалистами равных отраслей знания, но в громадном большинстве случаев в интересах номологического, а не идеографического знания, что отразилось, и на теоретической разработке этого метода в литературе. Ср., напр., М. М. Кова-

Я начну с нескольких простых примеров. Известно, что в целом ряде языков, каковы в Азии древне-индийский (санскрит) с современными наречиями Индии, древне-иранский (зенд), в Европе греческий, латинский с разными романскими языками, готский и другие германские, равно как славянские с церковно-славянским во главе, имеют массу очень схожих между собою слов и грамматических окончаний. Напр., сходны названия родства: отец — по-санскритски pitar, по-гречески πατήρ, по-латыни pater, по-немецки Vater и т. п.; мать — санскр. matar, греч. μητήρ, латин. mater, нем. Mutter и т. д.; брат — санскр. b'ratar, лат. frater, нем. Bruder и др. Сходны числительные: два — санскр. dva, греч. δύο, лат. duo, готск. twai (нем. zwei) и пр.; три — санскр. tri, греч. τρεις, лат. tres, нем. drei и т. п. Замечается сходство в спряжениях и склонениях: есмь — санскр. asmi, греч. εἰμί (см. εσμί), лат. sum (вм. esrn); еси — санскр. asi, греч. εἰσί, лат. es; есть — санскр. asti, греч. εστί, лат. est и т. п. Эти более явные и многие, так сказать, замаскированные естественными изменениями звуков сходства объясняются тем, что все указанные языки родственны между собою, происходят от общего праязыка, арийского, откуда и их название языков арийских (индоевропейских или индогерманских, как их иначе называют). Ими занимается сравнительная грамматика арийских языков. Общее происхождение могут иметь у разных народов и сходные представления, напр., мифологические, что служит основанием для сравнительной мифологии, и т. п.

В прежние времена из общего происхождения языков делали заключение и об общем происхождении народов, которые говорили и говорят на этих языках, но мы знаем, что, напр., общее происхождение романских языков, т. е. итальянского, французского, испанского, португальского, рэто-романского (в Швейцарии), румынского из латинского отнюдь не доказательство, что народы, на них говорящие, одного корня: образованию этих наций предшествовала романизация разных племен, так сказать, чуждых одно другому, т. е. процесс усвоения имя одного и того же языка, заимствования ими у римлян слов и т. п. Об общем происхождении сходных форм можно говорить поэтому и тогда, когда они являются не общим наследием, напр.,

---

левский. Сравнительно-исторический метод в юриспруденции и приемы изучения права (1880) и др. В общих исторических методологиях, наоборот, вопрос о сравнительном методе в идиографических целях остается неразработанным.

разных языков, а заимствуются одним народом у другого. Если алфавиты, которыми пользуются европейские народы, в общем между собою сходны, — алфавиты романских, германских и славянских народов, равно как у финнов, мадьяров, греков, — то это объясняется их общим происхождением или из древнегреческого, или из латинского, которые сами имели свой корень в финикийской азбуке, причем из славян одни заимствовали свою азбуку у греков, другие — из романо-германского мира. Таким образом, сходство тех или других форм у разных народов в случаях, подобных указанным, объясняется общим происхождением форм или в смысле их унаследования, или в смысле заимствования их одними народами у других.

В некоторых специальных случаях заимствования одними народами у других становятся предметом особого сравнительного изучения. В виде примера я сошлюсь здесь на применение этого метода к истории литературы, когда обнаруживается сходство образов, сюжетов, собственных имен и т. п. в произведениях, принадлежащих разным литературам. Известны так называемые «странствующие сказания», переходившие из одной литературы в другие, восходящие, наприм., к отдаленным временам индийской литературы, из которой разными, часто окольными путями они заходили до крайних пределов европейского Запада*.

Заимствования одними народами у других всевозможных бытовых форм, служащие могучим орудием их распространения по лицу земли, играют громадную роль в истории. Под эту категорию явлений мы должны подвести и распространение, напр., мировых религий (христианства, магометанства, буддизма) или разных, положим, общественных идей (в наше время, напр., социализм), в заимствовании в области законодательства (в роде знаменитой рецепции римского права в Западной Европе со второй половины средних веков) или в области государственных учреждений (рецепция представительного образа правления из Англии со времени великой французской революции)**, равно как все случаи усвоения извне технических или художественных приемов и очень еще многого другого.

---

* Главным представителем у нас сравнительно-исторического направления в изучении литературы был А-др И. Веселовский, который сочетал сравнительный метод с историческим (о последнем см. ниже, в след. главе).

** Наприм., японская конституция была прямо составлена по образцу прусской.

Во всех случаях, когда сходство того и другого у отдельных народов объясняется либо тем, что они нечто сообща унаследовали, либо тем, что нечто одни у других заимствовали, между сходными фактами устанавливается прямая генетическая связь, подобная той, которая существует между кровными родными или лицами, находящимися в свойстве. Иногда даже трудно разграничить, что есть общее наследие и что — заимствование. Нечто, заимствованное одним поколением, так сказать, благоприобретенное им, для следующих является уже унаследованным. Христианство составляет общее наследие европейских народов от греко-римского мира, но одни народы (романские и греки) являются прямыми его наследниками, другие же (германцы, славяне, литовцы, мадьяры, финны) его заимствовали у первых. Во всяком случае, важно то, что сходные факты здесь так или иначе имеют общие корни, и путем установления заимствований или общности происхождения можно узнавать о разных исторических отношениях из таких времен, из коих не сохранилось никаких известий. Всегда ли, однако, бывает так? Существует еще масса примеров поразительственного сходства, иногда доходящего почти до тождественности, между бытовыми формами у народов, не имеющих общего происхождения и не находившихся в каком-либо соприкосновении между собою. Особенно много таких фактов было предметом наблюдений этнографов. Обычай кровной мести, столь широко распространенный у народов разных рас и под разными широтами, но находящихся (или находившихся) на одной ступени развития, представляет собою одно из таких явлений, для объяснения которого нет надобности, а иногда и возможности прибегать к предположениям об общем происхождении обычая или о заимствовании его одними народами у других. То же самое можно сказать о замене кровной мести так называемою вирой и т. п. Или взять еще хотя бы знаменитую «куваду», встречающийся во многих местах обычай, заставляющий отца новорожденного ребенка, подобно роженице, ложиться в постель, стонать и т. п.

Во всех подобных случаях, где сходство не объясняется ни существованием общего наследия, ни заимствованиями, остается возможным допустить или чистую случайность совпадения, или действие одинаковых причин, приводящих к одинаковым следствиям. Случайные совпадения, без сомнения, возможны, но из того, что один предмет напоминает своим видом другой (напр., рыба морской конек —

лошадь, очертания вершины горы — лежащего человека) ничего не следует. Притом дело не во внешнем подобии, могущем внушить мысль, что кит есть рыба, а летучая мышь — птица, а в сходстве по существу, хотя бы и не было большого внешнего подобия. Одна и та же причина не может приводить сегодня к одному следствию, завтра к другому, чтобы, наприм., кипячение воды один раз превратило ее в пар, в другой раз — в лед, в третий совсем не изменило ее температуру, в четвертый разложило ее на ее элементы, а в пятый сделало из нее масло и мало ли еще что. Одинаковые причины не могут не порождать одинаковых следствий, сходные условия — не содействовать возникновению сходных явлений. Сравнительное изучение сходных фактов в жизни разных народов может руководствоваться и таким общим соображением, но тогда ставятся уже и разрешаются задачи не чисто исторические, а входящие в компетенцию социологии. Следует поэтому в сравнительном изучении различать сравнительно-историческое и сравнительно-социологическое: оба пользуются для сравнения историческими (или этнографическими) фактами, но историка интересуют лишь факты, между которыми можно установить генетическую связь, социолога же преимущественно факты, свидетельствующее о наличности в каждом примере одинаковой причины, приводящей к одинаковому следствию. Два человека, разрешающие одну и ту же практическую задачу, могут поступить одинаково или потому, что обоих кто-либо так научил поступать, или потому, что из них один перенял это у другого, или потому, что, будучи поставлены в одинаковые условия, они должны были поступить именно таким образом, а не иначе. Конечно, для познания человеческой психики вообще третий случай важнее двух первых: так дело и обстоит в социологии по отношению к социальным фактам вообще.

Сравнительное изучение исторических фактов представляет собою мост, перекинутый с берега истории на берег социологии. Оно может служить и задачам исторического (идиографического) знания и целям знания социологического (номологического). Здесь нас интересует только первое.

При помощи сравнительно-исторического метода мы можем судить, в случае наличности общего наследия у разных народов, о тех временах, о которых мы не имеем прямых свидетельств. Сравнительное изучение языков, верований, обычаев и т. д. арийских народов позволяет нам пролить свет на праарийскую старину. Существование

сходных слов в столь отдаленных одна от другой странах, как Индия и Ирландия (кельтский язык — тоже арийского корня), свидетельствует о том, что эти слова существовали в арийской прародине, и, следовательно, существовали понятия, ими обозначаемые, были известны предметы, так называвшиеся. Уже давно делаются попытки установления праарийского* словаря, при помощи которого можно было бы узнать главное о быте физических и духовных предков этих народов — какие, например, были у них религиозные верования, была ли у них определенная форма семьи, чем они занимались, какие домашние животные были им известны и т. д. Конечно, в подобного рода исследованиях многое остается довольно-таки проблематичным, как и в других случаях исследования скрытых фактов. Из этой же лингвистической палеонтологии, в основе которой лежит сравнительное изучение языков, ученые специалисты делают также выводы о местонахождении арийской прародины, о той последовательности, в какой происходило разделение пранарода на отдельные ветви. И здесь, опять-таки, много гипотетического и спорного, но кое-что уже и вне спора. Таким же методом создаются заключения о старине прагерманской или праславянской, т. е. путем сравнительного изучения языков, обычаев, обрядов, поверий и т. д. разных германских или разных славянских народов.

Результаты сравнительного изучения заимствований также весьма ценны для историка, ибо часто обнаруживают такие реальные связи, о которых не имеется прямых свидетельств. Японская конституция, как известно, была составлена по образцу прусской, но так как это случилось при полном свете истории, то, во-первых, доказать это очень просто, а во-вторых, и надобности нет ссылаться на этот факт для доказательства того, что японцы в конце XIX в. находились в сношениях с Европой и могли быть знакомы с Пруссией. Другое дело — времена отдаленные, которые для нас «покрыты мраком неизвестности». Находка где-нибудь в земле, при археологических раскопках, монеты, статуэтки, вазы, надписи иноземного происхождения доказывает, что некогда — и именно в таких-то веках — между обеими странами существовали связи, наприм., торговые сношения,

* В этом отношении, напр., сравнительно-социологический метод М. М. Ковалевского отличается от сравнительно-исторического метода А. Н. Веселовского. Ср. примечания на стр. 143 и 145.

а при большем количестве таких находок можно определить, на какую территорию эти связи распространялись и даже как постепенно расширялись с течением времени ее пределы. Совершенно такое же значение для установления существования сношений между разными странами в древние времена имеет изучение заимствований, открываемых исследованием сходных черт в их быту, если последние имеют не иное происхождение. Как это особенно часто бывает при сравнительном изучении «странствующих сказаний», таким именно способом определяются общие пути распространения культурных влияний.

Нередко сравнительно-аналитическим путем устанавливается заимствование там, где раньше видели нечто исконное и самобытное. Исследование генезиса данного явления, наприм., бытовой формы вообще или в частности какого-либо учреждения — одна из самых существенных задач истории, но в жизни каждого народа далеко не все, чем и как он живет, бывает найдено и сделано им самим. В одних случаях мы хорошо знаем, что кем и у кого было заимствовано, чему у кого кто подражал, но в других заимствования открываются только после кропотливого сравнительного исследования, доказывающего, что в данном случае было заимствование. Этим устанавливаются факты культурного влияния одних стран на другие. В виде примера можно сослаться на последние исторические работы, указывающие, насколько египетские образцы птолемеевской эпохи оказывали влияние на политическую организацию первых времен Римской империи*.

До сих пор речь у нас шла о сравнительном изучении отдельных сходных фактов, будут ли то слова или грамматические формы разных языков, начертания букв или последовательность их расположения в азбуках, какие-либо обычаи, поверья, установления и т. п., но ведь, кроме того, могут сравниваться между собою и целые исторические процессы в их обобщенных и отвлеченных формулировках. Многие вещи лучше познаются, по сравнению с другими, им однородными: иная черта не так ярко выражена в вещи А, как в вещи В, или, наоборот, в вещи А есть черта, отсутствующая в вещи В и тем лучше первую оттеняющая. Можно, конечно, и сразу сравнивать

* Кое-что указано в моих «Монархиях древнего Востока и греко-римского мира», стр. 242–243, 278–281 и др.

несколько предметов, опять-таки находя между ними, при всем их сходстве, и черты различия и в количественном, и в качественном отношениях. Предпринимая такое сравнение, социолог будет интересоваться установлением общей истины, касающейся всех однородных предметов распространительно и вне тех, которые были взяты в расчет, тогда как историк, кроме того общего, что можно сказать о данном круге сравниваемых процессов, будет иметь в виду и то еще, что характеризует и каждый данный предмета в отдельности. Возможно и вполне позволительно сосредоточить свое внимание лишь на единичном процессе, а остальные привлечь к сравнению не только не ради какой-нибудь общей истины, но даже и не для самих привлеченных примеров, а лишь ради именно одного, индивидуальные особенности которого лучше всего оттеняются сравнением с другими однородными процессами.

Исторические параллели нередко бывают очень поверхностными, не заходящими в глубину вещей. Таково было знаменитое сравнение французской истории с английскою, бывшее в ходу во Франции в эпоху Реставрации: в Англии была революция, во Франции тоже; в Англии был казнен король, во Франции тоже; в Англии на время установилась республика, во Франции тоже; в Англии главою государства сделался военный вождь, во Франции тоже; в Англии произошла реставрация старой династии, во Франции тоже, — а некоторые затем пророчествовали: как в Англии произошла вторая революция, заменившая прежнюю династию новою, так должна и во Франции произойти новая революция. Переворот 1830 г., бывший как бы французским повторением второй английской революции, даже подтвердил лишним фактом найденную аналогию, и все-таки она не имеет научного значения: двух сходных последовательностей фактов слишком мало для выведения какого-либо общего закона для всех революций, да и в истории самой Франции английская параллель ничего не объясняет, ибо во всем, что здесь было сопоставлено, столько пунктов различия, что обе великие революции, английская середины XVII в. и французская конца XVIII столетия, при внимательном изучении окажутся очень непохожими одна на другую, несмотря на сходство некоторых частностей (политический фанатизм индепендентов и якобинцев, разгон Кромвелем[273] Долгого парламента и 18 брюмера и др.). Внешнее сходство может быть совершенно случайным, как, напр., то, что во время Реставрации в Англии и во Франции было по

два короля, что это были не отец и сын, а старший и младший братья, что оба короля, лишившиеся престола, бежали, или то, что в самой Франции сыновья королей, низложенных революциями в 1830 и в 1848 гг., умерли раньше этих переворотов и не от болезни, и что наследниками обоих изгнанных королей были их малолетние внуки.

Сравнительное изучение однородных исторических процессов в двух или нескольких странах может служить не только целям исторической генерализации, но и целям лучшего понимания отдельных разновидностей одного и того же общего исторического явления. Ряд соседних стран, находящихся во взаимодействии и объединенных некоторыми общими им всем (или части их) бытовыми условиями, чаще всего может оказываться переживающим одинаковые движения и перемены, но каждая страна переживает одно и то же не так, как другая, а по-своему, в зависимости от местных условий и обстоятельств. Историка могут интересовать одинаково и сходства, и различия, и если в первом отношении он пользуется приемами сравнительного изучения для обобщений в смысле подведения частных случаев под общие формулы, то во втором отношении он будет сравнивать между собою эти случаи, как местные варианты одного и того же процесса, в видах лучшего уразумения самобытных черт каждого в отдельности. Представление о сравнительном методе, как об исключительном изучении сходств в целях обобщения, — представление, существующее, кстати сказать, у многих, — ошибочно, и как раз сравнение пунктов различия помогает схватывать все своеобразие отдельных частных случаев и тем лучше понимать местные, индивидуализирующие причины, условия, обстоятельства.

Сравнительная история* особенно уместна в таких случаях, какой представляет собою прошлое народов Западной Европы. Это или народы, история которых составляет продолжение истории Западной Римской империи, распавшейся на отдельные государства, или народы, позднее примкнувшие к романскому миру, подчинившиеся его политическому и экономическому влиянию, воспринявшие из него начала своей гражданственности и образованности, усвоившие его религиозные верования и вошедшие в состав его церковной организации. В отдельных частях этого исторического мира происходили

* Это выражение довольно часто встречается преимущественно во французской литературе (histoire comparée).

параллельные процессы: и взаимодействия римских и германских начал, и феодального разложения государства, и возрождения городского быта, и возникновения сословно-представительных собраний и т. д. Общими же движениями являются здесь потом гуманизм, религиозная реформация, католическая реакция, установление королевского абсолютизма, рационалистическое «просвещение», так называемый «просвещенный абсолютизм», революции во имя политической свободы, а в наше время и социализм. Общие бытовые начала, унаследованные от Западной Римской империи, и взаимодействия отдельных народов, заимствовавших друг у друга бытовые формы, при близком своем соседстве, постоянных связях и общности некоторых условий — географических, экономических и т. п., позволяют нам рассматривать этот исторический мир, как одно целое с общей для всех историей. И в то же время мы видим, что история каждой страны, история Франции, Италии, Германии, Англии и пр., строго индивидуальна, и что общие для всех явления варьируются по местам самыми различными способами. Религиозная реформация происходила в большей части государств Западной Европы в XVI в., и везде ее причины, силы, в ней участвовавшие, ее руководящие принципы имели много общего, но эти общие факторы действовали в неодинаковых сочетаниях и вместе с факторами чисто местного значения. Сравнительная история реформации в разных странах и подчеркивает эти различия, рельефнее выступающие при сопоставлении с другими направлениями, какие принимало одно и то же движение. Вся западно-европейская история, повторяю, от образования варварских королевств до новейшего социального движения представляет собою широкое поле для применения приемов сравнительной истории*.

Таким же объектом для сравнительной истории является мир греческих государств-городов со всеми этими Милетами, Афинами, Коринфами, Сиракузами и т. п. Уже в древности Аристотель и Полибий обобщали переходы греческих государств-городов от одних политических форм к другим, но это — общие схемы, отклонения от

* Более подробно о возможности обобщенного и в то же время сравнительного изучения истории западно-европейских народов см. в некоторых местах моей «Истории Западной Европы в новое время», особенно в I главе первого тома (об обобщенном рассмотрении), в I главе второго тома (о сравнительном изучении истории Реформации в разных странах) и др.

которых лучше всего познаются из детального сравнения отдельных примеров.

Во всех случаях сравнительного изучения таких коллективностей, как греческий мир, Западная Европа и пр., будет ли сравнение направлено на выработку обобщающих формул или на индивидуализацию местных вариаций, изучение остается идиографическим, поскольку и греческий мир в его целом, и Западная Европа в ее целом даны нам в истории лишь по одному разу.

Изучая историческую литературу, мы часто наблюдаем, что историки, случается, прибегают к сравнениям прошлого одной страны с прошлым других то в целях обобщения, то, наоборот, в целях обособления. Одною из традиций русской национальной историографии сделалось противополагать наше прошлое прошлому западно-европейскому, подчеркивать своеобразие путей нашего исторического развития. При этом не принималось в расчет ни то, во-первых, что европейский Запад отнюдь не представляет собою чего-либо однородного, ни то, во-вторых, что вообще история всякой страны складывается своеобразно, что французские историки также имеют право противополагать историю своей родины истории Англии или Германии, как поступают и английские историки, и немецкие по отношение к своим отечествам. Пункты сходства и пункты различия в сравниваемых историях бывают распределены крайне неравномерно, могут иметь весьма неодинаковую важность, встречаются в самых пестрых комбинациях, и предвзятые мысли в ту или другую сторону бывают чрезвычайно вредны, когда в погоне за обобщениями или, наоборот, в стремлении во всем находить одну самобытность исследователи закрывают глаза на неудобные им факты.

У нас давно было решено, что на Руси не было ничего подобного западному феодализму, и даже говорить в ином смысле считалось признаком дурного вкуса. Такое отрицательное решение вопроса было основано больше на общих соображениях, нежели на детальном сравнении русских бытовых форм известного периода с составными элементами западного феодализма, который сам тоже был один во Франции, другой в Германии, третий в Англии и т. д., а иногда отличался и по областям одной и той же страны. Когда палка согнута в одну сторону, ее часто, желая выпрямить, перегибают в другую сторону, и, конечно, было бы ошибкою стараться доказать, что у нас

был такой же феодализм, как на Западе, со всеми его атрибутами. Сравнительная история должна соблюдать меру, если хочет не сходить с научной почвы*. Нужно ожидать, что сравнительное изучение русского прошлого с прошлым западных народов принесет пользу и самому пониманию того, что в этом прошлом было, действительно, своеобразными.

Сравнительный метод в целях исторических обобщений в одной категории случаев может быть назван типологическим, когда применяется к изучению отдельных типов, под которые могут быть подведены отдельные человеческие общества. Кроме анатомии человека, лошади, воробья, осетра, лягушки и т. п., есть еще сравнительная анатомия, объединяющая отдельные виды животного царства в разные классы. Можно говорить об анатомии млекопитающих вообще и дать общую схему их скелета, под которую одинаково должны будут подойти и кит, и летучая мышь, но которой вполне не будет соответствовать ни один из этих видов. Такая же общая схема может быть дана и для типа всех позвоночных животных, но и эта схема, еще более общая, равным образом, будет охватывать всю совокупность животных позвоночных, и, конечно, не будет точно соответствовать ни одному отдельному их виду.

Подобные типы можно установить, наприм., по отношению к политическим организациям человеческих обществ в связи с их социальным строем. Такими типами были деспотии древнего Востока, государства-города античного мира с их гегемоническими федерациями, средневековые поместья-государства и сословные монархии и т. д. вплоть до современных конституционных государств**. Типо-

---

* См. мою книгу «В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России?» (1910), написанную по поводу работ Павлова-Сильванского в этой области. Имею в виду в своей ссылке не столько, конечно, существо вопроса, сколько разные методологические соображения, которые вызываются сравнениями Павлова-Сильванского.

** В духе того, что говорится в тексте, мною было прочитано, в 1902 и след. годах, в Петроградском Политехническом Институте, и издано пять «типологических курсов по истории государственного быта» под заглавиями: «Государство-город античного мира», «Монархии древнего Востока и греко-римского мира», «Поместье-государство и сословная монархия средних веков», «Западно-европейская абсолютная монархия XVI–XVIII веков» и «Происхождение современного народно-правового государства». В этих курсах находятся и общие соображения о типологическом изучении, имеющем характер переходного от

логическое изучение, конечно, является не чем иным, как одним из способов применения к историческим фактам сравнительного метода, который вообще отнюдь не следует понимать в смысле какого-нибудь ограниченного шаблона.

XII. ИСТОРИЗМ В ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

Пользование в научных целях исторической точкой зрения, историческим материалом и историческим методом можно вообще называть «историзмом». Историческая точка зрения заключается во взгляде на явления жизни, как на нечто, находящееся в постоянном процессе становления (im Werden, как выражаются немцы) и изменений, а не как на нечто неподвижное и всегда себе равное, в желании понимать жизненные отношения путем исследования их происхождения и прослеживания их развития. Историческая точка зрения есть, таким образом, по существу своему точка зрения генетическая и эволюционная, и тот, кто на нее становится, тем самым показывает, что его не удовлетворяют знание вещей, взятых в неподвижности отдельных моментов их бытия, и подведение их под неизменные от века и до века категории. Становясь на историческую точку зрения, ученые, теоретически изучающие языки или литературы, государственные устройства или факты законодательства, конечно, нуждаются, прежде всего, в историческом материале, т. е. в материале фактическом, без которого ни одна наука не может ступить и шага, и притом не столько в фактах, даваемых современностью, сколько в фактах прошлого, относящихся к другим временам, существовавших в иных условиях, характеризующих разные ступени развития. Раз лингвист или теоретик литературы, государствовед или юрист обладают таким материалом, они, понятное дело, и обрабатывать его должны не иначе, как историческим методом, устанавливая каузальныя и эволюционные связи, сравнивая и обобщая в интересах более глубокого теоретического понимания.

Истóризм и по своей основной точке зрения, и по особенностям своего материала, и по методу своему, можно сказать, имеет своего

исторического к социологическому, но кроме того, этому предмету я посвятил особую статью.

антипода в рационалистическом теоретизме, стоящем на точке зрения неподвижного бытия и неизмененных категорий, более опирающегося на общие соображения, нежели на факты, и потому имеющего характерную склонность к пользованию преимущественно дедуктивным методом.

Особенною анти-историчностью, как известно, отличалось мышление XVII и XVIII вв. Это было время веры в существование незыблемых начал, лежащих в основе разных явлений жизни, — начал, которыми объясняли существующее и в которых вместе с тем усматривали нормы должного. В первом отношении это были начала, по тогдашней терминологии, «естественные», во втором — начала «разумные». Выражения «естественная религия», «естественная мораль», «естественное право», «естественный порядок» экономистов, называвших себя физиократами (физиократия значит господство природы, т. е. естественных отношений), «естественный закон» (в особом смысле слова), — все это термины тогдашнего рационалистического мышления, видевшего существенный атрибут естественности в разумности, т. е. в соответствии с идеями разума. На почве понятий такого рода сложилось и столь популярное в те времена представление об «естественном состоянии», бывшее продуктом чисто абстрактного конструирования первобытного состояния человечества.

Рационалистические мыслители оперировали или исключительно над отвлеченными понятиями, всюду и везде приложимыми, или над ограниченным фактическим и идейным материалом. Общая философская грамматика, искавшая основных законов грамматического строя языков, обобщала и возводила на степень принципов данные латинской и французской грамматики. Ложно-классические поэтика устанавливала общие правила красоты и вкуса на примерах античности, а общая эстетика строилась на чисто отвлеченных рассуждениях, как будто в области литературы и искусств возможны были неизменные нормы, и «правильный» вкус всегда был подчинен одним и тем же предписаниям. Естественное учение о праве строилось на римской юриспруденции, причем римское право принималось как бы за «писаный разум» (ratio scripta). По образцу естественного права физиократы стремились открыть свой «естественный порядок человеческих обществ», пригодный, так сказать, для всех стран и времен. Лучшим способом открытия «естественного» в разных областях жизни считалось дедуктивное рассуждение, при помощи которого и по-

строил, наприм., свою систему родоначальник политической экономии, Адам Смит. Так как, однако, рассуждать о реальных отношениях без знания каких-либо конкретных форм невозможно, то во многих отношениях Адам Смит исходил из наблюдений над экономическими явлениями современной ему Англии: последние сослужили ему такую же службу, какую для философствовавших грамматистов данные латинского или французского языков, для теоретиков естественного права — римское право, для литературных критиков — античная поэзия и т. п.

Точка зрения всех таких теоретических конструкций была уже по одному тому анти-историчной, что целью их было формулирование абсолютных истин, тогда как историческая точка зрения есть точка зрения относительности явлений, обусловленности их местом и временем. Абсолютность — синоним неизменности, а история вся в переменах. Если даже рационалисты, вынужденные зрелищем исторических перемен, и пытались давать формулы известных процессов, то опять-таки считали возможным строить их чисто умозрительным методом, не чувствуя потребности в историческом материале или привлекая исторические факты лишь в виде конкретных примеров для отдельных положений своих конструкций. Т. е. и самое пользование историческими фактами было неисторическим: мысль шла не от фактов к выводам, а от общих положений к фактам, которые должны были не столько доказывать правильность выводов, сколько иллюстрировать разные априорные положения в качестве конкретных примеров.

Здесь не место подробно рассматривать вопрос о том, как в XIX в. историзм овладел изучением языков, литератур, художеств, религий, права, народного хозяйства и т. п., а именно лишь в XIX в. произошло проникновение исторической точки зрения, исторического материала и исторического метода в такие специальные отрасли научного знания, которые прежде как бы даже чуждались всего исторического. Если в дальнейшем будут приведены примеры историзма в отдельных научных дисциплинах нашего времени, то, главным образом, потому, что историзирование этих дисциплин не могло, как увидим, ниже, не отразиться на расширении задачи самой исторической науки.

В наше время уже невозможна всеобщая грамматика. Ее заменила лингвистика, опирающаяся на громадный фактический материал, получаемый путем исторического и сравнительного изучения языков

(а за последнее время и путем непосредственных наблюдений, даже при помощи особых приборов). Современные ученые отказались от взгляда на грамматические понятия, как на переведенные в область языка логические категории. Каждый язык есть сложная культурная форма очень различного там и здесь происхождения и изменяющаяся во времени параллельно с другими бытовыми формами. К языку даже была применена — и очень при этом рано — идея органического развития.

Теория словесности и в частности поэтика перестали быть учениями о неизменных родах и видах и канонами вкуса, изящества и красоты. Современная наука давным-давно оставила такую точку зрения и самую задачу, наприм, общей теории поэзии поняла, как совокупность итогов, получаемых в результате только исторических изучений*.

В области юриспруденции уже около ста лет тому назад в виде реакции против отвлеченной и абсолютной естественно-правовой теории возникла историческая школа права, указавшая и на своеобразие отдельных национальных законодательств, и на изменчивость каждого из них во времени, с применением к праву идеи развития, даже

---

* Самым видным представителем в русской науке идеи историзма в теории литературы был покойный Ал-др Н. Веселовский, высказавший основную свою мысль еще в 1870 г. (в своей первой лекции), хотя он и не дал ей полного методологического развития, Т. е. только попутно делал в этом смысле замечания главным образом, применяя свой метод на практике. Целью своих исследований он ставил, именно, «собрать материал для индуктивной поэтики, которая устранила бы ее умозрительные построения, для выяснения сущности поэзии из ее истории». Из введения в историческую поэтику (Ж. М. Нар. Пр. 1894. V, 221). Ср. также хотя бы только одно заглавие статьи его «История или теория романа» (в книге «Из истории романа и повести»). Мне не раз приходилось высказываться в печати об историко-теоретических взглядах Веселовского (см. особенно стр. 59 и след. «Литературной эволюции на Западе» и стр. 576 и след., а также 591 и след. «Сущности исторического процесса»), так как я вообще интересовался вопросом об историзме в изучении литературы (см. мои статьи). Недавно (1910) А. М. Евлахов выпустил в свет под заглавием «Введение в философии художественного творчества» свой «опыт историко-литературной методологии», в котором находит, что научное изучение литературы «идет по ложному пути», что в нем «слишком много истории и слишком мало философии», разумея, впрочем, под историей не историзм, а общеисторический материал, в котором тонет материал чисто литературный. Автор стремится, главным образом, отграничить историю литературы от истории культуры, с которою ее многие сливают. Между прочим, в книге Евлахова есть глава (198–216), где взгляды Веселовского сопоставляются с моими.

«органического» развития по образцу языка. К этому эволюционному пониманию права присоединилось и сравнительно-историческое его изучение, пользующееся, кроме исторического материала, равным образом и этнографическим.

Аналогичное историческое направление возникло и в области экономической науки. Здесь уместно упомянуть, что начало ему было положено немецкими политико-экономами около 1840 г., когда ими было обнаружено, что теоремы «классической школы» Адама Смита, формулированные в Англии с ее более развитым хозяйственным строем, неприменимы к экономическим отношениям Германии, находившейся тогда на более низкой ступени развития. Немецкие экономисты, таким образом, ставили экономические явления в зависимость от условий времени, а с этим и места, откуда—утвердившееся в Германии наименование данной науки «национальною» экономией,—наименование, указывающее на обусловленность экономических явлений местными обстоятельствами*.

Итак, мы видим, что в изучении и языка, и литературного творчества, и права, и экономических явлений старое абстрактно-теоретическое отношение заменилось или по крайней мере, дополнялось отношением историческим, в конце концов, преобразовавшим лингвистику, поэтику, юриспруденцию и политическую экономию. Исследования в области других культурных категорий испытали на себе, равным образом, влияние историзма.

Примером этого может еще служить историзм в изучении того сложного элемента духовной культуры, который называется религией. Теоретическое отношение к религии прежде было исключительно богословским, т. е. таким, в котором на первом плане стоял вопрос об истинности или ложности рассматриваемых религиозных представлений и формул с точки зрения определенных догматов. Так называемая философия религии стояла, в сущности, на той же точке зрения. В современной науке религия начала рассматриваться, как одно из душевных переживаний (психологическая точка зрения) и как один из важнейших элементов культуры, имевших весьма разнообразные исторические формы, познание которых является наилучшим путем для объективного понимания религии в качестве важного

* См. в приложении названия статей 37, 38 и 43, в которых говорится о взаимных отношениях истории и политической экономии.

общественного явления. Старая философия религии все более и более переходит в историко-теоретическое исследование разнообразных форм религии и их эволюции.

Историзм не признает неподвижного бытия и всякую замечаемую нами неподвижность принимает лишь, как момент, как временное состояние при переходе от прежнего к новому, откуда и относительность теоретических построений, касающихся разных элементов культуры. Эта точка зрения с конца XVIII в. стала проникать и в естественные науки, начавшие рассматривать свои объекты не sub specie aeternitatis, т. е. не как нечто вечное в своем постоянстве. Кантолапласовская гипотеза генезиса Солнечной системы из первобытной «туманности» была первым шагом по пути к рассмотрению вселенной с точки зрения эволюции. Второй шаг сделан был в первой половине XIX в. Ляйэлем[274], взглянувшим глазами историка-эволюциониста на прошлое земной коры и тем произведшего целый переворот в геологии. Наконец, третий шаг, в самой середине прошлого столетия, сделал Дарвин, указавший на изменчивость животных и растительных видов и основавший учение о трансформизме в органической природе.

Для лучшего уразумения разницы между историзмом и умонастроением, которое стало им вытесняться, можно сравнить последнее с метафизикой Платона, берущей мир совсем не таким, каким он представляется в системах двух философов XIX в., Гегеля и Спенсера[275], как ни различны обе эти системы в других отношениях. Для Платона мир окружающих нас явлений был отображением мира истинно сущего, и все видимые нами предметы лишь несовершенными копиями их сверхчувственных первообразов, идей, как неизменных, всегда себе равных сущностей. Другими словами, Платон мыслил мир в самом его существе, как неподвижное бытие. Наоборот, то, что Гегель прозревал за внешнею видимостью вещей, он понимал, как некоторый процесс, как постоянное движение вперед и переход старого в новое. Спенсер из эволюции, равным образом, сделал основной закон всего сущего.

Старые теории были неисторическими и даже антиисторическими, новые теории характеризуются именно своею историчностью. На самом деле, теория и история не суть две непримиримые вещи: наоборот, отсутствие в теории историчности, — раз теория объясняет вещи, имеющие историю, — можно рассматривать, как существенный недостаток теории, лишающий ее научного значения, тогда как

историзм теории, — раз ему в ней есть место, — является одною из гарантий того, что теория стоит на верном научном пути. С другой стороны, и историческое изучение бывает и совсем лишенным всякой теоретичности в смысле пользования общими понятиями и обобщающими формулами, и, напротив, сильно проникнуто теоретическим духом. Нет надобности пояснять, в каком из этих двух случаев история имеет более научный характер. Конечно, у истории и у теории разные задачи: у первой идиографическая, у второй номологическая, но они обе должны идти рядом к одной цели — научному знанию. Историзм — враг только таких теорий, которые имеют априорные основы и отворачиваются от фактов; думать поэтому, что историческим изучением совершенно устраняется всякое теоретическое мышление, очень неосновательно. Между тем, — нельзя не отметить это мимоходом, — выводы в этом направлении делались не раз.

История имеет дело либо с объединенными коллективностями, каковы народы, государства, а также с отдельными их частями, как-то: провинциями, городами, сословиями, общественными классами и т. п., с одной стороны, и такими соединениями стран и народов, как античный мир, Западная Европа, славянство и пр., либо с разными сторонами их культуры, наприм., религией, поэзией, искусством, философией, государственным строем, правом, хозяйственным бытом, с другой стороны.

Оставляя пока коллективности в стороне, рассмотрим отношения, существующие в сфере всех этих специфических историй религии, философии, права и т. п. В таких специальных штудиях, прежде всего, нужно привести демаркационную линию между историками, занимающимися чем-либо из подобных предметов, и теологами, философами, юристами, экономистами, вносящими в свои занятия историческую точку зрения, исторический материал и исторический метод. Конечно, историку, который занимается вопросами, входящими в область истории религии, или истории конституционного строя, права, хозяйственного быта и пр., нужно обладать соответственными теоретическими знаниями, т. е. в данных случаях теологическими, политическими, юридическими, экономическими, как и теологи, государствоведы, юристы и экономисты не могут обходиться без общего исторического образования. Случается и так, что об ином ученом специалисте трудно бывает сказать, кто он — историк или юрист, например, — до такой степени он и то, и другое в одно и то же время.

О не совсем удачных представителях такого двойственного положения злые языки даже говорят так, что историки де считают его за экономиста, а экономисты, наоборот, за историка. Какие бы, однако, в этом отношении ни возникали комбинации, мы все-таки, как-никак, отличаем экономическое направление в истории от исторического направления в политической экономии.

Экономист, юрист, государствовед философ и т. д., прежде всего, теоретики народного хозяйства, права, государства, вопросов гносеологии, метафизики, этики и т. д., а потому, как таковые, должны и в истории того, что составляет предмет их специального изучения, больше интересоваться значением тех или других исторических фактов для общих теорий права, народного хозяйства и т. п. Для юриста-теоретика отдельные факты в истории права являются частными случаями и примерами каких-либо общих формул, и даже тогда, когда общая формула заключает в себе, наприм., историческую схему развития какого-либо института, в глазах юриста-теоретика она будет иметь номологическую, а не идиографическую цену. Историзм является для юриста вообще лишь средством по отношению к чему-то другому, как цели, а таковою целью здесь будет познание общей природы права, его значения в жизни, путей его развития. Чем менее, наоборот, все это будет интересовать юриста, и его внимание будет больше привлекаться совокупностью правовых явлений в данной стране, как характеризующих эту страну культурных форм правового содержания, возникновением их в данной социальной среде, их развитием в данных условиях, тем более юрист будет становиться историком права, и тем труднее будет делать различие между юристом по специальности, работающим исторически, и историком по специальности, работающим в области права. Юриспруденция-теория и юриспруденция-история — это две полярности, и между ними мы проводим демаркационную черту, которую приходится передвигать в зависимости от степени преобладания в работе специалистов чисто теоретического или чисто исторического интереса. Такое же различие существует между экономической теорией и экономической историей, между теорией разных искусств (музыки, архитектуры, живописи, скульптуры) и их историей и т. п. (кроме, конечно, еще одного различия между теорией и практикой, какое существует между самою живописью и ее теорией, между практическою деятельностью судьи, адвоката и т. п. и кабинетного исследователя).

Делаясь историком, юрист в известных случаях должен даже превращаться в филолога, когда изучаемый им памятник законодательства, состояние, в каком до нас дошел текст памятника, лексическая его сторона, другие особенности и проч. требуют применения особых приемов наследования и специальных, не юридических знаний. Так и историк искусства становится археологом, когда изучаемое им произведение искусства является и объектом археологии.

Каждая специальная отрасль истории может иметь свою особую методологию, но чисто технического свойства, в зависимости от несходств между такими предметами исследования, как язык и государство, музыка и право, философия и народное хозяйство. Принципиально задачи специальных историй одни и те же: констатирование фактов, установление между ними генетических связей и, наконец, обобщение их в виде объединяющих формул. Различение между событиями (прагматическими фактами) и бытовыми (культурными) формами применимо и к этим специальным историям, как это можно видеть из следующих примеров, которые нарочно привожу в большем количестве ввиду того, что многими теоретиками исторической науки это различие ясно не сознается.

В историях разных сторон духовной культуры, каковы религия, философия, наука, поэзия, отдельные искусства, мы имеем дело с разными школами, направлениями, течениями, различаемыми по основным чертам, их характеризующим и тем самым отличающим их одни от других. Религией народа является, например, или христианство, или магометанство, или буддизм, а в самом христианстве мы различаем православие, католицизм, протестантизм и т. д. Для историка все это — обособленные бытовые формы религии с отличными одни от других догматами, обрядами, учреждениями. В истории философии мы имеем дело с разными направлениями и школами, которые называем идеализмом, материализмом, позитивизмом, платонизмом, кантианством и пр. Совершенно так же историки живописи говорят о школах итальянской, фламандской, французской и т. п., а историки литературы — о классицизме, романтизме, реализме и пр. Нет никакого сомнения, что во всех перечисленных случаях мы имеем дело с многообразием культурных форм, варьирующихся от народа к народу и от эпохи к эпохе, различных в отдельных вероисповеданиях, философских, литературных, научных и т. д. школах. Все эти культурные особенности характеризуются не только чисто формальными

особенностями обрядов религиозного культа, приемов художественного творчества, способов разрешения проблем философского мышления, методов научного познания и т. п., но и реальным содержанием образов, представлений, понятий, формул искусства, литературы, философии, религии, да и эти последние, как и чисто формальные особенности, составляя содержание сознания большого или меньшего количества лиц, объединенных принадлежностью к одной и той же вере или к одному и тому же направлению в искусстве, в науке, в философии, являются отличительными признаками отдельных народов или групп художников, писателей, мыслителей, ученых.

Задачи историка всех этих форм с их содержимым — найти их происхождение, проследить их изменения, определить причины последних, будут ли эти изменения происходит незаметно и постепенно, или на дальнейшее существование изучаемых явлений окажет влияние какое-либо событие. Религиозная история полна такими событиями, в роде выступлений проповедников, Магометов[276] и Лютеров, в роде случаев принятия новой веры и т. п. В истории философии и науки совершаются свои события, каковыми являются, наприм., — чтобы называть только особенно крупные факты, — обнародования трактатов Коперника, Декарта или Бэкона, Канта, Дарвина. Каждое научное открытие есть событие в истории духовной культуры, и поскольку одним открытием обусловливается другое, между этими событиями устанавливается историком генетическая связь.

В истории государства, права, народного хозяйства — то же разделение. Образ правления, реальная совокупность способов проявления власти, писаная конституция, соблюдается ли она или нет, входят в область бытовых отношений, т. е. культуры, в данном случае политической культуры, а революции, государственные перевороты, это уже — политические события, политическая прагматика. От юридического быта в его реальных и нормативных проявлениях мы так же должны отличать события в правовой жизни страны, наприм., издание гражданского кодекса во Франции в начале XIX в. или введение общего гражданского права в Германии на наших глазах. И экономическая история занимается не только хозяйственным бытом, но и событиями в хозяйственной жизни: такими событиями были, наприм., изобретение паровой машины и применение ее к производству, законодательная отмена цехового строя, тот или другой промышленный кризис, крупный неурожай и т. д.

XIII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ОБЩАЯ

Существование специальных историй философии, права, литературы, искусств объясняется тем, что есть люди, особенно интересующиеся и занимающиеся этими предметами. Специальное дробление при этом может идти очень далеко, ибо пишутся еще всякие истории дипломатии, областного управления, прямого обложения, судоустройства, сельского хозяйства, торговли, военного дела, публицистики, почтовых сношений, декоративного искусства, мод, промышленной техники и пр. и пр. до бесконечности. Такою историческою специализацией осуществляется необходимое в каждой науке разделение труда, причем отдельные специальные истории то близко соприкасаются одни с другими, то, наоборот, имеют весьма мало между собою общего, как, напр., истории языка и литературы или истории права и государства, истории точных наук и техники, с одной стороны, или истории судопроизводства и музыки, истории живописи и вексельного права и т. п., с другой.

В то же время эти специальные предметы исторического изучения, рассматриваемые в их генезисе и эволюции, не имеют самостоятельного существования, каким обладают вещественные предметы. Все это — наши умственные категории, отвлекаемые нами от единства реальной жизни того или другого человеческого коллектива. Государство, право, народное хозяйство, религия, литература, искусство, наука, философия, это — лишь разные стороны исторической жизни, разные категории общественного быта. Последний, взятый в его целом, должен быть также предметом истории, именно общей истории некоторого соединения людей, представляющего собою известное единство, прежде всего нации или государства, — соединения, в котором наблюдаются те или другие бытовые формы политического, юридического, экономического и духовно-культурного значения. Каждый народ, — что весьма естественно, — желает знать свое собственное прошлое, и национальная историография у всех народов стоит поэтому на первом плане. Общая история национального или политического коллектива, понятное дело, не может быть простою суммою всех, какие только имеются в наличности в данный момент, специальных историй, среди которых найдутся и истории чего-нибудь вроде народного орнамента или государственного конозаводства. С точки зрения общей истории отечественного ли про-

шлого или прошлого любой страны, нас почему-либо заинтересовавшей, не все для нас в этом прошлом одинаково существенно и важно, да и прежде почиталось таковым. Весьма интересным было бы проследить, как в разные времена производился выбор существенного в истории*. В общем, на первых порах прагматика преобладала над культурою, и интерес сосредоточивался на политических событиях и часто больше на внешних, нежели на внутренних. Культура лишь постепенно входила в содержание общих историй, притом лишь по частям, и, наприм., хозяйственный быт был одной из последних тем, занявших подобающее место в общих построениях истории отдельных стран. Между историками происходит нечто вроде молчаливого соглашения относительно существенного и несущественного, важного и неважного, характерного и нехарактерного в событиях и в быте, составляющих историческое прошлое отдельных народов. Но помимо такого «consensus omnium»[277] над вопросом о существе или ядре исторической жизни работала и теория исторической науки, равно как социология.

В отличие от специальных историков, изолирующих предметы своего изучения, общий историк должен рассматривать главные стороны исторического бытия народа не только в их совокупности, но и в их взаимоотношениях: во взаимоотношениях государства и права, права и народного хозяйства, экономики и политики, политики и религии (государства и церкви), религии и философии, философии и науки, науки и политики (просвещения и власти), ибо в реальной жизни все это переплетается одно с другим и представляется нам в виде сложной системы взаимодействий, как в организме. Задача историка по отношению к каждой отдельной стране и к каждой отдельной эпохе состоит в том, чтобы разобраться в этой путанице и пестроте жизни, как географ разбирается в причудливо пересекающихся горных кряжах, ущельях и долинах, сводя все к немногим главным направлениям. Отдельные общественные науки не занимаются изучением взаимоотношений и взаимодействий политических, юридических, экономических и духовно-культурных сторон народной жизни. Идиографически, по отношению к отдельным странам, этим занимается история, а номологически, т. е. в форме общей теории должна заниматься этим социология, от которой теория истории

* О. В. И. Ф., кн. II, гл. 1 (гл. 5 по 3 изд.).

уже теперь получает немало руководящих начал методологического характера.

Тому, что такое социология, какой ее предмет, какая задача, какой метод и какие в ней существуют направления, мною посвящена особая книга*. Основной взгляд на социологию, изложенный в этой книге, сводится к следующим положениям.

Во-первых, социология есть общая наука об общественных явлениях, которой, как специальные науки, соответствуют главным образом, государствоведение, юриспруденция, политическая экономия. Одна из задач социологии — изучать взаимоотношения между разными категориями общественных явлений, т. е. явлениями политического, юридического, экономического и духовно-культурного характера**.

Во-вторых, от частных социальных наук социология отличается и тем, что является наукою, лишенною прикладного характера: это одна из чистых наук. Именно, государствоведы, юристы, политико-экономы заняты не только исследованием природы государства, права, народного хозяйства и законов, управляющих явлениями данных категорий, но и вопросами о том, к чему нужно стремиться и как действовать для достижения поставленных себе целей, напр., вопросами о правильном государственном устройстве, о справедливости правовых норм, о выгодности или невыгодности чего-либо для целей хозяйственной деятельности. История тоже — чистая наука, но она, как мы видели, не совпадает с социологией в другом отношении.

В-третьих, социология есть наука номологическая, идиографическими соответствиями которой является история, а с нею этнография и статистика, равно как описательные части государствоведения, юриспруденции, политической экономии.

В-четвертых, эта общая, чистая и номологическая наука должна в своих исходной точки зрения и основной задаче, а главное в методе,

---

* Введение в изучение социологии.

** Общую связь между общественными явлениями равных категорий Конт обозначил латинским словом «consensus» (согласие), для которого в данном случае трудно найти вполне подходящий перевод, потому что, наприм., слово «согласованность» предполагает некоторую преднамеренность, которой в данном случае быть не может. В общем, наприм., в полном «консенсусе» находятся зимой шубы, теплые шапки, шерстяные рукавицы, валенки, а между соломенной шляпой и меховым пальто уже нет «консенсуса».

стоять вообще на почве позитивного знания, т. е. изучать общество, как реальность, без всяких метафизических предпосылок о чем-либо внеопытном и сверхчувственном, искать в представляемых им явлениях законосообразности, как это делают естественные науки, и пользоваться при этом методами, устраняющими всякий произвол исследователя.

В-пятых, свой материал социология должна брать из того, что вырабатывает научное мышление историков, этнографов, статистиков, государствоведов, правоведов и экономистов, а также психологов, поскольку последние касаются общественной стороны человеческой психики.

В-шестых, подобно тому, как биология опирается на физику и химию, а на биологию психология, сама социология должна опираться на психологию, которая может, изучать не только процессы, совершающиеся в индивидуальной психике (интраментальные явления), но и процессы психического взаимодействия между членами общества (интерментальные явления). Ближайший предмет социологии не это взаимодействие, а вырастающая на его почве социальная организация*.

В-седьмых, социологические законы могут быть законами сосуществования явлений (социальная статика) и законами их последовательности, как каузальной, так и эволюционной (социальная динамика).

В таком понимании** социология призвана быть общей теорией истории, направляющей мысль историка, но отнюдь не дающей ему

---

* Ср. мою статью «О значении психологии для общественных наук» («Вестник психологии, криминалистики, антропологии и педологии» за 1912 г.), где получила последнюю формулировку мысль о взаимных отношениях психологии и социологии, высказанная мною еще в О. В. Ф. И. — Термины «интраментальный» и «интерментальный» образованы из лат. «mens» (ум, душа) с предлогами «intra» (внутри) и «inter» (между).

** Есть и другие понимания в роде отождествления социологии с изучением первобытной культуры, социального строя в отличие от политического и т. п. Совершенно не соглашаюсь со взглядом акад. Лаппо-Данилевского в выпуске I его «Методологии истории» (стр. 66–87). Именно, он находит, что «с точки зрения научно-обобщенного знания между социологией и историей не должно быть принципиального различия: обе стремятся к обобщению и разнятся только по ближайшим объектам исследования: социология обобщает преимущественно (?) явления, постоянно повторяющиеся, а история — явления развития: в таком случае легко свести социологию — к социальной статике, а историю к

готовых ответов на его, всегда идиографические, вопросы. Лишь при помощи социологического мышления историк может разобраться в теоретическом вопросе об относительном значении в жизни факторов экономических, политических, умственных, эмоциональных, волевых, причем будет хорошо понимать, что в данном случае личное предрасположение выдвигать вперед тот или другой фактор или разные посторонние чистому знанию соображения* должно уступать место логическим обобщениям фактических данных. Социологическое же мышление поможет историку провидеть законосообразность совершающегося и выделять существенное и необходимое в каждом процессе из массы осложняющих его подробностей и случайностей. Лишь при условии, далее, соблюдения требований социологической логики историк, помимо прямой своей задачи, будет в состоянии обрабатывать свой материал таким образом, что его выводы будут важны и для социолога. Особенно важны с этой точки зрения сравнительно-исторические исследования и историко-типологические построения.

Исторические исследования и построения с указанным характером не только подготовляют материал для дальнейшей социологической обработки, но могут сверх того иметь большое значение при проверке общих социологических формул, в которых многое бывает только гипотетическим. Теория, не объясняющая тех фактов, на объяснение которых рассчитана, а еще того более противоречащая этим фактам, тем самым доказывает свою непригодность и во всяком случае требует поправок, оговорок, ограничений. История и социология должна поэтому, конечно, идти рука об руку, взаимно одна другой помогая, одна другую контролируя, социология — со стороны общих научных идей, история — со стороны научно установленных фактов.

Указанными отношениями между историей и социологией разрешается вопрос о правильности выражения «исторические законы». В настоящее время, когда лучше чем прежде, понимается различие между историей и социологией (или вообще идиографией и номо-

социальной динамике». Впрочем, это — с точки зрения «научно-обобщенного» знания, с точки же зрения «научно-обоснованного» знания автор признает между обеими науками (и правильно) принципиальное различие.

* Вероисповедные, национальные, классовые и т. п., о чем ниже.

логией), все чаще раздаются протесты против выражения «исторические законы», как заключающего в себе внутреннее противоречие (contradictionem in adjecto), но когда тридцать лет тому назад в «Основных вопросах философии истории» я посвятил целую главу* изложению мотивов, заставивших меня отнестись отрицательно к специально «историческим законам» при безусловном, однако, признании психологической и социологической законосообразности в истории, в этом мои критики усмотрели величайшую ересь. К более подробному обоснованию данного своего взгляда я вернусь еще в начале второй части настоящего труда, где будет идти речь о законосообразности в историческом процессе. Здесь довольно одного указания на то, что раз существуют психологические и социологические законы, никаких еще, кроме них, законов специально исторических быть не может.

Историю можно назвать биографией народов и всего человечества, но исторические законы столь же мало возможны, как и законы биографические, из того, однако, отнюдь не следует, что жизнь отдельных людей не подчинена действию законов, только это — законы биологии и психологии, а не биографии. Общая история народа или государства и есть его биография, в которой общее законы психологии и социологии действовали в такой, собственно, комбинации, которая была вполне индивидуальна. Признавая психологическую и социологическую законосообразность в истории и даже обладая некоторыми общими эволюционными формулами, мы должны еще спросить себя о том, следует ли применять эти формулы к истории отдельных народов или к истории человечества, как единого целого.

XIV. ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ И ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Свою историю имеет каждый человеческий коллектив, представляющий собою нечто целое, так или иначе объединенное. У каждых деревни, села, города, области есть своя история, но, в сущности, такие общественные единицы являются только частями более самостоятельных целых, каковые суть или народности, или государства, постоянные соединения людей — в первом случае на почве общей культуры, во втором — под властью общих учреждений и законов.

---

* Кн. I, гл. 2.

Совпадение национальности и государства наблюдается, как известно, далеко не всегда, и истории, то и дело, приходится иметь перед собою, с одной стороны, отдельный национальности, разделенные на несколько, даже на множество государств (пример — древние греки) или частично входящие в состав разных государств (пример — современные поляки), с другой — государства с разноплеменным населением. Ввиду того, что национальное единство обуславливается главным образом, общностью духовной культуры и преимущественно на почве психического взаимодействия, государственное же единство заключается в известной объединяющей организованности практических взаимоотношений между людьми, история государства сделалась типичною формою исторического изображения внешних судеб и внутренней жизни человеческих коллективов, тем более, что на первых порах всякое государство более или менее строго национально. Тем не менее и национально-культурная точка зрения продолжает играть роль в историографии отдельных стран. Россия, наприм., давно уже перестала быть, по составу своего населения, государством единой народности, но все историки русского народа, изучающие его прошлое, следят исключительно за его политическим, экономическим, умственным развитием, оставляя в стороне историю и татар, вошедших в состав русского государства при Иване Грозном[278] или при Екатерине II, и инородцев Прибалтийского края, подчиненных России Петром Великим, и поляков, сделавшихся подданными русских государей при Екатерине II и Александре I и т. д. Следовательно, в истории России, — которая в настоящее время заключает в своем населении самые разнородные элементы, — мы видим продолжение прежнего национально-русского государства, а не Казанского и Астраханского царств, не Ливонского ордена, не польско-литовской Речи Посполитой и т. п. История последних продолжается уже в виде истории отдельных областей, т. е. частей государства, включившего их в свой состав.

Утрата нацией самостоятельного политического существования, с другой стороны, не мешает историкам такой нации следить за ее внешними судьбами и внутренними отношениями и после того, как она лишилась своей государственности. Старое польское государство, бывшее сначала одноплеменным, а потом распространившее свою власть на иноплеменные области, было разделено во второй половине XVIII в. между тремя государствами, а в начале XIX в. в этот

дележ были внесены существенные изменения, после чего судьба польской национальности в каждом «заборе» была разная, но это не препятствует польским историкам изучать прошлое и «поразборовой» (porozbiorowej) Польши, как единого национального целого, хотя бы политически и разъединенного.

Возможны и истории народностей, никогда или, по крайней мере, на протяжении почти всего своего существования не бывших политически самостоятельными, но объединенных общими этнографическими признаками, как мы это видим на примере малороссов или украинцев. Их историки начинают изложение своей национальной истории так же, как и наши: киевский период у обеих версий общий, — но дальнейшее построение с известного момента расходится, и одно продолжение этой общей истории рассматривается на северо-востоке, другое — на юго-западе. Так, впрочем, дело обстоит и с историями Франции и Германии, которые обе берутся, как два продолжения одной и той же истории Франкского королевства и монархии Карла Великого. Однако, после бифуркации русской истории одна ветвь русского племени организовалась в государство, другая стала входит в состав других государств. И это обстоятельство тем не менее не мешает существованию особой национально-украинской историографии.

Этих примеров, полагаю, достаточно, чтобы видеть, как многообразно могут комбинироваться между собою две указанные точки зрения, национальная и политическая, в построении истории крупных политических коллективов, которые для историков являются отдельными народами. В греческой истории мы имеем дело с фактом политического раздробления крупного национального коллектива, в римской истории, наоборот, с фактом политического объединения многих национальностей. Вся история полна процессами сложений и разложений, и как нации, так и государства находятся в постоянном процессе изменений и новообразований, сказывающихся как на их внешнем положении, так и на внутренних их отношениях.

Существование национальной историографии, т. е. историй отдельных народов и государств объясняется, разумеется, тем, что человеку, принадлежавшему к данной нации, или гражданину данного государства прежде всего интересно знать и понимать прошлое своего Отечества. Недаром еще очень недавно историю определяли как народное самосознание, и в занятии отечественным прошлым

видели исполнение совета дельфийского прорицалища: γνώθι σεαντόν («познай самого себя!»). Интересоваться близким, родным, своим — явление, как нельзя более естественное. Человек, принадлежащий к известной народности или государству, как бы выделяет их в качестве особых целых, достойных преимущественного или исключительного интереса, причем, основаниями для этого выделения служат чисто объективные данные общности быта и единства судеб. Нации и государства, это — реальные единицы истории, по отношению к которым сословия, социальные классы, культурные слои, профессиональные группы или области, города, села, деревни являются не имеющими самостоятельного значения подобиями органов живого существа или частями единого целого. Раз объективно существуют такие отграниченные одни от других человеческие коллективы, теми или другими из них можно, однако, исторически интересоваться, и не принадлежа к ним; напр., русский может специально заниматься и прошлым Франции или Германии, а француз или немец — прошлым России. Кроме интереса патриотического, есть еще интерес чисто научный, без которого в настоящее время не было бы исторического изучения ни древнего Египта, ни Вавилона, ни Финикии и других подобных стран.

Культурные и политические объединения всегда начинаются в определенных центрах, откуда распространяются в разные стороны, постепенно охватывая большие или меньшие территории. В каждом отдельном случае географические условия страны, топографические условия местности, ее орография и гидрография, однообразие или разнообразие вида, климат и качества почвы, флора, фауна, определяют собою быт и судьбы народа. Самые свойства населения, т. е. раса с врожденными своими особенностями, тоже входят в число условий, определяющих историю страны. Это давно сделалось избитым местом исторической науки и даже дало повод к возникновению особых теорий климата (у Монтескье и в более широком понимании у Бокля) и расы (у Ренана[279]). Недаром то, что мы называем началом исторической жизни, возможно было здесь и невозможно там, и недаром исторической жизнью жили только народы некоторых «высших» рас*.

* В О. В. Ф. И. (кн. III, гл. 4 или по 3 изд. гл. 14) есть целый отдел о влиянии внешней природы и прирожденных свойств племени на историю. Тема эта

В природе страны и в свойствах племени историку даны первичные условия существования и эволюции народов. Тенденция современной исторической науки объяснять всякое национально-государственное развитие из местных условий и внутренних причин заслуживает, конечно, величайшей похвалы: это — условия наиболее постоянные, т. е. наименее изменяющиеся, условия, охватывающие все стороны народного бытия, определяющие образ жизни, занятия, взаимные отношения жителей и порождающие, в свою очередь, ряд явлений, которые становятся причинами изменений в разных областях народного быта и пр. Искусство историка даже прямо в том и полагается, чтобы главные особенности данного комплекса технических, экономических, социальных, юридических, политических форм и традиций, с какими народ делается известным науке, уметь объяснить из условий страны, и каждый последующий момент в этом «консенсусе»* быта уметь вывести из моментов предыдущих без помощи какого бы то ни было deus ex machina[280].

Но и в этом законном стремлении должно соблюдать меру, т. е. не отрицать того, что многое в жизни народов является результатом влияний, испытывавшихся ими со стороны других народов. Изучение направлений, в которых течет наша Волга, привело к тому общему выводу, что как только эта река принимает сколько-нибудь значительный приток, то изменяет прежнее свое направление и течет как раз в направлении своего нового притока. Эта особенность течения Волги может служить образной иллюстрацией того, как и в истории принятия в силу внутренних причин направления могут отклоняться в ту или другую сторону под влиянием воздействием извне.

Народы не живут на изолированных островах вне всякого между собою общения. У каждого народа есть соседи, и пограничные территории часто бывают предметом военных столкновений, переходят то в одни руки, то в другие, и между самими народами возникают весьма разнообразные отношения, вплоть до подчинения себе одними народами других. То или другое соседство также ведь есть одно из географических условий, и для народа, напр., не безразлично,

---

должна нас занять и во второй части общей теории истории, предмет которой составляет и вопрос о том, как, под какими влияниями совершается исторический процесс.

* См. выше.

каковы его соседи, и в каких отношениях ему приходятся стоять к этим соседним. Если государственное объединение более мелких политических организмов можно назвать политической интеграцией, то установление экономического обмена на известной территории между первоначально изолированными коллективами позволительно обозначить, как интеграцию экономическую, причем обе интеграции могут между собою и не совпадать, т. е. одна опережать другую. Историческая роль торговли хорошо известна; торговля еще более, нежели война, приводила народы в соприкосновение, вызывая в то же время и изменения во внутреннем их быту. Люди разных стран обменивались притом не только товарами, но и изобретениями, умениями, верованиями, знаниями и пр., что входит в обширную, нами уже рассмотренную область заимствований, в то самое время, как колонизация, завоевания, союзы тоже сближали отдельные страны и вносили извне изменения в их бытовые формы.

Собственно говоря, изолированных историй народов даже и нет совсем. Уже древнейшие памятники исторической литературы, известные части Библии и творение Геродота, рассказывая прошлое еврейского или греческого народов, берут его в связи с событиями, происходившими в других странах. Греческий историк Полибий, современник великих римских завоеваний, прекрасно говорит в своем труде, что к его времени дела Италии и Африки переплелись с делами Азии и Греции и все вместе как бы направились к общей цели. Отдельные истории, выводил он отсюда, как разрозненные члены тела, не могут дать представления о целом, и только общая история сообщает нам, прибавляет Полибий, знание событий, их причин, следствий и сопровождающих обстоятельств. Греческая культура и римская государственность объединили в один исторический мир целый ряд стран вокруг Средиземного моря, завершив процесс, начатый финикийскими мореплавателями и царями-завоевателями Востока. Христианство дало этому миру религиозное единство, к которому (а вместе с тем и к наследию античной цивилизации) примкнули более новые европейские народы, впоследствии колонизовавшие и подчинившие себе другие страны света. Мировая сцена истории с течением времени все более и более расширялась, пока прагматическим и культурным процессом, главною ареною которого была Европа, не были захвачены и наиболее отдаленные и отсталые страны вроде Японии и Китая, начавшие недавно усваивать результаты европей-

ской цивилизации. Параллельно с греко-римскими, христианским, европейским объединением шло другое, в Азии и Африке, магометанское, обязанное очень многим, в эпоху Арабского калифата, заимствованиям из греческой и древне-восточной культуры. Историческое взаимодействие двух миров, европейско-христианского и азиатско-магометанского тоже представляет собою важное явление в истории Старого Света. С другой стороны, магометанство проникло в Индию, родину буддизма, сыгравшего роль мировой религии в другой половине Азии, и в Китай, т. е. в два больших исторических мира, потом испытавших на себе и разнообразные влияния со стороны европейских народов. Теперь мы имеем полное право говорить о мировых державах, о мировой политике, о мировой торговле и тому подобных результатах истории, принявшей мировой характер*.

Кроме национальных историй есть, следовательно, история мировая, или всемирная, Weltgeschichte, histoire mondiale, история международных прагматических и культурных отношений влияний, взаимодействий, история смены и преемственности стран и народов во главе цивилизации, история расширения исторической сцены в мировую. Это не только позволяет, но и прямо обязывает смотреть на целый ряд исторических событий и бытовых форм не с одной точки зрения их места и роли в прошлом того или другого народа, но и с точки зрения их значения в истории человечества, взятой в целом, в истории мировой, с точки зрения, как у нас прежде было принято выражаться, всемирно-исторической, универсальной.

То, что заслуживает имени всемирной истории, не должно быть простою суммою историй отдельных стран, народов, государств, какую мы находим в так называемых малых и больших всеобщих историях (histoires generales, allgemeine Geschichten). Это должна быть история прагматического и культурного объединения разных стран

---

* Не раз уже мне приходилось полемизировать против взгляда, по которому за единственно научное отношение к истории нужно признавать стремление выводить все в истории каждого народа исключительно из ее антецедентов. Под последним № значится брошюра «Типологическая и всемирно-историческая точка зрения в изучении истории». По поводу первой из этих точек зрения я уже назвал (выше, стр. 158) свои типологические курсы, из которых в одном («Монархии древнего Востока и греко-римского мира») особенно проводится и вторая, всемирно-историческая точка зрения и имеются некоторые общие соображения о политической, экономической и духовно-культурной эволюции народов древности.

мира, его условий и результатов в отдельные периоды, его путей, средств, способов, успехов, неудач, роли в этом процессе отдельных народов, их вкладов в общую цивилизации или производившихся ими разрушений, их взаимодействий, история идей и учреждений с мировым значением и вообще происходящего в жизни человеческих обществ движения вперед, прогресса. Одним словом, это должно быть объединенным, обобщенным и поднятым на высоту отвлеченного созерцания построением всей прошлой жизни человечества, т. е. тем, что в свое время было очень популярно под названием «философии истории».

XV. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ*

Главнейшие попытки создания философии истории были сделаны в эпоху господства метафизического мышления, когда некоторые мыслители считали возможным конструировать весь ход всемирной истории на основании чисто априорных соображений. Самым замечательным метафизическим построением философии истории были, как известно, лекции Гегеля, под этим заглавием изданные в начале сороковых годов прошлого века. Связь философии истории с метафизическими системами до такой степени дискредитировала самую мысль о ней в глазах историков, что одно имя философии истории способно было вызывать иронические улыбки и колкие замечания. Но из того, что прежде построяли философию историю не так, как следует, еще отнюдь не вытекает, чтобы нельзя было решать задачу другим, уже совершенно научным способом, не путем выведения историко-философских формул из априорных положений, а путем все большего и большего обобщения действительного хода всемирной истории и его результатов, между прочим и для дальнейших судеб и развита человечества. Свою философию, в смысле самого отвлеченного и углубленного обобщения на основании научных данных и при помощи научного же метода, может иметь история и отдельного народа и даже одного из проявлений его культурной жизни (напр., возможна философия истории русской литературы),

* Выставленные в этой главе положения подробно развиты в «Основных вопросах философии истории», где см. особенно главы 1–4 первой книги и главу 2 второй книги (гл. 7 по 3 изданию). Кроме того, ср. мои статьи.

но название «философия истории» без дальнейших определений приурочивается, главным образом, к целому истории человечества.

К сожалению, термину придавались и придаются до сих пор очень различные значения, и часто, говоря о философии истории, разумеют под нею весьма неодинаковый вещи. Нередко под этим названием понимают общую теорию исторического процесса, так сказать, с наклоном в сторону решения в связи с нею и некоторых чисто философских проблем: для обозначения такой философской историологии даже предлагался особый термин «историософия», которому, однако, у нас не посчастливилось. При таком понимании философии истории, как философской теории исторического процесса, очень легко было придти к тому выводу, что возникновение социологии упразднило прежнюю философии истории, т. е. что социология и есть то самое, что имелось в виду, когда создавалась философия истории*, и это, пожалуй, верно, но лишь постольку, поскольку социология может заниматься историческим процессом, отвлеченно взятым, где бы то ни было и когда бы то ни было. Другое дело — замена социологией, наукою номологическою, философского рассмотрения единожды нам в действительности данного процесса истории человечества, — рассмотрения, которое по самому существу своему должно быть идиографическим. Существование социологии поэтому отнюдь не упраздняет философии истории: там номология всякой истории, здесь идиография только единичной, лишь один раз нам данной истории — истории человечества. Признавая полную законность основного вопроса философии истории о том, как совершалась и к чем заключалась история человечества, в смысле совокупности народов, постепенно объединявшихся в одно целое, и вместе с тем признавая возможность научного ответа на этот вопрос на основании тщательного изучения исторических взаимоотношений между народами, мы, конечно, не должны делать отсюда вывода о каком-то едином законе, объясняющем весь ход всемирной

* «Социология, — говорит, напр., проф. Виппер, — преемница философии истории; социология, это — новые общие требования, предъявляемые истории». Очерки теории исторического знания, стр. 47. Это — довольно распространенный взгляд, но только здесь не принимается в расчет, что главное русло философии истории всегда составляли общие обзоры коего хода истории, а не теории исторического процесса вне времени и пространства. Ср. различение Бернгеймом двух разных сторон в «Geschichtsphilosophie». Lehrbuch, стр. 689.

истории. Представление о таком основном законе истории, взятой в ее целом, есть не что иное, как наследие прежних, донаучных способов решения историко-философской проблемы. Раньше всего философствующие историки стояли на точке зрения провиденциализма, считая для себя возможным доподлинно узнать общий план божественного Промысла, ведущего человечество к высшему совершенству. Потом авторы метафизических философий истории заменили провиденциалистический план планом, так сказать, уже чисто логическим — в каком именно порядке должна была совершаться история по самой своей «идее», понимавшейся отдельными философами очень различно. Наконец, когда родоначальник социологии, Огюст Конт, ставший на точку зрения позитивной науки, тоже задумался над историко-философской проблемой, то первым его делом было установить основной закон истории, затем и примененный им ко всему человечеству, взятому в целом.

Этого краткого напоминания о том, как менялось понимание общего плана всемирной истории или ее основного закона, можно было бы здесь совершенно не делать как напоминания о чем-то таком, в чем современная историческая наука совсем не заинтересована, если бы не одно недавнее обстоятельство, имеющее известное значение и для настоящего времени.

Я имею в виду некоторые нападки на самую идею философии истории в нашей литературе, в сущности, основанные на том предположении, что кто ставит задачу философии истории, тот волей-неволей и предначертывает способ ее разрешения на путях, по которым шли провиденциалисты и метафизики. Именно на этих путях, прежде всего, встречалось представление о некоторой объективной цели, которая поставлена истории Божеством ли, природою ли, или еще там чем-нибудь. При таком телеологическом понимании истории в философское изображение общего ее хода вносится идея плана, по которому она совершается или который ею выполняется, идея основного закона, ею управляющего и направляющего ее течение к ее конечной цели. Эти представления о конечной цели истории и о планомерности ее хода постулируют признание за нею внутреннего единства, каковое ей, наприм., и навязывал Гегель. Конечно, все идеи конечной цели истории, планомерного ее течения и внутреннего единства выросли на почве не того миросозерцания, которое создается положительным знанием, но философия истории может быть и

вполне свободною от подобных предпосылок, т. е., вместо телеологической точки зрения, стоит на точке зрения генетической, но искать в истории какого-либо сокровенного плана, заменяя его подведением итогов под фактически данным, и прямо отрицать какое-либо внутреннее ее единство, наблюдая, наоборот, лишь постепенное объединение данного нам первоначально разрозненным*.

XVI. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТИВИЗМ**

Все предыдущее имело целью выяснить, при каких условиях историческое знание может быть научными, и, следовательно, при каких учениях история заслуживает названия науки. Все, что в историческом представлении и понимании несогласно с фактами и противоречит логике, не может считаться научным, как продиктованное чем-нибудь иным, а не одним чистым и бескорыстным желанием знать то, что было и как бывшее было, безотносительно к тому, приятно нам или неприятно было бы узнать это, выгодно или невыгодно, чтобы это знали и другие. Основная добродетель настоящего историка — беспристрастие во имя объективной научной истины, которую историк должен признавать за таковую, раз она установлена фактами и логикой, в каком бы конфликте она ни оказалась с симпатиями и интересами самого историка.

Обязанность быть объективными должна сопровождать всю деятельность историка от критики источников до самых отвлеченных обобщений. Историк отвергнет, наприм., подлинность какого-либо документа, когда его к этому приведут научные соображения, хотя бы этим разрушалась какая-нибудь дорогая иллюзия или нарушался какой-либо важный интерес. С таким же беспристрастием он будет отвергать достоверность того или другого известия, раз вполне очевидна его неверность, хотя бы оно почему-нибудь нравилось или из него можно было сделать выгодное употребление. Наконец, свя-

---

* Отсылаю к своим статьям, где между прочим рассматриваются взгляды критиков всемирно-исторической точки зрения, как историко-философской, обязательно будто бы в ненаучном ее понимании.

** Вопрос об объективизме и субъективизме, некоторое время бывший предметом большого спора в русской социологической литературе, был мною особенно подробно рассмотрен в главах 3, 4 и 5 второй книги «Основных вопросов» (гл. 8, 9 и 10 по 3 изд.).

зывать между собою факты, сравнивать их одни с другими, делать обобщения историк также обязан, строго придерживаясь логических приемов мысли и научного метода, отнюдь не подгоняя факты к известным желательным выводам, в угоду каким бы то ни было эмоциональным нашим переживаниям или утилитарным расчетам. Если в повседневной жизни «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающей обман», то в науке, наоборот, одна маленькая истина, как бы она «низка» ни была, ценится гораздо дороже всяких «красных вымыслов», с которыми науке совершенно нечего делать, если только не уничтожать их своею критикою.

Между естествознанием и гуманитарными науками существует большая разница в том отношении, что в первом люди могут быть беспристрастными с неизмеримо меньшим трудом, нежели во вторых. Человеческие дела и отношения, составляющие содержание гуманитарных наук, слишком близко касаются разных предрассудков и предубеждений, симпатий и антипатий, интересов, стремлений, разделяющих людей на отдельные, часто друг другу враждебные народы, государства, вероисповедания, сословия, классы, партии и т. п. и так или иначе влияющих на суждения людей об одном и том же в далеко не сходных между собою направлениях. Если бы, как говорится, та истина, что 2 х 2 = 4, вообще сколько-нибудь затрагивала людские интересы, нашлось бы немало таких людей, которые подвергли бы ее, по крайней мере, сильному сомнению. В каждой нации, в каждом вероисповедании, в каждом сословии и т. д. есть свои установившиеся традиции и ходячие идеологии, свои особые групповые предрассудки относительно своего, соединенные с предубеждениями по отношению к чужому. Споры и борьба, происходящие в жизни между народностями, государствами, церквами и т. п., переносятся и в историческое изображение или понимание этой самой жизни. Очень часто, — чтобы не сказать в большинстве случаев,— сами известия о фактах, служащие материалом для историка, имеют субъективную окраску, изобличающую принадлежность авторов, которые оставили нам эти известия, к таким-то и таким-то национальным, политическим, вероисповедным, партийным и т. п. группам, в интересе или, по крайней мере, в духе которых в источниках рассказываются события, объясняются их причины, указываются их следствия, приводятся те или другие их подробности. Тому, что кому-либо нравится или из чего он рассчитывает извлечь для себя выгоду, обыкновенно охотно

и верят, да и больше доверять показаниям своих единомышленников и соучастников в общем деле, нежели тому, что говорится подозрительно или враждебно настроенными людьми, также в порядке вещей. Вот все это, вместе взятое, и должно заставлять историка, дорожащего правдою и одною только правдою, тщательно наблюдать за тем, чтобы какие бы то ни было посторонние научным требованиям соображения не диктовали ему приговоров о событиях и отношениях, о людях, о мотивах их поступков, о результатах их деятельности и пр., в своей ли, в чужой ли истории, невзирая на то, будет ли этот приговор приятен или неприятен, выгоден или невыгоден для нации, к которой принадлежит историк, для его сословия, для его партии.

Некоторые виды незаконного, как я охотно его называю, субъективизма столь часто встречаются в исторической литературе, что на каждом из них стоит здесь остановиться в отдельности. Это, главным образом, субъективизмы национальный (часто совпадающий с государственным), конфессиональный и партийный (нередко тождественный с сословным или классовым). Возможны и другие виды незаконного субъективизма, — когда, напр., представитель одного литературного направления держится разных мерок в оценке своего и чужого, — но рассмотрение их завлекло бы нас слишком далеко.

XVII. НАЦИОНАЛИЗМ В ИСТОРИИ*

То, что у каждого народа развита любознательность преимущественно по отношению к своему прошлому, к родной старине, весьма естественно и понятно, но в то же время это обстоятельство указывает на патриотический источник такой любознательности, источник эмоциональный и лишь отчасти теоретически в смысле чисто созерцательного и умозрительного отношения к истине. Исторические взгляды относительно родного прошлого складываются на почве национальной традиции и идеологии, в создании которых участвуют легенды, приятные национальному самолюбии, романтическая идеализация родной старины, официальные заявления, принятые за чистую монету общественной средой, непроверенные слухи, переходившие из уст в уста и обраставшие при этом новыми чертами, легко-

* Ср. мою статью «Мечта и правда о русской науке» (Рус. Мысль, 1884) и брошюру «Лекция о духе русской науки» (1885).

верие и невежество, да и мало ли еще что, менее же всего что-либо, похожее на критику и исследование. Ко всему прибавлялись еще «ученые» домыслы и прямое сочинительство в целях наивящего обоснования националистической догматики или ее рационализирования. Некритическое отношение ко всякому историческому баснословию, к «народным» преданиям, к официальной фразеологии, к настроениям патриотических грамотеев и начетчиков предшествует настоящей научной работе, которая не может не разрушать традиционную историко-догматическую конструкцию, к великой обиде всех, кто искренне верил в непреложную истину предания, и к великому негодованию тех, для кого было выгодно поддерживать такую веру. Можно даже сказать, что научная работа историков по самому своему существу находится в постоянном конфликте с националистической традицией. С проверки источников последней, с анализа ее генезиса, с критики ее выводов и должно начинаться настоящее научное исследование действительно бывшего прошлого.

Чем была бы, напр., наша национальная историография, если бы она продолжала питаться формулами и построениями XVI–XVII веков с Москвою, как третьим Римом, и другими подобными вошедшими «в национальное самосознание» представлениями? Разве все развитие науки русской истории не заключалось в искании настоящих научных ответов на вопросы, которые принято было разрешать на почве патриотических соображений? Не заключается ли самое развитие историографии в постоянном пересмотре всех прежних решений исторических проблем, — решений, и в более близкие нам времена диктовавшихся желанием не столько нечто узнать, сколько нечто доказать.

Scribitur historia ad narrandum, non ad probandum, т. е. «пишется история для рассказывания, а не для доказывания», — вот старинное правило, которое и теперь имеет силу, когда задача истории полагается не в одном только рассказывании. Доказывать какой-нибудь исторический тезис не потому, что известные выводы вытекают из самого существа фактов, а потому, что этого требуют — хорошо ли, дурно ли — понятые интересы национальности, государства, значит заниматься не историей, а публицистикой, и чем менее сама публицистика церемонится с фактами и с логикой, тем дальше отстоит она от научного понимания и от действительно исторической истины.

Историческая истина, как и всякая другая научная истина, может быть только одна для людей всех национальностей, т. е. относительно одного и того же факта не может быть двух или еще более истин, одна с другою несогласных, — истины французской и истины немецкой, истины русской и истины польской. Вольтер, сам не отличавшийся беспристрастием, совершенно верно, однако, понимал сущность исторического объективизма, когда говорил о необходимости такой истории пунических войн, которая была бы написана ни в пользу римлян, ни в пользу карфагенян, — требование, к сожалению, редко исполняющееся, когда речь заходит об исторических тяжбах двух народов или двух государств.

Особенно в истории международных отношений сказываются националистические точки зрения, причем наиболее резкий оборот принимают суждения об этих отношениях, когда, наприм., два соседних народа находились в постоянном антагонизме. Таковы, между прочими, русско-польские отношения, различным образом освещаемые, с одной стороны, в русской, с другой, в польской исторической литературе*. На почве традиционной неприязни подобного рода создается понятие о «наследственном враге» по отношению к которому иными представителями национализма в историографии все считается дозволенным в ущерб достоинству науки и вопреки элементарным требованиям чувства справедливости. В подобного рода случаях историческую критику заменяет публицистическая полемика, и, вместо научных исследований, в результате получаются памфлеты, в которых история искажается до полного несоответствия фактам для обоснования тех или иных притязаний, возводимых на степень так называемых «исторических прав».

Вообще националистические точки зрения в историографии отличаются консерватизмом и даже архаизмом как в вопросах о международных или междуплеменных отношениях, так и в вопросах внутренней политики. В данном случае можно говорить даже о некотором практическом историзме, видящем во всем, что только пахнет национальной стариной, историческое освещение существующего

---

* См. мою книгу «Падение Польши в исторической литературе», которую я старался написать в духе исторического беспристрастия, и которая потому вызвала неприязненные замечания в обоих лагерях. Конечно, в случаях подобного рода стремление к беспристрастию не есть желание «сесть между двух стульев», а является желанием занять более независимую и прочную позицию.

порядка вещей. Впрочем, это — особая тема, к которой мы еще вернемся дальше.

Менее всего с националистическим субъективизмом может мириться рассмотрение чего бы то ни было, имеющего универсальное значение, вроде таких событий, как великая французская революция. Известно, что она не была событием, имевшим только местное значение, потому что, с одной стороны, революционные войны потрясли всю Европу и отразились так или иначе на истории многих ее стран, а с другой, начатая во Франции перестройка всех внутренних отношений оказала большое влияние на внутреннюю жизнь и других народов. Общеевропейское значение французской революции — очень интересная историческая тема, но для правильного решения этого вопроса требуется безусловное отрешение от каких бы то ни было чисто местных точек зрения. Этого условия научного объективизма не соблюл, наприм., немецкий историк Генрих Зибель[281], написавший большой труд по истории революционной эпохи. Он правильно указал на то, что французскую революцию следует рассматривать в связи с двумя другими крупными переменами, совершившимися в эту эпоху, а именно с падением Польши, как самостоятельного государства, и с превращением средневековой Священной Римской империи германской нации, но в то же время он на все эти события взглянул преимущественно с точки зрения их выгодности или удобства, т. е. их значения и притом не для немецкой нации вообще, а для Пруссии, сторонником коей он был в эпоху подготовлявшегося объединения Германии. Гораздо шире понял тему об общеевропейском значении французской революции Альберт Сорель, хотя и ему не чужд некоторый патриотический субъективизм*.

Националистические тенденции нередко окрашивали в XIX веке и саму «философию истории». Фихте, стоявший в конце XVIII в. на модной в то время космополитической точке зрения, в начале XIX столетия сделался родоначальником националистических историко-философических построений, и не у одних немцев. В своих знаменитых «Речах к немецкой нации» он заявил, что только народы германского корня способны духовно понимать религию, философию и государство, а Гегель в своей «Философии истории» усмотрел

* См. мою брошюру «Альберт Сорель, как историк французской революции».

в германском мире высшее и последнее проявление Мирового Духа, процесс самопознания которого составлял для него настоящее содержание всемирной истории. Русское славянофильство и польский мессианизм середины XIX в. представляют собою такое же превознесение определенных племен, как имеющих особые и притом, пожалуй, наиболее важные миссии во всемирной истории. Во всех направлениях подобного рода даже всемирно-историческая точка зрения, наименее пригодная для обоснования националистической исключительности, с большою, тем не менее, охотою эксплуатировалась в интересах того или другого романтического или мистического национализма. Националистический субъективизм сказался даже на таких трезвых историках, как Гизо во Франции и Бокль в Англии. Первый из них, написавший две истории цивилизации, одну — в Европе, другую — во Франции, утверждал, что французская цивилизация наиболее осуществляет или воплощает в себе самую идею цивилизации, тогда как второй находил в своей «Истории цивилизации в Англии», что именно история его родины одна шла наиболее нормальным путем*.

Национальное чувство, диктующее историкам много такого, что не только научно не может быть обосновано, но что даже настоящей наукой легко опровергается, в самой исторической жизни представляет собою такую громадную силу, с которой не считаться историку, конечно, нельзя. XVIII век, как известно, отличался космополитизмом, в многих своих проявлениях заслужившим название беспочвенного. В прошлом столетии люди, наоборот, очень часто впадали в противоположную крайность, но из того, что национальные стремления способны принимать уродливые формы, далеко, разумеется, не следует делать вывода против научного интереса к национальному элементу в истории.

Каждая нация есть своего рода коллективная духовная личность, национальные особенности играют очень видную роль в истории отдельных народов. Культура каждого народа имеет свой особый характер и даже общие течения истории получают в отдельных странах местную окраску, будем ли мы говорить, положим, о христианстве, о гуманизме, о Реформации, о Просвещении XVIII в., о романтизме,

* Все признаки резко националистической идеологии мы находим в знаменитой «России и Европе» Данилевского, о которой см. мою статью.

о либерализме и о социализме в разных странах Западной Европы. Духовное творчество народов в областях литературы, искусства, философии, не исключая науки, равным образом, отличается своеобразным для каждой отдельной нации характером. Историческая наука не имеет права все это игнорировать. Мало того, одна из ее задач — исследовать, как и под какими влияниями складывалась та или другая национальная культура, что в ней было наиболее оригинальным, какой вклад та ила другая нация сделала в общую сокровищницу мировой цивилизации и проч. Далее, в числе практических вопросов, которые приходится разрешать исторической жизни отдельных народов, далеко не последнее место, а иногда прямо первое занимает вопрос национальный. За примерами ходить далеко нечего. В религиозной Реформации XVI в., разрешавшей, как известно, массу вопросов не только в области духа, — вопросов религиозной догматики, этики и т. п., — но и в области политических, социальных и экономических отношений, проявлялось и национальное самосознание в виде требований касательно перевода священного писания на народный язык, введения последнего в богослужение, национализации всей церковной жизни, освобождения ее от Рима. Особенно дают себя знать национальные движения, происходившие в Европе XIX в., все эти «славянские возрождения», национальные объединения Италии и Германии, успешные и неуспешные попытки порабощенных народов освободиться от чужеземной власти. В перечисленных случаях «национальный вопрос», в смысле ли приобщения отсталых народностей к высшим формам культурной жизни, или в смысле образования больших национальных государств из раздробленных политических организмов, или, наконец, в смысле борьбы за освобождение от подчинения чужому государству, настолько по временам обострялся, что выдвигался положительно на первый план и отодвигал в сторону до поры до времени все остальные вопросы. В таких национальных движениях вырабатывалась и своя идеология, очень часто заключавшая в себе много наивного, сентиментального, романтического, мистического, а иной раз и прямо реакционного, но это отнюдь не может служить резоном для огульно-отрицательного отношения к национальным движениям, будто бы не заслуживающим серьезного внимания по сравнению, наприм., с вопросом социальным, как будто обреченным самою историей на вымирание, заодно со всеми отсталым, со всем пережитками старины, мало-помалу сдаваемыми развитием

жизни в архив. Относиться так к национальному элементу в истории и к национальным движениям тоже значит проявлять особого рода незаконный субъективизм, аналогичный беспочвенному космополитизму XVIII века, не понимавшему, что в действительности «людей вообще» нет, а есть только французы, немцы, англичане, русские, турки, китайцы. Противники всякого исключительного национализма в наше время противополагают ему не космополитизм, а интернационализм, признающий законность национальных различий и стремлений, но вместе с тем признающий необходимость солидарности отдельных народов в общем человеческом деле.

Таким образом, перед лицом научной истории одинаково неправы как националистический субъективизм неразумных «патриотов», так и а-национальный субъективизм людей, не хотящих считаться с национальным самосознанием, с национальным чувством, с национальными стремлениями и движениями, как с историческими явлениями, имеющими реальное существование и играющими большую роль и в культурной, и в прагматической истории народов.

Любовь к родине, истинная любовь, а не фальшивая и не показная только, — если уж и этого вопроса приходится касаться при обсуждении темы о национальном элементе в историографии, — то, что называется патриотизмом, в неискаженном значении слова, не должна ослаблять в историке любви к правде, и именно стремлением раскрыть перед народом всю историческую о нем правду он лучше всего служит родине. Те, которые находит непатриотичным, если историк разрушает национальные легенды, когда-то бывшие, может быть, полезными или и до сих пор остающиеся для кого-нибудь выгодными, не имеют понятия ни о настоящем патриотизме, ни о настоящей исторической науке. Вовсе не является признаком действительного патриотизма интересоваться только отечественным прошлым, а для историка — только этим одним и заниматься, т. е. не делать предметами своих исследований вопросы из истории других народов.

Что историки, принадлежащие к той или другой национальности, прежде всего и больше всего научно работают над отечественным прошлым, это столь же естественно и понятно, как и то, что в школах отечественная история проходится подробнее, нежели иностранная, и что читающая публика интересуется историей родины больше, нежели чужою. Было бы, однако, неправильным требовать, чтобы раз, наприм., ты — русский, так и должен работать только над русской

историей. Не только в обществе, но и в печати у нас довольно часто высказывается недоумение и прямое негодование по поводу того, что русские ученые разрабатывают темы, взятия из истории других стран. Люди, высказывающиеся в таком смысле, не принимают в расчет, что, прежде всего, иностранными историями занимаются у нас преимущественно преподаватели высшей школы, которые не могут не быть в той или другой мере специалистами по истории Франции, Англии и т. п. Этим критикам, далее, не мешало бы принимать в соображение и то, что чем разнообразнее, богаче и шире научное содержание, входящее в состав национальной культуры, чем большую самостоятельность проявляет нация в усвоении и особенно в выработке этого содержания, тем вообще выше уровень ее цивилизации. Существует некоторая общеевропейская наука, и чем значительнее участие ученых той или другой нации в ее движении, тем больше чести среди других народов они приобретают для своей страны.

С другой стороны, для каждого занимающегося научно историей своего Отечества, необходимо широкое историческое образование, требующее, чтобы он часть своего внимания и интереса уделял также истории других стран. Наконец, и для самой исторической науки очень важно, чтобы за темы из истории какой-либо страны брались не одни местные ученые, но и ученые из других стран.

Национальные историки в каждом народе имеют то важное преимущество перед иностранными, что, так сказать, ближе стоят к предмету своего изучения. Во-первых, это касается языка источников и пособий. Чтобы русскому специально заниматься чем-либо из истории Венгрии или Португалии, ему нужно обучиться помадьярски или по-португальски, и во всяком случае венгерские или португальские историки в знании своих языков будут превосходить иностранца. Во-вторых, если правильно, что для понимания поэта нужно отправиться в его страну (wer den Dichter will verstehen, muss im Lande Dichters gehen), то столь же несомненна и необходимость для историка-иностранца окунуться в культурную среду страны, прошлое которой он хочет изучать. И в этом отношении все преимущества на стороне национального историка сравнительно с иностранцем: он, национальный историк, в данной культурной среде родился и воспитался, жил, работал и с детских лет узнавал, схватывал на лету многое такое, что иностранец только позднее мог бы приобрести путем чтения книг. Конечно, он может приехать в страну и даже часто

в нее наезжать, но это не то, что в ней родиться и в ней провести всю жизнь. В-третьих, необходимые для серьезных занятий специальными историческими вопросами источники, в особенности архивные, равно как все нужные пособия, в том числе разные редкие брошюры, статьи и пр. можно находить только на месте, где точно так же только и можно встретить всяких сведущих лиц, который могли бы дать разные справки, сделать те или другие указания, разъяснить недоумения, вообще помочь своими советами. Конечно, туземцу и это все доступнее, нежели иностранцу, если только он сам не поселился навсегда в чужой стране. Все это так, но нередко «со стороны бывает виднее», и посторонний исследователь вносит в историческую работу иногда нечто новое — точку зрения, общий отправной пункт, методологическое соображение, которые, кроме личной работы мысли, обязаны своим происхождением иной социальной почве, иной культурной среде. В каждой национальности научная деятельность приобретает некоторый общий характер, благодаря более или менее устанавливающимся во всех человеческих деятельностях рутине и шаблону, входящим в составе местной научной традиции, определяющей, так сказать, любимые темы исторических исследований, предпочтительно выбираемые методы решения поставленных вопросов. Ученый, воспитавшийся в традициях другой национальной школы, может внести в чужую историографию что-либо свежее и по части сюжета, и по части его обработки. Важное преимущество бывает подчас на его стороне и потому, что в своих суждениях он может быть гораздо свободнее, нежели национальный историк, по отношению к патриотическим традициям, соображениям и увлечениям, а также по отношению к партийным счетам, раз и таковые играют роль в решении чисто исторических вопросов. Примеров того, что иностранцы обращали внимание на вещи, мимо которых национальные ученые проходили с совершеннейшим равнодушием, можно было бы привести немало. Ограничимся одним.

Историческая литература на французском языке, посвященная великой революции, поражает своею громадностью, но в ней всегда преобладал да и продолжает преобладать интерес к тому, что составляет ее политическую сторону. Социальная и экономическая сторона революции разработана гораздо меньше, да и то лишь позднее обратились к ней французские исследователи. В данной области, однако, с ними успешно конкурируют русские исследователи, даже иногда в истории

аграрных отношений, крестьянского вопроса и вопроса рабочего шедшие прямо впереди. Видеть в великой революции преимущественно «политику» — старая традиция французской историографии, сравнительно мало соблазнявшая русских историков, сиециализировавшихся на эпохе, ибо их самих, по условиям русской жизни, после освобождения крестьян и зарождения рабочего вопроса в России, особенно заинтересовала социально-экономическая сторона революции, представлявшая собою в науке, как говорится, непочатый угол*.

Историческая наука в каждой стране имеет свой особый характер, свои сильные и свои слабые стороны. Первым, нужно учиться, вторых избегать, а к числу последних относятся националистический субъективизм, соединенный с нежеланием учиться у других в деле исторического исследования и мышления. Сильные стороны исторической науки в разных странах тоже разные, и тем более историческая наука где-либо отрешается от подчинения чисто научного исследования и мышления национальным предрассудкам, предубеждениям, симпатиям, антипатиям, легендам, традициям и лозунгам, тем более заслуживает она название настоящей науки.

XVIII. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТИВИЗМ В ИСТОРИИ

Конфессиональный субъективизм в исторических занятиях имеет такой же характера, как и национальный. Религия играет слишком большую роль в исторической жизни, чтобы не оказывать своего влияния и на историческую литературу. Каждое вероисповедание имеет свои догматы, свою этику, свой культ, свои учреждения, признаваемые им за единственно истинные, и на всякие отклонения от основных своих положений смотрит, как на ересь, как на ложь и заблуждений, иногда как на преступление против Бога. Понятно, что одни и те же события и явления религиозной истории человечества получают разное толкование и освещение, — уже не говоря о худ-

* См. мои брошюры «Работы русских ученых по истории Французской революции» (1904) и «Эпоха французской революции в трудах русских ученых за последние десять лет» (1912), где указано то новое, чем русские исследователи обогатили историографию Французской революции. Важность русских работ признали и сами французские историки, среди которых даже стало употребляться выражение «русская школа».

шем еще отношении, — смотря по тому, к какому вероисповеданию принадлежит автор того или другого сочинения. В одном христианском мире такие события, как разделение вселенской церкви на восточную и западную, религиозная реформация на Западе или раскол старообрядчества у нас, вызывают к себе различное отношение, в первом случае со стороны писателей православных и католических, во втором — историков католических и протестантских, в третьем — представителей господствующей церкви и «старой веры». Историки, стоящие на конфессиональной точке зрения, очень часто задаются больше апологетическими и полемическими целями, нежели целями научно-историческими, скрывают относительно своего все, могущее его компрометировать, и готовы верить всяким сплетням о чужом, лишь бы побольше повредить или, по меньшей мере, досадить «неприятелю». К неблагоприятным для добывания исторической истины условиям присоединяется еще гнет официальной и неофициальной цензуры, гораздо более тяжелый, чем тот, который в тех или других странах, в те или другие времена испытывали и испытывают «светские» историки.

В последнем отношении протестантские историки пользуются, как известно, неизмеримо большею свободою исследования, нежели историки католические. Католическая церковь, еще в средние века объявившая философию служанкой богословия (philosophia est ancilla theologiae), и теперь не отказывается от подчинения своему авторитету науки вообще и в частности истории, поскольку она касается догматов веры или событий и явлений, имевших то или другое отношение к церкви. История в качестве науки, свободно ищущей истины, столь же мало может находиться в подчинении у религии, как и у политики: наука служит истине, а не той или другой церкви, не тому или другому государству. Религиозные убеждения историка, каковы бы они ни были, не должны влиять на то, что может быть основано лишь на научно установленных фактах и добыто при помощи правильных приемов научной мысли. Это справедливо по отношению не только к лицам, принадлежащим к разным положительным вероисповеданиям, но и к таким, которые являются в религиозном вопросе, свободными мыслителями. Антирелигиозный субъективизм, готовый видеть в каждом культе только одно заблуждение, представляет собою, в сущности, обратную сторону одной и той же медали вместе со всяким исключительным вероисповедным субъективизмом.

Науке вообще и в частности истории нет и не может быть никакого дела до того, кто правильнее верит и что имеет больше оснований — вера или неверие. История вмешательством своим в вопросы подобного рода сама лишила бы себя научного значения, ибо задача науки вся в области знания, и вопросы веры ей не подведомственны. Принципиально отрицательное отношение к религии, стоя часто встречающееся в современной литературе, равным образом, не должно влиять на отношение к религии, как к историческому явлению: неверующий историк может и должен изучать прошлое религии совершенно так же беспристрастно, как если бы у него не сложилось отрицательного отношения ко всякой вере.

Один из корифеев философии XVIII в., с особою настойчивостью проповедовавший гражданскую веротерпимость, Вольтер, сам, как известно, не отличался терпимостью философскою, раз речь у него заходила о католицизме, о христианстве, и общей его тенденцией в этом отношении было искать не столько объяснения исторических явлений, сколько оснований для осуждения всего, что находилось в родстве предметов его ненависти. Напр., из двух объяснений факта он выбирал не то, которое должно было быть признано более вероятным, если не прямо достоверным, а то, которое было более пригодными в качестве полемического орудия: для него превращение Савла в Павла было результатом не внутреннего психического процесса, приведшего апостола к вере в Иисуса, а обиженного самолюбия человека, которому раввин Гамалиил[282] отказал в руке дочери. От такого тенденциозного отношения, конечно, очень далеки самые свободомыслящие историки новейшего времени.

XIX. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЙНОСТЬ В ИСТОРИИ И ВЫВОДЫ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО

Перехожу к третьему из намеченных выше видов незаконного субъективизма в истории, к субъективизму партийному.

По-французски и по-немецки беспристрастие называется «непартийностью» (impartialite, Unparteilichkeit), и это выражение одинаково применимо как к беспристрастию в рассмотренных нами национальном и конфессиональном отношениях, так и к непартийности в более тесном смысле. С тех пор, как существует историческая жизнь, существует в ней и партийность, разделение общества на партии

(конечно, не в современном, парламентском смысле слова), первую основу которых, составляют противоположные интересы сословий и классов. Классовая борьба вообще играет, как известно, громадную роль в исторической жизни, и, конечно, она, эта борьба, не могла не отражаться на самом содержании тех известий о прошлом, на основании которых наука это прошлое изучает и объясняет, а также не суждениях о прошлом историков, часто примешивающих к своим приговорам соображения, навеянные партийной борьбой и своего времени. Одна из задач критики источников заключается в элиминировании из известий о прошлом всего того, что можно поставить на счет партийности тех авторов, от которых мы имеем интересующие нас известия, но и на всех следующих ступенях работы историка какая бы то ни было партийность должна быть устраняема самым тщательным, образом. Фактически истины и логические методы не могут быть одними у такой-то партии или в таком-то сословии, классе другими — в другом, третьими — в третьем, и кто прав или неправ, больше прав или меньше прав в партийных разногласиях относительно прошлого, это может решать только беспристрастная история, которая и тут должна идти путем анализа, и критики.

Одна из весьма распространенных в настоящее время доктрин утверждает, будто всякая «идеология», следовательно, и наука представляет собою не что иное, как отражение в мысли — фактических социальных отношений, а потому всякая идеология имеет классовый характер*. В этом взгляде, конечно, верно то, что миросозерцание отдельных общественных групп определяется в значительной мере интересами, и я прибавил бы еще: и традициями и предрассудками этих групп, но неверно, что иначе не только быть не может, но и не должно быть по отношению и к науке, объективное содержание которой определяется ведь не интересами, стремлениями, преданиями каких бы то ни было человеческих коллективов, наций ли и церквей, или сословий, классов, партий, а, как уже не раз было сказано, объективными фактами, для всех по существу дела одинаковыми, и требованиями научной логике, для всех одинаково обязательными. Думать так, как это делают многие сторонники доктрины, о которой

* Это, как известно, одно из положений, защищаемых последователями «экономического материализма», как это можно видеть, между прочим, из разных мест моих «Старых и новых этюдов об экономическом материализме».

идет речь, значит не признавать возможности научного знания, раз содержание всякой идеологии, в сущности, партийно. Конечно, сами партии могут стоять в различных отношениях к истине, одни быть более заинтересованными с ее скрывании и затемнении, другие, наоборот, иметь интерес в том, чтобы правда всплывала на свет божий и во всем своем объеме делалась доступною взорам всех, но судить о том, где правда и где ложь, призвана опять-таки сама наука, получающая свои директивы не от тех или других человеческих коллективов, объединенных общими интересами, стремлениями, преданиями. Известное положение данной партийной идеологии, объявляющей себя классовой идеологией пролетариата, может иметь действительно научную ценность, но таковая может быть за ним признана не потому, что она находит место в общем пролетарском миросозерцании (притом только предполагаемом таковым, на деле же не существующем), а потому, что имеет фактические и логические основания, которые обязательны для всякого, кто способен убеждаться в истине чего-либо по мотивам исключительно научного свойства.

Отдельные вероисповедания, в силу присущего их идеологиям догматизма, вполне естественно считают себя каждое исключительным обладателем истины, но думать, что вся научная истина содержится в данной партийной доктрине, значит смешивать задачи политической деятельности и научного исследования. По отношению к последнему партийные директивы не обладают никаким преимуществом сравнительно с директивами национальными и конфессиональными. В тактических видах вожди партий могут желать что-либо скрывать, чему-либо приписывать не то значение, какое оно имеет на деле, не опровергать, пожалуй, выгодной для партии легенды, но во всех подобного рода случаях на первом плане стоит, разумеется, не забота об истине, раз признается, что ее раскрытие может служить помехою чему-нибудь и в каком-либо отношении быть не выгодным или, по крайней мере, неприятным. Одни партии могут больше бояться, другие бояться меньше выявления фактической правды относительно как настоящего, так и прошлого, да и в смысле разного сочинительства неправды отдельные партии поступают очень неодинаково, начиная с самого беззастенчивого лганья и кончая правдивостью, возводимою в принцип. Поэтому есть партии, так сказать, инстинктивно боящиеся суда истории и всегда готовые всячески подчинять науку своим особым видам, и та партия, которая находит

нужным давать какие бы то ни было лозунги историческим исследованиям и построениям, очень плохо самое себя аттестует: она, как никак, проявляет боязнь умственной свободы и устанавливает своего рода ортодоксию, отступления от которой провозглашаются вредными еретическими заблуждениями.

Scribitur historia ad narrandum, non ad probandum! Это правило, которое уже было приведено выше, может быть повторено и здесь. Подобно тому, как у литературных критиков есть общие основания для того, чтобы одни беллетристические произведения признавать художественными, а другие подводить под категорию тенденциозных, так и в исторической литературе мы можем различать два рода трудов, из которых, именно, одни называем научными, другие — тоже тенденциозными. Романист, желающий, прежде всего, доказать какой-либо тезис (roman a these), дать известное наставление и т. п., не художник, а только моралист или публицист в беллетристической форме: таким же публицистом или моралистом в наукообразном виде является и исторический писатель, у которого на первом плане не научный интерес к прошлому, а желание воздействовать желательным для него образом на своих современников. Обильный материал для критики исторической партийности и тенденциозности представляет собою литература по истории французской революции. Это грандиозное событие затронуло столько политических, социальных и экономических интересов, возбудило столько страстей, оставило после себя столько противоречивых воспоминаний и суждений и оказало такое громадное влияние на всю последующую историю страны, что научному исследованию этого события было весьма трудно пробивать себе путь среди всех тех исторических взглядов на революцию, которые складывались в разных слоях общества под влиянием страха, ненависти, жажды мести одних, восторга и тоже неприязни и мстительности других, разочарования и иных душевных кризисов у третьих, и сопровождались массою легенд и басней, возникавших в ту эпоху неведомыми путями народного творчества или сознательно пускавшимися в оборот деятелями как самой революции, так и реакции.

Целый ряд писателей брался за историю французской революции с исключительною целью обличения и предупреждения общества относительно опасностей, соединенных с малейшим подражанием тому, что было во Франции XVIII в. Это — не историки, а публицисты, и их труды — не научные исследования, а памфлеты. Подобного

рода произведения можно указать и в русской литературе. Наиболее характерны в этом отношении статьи, появлявшиеся в «Русском Вестнике» конца семидесятых годов прошлого века под общим заглавием «Против течения» и за подписью Варфоломея Кочнева. В форме диалога вымышленных лиц автор рассказал историю революции в назидание современниками, т. е. русскому обществу и правительству, которые должны были увидеть на примере французской революции, сколь опасны либеральные требования одних и либеральные уступки других: в этом смысле автор и изображал себя идущим «против течения». Впоследствии он, уже под настоящим своим именем, профессора физики Любимова, и в форме чисто исторического труда, т. е. в переработанном виде, переиздал свой памфлет, дав ему и новое заглавие — «Крушение монархии во Франции» и еще раз подчеркнув назидательную дел, с какою он предпринял свое изучение французской революции. В сущности, это — та же цель, какую ставят себе сочинители нравоучительных рассказов для детей младшего возраста на тему: как опасно не слушаться старших. В громадном большинстве случаев крупные истории французской революции были ее апологиями в общем и критиками в ней тех или других частных явлений с точек зрения, довольно близких к партийности, смотря по тому, были ли авторы этих трудов либералами или радикалами, конституционалистами или республиканцами, выразителями мнений и стремлений буржуазии или демократами, народниками, социалистами. При таком общем отношении к прошлому одни историки брали под свою защиту, наприм,, жирондистов, другие — якобинцев, и в изображение и обсуждение событий прямо вносили чисто партийные пристрастия, при наличности которых историк был не нелицеприятным судьей, а или панегиристом одних деятелей и направлений и прокурором-обличителем других. Для вящего прославления якобинцев Луи Блан[283] даже переделал их, вопреки фактическим данным, в социалистов, Мишле[284], наоборот, ко всем партийным деятелям отнесся, как к честолюбивым марионеткам, в счет которым поставил все преступления и ужасы революции, дабы возвеличить «народ», как единственного героя революции, которому одному Франция обязана всем великодушным и благородным, что только было в революции.

Есть критика и критика: тенденциозность можно критиковать с какой-либо тоже тенденциозной точки зрения и с точки зрения чисто научной. Тэн в своем знаменитом «Происхождении современной

Франции» хотел дать настоящую, нетенденциозную историю революции. Позитивист, внесший научный метод в психологию и в истории искусства, литературы и философии, он сравнивал свою задачу по отношению к Франции XIX в. с задачей натуралиста, изучающего превращение насекомого, но в выполнении своего замысла он не удержался на высоте не только естественно-исторического объективизма, но и вообще научного беспристрастия. Его освещение революции вышло во всяком случае односторонним, много, правда, вносящим в правдивую историю революции, но уже по одному тому неправдивым, что в нем были обобщены лишь отрицательный стороны революции, да и те представлены с самых сгущенных красках. Полную противоположность Тэну представляет собою Шерест, автор «Падения монархии во Франции». Консерватор по своим политическим убеждениям, он, как сам признается, предприняв свой труд по истории революции для доказательства (ad probandum) того тезиса, что революция была не нужна, что и без нее Франция могла бы обновить свой внутренний строй, но когда он принялся читать документы революционной эпохи, то под их влиянием, так сказать, под натиском фактов переменил свой взгляд и, отказавшись от доказательства предвзятой мысли, рассказал, вследствие каких причин и обстоятельств революция сделалась во Франции неизбежною: scribitur historia ad narandum.

Теоретически во Франции давно уже пришли к той мысли, что к изучению истории революции следует применить научные приемы, выработанные на исследованиях, предметом которых были более отдаленные эпохи и более индифферентные явления. В 1888 г. в Париже даже образовалось особое ученое «Общество истории французской революции», в котором прежнее разделение историков этого события на дантонистов, робеспьеристов, жирондистов было признано за архаизм, вышедший из моды и за правило было принято относиться к документам конца XVIII в. с тем же научным беспристрастием, с каким изучаются источники времен Филиппа-Августа[285*]. Из того, что было сказано о разных видах незаконного субъективизма, можно сделать несколько выводов относительно ограждения научного духа истории от вторжения в нее всего, что могло бы исказить в ней фак-

---

* См. мою статью «Новейшие работы по истории французской революции» (Истор. Обозрение, 1890, т. I). К сожалению, далеко не все новые историки революции вполне следуют этому правилу.

тическую истину. Уже на первых ступенях научной работы, направленной на изучение прошлого, при исследовании подлинности памятников, нередко бывающих, как мы знаем, подложными, следует руководиться чисто объективными основаниями, безотносительно к тому, какое значение памятник имеет для того или другого вероисповедания, как почитаемая его приверженцами реликвия, или для того или другого народа, как его национальная святыня, или, наконец, для тех или других сословий, классов, партий, как выгодный документ.

При критике исторических известий опять-таки надлежит совершенно так же пользоваться лишь соображениями по существу дела и, наприм., не принимать за достоверное какое-либо известие лишь потому, что оно исходит от лица, принадлежавшего к нашей народности или к нашей вере, либо к какой-нибудь симпатичной нам группе, равно как потому, что оно приятно, выгодно, почетно для нашей национальности, для нашего политическая направления и т. д. С другой стороны, нельзя опорочивать свидетельства о прошлом только в виду их принадлежности людям из враждебных нам человеческих коллективов.

Констатируя, далее, наличность какого-либо факта, не следует его замалчивать или отрицать, раз он оказывается «неудобным» с той или иной — национальной, конфессиональной, партийной — точки зрения, как не подобает выдавать за твердо установленные факты всякие сплетни и клеветы, раз они с дурной стороны аттестуют тот или другой враждебный нам лагерь, неприязненное нам направлениее и пр.

Констатированные факты связываются нами в каузальные цепи и в эволюционные ряды на основании реальных же данных и законов логики: научный историк не задается при этом вопросом, насколько сведение такого-то факта к такой-то причине, или выведение такого-то явления из такого-то может оказаться неприемлемым с точки зрения, положим, национального самолюбия или партийного интереса. Непозволительно естественную и логическую связь фактов заменять искусственною и противною законам логики из-за того, что так «лучше выходит» для нашего патриотизма или для симпатичного нам политического направления. Вполне на тех же основаниях, когда историку приходится сравнивать между собою однородные события или явления общественной жизни, черты сходства и черты различия должны определяться на основании объективного сравнения, безотносительно к тому, окажутся ли приятными или неприятными,

выгодными или невыгодными нам, членам такой-то нации, сторонникам такого-то направления и пр., такие или иные результаты этого сравнения. Наконец, делая историческая обобщения, нужно также руководствоваться основными правилами логики, не предрешая вопроса о том, какой общий вывод для нас был бы желателен для вящей чести нашей национальности или политической группы. Нельзя отвергать вывод, сделанный совершенно логически, на основании его неприемлемости с какой-либо эмоциональной или утилитарной точки зрения. Столь же непростительно было бы выдавать за результаты научного обобщения всякие нас возвышающие обманы и чарованья красных вымыслов, другими словами, такие формулы, который могут нам диктоваться чаяниями нашего сердца и упованиями нашей души или расчетами нашего интереса и стремлениями нашей воли по вопросам, относящимся к области констатирования фактов, установления реальных связей между ними и объективных из них выводов.

XX. РАЗНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНКИ ПРОШЛОГО В ИСТОРИИ*

Все доселе говорившееся об устранении из исторической науки разных видов незаконного субъективизма имело в виду преимущественно те случаи, когда дело касается фактической стороны истории, того, что было или как было. Оценка известий о фактах, самих

---

* Русский спор былых времен о субъективизме и объективизме (в социальных науках), в сущности, относится к вопросу об оценке действительности, как настоящей, так и прошлой. Выступая в качестве субъективиста, лично я решительно высказывался против какого-то субъективного метода, признавал только субъективный элемент, который заключается в оценке фактов в отличие от их констатирования. Взгляды мои на этот предмет более подробно изложены в моих статьях, указанных выше (стр. 192, прим. 2). Из них особенно обстоятельно предмет настоящей главы был рассмотрен в статье «Суд над историей», которая была помещена в «Русской Мысли» за 1884 год. Не так давно в иностранной литературе, преимущественно немецкой, была также поставлена проблема оценки (понятие ценности, оценочная точка зрения и т. п.). См., напр., Г. Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий, 1904 г. Его же. Философия истории, 1908, и Науки о природе и науки о культуре, 1911. — A. Grotenfelt. Die Wertschatzung in der Geschicht., 1903, и др. Главным противником введения в теорию истории понятия ценности выступил ясский проф. А. Д. Ксенопол, автор, между прочим, и по-русски переведенной статьи «Понятие о ценности в истории» (1912). В новой своей постановке у названных писателей вопрос заслуживает особого анализа, речь идет, именно, и об оценке с точки зрения теоретического интереса. Ср. ниже.

фактов, связей между ними, общих из них выводов, как для нас приятных или неприятных, выгодных или невыгодных, не должна влиять на признавание или непризнавание их с нашей стороны. Из двух людей один признает достоверность какого-либо факта с радостью, другой с прискорбием, но оба одинаково его признают. Я могу радоваться, что ход событий сложился таким-то образом, другой может по этому доводу печалиться, но оба мы можем быть согласны в том, что ход событий был именно вот таким самым. На основании фактических данных и при помощи одних и тех [же] логических приемов, я и NN можем придти к тождественному выводу и выразить его в одинаковых формулах, но я с своей точки зрения признаю его оптимистичным, а предполагаемый NN, если у него иная точка зрения, придет от него в настроение пессимистическое. Нужно вообще отличать недопустимое в науке влияние нашего субъективного отношения к фактам на признавание или непризнавание как самих этих фактов и связей между ними, так и логических из них выводов от самой оценки нами того, что дознано, констатировано, принято в качестве фактической истины. Это — две вещи разные, и вопрос об исторической оценке, о «суде истории» заслуживает поэтому особого рассмотрения.

Выше, в разных местах, уже было сказано, что отношение науки к изучаемым ею вещам есть отношение теоретическое, так сказать, бесстрастное и бескорыстное, в отличие от отношений эмоционального и утилитарного, характеризующих художественное творчество и практическую деятельность в широком смысле этого слова*. Наука «спокойно зрит на правых и виновных, не ведая ей жалости, ни гнева». Ее лозунг — «sine ira et studio» (без гнева и без пристрастия)[286] или, как у Спинозы[287], «не радоваться и не печалиться, а только — понимать». Категории приятного и полезного не представляют собою категорий чистого научного знания, которое имеет дело лишь с категорией истинного. Наука интересуется тем, что есть (или было), как оно есть (или было), а затем уже, т. е. когда научно констатированы факты, найдены их причины, указаны их изменения и сделаны на их основании обобщения, люди могут заняться оценкою того, что установлено наукою, как приятного или неприятного, полезного или вредного.

* См. выше, стр. 13, 28–29, 192 и др.

Эмоции, возбуждаемые в нас реальными явлениями их изображениями и символами, воспоминаниями или напоминаниями о них, бывают весьма различные: эстетические, моральные, патриотические, религиозные и т. п., т. е. чувства красоты, восхищения, любви, благодарности, благоговения, и особенность всех этих эмоций — в их непосредственности, непроизвольности. Одно и то же может действовать на различных людей очень различным образом в зависимости от самый разнообразных причин. Воспоминания о Цусиме[288] и Мукдене[289] вызывают совершенно неодинаковую эмоциональную оценку у русских и у японских патриотов. К исторической роли Бисмарка[290] с разными чувствами относятся патриоты немецкие и патриоты французские. Историческая наука никому не может запретить так или иначе оценивать факты прошлого, лишь бы сами они не искажались в угоду той или другой эмоции. Над чувством своим человек неволен, и в своем положении одинаково правы и немцы, для которых Седан представляет собою одно из приятнейших патриотических воспоминаний, и французы, у которых воспоминание о Седане вызывает самое горькое чувство национального унижения. Задача истории — разобраться, как было дело, и притом придти к такому очевидному выводу, чтобы, в качестве научной истины, он мог войти в сознание и французов, и немцев, нисколько не мешая ни тем, ни другим по-своему оценивать то, что было. Конечно, разные чувства до сих пор вызывает к себе изданный в 1878 г. в Германии закон против социалистов, с одной стороны, у самих социалистов, с другой же — у тех людей, которые видят в социализме одно только зло: их дело, тех и других, давать одному и тому же разную оценку, но это уже касается вопроса не о том, почему и как был издан этот закон, а о том, кому он был приятен и неприятен.

Дело историка литературы или историка любого из искусств — разобраться в вопросах генезиса изучаемых ими произведений, зависимости писателей и художников одних от других, эволюции стилей, манер, школ или в вопросах о разного рода влияниях, социальных, политических, религиозных и т. д., сказавшихся на литературе или на искусстве такого-то народа, такой-то эпохи, но когда историк литературы или искусства начинает оценивать отдельные ли произведения, или целые направления и эпохи с эстетической точки зрения, он выступает уже не в роли историка, а в роли художественного критика.

Быть удовлетворенными или, наоборот, оскорбленными могут ведь не только, наприм., наш патриотизм и наш художественный вкус, чувствования столь различных категорий, но и особая интеллектуальная эмоция, в силу которой мы различно оцениваем умное, нами одобряемое, и глупое, способное вызывать в нас и смех, и презрение, и негодование. Верные, с нашей точки зрения, ответы на интересующие нас вопросы вызывают в нас только одобрение, свидетельствующее об удовольствии, какое они нам доставляют, или, наоборот, все, с нашей точки зрения неверное, нам претит. Не дело историка оценивать, наприм., религиозные верования разных народов и эпох или те представления об устройстве вселенной и т. п., какие где-либо и когда-либо были, с точки зрения того, что сам историк считает истинным: его дело изучать данное содержание этих верований и представлений, их генезис, их эволюцию, их зависимость от условий места и времени, их роль в жизни и т. п. Такова же задача историка философии или историка любой науки, поскольку он остается историком, т. е. изучает причины возникновения данных мыслей, их филиацию, изменения, которым они подвергались, и другие факты и фактические отношения, не входя в оценку верности или неверности того, что о разных предметах говорилось отдельными мыслителями, писателями, исследователями и их последователями. Когда историк философии начинает оценивать, находя что-либо гениальным, что-либо замечательно верным, что-либо подтверждающим его собственные мысли, а другое — нелогичным, ошибочным, опровергнутым и пр., он является не столько историком, сколько критиком, прилагающим свой собственный философский критерий для приемлемости или неприемлемости чужих мыслей. Чем больше у историка философии своей собственной философии, тем менее он может удовлетворяться ролью простого историка, рассматривающего, что было и как было, но остающегося как бы в стороне. Историка философии и историка науки также не может не интересовать вопрос, как в процессе смены самых разнообразных воззрений и в борьбе противоположных взглядов постепенно открывалась истина, и, в сущности, оценка, с которою мы здесь имеем дело, есть оценка интеллектуальная, теоретическая, научная, состоящая в применении к отдельным мыслям, когда-либо высказывавшимся, или к целым системам и миросозерцаниям критерия истины, хоть и здесь возможно и влияние эмоционального элемента при решении собственно метафизических проблем.

Кроме эмоциональной оценки, не имеющей ничего общего с наукою, и вот такой оценки интеллектуальной, совпадающей с научною критикою, определяющею соответствие или несоответствие чужих взглядов с фактами и с логикой, есть еще оценка утилитарная, прикидывающая ко всему, что считает нужным, мерку пользы или вреда, выгоды или убытка. Как приятное для одних может быть очень неприятным для других, так и полезное и выгодное для одних очень часто бывает для других вредным и убыточным. В этом отношении эмоциональная и утилитарная оценки сходятся между собою, как оценки совершенно субъективные и потому могущие быть крайне противоречивыми. Правда, разногласия бывают и в случаях применения к обсуждаемым предметам критерия истинности, но это происходит или от недостаточности фактических оснований, или от нелогичности рассуждения, или же от примеси к рассуждению элементов веры и т. п., но нечто все-таки приходится признавать за единственно верное, и это — то, за что говорят факты и логика. Иное дело, когда об одном и том же кто-либо говорит, как о чем-то болезном, а другой — как о чем-то вредном: оба могут быть правы, ибо полезное для одного сплошь и рядом бывает вредно для другого. Для русского, прусского и австрийского правительства знаменитое «безнарядье», которым стояла Польша («Polska nierzadem stoi»), было, конечно, выгодно, но для самой Польши оно оказалось прямо пагубным. Прикрепление крестьян к земле сопровождалось очень вредными для них последствиями, но для землевладельцев оно было, наоборот, очень выгодно, поставив под их власть массу народа, обеспечив за ними правильное и даже увеличенное поступление доходов с их земель и создав в их пользу даровой труд. Оценка и здесь выйдет неодинаковая, но в то же время обе стороны, оценивающие различным образом одно и то же, будут вполне правы в смысле констатирования фактических отношений и вытекающих из них следствий, если только будут искренни.

Сходясь в отношении своего субъективного характера с эмоциональною оценкою, оценка утилитарная в другом отношении от нее зато отличается. Когда я ощущаю удовольствие или неудовольствие, когда мне что-либо нравится или не нравится, когда я наслаждаюсь или страдаю, то я непосредственно испытываю приятное или неприятное чувство, т. е. действительно получаю удовольствие, чем-нибудь любуюсь, восхищаюсь, наслаждаюсь, но если я говорю о том-то: «это для меня полезно», а о другом: «это для меня вредно», я могу жестоко

ошибаться в своем суждении. Не только приятное бывает вредным, как вкусный яд, а неприятное полезным, как противное лекарство, но и временная, наприм., выгода может влечь за собою большие убытки, и временная потеря — приносить пользу, по пословице: «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Удовольствие или неудовольствие испытывается непосредственно, для признания же чего-либо полезным или вредным нужны объективные основания, тем более, что в одном и том же факте могут быть и выгодные, и невыгодные стороны, и что весьма нередко сами люди, действительно, «не понимают своей пользы».

В своей деятельности, направленной к получению выводы, люди руководятся не непосредственными влечениями к тому, что доставляет удовольствие, а сознательным расчетом, часто прямо требующими от человека принесения чего-либо приятного в жертву полезному или отказа от чего-либо бесспорно выгодного ради достижения еще большей, хотя бы только еще вероятной выгоды. Здесь требуется, значит, рассуждение, близкое к рассуждению научному: связь целей с ведущими к ним средствами такая же, какая существует между следствиями и вызвавшими их причинами, и в обоих случаях нужно знание фактов. Все утилитарные применения чистого теоретического знания, все технические дисциплины основаны на том же принципе.

Своим рациональным характером утилитарная оценка отличается от совершенно иррациональной оценки эмоциональной: о вкусах не спорят, но о пользе и вреде спорить можно и притом до чего-нибудь доспориваться путем фактических и логических доказательств. Пословица: «не похорошу мил, а помилу хорош», очень верно характеризует всякое эмоциональное отношение: «И дым отечества нам сладок и приятен». Этого иррационального много и в художественном наслаждении, и вот почему, на мой взгляд, столь безуспешны делавшиеся до сих пор попытки превратить эстетику в науку, тогда как политическая экономия, из всех гуманитарных наук наиболее пользующаяся оценкою изучаемых явлений по категориям выгодного и невыгодного, сразу сумела стать на вполне научную почву.

Оценивать с утилитарной точки зрения исторические факты, имея в виду лишь определенный человеческий коллектив, к которому принадлежит и сам оценивающий, — не может быть задачею

науки, поскольку это, слишком субъективно, но, с другой стороны, историк не может не принимать в расчет, что события или бытовые формы, которые он изучает, так или иначе (и именно выгодным или невыгодным образом) отражались на судьбах и положении целых наций или государств либо отдельных групп населения в той или другой стране. Вся история состоит из перемен, от которых одним, как говорится, тепло, другим — холодно. Улучшения и ухудшения в положении разных человеческих коллективов, как следствия известных событий или бытовых изменений, тоже ведь реальные факты, подлежащие ведению исторической науки. Иногда о невыгодности для кого-либо той или другой перемены мы узнаем из жалоб, раздающихся со стороны потерпевших, — жалоб, основательность которых, однако, подлежит еще критике, насколько они оправдываются на самом деле, ибо очень часто люди жалуются на то или другое, имея к тому мало оснований. Показания посторонних лиц, не заинтересованных в вопросе, источник для исторического суждения более надежный, но особенно важными в подобного рода случаях бывают статистические данные, цифры, указывающие хуже или лучше стало кому-либо после такой-то перемены, затронувшей, наприм., крестьянскую массу, рабочий класс и т. п. В этом отношении историк, оценивая то или другое положение, в сущности, занимается не чем иным, как констатированием факта, установлением следствий данного события, определением значения данной перемены бытового характера, сравнением последующего с предыдущим, подведением общего итога под отдельными фактами. Производя такую работу, он не выходит из области объективных данных и оценивает то или другое с точки зрения полезности или вредности этого для самих народов или общественных классов, испытавших на себе изучаемые им перемены, а не для кого-нибудь постороннего (получившего пользу, положим, от бедствия, которое обрушилось на других). Его роль будет заключаться в том, чтобы определить, кому что было полезно или вредно, насколько об этом можно вообще судить на основании фактов, и показать, умели ли люди надлежащим образом пользоваться доставшимися на их долю выгодами, или почему в таком-то случае успехи сменились поражениями или же еще как, наоборот, данное национальное бедствие пошло на пользу, заставив страну предпринять внутренние преобразования.

Историки все это и делают сплошь и рядом, но и тут, когда они начинают с точки зрения целесообразности критиковать поведение людей, — т. е. отдельных ли деятелей, целых ли народов, равно как организованных в них групп, каковы правительства, парламенты, партии, общества, союзы и т. д., — то на первый план выступает политическая мысль, оценивающая прошлое со своей специальной точки зрения. Другими словами, в случаях этого рода историк выступает в роли политика или, вернее, политического мыслителя, подобно тому, как в других аналогичных случаях историк литературы или искусства является вместе с тем и литературным или художественным критиком, историк философии — и самостоятельным мыслителем и т. п.

Историка прежде всего должно интересовать, почему и как произошло это или то, и каковы были следствия происшедшего. Если он ставит вопрос, что было бы, если бы условия совершившегося были несколько иные, он из области фактов переходит в область гаданий, и это происходить каждый раз, когда подвергается оценки деятельность людей с точки зрения целесообразности. Если историк-политик предпринимает такую оценку с целью, хотя бы и ее вполне сознательною, назидания относительно правильного политического поведения, он действует более в качестве публициста, чем исследователя, но иногда такой прием помогает лучше разобраться в фактических отношениях. Наприм., историки нередко ставили вопрос, что было бы, если бы правящие сферы Франции не противодействовали преобразовательным начинаниям Тюрго[291] и дали осуществиться его государственной реформе, не предотвратило ли бы это революции, а даже не сохранилась ли бы во Франции монархия, если бы король и двор последовали советам Мирабо[292]. Конечно, ответы на подобного рода вопросы могут даваться надвое: либо да, либо нет, но самое обсуждение шансов в ту или другую сторону может помочь лучше вникнуть в самую суть положения. Обсуждение вопроса, как можно было бы поступить, дабы выйти из того или другого положения с наибольшею для себя ли, для всех ли пользою, конечно, относится прямо к области полúтики, а не истории, но тут бывает очень трудно провести демаркационную линию между историческим исследованием и политическим рассуждением. Только вообще можно сказать, что и здесь, как везде, дело истории — исследование того, что было, как оно было, дело политики — оценка происшедшего с точек зрения государствен-

ного интереса, общего блага политической целесообразности, представляющих собою лишь разные оттенки утилитарной оценки.

XXI. ЭТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОШЛОМУ

Теоретическое, эмоциональное и утилитарное отношения могут у нас существовать одинаково и к вещам, и к людям, но к людям существует еще одно совершенно особое отношение, которого с нашей стороны не может быть к вещам. Я говорю здесь об отношении этическом, являющемся точно так же, как отношения эмоциональное и утилитарное, основою особого рода оценки — не по критериям, однако, приятного и полезного, а по критерию должного*.

Римское право, как известно, признавало два состояния, в каком могли находиться люди: свободу и рабство. Для него только свободный был «личностью» (persona), раб же был только «вещью» (res), наравне с домашним скотом и неодушевленными предметами. Для более развитого морального сознания каждый человек есть личность и потому ни в каком случае не может считаться вещью, разницу же между человеческою личностью и вещью мы полагаем в том, что первая, сама в себе нося цель своего существования, обладает поэтому известными внутренним достоинством, не позволяющим превращать ее лишь в средство для достижения целей, ей посторонних, тогда как вещами мы считаем себя в праве распоряжаться по своему усмотрению для осуществления тех или других своих целей, для которых поэтому вещи и имеют значение простых средств. За личностью мы, таким образом, признаем известное право, нарушение которого называем несправедливостью: кроме отрицательных характеристик, даваемых нами тому, что неприятно или вредно, мы отрицательно относимся еще и к тому, что несправедливо. Другими словами, рядом с категориями приятного и полезного у нас есть еще категории справедливого, и сами мы многое, что нам приятно и полезно, можем находить несправедливым и, наоборот, справедливым — многое такое, что для нас самих или неприятно, или невыгодно. Далее, от непо-

* Это этическое отношение к действительности и есть тот субъективизм, который я в своих книгах и статьях называл «законным», в отличие от разных видов «незаконного субъективизма». Более обстоятельно развиты взгляды этического содержания, излагающиеся дальше, в моих «Мыслях о сущности нравственности» (4 изд. 1905 г.).

средственного влечения к удовольствию и от расчета пользы мы отличаем, в качестве одного из возможных мотивов нашего поведения, чувство долга, могущее властно требовать от нас отказа от того, что доставляет нам удовольствие или приносит пользу. Справедливость в развитом нравственном сознании есть нечто должное, это должное мыслится таковым вне зависимости от соображений наслаждения или пользы: то или другое мы можем считать желательным, но очень часто это желательное признается нами за недолжное, и когда мы поступаем не так, как нам подсказывает чувство долга, нас осуждает голос нашей собственной совести.

Этическое отношение находится в очень близком родстве с отношением теоретическим. Одно и то же слово «правда» обозначает у нас и истину, и справедливость, с тем лишь различием, что одна правда имеет дело с существованием, другая — с долженствованием, одна устанавливает то, что есть или было, как оно есть или было, другая же оценивает это с некоторой точки зрения, которой приписывается такая же общеобязательность, как и законам логики. Конечно, принципиальные требования этики далеко не всегда находят повиновение среди людей, но ведь и законы логики — только норма, которой далеко не все и не всегда следуют. И с теоретическим, и с этическим отношениями находятся в антагонизме отношения эмоциональное и утилитарное, когда ваши суждения как о том, что есть или было, так и о том, что должно быть, определяются нашими влечениями и страстями, интересами и практическими стремлениями. Беспристрастие есть добродетель и с теоретико-научной, познавательной точки зрения, и с точки зрения этической оценки познанного. Разные соображения, возникающие на почве эмоционального или утилитарного отношения к явлениям жизни, часто диктуют историкам, как следует представлять дело, хотя бы ей факты, ни логика не давали для этого ни малейших оснований, но со стороны этического отношения к делам человеческих не может быть продиктовано ни одного слова, которое могло бы чем-либо нарушить самые строгие требования научности. В «ученой совести» сливаются воедино требования и правды-истины и правды-справедливости. Чем выше и шире этические идеалы историка, тем менее для него возможна опасность следовать бушменской формуле: хорошо, это — когда я украду, дурно — когда у меня украдут.

Историку постоянно приходится иметь дело с мотивами и поступками людей, к которым приложимы этические понятия должного и

недолжного, справедливого и несправедливого, нравственного и безнравственного, добра и зла, но если бы историк стал понимать свою задачу лишь в смысле произнесения морального суда над людьми и их поведением, он исказил бы задачу истории, как науки. Из истории может извлекаться известное нравственное назидание, как может извлекаться и политическое наставление, но менее всего историк должен быть моралистом для других, и лишь о себе ему нужно заботиться, чтобы не допускать в свои суждения и оценки снисходительного, наприм., отношения к одним и, наоборот, строгости к другим, когда и те, и другие поступали одинаково дурно. Видеть соломину в глазу ближнего и не замечать бревна в своем одинаково противно требованиям и науки, и этики. Несправедливо самому пользоваться безнравственным правилом: «цель оправдывает средство», и ставить в укор другим, когда он поступают совершенно таким же образом, да и вообще говоря, едва ли какой бы то ни было науке прилично брать под свою защиту какие бы то ни было проявления зла.

Для настоящего времени не существует опасности превращения истории в морализирующий вид литературы, и если с научной точки зрения, — не расходящейся и с точки зрения этическою, — и приходится с чем-либо считаться при современном состоянии исторической литературы, так это с тем, во-первых, что, как раз наоборот, «политика» в ней часто доминирует над «этикой», и что, говоря о моральных ценностях, которыми занимается историческая наука, многие не делают различия между ценностями безусловными и ценностями, являющимися таковыми только для известных человеческих коллективов.

По первому пункту здесь прибавить нечего ввиду данных выше разъяснений относительно политического рассуждения в истории, и могущего быть, и действительно часто бывающая неэтичным, но второй пункт заслуживает более подробного рассмотрения.

В современной историко-теоретической литературе очень распространено воззрение, в силу которого история, как идиографическая наука, занимается известными ценностями, ибо для номологических наук каждый экземпляр чего-либо «свободно может быть заменен любым другим»*. Для теоретиков, становящихся на эту точ-

* Г. Риккерт. Философия истории, стр. 51. «Лишь под углом зрения какой-либо ценности, говорит автор, индивидуальное может стать существенным, и

ку зрения, исторические ценности являются по преимуществу ценностями духовными*, культурными, в том одобрительном смысле слова, когда «культура» не значит просто «быт», а берется в значении некоторого более высокого уровня духовных проявлений человека**. Если, однако, историк интересуется лишь тем, что для него должно иметь особую внутреннюю ценность, то есть опасность, что это будут для него пышности национальные, вероисповедные, патриотические, классовые, партийные, профессиональные: для немца немецкое будет ценностью единственною или, по крайней мере, большею, чем всякое другое, для католика — католическое и т. д. Поэтому, на мой взгляд, очень важна оговорка сторонников отнесения содержания истории к понятию ценности, заключающаяся в том, что «теоретическое отнесение к ценности» не должно переходить в «практическую оценку явлений»***. Последняя будет, конечно, очень неодинаковой в зависимости от превращения в своего рода мерила разнообразных ценностей, имеющих национальный, вероисповедный, партийный и т. п. характер. Лучше отказаться от какой бы то ни было оценки в истории****, нежели делать критериями

потому уничтожение всякой связи с данностями означало бы также и уничтожение исторического интереса и самой истории». Ценность называется у него прямо «предпосылкой истории», стр. 52.

* Там же, стр. 66 и след.

** Ср. выше, стр. 100.

*** Риккерт, стр. 69. «Собственные культурные идеалы историка, — поясняет Риккерт свою мысль, — совсем не должны иметь решающего значения при обработке им своего материала; ему нужно лишь понимать всеобщие культурные ценности людей, и народов, им изображаемых, для того, чтобы посредством чисто теоретического отнесения к ценности отделять существенное от несущественного». Впрочем, наше «этическое отношение» есть нечто иное, нежели риккертовское «отнесение к ценности», поскольку последнее помогает отделять существенное от несущественного. Можно, однако, опасаться, как бы при подобной постановке вопроса за существенное не стало во многих случаях приниматься субъективно-интересное, вместо объективно-важного.

**** Если бы это было возможно! Впрочем, вот точка зрения чистого объективизма: Ксенопол рекомендует историку «воздерживаться от всякой оценки и строго ограничиваться установлением фактов, сообразно действительности, с указанием их причин. Оценка всех точек зрения — дело читателя. Он применит понятие ценности ко всем фактам, которые проходят перед его глазами; эту оценку он совершает сообразно тем идеям, которые находятся в его распоряжении. Дело читателя судить и оценивать факты. Историк не может выполнять это дело разом за всех, и система ценностей, которую он применит к историческим

условные патриотические, конфессиональные и т. д. точки зрения и заменять ими безусловную, общечеловеческую точку зрения чистой этики.

Делая различия между ценностями для данного места и времени и ценностями безусловными, т. е. приемлемыми, как таковые, для всех людей, наравне, напр., с безусловными истинами логики, я менее всего рекомендую применение каких-либо абсолютных нравственных требований к людям всех стран и эпох. То, чего мы в праве ожидать от людей, стоящих на высших ступенях цивилизации, было бы странным желать встретить у народов, едва вышедших из состояния первобытной дикости: это было бы несправедливо и, как таковое, ненаучно. И для исторического суда, как для суда государственного, должны существовать случаи невменяемости и смягчающие обстоятельства: здесь это — и степень цивилизации, и общее нравственное состояние общества, и невежество и нищета того или другого общественного класса, и угнетения, доводившие людей до исступления и т. п. Историку даже приходится скорее осуждать не столько людей, сколько порядки, а осуждая последние, принимать в расчет и условия, их породившие, и другие порядки, часто еще худшие, на смену которых те пришли. Возьмем, напр., столь развитое в прошлом явление, как рабство, превращавшее одних людей, как вещи, в собственность других людей. Конечно, оно было «смягчением» более раннего обращения с военнопленными, которых просто убивали и (было такое время) съедали, но существование рабства у варваров или у народов, причастных цивилизации, вызывает в нас далеко не одинаковое отношение, особенно, напр., когда рабство существовало в стране с более свободным политическим строем. Прибавлю, что встречающиеся в некоторых исторических сочинениях оправдания рабства, как исторической необходимости, оказавшейся полезною для цивилизации, едва ли могут быть признаны за правильные: исторической необходимости совершенно достаточно быть только объясненною,

---

фактам, не может иметь иной цели, кроме той, чтобы навязать свой образ зрения всем, кто будет его читать». Понятие ценности в истории, стр. 20–21. Но, во-первых, почему самого историка лишать, того права, которое признается за его читателями? Во-вторых, дело идет о некотором сверх-индивидуальном критерии, и, наконец, если опасаться, как бы читателям не было что-либо навязано, то нужно было бы устранить из истории всякие рассуждения, делание выводов и т. п. Главное же, это — то, что этическая оценка, хотя бы и прикровенная, просто-напросто неизбежна.

полезность же рабства для цивилизации может послужить основанием никак не для оправдания рабства, а скорее для осуждения цивилизации: конфликт между утилитарным и этическим отношениями к одному и тому же вопросу!

Привлечение к оценке того, что было, по критерию справедливости и истины, критерию правды, морального добра, идеалов должного и всякого совершенства, раз мы имеем в виду все прошлое человечества, ставит нас на высоту философского отношения к истории, в котором добытое научным, т. е. теоретическим к ней отношением дополняется отношением в основе своей этическим, субъективным, и этим достигается общая философская правда об истории.

Что такое философия и в чем заключаются взаимные отношения философии и науки, различными лицами, писавшими об этом, понимается далеко не одинаково, но рассматривать здесь этот вопрос сколько-нибудь подробно было бы излишним; достаточно будет ограничиться самым существенным и важным*.

Как философия вообще, так и философия истории может быть или религиозною (теологическою), или метафизическою, или научною. Всякая религиозная философия истории относится к области, веры, а не знания, и основным ее пунктом на общехристианской почве является вера в то, что ходом истории управляет Провидение, пути которого признаются, однако, неисповедимыми. В общем, это — оптимистическая вера, ибо пути божественного Промысла могут быть только благими. В метафизической философии истории прошлое человечества мыслится в тесной связи с тем или другим пониманием сущности мирового процесса, скрывающейся за пределами доступного знанию мира явлений, причем на вопрос об этой сущности дается или оптимистический ответ, как у Гегеля, или пессимистический, как у Шопенгауера или у Гартмана[293]**. Научная философия истории отказывается от проникновения в область неисповедимого, которое может быть только предметом веры, и от постижения сущности, скрывающейся под внешней видимостью вещей, поскольку здесь место только одним гипотезам, и берет историю так,

---

* Отсылаю к прим. на стр. 188. Более подробно, чем в других своих статьях, свой взгляд на сущность философии я высказал в статье «Философия, история и теория прогресса».

** Об оптимизме и пессимизме в философской оценке истории см. «Осн. вопр. фил. ист.», кн. 11, гл. 5 (гл. 10 по 3 изд.).

как нам ее реконструирует наука, тоже ставя, однако, вопрос об общей оценке хода истории и лишь решая его на основании фактов, а не веры или гипотез.

Это — вопрос о том, в конце концов, ведет ли исторический процесс к торжеству истины и справедливости и к возможно наибольшему благосостоянию человечества, или вопрос о прогрессе.

История идеи прогресса* показывает, что у идеи есть два источника, из которых один — в наблюдении над явлениями исторической действительности, другой — в сфере наших идеалов, в чаяниях сердца, в том жизненном оптимизме, в котором проявляется воля к жизни и заключенному в жизни добру. Ранее всего подмечено было существование умственного прогресса в развитии знаний, в увеличении понимания, в усилении власти над природой, и только позднее стали находить, что прогресс совершается еще как в нравственной, так и в общественной жизни человечества. Возникающие на фактической почве взгляды и доказываются фактами, и фактами же проверяются и ими же опровергаются, если обобщения оказываются слишком произвольными. Прошлое, насколько оно нам исторически известно, дает богатый материал для тех или других заключений, лишь бы последние делались при соблюдении всех условий научности. Отчасти на основании прошлого историческая наука может делать и заключения о будущем, но как таковое, последнее для нас является гораздо больше предметом желаний и упований, чем предметом положительного знания**. В идее прогресса заключается не только оценка прошлого, каким мы его себе представляем на основании самых широких обобщений исторической науки, но и построение идеала, осуществление которого в будущем нами желается и чается. В этой своей части, или, вернее говоря, в этой своей стороне философия истории имеет значение не научного подведения итогов над прошлым с известного рода их оценкою, а плода той же категории человеческого творчества, к которой относятся и религиозные верования, да и на самом деле прогресс, как самое главное в общем ходе истории, взятом и в его прошедшем, и в его будущем, есть, в сущности, предмет веры, а не знания.

---

* См. об этом мою статью по «Поводу новой формулировки материальной истории», равно как О. В. Ф. И., кн. I, гл. 5.

** Ex praeterito spes in futurum!

Золотым веком идеи прогресса были вторая половина XVIII и первая половина XIX столетий, эпоха оптимистических упований Просвещения философского века, романтического идеализма, немецкой метафизики на рубеже обоих столетий и утопического социализма начала прошлого века, когда в умственной жизни Европы творчество господствовало над исследованием, и гуманитарные знания не находились еще под влиянием принципов, формул и лозунгов естествознания. С середины XIX в. идея прогресса все более и более стала вытесняться понятием эволюции, не заключающим в себе никакой качественной оценки. Тем не менее, именно в том, что в мире совершается эволюция, порождающая все новые и новые формы, также заключается одно из оснований не отвергать идею прогресса в качестве пережитка мистических и романтических фантазий. Этическое, — не одно только теоретическое, как в естествознании, — отношение к человеческим делам, которыми занимаются гуманитарные и в их числе общественные науки, нисколько не противоречит теоретическому, строго научному отношению, лишь бы всегда сознавалось различие между тем, что есть и бывает, и тем, что должно быть, что желательно. Этический элемент все более и более проникает и в науку права по особой близости права и нравственности*, равно как в государствоведение и в политическую экономию, которые в прежние времена нередко забывали, что «не человек существует для субботы, а суббота для человека», т. е. игнорировали достоинство, права и интересы человеческой личности перед государством и национальным богатством, как отвлеченно взятыми предметами своих научных исследований и построений.

С этой же, т. е. этической точки зрения и история заинтересовалась больше судьбами самих людей, над которыми исторический процесс делал свое дело, сравнительно с бытовыми формами, которые, конечно, можно изучать совершенно «объективно», нисколько не задаваясь вопросом о том, что от этих форм претерпевалось теми или другими людьми**.

---

* Ср. мои статьи «Нужно ли возрождение естественного права?» и «Естественное право и субъективная социология» (№ 67 и 68).

** Строго филологическая или археологическая точка зрения наиболее этому и соответствуют. Ср. выше, стр. 41–43 и 62.

XXII. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Научность исторического знания, как мы видели, зависит от соблюдения некоторых условий, в числе которых важное место принадлежит устранению разных житейских влияний на научную работу историка: влияний национальных, партийных и других им подобных. Но, требуя этого устранения, не отрицаем ли мы историческую науку от жизни, не придаем ли мы этой науке отвлеченный, сухой, мертвенный характер, не делаем ли из занятия ею нечто интересное и доступное только для кучки кабинетных ученых, далеко стоящих, в своем уединении, от общественной жизни с ее треволнениями?

Дело, действительно, находится в таком положении, что истории нужно отказаться или от права называться наукою, или от подчинения своих выводов соображениям, вытекающим из так называемых требований жизни. В сущности, однако, сама жизнь ничего не требует и требовать не может: могут требовать и на самом деле требуют люди, очень неодинаково понимающие эту самую жизнь в зависимости от своих интересов, страстей и привитых воспитанием взглядов, а это — такие факторы, подчинение которым исторического знания, как мы видели, и лишает его научного значения.

Давно уже сделалось общим местом, что настоящее научное знание в истории возможно лишь на известном отдалении от нас изучаемой нами эпохи. Причин этого две. Одна заключается в том, что в сутолоке жизни невозможно тотчас же хорошо разобраться в происходящем вокруг нас, другая причина — в том, что всем происходящим вокруг нас слишком затрагивается вся наша субъективность, т. е. наши интересы и симпатии, наши надежды и опасения, наши расчеты и стремления. Обе эти причины действуют в одном и том же направлении, т. е. и факты далеко не все бывают нам известны, а известные не могут быть поставлены в необходимую между собою связь, и оценка этих фактов не может быть столь же беспристрастною, как это бывает по отношению к «делам давно минувших дней, преданьям старины глубокой».

Было бы ошибочно думать, что современники знают, то, что вокруг них происходит, лучше, нежели следующие за ними поколения. Во-первых, многое делается, так сказать, за кулисами истории, даже при господстве наибольшей гласности. Нужно время, чтобы иные факты, оставшиеся неизвестными современникам, выплыли на свет

божий, чтобы были опубликованы всякие переписки, воспоминания, открыты были архивы, сделались доступными исследователям секретные документы. Современник вынужден о многом говорить по непроверенным и не могущим быть проверенными слухам, часто ложным, преднамеренно пущенным в оборот для каких-либо целей, говорит о многом только на основании могущих оказаться неосновательными догадок, а о многом не только ничего точного не знает, но даже и не догадывается. Во-вторых, дабы каждому факту отвести надлежащее место в историческом процессе, необходимо, чтобы были известны не только причины и условия его возникновения, но и его последствия. На известном хронологическом отдалении не так трудно видеть, что вышло из данного факта, будет ли это какое-либо событие, или какое-либо новое бытовое явление, современники же, которые не в состоянии все предвидеть и предсказать, как пойдут дела дальше, склонны переоценивать или недооценивать факты в зависимости от своих стремлений, надежд, ожиданий, расчетов и т. п. Историкам сплошь и рядом приходится отмечать, как часто и жестоко ошибались современники событий, возлагая на них те или другие упования. Весь путь истории прямо-таки усеян разочарованиями, разбитыми надеждами, не оправдавшимися ожиданиями, свидетельствующими о том, как превратно современники иногда понимали то, что вокруг них происходило. Вот почему научная история своего времени невозможна, и, таким образом, только историка, который стоит на некотором расстояний обладает большим количеством материала, лишь позже поступившего в оборот, и видит, что из чего вышло, или из чего, наоборот, ничего не вышло, — может хорошо разобраться в происходившем. В лесу или в горах легко заблудиться, и чтобы ориентироваться в лесной или горной местности и выбраться куда-либо на простор, нужно подняться на известную высоту, откуда можно было бы видеть большее пространство и большее количество предметов, нежели среди деревьев, окружающих лесную тропинку, или скал, стоящих направо, налево, впереди. Чтобы видеть большое здание, также нужно подальше отойти от его стен. Только по отношению к тем вопросам, ответы на которые можно получать анкетным путем, современники, конечно, поставлены в лучшее положение, чем последующие поколения, совершенно лишенные какой бы то ни было возможности собирать этим способом сведения о прежних временах.

Исторической критике в известиях, оставленных современниками, всегда приходится учитывать степени осведомленности авторов этих известий и поправлять ошибки, сделанные ими в суждениях о значении тех или других фактов, — ошибки, так сказать, чисто теоретические. Но еще больше, как уже не раз было выше отличено, на понимании современниками того, что вокруг них происходит, сказывается влияние их интересов и стремлений, симпатий и антипатий, желаний и ожиданий, предубеждений, предрассудков и т. д., т. е. всего того житейского, что находится в сознательность или бессознательном антагонизме с объективною истиной.

Итак, для сохранения за историей научности известное устранение ее от влияния элементов, являющихся в жизни столь могучими факторами, как интересы и страсти, безусловно необходимо. Но это еще не значит, что историческая наука должна быть ограждена от жизни какою-то китайскою стеною или, больше того, замурована в склепы, куда не проникал бы ни луч света, ни единый звук из жизни, играющей у гробового входа.

Требованиями жизни, т. е., в сущности, требованиями людей с очень, коротко говоря, неодинаковыми формулами жизни, не могут, не должны диктоваться ответы на научные вопросы, которые должны и могут быть разрешаемы только на фактических и логических основаниях, но это не значит, что жизнь не имеет права задавать исторической науке те или другие вопросы, которые ею разрешались бы совершенно автономно. Конечно, по отношению к целому ряду предметов, вообще подлежащих ведению исторической науки, до последней не доходит ни единый звук голоса жизни. Есть вопросы, способные интересовать только специалистов, даже только самый тесный кружок очень узких специалистов, делающих свое ученое дело, часто и весьма важное дело самодовлеющей науки. И рядом с этими вопросами специальной эрудиции есть вопросы, волнующие более широкие круги общества, вопросы общественной жизни, национального и государственного существования и развития политических, социальных, правовых, экономических отношений, народного просвещения и т. п. К ним в обществе есть и теоретический интерес, хотя бы не всегда обособленный и отграниченный от других стремлений, и интерес практический, заставляющий людей очень различного положения в обществе искать в исторической науке тех или других указаний. Пусть жизнь задает науке новые и новые вопросы: чем больше

она будет их задавать, тем будет, в общем, лучше для самой же науки, но под непременным условием, чтобы самодовлеющая, автономная наука решала эти вопросы по своему разуму и по своей совести, а не ради удовлетворения тех или других требований жизни, которые, в последнем анализе, всегда суть только стремления, интересы, желания отдельных лиц или групп. От жизни наука может брать на себя поручения лишь одной категории — искать истину, говорить правду, и чем больше наука будет исполнять таких: поручений, тем лучше для жизни, хотя бы от этого было тем хуже для всех неразумных и несправедливых ее требований, которые, еще раз повторяю, суть только требования известных категорий членов общества или частей человечества. Таковы должны быть взаимные отношения общественной жизни и исторической науки. Этим наука не отрешается от жизни, чтобы замуровать себя в гробовом склепе, а только размежевываются соседние области и определяются права и обязанности обеих сторон. Право науки — ни от кого не зависеть в своих решениях, право жизни — требовать, чтобы наука ей служила; обязанность науки — служить жизни, но не угождать кому бы то ни было, берущему на себя смелость от имени жизни предъявлять науке свои требования, обязанность жизни не диктовать науке тех ответов, которые наука должна давать, а ограничиваться лишь одною постановкою вопросов, нуждающихся в научном разрешении.

Во всякой сфере человеческой деятельности, в науке также вообще и в частности в исторической науке устанавливаются свои законы и правила, свои традиции, шаблоны и рутина, которые легко приводили бы к застою и мертвенному состоянию, если бы, вульгарно выражаясь, наука варилась только в своем собственном соку и тем самым была обречена на повторение задов или охранение установившихся догматов. Великие историки XIX в., оставлявшие после себя целые школы учеников, отмечали своею деятельностью крупные этапы в прогрессивном движении исторической науки, но каждый из них был сыном своего времени, отражавшим на себе тогдашнее понимание истории, и потому «меньшие» историки, составлявшее школу того или другого из крупных мастеров, оказывались часто отставшими от общего движения, раз в направлении своего учителя видели «последнее слово» науки. Своего рода рутина грозила бы и всей исторической науке, если бы в одном отношении она не прислушивалась к голосу жизни, не бралась именно за новые темы, в которых проявляется дух времени.

Историку нашей науки нетрудно показать на отдельных примерах, как круг предметов, входящих ныне в область исторической науке, постепенно расширялся в зависимости от движения самой жизни. В доброе старое время, когда абсолютное государство поглощало в себя все проявления общественной жизни, в исторических сочинениях мы видим, главным образом, государей, министров, дипломатов, полководцев, и только со времени выступления народных масс историки начинают интересоваться и народною стихией. Процесс демократизации жизни отразился и на этой демократизации исторического интереса. Когда не было независимого общественного мнения, когда ни литература, ни философия, ни наука не играли большой общественной роли, историкам и в голову не приходило включать движение духовной культуры и истории идей в круг своих научных занятий: нужно было, чтобы идеи показали свою силу в жизни, и тогда лишь общие историки стали все больше обращать свои взоры в эту сторону. Было время, когда это было нововведением, заставлявшим немало о себе говорить, и Шлоссер[294] на таком отношении к литературе, приобретал даже славу. Еще в середине XIX в. наш Грановский рассуждал так, что для историка, занимающегося последними веками, нужно-де знание и политической экономии. На этом взгляде сказалось общее направление исторической науки в первой половине XIX в. Научный интерес к экономической истории развился под влиянием того значения, какое вопрос получил с середины XIX в. в общественной жизни, в политических движениях, в обострении социальной борьбы. Самое возникновение социального вопроса и развитие социализма заставили историков, раньше игнорировавших эту сторону истории, обратить на нее внимание. Наприм., первые историки французской революции видели в ней, главным образом, политическую борьбу и лишь со времени обострения борьбы между буржуазией и пролетариатом стали искать прецедентов этой борьбы и во французской революции.

Даже на изучении античного мира сказались те изменения в историческом понимании, которые обязаны своим происхождением движению самой исторической жизни, т. е. социальная борьба нашего времени заставила обратить большее внимание на аналогичные факты в истории греков и римлян. Известная книга Пельмана[295] «Социализм в коммунизм античного мира» в этом отношении вполне соответствует духу нашего времени. Можно было бы привести еще множество примеров в подтверждение того, что историческая наука берется за новые

темы под влиянием и движения самой жизни (кроме, конечно, переходов от тем к темам, обусловленных внутренним развитием самой науки). Чем, как не переживавшимся во Франции в эпоху Реставрации историческим моментом, объяснить, что излюбленными темами тогдашних либеральных историков сделалось прошлое третьего сословия, предков буржуазии, борьба средневековых городов с феодальным миром, возникновение представительных учреждений, в особенности английского парламента, английские революции XVII века и контрреволюции в Англии в эпоху реставрации Стюартов? Все это были темы, интерес к которым подсказывался общественными причинами. На историографии французской революции тоже можно было бы проследить многое в таком же смысле. Установление во Франции деспотического режима Наполеона III вызвало исторический вопрос, почему французы, совершившие столько революций во имя политической свободы, в конце концов должны были подпасть под абсолютную власть нового цезаря, — вопрос, ответом на который была гениальная книга Токвилля[296] «Старый порядок и революция». Не условиями ли русской общественности объясняется то, что у нас столько писалось по крестьянскому и аграрному вопросам во Франции? По крайней мере, о себе могу сказать, что моя книга «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» находится в известной зависимости от великого акта 19 февраля 1861 года.

Отправление от современности к историческому прошлому — явление вполне законное, поскольку касается выбора темы, постановки вопроса, исходной точки зрения. Если в математике разрешение одной научной задачи ставит на разрешение новую задачу, вытекающую из первой, то в истории такого логического перехода от темы к темы не наблюдается. Один историк может продолжать работу, недоделанную другим, начав ее с того места, где этот другой остановился, но, кроме того, на ту или другую тему историк наталкивается или новым найденными материалом, в роде знаменитой «Афинской политии» Аристотеля, породившей за последние два десятка лет целую литературу, или какими-нибудь обстоятельствами момента, переживаемого общественною средою. Сейчас нас интересует только это последнее отношение, т. е. насколько жизнь влияет на науку, и настоящее отражается на понимании прошлого.

Здесь уместно коснуться одного из таких влияний, выражающегося в так называемой модернизации прошлого. По ее поводу мне при-

поминается анекдот из учебной книжки французского языка времен моего детства: мальчик, возвратившись из гостей домой, с удивлением говорит своим родителям, что там, где он был, «Ивана зовут Яковом», потому что более естественным ему казалось, чтобы и там слуга назывался Иваном. Стремление приблизить к нам что-либо путем перенесения на данный предмет имени или характеристики чего-нибудь более нам знакомого, лучше известного — явление очень распространенное в обыденной жизни, и потому в чужой семье анекдотическому мальчику был бы более понятен слуга, называющийся Иваном, а не Яковом. Не то же ли самое мы имеем и в том случае, когда житель провинциального города, показывая у себя приезжему петербуржцу главную улицу, говорим: «Это наш Невский проспект»? — Мы даже не отдаем себе отчета в том, как часто мы прибегаем к этому приему и до какой степени он напоминает довольно модную в наши дни модернизацию прошлого не то в видах сделать его нам более понятным, не то с целью объяснения прошлого, менее нам известного, по аналогии с более нам знакомою современностью.

Когда в подобного рода случаях дело касается только слов, языка, стиля, существо науки этим нисколько не затрагивается, и все ограничивается, так сказать, литературным приемом, представляющим собою дело вкуса. Знаменитый, — между прочим, своим балагурством на кафедре, — профессор Московского университета Никита Крылов[297] вкладывал в уста Цезарю перед переходом через Рубикон такое обращение к войску: «Ребята! вздувай штаны и мундиры», и это был обычный прием профессора-шутника, поддерживавшего таким способом внимание своей аудитории. Почему и римскую сенаторскую тогу не называть служебным мундиром, если это кажется эффектнее и притом не заключает в себе покушения на существо дела? Только при крайнем пуризме в этом отношении можно было бы протестовать, наприм., против обозначения римских земледельцев новым словом «крестьяне». На деле модернизация исторических терминов — дело вкуса, а вкус бывает разный: и хороший, и дурной.

Другое дело — модернизация прошлого не в смысле изложения в современных терминах того, что было, а в смысле перенесения в прошлое современных идей, чувств, отношений, учреждений, своеобразное применение сравнительного метода, как бы стирающего разницу между бывшим и теперешним и представляющего чужих «Яковов» в образе своего «Ивана», как более близкого и знакомого. Объяснить

что-либо менее известное и далекое ссылкою на что-нибудь более привычное и современное — дело допустимое, лишь бы не было при этом отождествления, могущего представить прошлое в освещении, взятом из современной жизни и потому все-таки ложном по отношению к освещаемому предмету. Не нужно давать современности так овладевать нашими представлениями и понятиями, чтобы казаться (или даже быть) лишенным способности мыслить представлениями и понятиями других времен, — иначе не оберешься анахронизмов не в грубом, а в более, так сказать, утонченном смысле слова. Современность — лишь один момент в течении времен, и как ее терминология, так и идеология столь же обусловлены местом и временем, как это было и во времена Цезаря или царя вавилонского Хаммураби*.

Есть еще одна тема, имеющая отношение к вопросу о связи, какая должна существовать между историческою наукою и общественною жизнью, но эта тема уже выходит из тех рамок, в которых значение исторической науки трактуется в настоящей книге. Я имею в виду вопрос о том, какое влияние историческое знание может оказывать на общественную жизнь и на общественную деятельность. Это — вопрос очень интересный, но его место не в теории исторического знания, а в изучении жизненной практики, беря ее в самом широком смысле. В самой грубой форме он может быть поставлен в смысле пользы, приносимой историческою наукою в разных сферах общественного бытия, в более тонкой, но и более сложной постановке это — вопрос о влиянии исторической науки и создаваемого ею исторического отношения к действительности на человеческую психику, а чрез нее и на общественное поведение людей. Мне не раз уже приходилось затрагивать эту тему по разным поводам, причем за тем, что я назвал

---

* Проф. Р. Ю. Виппер видит «в очень распространенном протесте против так называемой модернизации древней истории» «нечто похожее на страх перед новыми словами», опасение, что «новые названия искажают истинный характер старины, стирают ее своеобразие». Сам он защищает модернизацию следующим образом: «Мы находим близость, сходство между условиями старинными и современными, мы хотим обозначить посредством модернизации некоторый элемент постоянства жизненных условий, повторяемости исторических элементов. Вводя термины современной жизни, мы хотим прибавить новую черту». Очерки теории исторического познания, стр. 175–176. Он готов видеть здесь лишь спор о словах, хотя «с новым словом соединяется новый оттенок, одобряемый, одними, осуждаемый другими». Об опасной стороне модернизации см. В. П. Бузескул. Введение в истории Греции. стр. 510 (по изд. 1904 г.).

бы, за неимением лучшего термина, «прикладным историзмом», я признаю особое значение в смысле развития чувства действительности, устраняющего из нашего миросозерцания всякий романтизм и утопизм. Только историческое отношение к действительности может служить основою для трезвого понимания современности, как переходного момента от прошедшего, продолжающего в известной мере господствовать над будущим, к этому самому будущему с ограниченным количеством возможностей, имеющихся для него в настоящем. Поскольку вообще наука призвана и в состоянии оказывать влияние на течение общественной жизни, направляемое деятельностью людей, одно из первых мест в этом отношении должно принадлежать историческому знанию и пониманию*.

У «прикладного историзма», конечно, может быть и своя опасная сторона, когда им пользуются, как аргументом в пользу консерватизма, в основе которого лежит стремление оправдать действительность и оградить ее от всяких новшеств, как это мы наблюдаем в истории немецкой исторической школы права в эпоху Реставрации**, но, в сущности, такое отношенье к действительности является уже злоупотреблением историей, извращением историзма: история призвана объяснять действительность, а не оправдывать ее в целях увековече-

---

* Мой взгляд на важное значение историзма и исторического отношения к действительности встретил, в свое время ряд возражений со стороны покойного Н. К. Михайловского, перепечатанных, между прочим, в гл. VII первого тома его «Откликов» (1904). Находя, что я преувеличиваю значение истории, автор сам также преувеличивал, говоря, что я приписываю истории «верховную роль», желаю «сделать из своей науки царицу мира», воздвигаю историзму «всемирный трон», и даже прибавлял, что «начинает бояться того, что Ницше называл чрезмерностью истории (Uebermass der Geschichte)». Именно, раз «ум воспитался *исключительно на исторической или эволюционной точке зрения*, утверждающей неустанную смену», между прочим, «всех понятий об истинном и справедливом... кто или что обяжет меня признать один момент, одну подробность этой необъятной картины движения чем-то незыблемым и обязывающим человека»? Но мною как раз принцип историзма распространяется лишь на категорию сущего и в известных условиях возможного, отнюдь не на категорию должного. Неисторическое отношение к действительности характеризуется не чем иным, как непониманием ни вообще естественного течения дел, ни того, что при данных условиях достижимо. Упрек в отождествлении мною вообще научного отношения с историческим отношением я устраняю тем соображением, что в общественных вопросах научное отношение к предмету не может быть иным, как историческим. Об упомянутой выше статьи Ницше о «чрезмерности истории» см. мою статью под № 50.

** См. выше.

ния всего, ею созданного. Суд над действительностью совершается перед совсем иным трибуналом, и с другой стороны, как бы ни был неблагоприятен для нее приговор этого трибунала, с ее фактическою наличностью в практической деятельности, как-никак, все-таки приходится считаться.

XXIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И МЕСТО В НЕЙ БИОГРАФИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Историю справедливо относят к числу общественных наук: предмет этой науки — разные человеческие общества, а потому только общественные факты заслуживают название исторических. Правда, нередко говорят, что историческим можно назвать всякий факт, который мы не можем наблюдать непосредственно, так как он перестал существовать, и что раз «исторического характера, присущего фактам, не существует, а есть только исторический способ, которым мы познаем их», то «история не наука», а «только особый способ познавания»*, но это рассуждение не разделяется большинством историков, которые под историческими фактами разумеют не все вообще факты, переставшие существовать и потому недоступные нашему непосредственному наблюдению, а преимущественно факты с общественным характером, т. е. имевшие в свое время значение в жизни человеческих коллективов — наций и государств. Конечно, история в качестве «особого способа познавания» может безразлично заниматься всякого рода фактами, и в этом смысле мы можем с полным правом говорить, наприм., об истории земной коры или об истории болезни какого-нибудь больничного пациента, но в более тесном смысле историческая наука занимается только явлениями человеческой общественности: исторично лишь то, что к этой общественности имеет отношение, а все остальное находится вне истории.

Всякий человеческий коллектив состоит, разумеется, из отдельных индивидуумов, и в каждом индивидуальном бытии можно различать стороны чисто личную и прямо общественную. Лишь последняя имеет интерес для историка, который — в качестве именно историка — может игнорировать в жизни отдельных людей все, что

* См. выше.

не характеризует данного общественного состояния или не оказало влияния на события данного периода времени. Что рост Петра Великого достигал стольких то аршин и вершков, для истории совершенно безразлично, как безразлично и то, что Наполеон был маленького роста. Большая публика немало интересуется образом жизни, привычками и т. п. коронованных особ, вплоть до того, в каком часу утра кто встает, когда обедает, какие блюда подаются ему за обедом и т. п., и любопытство читателей в этом отношении удовлетворяется газетными статьями или отдельными брошюрами и книгами, но в таком любопытстве столь же мало интереса к современности, как немного его и к истории — в сосредоточении своего внимания на таких подробностях личной жизни, как, наприм., известная привычка Петра Великого выпить рюмку анисовки в адмиральский час.

Оговорюсь, что, конечно, и разные мелочи частной жизни могут представлять исторический интерес, но для этого нужно, чтобы они имели коллективный характер, т. е. так ли, сяк ли характеризовали известное общественное состояние. Вне этого условия любая необычайная черта чисто личного значения может играть роль простого курьеза, и мало ли каких бывает курьезов, анекдотов, эпизодов, для исторической науки совершенно безразличных, а между тем очень привлекающих в себе внимание читателей, которые смотрят на историю с поверхностно-любительской точки зрения. Если настоящий историк и будет собирать всякие подробности о частной жизни, наприм., политических деятелей, то лишь в надежде, что и повседневные мелочи помогут ему лучше понять характер человека, да и самый характер этот будет его интересовать не как характер частного лица, а как нечто важное для понимания его деятельности на общественной арене.

Историческая наука интересуется не отдельными людьми, а людскими коллективами, интересуется событиями не в личной жизни, а в жизни общественной, интересуется состояниями народов и государств, а не привычками отдельных лиц, хотя бы то были Петры Великие и Наполеоны. Здесь не место говорить о роли личности в истории: это — одна из тем второй части настоящего труда, т. е. теории исторического процесса, но и определяя общий характер научного исторического знания, мы не можем обойти молчанием вопрос о том, что составляет истинное содержание исторической нау-

ки. Из всего, что на сей счете было сказано в предыдущих главах, с полною очевидностью явствует, что современная историческая наука стоит на точке зрения отождествления исторического с социальным. Такого понимания своего предмета историография достигла не сразу. Эпические предания народов о своем прошлом, бывшие первою ступенью его познавания, сводили это прошлое к деяниям великих людей, героев, царей, пророков, законодателей, полководцев, часто небывалых, в роде разных Ликургов и Ромулов[298], и в этих личностях бессознательно олицетворяли целые процессы народной жизни. Дальнейшее развитие историографии шло в том же направлении выдвигания на первый план отдельных героев, и исторические изображения были подобны тем рисункам лубочного производства, на которых в одной и той же плоскости генералы оказываются в сотни раз более крупных размеров, чем находящиеся возле них солдаты. Нужно быть хоть сколько-нибудь знакомым с историей нашей науки, чтобы представить себе, с каким трудом историография отделывалась от старой привычки персонифицировать общественные процессы. Политические порядки времен абсолютизма, когда народные силы были придавлены, немало даже содействовали сохранению этой привычки, как, наоборот, общее демократическое движение, начавшееся в конце XVIII в., весьма способствовало тому, чтобы историческая наука стала на новую точку зрения, конечно, и раньше пробивавшую себе дорогу, но долго остававшуюся не для всех понятною и, пожалуй, иногда не достигавшую полной ясности в головах собственных же ее представителей. Возникновение социологии и внесение историзма в другие общественные науки в значительной мере также повлияли на современное понимание истории, как науки, изучающей процессы, которые совершаются в отдельных обществах и благодаря действию в них общественных же сил.

Пожалуй, обо всем этом здесь можно было бы и не говорить, если бы, во-первых, и в настоящее время не было историков, готовых защищать старую позицию, а во-вторых, если бы наиболее крайние представители нового взгляда не отрицали всякое научное значение за биографическими исследованиями в исторической литературе. О том и о другом и будет теперь речь.

В самых последних годах прошлого столетия среди немецких историков происходила очень острая полемика, вызванная брошюрою лейпцигского профессора Карла Лампрехта[299] под заглавием

«Старое и новое направления в исторической науке»*. Старое направление это — то, которое видит причины исторических событий в выдающихся личностях, игнорируя массовые явления, и притом полагает, что поведение личности не зависит от исторического фона, на котором происходят ее поступки. Этому направлению, которое Лампрехт обозначил, как «индивидуалистическое», он противопоставил другое, названное у него «коллективистическим», — направление, принимающее и массовые поступки за причины исторического движения на ряду с индивидуальными, равно как полагающее, что из массовых поступков слагаются условия деятельности выдающихся личностей. Критики Лампрехта более или менее единодушно высказались в том смысле, что двух таких противоположных направлений не существует, что все различие между ними заключается лишь в степени пользования индивидуалистическими и коллективистическими объяснениями. С этой точки зрения, отрицая какой бы то ни было переворот в исторической науке, возвещенный Лампрехтом, его оппоненты заявляли, что высказанный им взгляд совсем не оригинален, так как они давно все это знали. Наконец, критикуя общие положения Лампрехта, они обнаружили в другом ряде его идей вопиющие, на их взгляд, противоречия с его же собственными основными взглядами.

Здесь не место по существу разбирать, кто и в чем был прав или неправ в этом теоретическом споре. Интересно для нас сейчас только то, что такой спор мог возникнуть, и что до сих пор по этому вопросу не найдена согласительная формула. Лампрехт воображал себя от начала до конца новатором, хотя бы и не всегда им был на самом деле, но несомненно и то, что его оппоненты выступали не только против крайностей «нового направления», но и прямыми консерваторами, не хотевшими ничего уступать из «старого направления». В «коллективистическом» взгляде Лампрехта, несомненно, сильнее и рельефнее выразился современный социологизм исторической науки, но и его противники, конечно, не стояли на резко индивидуалистической точке зрения. Вот если бы они сводили историю прямо на сумму биографий и вне последних не признавали никакой истории, их можно было бы признать за

* Karl Lamprecht. Alte und neue Riehtungen in der Geschichtswissenschaft. 1898. Об этой полемике см. брошюру А. А. Малинина под таким же заглавием.

людей, стоящих ниже даже среднего уровня современной научной историографии*.

Сведение истории к биографиям, к какому был склонен Карлейль[300]**, возможно было бы лишь при верности взгляда, будто история представляет собою исключительно психологическую задачу, но, даже стоя и на этой точке зрения, нельзя было бы ограничиться одними биографиями, поскольку, кроме личных индивидуальностей, есть еще индивидуальности коллективные, каковы нации, общественные классы, партии и т. п. Притом сама психология может быть и индивидуальною (интраментальной), и коллективною (интерментальной), как было уже сказано в своем месте***. Существование психического взаимодействия и организации практических взаимоотношений между людьми, изучаемой в социологии, делает невозможным обоснование истории на одной индивидуальной психологии, существенно нужной для биографий: сведение к последним всей истории было бы недопустимым в данном случае атомизмом. Но из того, что история должна быть «коллективистической», отнюдь не следует, чтобы из исторической науки был изгнан всякий биографический (личный) элемент, как вообще будто бы не подлежащий научному знанию.

Нужно только условиться, в каком смысле можно говорить об этом элементе с точки зрения общественного содержания исторической науки.

Те, которые думают, что жизнеописание одного лица вообще не может быть предметом науки, поскольку наука занимается не индивидуальным, а общим, не принимают в расчет того, что и коллективности, которыми занимается история, наприм., народы также индивидуальны****. Если с указанной точки зрения ненаучно заниматься жизнью одного человека, то столь же ненаучно заниматься и истори-

---

* У нас эта полемика германских историков в последних годах XIX в. осталась мало замеченною. Лично я в ней и не нашел для себя ничего сколько-нибудь поучительного, так как все это передумал, работая над своею книгою «Сущность исторического процесса и роль личности в истории», вышедшею еще до возникновения этой полемики (1890). В этом же смысле я говорю об указанной полемике, на стр. 558–559 второго издания книги.

** Сущность исторического процесса, кн. I, гл. 2.

*** См. выше.

**** См. выше.

ей одного народа. С другой стороны, всякий ли интерес к отдельной личности можно назвать научным и всегда ли научный интерес к отдельной личности, будет таковой возможен, будет интересом историческим?

Нас очень часто интересуют совершенно и притом заведомо фиктивные личности, выводимые на сцену в романах и драматических произведениях. Часто и действительно жившие личности возбуждают в нас совсем такой же интерес к себе, наприм., особенностями своего характера, драматичностью своей судьбы и т. п. Это — интерес, так сказать, эмоциональный, эстетический, и чисто фиктивный образ нередко с этой стороны возбуждает в нас к себе больший интерес, чем действительно когда-либо живший человек с подобными характером или судьбой.

Интерес к личности может быть и научным, теоретическим, когда она останавливает на себе внимание психолога или психиатра, как предмет, достойный специального изучения. Известно, что психологи и психиатры в этом отношении тоже не пренебрегают и фиктивными героями драм или романов (напр., Достоевского[301]).

Жизнеописание отдельного человека может быть, далее, лишь средством морального назидания, как мы это видим в биографиях Плутарха или в житиях святых. И для целей назидания может быть безразличным, изобразить ли действительно жившего когда-либо человека или рассказать какую-либо поучительную притчу о «некоем муже», никогда на белом свете не существовавшем.

Особый, я сказал бы, профессиональный, интерес обнаруживается у военных к биографиям полководцев, у музыкантов — к биографиям композиторов и виртуозов, у политических деятелей к биографиям государственных людей, у философов к биографиям философов и пр. и пр., как у историков к историкам.

Все это специальные интересы к самой личности, привлекающей к себе наше внимание тою или другою своею стороною, с той или другой точки зрения, но без прямого отношения к истории, до такой иногда степени без отношения к ней, что роль интересной личности может быть сыграна и созданием поэтического воображения. Чтобы интерес к отдельному человеку мог быть назван историческим, нужно, чтобы этот человек привлекал к себе наше внимание не как загадочная, что ли, натура, не как трагическая фигура, не как своеобразное явление в психическом мире, не как образец святости или

герой добродетели, не как искусный стратег, тонкий дипломат, гениальный шахматист и вообще заслуживающий ближайшего знакомства специалист своего дела, а как продукт известной общественной среды, сын своего народа и своего века, и вместе с тем как участник в историческом движении своего времени.

В отдельной личности, говоря вообще, историка должно интересовать только свое, т. е. ее связь с историческим процессом, ее к нему отношение, как пассивное, так и активное, ее место в этом процессе.

То, что выдвинет на первый план в той или другой исторической личности романист или драматург, психолог или моралист, наконец, специалист любой профессии, интересующийся биографией мастера своего дела, все это для историка может быть мало интересным или совсем даже неинтересным, да и непонятным. Я особенно настаиваю на этом разнообразии интересов, какие могут существовать у нас к жившим раньше, как и к ныне живущим людям, и на том, что не всякий интерес в данном отношении заслуживает название исторического. Поэтому не все биографы могут быть названы историками, да не все историки пользуются биографическим материалом в исключительно исторических целях*.

Две точки зрения на отдельные личности должны руководить историками. Отдельная личность, во-первых, может являться нам в качестве частного случая какого-либо общего правила в данном месте и в данное время, в качестве своего рода показателя того или другого общественного состояния. Положим, нас интересует крупное римское землевладение в начале империи: разве не важно здесь было бы создать несколько, так сказать, экономических биографий тогдашних земельных магнатов, которые на частных примерах показали бы нам, как создавались и эксплуатировались римские латифундии? Другой пример. С середины XIV в. в Италии происходило

---

* Поскольку интересы археологические и филологические отличаются от исторических в собственном смысле, можно говорить, и об особом археологическом или филологическом интересе к историческим личностям, который, вместе с известного рода пиететом к их реликвиям, лежит в основе Гётевских и Толстовских музеев, Чеховских комнат и т. п., где хранятся портреты и рукописи писателей, вещи, которыми они пользовались при жизни, надгробные венки и ленты и пр. и пр. Специальные исследования о почерках писателей, их манере исправлять корректуры, их стиле, орфографии и т. п. относятся к той же категории не чисто исторических интересов.

сильное культурное движение, известное под названием гуманизма: разве не было интересно познакомиться с биографиями вождей и главных участников этого движения, как выразителей нового общественного настроения и его творцов*?

Это одна историческая точка зрения на отдельные личности. С другой стороны, отдельные лица являются участниками событий, деятелями истории. Нельзя изучать историю французской революции, не вводя в нее биографического элемента, т. е. без знакомства с такими личностями, как Людовик XVI[302], Мария-Антуанетта[303], Неккер[304], Сьейес[305], Мирабо, Робеспьер[306], Дантон[307], Марат[308] и пр. и пр. Стремление создать «историю без собственных имен» останется навсегда утопией, а раз вводятся собственные имена, нужно знать, что же за люди были лица, их носившие, почему они действовали так, а не иначе, и что из их действий выходило.

Итак, для истории отдельная личность важна только по своей связи с тою общественного средою, продуктом и вместе с тем деятелем которой она была. В прошлом столетии на разных языках часто появлялись книги под заглавием «такой-то и его время». В этих книгах не все обусловливалось историческим интересом, но благодаря им всегда более или менее углублялось наше знание о времени, в котором жил и действовал NN. У авторов таких биографий мог преобладать интерес философский, религиозный, литературный, художественный, политический, но всегда отсюда что-нибудь перепадало и на долю научного понимания эпохи. В общем, чем более автор ставил себе индивидуально-психологическую задачу, тем менее он думал об истории, и, наоборот, чем более интересовался «временем» и в виду этого чем больше разрабатывал вопросы коллективно-психологического и социологического характера, тем больше из биографа превращался в историка.

---

* Я взял здесь не фиктивные примеры. Книги на такие темы есть и, между прочим, в русской литературе, притом книги, о которых мне пришлось в свое время подробно высказаться в печати, особенно подчеркнув в своих статьях пользование их авторов биографическим материалом для характеристики социально-экономического состояния Римской империи и духовного настроения образованного общества в Италии в конце средних веков. Упоминаемые книги называются: И. Гревс. Очерки из истории римского землевладения, преимущественно в эпоху империи (1899). — М. Корелин. Ранний итальянский гуманизм и его историография (1891). Ср. мои статьи о первой из этих книг в «Рус. Бог.» за 1900 г., о второй в «Вестн. Евр.» за 1893 г.

XXIV. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОМЕНКЛАТУРА И ТЕРМИНОЛОГИЯ

«История без собственных имен», конечно, является полною невозможностью. Если бы даже из истории можно было исключить имена отдельных лиц, в ней все-таки оставались бы еще названия стран и народов, местностей, где происходили события, самих событий, учреждений и т. д. до обозначения дат событий и хронологических отметок, заменяющих собою собственный имена событий, каковы, наприм., 14 июля 1789 г.[309], 18 брюмера VIII года[310], 14 декабря 1825 г.[311], 19 февраля 1861 г.[312] и т. п. Вообще всякое хронологическое определение, название века или столетия (напр., XVIII или XIX и т. п.), определенной эпохи (напр., Ренессанса, Реформации, века Людовика XIV или Фридриха II и т. п.) также имеет значение собственного имени для какого-либо периода времени.

Таков удел всякого идиографического знания — полная невозможность обходиться без собственных имен, отличающих одни изучаемые индивидуальности от других с ними однородных. Астрономия дала особые названия созвездиям, и в каждом созвездии отдельным светилам, пуская в ход или настоящие собственные имена (напр., Сириус) или буквы греческого алфавита (α, β, γ и т. д. в таких-то созвездиях). «Наша Солнечная система» есть также особая индивидуальность, название которой заключается в этих трех словах, и вполне характер собственных имен имеют слова «солнце» и «луна»: если мы и употребляем эти два слова во множественном числе для обозначения неподвижных звезд или спутников планет, то только в том же смысле, в каком называем парламентами всякие представительные учреждения, а не один только английский парламент, для которого это и есть собственное имя, тогда как другие носят и имена другие. О планетах нечего и говорить: каждую в отличие от других назвали или Меркурием, или Венерой, или Марсом и пр. и пр. Кометам также даны названия по имени, напр., лица, ту или другую из них открывшего (комета Галлея). Кроме астрономической номенклатуры, есть и географическая с ее названиями частей света, материков, океанов, морей, островов, горных хребтов и вершин, рек, стран, городов и т. д. и т. п. То же, разумеется, и в истории, которая для каждой индивидуальности личной или коллективной (нации, политической партии и т. п.), топографической или хронологической, для каждого события и т. п. нуждается в собственном имени или в его суррогате, описательном обозначении,

хотя бы даже в нумере (первый, второй и т. д. крестовые походы, первая и вторая английская революция, первая, вторая, третья, четвертая Государственные думы, цифры при именах государей и т. п.).

От номенклатуры идиографического характера нужно отличать терминологию в смысле совокупности названий не единичных предметов, а целых категорий (классов предметов, общих понятий и т. п.). Такими терминами являются в астрономии неподвижные звезды, планеты, спутники, кометы и т. д., в зоологии и ботанике все классификационные обозначения с нарицательными именами разных видов животных и растений, в химии названия элементов и т. п. Научные термины, это, именно, не собственные, а нарицательные имена, пользуясь выражением школьных грамматик, или слова отвлеченные. Без этих общих понятий немыслимо было бы самое мышление, а потому невозможна была бы и никакая наука.

Науки об общем могут обходиться без собственных имен, ибо занимаются не индивидуальностями, а классами однородных предметов или явлений, где бы то ни было и когда бы то ни было, а если и нуждаются иногда, то лишь в виде частных примеров, иллюстрирующих какие-либо общие формулы. Наоборот, науки о частном, единичном, индивидуальном (хотя бы и групповом, коллективном) совершенно бессильны были бы обходиться без общих понятий и без соответствующих им научных терминов. Наукам номологическим нужна одна лишь терминология, наукам идиографическим — и номенклатура, и терминология*.

Собственные имена, с которыми исторической науке приходится иметь дело, в громадном большинстве она не сама дает людям, народам, странам, событиям, о которых говорит, а получает их готовыми из самой жизни. С другой стороны, между именем и тем, кто или что носит это имя, связь совершенно случайна, т. е. имя само по себе ничего не говорит о том, кто или что его носит. Иногда, однако, история сама что-либо так или иначе называет, имея в виду в самом даваемом имени что-либо выразить. Всему историческому периоду до падения Западной Римской империи она дала имя древней истории, древнего мира, античности, целое следовавшее затем тысячелетие назвала средними веками, средневековьем, дальнейшую историю, последние

* Обыкновенно такого различения вообще не делается, и, напр., говорят о номенклатуре химической, ботанической, зоологической и пр.

четыре столетия, обозначила как новое время. Конечно, эти хронологические обозначения имеют характер настоящих собственных имен в применении к более или менее продолжительным периодам времени, эпохам, «моментам», т. е. своего времени хронологическим индивидуальностям. Такое же значение имеют и названия отдельных периодов (или «времен»), все эти эпохи падения Западной Римской империи, переселения народов, Карла Великого, крестовых походов, ренессанса, реформации и т. п. От долгого употребления эти названия так же приросли к тому, что ими привыкли обозначать, как и имена лиц, государств, мест сражении и т. д. Как и всякие другие имена, эта хронологическая номенклатура, в конце концов, совершенно случайна, условна, не имеет ни малейшего научного значения. Мы очень хорошо знаем настоящую цену в научном отношении традиционного деления «всемирной» истории на три больших периода с собственными именами древности, средневековья и нового времени и тем не менее пользуемся этими названиями, находя в них некоторые внешние удобства, и даже все чаще и чаще употребляем термин «медиевист» для обозначения такого историка, который специализировался на изучении средних веков*. Если известный период западноевропейской истории, «время перехода от средних веков к новому времени», принято называть «возрождением» (или Ренессансом), то и это — опять-таки название условного происхождения, т. е. имя, как имя, простой знак, позволяющий нам отличать одну индивидуальность (в данном случае хронологическую) от других. Большего вся эта историческая номенклатура в себе заключать не должна, и вообще можно оставаться совершенно равнодушным к традиционным именам, кого и что как в свое время назвали.

Иное дело, когда в названии усматривается особый смысл, заключающий в себе определение внутренней сущности вещи, когда «nomen–omen», когда собственное имя делается общим понятием, становится на место научного термина. От номенклатуры со всеми ее случайностями и условностями мы переходим к терминологии, которая должна отличаться точностью, определенностью и внутреннею содержательностью. «Возрождение» в смысле названия определенной эпохи — одно, возрождение с нарицательным значением — другое, как и прочие термины, наприм., общественное брожение, культурное

* «Medieviste» от «medium aevuin», средний век.

движение, историческое течение и т. п.*. Вот если иметь в виду такие термины с действительным (или предполагаемым) научным содержанием, то никак нельзя оставаться равнодушными к этим словам, за которыми должны скрываться те или другие понятия.

Одно из больших преимуществ естествознания (с математикою) сравнительно с гуманитарными и социальными науками, в том числе и историей, заключается в том, что терминология и в математике, и в физике, и в химии, и в физиологии и т. п. отличается большею определенностью и большим однообразием при употреблении, нежели в науках, изучающих духовную природу человека и мир человеческих отношений. Раз понятие получило свое определение, к нему приурочивается и известный термин, нередко взятый не из обыденной речи, а нарочно придуманный, как технический термин для обозначения какого-либо явления, процесса и т. п. Научный термин срастается с научным понятием, чем исключается возможность одно и то же называть различно или одно и то же слово употреблять в различных смыслах. Не то наблюдается в гуманитарных и социальных науках, в которых часто можно находить настоящий терминологический хаос, поистине терминологическую анархию.

В своем месте мною уже была отличена двусмысленность самого слова «история»**, что бывает причиною немалой путаницы понятий. Историей мы называем и изучение прошлого, и само изучаемое прошлое, а в обоих смыслах, кроме того, имеем в виду то изучение прошлого или самое прошлое чего бы то не было, то лишь определенных явлений в жизни человечества. Даже тогда, когда под историй мы разумеем изучение определенного содержания, мы одним и тем же именем исторической науки одинаково обозначаем и исследование источников, из которых узнаем о прошлом, и исследование самого этого прошлого, как будто исторические источники и историческая жизнь — одно и то же и изучаются совершенно одинаково. И прилагательное «исторический» употребляется нами в довольно-таки различных смыслах: в значениях, именно, или свойственного исторической науке (говоря о методе), или служащего материалом для истории (говоря об источниках), или уже вообще отошедшего в прошлое,

---

* Сколько таких метафор употребляем мы в нашем научном языке, говоря о брожениях, движениях, течениях!

** См. выше.

или имеющего особое значение в прошлом, или имеющего свою историю и. т. п. Мы безразлично говорим об «исторической работе русского народа», создавшего великое государство и своеобразную культуру, и об «исторической работе» какого-либо ученого в смысле отдельного научного труда. «Война и мир» Толстого[313] для нас «исторический роман», поскольку изображает известную историческую эпоху, но и роман Чернышевского[314] «Что делать» можно назвать историческим, в другом только смысле, как сделавшийся таковым по своему значению во времени своего появления в свет. Историческое может быть и бывает синонимом и генетического (напр., объяснения), и традиционного, имеющего корни в прошлом (напр., происхождения) и т. д., равно как и противополагаться оно может весьма различным понятиям.

Мы видели, что и такие научные термины, как культура или прагматизм, имеют у историков далеко не одинаковый смысл, первый — то более широкий, то более узкий, второй — даже совсем несходные между собою значения — искания причин и следствий, практического наставления, изучения событий*. Сколько недоразумений порождается на этой почве неопределенности и многозначимости таких терминов и при чтении книг, и при слушании лекций и при обмене мыслей между лицами, занимающимися историей.

Подобных примеров можно было бы набрать много и привести немало случаев взаимного непонимания среди самих историков из-за невыработанности исторической (или историологической) терминологии. Одно и то же мы так часто называем разно и те же самые слова употребляем в разных смыслах, что этого часто и не подозреваем. Под необычным термином мы иногда не узнаем хорошо известного нам понятия, а под термином обычным нередко не находим того, что сами под ним понимаем**. Одна из задач теории истории была бы прекратить эту анархию, вывести из этого хаоса, а одним из лучших средств для достижения такой цели были бы и большее внимание со стороны историков к общей теории их науки, и более частый между ними обмен мыслей по историко-теоретическим вопросам.

---

* См. выше.

** Нечего говорить, что каждый язык пользуется своими собственными словами, вполне одни другие в разных языках не покрывающими.

КОММЕНТАРИИ

Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох

Печатается по первому изданию: Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903.

[1] *Александр Македонский* (356–323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г. до н. э., основатель мировой эллинистической державы.

[2] *Полибий* (ок. 201–120 до н. э.) — древнегреческий историк, государственный деятель, автор 40-томной «Всеобщей истории». В 169 г. до н. э. гиппарх Ахейского союза. С 167 г. до н. э. жил в Италии. Член кружка Сципиона. Сторонник теории циклического движения истории, повторяющей биологические ритмы. Разрабатывал концепцию смешанной формы правления, учитывающей все преимущества аристократии, демократии и монархии.

[3] *Боссюэ* (Bossuet) Жак Бенинь (1627–1704) — французский религиозный деятель. С 1661 г. проповедник в Шапель-Рояль. С 1671 г. воспитатель дофина. С 1681 г. епископ Мо. Противник рационалистического истолкования Св. Писания. Предлагал анализировать политическую жизнь в рамках концепции провиденциализма, рассматривавшей земную жизнь как проявление Божьего промысла. Теоретик королевского абсолютизма, который он противопоставлял основанному на насилии деспотизму.

[4] *Кондорсе* (Condorcet) Мари-Жан Антуан Никола де Карита (1743–1794) — маркиз, французский философ и политический деятель, участник «Энциклопедии». С 1769 г. член Французской академии. В 1791–1793 гг. член Национального собрания, Конвента. В 1794 г. арестован за сочувствие жирондистам. Один из первых разрабатывал теорию прогресса человечества. Считал, что для совершенствования политических, социальных и экономических форм следует использовать математически просчитанные методы.

[5] *Гегель* (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ. Утверждал возможность метафизического познания мира посредством постижения категорий человеческого сознания, так как абсолютной реальностью является разум. Все сущее есть манифестация разума. Это утверждение относилось и к человеческой истории, основной смысл которой заключается в развитии рациональных форм человеческого бытия — прежде всего, государства. Лишь государство может обеспечить человеку истинную свободу. Путь его развития — утверждение все большей свободы в правовой жизни.

[6] *Конт* (Comte) Исидор Огюст Мария Франсуа Ксавье (1798–1857) — французский философ, основатель позитивизма, основоположник социологии. Разработал закон трех стадий развития общества. Из них высшая форма — научная. Утверждал необходимость выявления законов общественной жизни, которые были бы в той же степени достоверны, как законы в естественных науках. Разработал методологию социологии, выделив социальную статику и динамику.

[7] Антонины (Antonini) — династия римских императоров в 96–192 гг., названная по имени императора Антонина Пия (138–161).

[8] *Мейер* (Meyer) Эдуард (1855–1930) — немецкий историк. С 1884 г. профессор университета в Лейпциге, с 1885 г. — в Бреслау, с 1889 г. — в Галле, в 1902–1923 гг. — в Берлине. Автор пятитомной «Истории древности» (1884–1902). Особое внимание уделял проблеме становления государственности.

[9] *Мечников* Лев Ильич (1838–1888) — русский социолог. С 1858 г. переводчик российской дипломатической миссии на Ближнем Востоке. В 1860 г. участвовал в национально-освободительном движении в Италии, был ранен. С 1868 г. жил в Швейцарии. В 1872 г. участник Гаагского конгресса Интернационала. В 1874–1876 гг. преподавал в Токийском университете. С 1883 г. возглавлял кафедру сравнительной географии и статистики Лозаннского университета. Разрабатывал теорию кооперации, в соответствии с которой склонность человечества к солидарности — главное его отличие от животного мира. Доказывал особое значение географического фактора при становлении цивилизаций. Обосновывал роль больших рек в возникновении древнейших культур.

[10] *Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885) — русский мыслитель, публицист, ихтиолог. В 1849 г. арестован по делу М. В. Петрашевского. В 1853 г. участник ихтиологической экспедиции по Волге и Каспийскому морю. С 1857 г. работал в Департаменте сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. Автор работы «Россия и Европа» (1869), в которой предложил цивилизационный подход к анализу мировых исторических процессов. Выделил десять культурно-исторических типов, которые развивались в соответствии с общими законами становления цивилизаций. Противник теории прогресса, доказывал цикличность развития человечества.

[11] *Геродот* (ок. 485–425 до н. э.) — древнегреческий историк, «отец истории», автор «Истории».

[12] *Даниил* (VII–VI вв. до н. э.) — ветхозаветный пророк, советник при дворе вавилонского царя Валтасара и персидских царей — Кира и Дария.

[13] *Тутмос I* (Тутмес) (XVI–XV вв. до н. э.) — фараон Египта из XVIII династии Нового царства в 1508–1494 гг. до н. э.

[14] *Масперо* (Maspero) Гастон Камиль Шарль (1846–1916) — французский египтолог. С 1868 г. преподавал египетский язык и археологию в Сорбонне. С 1874 г. возглавлял кафедру египтологии в Коллеж де Франс. В 1881 г. основал в Каире французский Институт восточной археологии. В 1881–1886, 1899–1914 гг. директор Каирского музея, руководил «Службой древностей». Организатор и руководитель раскопок в Дейр эль-Бахри. Доказывал феодальный характер древнеегипетского общества.

[15] *Вебер* (Weber) Георг (1808–1888) — немецкий историк и филолог, автор популярных учебников по истории.

[16] *Ксеркс I* (ок. 520–465) — персидский царь с 486 г. до н. э. В 480 г. до н. э. возобновил войну с греческими полисами.

[17] *Дарий III Кодоман* (ок. 380–330 до н. э.) — персидский царь, последний представитель династии Ахеменидов. Потерпел поражение в войне с армией Александра Македонского. Был убит.

[18] *Бокль* (Buckle) Генри Томас (1821–1862) — английский историк, позитивист. Автор двухтомной «Истории цивилизации в Англии» (1857–1861). Последователь идей О. Конта. Стремился выявить общие законы развития человечества. Сторонник географического детерминизма. Выдвигал «умственный фактор» как значимую движущую силу общественного прогресса.

[19] *Плутарх* из Херонеи (45 — ок. 127) — древнегреческий философ и биограф. Автор «Сравнительных жизнеописаний».

[20] Имеется в виду Лао-цзы (VI в. до н. э.) — древнекитайский философ, основатель даосизма. Утверждал первичность начала «дао» (т. е. «пути») во Вселенной, в котором соединяется несоединимое, сходятся начало и конец. Причем «дао» невыразимо и необъяснимо. К нему можно приобщиться лишь путем покорности и недеяния («увэя»).

[21] *Псамметих I* (VII в. до н. э.) — первый фараон XXVI Саисской династии в Египте.

[22] *Синахериб* (VIII–VII вв. до н. э.) — царь Ассирии в 705–681 гг. до н. э. Был убит в результате заговоров.

[23] *Ашшурбанипал* (VII в. до н. э.) — царь Ассирии в 669–633 гг. до н. э. Покорил Мидию, Вавилонию, Элам и Египет.

[24] Маздеизм (зороастризм) — традиционная иранская религия, основанная на вере в дуалистическое противостояние сил добра и зла. Логически предшествовал манихейским учениям в Европе и на Ближнем Востоке.

[25] Птолемеи (Лагиды) — династия египетских правителей в III–I вв. до н. э. Основана в 306 г. до н. э. сподвижником Александра Македонского Птолемеем I.

[26] Монофизитство — раннехристианское учение, утверждавшее, что человеческая природа Христа была полностью поглощена Божественной.

[27] *Фриман* (Freeman) Эдуард Август (1823–1892) — английский историк. С 1884 г. профессор Оксфордского университета. Автор работ по истории норманнского завоевания Англии и становления английского конституционализма. Считал, что основной объект исследования историка — человек как «существо политическое». Был представителем так называемого «германизма», в соответствии с которым британские политические институты рассматривались как естественное проявление англо-саксонского общественного устройства.

[28] *Виппер* Роберт Юрьевич (1859–1954) — русский историк, ученик В. О. Ключевского и В. И. Герье. В 1894–1897 гг. профессор Новороссийского, в 1897–1922 гг. — Московского, в 1924–1941 гг. — Латвийского университетов. В 1941–1950 гг. преподавал в МГУ. С 1943 г. член АН СССР, старший научный сотрудник Института истории АН СССР. Преимущественно изучал западноевропейскую историю Нового времени.

[29] *Еврипид* (Эврипид) (480–406 до н. э.) — древнегреческий драматург, автор трагедий «Орест», «Медея», «Электра».

[30] *Майков* Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт, представитель славянофильства и «патриархально-монархического» направления.

[31] *Публий* Вергилий Марон (Publius Vergilius Maro) (70–19 до н. э.) — древнеримский поэт. Автор «Буколик», «Георгик», «Энеиды».

[32] *Фидий* (ок. 500–430 до н. э.) — древнегреческий скульптор, создатель рельефов Парфенона, статуй Афины Промахос, Афины Парфенов, Зевса в Олимпии.

[33] *Гомер* (от XII до VII вв. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи».

[34] *Плиний Младший*, Гай Плиний Цецилий Секунд (Gaius Plinius Caecilius Secundus) (61/62–113) — древнеримский государственный деятель, писатель. В 91 г. народный трибун. В 93 г. претор. В 94–95 гг. хранитель войско-

вой казны. В 100 г. консул. С 111 г. наместник в Вифинии. Автор 9 книг писем.

[35] *Аристотель Стагирит* (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Платона, основатель Перпатетической школы. В 343–340 гг. до н. э. преподавал Александру Македонскому. Предложил рационалистическую версию учения Платона. Создал целостную философскую систему, значимым элементом которой были вопросы политики. Исходил из того, что человек — «существо политическое», изначально склонное к общественной жизни». По мнению Аристотеля, основная цель государства — благополучие его граждан, которое может быть в полной мере достигнуто лишь при решении задачи воспитания достойного человека и гражданина.

[36] *Платон* (427–347 до н. э.) — древнегреческий философ. Автор учения об идеях как первосущностях бытия. По мнению Платона, не изменчивая реальность, а лишь постоянный мир идей (т. е. миф) может быть объектом изучения. Цель человеческого существования — в истинном познании, но это возможно лишь в государстве, управляемом философами, которые бы регламентировали все сферы жизни человека.

[37] *Демосфен* (384–322 до н. э.) — древнегреческий политический деятель, оратор. Произнес целый ряд речей, направленных против захватнической политики Македонии и ее царя Филиппа («филиппики»). Способствовал объединению греческих полисов в борьбе с обшим врагом. В 338 г. до н. э. участвовал в битве при Херонее. Покончил жизнь самоубийством.

[38] *Марк Туллий Цицерон* (Marcus Tullius Cicer) (106–43 до н. э.) — древнеримский политик, оратор. В 69 г. до н. э. курульный эдил. В 66 г. до н. э. претор. В 63 г. до н. э. консул. Раскрыл заговор Катилины. В 51 г. до н. э. наместник в Киликии. По решению второго триумвирата попал в проскрипционные списки. Убит.

[39] *Флавий Клавдий Юлиан* (Flavius Claudius Julianus) (332–363) — римский император с 361 г. Сделал попытку восстановить традиционный для Рима политеизм, за что получил прозвище «Отступник».

[40] Арианство — раннехристианское антитринитарное учение, утверждавшее тварную природу Христа.

[41] Монофелитство — христианское учение в Византии в VII в., утверждавшее двоичность природы Христа, но единство его богочеловеческой воли.

[42] *Диодор Сицилийский* (ок. 90–21 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки» в 40 томах.

[43] *Дионисий Галикарнасский* (I в. до н. э.) — древнегреческий историк. С 30 г. до н. э. жил в Риме. Автор исторического сочинения «Римские древности» (7 до н. э.), работ по риторике.

[44] *Квинт Гораций Флакк* (Quintus Horatius Flaccus) (65–8 до н. э.) — древнеримский поэт. Автор од, сатир, поэтических трактатов.

[45] Греция одержала победу над серой властью победителей и ввела свою культуру в крестьянские дома Лацио (лат.).

[46] Кекроп — герой древнегреческой мифологии, сын Геи, первый царь Аттики.

[47] Данай — герой древнегреческой мифологии, царь Аргоса.

[48] Кадм — герой древнегреческой мифологии, брат Европы, основатель Фив.

[49] *Ликург* (IX–VIII вв. до н. э.) — легендарный древнегреческий государственный деятель, преобразователь Спарты. Инициатор государственных, социальных и экономических реформ по образцу дорических государств на Крите. Способствовал милитаризации всех сторон жизни в Спарте.

[50] *Солон* (640/635–559 до н. э.) — афинский философ, поэт, государственный деятель. В 594–593 гг. до н. э. архонт. Способствовал отмене поземельной задолженности, долгового рабства, учредил Совет 400, суд присяжных. Реформы Солона заложили основу афинской демократии.

[51] *Пифагор Самосский* (570–490 до н. э.) — древнегреческий философ и математик. С 530 г. до н. э. жил в Кротоне на Юге Италии. Создал братство последователей своего учения. Утверждал, что познание мира — это постижение чисел, которые им правят. Верил в переселение душ и круговорот человеческих жизней. Считал, что мир зародился в результате взаимодействия двух начал — предельного и беспредельного.

[52] *Страбон* (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий историк, географ. Автор «Истории», «Географии» (в 17-ти книгах). Последователь Аристотеля.

[53] *Фалес Милетский* (624–548 до н. э.) — древнегреческий философ, математик. Основатель ионийской философской школы. Утверждал, что все сущее восходит к первоэлементу — воде. Сторонник гилозоизма, в соответствии с которым мир представлял собой одушевленное целое, в котором особое место отводилось богам. Рассчитал солнечный год в 365 дней. Доказывал шарообразность земли, при этом придерживаясь геоцентричной модели Вселенной.

[54] *Архимед* (ок. 287 — 212) — древнегреческий математик и механик. Основатель гидростатики, математической физики. Открыл закон гидростатики — закон Архимеда. Убит римским солдатом при взятии Сиракуз.

[55] *Гиппарх* (ок. 190 — 126 до н. э.) — древнегреческий астроном. Автор «Комментариев» к «Феноменам» Эвдокса и Арата. Составил звездный каталог, таблицы движения Солнца и Луны. Открыл явление прецессии. Рассчитал продолжительность тропического года.

[56] *Клавдий Птолемей* (Claudius Ptolemaeus) — александрийский математик и географ II в. н. э. Сторонник геоцентрической модели Солнечной системы. Исследовал преломление света.

[57] *Фукидид* (ок. 460 — 400 до н. э.) — древнегреческий историк. Автор «Истории», описывающей ход Пелопоннесской войны.

[58] *Ксенофонт* (ок. 430 — 355/354 до н. э.) — древнегреческий историк. В 401 г. участник похода Кира Младшего против царя Персии Артаксеркса II. Участник Коринфской войны 395–387 гг. до н. э. Автор «Греческой истории». Сторонник аристократического режима наподобие того, что имел место в Спарте.

[59] *Прокл Диадох* (412–485) — древнегреческий философ-неоплатоник. С 450 г. глава Платоновской академии. Сторонник возрождения языческих религиозных обрядов. Разработал теорию иерархии Универсума, который одновременно предполагает единство (потенцию), проявление в материальном мире (эманацию) и возвращение к себе, т. е. идею («эйдос»). Утверждал «триадичность» души, в которой сочетается божественное, демоническое, человеческое.

[60] *Кир II Великий* (ок. 590 — 530 до н. э.) — царь Персии с 550 г. до н. э., основатель Персидского государства.

[61] *Гистасп* (VI в. до н. э.) — сатрап Персиды, отец Дария I. В 517 г. до н. э. возглавил подавление восстания в Гиркании.

[62] *Аттила* (ок. 406 — 453) — вождь гуннов с 434 г. В 451 г. вторгся в Галлию, в 452 г. — в Италию, при этом отказался от похода на Рим. Умер в Паннонии при подготовке вторжения в Восточную Римскую империю.

[63] *Тамерлан* (Тимурленг, Тимур Хромой, Железный Хромец) (1336–1405) — среднеазиатский полководец, создатель азиатской империи со столицей в Самарканде, основоположник династии Тимуридов.

[64] *Монтескье* (Montesquieu) Шарль Луи (1689–1755) — французский философ и политический деятель. В 1716–1726 гг. президент парламента

Бордо. Сторонник теории естественного права. Говорил о первичности права по отношению к государству и законодательству. Утверждал принцип относительной ценности политических и общественных институтов в зависимости от культурных, исторических и географических условий. Считал, что форма правления в значительной мере определяется климатом, размерами государства. В качестве основной ценности выдвигал политическую свободу. Обосновал теорию разделения властей, которое может обезопасить страны от деспотизма.

[65] *Руссо* (Rousseau) Жан Жак (1712–1778) — французский философ-просветитель. Разработал теорию общественного договора и народного суверенитета. Исходил из того, что цивилизация способствовала деградации человека. Спасение человечества видел в возвращении к первоначальной простоте. Этим определялась его концепция общественного договора, который должен вернуть социум к своим истокам и быть договором всех со всеми. Утверждал, что по самой природе общественного договора человек лишался изначальной свободы, обретая при этом еще большую, так как он одновременно устанавливал нормы и им подчинялся. Это предполагало торжество принципа народного суверенитета, когда все договаривающиеся стороны принимают участие в решении судьбы целого.

[66] *Констан де Ребек* (Constant de Rebecque) Бенжамен (1767–1830) — французский мыслитель и политический деятель. Гражданский муж писательницы Ж. де Сталь. В 1803–1814 гг. в эмиграции. С 1819 г. член палаты депутатов. В 1830 г. председатель Государственного совета. Один из ведущих теоретиков классического французского либерализма. Настаивал на необходимости установления политических гарантий гражданской свободы как от единоличной диктатуры, так и от охлократии.

[67] *Фюстель де Куланж* (Fustel de Coulanges) Нюма Дени (1830–1889) — французский историк-медиевист, представитель позитивистского направления в историографии. С 1875 г. — член Академии моральных и политических наук. В 1861–1870 гг. профессор Страсбургского университета, в 1870–1875 гг. — Высшей нормальной школы, в 1875–1888 гг. — Сорбонны. В 1880–1883 гг. директор Высшей нормальной школы. Рассматривал раннее Средневековье как этап постепенной адаптации римского наследия к условиям феодального общества.

[68] *Марк Порций Катон* (Marcus Porcius Cato) (234–148 до н. э.) — римский государственный деятель. Участник Второй Пунической войны. В 198 г. до н. э. претор в Сардинии. В 195 г. до н. э. консул. Автор трактата «О земледелии».

[69] Имеется в виду битва при Левктрах (371 до н. э.), в ходе которой спартанцы потерпели поражение от фиванского войска, что положило конец гегемонии Спарты в Греции.

[70] *Зевс* — в древнегреческой мифологии верховный бог, повелитель Олимпа.

[71] *Сократ* (470/469–399) — древнегреческий философ, персонаж многих диалогов Платона. Способствовал повороту древнегреческой философии в сторону изучения не материальной природы, как прежде, а человеческой личности. Противник догматизма, сторонник плюралистического подхода. Разработал основы диалектики как искусства спора.

[72] Имеется в виду решение имперского рейхстага в Аугсбурге 25 сентября 1555 г.

[73] *Гоббс* (Hobbes) Томас (1588–1679) — английский политический мыслитель. Автор трактата «Левиафан» (1651). По его мнению, в основе политической власти лежал общественный договор, на заключение которого вынуждены были идти люди, боявшиеся за свою жизнь и имущество. В противном случае неизбежна «война всех против всех». По факту общественного договора суверен, представляющий государство, обладает неограниченной властью. В силу этого, по мнению Гоббса, оптимальная форма правления — абсолютная монархия. Высшим сувереном является Бог, который диктует свои законы человечеству, столь же самодостаточные, как и законы земных правителей.

[74] *Перикл* (ок. 495 — 429 до н. э.) — афинский государственный деятель. С 443 г. до н. э. глава афинского государства, член коллегии стратегов.

[75] *Селевк I Никатор* (365–281 до н. э.) — греческий полководец, сподвижник Александра Македонского (диадох). В 312 г. до н. э. принял царский титул, став правителем азиатской части империи Александра Македонского. Убит Птолемеем Керавном.

[76] *Манефон* (IV–III вв. до н. э.) — древнеегипетский историк, верховный жрец в Гелиополе, автор истории Египта, которую впервые разделил на 30 династий и Древнее, Среднее и Новое царства.

[77] *Бероз* (III в. до н. э.) — вавилонский жрец, автор истории Вавилонии в 3-х книгах.

[78] *Филон Александрийский* (25 до н. э. — 50 н. э.) — эллинистический религиозный мыслитель, иудейский богослов. Утверждал необходимость сочетания иудейского богословия и традиций платонизма. Разработал

учение о Логосе. Доказывал иносказательное значение текста Пятикнижия Моисея.

[79] Юридически (*лат.*).

[80] *Публий Элий Траян Адриан* (Publius Aelius Traianus Hadrianus) (76–138) — римский император с 117 г.

[81] *Марк Аврелий Антоний Гелиогабал* (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus; наст. имя Варий Авит Бассиан) (201–222) — римский император с 218 г. Убит солдатами.

[82] *Марк Аврелий Север Александр* (Marcus Aurelius Severus Alexandrus) (208–235) — римский император с 222 г., последний представитель династии Северов. Убит в результате заговора.

[83] *Луций Анней Сенека* (Lucius Annaeus Seneca) (4–65) — древнеримский философ, представитель стоицизма. В 49–54 гг. воспитатель Нерона. По приказу Нерона покончил жизнь самоубийством. Утверждал телесность всего мира, в основе которого лежал божественный огонь. Считал, что цель любого человека — освободиться от власти телесного.

[84] *Марк Аврелий Антонин* (Marcus Aurelius Antoninus) (121–180) — римский император с 161 г., философ, последователь стоиков. Автор «Размышления о самом себе». Писал о воспитании чувств, о противоречиях между телом и душой человека.

[85] *Эпиктет* (ок. 50–130) — древнегреческий философ-стоик. Был рабом, впоследствии вольноотпущенником. Определял счастье как свободу от страстей. Был противником семьи и государства.

[86] *Омар (Умар) ибн аль Хаттаб* (581–644) — халиф с 634 г. Заметно расширил границы Арабского халифата за счет территории Египта, Междуречья и Персии.

[87] Имеется в виду битва при Пуатье, в ходе которой арабское войско потерпело поражение от франков во главе с Карлом Мартелом.

[88] *Карл Великий* (*лат.* Carolus Magnus, *фр.* Charlemagne) (742–814) — король франков с 768 г. В 800 г. коронован в Риме как император.

[89] Гренада была присоединена к объединенному Испанскому королевству в 1492 г.

[90] *Юстиниан I* (Iustinianus I) (482/483–565) — император Византии с 527 г.

[91] Имеется в виду дискуссия между так называемыми германистами и романистами.

[92] *Бюхер* (Bücher) Карл (1847–1930) — немецкий экономист, представитель исторической школы политической экономии. В 1892–1917 гг. профессор политической экономии Лейпцигского университета. В 1917 г. основал Институт газетоведения. Выдвинул концепцию трех этапов развития экономики: домашнего, городского и народного хозяйства. В основе этого деления лежала оценка «длины пути» товара от производителя к потребителю. Разрабатывал проблемы первобытной культуры. Доказывал, что на раннем этапе развития человечества хозяйственная жизнь и искусство были неразрывно связаны.

[93] *Гай Юлий Цезарь* (Gaius Iulius Caesar) (100–44 до н. э.) — древнеримский государственный деятель. В 65 г. до н. э. курульный эдил. В 62 г. до н. э. претор. С 61 г. до н. э. управлял Дальней Испанией. В 59 г. до н. э. консул, участник первого триумвирата. С 58 г. до н. э. возглавлял римскую армию в Галлии. В 49 г. до н. э. вторгся в Италию. В 49–45 гг. до н. э. вел гражданскую войну с армией Помпея, оставшейся верной Сенату. Установил режим личной диктатуры. Убит заговорщиками.

[94] Имеется в виду Верденский раздел.

[95] Имеется в виду коронация Карла Великого как императора.

[96] *Николай I Великий*, святой (?–867) — римский папа с 858 г. Один из идеологов папской теократии. Утверждал, что папа обладает всей полнотой духовной и светской власти. Использовал так называемые Лжеисидоровы декреталии, обосновывая право понтифика вмешиваться во все сферы жизни церкви.

[97] *Фотий*, святой (ок. 820–891) — византийский богослов, Константинопольский патриарх в 857–867, 877–886 гг. Противник идеологии папской теократии. Обвинял христианскую церковь западного обряда в ереси принятия догмата о филиокве (filioque). В 863 г. папа Николай I подверг его анафеме. Способствовал распространению христианства в Болгарии, Моравии и на Руси. В 886 г. низложен императором Львом VI и заключен в армянский монастырь. Автор библиографического сочинения «Мириобиблион».

[98] *Карл Мартелл* (Carolus Martellus) (688–741) — майордом Франкского королевства. В 732 г. одержал победу над арабами в битве при Пуатье. Отец первого короля из династии Каролингов Пипина Короткого.

[99] *Пипин Короткий* (Pippinus Brevis) (714/715–768) — франкский король с 751 г. С 741 г. майордом. В 751 г. сверг последнего короля из династии Меровингов, основал династию Каролингов. В 754 и 756 гг. совершил походы в Италию, основал Папскую область.

[100] *Лев III* (Leo III), святой (750–816) — римский папа с 795 г. Пользовался поддержкой Карла Великого. В 800 г. короновал его как императора.

[101] *Публий Корнелий Тацит* (Publius Cornelius Tacitus) (56–117) — древнеримский историк. В 97 г. консул. Впоследствии занял должность проконсула Азии. Автор «Истории» в 14-ти книгах (98–116) и «Анналов». Доказывал неизбежность падения республики и установления монархического порядка в Древнем Риме.

[102] *Григорий VII* (Gregorius VII) (до интронизации Гильдебранд — ит. Ildebrando) (1020/1025–1085) — римский папа с 1073 г. С 1054 г. легат во Франции, впоследствии в Германии. С 1059 г. архидьякон, управлявший делами Ватикана. Установил обязательный целибат для священнослужителей католической церкви.

[103] *Бонифаций VIII* (Bonifacius VIII) (до интронизации Каэтани Бенедетто) (1235–1303) — римский папа с 1294 г. Стремился к утверждению папской теократии в Европе. Потерпел поражение в столкновении с французским королем Филиппом IV Красивым. В 1300 г. учредил празднование юбилейных годов.

[104] *Иннокентий III* (Innocentius III) (до интронизации Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи) (1161–1216) — римский папа с 1198 г. Способствовал заметному укреплению светской власти папы.

[105] *Филипп IV Красивый* (Philippe IV le Bel) (1268–1314) — король Франции с 1285 г.

[106] *Эдуард III* (Edward III) (1312–1377) — король Англии с 1327 г.

[107] *Иоанн Безземельный* (John Lackland) (1166–1216) — английский король с 1199 г. В 1215 г. под давлением баронов был вынужден утвердить Великую хартию вольностей.

[108] *Гай Аврелий Валерий Диоклетиан* (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (245–313) — римский император в 284–305 гг. Основал режим домината.

[109] *Бонавентура* (Bonaventura) (наст. фам. и имя Фиданца Джованни) (1221–1274) — итальянский богослов, церковный деятель. С 1257 г. генерал францисканского ордена. С 1273 г. — кардинал. В 1482 г. канонизирован. В 1587 г. объявлен учителем Церкви. В своих сочинениях развивал идеи св. Августина. Доказывал существование универсалий — божественных прототипов вещей. Утверждал, что постижение Бога возможно лишь путем Его мистического созерцания. В отличие от Фомы Аквинского придерживался платонизма, считал неприемлемым синтез христианства и философии Аристотеля.

[110] *Гиппократ* (460–377 до н. э.) — древнегреческий врач, «отец медицины».

[111] *Бернард Клервосский* (Bernard de Clairvaux) (1091–1153) — монах, религиозный мистик. В 1115 г. основал монастырь Клерво. В 1140 г. добился осуждения на соборе Пьера Абеляра. Участвовал в создании ордена тамплиеров. В 1174 г. канонизирован.

[112] *Эпикур* (342/341–271/270) — древнегреческий философ. Утверждал, что основное свойство человека — способность к ощущениям. Соответственно, счастье человека заключается в получении удовольствий. Высшее удовольствие — отсутствие страданий, что, по мнению Эпикура, предполагает отказ от страстей, полную невозмутимость и самоограничение.

[113] Имеется в виду Иоанн Богослов, апостол и евангелист.

[114] Имеется в виду Григорий Назианзин (328–390) — христианский богослов, церковный деятель, один из Отцов Церкви. Сподвижник Василия Великого, член каппадокийского кружка. С 372 г. епископ Сасимский. Удалился в пустынь. С 379 г. епископ Константинопольский. В 381 г. председательствовал на II Вселенском соборе. Разработал учение о Св. Троице, автор толкований Св. Писания.

[115] *Евсевий Софроний Иероним* (Eusebius Sophronius Hieronymus) (342–419/420) — христианский богослов, Учитель Церкви, создал канонический латинский текст Библии (Вульгата).

[116] *Петр Достопочтенный* (Petrus Venerabilis) (1094–1156) — христианский богослов. С 1122 г. аббат в Клюни. Провел реформу принципов монашеского общежития. Содействовал переводу Корана на латынь.

[117] *Гуго Сен-Викторский* (Hugo de Sancto Victore) (1096–1141) — христианский богослов, последователь Св. Августина. С 1125 г. преподавал в аббатстве Сен-Виктор. Автор трактата «О тайнах христианской веры».

[118] Имеется в виду движение сторонников Яна Гуса в Чехии.

[119] Имеется в виду движение сторонников религиозного учения катаров на юге Франции в XII–XIII вв.

[120] *Магеллан* (*порт.* Magalhaes, *исп.* Magallanes) Фернан (1480–1521) — португальский мореплаватель. В 1505–1512 гг. участвовал в португальских морских экспедициях. С 1517 г. на службе испанского короля. В 1519 г. возглавил экспедицию, имевшую цель открыть западный путь к Молуккским островам. Погиб на острове Макатан в стычке с местными жителями. Экспедиция вернулась в Испанию в 1522 г., фактически совершив первое кругосветное путешествие.

[121] *Коперник* (Kopernik) Николай (1473–1543) — польский астроном, математик. Автор «Малого комментария о гипотезах, относящихся к небесным движениям», в котором изложил гелиоцентрическую модель Солнечной системы.

[122] *Везалий* (Vesalius) Андреас (1514–1564) — фламандский естествоиспытатель. С 1537 г. доктор хирургии. С 1539 г. преподавал в Падуанском университете. С 1543 г. придворный врач императора Карла V, с 1556 г. — короля Филиппа II. В 1562 г. занял кафедру анатомии в Падуе. Автор трактата «О строении человеческого тела» (1543). Критиковал учение Галена о кровообращении.

[123] *Парацельс* (Paracelsus) (наст. фам. и имя Гогенхайм Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон — Hohenheim Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von) (1493–1541) — швейцарский врач. С 1526 г. профессор Базельского университета. Доказывал, что процессы в человеческом теле имеют химический характер. Утверждал необходимость использования химии в медицинских целях.

[124] *Сервет* (Servet) Мигель (1511–1553) — испанский богослов, врач. Открыл малый круг кровообращения. Сторонник исторической критики текстов Св. Писания. Отрицал Св. Троицу, предвечные ипостаси Бога. Арестован и сожжен по приказу Ж. Кальвина.

[125] *Гарвей* (Harvey) Уильям (1578–1657) — английский врач, естествоиспытатель. С 1597 г. преподавал в Падуанском университете. С 1602 г. доктор медицины. В 1607 г. вернулся в Англию, член Королевской коллегии врачей. Создал учение о кровообращении и эмбриологии. Доказывал, что кровообращение идет по замкнутому кругу благодаря сокращению сердца. Автор трактата «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (1628).

[126] *Кеплер* (Kepler) Иоганн (1571–1630) — немецкий астроном. С 1593 г. преподавал в гимназии Граца. В 1599–1601 гг. помощник Тихо Браге. С 1601 г. придворный императора Рудольфа II. Усовершенствовал гелиоцентрическую модель, обосновав эллиптическую орбиту планет. Автор трактата «Новая астрономия» (1609).

[127] *Галилей* (Galilei) Галилео (1564–1642) — итальянский математик, физик, астроном, создатель экспериментальной физики. С 1592 г. преподавал в Падуанском университете. С 1610 г. жил во Флоренции при дворе Козимо II Медичи. В 1630 г. опубликовал «Диалог о двух главнейших системах мира», в котором излагались учения Птолемея и Коперника. В 1633 г. был допрошен инквизицией, вынужденно отрекся от учения Коперника. Ис-

следовал законы свободного падения тел, сформулировал первый закон механики, обосновал принцип относительности в классической механике, разрабатывал теорию вероятности. Изучил фазы Венеры, орбиты движения спутников Юпитера, открыл пятна на Солнце.

[128] *Ньютон* (Newton) Исаак (1642–1727) — английский физик и математик. В 1664–1666 гг. открыл закон всемирного тяготения. С 1669 г. профессор математики Тринити-колледжа. С 1696 г. смотритель, с 1699 г. директор Монетного двора. С 1703 г. президент Королевского общества. В 1705 г. возведен в рыцарское достоинство. Автор «Математических начал натуральной философии» (1687).

[129] *Декарт* (Descartes) Рене (1596–1650) — французский философ и математик. Его философия обозначила «эпистемологический поворот» в истории европейской мысли Нового времени. В качестве основной философской проблемы выдвинул вопрос о познании, а не о бытии. Скептически оценивал возможности чувственного и рационального постижения мира. В качестве единственного вполне достоверного утверждения называл факт существования собственного сознания.

[130] *Лейбниц* (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, математик. С 1676 г. придворный библиотекарь ганноверских герцогов. Разрабатывал модели дифференциального исчисления. Автор учения о монадах, нематериальных субстанциях, из которых состоит весь мир. Один из теоретиков регулярного (полицейского) государства, основной целью которого является обеспечение общего блага посредством тотальной регламентации жизни каждого человека и, прежде всего, бюрократии. Государство должно действовать как некое существо, в котором каждый орган выполняет определенную функцию.

[131] *Бэкон* (Bacon) Фрэнсис (1561–1626) — английский философ, государственный деятель. С 1584 г. депутат парламента. С 1591 г. советник графа Эссекса. С 1603 г. рыцарь. С 1617 г. лорд-хранитель печати. С 1618 г. лорд-канцлер, барон Верлуамский. С 1621 г. виконт Сент-Олбанский. В 1621 г. обвинен во взяточничестве, отстранен от всех должностей. Автор трактата «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы». Утверждал, что подлинное знание основано на индукции, т. е. на обобщенном опыте.

[132] *Гроций* (Grotius) Гуго (1583–1645) — голландский юрист, основатель теории международного права. В 1607–1613 гг. генеральный казначей провинций Голландия, Зеландия и Фрисландия. В 1618 г. по политическим мотивам был осужден на пожизненное заключение. В 1621 г. бежал из тюрьмы, жил во Франции. В 1631 г. вернулся в Голландию, однако

был вынужден эмигрировать в Швецию. С 1634 г. посланник Швеции во Франции. Погиб в результате кораблекрушения. Автор трактата «О праве войны и мира» («De Jure Belli ac Pacis», 1625). Утверждал, что все человечество является единым правовым сообществом, подчиняющимся «праву народов». Разрабатывал понятие «справедливой войны».

[133] *Локк* (Locke) Джон (1632–1704) — английский философ. С 1668 г. член Королевского общества. В 1683–1689 гг. в эмиграции в Голландии. После Славной революции вернулся в Англию. Считал, что основное средство познания — человеческий опыт. Сознание уподоблялось им «чистой доске» («tabula rasa»), которая «заполняется» по мере обогащения человека новым опытом. Разрабатывал теорию гражданского общества, противостоящего произволу аристократии, и правового государства, базирующегося на верховенстве закона.

[134] Кальмарская уния (Kalmarunionen) — объединение Дании, Швеции и Норвегии под властью датских королей (1397–1523). Получила название в честь мирного договора Швеции и Дании в Кальмарском замке в 1389 г.

[135] *Вацлав* (Vaclav) (907–935/936) — князь Чехии с 924 г. Ввел христианство в Чехии, принял решение о строительстве храма св. Вита в Праге. Убит в результате заговора.

Стефан (Иштван, Istvan) (969–1038) — король Венгрии с 997 г. В 1083 г. канонизирован.

[136] *Карл V* (Karl V) Габсбург (1500–1558) — король Испании с 1516 г., император Священной Римской империи с 1519 г.

[137] *Сулейман I Великолепный* (Кануни) (1494–1566) — султан Османской империи с 1520 г. В 1526 г. покорил Венгрию, в 1527–1528 гг. — Боснию, Герцеговину, Славению, в 1528 г. — Трансильванию, в 1538 г. — Валахию, в 1551 г. — Триполи, в 1552–1554 гг. — Армению.

[138] Имеется в виду победа Карла Лотарингского над турками в Венгрии в 1687 г.

[139] Т. е. на крупные королевские владения.

[140] *Макиавелли* (Machiavelli) Николо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель, писатель, историк. С 1498 г. секретарь Совета десяти Флорентийской республики. В 1512 г., после восстановления власти Медичи, был отстранен от службы. Наиболее известное сочинение Макиавелли — трактат «Государь» (1532), в котором он доказывает, что

политика существует по иным законам, нежели того требует мораль. «Макиавеллизм» — понятие, характеризующее политику, основанную на пренебрежении нормами морали во имя достижения и укрепления власти.

[141] Т. е. от конца Тридцатилетней войны.

[142] Стюарты (Stewarts, Steuarts, Stuarts) — королевская династия в Шотландии (1371–1649, 1660–1707), Англии (1603–1649, 1660–1707), Великобритании (1707–1714).

[143] Т. е. Великая английская и Славная революции.

[144] *Людовик XIV* (Louis XIV) (1638–1715) — французский король с 1643 г.

[145] *Петр I* (1672–1725) — царь с 1672 г., император с 1721 г.

[146] *Фридрих II Великий* (1712–1786) — король Пруссии с 1740 г.

[147] Т. е. противников Никейского символа веры, провозглашающего догмат о Св. Троице.

[148] Деизм — религиозно-философское учение, в соответствии с которым Бог является творцом мира, но не участвует в жизни своих творений.

[149] *Лютер* (Luther) Мартин (1483–1546) — немецкий религиозный деятель, один из лидеров Реформации, основатель лютеранства. В 1517 г. на дверях церкви в Виттенберге вывесил 95 тезисов, провозглашавших программу церковной реформы. В 1519 г. открыто заявил о своем согласии с учением Яна Гуса. В 1520 г. публично сжег папскую буллу с его отлучением церкви. С 1521 г. находился под покровительством курфюрста Фридриха Саксонского. Пришел к мысли о возможности спасения человека, помимо церкви и духовенства, что ставило под вопрос необходимость их существования. Утверждал, что спасение достигается верой, а не делами. Отрицал свободу воли у человека.

[150] Анабаптизм — радикальное религиозное учение в эпоху Реформации (XVI в.), требовавшее возвращения к идеалам апостольских времен. Его представители отрицали ветхозаветную традицию и признавали лишь Новый завет. С их точки зрения, способом познания Бога должно стать мистическое откровение, доступное каждому верующему, а не церковному книжнику. Анабаптисты практиковали вторичное крещение человека в зрелом возрасте, за что и получили свое название.

[151] Индепенденты (*англ.* independents — независимые) — сторонники радикального крыла пуританизма в Англии XVII в., отрицавшие какую-либо

церковную организацию и признававшие религиозную общину, как единственную форму объединения верующих.

[152] Вормский сейм — собрание сословных представителей Священной Римской империи, созванное в 1521 г., на котором было осуждено учение М. Лютера.

[153] *Вольтер* (Voltaire) (наст. фам. и имя Аруэ Франсуа Мари) (1694–1778) — французский философ, писатель, историк. В 1726–1729 гг. жил в Англии, с 1751 г. — в Пруссии при дворе короля Фридриха II. В 1753 г. переселился в Швейцарию. В 1778 г. вернулся в Париж. Переписывался с Екатериной II. Сторонник философии сенсуализма Дж. Локка. Выступал за искоренение суеверий и невежества, противник клерикализма. Доказывал необходимость философской веры в Бога (деизма), а не теологической, неизбежно перетекающей в фанатизм.

[154] *Дидро* (Diderot) Дени (1713–1784) — французский философ, писатель, редактор «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751). В 1773 г. посетил Петербург. Продал свою библиотеку Екатерине II. Представитель материалистической философии. Трактовал все психические явления как свойства физиологии человека. Считал, что существует лишь материя, обладающая чувствительностью. Поведение же человека детерминировано той средой, в которой он воспитан.

[155] *Иосиф II* (Joseph II) (1741–1790) — император Священной Римской империи с 1765 г. (самостоятельно правил с 1780 г., после смерти матери Марии Терезии). Один из представителей просвещенного абсолютизма. В 1781 г. издал закон о веротерпимости, отменил всякие формы крепостной зависимости на подвластной ему территории.

[156] *Наполеон Бонапарт* (Napoléon Bonaparte) (1769–1821) — французский полководец и государственный деятель. С 1799 г. первый консул Франции. В 1804–1814, 1815 гг. император.

[157] *Бюффон* (Buffon) Жорж Луи Леклер (1797–1787) — французский философ, математик. С 1739 г. интендант Королевского ботанического сада. Создал учение об изменяемости видов под воздействием среды.

[158] *Кант* (Kant) Иммануил (1724–1804) — немецкий философ. Обосновал критику чистого разума, в соответствии с которой основные инструменты познания — категории сознания человека — умозрительны по своей природе. Соответственно, предметом философского исследования должна быть не «вещь в себе», а механизмы ее восприятия. Выводил право

из понятия морали, которая органически присуща любому человеку. В соответствии с нормами морали право устанавливает границы внешней свободы человека, которые его защищают от произвола других лиц. И право, и государство вводят необходимые ограничения индивидуальной свободы во имя торжества принципов морали.

[159] *Филипп II* (Philip II) (1527–1598) — король Испании с 1556 г., король Португалии с 1581 г.

[160] Имеются в виду программные требования крестьянского съезда в Мемминген, созванного в марте 1525 г.

[161] *Мюнцер* (Müntzer, Münzer) Томас (Фома) (1490–1525) — лидер крестьянского движения 1524–1526 гг. в Германии. Сторонник анабаптизма. Настаивал на необходимости широких социальных преобразований, которые привели бы к утверждению «царства божьего» на земле. В битве при Франкенхаузене взят в плен, казнен.

[162] *Мария Стюарт* (Mary Stuart) (1542–1587) — королева Шотландии в 1542–1567 гг., королева Франции в 1559–1560 гг., жена короля Франции Франциска II. В 1567 г. отреклась от шотландского престола в пользу сына Якова VI, переехала в Англию. Претендовала на английский престол, участвовала в заговорах против английской королевы Елизаветы I. Казнена по приговору суда.

[163] *Ришелье* (Richelieu) Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — герцог, французский государственный деятель, кардинал (с 1622). В 1607 г. посвящен в сан епископа Люсонского. В 1614 г. депутат Генеральных штатов от духовенства. С 1616 г. государственный секретарь. В 1624 г. возглавил Королевский совет, фактически став главой правительства.

[164] *Максимилиан I Баварский* (Maximilian I) (1573–1651) — герцог Баварии с 1597 г., курфюрст Баварии с 1623 г., участвовал в Тридцатилетней войне на стороне Габсбургов.

[165] Имеется в виду изданный Генрихом IV Нантский эдикт 1598 г., даровавший гугенотам свободу вероисповеданий.

[166] *Бодэн* (Bodin) Жан (1529/1530–1596) — французский правовед. Автор теории суверенитета. Утверждал, что основной признак государства — наличие независимой и ничем не ограниченной власти (т. е. суверенитета). Суверенная власть неделима, поэтому оптимальной формой правления является абсолютная монархия. Основная цель государя — обеспечение внешнего мира и стабильного внутреннего развития. Ради этого следу-

ет искоренять религиозную нетерпимость, социальные конфликты. Был принципиальным противником демократии, считая, что она влечет за собой торжество толпы и демагогов.

[167] *Генрих IV* (Henri IV) (1553–1610) — король Наварры с 1572 г., король Франции с 1589 г.

[168] *Фильмер* (Filmer) Роберт (1604–1688) — английский политический мыслитель, сторонник божественного происхождения королевской власти. Автор трактата «Patriarcha or the natural power of Kings» (1610).

[169] *Карл III* (Carlos III) (1716–1788) — король Неаполя и Сицилии в 1734–1759 гг., король Испании с 1759 г.

[170] *Аранда* (Aranda) Педро Пабло Абарка де Болеа (1718–1798) — испанский государственный деятель. В 1766–1773, 1792 гг. — президент Совета Кастилии. В 1767 г. инициировал изгнание иезуитов из Испании. В 1773–1787 гг. посол во Франции.

[171] Имеется в виду Жозе I (Jos I) (1715–1777) — король Португалии с 1750 г. В 1758 г. принял решение об изгнании иезуитов из Португалии.

[172] *Помбаль* (Pombal) Себастьян (1699–1782) — португальский государственный деятель. В 1750–1777 гг. — министр иностранных дел. В 1779 г. под давлением политических оппонентов приговорен к смертной казни. Приговор был заменен пожизненным изгнанием из столицы.

[173] *Фердинанд IV* (Ferdinando IV) (1751–1825) — король Неаполя в 1759–1806 гг., король Сицилии в 1806–1815 гг., король Обеих Сицилий в 1815–1825 гг.

[174] *Тануччи* (Tanucci) Бернардо (1698–1783) — итальянский государственный деятель. С 1725 г. — профессор Пизанского университета. С 1734 г. первый министр Неаполитанского королевства. В 1776 г. отстранен от власти.

[175] *Леопольд II* (Leopold II) (1747–1792) — великий герцог Тосканский в 1765–1790 гг., император Священной Римской империи с 1790 г.

[176] *Христиан VII* (Christian VII) (1749–1808) — король Дании с 1766 г.

[177] *Струензе* (Struensee) Иоганн Фридрих (1737–1772) — датский государственный деятель. В 1770–1772 гг. фактический правитель Дании. В результате дворцового переворота арестован и казнен.

[178] *Густав III* (Gustav III) (1746–1792) — король Швеции с 1771 г. В 1772 г. совершил государственный переворот, в результате которого установил режим неограниченной монархической власти.

[179] *Карл Фридрих* (Karl Friedrich) (1728–1811) — маркграф Бадена-Дурлаха с 1746 г., маркграф Бадена с 1771 г., с 1803 г. курфюрст Бадена, с 1806 г. — великий герцог Бадена.

[180] *Екатерина II* (урожд. Софья Августа Фредерика) (1729–1796) — императрица России с 1762 г.

[181] Т. е. посылки.

[182] *Смит* (Smith) Адам (1723–1790) — шотландский экономист и философ, основатель экономической теории. Автор «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776). Разработал концепцию свободного рынка как самоорганизующейся системы, основанной на конкуренции экономических субъектов.

[183] Имеется в виду Венский конгресс 1815 г.

[184] Имеются в виду конгрессы Священного союза.

[185] *Луи (Людовик) Филипп* (Louis Philippe) (1773–1850) — король Франции в 1830–1848 гг. Сын герцога Шартрского Филиппа (впоследствии Филиппа-Эгалите). С 1790 г. якобинец. С 1793 г. в эмиграции, жил в Англии, Швейцарии, впоследствии в США. В 1814 г. вернулся во Францию. В 1848 г. отрекся от престола.

[186] *Виктор Эммануил II* (Vittorio Emanuele II) (1820–1878) — сардинский король с 1849 г., король Италии с 1861 г.

[187] *Джойя* (Gioia) Флавио (XIV в.) — итальянский мореплаватель, считался изобретателем компаса и «Амальфитанских таблиц».

[188] *Диаш* (Dias) Бартоломеу (1450–1500) — португальский мореплаватель. В ходе одной из экспедиций обогнул южную оконечность Африки, достиг мыса Доброй Надежды.

[189] *Гама* (Gama) Васко да (1469–1524) — португальский мореплаватель. В 1498 г. достиг Индии, обогнув южную оконечность Африки. С 1499 г. адмирал Индийского океана. С 1519 г. граф Видигейра.

[190] *Колумб* (Colombo) Христофор (1451–1506) — итальянский мореплаватель. С 1484 г. жил в Испании. При поддержке испанской короны организовал экспедицию с целью открытия морского пути в Индию через

Атлантический океан. В 1492 г. достиг Багамских островов, полагая, что доплыл до Азии. Открытые земли объявил владениями Испании.

[191] *Кабот* (Caboto) Джон (Джованни) (1450–1499) — итальянский мореплаватель. С 1490 г. жил в Англии. Получил от Генриха VII патент на открытие и колонизацию новых земель. В 1497 г. достиг о. Нью-Фаундленд, в 1498 г. — Баффиновой земли.

[192] *Кабраль* (Cabral) Педро Альварес (ок. 1460–1528) — португальский мореплаватель. В 1500 г. достиг берегов Южной Америки, основал колонию Бразилия.

[193] *Кортес* (Cortés) Эрнан (Фернандо) Монрой Писарро Альтамирано (1485–1547) — испанский конкистадор. В 1504–1519 гг. чиновник в Вест-Индии. В 1519–1521 гг. руководил военной экспедицией Испании в государстве ацтеков, подавил их сопротивление, создал колонию Новая Испании. В 1522–1528 гг. ее генерал-губернатор. С 1529 г. генерал-капитан. С 1540 г. жил в Испании.

[194] *Писарро* Гонсалес (Pizarro y González) Франсиско (1475–1541) — испанский конкистадор. В 1531 г. руководил военной экспедицией по завоеванию империи инков. В 1536 г. основал Лиму. Убит в результате заговора.

[195] *Альмагро* (Almagro) Диего де (1475–1538) — испанский конкистадор. С 1524 г. ближайший сподвижник Ф. Писарро. С 1534 г. губернатор Нового Толедо. В 1537 г. провозгласил себя губернатором Перу. В 1538 г. потерпел поражение от армии Ф. Писарро. Пленен, обезглавлен.

[196] *Виктория* (Victoria) (1819–1901) — королева Великобритании и Ирландии с 1837 г.

[197] *Бонапарт* (Bonaparte) Жозеф (1768–1844) — старший брат Наполеона I, французский государственный деятель. С 1796 г. — член Совета Пятисот. С 1804 г. имперский принц. В 1808–1813 гг. король Испании. С 1813 г. жил в США, в Филадельфии.

[198] Кадисские кортесы — учредительное собрание в Испании в 1810–1812 гг. В 1812 г. приняли текст конституции.

[199] *Фердинанд VII* (Fernando VII) (1784–1833) — испанский король в 1808 г., с 1813 г. по 1833 г.

[200] Имеется в виду Жуан VI (João VI) (1767–1826) — король Португалии с 1816 г.

[201] *Педру I* (Pedro I) (1798–1834) — император Бразилии в 1822–1831 гг., король Португалии в 1826 г.

[202] *Наполеон III Бонапарт* (Napoléon III Bonaparte, полн. имя Шарль Луи Бонапарт) (1808–1873) — французский политический деятель, племянник Наполеона I. С 1848 г. президент Франции. В 1851 г. произвел переворот, установил диктатуру. С 1852 г. император. В 1870 г. низложен Национальным собранием. С 1870 г. в эмиграции.

[203] *Иаков I* (Яков I; James I) (1566–1625) — король Шотландии с 1567 г., король Англии с 1603 г.

[204] Очевидно, Н. И. Кареев имеет в виду Конституцию США 1787 г.

[205] *Нехао* (VII–VI вв. до н. э.) — фараон Египта в 610-595 гг. до н. э. Инициировал путешествие финикийских мореплавателей вокруг Африки.

[206] *Фультон* (Fulton) Роберт (1765–1815) — американский механик. В 1806 г. сконструировал первый колесный пароход. Изобрел подводную лодку, торпеду.

[207] *Стефенсон* (Stephenson) Джордж (1781–1848) — английский механик, изобретатель. С 1812 г. главный механик Киллингуортских копей. С 1814 г. проектировал паровозы. В 1823 г. организовал первый паровозостроительный завод.

[208] Имеется в виду концепция «третьего Рима» монаха Филофея (XVI в.).

[209] Имеется в виду религиозное движение в Византии, отрицавшее иконопочитание.

[210] *Исаак II Ангел* (1156–1204) — византийский император в 1185–1195, 1203–1204 гг. В 1195 г. свергнут с престола, ослеплен. В 1203 г. вернулся к власти вместе с сыном Алексеем IV.

[211] *Василий I Македонянин* (811–886) — византийский император с 867 г.

[212] *Людовик II Немецкий* (Ludwig der Deutsche) (804/805–876) — король Восточно-Франкского королевства с 826 г. В 843 г. участвовал в Верденском разделе Франкского королевства.

[213] *Никифор II Фока* (912–969) — византийский военачальник, император с 963 г.

[214] *Оттон I Великий* (912–973) — герцог Саксонии в 935–960 гг., с 936 г. король Восточно-Франкского королевства, с 961 г. король Италии, с 962 г. император Священной Римской империи.

[215] Базельский Собор — Вселенский Собор католической церкви, проводившийся в 1431–1448 гг. в Базеле, а в 1448–1449 г. — в Лозанне. Объединил сторонников соборного движения, утверждавших примат Соборов над папской властью. В 1449 г. под давлением светских властей был вынужден признать власть римского понтифика и объявить о самороспуске.

[216] *Иоанн VIII Палеолог* (1392–1448) — византийский император с 1425 г.

[217] *Иван III Васильевич* (1440–1505) — великий князь московский с 1462 г.

[218] *Софья (Зоя) Палеолог* (?–1503) — племянница византийского императора Константина XI Палеолога. С 1472 г. — жена великого князя московского Ивана III, мать Василия III.

Историка. Теория исторического знания

Печатается по первому изданию: Историка. Теория исторического знания: Из лекций по общей теории истории. — СПб., 1913.

[219] *Дройзен* (Droysen) Иоганн Густав (1808–1884) — немецкий историк. С 1840 г. профессор Кильского, с 1851 г. — Йенского, с 1859 г. — Берлинского университетов. В 1848 г. член Франкфуртского парламента. Автор «Истории эллинизма» (1836–1843). Ввел в научный оборот понятие «эллинизм», подразумевая под ним распространение на территории бывшей Персидской империи политической и культурной греческой традиции.

[220] *Грановский* Тимофей Николаевич (1813–1855) — русский историк. Член кружка Н. В. Станкевича. С 1839 г. преподавал в Московском университете. В 1843–1844 гг. прочел курс публичных лекций, посвященных истории средневековой Европы. С 1845 г. экстраординарный, с 1849 г. ординарный профессор, с 1855 г. декан историко-филологического факультета Московского университета.

[221] *Людовик IX Святой* (Louis IX, Saint Louis) (1214–1270) — король Франции с 1226 г., участник VII и VIII крестовых походов.

[222] *Шопенгауэр* (Schopenhauer) Артур (1788–1860) — немецкий философ. В 1820–1831 гг. преподавал в Берлинском университете. Автор работы «Мир как воля и представление» (1819). Соглашался с И. Кантом в том, что все основные категории сознания человека сугубо умозрительны. При этом утверждал достоверность исключительно волевых устремлений человека, например, волю человека к жизни. Соответственно, жизнь

представляла собой постоянное столкновение воль, вечную борьбу. Избежать ее — значит отказаться от воли жизни, избавиться от страстей. Преодолеть собственный эгоизм можно посредством искусства — незаинтересованного созерцания.

[223] В действительности имеется в виду афоризм Г. Гегеля: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы».

[224] Имеется в виду «Повесть временных лет».

[225] *Август* (Augustus) Гай Юлий Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — древнеримский государственный деятель, основатель Римской империи, император с 40 г. до н. э.

[226] Лаврентьевская летопись — древнейший список (1377) «Повести временных лет», включающий в себя список 1305 г.

[227] Ипатьевская летопись — список «Повести временных лет» начала XV в.

[228] *Фихте* (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ. С 1794 г. профессор Йенского, с 1800 г. — Берлинского университетов (с 1810 г. ректор). Изучал философию как «науку о науке». Разработал так называемое наукоучение, перед которым ставились задачи преимущественно эпистемологического порядка. Рассматривал познание сущего как своего рода проекцию абсолютного «Я» на внешний мир. В вопросах политического характера отстаивал идею национального государства, в котором нация представляла собой коллективную личность, обладающую общим духом, историей, традицией.

[229] *Вольф* (Wolf) Фридрих Август (1759–1824) — немецкий филолог, автор исследований, посвященных поэмам Гомера. Утверждал, что «Одиссея» и «Илиада» — сочинения не одного автора, а многих певцов-рапсодов. Доказывал, что «Илиада» состоит из нескольких схолий, объединенных лишь в эпоху эллинизма.

[230] Оборот речи (*фр.*).

[231] *Белох* (Beloch) Карл Юлиус (1854–1929) — немецкий историк, исследователь античности. С 1879 г. профессор Римского университета. Изучал социально-экономическую историю классической древности.

[232] *Моммзен* (Моммсен) (Mommsen) Теодор (1817–1903) — немецкий историк. В 1848–1850 гг. профессор Лейпцигского, в 1852–1854 гг. — Цюрихского, в 1854–1858 гг. — Бреслауского, с 1858 г. — Берлинского университетов. В 1863–1866, 1873–1879 гг. депутат прусского ландтага, в 1881–1884 гг. — рейхстага. Автор «Римской истории» («Römische Geschichte»,

Bd. 1–3, 1854–1857). В 1902 г. награжден Нобелевской премией по литературе.

[233] *Нестор* (конец XI — начало XII в.) — русский летописец, автор житий князей Бориса и Глеба, Федосия Печерского. Вероятно, один из составителей Повести временных лет.

[234] *Грот* Николай Яковлевич (1852–1899) — русский философ, психолог. С 1886 г. профессор Московского университета. С 1889 г. редактор журнала «Вопросы философии и психологии». Был близок к философии утилитаризма. Утверждал необходимость психологического осмысления законов логики. Доказывал применимость понятия силы к духовным процессам, причем последние он считал первичными по отношению к материальным явлениям.

[235] *Курциус* (Curtius) Эрнст (1814–1896) — немецкий историк, археолог. В 1844–1856 гг. и с 1868 г. профессор Берлинского, в 1856–1863 гг. — Гёттингенского университетов. В 1871–1893 гг. секретарь историко-филологического отделения Берлинской Академии наук. В 1875–1881 гг. руководил немецкими раскопками в Олимпии. Автор работ по истории Древней Греции.

[236] *Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826) — русский писатель, историк, издатель, мыслитель. Автор «Записки о древней и новой России» (1811), в которой подвергает ревизии универсалистские идеалы Просвещения и утверждает для России необходимость следовать сложившейся в ней политической традиции. В частности, настаивает на сохранении самодержавия, которое в условиях низкой правовой и политической культуры населения не имело альтернативы.

[237] *Соловьев* Сергей Михайлович (1820–1879) — русский историк. В 1847 г. возглавил кафедру русской истории Московского университета. В 1864–1870 гг. декан историко-филологического факультета. В 1871–1877 гг. ректор Московского университета. Автор 29-ти томной «Истории России с древнейших времен» (1851–1879). Представитель государственной школы. Рассматривал историю России как процесс складывания и развития правовых и политических форм, централизации государства. Сторонник сравнительно-исторического подхода.

[238] *Костомаров* Николай Иванович (1817–1885) — русский историк. С 1846 г. преподавал в Киевском университете. С 1859 г. — профессор Петербургского университета. С 1865 г. один из издателей журнала «Вестник Европы». С 1876 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук. Считал, что основной сюжет русской истории — противостояние

федеративного (вечевого) начала, свойственного Южной России (т. е. Украине), началу единодержавия, присущего Северо-Востоку. Именно поэтому Киевская Русь представляла собой федерацию русских земель, а Москва — централизованное единое государство.

[239] *Ключевский* Василий Осипович (1841–1911) — русский историк. Ученик С. М. Соловьева. С 1879 г. преподавал в Московском университете. С 1900 г. член Петербургской Академии наук. Автор работ: «Боярская дума Древней Руси» (1880–1881), «Русский рубль XVI–XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (1884), «Происхождение крепостного права в России» (1885), «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886), «Евгений Онегин и его предки» (1887), «Состав представительства на земских соборах древней Руси» (1890), «Курс русской истории в пяти частях» (1904–1922). В качестве основного процесса в истории России рассматривал колонизацию, которая, по его мнению, определяет динамику изменений в правовой, политической и социальной жизни страны. Отстаивал концепцию многофакторности исторического процесса.

[240] *Бернгейм* (Bernheim) Эрнст (1850–1942) — немецкий историк. С 1883 г. профессор в Грейфсвальде. Автор работ по методологии истории, в том числе «Учебника исторического метода» (1889).

[241] Имеется в виду цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

[242] *Тит Ливий* (Titus Livius) (59 до н. э. — 7 н. э.) — древнеримский историк, автор «Истории Рима от основании города».

[243] *Прокопий Кесарийский* (ок. 490 — после 562) — византийский историк, государственный деятель. С 527 г. советник полководца Флавия Велизария. Автор исторических трудов «Война с персами», «Война с готами», «Война с вандалами», «Тайная история».

[244] *Григорий Турский* (*лат.* Gregorius Turonensis, *фр.* Grégoire de Tours) (в миру Георгий Флоренций) (538–594) — франкский церковный деятель, историк. С 573 г. — епископ Турский. Автор «Истории франков» («Historia Francorum»).

[245] Имеется в виду Бехистунская надпись персидского царя Дария I (522–486 до н. э.), высеченная на скале Бехистун (Иран). Она повествует об истории восстания Гауматы против власти Ахеменидов. Надпись была сделана на трех языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском, что помогло дешифровке разных типов клинописи.

[246] Имеется в виду Анкирская надпись, в которой описываются деяния Октавиана Августа. Была найдена в Анкире (теперь Анкара).

[247] Краледворская рукопись — подделка, выдававшаяся за манускрипт XIII в. Содержала 14 песен, повествовавших об истории Чехии. Была составлена В. Ганкой и Й. Линдой в 1817 г. Подделка была разоблачена в 1870–1880-е гг.

[248] *Константин Великий* (Flavius Valerius Constantinus) (284–337) — фактически единовластный правитель Римской империи с 312 г. В 313 г. издал Миланский эдикт, утверждавший принцип веротерпимости в Империи (в том числе по отношению к христианству).

[249] *Сильвестр I* (Silvester I) (?–335) — римский папа с 314 г. Согласно легендам, способствовал принятию христианства императором Константином. Канонизирован.

[250] *Валла* (Valla) Лоренцо (1407–1457) — итальянский гуманист. С 1435 г. секретарь неаполитанского короля Альфонса Арагонского. С 1448 г. апостольский секретарь и каноник Латеранского собора. Проповедовал эпикуреизм. Комментировал Ливия, Квинтиллиана, Саллюстия. Автор трактата «Рассуждение о подложности Константинова дара».

[251] *Шахматов* Алексей Александрович (1864–1920) — русский филолог и лингвист. С 1899 г. — член Петербургской Академии наук; в 1905–1920 гг. возглавлял Отделение русского языка и словесности Академии. В 1917–1918 гг. участвовал в подготовке реформы русской орфографии. Исследовал древнерусские литературные памятники, разрабатывал методы текстологии.

[252] Общественное мнение (*лат.*).

[253] *Гёте* (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, философ.

[254] Герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

[255] Имеется в виду Отечественная война 1812 г.

[256] Чартизм (Chartism) — рабочее движение в Великобритании в 1830—1850-е гг.

[257] *Кювье* (Cuvier) Жорж Леопольд (1769–1832) — французский естествоиспытатель. С 1795 г. профессор Центральной школы при Пантеоне в Париже. С 1799 г. профессор естественной истории в Коллеж де Франс. С 1803 г. секретарь Парижской Академии наук. С 1818 г. член Французской Академии наук. С 1820 г. барон, с 1831 г. пэр Франции. Разработал методы сравнительной анатомии и палеонтологии. Сторонник учения о неизменности видов.

[258] *Тучков* Николай Алексеевич (1761–1812) — русский военный деятель. С 1799 г. генерал-лейтенант. В 1806 г. участвовал в битве при Прейсиш-Эйлау. В 1812 г. командир 3-го пехотного корпуса. Получил смертельное ранение в Бородинском сражении.

[259] *Фемистокл* (500–449 до н. э.) — афинский государственный деятель. В 493 г. до н. э. архонт. Основатель афинского флота, способствовал укреплению Пирея. В 480 г. до н. э. в качестве стратега одержал победу в морском Саламинском сражении. В 471 г. до н. э. был подвергнут остракизму, бежал в Персию. Покончил жизнь самоубийством.

[260] *Александр I* (1777–1825) — российский император с 1801 г.

[261] *Георг III* (George III) (1738–1820) — король Великобритании и Ирландии с 1760 г.

[262] *Фридрих-Вильгельм III* (Friedrich Wilhelm III) (1770–1840) — король Пруссии с 1797 г.

[263] Битва под Аустерлицем — крупнейшее сражение Франции против третьей антифранцузской коалиции (России и Австрии) 2 декабря 1805 г., в ходе которого армия Наполеона одержала убедительную победу.

[264] Имеется в виду битва под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г., в ходе которой Наполеон I потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.

[265] *Гизо* (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский историк и политический деятель. С 1830 г. член палаты депутатов. С 1832 г. министр образования. С 1840 г. министр иностранных дел. С 1847 г. — премьер-министр. В 1848–1849 гг. в эмиграции. Автор исторических работ: «История английской революции начиная со времен Карла I» («Histoire de la révolution d'Angleterre depuis Charles I», 1826–1827); «История цивилизации в Европе» («Histoire de la civilisation en Europe», 1828); «История цивилизации во Франции» («Histoire de la civilisation en France», 1830).

[266] *Дарвин* (Darwin) Чарлз Роберт (1809–1882) — английский ученый-натуралист. В 1831–1836 гг. совершил путешествие на экспедиционном судне «Бигл», в ходе которого сделал ряд наблюдений, относившихся к естественной истории земли. В 1859 г. опубликовал труд «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» («On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for

Life»). Разработал теорию естественного отбора, доказывая наличие закономерностей в изменчивости видов животных и растений.

[267] *Рафаэль Санти* (Raffaello Sanzio) (1483–1520) — итальянский художник.

[268] После этого, следовательно, по причине этого (*лат.*).

[269] Витенагемот (Witenagemote) — совещательное собрание англосаксонской знати и духовенства в VII–XI вв.

[270] Речь идет о событиях 1789 г. во Франции.

[271] *Тэн* (Taine) Ипполит (1828–1903) — французский философ, писатель, представитель натурализма и культурно-исторической школы. Автор «Истории английской литературы» («Histoire de la littérature anglaise», 1863). Считал, что литературная традиция формируется средой, расой и конкретным историческим моментом. Это первичные силы, определяющие все историческое развитие нации. В своих сочинениях идеализировал «старый порядок» во Франции, критически отзывался о якобинцах.

[272] *Сорель* (Sorel) Жорж (1847–1922) — французский мыслитель и общественный деятель. Теоретик анархо-синдикализма. Отрицал неизбежность социального и политического прогресса. По его мнению, общество движется к распаду. Во имя дальнейшего развития общества «герои» — наиболее сознательные личности — должны применить насилие по отношению к нему. Утверждал необходимость формирования новой морали рабочих, альтернативной «мещанству», что должно было способствовать возникновению общества нового типа, которое будет основываться на самоорганизации рабочих. В сложившейся ситуации в качестве приоритетных средств борьбы пролетариата называл забастовку, бойкот, саботаж.

[273] *Кромвель* (Cromwell) Оливер (1599–1658) — английский политический и государственный деятель. Член Долгого парламента. В период гражданской войны в 1642 г. возглавил отряд добровольцев-кавалеристов — сторонников парламента. С 1645 г. заместитель главнокомандующего армией парламента, участвовал в ее реорганизации. С 1650 г. главнокомандующий всеми вооруженными силами. С 1653 г. — лорд-протектор Англии.

[274] Имеется в виду Лайель (Lyell) Чарльз (1797–1875) — английский геолог. Автор работы «Основы геологии» («Principles of Geology», 1830–1833). Автор теорий актуализма и униформизма, в соответствии с которыми

земная поверхность непрерывно изменяется без перехода количества в качество. Труды Ч. Лайеля заложили основу современной геологии.

[275] *Спенсер* (Spencer) Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, теоретик позитивизма. Разработал теоретическую модель эволюции, в соответствии с которой изменяются все системы, в том числе и общество. Основатель органической школы в социологии, уподоблявшей общество биологическому организму.

[276] *Мухаммед* (Магомет) (571-632) — основатель ислама и Арабского халифата. В 611 г. объявил себя посланником Аллаха. В 614 г. начал проповедовать в Мекке. В 622 г. был вынужден бежать в Ясриб (теперь Медина). В 630–631 гг. подчинил Мекку, стал главой теократического государства.

[277] Общее согласие (*лат.*).

[278] *Иван IV Грозный* (1530–1584) — великий князь московский с 1533 г., царь с 1547 г.

[279] *Ренан* (Renan) Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский историк христианства. Предложил рационалистическую критику текста Евангелия.

[280] Бог из машины (*лат.*). Неожиданная развязка, обусловленная вмешательством внешнего фактора.

[281] *Зибель* (Sybel) Генрих (1817–1895) — немецкий историк и политический деятель. С 1846 г. профессор Марбургского, с 1856 г. — Мюнхенского, в 1861–1874 гг. — Боннского университетов. В 1862–1864 гг. депутат прусского ландтага. С 1867 г. — депутат рейхстага Северогерманского союза. Представитель национал-либерализма.

[282] *Гамалиил* (I в.) — еврейский теолог, член Синедриона, учитель Савла (апостола Павла). Был противником гонений на апостолов.

[283] *Блан* (Blanc) Луи (1811–1882) — французский социалист, сторонник идей А. Сен-Симона. Автор работы «Организация труда» (1839), в которой отстаивал идею всеобщей кооперации. Противник экономической конкуренции.

[284] *Мишле* (Michelet) Жюль (1798–1874) — французский историк. С 1822 г. профессор лицея Сен-Барб, с 1827 г. — Высшей нормальной школы, с 1838 г. — Коллеж де Франс. В 1852 г. лишен должности за отказ присягнуть Наполеону III. Автор многотомной «Истории Франции» (1833–1867). Сторонник идеалов Великой французской революции. Утверждал, что основной герой истории — народ. Исторические деятели — лишь символы эпохи. Цель же историка — постичь «народный дух».

[285] *Филипп II Август* (Philippe II Auguste) (1165–1223) — король Франции с 1180 г.

[286] Имеется в виду формула К. Тацита.

[287] *Спиноза* (Spinoza) Бенедикт (1632–1677) — голландский философ. Будучи сторонником пантеизма, отождествлял Бога с природой, считал его бесконечной субстанцией, суммой всех вещей. Утверждал, что единственный способ познания целого — интуиция. Доказывал факт параллельного существования духовного и телесного.

[288] Имеется в виду поражение российского флота от японского в битве при Цусиме 27 мая 1905 г.

[289] Имеется в виду поражение русских войск под Мукденом 10 марта 1905 г.

[290] *Бисмарк* (Bismarck) Отто фон (1815–1898) — германский политический деятель. В 1859–1862 гг. прусский посланник в России. С 1862 г. министр-президент Пруссии. Проводил политический курс, нацеленный на объединение Германии. В 1871–1890 гг. канцлер.

[291] *Тюрго* (Turgot) Анн Роббер Жак (1727–1781) — французский государственный деятель, экономист. С 1751 г. чиновник Парижского парламента. В 1761–1774 гг. интендант в Лиможе. В 1774–1776 гг. — генеральный контролер финансов, проводил реформы, направленные на отмену феодального законодательства в экономической сфере. Разрабатывал теорию прогресса, в соответствии с которой в мире имеет место неуклонный процесс просвещения наций, постепенно исчезают социальные, политические, религиозные противоречия. Причем, торговля и промышленность играют ключевую роль в этом процессе, способствуя сближению наций и сословий. При этом, будучи физиократом, Тюрго доказывал, что земледелие составляет основу национального благосостояния.

[292] *Мирабо* (Mirabeau) Оноре Габриель Рикети (1749–1791) — деятель Великой французской революции. В 1789 г. депутат Генеральных штатов от третьего сословия. Один из лидеров Национального собрания. Сторонник укрепления институтов конституционной монархии.

[293] *Гартман* (Hartmann) Эдуард (1842–1906) — немецкий философ. Последователь А. Шопенгауэра. Утверждал, что в основе поведения человека лежит бессознательное. Оно непознаваемо и, соответственно, недоступно научному познанию. Развивая эти идеи, Гартман утверждал, что мир хаотичен, а исторический процесс лишен какой-либо логики.

[294] *Шлоссер* (Schlosser) Фридрих Христофор (1776–1861) — немецкий историк. С 1817 г. профессор Гейдельбергского университета. Автор «Всемирной истории» в 19-ти томах (1844–1857).

[295] *Пёльман* (Pöhlmann) Роберт (1852–1914) — немецкий историк. С 1884 г. профессор Эрлангенского, с 1901 г. — Мюнхенского университетов. Исследовал социальную историю Античности.

[296] *Токвилль* (Tocqueville) Алексис Шарль Анри Морис (1805—1859) — французский мыслитель и политический деятель. С 1839 г. член палаты депутатов. В 1849 г. министр иностранных дел. Автор книги «Демократия в Америке» (1835–1840). Доказывал, что демократия основывается на принципе всеобщего равенства, который со временем станет доминирующим в Западном мире. Это, в свою очередь, приведет к деспотии большинства и угнетению меньшинств, что парализует развитие общества.

[297] *Крылов* Никита Иванович (1807–1879) — русский юрист. В 1835–1872 гг. профессор римского права Московского университета.

[298] *Ромул* (Romulus) (VIII в. до н. э.) — легендарный основатель и первый царь Рима в 754/753-717 гг. до н. э.

[299] *Лампрехт* (Lamprecht) Карл (1856–1915) — немецкий историк. С 1891 г. профессор Лейпцигского университета. Противник правовой школы Л. Ранке. Утверждал, что исторический процесс — это, прежде всего, эволюционное развитие культуры, движущей силой которой является нация. Автор «Истории германского народа» («Deutsche Geschichte») (1891–1909).

[300] *Карлейль* (Carlyle) Томас (1795–1881) — английский писатель и философ. Автор «Истории Французской революции» (1837). В качестве ведущей силы исторического процесса рассматривал героев, которые умеют повелевать массами.

[301] *Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881) — русский писатель.

[302] *Людовик XVI* (Louis XVI) (1754–1793) — король Франции в 1774–1791 гг. Казнен.

[303] *Мария-Антуанетта* (Marie-Antoinette) (1755–1793) — дочь австрийского императора Франца I и Марии Терезии, с 1770 г. — жена наследника престола, впоследствии французского короля Людовика XVI. Казнена.

[304] *Неккер* (Necker) Жак (1732–1804) — французский государственный деятель. С 1776 г. директор королевской казны. В 1771–1781, 1788–1789, 1789–1790 гг. генеральный директор финансов. Сторонник экономиче-

ской теории физиократов. Стремился к сокращению государственных расходов, преобразованию налоговой системы.

[305] *Сиейес* (Sieyes) Эммануэль Жозеф (1748–1836) — французский мыслитель, деятель Великой французской революции. С 1789 г. депутат Генеральных штатов, Национального собрания. С 1792 г. член Конвента. Один из составителей Конституции 1795 г. С 1799 г. член Директории. В 1799–1804 гг. один из консулов Французской республики. Утверждал, что цель конституционного устройства — защита индивидуальной свободы граждан.

[306] *Робеспьер* (Robespierre) Максимилиан Мари Изидор де (1758–1794) — деятель Великой французской революции. С 1792 г. член Конвента, монтаньяр. С 1793 г. фактический руководитель Комитета общественного спасения. Идеолог якобинского террора. Казнен после термидорианского переворота.

[307] *Дантон* (Danton) Жорж Жак (1759–1794) — деятель Великой французской революции. 14 июля 1789 г. участвовал во взятии Бастилии. В 1790 г. принимал участие в создании клуба «Кордельеров». С 1792 г. член Национального конвента. Представитель правого крыла монтаньяров. В 1793 г. инициировал революционный террор. Однако с декабря 1793 г. выступал против политики террора. Казнен по настоянию М. Робеспьера.

[308] *Марат* (Marat) Жан Поль (1743–1793) — деятель Великой французской революции, представитель радикального крыла якобинцев. С 1765 г. в эмиграции в Великобритании. В 1776 г. вернулся во Францию. С 1789 г. издавал газету «Друг народа». Представитель радикального крыла монтаньяров. Убит монархисткой Ш. Корде.

[309] Т. е. взятие Бастилии.

[310] Имеется в виду приход к власти Наполеона Бонапарта.

[311] Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

[312] Имеется в виду Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права.

[313] *Толстой* Лев Николаевич (1828–1910) — русский писатель.

[314] *Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889) — русский общественный деятель, публицист. В 1853–1855 гг. сотрудник журнала «Отечественные записки». В 1854–1864 гг. — журнала «Современник». В 1855 г. защитил магистерскую диссертацию «Эстетическое отношение искусства к действительности». Утверждал, что основная цель искусства — де-

монстрация социальных пороков современности. В 1862 г. был арестован. В 1864 г. над ним был совершен обряд «гражданской казни». В 1864–1871 гг. находился на каторге в Нерчинском округе. С 1871 г. в ссылке. Сторонник идей русского социализма, который должен основываться на традиционных для России общинных связях. Верил в самоорганизацию населения.

Библиография

Кареев Н. И. Мифологические этюды: в 2 т. — Воронеж, 1874.

Кареев Н. И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. — М., 1879.

Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории: в 3 т. — М., 1883–1890.

Кареев Н. И. Моим критикам. Защита книги «Основные вопросы философии истории». — Варшава, 1884.

Кареев Н. И. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. — СПб., 1890.

Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время: в 7 т. – СПб.; Пг., 1892–1917.

Кареев Н. И. Письма к учащейся молодежи о самообразовании. — СПб., 1894.

Кареев Н. И. Историко-философские и социологические этюды. — СПб., 1895.

Кареев Н. И. Беседы о выработке миросозерцания. — СПб., 1895.

Кареев Н. И. Мысли об основах нравственности. — СПб., 1895.

Кареев Н. И. Старые и новые этюды об экономическом материализме. — СПб., 1896.

Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. — СПб., 1897.

Кареев Н. И. Исторический очерк конституционных учреждений до середины XIX в. — СПб., 1902.

Кареев Н. И. Государство-город античного мира: Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античной гражданской общины. — СПб., 1903.

Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. — СПб., 1903.

Кареев Н. И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий. — СПб., 1904.

Кареев Н. И. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе: Вып. 1–2. — СПб., 1905–1906.

Кареев Н. И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII вв. Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества «Старого порядка». — СПб., 1908.

Кареев Н. И. Происхождение современного народно-правового государства. Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. — СПб., 1908.

Кареев Н. И. Собрание сочинений: в 3 т. — СПб., 1911–1913.

Кареев Н. И. Историка. Теория исторического знания. — СПб., 1913.

Кареев Н. И. Историология. Теория исторического процесса. — Пг., 1915.

Кареев Н. И. О школьном преподавании истории. — Пг., 1917.

Кареев Н. И. Великая Французская революция. — Пг., 1918.

Кареев Н. И. Общие основы социологии. — Пг., 1919.

Кареев Н. И. Томас Карлейль: его жизнь, его личность, его произведения, его идеи. — Пг., 1923.

Кареев Н. И. Две английские революции XVII в. — Пг., 1924.

Кареев Н. И. Историки французской революции: в 3 т. — Л., 1924.

Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. — Л., 1990.

Кареев Н. И. Основы русской социологии. — СПб., 1996.

Указатель имен

Август Гай Юлий Октавиан, имп. — 373, 393, 575. 577
Адриан, имп. — 107, 560
Александр I — 293, 420, 579
Александр Македонский — 33, 50, 56, 74, 78, 90, 100–102, 107, 124–125, 361, 551, 553, 555, 559
Александр Север, имп. — 107
Антонины — 46, 552
Анциферов Н. П. — 9, 18, 22, 26
Аранда П. — 267, 570
Аристотель — 83, 87, 91, 95, 97, 117, 125, 191, 531, 555
Архимед — 89, 557
Ассурбанипал (Ашшурбанипал) — 67, 553
Аттила — 91, 557

Белох К. Ю. — 385–386, 575
Белявский Е. В. — 6
Бернард св. — 171, 563
Бернгейм (Bernheim) И. — 353, 363, 386–387, 407, 413, 422, 426, 429, 440–441, 489, 577
Бероз — 102, 559
Бисмарк — 513, 582
Блан Л. — 508, 581
Боголепов Н. П. — 10
Боден Ж. — 263–264, 597
Бодуэн-де-Куртене И. А. — 397
Бокль Г. Т. — 57, 371, 423, 484, 497, 553
Бонавентура св. — 171, 562
Бонапарт И. (Ж.) — 313, 572
Бонифаций VIII — 167–168, 562
Боссюэ (Боссюэт) Ж. Б. — 36, 264, 551
Бубнов Н. М. — 411
Бузескул В. П. — 22, 26, 534
Бурбоны — 272
Бурдо (Bourdeau) Л. — 426, 428
Буслаев Ф. И. — 7
Бэкон Ф. — 191, 446, 475, 565
Бюффон Ж. Л. — 243, 568
Бюхер К. 147–149, 179, 561

Валла Л. — 401
Ван-дер-Берг — 53
Василий Великий — 563
Василий I Македонянин — 339, 573
Введенский А. И. — 353, 367, 376, 434
Вебер Г. — 53, 54, 552
Везалий А. — 191, 564
Вергилий — 83, 183, 554
Веркович С. — 400
Веселовский А. Н. — 456, 459, 469
Виктор-Эммануил II — 296, 571
Виндельбанд В. — 367, 375
Виппер Р. Ю. — 76, 427–428, 434, 489, 534, 552
Вольтер (Аруэ Ф.) — 234, 267, 423, 504, 568
Вольф Ф. А. — 378
Вячеслав (Вацлав), св. — 197, 566

Галилей Г. — 191
Гама В. да — 304, 323, 571
Гамалиил — 504, 581
Гарвей У. — 191,564
Гартман Э. — 524, 582
Гегель Г. В. — 37–38, 41, 46, 51, 75, 98, 143, 369, 378, 471, 488, 490, 551, 575
Гелиогабал, имп. — 107
Генрих IV — 264, 569–570, 579
Генрих VII — 572
Георг III — 420
Герасимов О. И. — 5
Герасимов О. П. — 17
Гервинус Г. — 356
Геродот — 66, 71, 89–90, 386, 389, 393, 402, 486, 552
Герье В. И. — 7–8, 26, 554
Гёте И. — 235, 404, 578
Гизо Ф. — 423, 497, 579
Гиппарх — 89, 557
Гиппократ — 171, 563
Гистасп — 557
Гоббс Т. — 97, 191, 237, 263–265, 268, 559
Гольцев В. А. — 8
Гомер — 83, 554, 575
Гораций — 88, 556
Грановский Т. Н. — 361–362, 531, 574

Григорий VII — 167–168, 171, 562
Григорий Назианзин св. — 563
Григорий Турский — 389
Гримм Э. Д. — 26
Грот Н. Я. — 386
Гроций Г. — 191, 565
Гумплович Л. — 364
Густав III — 571
Гутнов Д. А. — 10

Дамиан, св. — 171
Данай (миф.) — 88
Даниил (библ.) — 53, 340, 552
Данилевский Н. Я. — 48–49, 343, 497, 552
Дантон Ж. Ж. — 543, 584
Дарвин Ч. — 430, 471, 475, 579
Дарий I — 87, 90, 393
Дарий III Кодоман — 56, 553
Декарт Р. — 191, 229, 475
Демосфен — 83, 555
Джиойя (Джойя) Ф. — 303
Диас (Диаш) В. (Б.) — 304
Дидро Д. — 234, 243–244
Диодор Сицилийский — 88, 555
Диоклетиан, имп. — 170, 562
Дионисий Галикарнасский — 88, 556
Добужинский М. В. — 17
Достоевский Ф. М. — 541, 583
Драгоманов М. П. — 8
Дройзен И. Г. — 356, 360, 574

Евлахов А. М. — 469
Екатерина II — 482, 568, 571

Зевс (миф.) — 95, 554, 559
Зибель Г. — 496, 581
Зиммель (Simmel) Г. — 353, 367, 426
Золотарев В. П. — 8–10, 18

Иаков I — 313, 573
Иафет (библ.) — 82
Иван III — 342, 574
Иван IV Грозный — 482, 581
Иванюков И. И. —8
Иероним св. — 171, 563
Иоанн ап. — 171, 563
Иоанн (Жуан) VI — 313
Иоанн VIII Палеолог — 340, 574
Иоанн Безземельный —168, 562
Иосиф II — 238, 267, 568
Иосиф-Эммануил Португальский (Жозе I) — 570
Исаак II Ангел — 339, 573

Кабот Дж. — 304, 572
Кабраль П. А. — 304, 572
Кадм (миф.) — 88, 556
Кант И. — 243–244, 369, 430, 475, 568, 574
Карамзин Н. М. — 386, 441, 576
Кареев Н. И. — 5–26, 586–588, 594
Карл III Испанский — 567, 570
Карл V — 197–198, 256, 323, 564
Карл Великий, имп. — 136, 151–157, 161–162, 302, 330, 339, 341, 483, 546, 560–562
Карл Мартелл — 154, 560–561
Карл-Фридрих — 267, 571
Карлейль Т. — 540, 573, 583, 587
Каррьер М. — 64
Катон Старший — 95, 558
Квинтиллиан — 578
Кекроп (миф.) — 88, 556
Кеплер И. — 191, 564
Кир — 90, 552, 557
Ключевский В. О. — 386, 395, 441, 554, 577
Ковалевский М. М. — 8, 15, 459
Колумб Х. — 178, 304, 571
Кондорсе (Condorcet) М. — 37–38, 551
Констан Б. — 94, 558
Константин I Великий — 339, 401, 578
Конт О. — 7, 19, 21, 41–42, 70, 145, 236, 239, 244, 366, 427, 437, 454, 490, 552–553
Коперник Н. — 191, 475, 564
Корелин М. С. — 187, 543
Коротнев А. А. — 6
Кортес Э. — 305, 572
Костомаров Н. И. — 386, 441, 576
Кропоткин П. А. — 8
Крылов Н. И. — 583
Ксенопол А. Д. — 511, 522
Ксенофонт — 90, 557
Ксеркс — 56, 87
Курциус Э. — 386, 576

Куторга М. С. — 7
Кювье Ж. Л. — 415, 578

Лавров П. Л. — 8, 423, 437
Лакомб (Lacombe) П. — 426, 428
Ламанский В. И. — 9
Лампрехт (Lamprecht) К. — 538–539, 583
Ланглуа (Langlois) Ш. — 413, 440, 446
Лао-цзе (Лао-цзы) — 64, 553
Лаппо-Данилевский А. С. — 26, 367, 374, 479
Лев III, римск. папа — 155
Лейбниц Г. В. — 191, 229, 565
Леопольд II — 267, 570
Лермонтов М. Ю. — 362
Лесгафт П. Ф. — 15
Ликург — 88, 556
Линберг (Кареева) С. А. — 9
Локк Дж. — 191, 236–237, 566, 568
Лопатин Г. А. — 8
Луи (Людовик) Филипп Орлеанский — 571
Лукин Н. М. — 18
Людовик II Немецкий — 573
Людовик IX Святой —574
Людовик XIV — 207, 233, 252, 256–257, 262, 426, 544, 567
Людовик XVI — 534, 583
Лютер М. — 219, 567–568
Ляйэль (Лайель) Ч. — 471, 580–581

Магеллан Ф. — 191, 304, 563
Магомет (Мухаммед) — 581
Майков А. Н. — 82, 554
Макиавелли Н. — 201, 230, 256, 263–266
Максимилиан Баварский — 256, 569
Малинин А. А. — 539
Малиновский М. А. — 6
Манефон — 102, 559
Ману (миф.) — 92–93
Марат Ж. П. — 543, 584
Мария Стюарт — 254, 569
Мария-Антуанетта — 543, 583
Марк Аврелий, имп. — 114–115
Масперо Г. К. — 53, 553
Матьез А. — 26
Мейер Э. — 47, 147–149, 386, 551
Мечников Л. И. — 48, 59–62, 552, 594
Милюков П. Н. — 7
Мирабо О. Г. — 518, 543, 582
Михайловский Н. К. — 535
Мишле Ж. — 508, 581
Моисей (библ.) — 102
Моммзен Т. — 385, 575
Монтескье Ш. Л. — 93, 234, 243, 272–273, 484, 557
Муромцев С. А. — 8, 13, 416–417
Мюнцер Т. (Ф.) — 253, 569
Мякотин В. А. — 26

Набоков В. Д. — 11, 13, 15
Наполеон I — 239, 263, 420, 572
Наполеон III — 295, 297, 313, 532, 573, 581
Неккер Ж. — 543, 583
Нестор (Nestor) — 26, 386, 394, 576
Нехао — 322–323, 573
Никифор Фока — 339, 573
Николай I, римск. папа — 153, 561
Ньютон И. — 191, 565

Омар, халиф — 125, 560
Онегин Е. (лит.) — 361
Ону А. М. — 26, 411
Оттон I Великий — 339, 341, 573

Павел (Савл), ап. — 85
Павлов-Сильванский Н. П. — 465
Парацельс — 191, 564
Педро (Педру) I — 313, 573
Перикл — 97, 559
Петр, ап. — 168
Петр I Великий — 207, 327, 373–374, 391, 482, 537, 567
Петр Достопочтенный — 171, 563
Петражицкий Л. И. — его нет, есть Перташевский М. В. 552
Петрункевич И. И. — 13
Печорин Г.А. (лит.) — 361
Пёльман Р. — 531, 583
Пизарро (Писарро) Ф. — 306, 572
Пипин Короткий — 155, 561
Писемский Н. А. — 6
Пифагор — 88–89, 556
Платон — 83, 87–90, 95, 102, 191, 471, 555, 559

Платонов С. Ф. — 394
Плиний — 83, 110, 554
Плутарх — 59, 88, 95
Полибий — 36, 43, 45, 88, 551
Помбаль С. — 267, 570
Попов Н. А. — 7–8
Прокл — 90
Прокопий Кесарийский — 389, 577
Псамметих — 66, 553
Птолемеи — 74, 102
Птолемей — 90, 101, 557, 559, 564
Пушкин А. С. — 18, 362, 389, 577

Рафаэль Санти (Санцио) — 430, 580
Ренан Ж. Э. — 484, 581
Риккерт Г. — 367, 375, 511, 521–522
Ришелье А. Ж. — 256, 264–265, 569
Робеспьер М. — 543, 584
Ромул — 583
Ростовцев М. И. — 399
Руссо Ж. Ж. 9–3, 234, 237, 243, 558

Сайтафарн — 400
Селевк I — 101, 559
Селевкиды — 101
Сенека — 114
Сеннахериб (Синахериб) — 67, 553
Сеньобос (Seignobos) Ш. — 369, 407, 413, 440, 446
Сервет М. — 191, 564
Сергеевич В. И. — 10
Сильвестр I — 401, 578
Сильвестр II (Герберт) — 411
Смит А. — 284, 286, 468, 470, 571
Сократ — 95, 559
Соловьев В. С. — 6–7, 18, 386, 441,
Соловьев К. А. — 26. 594
Соловьев С. М. — 6, 576–577
Солон — 88, 556
Сорель А. — 444, 496, 580
Софья Палеолог —342, 574
Спенсер Г. — 7, 19, 581
Спиноза Б. — 512, 582
Стефан (Иштван), св. — 197, 401, 566
Стефенсон Дж. — 325, 573
Страбон — 89, 556
Струэнзе (Струензе) И. Ф. — 570
Стюарты — 206, 567
Сулейман, султ. — 197, 566
Сьейес Э. — 543, 584

Тамерлан — 91, 557
Тануччи Б. — 267, 570
Тацит — 158, 389, 562, 582
Тит Ливий — 389, 577–578
Тихонравов Н. С. — 7
Токвилль А. — 532, 583
Толстой Л. Н. — 548, 584
Тутмес (Тутмос) I — 53, 553
Тучков Н. А. — 419, 579
Тэн И. — 439, 508, 580
Тюрго А. Р. — 518, 582

Фалес Милетский — 89–90, 556
Фемистокл — 420, 579
Фердинанд IV — 570
Фердинанд VII — 313, 572
Фидий — 83, 554
Филимонов В. А. — 7
Филипп II — 252, 254, 256, 564, 568–569
Филипп II Август — 509, 582
Филипп IV Красивый — 168, 562
Филон — 102, 559
Фильмер Р. — 264, 570
Фихте И. Г. — 378, 575
Фосснус (Фосс) — 355
Фотий, патр. — 561
Франк С. Л. — 367
Фридрих II — 207, 265–267, 544, 567–568
Фридрих-Вильгельм III — 420
Фриман М. — 207, 265–267, 544, 567–568
Фукидид — 90, 97, 386, 389, 423, 555
Фультон Р. — 325
Фюстель де Куланж Н. Д. — 8, 95, 440, 558

Хаммураби (Хаммурапи) — 393, 534
Христиан VII — 570
Цезарь Гай Юлий — 151, 533, 561
Цицерон — 83, 555

Чернышевский Н. Г. — 548, 584
Чичиков П. И. (лит.) — 408
Чупров А. И. — 8, 374

Шахматов А. А. — 402, 578
Шерест — 509
Шлоссер Ф. — 531
Шопенгауэр А. — 361
Шрадер — 299

Щеголев П. П. — 26

Эврипид (Еврипид) — 80
Эдуард III — 168, 562
Эпиктет — 114, 560
Эпикур — 171, 563

Юлиан, имп. — 85, 171
Юркевич П. Д. — 7
Юстиниан I Великий, имп. — 137, 151, 560

Янжул И. И. — 8

Berr H. — 433

Hugo de Sancto Victore — 171, 563
Grotenfelt A. — 511

Содержание

Николай Иванович Кареев.
К. А. Соловьев 5

Н. И. КАРЕЕВ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 27

Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох 29

Очерк первый. Всемирно-историческая точка зрения..... 29
Постепенное объединение судеб отдельных стран и народов. Беглый взгляд на целое всемирной истории. Необходимость изучения общего хода истории и задача философии истории. Два способа философского построения всемирно-исторического процесса. Применение идеи закономерности к пониманию всемирно-исторического процесса. Разбор некоторых возражений против всемирно-исторической точки зрения. Обычное деление всемирной истории и его ненаучность. Схема, предложенная Л. Мечниковым. Теория культурно-исторических типов.

Очерк второй. Древнейшие восточные цивилизации..... 50
Три отдельных исторических мира в древности. Особенное значение ближайшего Востока. Начало всемирной истории. Главные периоды общей истории Востока. Что можно считать концом истории древнего Востока? Причины возникновения древнейших цивилизаций в определенных местностях. Историческое превосходство ближайшего Востока над Китаем и Индией. Причины гибели древнейших цивилизаций и культурного застоя в истории восточных народов. Значение Востока в религиозной истории человечества. Культурное влияние Востока на европейскую историю. Неодинаковое значение отдельных восточных народов во всемирной истории.

Очерк третий. Греко-римский мир 75
Важность знакомства с историей классического мира. Географические условия греко-римской истории. Срав-

нительная характеристика греков и римлян. Различие греческого и римского наследства. Различие в политической истории Греции и Рима. Превосходство греко-римской цивилизации над восточной. Начало политической свободы и светской культуры в античном мире. Вопрос о различном понимании и осуществлении принципа свободы в античном и новом мире. Вопрос о рабстве в античном мире. Греко-римское объединение культурного мира. Романизация варваров. Натиск варваров на Римскую империю. Постепенный упадок империи. Прогресс в античном мире.

Очерк четвертый. Общий взгляд на средние века 122
Три параллельные средневековые культуры: византийская, арабская и западноевропейская. Распадение единого исторического мира на три обособленных культурных мира. Культурный кризис в конце античного мира. Особенная важность западноевропейской истории. Взаимные отношения мусульманского Востока и христианской Европы в средние века. Средневековые отношения в самом мусульманском мире. Образование в средние века романо-германского и греко-славянского миров в Европе и их взаимные отношения.

Очерк пятый. Западноевропейское средневековье 140
Три источника средневековой западноевропейской культуры: античное наследие, христианство, древнегерманский быт. Различие в понимании их взаимоотношений у разных историков. Был ли переход от античности к средневековью прогрессом или регрессом? Современный спор об экономическом развитии древности и средних веков. Деление западноевропейского средневековья на периоды. Обособление Западной Европы как отдельного исторического мира. Значение монархии Карла Великого. Средневековый социально-политический быт и феодальная система. Общая характеристика средневекового католицизма. Место средних веков в истории прогресса.

Очерк шестой. Переход от средних веков к новому времени 175
Отношение нового времени к средним векам. Вступление всемирной истории в океанический период. Новое экономическое развитие Европы. Общее значение ренессанса и гуманизма. Судьба классической литературы в средние века. Действительно ли завоевание Константинополя турками было причиною возрождения классической древности на Западе? Значение классического элемента в истории нового умственного движения. Развитие индивидуализма и секуляризационных стремлений. Начало новой науки и философии. Упадок средневекового католицизма и «порча церкви». Влияние религиозной реформации на гуманизм и возрождение последнего в «Просвещении» XVIII в. Состояние политического мира в конце средних веков и в начале нового времени. Напор мусульманства. Образование национальных государств на Западе. Сословная монархия и начало абсолютизма.

Очерк седьмой. Главные культурные эпохи новой европейской истории 203
Два главных отдела новой западноевропейской истории. Общий взгляд на историю четырех последних столетий. Разные стороны реформационного движения. Неодинаковость участия отдельных народов в этом движении. Общие принципы Реформации. Католическая реакция. Просвещение XVIII века. Философия естественного права. Реакция против идей XVIII в. в начале XIX столетия. Развитие положительной науки в XIX в. Значение этого развития в истории техники. Важность его в истории новейшего миросозерцания.

Очерк восьмой. Происхождение современного западноевропейского общества и государства 245
Постепенная дефеодализация общества и государства на Западе. Общее значение развития городов в конце средних веков. Судьбы народной массы. Политические и социальные движения реформационной эпохи. Связь религиозной реакции с политическою. «Старый порядок». Настроение буржуазии при старом порядке. Просвещенный

абсолютизм. Общеевропейское значение французской революции. Ее антецеденты и ее принципы и следствия. Экономический переворот конца XVIII и начала XIX вв. Беглый обзор новейшей европейской истории.

Очерк девятый. Распространение всемирного господства европейских народов.....298
Постепенное расширение всемирно-исторической сцены. Первенствующая роль народов арийской расы во всемирной истории и особое значение Европы. Распространение трех мировых религий в Старом и Новом Свете. Значение религиозного фанатизма отсталых стран. Открытие и колонизация европейцами новых земель. Краткая история Америки и Австралии. Экономическое и культурное развитие новых обществ европейского типа в западном полушарии. Исторические судьбы Азии и роль европейских народов в отдельных ее частях. Отсталость африканского материка в историческом отношении. Раздел Африки между европейскими народами в XIX в. Влияние технического прогресса Европы. Мировая торговля и мировая политика.

Очерк десятый. Место России во всемирной истории 327
Общий взгляд на место России во всемирной истории. Позднее выступление России в истории. Географическое положение Восточно-Европейской равнины. Значение великого водного пути и южнорусских степей. Татарское иго. Место России в славянском мире. Порядок экономического и культурного развития в Западной и в Восточной Европе. Значение для России Балтийского моря. «Московия». Священная Римская империя на Западе и Москва в качестве «третьего Рима» на Востоке. Европеизация России. Славянофильская философия истории. Расширение границ России в XVII–XIX вв. Роль России в Азии.

Историка. Теория исторического знания 352

I. Что такое теория истории? 352

II. Есть ли история наука? 359

III. Предмет и задача исторической науки 368

IV. Метод и материал исторической науки 376

V. Разные роды и виды исторических источников.....385
VI. Критика источников 399
VII. Констатирование исторических фактов.....413
VIII. Разделение исторических фактов
на прагматические и культурные 421
IX. Установление связей между историческими
фактами 430
X. Синтетическая работа в исторической науке
и исторические обобщения 442
XI. Сравнительно-исторический метод.....454
XII. Историзм в гуманитарных и социальных науках.....466
XIII. Специальные истории и история общая.....476
XIV. Частные истории и всемирная история.....481
XV. Философия истории.....488
XVI. Исторический объективизм 491
XVII. Национализм в истории 493
XVIII. Конфессиональный субъективизм в истории 502
XIX. Политическая партийность в истории и выводы
из предыдущего 504
XX. Разные виды оценки прошлого в истории.....511
XXI. Этическое отношение к прошлому 519
XXII. Историческая наука и общественная жизнь 527
XXIII. Общественное содержание исторической науки
и место в ней биографического элемента.....536
XXIV. Исторические номенклатура и терминология.....544

КОММЕНТАРИИ..... 549
Библиография 586
Указатель имен 589

Научное издание

Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века

Кареев Николай Иванович

Избранные труды

Ведущий редактор *Е. А. Кочанова*
Редактор *И. В. Пучкова*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *М. В. Минина*
Компьютерная верстка *А. А. Морозова*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Корректор Е. Ю. Кандрашина

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 28.12.2009.
Формат 60×90 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 37,5.
Тираж 1000 экз. Заказ 1247

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334–81–87 (дирекция),
334–82–42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14